

---

---

ЦЕНА

---

МЕТАФОРЫ

---

ИЛИ

---

ПРЕСТУПЛЕНИЕ

---

И НАКАЗАНИЕ

---

СИНЯВСКОГО

---

И ДАНИЭЛЯ

---

---

---

**ВРЕМЯ**

МОСКВА «КНИГА» 1989

**СУДЬБЫ**

ЦЕНА МЕТАФОРЫ

---

---

ЦЕНА

МЕТАФОРЫ

ИЛИ

**ПРЕСТУПЛЕНИЕ**

**И НАКАЗАНИЕ**

**СИНЯВСКОГО**

**И ДАНИЭЛЯ**

---

---

МОСКВА «КНИГА» 1989

ББК 84Р7  
Ц 37

Составитель Е.М.Великанова

Редактор Л.С.Еремина

Разработка серийного оформления  
А.Т.Троянкера, Г.М.Грозной и Е.А.Родионовой

4701000000-088

С 002 (01) -89 Без объявл.

ISBN 5-212-00310-5

© Издательство "Книга", 1989

---

---

## ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

---

Я убежден, что сегодня трудно представить себе более дикое, в рамках цивилизованного мира, явление, чем "дело Синявского и Даниэля". Между тем позорное это событие — уголовный суд над художественной литературой — произошло совсем недавно, двадцать с небольшим лет назад. Драма, разыгравшаяся в феврале 1966 года в здании Московского областного суда, представляет для современника огромный интерес — далеко не в последнюю очередь тем, что именно она, эта драма, и открывает собой так называемую эпоху застоя.

Наверное, в контексте нашей литературы, понесшей такие грандиозные, невосполнимые потери, пережившей гибель первоклассных своих писателей, случившееся с Андреем Синявским и Юлием Даниэлем может показаться незначительным происшествием. Семь лет несвободы одного, пять — другого. Пустяк — на фоне истории?..

Но мы не забыли этот пустяк. Оставивший болезненную трещину в общественном сознании, он вновь и вновь притягивает к себе внимание современников, оценивающих прошлое во имя справедливости и правды.

Прочитавший эту книгу может убедиться, что проза Даниэля-Аржака и Синявского-Терца, ставшая поводом к уголовному преследованию, выглядит, пожалуй, безобидными шаржами в сравнении с тем, что сегодня печатается в наших журналах.

И, наконец, история защиты двух литераторов, продолживших сатирическую традицию, почти угасшую, к сожалению, в наше время, чрезвычайно интересна сама по себе: с точки зрения истории русской литературы, это, насколько мне известно, единственный случай, когда искусство защищается от судебного преследования с помощью самого искусства.

Многие участники этого своеобразного юридического действия еще здравствуют и хранят в памяти события тех неполных четырех дней, решавших судьбы двух литераторов. Не забыты и предшествующие суду месяцы, когда сплоченная официальная кампания встретила сопротивление отдельных — стоит ли уточнять: лучших? — представителей советской интеллигенции. Вмешаться, повлиять, заступиться пытались Илья Эренбург, Корней Чуковский, Константин Паустовский, Арсений Тарковский, Виктор Шкловский, Белла Ахмадулина, Павел Антокольский, Юрий Нагибин, Булат Окуджава... Среди **г о л о с о в з а щ и т ы** — первоклассная статья Вяч.Вс.Иванова о сказовой традиции в истории русской литературы, причем эта довольно сложная проблема в его изложении доступна даже ребенку.



...30 декабря 1988 г. умер Юлий Маркович Даниэль. Горько говорить истину: мы уже немного запоздали с выпуском в свет этого очень нужного сегодняшнему читателю сборника.

В.Каверин

---

Г.А.Беляя

"ДА БУДЕТ ВЕДОМО ВСЕМ..."

---

События, которые вошли в историю XX века как "процесс Синяевского и Даниэля", раскололи русскую общественную жизнь 60-х годов надвое и надолго предопределили ее ход.

...В сентябре 1965 года, когда были арестованы Андрей Донатович Синяевский и Юлий Маркович Даниэль, им было по сорок лет. Родившиеся в 1925 году, они оба, хотя и в разной мере, были опалены войной. Даниэль из школы ушел на фронт, воевал на 2-м Украинском и 3-м Белорусском фронтах, был тяжело ранен, по ранению — демобилизован, признан инвалидом. Синяевский в 1945 году служил на военном аэродроме радиомехаником, домой вернулся в солдатской шинели. Оба стали филологами: Даниэль окончил Московский областной педагогический институт, Синяевский — филологический факультет МГУ. К 1965 году у обоих уже было имя: Даниэль переводил на русский поэзию народов СССР, в Детгизе готовилась к печати его историческая повесть; Синяевский работал в Отделе советской литературы Института мировой литературы им. А.М.Горького, преподавал в школе-студии МХАТа, широко и заметно печатался в "Новом мире", был выделен и отмечен А.И.Твардовским.

Арест обоих был неожиданностью для людей моего поколения, пережившего как личную трагедию открывшуюся правду о сталинских временах. Идеалы наши были романтичны, мы были деятельны и верили в необратимость истории.

Процесс Синяевского и Даниэля ударил прежде всего по этим представлениям.

Правда, предшествовавшее десятилетие уже не раз демонстрировало нам могущество консервативных тенденций: критика сталинских порядков становилась все глуше, а к середине 60-х годов практически сошла на нет. Но проснувшееся общество верило в силу слова, которое можно противопоставить несправедливости. В этом сказывалась утопичность мышления, но в этом же была заложена возможность действия. Альманах "Литературная Москва", где впервые прозвучали забытые имена М.Цветаевой, И.Катаева, И.Бабеля, где были напечатаны "Рычаги" А.Яшина, подвергся резкой критике "справа" — но вскоре появилась "Тарусские страницы"... Выступлений в защиту Б.Пастернака было, конечно, не так много, как "писем трудящихся", требовавших изгнать его из страны, — но ведь

были же... Очередное испытание общества на прочность — год 1964-й. Суд приговорил поэта Иосифа Бродского к высылке из Ленинграда сроком на пять лет за "тунеядство". Имя Фриды Вигдоровой, учителя, писателя, журналиста, сделавшей и предавшей гласности запись судебного процесса, навсегда вошло в нашу историю.

Когда осенью 1965 года разнесся слух об аресте Синявского и Даниэля, никто ничего не мог понять: причины ареста не оглашались, как, впрочем, и сам факт его; в чем состоял криминал — об этом тоже не было известно. Потом каким-то образом выяснилось, что "подпольный" — так его прозвали на Западе — писатель Абрам Терц и новомирский критик Андрей Синявский — это одно лицо. Даниэль же — не только Даниэль, а еще и Николай Аржак, автор повести, которую кто-то, кажется, слышал по заграничному радио. Поскольку никто ничего не читал (а кто читал, тот, видимо, помалкивал), то разговоры крутились вокруг известного: наличия псевдонимов и публикации на Западе. Забывшим (или не знавшим) демократическую традицию былых времен, когда писатель мог свободно выбрать себе любой псевдоним и свободно печатать свои произведения там, где хотел, — именно это вскоре было преподнесено как "измена родине" и "двурушничество" (первое время — тоже на уровне слухов).

Так еще до процесса создавалась своеобразная устная конфронтация: людей, знавших, в чем дело, но сознательно скрывавших это и давивших на общественное мнение, оперируя представлениями, сложившимися в сталинские времена; и людей, жаждавших свободы, уверенных в том, что презумпция невиновности у нас должна соблюдаться на деле, а не на словах, и потому открыто апеллирующих к Конституции. Все это прорвалось в декабре 1965 года, когда около двухсот человек вышли на Пушкинскую площадь с лозунгом "Уважайте Конституцию!" Демонстрация была разогнана.

Лишь в январе 1966 года узнали граждане нашей страны из официальных источников о "перевертышах", "оборотнях", "отщепенцах" Синявском и Даниэле. При этом газетные статьи писались вовсе не юристами-профессионалами, а доброхотами от литературы, специальными людьми, допущенными к информации и готовыми обслуживать предрешенное отношение к арестованным. Статья "Перевертыши" принадлежала одному из тогдашних секретарей Московского отделения Союза писателей Д.И.Еремину. Ничего не ведающим читателям была предложена крошка из цитат, сопровождаемая словами, рассчитанными вызвать отвращение к "двум отщепенцам, символом веры для которых стало двуличие и бесстыдство". Чтобы подогреть читателя, призванного поверить Еремину на слово, в статье сообщалось, что "оба выплескивают на бумагу все самое гнусное, самое грязное..." Но и этого казалось Еремину мало:

в произведениях Синявского и Даниэля, сообщал он, содержался "призыв к террору".

Признаемся себе сегодня: только в обществе с неразвитым демократическим чувством можно верить таким словам, не требуя при этом документальных свидетельств; только в обществе, где неуважение к личности возведено в канон, можно писать о коллеге так, как писала работавшая в одном институте с А.Д.Синявским литературовед З.С.Кедрина. "Наследники Смердякова" — так называлась ее статья.

С первых же строк Кедрина пускала в действие испытанное оружие: на Западе "превозносят" "творения Терца", на Западе их обьявляют "блестящим опытом сатиры... достойным лучших образцов русской традиции", а это уже само по себе что-нибудь да значит... Обещая поведать, что же все-таки крамольного было в этих "творениях"; завлекая тем, что перед нею лежат, вот они, вашингтонские издания книг Абрама Терца и Николая Аржака, Кедрина, видно, не очень веря в силу своего пересказа, начала не с краткого изложения хотя бы сюжетов, хотя бы ситуаций, но — как привыкла — с априорного, предвещающего мнение читателя заключения: "Я прочитала эти книги внимательно, и для меня совершенно ясно, что это самая настоящая антисоветчина, вдохновленная ненавистью к социалистическому строю". Как бы спохватываясь, что нарушает элементарные правовые нормы, Кедрина оговаривалась, что она не претендует "на юридическое определение вины Аржака и Терца. Это дело судебных органов".

Дальше, все еще не говоря ни слова по существу, сотрудница ИМЛИ честно сообщала, что читать Синявского ей было очень трудно — из-за "символов, аллегорий и перекрестных взаимоперевоплощений персонажей". Так же откровенно она рассказывала читателю о своих сложностях при чтении повести Н.Аржака "Говорит Москва". Беглый и тенденциозный пересказ сюжета был закончен вопросом, направленным на то, чтобы распалить читателя. "Обыкновенный фашизм, скажете вы? Да, обыкновенный фашизм", — заранее соглашалась с вами Кедрина. Удивительно ли, что Институт мировой литературы, не искавший своему коллеге общественного защитника, выдвинул для участия в процессе З.С.Кедрину — в качестве общественного обвинителя?

Как ни стыдно, как ни горько признавать это сегодня, но отсутствие информации, кивки в сторону зловредного Запада, оскорбительные слова и словечки, обвинения в фашизме — все это сделало свое дело: по заводам и фабрикам, институтам и творческим союзам прокатилась волна возмущения против "перевертышей". 18 января, почти за месяц до процесса, газета "Известия" опубликовала первые "отклики трудящихся". Это было только начало... Газетная кампания не утихала несколько месяцев.

В порыве добровольного отречения от "отщепенцев" многие в ту пору говорили и писали о неожиданно новом для них лице Синявского и Даниэля. Эти признания могут остаться на совести говорящих, потому что не требовалось большой проницательности для того, чтобы представить себе позицию А.Синявского, например, по его новомирским статьям. Критик довольно уверенно и определенно очерчивал мир, который он не принимает и который ему кажется по меньшей мере странным. Так, в рецензии на сборник стихов Евг.Долматовского Синявский с недоумением цитировал мысли вслух лирического героя:

Как поступить?  
Сказать иль промолчать,  
Подставить лоб иль наносить удары,  
Пока молчит центральная печать  
И глухо шсбуршатся кулуары?

Самому критику гораздо ближе был "раскованный голос" художника (так и называлась его рецензия в "Новом мире" на стихи Ахматовой) или стремление "воссоздать всеохватывающую атмосферу бытия", "взглянуть на действительность и поэзию новыми глазами", как писал он в предисловии к сборнику Б.Пастернака "Стихотворения и поэмы", вышедшему почти в дни ареста в Большой серии "Библиотеки поэта".

Когда потом, на процессе, Синявский говорил о праве на свое художественное мироощущение, он знал, чей опыт за ним стоит и на какие образцы он опирается.

...Судебный процесс начался 10 февраля 1966 года и закончился 14 февраля.

Поскольку еще в 1948 году Советский Союз подписал "Всеобщую декларацию прав человека", принятую ООН, где статья девятнадцатая гласила, что "каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их", причем оговаривалось, что "это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами, независимо от государственных границ", то использование псевдонимов и пересылка рукописей за границу не могли быть вменены Синявскому и Даниэлю в вину. Их привлекли к суду по статье 70 Уголовного кодекса — за антисоветскую агитацию и пропаганду, распространение антисоветской литературы. В составе экспертной комиссии — академик В.В.Виноградов, В.Г.Костомаров, Е.И.Прохоров, А.Л.Дымщиц.

Формально суд считался открытым; на самом деле пускали по пригласительным билетам, которые раздавались в учреждениях, выборочно. Масса народу — сочувствующие обвиняемым, да и просто любопытствующие — с раннего утра до поздней ночи толпилась возле здания суда, на Баррикадной улице.

С первых же заседаний стало ясно, чем обвиняемые вызвали

столь резкое раздражение своих первых и на тот момент едва ли не единственных в Советском Союзе читателей: это была м е р а, глубина осмысления нашего социального устройства. Синявский и Даниэль критиковали не частные недостатки, не упущения и недочеты, но то, что мы сейчас называем словами Командно-Административная Система. "В 1960—61 годах, — говорил на процессе Ю.Даниэль, — когда была написана эта повесть ("Говорит Москва". — Г.Б.), я, и не только я, но и любой человек, серьезно думающий о положении вещей в нашей стране, был убежден, что страна находится накануне вторичного установления нового культа личности". Сюжет повести — объявление 10 августа Днем открытых убийств, мотивы, побуждающие людей внутренне оправдывать необходимость введения такой меры, пассивное отношение к насилию, конформизм, соглашательство, — все в повести изображено с нескрываемым сатирическим сарказмом. Это было непривычно, как непривычна была и та требовательность к себе, которая и сегодня не может не поразить читателя повести "Искушение". Даже под градом вопросов государственного обвинителя О.П.Темушкина Даниэль и не думал отрекаться от идеи покаяния перед жертвами репрессий, выраженной в повести с публицистической четкостью и остротой. Пытаясь быть понятным, Даниэль говорил о необходимости всеобщего внутреннего приобщения к трагическому опыту 30—40-х годов. Ему казалось общественно важным искоренить в человеке страх, который старательно растят в людях "чиновники режима". Выступая на процессе, Даниэль продолжал тему, первооткрывателем которой, как сейчас видно, он был: тему искупления живыми вины перед павшими, погибшими, оклеветанными. В повести "Искушение", на которую часто ссылались судьи, он говорил то, что многие повторяют сегодня как новую, только что открывшуюся им истину: "тюрьмы внутри нас", "правительство не в силах нас освободить", "мы сами себя сажаем". Близостью голосов автора и героя усиливалась мысль, открыто сформулированная Даниэлем на процессе: "Я считаю, что каждый член общества отвечает за то, что происходит в обществе. Я не исключая при этом себя. Я написал „виноваты все“, так как не было ответа на вопрос "кто виноват?" Никто никогда не говорил публично — кто же виноват в этих преступлениях..."

Временами судебное заседание начинало походить на литературную дискуссию. "Мне, как писателю, — говорил Синявский, отвечая на упрек в переизбытке символов и иносказаний (как будто все это было подсудно), — близок фантастический реализм с его гиперболой, гротеском. Я называю имена Гоголя, Шагала, Маяковского, Гофмана, некоторые произведения которых отношу к фантастическому реализму". Что бы ни говорили государственные и общественные обвинители о художественных произведениях обвиняемых, этого они брать в резон не хотели.

Спасая обвинение, они больше опирались на прямое авторское слово и ссылались на статью Синявского "Что такое социалистический реализм". Задолго до современных споров и размышлений о том, что делать с этим "неработающим" понятием, Синявский обнажил уязвимую суть метода, давно оторвавшегося от породившей его почвы. Он первым поставил вопрос о мертвящей нормативности, заключенной в термине "социалистический реализм". Анализируя самое его определение, "требующее" от писателя "правдивого, исторически конкретного изображения действительности в ее революционном развитии" и чтобы все это тут же сопровождалось "идейной переделкой трудящихся", Синявский иронизировал над строем мышления, предложившим советской литературе идти не от реальности, а от должного.

Сатирическая форма его рассуждений вызывала шок у судей. Ведь еще с конца 20-х годов в официальном сознании бытовало убеждение: всякий сатирик посягает на советский строй. Так судили о М.Булгакове. Так судили о Е.Замятине. Теперь так судили Синявского и Даниэля.

Имя Замятина неслучайно всплывает в памяти в связи с этим судебным процессом. "Почему танец — красив?" — задавался когда-то вопросом герой романа Замятина "Мы". И отвечал сам себе: "...потому что это не свободное движение, потому что весь глубокий смысл танца именно в абсолютной эстетической подчиненности, идеальной несвободе". Такую философию мира Синявский в своей статье назвал "телеологической", имея в виду именно осознанную и возведенную в ранг радостной нормы несвободу: "Как вся наша культура, как все наше общество, — писал он, — искусство наше — насквозь телеологично. Оно подчинено высшему назначению и этим обгорожено. Все мы живем в конечном счете лишь для того, чтобы побыстрее наступил Коммунизм". Синявский подвергал сомнению не мечту человечества о коммунизме, но такое представление, где он, коммунизм, — только абстрактная Цель, а человек — такое же абстрактное Средство. Философия Цели и Средства, по его мнению, "толкает к тому, чтобы все без исключения понятия и предметы подвести к Цели, соотносить с Целью, определить через Цель". Оторванная от человека, фетишизированная Цель стала основой идеологии, которая узаконила насилие и антигуманность: "Чтобы навсегда исчезли тюрьмы, мы понастроили новые тюрьмы. Чтобы пали границы между государствами, мы окружили себя китайской стеной. Чтобы труд в будущем стал отдыхом и удовольствием, мы ввели каторжные работы. Чтобы не пролилось больше ни единой капли крови, мы убивали, убивали и убивали".

Сегодня, когда все, сказанное тогда Синявским, вошло в наш обиход, поражают не только его раннее прозрение, не только прямота откровения, но полное отождествление себя со сво-

ей страной, несчастьем своего народа. И когда, обращаясь к недругам, злорадно смеющимся над идеалами первых революционеров, Синявский с гневом говорил: "Что вы смеетесь, сволочи? Что вы тычете своими холеными ногтями в комья крови и грязи, облепившие наши пиджаки и мундиры?" — в его словах звучала боль за русский народ, боль за русскую культуру.

Мог ли понять его государственный обвинитель, совсем по Замятину поучавший Синявского на процессе? "Свобода печати — не абстрактное понятие, — говорил О.П.Темушкин. — Это у нас настоящая свобода, у нас свобода в том, чтобы идти вместе с народом и за народом, на художественных произведениях воспитывать народ и; в первую очередь, молодежь. Свобода воспевать подвиги наших людей". И, как говорится, ни-ни — в сторону.

Но "мир жив только еретиками", говорил Замятин. И вопреки обвинительным речам, Синявский и Даниэль на процессе подняли еще одну крамольную тему: оба писателя впрямую говорили о свободе творчества. Внешней несвободе они противопоставили внутреннюю свободу художника, понимая ее широко — от свободы истолкования мира до свободы формотворчества. Если З.Кедриной авангардистская форма произведений Терца-Синявского казалась подражанием загнивающему Западу, то сам обвиняемый на процессе развил ее в философию творчества, предупреждая своих собратьев по перу, что без прививки "модернистского дичка", говоря его же, но более поздними словами, задохнется русская литература. Он напоминал: "Слово — это не дело, а слово: художественный образ условен, автор не идентичен герою"; он иронизировал над стремлением делить героев на положительных и отрицательных, и только; стесняясь за тех, кому вынужден был разъяснять простейшие вещи, он говорил: "Ведь правда художественного образа сложна, часто сам автор не может ее объяснить..."

Но все было напрасно: реальный водораздел между обвиняемыми и обвинителями проходил по черте, разделяющей самый тип их сознания. Формула "Кто не с нами, тот против нас" была незыблемой для обвинителей. С этой логикой в атмосфере накаленных страстей открыто спорил Синявский. Он только точно указал причину глухого непонимания: "...у меня в неопубликованном рассказе „Пхенц“ есть фраза, которую я считаю автобиографической: „Подумаешь, если я просто другой, так уж сразу ругаться...“ Так вот: я другой. В здешней назлектризованной, фантастической атмосфере врагом может считаться любой „другой“ человек. Но это не объективный способ нахождения истины..."

"О том, о чем я пишу, молчит и литература, и пресса, — говорил на суде Ю.Даниэль. — А литература имеет право на изображение любого периода и любого вопроса. Я считаю, что



в жизни общества не может быть закрытых тем". Это был акт духовного сопротивления, духовной независимости.

Нет, Синявский и Даниэль стали возмутителями спокойствия отнюдь не случайно. И сегодня это яснее, чем когда бы то ни было.

Я хорошо помню атмосферу процесса: это была атмосфера беснования, затягивающая все новых людей, обнаруживающая их духовную слабость, неспособность защитить себя, свое лицо. И вот уже вослед, после приговора, зряшно, не под петель, не под угрозой расстрела пишут свое письмо профессора и преподаватели Московского университета, принародно каясь, что "знали Андрея Синявского", но не распознали, что есть "другой Синявский". В увлечении красным словом обвинили они Синявского уже не только в клевете на русский народ, как это было на процессе, но и в клевете "на человеческую природу, на все человечество". А смиреннейшего, любимого учениками доцента В.Дувакина, осмелившегося заявить на суде, что Синявский был "человек, ищущий истину, искренний и честный в своих исканиях", что его жизнь была жизнью "очень аскетической", что он был "погружен в русское искусство", отстранили от преподавания, разрешив ему в виде милости заняться незаметной библиотечной работой.

Страна разделилась — "образ врага", еще не умерший, воскрес. Время до процесса было временем надежд на справедливость, силу легального протеста, весомость общественного мнения. Это была самая высокая точка в развитии гражданского самосознания, пик доверия к власти, жажда достучаться до "верхов", найти с ними общий язык. Писали жены арестованных, писали друзья, незнакомые люди. Они не скрывали своих имен: М.Розанова, Л.Богораз, И.Голомшток, А.Гинзбург, А.Якобсон, И.Роднянская, Л.Копелев, Ю.Герчук, В.Корнилов, В.Меникер, Ю.Левин, Н.Кишилов. Письма шли в "Известия", в Президиум Верховного Совета СССР, в Президиум Верховного Совета РСФСР, в Московский городской суд, в Верховный суд СССР, в Верховный суд РСФСР. Свои услуги для защиты обвиняемых предложили видные деятели советской культуры и науки (в том числе Вяч.Вс.Иванов — ученый с мировым именем). Доброжелательные отзывы о творчестве Даниэля и Синявского послали в суд К.И.Чуковский и К.Г.Паустовский.

Не помогло.

Буря негодования поднялась за границей. В числе протестующих были крупнейшие деятели мировой культуры, практически все международные творческие ассоциации и даже руководители ряда зарубежных компартий.

Не помогло.

Речь шла о демократии — а это много значило для пробудившейся страны, для ее самосознания, это много значило и

для ее престижа за рубежом. Все требовали гласности (это слово — тоже из тех времен). Все требовали информации. Все требовали соблюдения законности.

Но мнение сограждан и зарубежных друзей Советского Союза было отодвинуто в сторону — за ненадобностью. Протесты писателей и ученых — брошены в корзину. Защитникам Синявского и Даниэля бесцеремонно дали понять, что в их мнении никто не нуждается.

Сегодня это может показаться странным: ведь все просили всего лишь открытой дискуссии, всего лишь открытого суда, всего лишь гласности. Ведь все говорили лишь о свободе творчества, протестовали против отождествления художественного произведения с политической прокламацией. Всего лишь...

А в это время писатели торопливо исключали Синявского из своего Союза: 22 февраля 1966 года "Литературная газета" опубликовала заметку "В секретариате Московской писательской организации", где сообщалось о единодушном осуждении А.Д.Синявского и единогласном решении исключить его "из членов Союза писателей СССР как двурушника и клеветника, поставившего свое перо на службу кругов, враждебных Советскому Союзу".

В Институте мировой литературы отстранили от работы — не донес! — друга и соавтора Синявского, благороднейшего человека Андрея Николаевича Меньшутина \*...

...И все же эпоха оттепели еще давала о себе знать. Шестьдесят два литератора, пути которых потом далеко разошлись, но — все-таки! — шестьдесят два человека послали в адрес XXIII съезда партии протест против решения Верховного суда. М.Шолохову, заявившему с трибуны партийного съезда, что "оборотни" Синявский и Даниэль "аморальны" и что приговор не достоин суров, ответила Лидия Чуковская. В своем знаменитом "Открытом письме" она обвинила Шолохова в отступничестве от славных гуманистических традиций русской литературы.

...Много позднее, уже вернувшись из лагеря, уже покинув страну, Синявский начал свою статью "Литературный процесс в России" словами из "Четвертой прозы" О.Мандельштама: "Все произведения литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые — это мразь, вторые — ворованный воздух".

"Ворованным воздухом" дышать было трудно, опасно, тяжело. Именно запрет на свободу породил диссидентство, позднее — эмиграцию. Искореня свободу, общество выталкивало из себя лучших своих сынов.

Судебный процесс, а потом и лагерь не сломили ни Синяв-

---

\*Меньшутин А., Синявский А. Поэзия первых лет революции. М., 1964.

ского, ни Даниэля. Отбыв полностью свой срок, Даниэль сначала работал в Калуге, потом в Москве. Писал. Переводил. В печати появлялись переводы Ю.Петрова — теперь Даниэлю псевдоним был спущен свыше. Печатали почти анонимно: чтобы не вспомнили, чтобы сама память истерлась о забвение. (Канула в небытие и детгизовская книжка "Бегство", тираж которой был уничтожен.)

Судьба Синявского сложилась иначе. После выхода Даниэля из лагеря ему скостили срок. Помыкавшись, поняв, что перед ним стена тупого противодействия, он выбрал эмиграцию. Его не выдворяли, не выталкивали, ему не предлагали уехать: его просто не печатали. В лагере он написал книги "Прогулки с Пушкиным" (1966—1968), "Голос из хора" (1966—1971), "В тени Гоголя" (1970—1973); изданы соответственно в 1975, 1973 и 1975-м. В эмиграции — «„Опавшие листья" В.В.Розанова» (1982), роман "Спокойной ночи" (1984), где вспомнил и рассказал о процессе, и множество прекрасных статей. Прав оказался Вяч.Вс.Иванов, заявивший в ответ на запрос юристов еще в 1966 году: "Перерыв в литературной деятельности А.Д.Синявского не может не сказаться отрицательно на поступательном движении нашей литературы". Так оно и вышло. Когда сегодня мы читаем произведения В.Пьецуха, С.Каледина, Л.Петрушевской — авторов, которые вплотную приближаются к жизни людей, затерянных в лабиринтах коммунальных квартир, научных учреждений, многомиллионного города, когда мы видим нашу жизнь в зеркале фантастического реализма, когда, наконец, мы узнаем, что многие из современных повестей и рассказов вырели в атмосфере 60-х годов, а всплыли на поверхность лишь сейчас, мы не можем не пожалеть, что не знакомы с прозой Синявского, зародившейся тогда же и впитавшей в себя традиции Гофмана, Гоголя и Достоевского.

В "Письме старому другу", написанном вскоре после процесса, В.Шаламов писал: "Синявский и Даниэль первыми принимают бой после чуть ли не пятидесятилетнего молчания. Их пример велик, их героизм бесспорен. Синявский и Даниэль нарушили омерзительную традицию „расскаiania" и „признаний"... Если бы на этом процессе дали выступить общественному защитнику, тот защитил бы Синявского и Даниэля именем писателей, замученных, убитых, расстрелянных, погибших от голода и холода в сталинских лагерях уничтожения".

В этом же письме В.Шаламов утверждал не без гордости: "В мужестве Синявского и Даниэля, в их благородстве, в их победе есть и капля нашей с тобой крови, наших страданий, нашей борьбы против унижений, лжи, против убийц и предателей всех мастей".

Сегодняшние поколения живут открыто. Порою они оглядываются назад: время колебаний, время страха еще осталось в крови. Будем надеяться, что сегодняшние исторические перемены действительно необратимы. Но если придется

нам стать лицом к лицу с теми, кто Цель ставит выше Средства и готов принести человеческие жизни в жертву новым абстракциям, пусть поможет нам высокий, выстраданный опыт наших старших товарищей — преданных анафеме родным народом, переживших отступничество учителей, отсидевших свои лагерные сроки, но не потерявших человеческого лица.

”Страна должна знать своих палачей”, — говорим мы друг другу вот уже четверть века.

”Страна должна знать и своих героев”, — хочу сказать я сегодня, называя — в полный голос — имена Андрея Синявского и Юлия Даниэля.

---

---

**ПРОЛОГ**

---

---

---

---

---

**Телеграмма**

---

---

**Генерального секретаря Международного ПЕН-клуба**

---

**АЛЕКСЕЮ СУРКОВУ – СОЮЗ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ –  
52 УЛИЦА ВОРОВСКОГО – МОСКВА – СССР – 11 НОЯБРЯ 1965**

НАС ПОТЯСЛО И ОПЕЧАЛИЛО ИЗВЕСТИЕ ОБ АРЕСТЕ ИЗВЕСТНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ АНДРЕЯ СИНЯВСКОГО И ЮЛИЯ ДАНИЭЛЯ ОПАСАЕМСЯ ЧТО ЭТИ АРЕСТЫ ПРОИЗВЕДУТ ТЯЖЕЛОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ И ПОМЕШАЮТ РОСТУ БОЛЕЕ ТЕСНЫХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ПИСАТЕЛЯМИ НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОСИМ ВАС ХОДАТАЙСТВОВАТЬ ПЕРЕД СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ВЛАСТЯМИ

*Дэвид Карвер*

---

---

**Телеграмма**

---

---

**литераторов Дании**

---

**ЕЕ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬНОМУ ЕКАТЕРИНЕ АЛЕКСЕЕВНЕ ФУРЦЕВОЙ  
МОСКВА–УЛИЦА КУЙБЫШЕВА 10 – МИНИСТЕРСТВО  
КУЛЬТУРЫ СССР**

С БОЛЬШИМ УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ МЕСЯЦ ТОМУ НАЗАД ПОЛУЧИЛИ МЫ ИЗВЕСТИЕ О ПРИСУЖДЕНИИ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ МИХАИЛУ ШОЛОХОВУ МЫ У СЕБЯ В ДАНИИ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ОТМЕТИЛИ КАК ШОЛОХОВ А С НИМ И СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗАНЯЛИ БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ СВОЕ-ЕСТЕСТВЕННОЕ И ЗАСЛУЖЕННОЕ МЕСТО В ЕВРОПЕ МЫ ОДНАКО С БЕСПОКОЙСТВОМ НАБЛЮДАЕМ КАК В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НЕКОТОРЫЕ СОБЫТИЯ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ ПОДРЫВАЮТ ЗАРОЖДАЮЩЕЕСЯ СОТРУДНИЧЕСТВО И В ЧАСТНОСТИ ОМРАЧАЮТ РАДОСТЬ ОТ ПРИСУЖДЕНИЯ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ АРЕСТ АНДРЕЯ СИНЯВСКОГО (АБРАМ ТЕРЦ) И ЮЛИЯ ДАНИЭЛЯ (НИКОЛАЙ АРЖАК) ОЗНАЧАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ НЕДОСТОЙНЫХ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И НЕСОВМЕСТИМЫХ С УСТАНОВЛЕНИЕМ ПОЗИТИВНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ КУЛЬТУРНЫХ КОНТАКТОВ В ТОМ ЧИСЛЕ И ТАКИХ КОТОРЫЕ НАШЛИ СВОЕ ВЫРАЖЕНИЕ В ПРИСУЖДЕНИИ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ НАШ ДОЛГ ВЫРАЗИТЬ СЕРЬЕЗНЕЙШИЙ ПРОТЕСТ ПРОТИВ АРЕСТА ЭТИХ ДВУХ ПИСАТЕЛЕЙ КОТОРЫЙ МЫ СЧИТАЕМ НЕОБДУМАННЫМ И ГУБИТЕЛЬНЫМ ДЛЯ РЕПУТАЦИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В ГЛАЗАХ ОСТАЛЬНОГО МИРА МЫ ПРОСИМ ВАС УПОТРЕБИВ ВАШЕ ВЛИЯНИЕ ВОЙТИ С ХОДАТАЙСТВОМ В ИНСТАНЦИИ ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСИТ ОСВОБОЖДЕНИЕ НАШИХ ТОВАРИЩЕЙ ПО ПЕРУ

*<21 подпись>*

---

---

Телеграмма национального  
секретаря Филиппинского ПЕН-клуба

---

АЛЕКСЕЮ СУРКОВУ – СОЮЗ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ  
52 УЛИЦА ВОРОВСКОГО – МОСКВА – СССР – 1 ДЕКАБРЯ

НАС ОЧЕНЬ ОГОРЧИЛО ИЗВЕСТИЕ ОБ АРЕСТЕ ПИСАТЕЛЕЙ  
СИНЯВСКОГО И ДАНИЭЛЯ МЫ ПРИНАДЛЕЖИМ К ТОМУ ЖЕ БРАТ  
СТВУ И МЫ НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОСИМ ВАС ХОДАТАЙСТВОВАТЬ ЗА  
АРЕСТОВАННЫХ ПЕРЕД СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ИНСТАНЦИЯМИ  
МЫ ЗНАЕМ ЧТО ПОДОБНЫЕ АРЕСТЫ ОКАЖУТ БОЛЬШОЕ ВЛИЯНИЕ  
НА МИРОВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ И ПОВРЕДЯТ ДИАЛОГУ  
МЕЖДУ ПИСАТЕЛЯМИ РАЗНЫХ УБЕЖДЕНИЙ И НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

*Ф. Слонил Хосе*

---

---

Телеграмма  
деятели культуры Индии

---

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ КОСЫГИНУ –  
КРЕМЛЬ – МОСКВА – СССР

ПОТЯСЕНА АРЕСТОМ АНДРЕЯ СИНЯВСКОГО И ЮЛИЯ ДАНИЭ  
ЛЯ АРЕСТЫ НАНЕСУТ ВРЕД РАСТУЩЕМУ ДРУЖЕСКОМУ ИНТЕРЕСУ  
ИНДИЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ К СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ УБЕДИТЕ  
СОВЕТСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ОСВОБОДИТЬ ОБОИХ ПИСАТЕЛЕЙ

*<22 подписи>*

---

---

Телеграмма  
итальянских деятелей культуры Михаилу Шолохову

---

МЫ БЫЛИ ОЗАДАЧЕНЫ И ПОТЯСЕНА УЗНАВ ОБ АРЕСТЕ  
ДВУХ КРУПНЫХ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СИНЯВСКОГО И ДАНИЭЛЯ  
ОБВИНЕННЫХ НАСКОЛЬКО ИЗВЕСТНО В ПУБЛИКОВАНИИ СВОИХ  
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЗА ГРАНИЦЕЙ ЧТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕСТУПЛЕ  
НИЕМ ПО СОВЕТСКИМ ЗАКОНАМ МЫ ВЕРИМ ЧТО ВОПРОС СКОРО  
БУДЕТ РЕШЕН В СОГЛАСИИ С ЛИБЕРАЛИЗАЦИЕЙ СИМПТОМЫ КО  
ТОРОЙ МЫ С УДОВОЛЬСТВИЕМ НАБЛЮДАЛИ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ  
В СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ МЫ УВЕРЕНЫ ЧТО СВОБОДА  
И ТЕРПИМОСТЬ ОБЪЕДИНЯЮЩИЕ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ ВСЕГО  
МИРА ПОБУДЯТ ВАС ВМЕШАТЬСЯ ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ ВАШИМ КОЛЛЕ  
ГАМ СИНЯВСКОМУ И ДАНИЭЛЮ СВОБОДУ ТРУДИТЬСЯ И ОБЩАТЬСЯ  
С ЛЮДЬМИ ДРУГИХ СТРАН

*<15 подписей>*



---

---

Телеграмма

писателей Мексики Михаилу Шолохову

---

МЕКСИКА́НСКИЕ ПИСАТЕЛИ ПРОСЯТ ЛАУРЕАТА НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ШОЛОХОВА ПРИЛОЖИТЬ СВОИ ДОБРЫЕ УСИЛИЯ ДЛЯ БЛАГОПРИЯТНОГО РЕШЕНИЯ ДЕЛА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ АНДРЕЯ СИНЯВСКОГО И ЮЛИЯ ДАНИЭЛЯ.

<35 подписей>

---

---

Телеграмма

писателей Чили Михаилу Шолохову

---

ЧИЛИЙСКИЕ ПИСАТЕЛИ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ КРИТИКИ ПРОСЯТ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ЛАУРЕАТА НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ КОЛЛЕГИ МИХАИЛА ШОЛОХОВА ПЕРЕД СОВЕТСКИМИ ВЛАСТЯМИ С ТЕМ ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ НЕМЕДЛЕННОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ АНДРЕЯ СИНЯВСКОГО И ЮЛИЯ ДАНИЭЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОТОРЫХ СЕРЬЕЗНО КОМПРОМЕТИРУЕТ ПРЕСТИЖ И ЗНАЧЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

<7 подписей>\*

---

---

#### ГРАЖДАНСКОЕ ОБРАЩЕНИЕ

---

Несколько месяцев тому назад органами КГБ были арестованы два гражданина: писатели А.Синявский и Ю.Даниэль. В данном случае есть основания опасаться нарушения закона о гласности судопроизводства. Общеизвестно, что при закрытых дверях возможны любые беззакония и что нарушение закона о гласности (ст. 3 Конституции СССР и ст. 18 УПК РСФСР) уже само по себе является беззаконием. Невероятно, чтобы творчество писателей могло составить государственное преступление. -

---

\*В числе первых обратился к М.Шолохову, ставшему лауреатом Нобелевской премии 1965 г. в разгар следствия по делу Синявского и Даниэля, один из предыдущих нобелиатов. "Если существует товарищество по Нобелевской премии, — писал в 20-х числах ноября Франсуа Мориак, — я умоляю своего знаменитого собрата Шолохова донести нашу просьбу до тех, от кого зависит освобождение Андрея Синявского и Юлия Даниэля". Объединившая в последующие недели сотни деятелей культуры всего мира, кампания обращений достигла пика к моменту церемонии вручения премии (10 декабря 1965 г. в Стокгольме), где, по расчету М.Б.Картера, английского издателя Терца, М.А.Шолохов смог бы «снова показать тот щедрый дух сострадания, который наполняет его великий роман „Тихий Дон”»

В прошлом беззакония властей стоили жизни и свободы миллионам советских граждан. Кровавое прошлое призывает нас к бдительности в настоящем. Легче пожертвовать одним днем покоя, чем годами терпеть последствия вовремя не остановленного произвола.

У граждан есть средства борьбы с судебным произволом, это — "митинги гласности", во время которых собравшиеся скандируют один-единственный лозунг: "Тре-бу-ем глас-но-сти су-да над..." (следуют фамилии обвиняемых), или показывают соответствующий плакат. Какие-либо выкрики или лозунги, выходящие за пределы требования строгого соблюдения законности, безусловно являются при этом вредными, а возможно, и провокационными и должны пресекаться самими участниками митинга.

Во время митинга необходимо строго соблюдать порядок. По первому требованию властей разойтись — следует расходиться, сообщив властям о цели митинга.

Ты приглашаешься на митинг гласности, состряпанный 5 декабря сего года в 6 часов вечера в сквере на площади Пушкина у памятника поэту.

Пригласи еще двух граждан посредством текста этого обращения.\*

---

**Александр Гинзбург**

**ИЗ ПИСЬМА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР  
ТОВ. КОСЫГИНУ А.Н.**

---

Уважаемый Алексей Николаевич!

Я обращаюсь к Вам как к главе Правительства по вопросу, который горячо волнует меня уже несколько месяцев. 5 декабря, в День Конституции, я убедился, что не только я, но и еще сотни людей обеспокоены судьбой арестованных в сентябре органами КГБ писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля. <...>

Я знаком с повестью Терца "Суд идет", сборником "Фантастические повести", статьей "Что такое социалистичес-

---

\* Этот текст был распространен в первых числах декабря в МГУ и гуманитарных вузах столицы. Демонстрация 5 декабря 1965 года на Пушкинской площади, за многие десятилетия первая, не санкционированная свыше, состоялась; в ней приняло участие около 200 человек. Инициатор демонстрации и автор "Гражданского обращения" — А.С.Есенин-Вольпин, математик, поэт, философ и правозащитник, сын С.Есенина. (По собственному недавнему свидетельству А.С.Есенина-Вольпина, в создании текста "Обращения" принимал также участие его коллега, ныне покойный Валерий Никольский.)

кий реализм", с повестью Аржака "Говорит Москва". Я знаком еще с рядом произведений. <...>

Возможно, в действиях Синявского и Даниэля есть нарушение какой-то добровольно взятой на себя обязанности. Возможно, в Уставе Союза советских писателей, членами которого они, кажется, являются, имеется другое толкование понятия "социалистический реализм", нежели в статье Синявского. Может быть, повесть "Говорит Москва" написана в нарушение каких-то изложенных в этом Уставе правил. Кажется, использование псевдонима должно быть зарегистрировано в писательской организации.

Нарушение этих обязанностей — безусловно, проступок. Но он полностью находится в компетенции Союза писателей, если они его члены, КПСС, если они члены партии, любой добровольной организации, вступив в которую, они нарушили ее правила. Но к государству (а ст. 70 УК предусматривает преступление против государства) их действия не имеют отношения. Тот факт, что они родились в Советском Союзе, еще не отнимает у них права на самостоятельность мышления. Верность убеждениям, свое понимание пользы стране не является монополией тех, кто стоит у власти. Синявский и Даниэль имеют право и на гнев, вызванный преступлениями прошлых лет, и на любовь к прошлому, и на свое понимание будущего страны. Литературная деятельность Синявского в своей стране (статьи в "Новом мире", книги о Пикассо и поэзии первых лет революции, вступительная статья к сборнику стихов Б.Л.Пастернака) доказывает право Терца на свое толкование, скажем, социалистического реализма.

Следовательно, единственно правильным (но, увы, до сих пор не применявшимся) решением было бы рассмотрение этого дела не судебными, а общественными — писательскими, партийными, профсоюзными организациями. К счастью для литературы, эти организации обладают не сетью исправительно-трудовых лагерей, а лишь продуманной и теоретически обоснованной системой общественного воздействия. <...>

Как, если не вмешательством в общественную жизнь, можно назвать арест Синявского и Даниэля и уже трехмесячное содержание их под стражей?

Если факт их авторства установлен и их собираются судить за содержание их произведений, то нет никакой нужды держать их в заключении до суда. Если даже считать, что их произведения подпадают в данный момент под действие ст. 70 УК, то все остальные их действия (например, использование псевдонимов или пересылка рукописей за границу) не преследуются советским законодательством. <...>

Меня можно привлечь и осудить за пользование иностранными источниками информации (я слушаю зарубежное радио, так как о деле Синявского и Даниэля в нашей стране до сих

пор ничего не напечатано), и за знакомство с книгами этих авторов и одобрение их, и за участие в демонстрации 5 декабря, если кому-нибудь придет в голову назвать ее антисоветской, и за высказывание вслух того, о чем я пишу в этом письме.

В тридцать седьмом, сорок девятом и даже в шестьдесят первом годах сажали и не за такое.

Но я люблю свою страну и не хочу, чтобы очередные непроконтролируемые действия КГБ легли пятном на ее репутацию.

Я люблю русскую литературу и не хочу, чтобы еще два ее представителя отправились под конвоем валить лес.

Я уважаю Андрея Синявского — замечательного критика и прозаика.

<Декабрь 1965 г.>

А. Гинзбург

---

Дмитрий Еремин

**ПЕРЕВЕРТЫШИ**

---

Известия. 1966. 13 янв. Общесоюзный выпуск

---

Враги коммунизма не брезгливы. С каким воодушевлением сервируют они любую "сенсацию", подобранную на задворках антисоветчины! Так случилось и некоторое время назад. В буржуазной печати и радио стали появляться сообщения о "необоснованном аресте" в Москве двух "литераторов", печатавших за границей антисоветские пасквилы. Как тут не разыгаться нечистой совести и столь же нечистому воображению западных пропагандистов! И вот они уже широкими мазками живописуют мифическую "чистку в советских литературных кругах", утверждают, будто эти круги "до крайности встревожены угрозой нового похода" против "антикоммунистически настроенных писателей" и вообще "против либеральных кругов интеллигенции".

Спрашивается, что же случилось на самом деле? Отчего воспрянула черная рать антисоветчиков? Почему в ее объятия попали отдельные зарубежные интеллигенты, которые в этой компании выглядят достаточно странно? Зачем иные господа становятся в позу менторов, чуть ли не охранителей наших нравов и делают вид, будто защищают двух отщепенцев "от имени" советской интеллигенции?

Ответ на это один: в идеологических битвах между двумя мирами враги нового общества не очень-то разборчивы в средствах. И когда в их окопах оказываются двое оборотней, то последних за неимением лучшего спешат поднять на щит. Для нищих духом такие оборотни — желанная находка. Ведь с их помощью можно попытаться сбить с толку общественное мнение, посеять ядовитые семена безыдейности, нигилизма, болезненного интереса к темным "проблемам жизни".

Короче, враги коммунизма нашли то, что искали: двух отщепенцев, символом веры для которых стали двуличие и бесстыдство.

Прикрывшись псевдонимами Абрама Терца и Николая Аржака, они в течение нескольких лет тайно переправляли в зарубежные издательства и печатали там грязные пасквилы на свою страну, на партию, на советский строй. Один из них, А.Синявский, он же А.Терц, печатал литературно-критические статьи в советских журналах, пролез в Союз писателей, внешне разделяя требования его устава — "служить народу, раскрывать в высокохудожественной форме величие идей коммунизма" и "всей своей творческой и общественной деятельностью активно участвовать в строительстве коммунизма". Второй, Ю.Даниэль-Н.Аржак, занимался переводами. Но все это для них было фальшивым фасадом. За ним скрывалось иное: ненависть к нашему строю, гнусное издевательство над самым дорогим для Родины и народа.

Первое, что испытываешь при чтении их сочинений, — это брезгливость. Противно цитировать пошлости, которыми пестрят страницы их книг. Оба с болезненным сладострастием копаются в сексуальных и психопатологических "проблемах". Оба демонстрируют предельное нравственное падение. Оба выплескивают на бумагу все самое гнусное, самое грязное.

Вот характерные для них образчики сочинительства: "Женщины, — пишет в одном из своих "произведений" Даниэль-Аржак, — похожие на кастрированных мужчин, гуляют по улицам и бульварам. Коротконогие, словно беременная такса, или голенастые, как страус, они прячут под платьем опухоли и кровоподтеки, затягиваются в корсет, подшивают вату взамен грудей"\*.

Если это академик, то "выпьет рюмку-другую и — смотришь — он уже хозяйское серебро в карманы укладывает". Если это девушка — секретарь в редакции газеты, то "девчонка, доступная любому корректору". О взрослых женщинах, как мы видим, и говорить нечего. К примеру, у некоего Соломона Моисеевича "бежала жена — блудливая русская баба, — предварительно обокрав его, а потом опозорив с парикмахером шестнадцати лет. Он знал и боялся женщин, имея на то основания. Но что он мог понимать в русском национальном характере, этот Соломон Моисеевич?!"

Здесь нельзя не обратить внимания и на такую деталь: русский по рождению, Андрей Синявский прикрывался именем Абрама Терца. Зачем? Да только с провокационной целью! Публикуя под именем Абрама Терца антисоветские повести и

---

\* Здесь автор статьи путает источники, приписывая Н.Аржаку текст А.Терца.

рассказы в зарубежных изданиях, Синявский пытался создать впечатление, — будто в нашей стране существует антисемитизм, будто автор по имени Абрам Терц должен, мол, искать издателей на Западе, если он хочет "откровенно" писать о советской жизни. Убогая провокация, выдающая с головой и сочинителя, и его буржуазных покровителей.

Ничто им не любо в нашей стране, никаких святынь не чтят они в ее многонациональной культуре, все, что дорого советскому человеку, готовы обругать и охаять — в настоящем и прошлом. Подумайте только, что они написали об Антоне Павловиче Чехове, замечательном русском гуманисте, пробуждавшем своим творчеством добрые струны в человеке. Только предельное бесстыдство может двигать пером, которое выводит такие строки: "Взять бы этого Чехова за туберкулезную бороденку, да ткнуть носом в его чахоточные плевки". А русские классики — гордость мировой литературы, что о них сказано? "Классики — вот кого я ненавижу пуше всех!"

Нашу Советскую Армию, бессмертный подвиг которой спас народы Европы от истребления гитлеризмом, эти "сочинители" пытаются очернить, оклеветать.

Для советских людей, для народов земли, для всего передового человечества нет более святого имени, чем имя вождя нашей революции Владимира Ильича Ленина. Ведь Ленин — это эпоха социалистических революций и национально-освободительных движений. Это наш век, который изменил мир. Это научный коммунизм, который воплощается в славных делах человека. Даже видные капитаны капитализма склоняли головы перед Лениным: они не раз вынуждены были признавать, что XX век нашел в нем величайшего преобразователя жизни.

В какое же бездонное болото мерзости должен погрузиться так называемый литератор, чтобы хулиганским своим пером чернить святое для нас имя! Невозможно воспроизвести здесь соответствующие цитаты: настолько эта писанина злобна, настолько она возмутительна и грязна. Одни эти кошунственные строки достаточны для диагноза: авторы их ставят себя вне советского общества.

В пасквиле Даниэля-Аржака "Говорит Москва", например, есть лицемерные рассуждения о том, что-де "не очень красиво печататься в антисоветских изданиях". Но как отказать себе в этом, если представляется возможность вылить грязные помои клеветы на советский строй. Завершая свои пошлые, злобные "философские" рассуждения на этот счет, автор устами своего "героя" обращается прямо к читателю и подсказывает такой образ действий: "Сорвать предохранительное кольцо. Швырнуть. Падай на землю. Падай! Рвануло. А теперь бросок вперед. На бегу — от живота, веером. Очередь.

Очередь. Очередь... Вот они лежат — искромсанные взрывом, изрешеченные пулями..."

Как видим, на многое замахивается взбесившийся антисоветчик: по существу это провокационный призыв к террору.

В пасквильной повести Синявского-Терца "Любимов" поставлена задача доказать — ни больше, ни меньше — иллюзорность и несбыточность самой идеи коммунистического переустройства общества. В бредовой фантазмагории этого пасквиля нелегко нащупать реальные прообразы действительности. Однако идейно-политическая суть ее вполне очевидна: это безудержное издевательство над законами истории, над теми, кто отдал жизнь в борьбе за наши великие цели, издевательство над страной и народом. Нахальство сочинителя достигает здесь поистине гомерических размеров. К каким только выдумкам не прибегает он, сиюсь доказать иллюзорность теории и практики коммунизма! До каких высот обывательского злорадства поднимается, показывая крушение города Любимова, в котором некий Тихомиров задумал добиться всеобщего счастья... при помощи гипноза! С каким смаком описывает Синявский-Терц крах коммунистического "эксперимента" и возвращение "любимовцев" к старым порядкам жизни! И особенно выделяет он "под занавес" такую многозначительную деталь: "Мужик с угрюмым спокойствием, откровенно, на виду у всех, мочился в котлован с незаполненным бетоном фундаментом..." У мужика ко всему этому, дескать, вполне определенное отношение!

Не менее характерна "повесть" Даниэля-Аржака "Говорит Москва", упоминавшаяся выше. Вкратце вот ее сюжет: по радио передается Указ о том, что "в связи с растущим благосостоянием и многочисленными пожеланиями трудящихся" (автор способен издеваться над чем угодно!) воскресенье 10 августа 1960 года объявляется... чем бы вы думали? "Днем открытых убийств" — по типу Дня шахтера, Дня учителя и т.п. И дальше рисуются чудовищные картины быта, выдаваемого за советский, показывается идиотизм людей, дисциплинированно занятых "идеями" всеобщей резни. Режут друг друга, сводят счеты мужа и жены, всеобщий ужас захлестывает страну. И все это, разумеется, сдобрено солидными порциями пошлой эротики, пьяного разгула, разнузданного аморализма и чело-веконенавистничества.

Синявский-Терц и Даниэль-Аржак называют приспособленцами и "черносотенцами" всех, кто открыто и убежденно исповедует в своем творчестве идеологию коммунизма. Они издеваются над теми, кто выступает активным, верным помощником партии, сыном своего народа. Публикуя свои иезуитские статейки в некоторых советских журналах, Синявский, например, всячески выискивал у других авторов то, чем



отличался сам: двусмысленность идейной позиции, нигилизм и перекосы в сторону очернительства. Тут уж он не стеснялся в формулировках: "выступил в роли очернителя нашей жизни и культуры", "циничная клевета, злой вымысел, глупые инсинуации", "ужасы, им нарисованные, вымышлены, а характеры, при всем расчете на узнавание реальных прототипов, до невероятности искажены", и все это в целом "очень далеко от задач идейной борьбы, стоящих перед советским искусством..."\*

Антисоветчик в роли наставника советских писателей — какое бесстыдство! Какое наглое лицемерие! Какая наглядная демонстрация нравственного падения! Одной рукой он голосует "за", другую — со злорадным кукишем держит в кармане.

У нас, советских писателей, глубоко преданных идее коммунистического переустройства жизни, видящих в ленинской партии надежную опору, мудрого руководителя в самоотверженной борьбе за мир и счастье, у всех советских людей пасквильные сочинения Синявского-Терца и Даниэля-Аржака не могут вызвать иных чувств, кроме отвращения и гнева. И напрасно заокеанский покровитель перевертышей, белоэмигрантский поэт Б.Филиппов, в предисловиях к книжонкам Терца и Аржака пытается выдать своих подопечных за "известных советских писателей" — таких нет в советской литературе!

Впрочем, оставим западных покровителей двух пасквильянтов. Если они на чем-то и могут поиграть, то на плохой информированности зарубежной общественности о нашей советской жизни.

У лжи, однако, короткие ноги, и на них далеко не уйдешь. Я уверен, что каждый здравомыслящий человек на Западе, сопоставив известные ему факты о Советском Союзе с выдумками двух отщепенцев, всегда придет к правильному для себя выводу: он выбросит на помойку пасквили Синявского-Терца и Даниэля-Аржака.

Иначе и не может быть. Пасквильянты поднимают ведь руку не только на наше советское общество, они брызжут ядом на все передовое человечество, на его идеалы, на его священную борьбу за социальный прогресс, за демократию, за мир.

Ныне даже многие буржуазные журналисты из числа наших идеологических противников с почтением говорят о могучей силе социализма, ставшего "притягательным магнитом" для Африки, Азии, Латинской Америки, да и для всего мира вообще.

Синявский и Даниэль выросли в Советском Союзе. Они пользовались всеми благами социализма. Все то, что завоевано было старшими братьями и отцами нашими в огневые годы

---

\*Об этой статье А.Д.Синявского см. на с. 34.

революции и гражданской войны, в трудное время первых пятилеток, было к их услугам.

Синявский и Даниэль начали с малого: честность подменили беспринципностью, литературную деятельность, как ее понимают советские люди, — двурушничеством, искренность в своем отношении к жизни — нигилизмом, критиканством за спиной других, "перемыванием костей" ближних. И начав с этих мелких пакостей, они уже не останавливались. Они продолжали катиться по наклонной плоскости. И в конечном счете докатились до преступлений против советской власти. Они поставили себя тем самым вне нашей литературы, вне сообщества советских людей. От мелкого паскудства до крупного предательства — такова дорожка, по которой они шествовали.

В годы войны среди бойцов французского Сопротивления сражались и многие русские эмигранты. Они умирали под гестаповскими пулями со словами о бесконечно дорогой Родине, о далекой России, которой они остались верны сердцем. А эти двое? Они эмигранты особого вида: внутренние. Они замкнулись в своем прогнившем мирке. Там кипели их злобные страсти. Там они макали перья в чернильницы с ядом. Там они жили, воображая, будто это жизнь.

Какая ирония судьбы! Буржуазное французское издательство "Ашетт" выпускает книгу "СССР в двухтысячном году", снабженную девизом: "Идти в ногу со временем — значит прежде всего понимать, что происходит вокруг". И авторы книги это понимают: они рисуют образ великого народа — пионера века, который, возможно, не нравится им своей преданностью коммунизму, но которым они не могут не восхищаться. А два перевертыша писали книги, для коих девизом стало стремление не только не понять, а и оклеветать то, что происходит вокруг.

Впрочем, хочу уточнить: об иронии судьбы здесь говорить, пожалуй, неуместно. Здравый смысл и моральное уродство несопоставимы. Честные перья и иудины перья не могут лежать рядом. Ведь сочинительства перевертышей отражают не какие-то взгляды, а только идеологический маразм, продажность и беспринципность авторов.

Но только ли в этом дело? Ведь речь идет не просто о морально-политическом перерождении двух хулиганов. Речь идет об отщепенцах, поступивших на службу к самым оголтелым, самым разнузданным врагам коммунизма. На Западе потому и подогревают историю с Синявским и Даниэлем, что эти двое, со своей стороны, служили орудием подогревания психологической войны против Советского Союза.

Рано порадовались, господа! Ваши перевертыши сами перевернуты на спину. Их подлинное лицо распознано. Это не просто нравственные уроды, но и активные подручные

тех, кто шурует в топке международной напряженности, кто хочет холодную войну превратить в горячую, кто не расстался еще с бредовой мечтой поднять руку на Советский Союз. А к таким подручным не может быть снисхождения. Слишком дорого заплатил наш народ за завоевания Октября, за победу над фашизмом, за кровь и пот, пролитые ради Родины, чтобы безучастно отнестись к этим двум подонкам.

Как мы уже видели, "сочинения" этих отщепенцев, насквозь проникнутые злобной клеветой на наш общественный строй, на наше государство, являются собой образчики антисоветской пропаганды.

Всем содержанием своим они направлены на разжигание вражды между народами и государствами, на обострение военной опасности. По существу говоря, это выстрелы в спину народа, борющегося за мир на земле, за всеобщее счастье. Такие действия нельзя рассматривать иначе, как враждебные по отношению к Родине.

Пройдет время, и о них уже никто не вспомнит. На свалке истлеют страницы, пропитанные желчью. Ведь история не раз подтверждала: клевета, какой бы гнусной и злобной она ни была, неизбежно испаряется под горячим дыханием правды\*.

Так произойдет и на этот раз.

---

---

### **ЭТО ПРЕДАТЕЛЬСТВО\*\***

Известия. 1966. 18 янв. Общесоюзный выпуск

---

Вот уже сорок четыре года я работаю в поэтическом цехе моей страны. Я горжусь нашей литературой, горжусь тем, что советские писатели, посвятившие свое творчество служению светлым идеалам коммунизма, верные делу ленинской партии, народу, создали столько замечательных произведений, достойных эпохи великого созидания.

Все эти годы наши враги за рубежом злобно клеветали на советский строй, на советских людей, обливали грязью

---

\* Ср.: "Пройдет время. Могилы ненавистных изменников зарастут бурьяном и чертополохом, покрытые вечным презрением честных советских людей, всего советского народа. А над нами, над нашей счастливой страной, по-прежнему ясно и радостно будет сверкать своими светлыми лучами наше солнце". (Это сравнение – финала статьи Дм.Еремина с финалом обвинительной речи А.Я.Вышинского на процессе Бухарина и других (см.: Известия. 1938. 12 марта) – предлагал сделать автор газеты "Observer" в номере от 23 янв. 1966 г.)

\*\*Этот и два последующих текста – видимо, как наиболее типичные читательские отклики, – газета опубликовала под общим названием "Клеветники-перевертыши".

советскую культуру. Порой и у нас находились люди, которые подпевали врагам. Но о таких отвратительных клеветниках, как те, о которых рассказали "Известия" в статье "Перевертыши", мне еще не приходилось слышать. Я не мог спокойно читать эту статью. Два потерявших всякую совесть бесчестных авантюриста выдавали себя за советских литераторов, а на деле своими грязными измышлениями в зарубежной прессе по-холопски служили врагам социализма. Их преступные деяния не могут не вызвать гнева у советских писателей, отображающих в своих произведениях дружбу наших людей, занятых созидательным трудом в братской семье народов. Двудлинные лицемеры разоблачены. Общественность Азербайджана, наши писатели клеймят их позором и презрением.

Зарубежные покровители Синявского и Даниэля пытаются выдать перевертышей за представителей советской интеллигенции. Тщетны эти попытки. Между подлинной советской интеллигенцией, глубоко преданной своему народу, родной Коммунистической партии, и этими отщепенцами — глубочайшая пропасть. Называть их интеллигентами — значит оскорблять советскую интеллигенцию.

За границей у советского народа много друзей. Я уверен, что они вместе с нами возмущены измышлениями грязных пасквильантов. Ибо друзья понимают внутреннюю сущность, моральное убожество этих людей. Только таких и могут вербовать враги прогресса.

Наша дорога светла и солнечна. Мы умеем, идя по этой дороге, вырывать с корнем сорняки, выросшие в цветнике великой дружбы народов. Перья, умеющие выдавать черное за белое, а белое за черное, должны быть сломаны. Место двух предателей — на скамье подсудимых.

*Сулейман Рустам, народный поэт Азербайджана Баку*

---

#### **ТАКИХ НЕ ПРОЩАЮТ**

---

С гневом прочитали мы в "Известиях" о пошлых, омерзительных писаниях А.Синявского и Ю.Даниэля. Они лакейски сочиняли "сенсационные" книжонки и статейки на потребу буржуазным пропагандистам. Действительно, только чувство брезгливости вызывают грязные опусы этих нравственных уродов — специалистов по "темным проблемам" жизни, пытавшихся осквернить все наше родное, святое, советское.

Злобная клевета на наш общественный строй, государство преследует одну-единственную цель: выслужиться перед врагами Родины, нанеся удар из-за угла, из подворотни. Антисоветские сочинения Синявского и Даниэля — внутренних эмигрантов, а еще прямее говоря, отщепенцев и изменников — вызывают законный гнев всего нашего советского общества.

Они должны быть сурово наказаны. Этого требуют интересы и идеалы нашего народа, принципы социалистического гуманизма.

*А.Людмилин, главный дирижер музыкального театра, народный артист РСФСР; М.Подобедов, писатель, член КПСС с 1920 года; П.Монастырский, главный режиссер Театра им. Кольцова, заслуженный деятель искусств РСФСР Воронеж*

---

## **ИХ УДЕЛ – ПРЕЗРЕНИЕ**

---

Что может быть дороже Родины? Она нужна человеку, как солнце, как воздух, как чистый родник, наполняющий грудь живительной силой, едва прикоснешься к нему губами...

Было время, когда я могла потерять ее — мою Родину. Много лет уже прошло с той поры, но я и сейчас нет-нет да и возвращаюсь памятью к тем страшным дням, когда Латвия стонала под игом фашистских оккупантов. Сколько тогда я видела слез, сколько натерпелась ужасов! Помню, как однажды на дороге, ведущей в Бауску, гитлеровские солдаты гнали толпу людей, с котомками за плечами, с узелками в руках. За подолы материнских платьев держались испуганные ребятишки.

В страхе я кинулась в лес. Там уже оказались такие же, как я, местные жители — женщины, дети, старики, прятавшиеся в страхе, что их угонят в рабство, разлучат с отчим домом. Мы готовы были принять любые лишения, лишь бы миновала нас горькая чаша, лишь бы нам удалось остаться здесь, на израненной и поруганной, но милой сердцу латвийской земле. Именно в те страшные дни я особенно глубоко поняла: самое дорогое, что есть у человека — это Родина! <...>

Надо думать, что советское правосудие воздаст преступникам по заслугам. Но самым тяжким наказанием для них явится презрение, гнев советских людей, чей светлый день не в силах омрачить никакие синявские и даниэли!

*З.Гулбис, агроном Межотненской селекционной станции, Бауский район, Латвийская ССР*

---

**Юрий Левин, математик**

---

**ИЗ ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ "ИЗВЕСТИЯ"**

---

Уважаемая редакция!

Статья Дм.Еремина "Перевертыши", напечатанная в Вашей газете, вызывает горечь и недоумение. Читая ее, невольно вспоминаешь такие печальные эпизоды из истории нашей культуры, как недавнее дело И.Бродского, как травля Б.Пастернака, а раньше — А.Ахматовой и М.Зощенко, как кампания про-

тив "космополитов", или, из другой области, — как сессия ВАСХНИЛ. Углубляясь дальше в историю, вспоминаешь о гибели О.Мандельштама, И.Бабея, И.Катаева и многих, многих других. Здесь, в статье Еремина, та же лексика и фразеология, та же демагогическая апелляция к гражданским чувствам читателя, которую помнят все и по 37-му, и по 46—49-му, и по 1953 году.

Между тем вся система "доказательств", приводимых в статье, покоится на ложных (лучше сказать — лживых) основаниях. Основной довод Дм.Еремина — ссылка на цитаты из повестей и рассказов А.Терца и Н.Аржака. Уже давно известно — известно каждому школьнику, — что цитаты, вырванные из контекста, не могут дать представления о целом. А Еремин приводит даже не просто изолированные цитаты, но цитаты, взятые из прямой речи персонажей, или, в лучшем случае, из речи героя, от лица которого ведется повествование. Отождествление литературного героя (хотя бы такого, от лица которого ведется рассказ) с автором и его взглядов с взглядами автора представляет собой до смешного элементарную ошибку, понятную опять-таки любому школьнику, и тем более непростительную для писателя Дм.Еремина (Ср. хотя бы "Записки из подполья" Достоевского или повесть прогрессивной шведской писательницы Сары Лидман "Я и мой сын", написанную от лица оголтелого расиста). "Методом" Еремина можно доказать все что угодно и о ком угодно; хотя бы о Пушкине (цитатами из "Онегина" — что он мечтал о смерти своего дяди <...>\*

Произведения Терца и Аржака названы в статье "антисоветскими пасквилями", сказано, что эти произведения — "гнусное издевательство над самым дорогим для Родины и народа", об авторах говорится, что они испытывают "ненависть к нашему строю", что они "поступили на службу к самым оголтелым... врагам коммунизма". Итак, Еремин считает произведения Терца и Аржака антисоветскими и антипатриотическими. Их авторы объявлены врагами нашего строя и людьми, не любящими свою Родину.

Об "антипатриотизме".. Начнем с того, что любовь к Родине — чувство глубоко интимное, личное — как любовь к женщине или искусству. Ни один человек не вправе требовать от

---

\*Мы приносим извинения авторам тех писем, которые нам приходится публиковать с сокращениями. "Элементарные ошибки" Дм.Еремина (аналогичные — З.Кедриной), понятные, как выше было отмечено, любому школьнику, неминуемо повлекли за собой желание многих авторов (см. далее письма Ю.Герчука, И.Роднянской, В.В.Иванова) разъяснить писателю Дм.Еремину и литературоведу З.Кедриной именно эти ошибки, как наиболее элементарные. В результате тексты во многом повторяются. Эти повторы мы частично и сократили.

другого — "люби Родину". Другое дело, что человек, не привязанный к своей стране, к ее языку, ее людям, ее пейзажам, — духовно неполноценен, он обкрадывает сам себя, оказывается духовным кастратом, подобно человеку, для которого не существует искусство. Но еще раз повторяю: любовь эта — интимное чувство, которое нельзя афишировать, о котором не подобает кричать на площадях и на газетных страницах, — всякого рода патетические излияния на эту тему всегда, по словам Пастернака, "морально подозрительны" и, как правило, свидетельствуют как раз об отсутствии любви и о желании добиться каких-либо выгод для себя. Во всяком случае, Пушкин, Чаадаев или Лермонтов, которые никогда не афишировали свой патриотизм и которые сказали немало горьких слов о России, были большими патриотами, чем Булгарин и Бенкендорф. <...>

Так вот я утверждаю, что произведения Аржака и Терца продиктованы любовью к своей стране и ее народу, болью, вызванной бедами, пережитыми им, стремлением, чтобы эти беды не повторились, острым переживанием тех неблагоприятных, которые и сейчас мешают нам жить. Это литература большого гражданского накала, большой искренности, литература именно патриотическая. <...>

Об "антисоветском" характере произведений Терца и Аржака. Если под антисоветской деятельностью понимать затрагивание любой темы, о которой "не принято" писать, то эти вещи — действительно антисоветские. Однако таким методом нетрудно объявить антисоветским или заклеить каким-либо другим столь же одиозным ярлыком не удобное кому-либо произведение, вплоть до заметки в стенгазете, критикующей работу столовой — столовая-то наша, советская. <...> Никаких попыток ревизии основ советской государственности или социалистической экономики, никаких следов, скажем, стремления к реставрации капитализма, — что и означало бы антисоветский характер этой литературы, — ничего этого невозможно отыскать в произведениях Терца и Аржака при всем желании. <...>

<Середина января 1966 г.>

Юрий Левин

---

Юрий Герчук, искусствовед

---

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ "ИЗВЕСТИЯ"

---

Уважаемый тов. редактор.

Прочитав в Вашей газете от 13 января статью Дм.Еремина "Перевертыши" и отклики на нее в номере от 18 января, я считаю своим долгом написать Вам, так как близко знаю людей, о которых в этой статье идет речь, и мне удалось также познакомиться с произведениями, которые в ней цитируются.

Уже много лет в нашей печати не появлялись статьи, написанные в таком тоне — переполненные грубыми ругательствами, истерическими восклицаниями, столь бессовестно передергивающие и перетолковывающие вырванные из контекста цитаты. Последнее делается тем легче, что предполагаемые авторы сидят в тюрьме и лишены возможности спорить, а подавляющему большинству читателей газеты не опубликованные в СССР произведения незнакомы.

Еремин применяет простейший прием: слова отрицательного персонажа, нарисованного в резко сатирических красках, приписываются автору, без оговорок выдаются за его мнение. В статье — три цитаты из рассказа А.Терца "Графоманы", написанного от первого лица, от лица бездарного непризнанного писателя, который живет впроголодь и исходит завистью, ненавистью, недоверием ко всем, кому "повезло" — к писателям, редакторам, к классикам. Это он, а не автор рассказа, ненавидит Чехова и классиков вообще, он видит в секретаре редакции "девчонку, доступную любому корректору..." Можно ли поверить Еремину, что он этого не понял? Весь тон статьи убеждает в том, что такое использование цитат — результат вполне сознательной ловкости рук, циничный расчет на то, что читателям не удастся сверить тексты.

А вот другой, но не более честный способ цитирования. В повести Н.Аржака "Говорит Москва" герой — на этот раз симпатичный автору и во многом, очевидно, выражающий его мысли — размышляет о средствах борьбы со злом, с насилием. Может быть, оружие? "Сорвать предохранительное кольцо. Швырнуть. Падай на землю..." и т.д. Но нет. Размышления идут дальше, герой отвергает террор, он не хочет крови, не хочет убийства. Еремин обрывает цитату перед этим поворотом в мыслях героя и получает нужный ему вывод: "По существу, — пишет он, — это провокационный призыв к террору!"

Естественно, что, столь легко разделавшись с цитатами, Еремин чувствует себя свободнее, когда обращается к общему смыслу произведения.

Повесть Терца "Любимов" — сложная, нелегко поддающаяся анализу вещь. Попытка с маху, одной фразой определить ее идею заранее обречена на неудачу. Но для Еремина здесь все просто: "...поставлена задача доказать — ни больше, ни меньше — иллюзорность и несбыточность самой идеи коммунистического переустройства общества". Однако и это утверждение явно рассчитано на людей, не имеющих возможности проверить Еремина. Да, повесть Терца — произведение сатирическое. Да, она показывает в гротескной, фантастической форме крах попыток без труда, с маху, чисто словесным путем, "при помощи массового гипноза" (цитирую Дм.Еремина), добиться "всеобщего счастья"... Не тех ли самых по-



пытков, которые теперь, уже после появления повести, широко обсуждались и осуждались у нас под названием "субъективизма и волюнтаризма"? И ведь если в финале Любимов возвращается "к старым порядкам жизни" — то это как раз советские порядки. Правда, жил Любимов той не очень завидной жизнью, кзкой живут многие наши маленькие города, оставшиеся в стороне от дорог, лишённые промышленности, а вместе с ней и больших перспектив роста. Неслучайно проблема "маленьких городов" привлекает сейчас внимание многих советских публицистов. И если писатель показывает, что проблема эта не решается одним только "напряжением воли", достаточно ли этого, чтобы назвать его преступником?

То же самое, в сущности, можно сказать и о повести Н.Аржака "Говорит Москва". Это остросатирическое произведение, посвященное, несмотря на гротескную фантастичность сюжета, вполне, к сожалению, реальным недостаткам нашей жизни. В том числе тем, которые еще раз проявились в самые последние дни в горячей готовности столь многих людей, не задумываясь, поддержать любую кампанию — например, призывать к расправе над авторами не известных им произведений на основании пяти оборванных фраз, процитированных газетой (см. "Известия" от 17 января). <...>

Характерно, что, сосредоточивая свое внимание на немногих произведениях Н.Аржака и А.Терца, Еремин обходит другие, не менее значительные — роман Терца "Суд идет", посвященный судебному произволу времен культа личности, его развращающему влиянию на людей не только причастных, но и прямо не причастных к нему, и повесть Аржака "Искупление", посвященную близкой теме — духовному наследию тех же времен, не распутанным до сих пор узлам взаимных обвинений и подозрений, нашей общей ответственности за творившуюся на наших глазах вакханалию доносов и репрессий. Оба эти произведения достаточно ясно показывают, чем вызван сатирический пафос книг Аржака и Терца, против каких сторон нашей жизни, против каких сил и какого наследия они выступают. Но ведь для Дм.Еремина стремление покончить с этим мрачным наследием, разрешить до сих пор не разрешенные вопросы общественной морали — это лишь "болезненный интерес" к темным "проблемам жизни"! Не странно ли, что газета, нередко посвящающая свои страницы этим "темным проблемам" — спорным вопросам нашей морали и правосудия, — предоставляет их теперь для публикации этой погромной статьи?

Чувствуя, очевидно, недостаточность своих аргументов для объяснения причин ареста писателей и своих нападков на них, Еремин прибегает к более общим обвинениям, которые никак не пытается аргументировать и которые нельзя вывести из цитируемых им произведений. Тут и клевета на армию,

”бессмертный подвиг которой спас народы Европы от истребления гитлеризмом” (он забывает только добавить, что один из обвиняемых — Ю. Даниэль — участник этого подвига, раненый на войне, которую он прошел рядовым). Тут и ”разжигание вражды между народами и государствами” — тоже ничем не доказуемое, и т.д.

— Еще одна характерная для Еремина частность. Он пишет: ”Русский по рождению, Андрей Синявский прикрылся именем Абрама Терца. Зачем? Да только с провокационной целью...” и т.д. Я знаю многих советских писателей-евреев, чьи псевдонимы звучат вполне по-русски. Это не вызывает ни у кого удивления, мне не приходилось читать упреков этим писателям в каких-либо задних мыслях. Почему же русский автор, назвавшийся именем и фамилией, напоминающими еврейские, должен вызывать такой гнев и обвинения в том, что сделано это якобы для доказательства существования у нас антисемитизма? Странное доказательство! Но зато самые эти намеки Еремина на то, что недостойно ”русского по рождению” называться еврейским именем — вполне достаточное доказательство существования антисемитизма, и не где-нибудь, а среди авторов, пишущих в ”Известиях”.

С пафосом защищает Еремин от критики А. Синявского некоего писателя, который, по его мнению, ”выступает активным, верным помощником партии, сыном своего народа”, возмущенно цитирует статью Синявского, не упоминая, однако, кому она посвящена. И это не случайно. Ведь имя Ивана Шевцова, автора романа ”Тля”, разбору которого посвящена цитируемая статья Синявского, стало уже одиозным, — вся советская критика, самые разные газеты и журналы выступили единодушно против романа, посвященного пропаганде иллюстративно-натуралистического направления в искусстве и оплевывающего всех, кого оно не удовлетворяет, романа, положительные герои которого не знают других средств борьбы со своими противниками в искусстве, кроме многократных доносов на них. В чем же состоит ”лицемерие” критика, всегда открыто борющегося с такого рода литературой? Если по поводу неизданных в СССР произведений Терца и Аржака многие вынуждены будут верить Еремину на слово, то оценку критической деятельности А. Д. Синявского легко проверить.

Не являясь филологом, я все же утверждаю, что его многочисленные и весьма значительные критические и историко-литературные статьи будут свидетельствовать в его пользу. Достаточно напомнить написанное им обширное предисловие к недавно изданным стихотворениям и поэмам Б. Пастернака — по существу, первую монографию о крупнейшем поэте нашего времени. Необычайная острота и свежесть восприятия стиха позволяет Синявскому раскрыть всю глубину и сложность ощущения жизни, свойственную большому поэту.

Вот прочитана большая — на четыре газетных столбца — статья Еремина. Я перечитываю ее снова и снова, стремясь понять, чем же все-таки вызван арест писателей, длящийся уже несколько месяцев? Фактом опубликования произведений за границей? Но известно, что само по себе это не преступление, что в советских законах нет статьи, запрещающей это. Сатирической направленностью их произведений? Но сатира — необходимое средство общественной гигиены, средство преодоления недостатков, ликвидации застоя. Без нее общество загнивает. Для меня несомненны высокие художественные качества произведений Аржака и Терца, глубокая выстраданность их критического пафоса. Я не считаю вообще, что содержание художественного произведения может быть объектом судебного разбирательства. Да, Н.Аржак и А.Терц не соразмерили размаха своей сатиры с мнением начальства (как не делали этого в свое время Свифт или Салтыков-Щедрин) и поэтому были вынуждены печататься за границей. Достаточно ли этого, чтобы объявить их клеветниками? Клевета — понятие юридическое, ее наличие необходимо доказать и при этом не путать (злонамеренно или по недостаточности грамотности) с художественной гиперболой, с сатирическими приемами заострения. Пока что клевету гораздо легче обнаружить в статье самого Дм.Еремина, в его шулерских приемах передергивания вырванных из контекста цитат.

Вот почему возникают тревожные вопросы о причинах напечатания такой статьи сейчас, когда Ю.Даниэль и А.Синявский уже более четырех месяцев находятся в тюрьме, когда предстоит, очевидно, суд над ними. Для чего печатаются "отклики" людей, явно знающих о деле лишь по статье Еремина, судящих о писателях лишь по перетолкованным им цитатам? Для чего создается непосредственно перед судом эта накаленная истерическая атмосфера, хорошо знакомая нам по печально известным кампаниям против Пастернака, против "врачей-вредителей", против "антипартийной группы театральных критиков" и т.п. — обстановка, менее всего способствующая необходимому на суде выяснению истины и установлению справедливости? Возникает и вопрос о том, не базируется ли эта статья на материалах следствия и не будут ли, в таком случае, обвинения на суде столь же голословными и необъективными, как у Дм.Еремина?

Вот эта тревога и заставляет меня обратиться к Вам с письмом, хотя атмосфера, созданная вокруг дела Даниэля и Синявского, не дает мне надежды на то, что оно будет напечатано, а бесцеремонное обращение Вашего автора с цитатами заставляет опасаться того, что и мое письмо может быть подвергнуто подобной операции. Тем не менее, я пишу Вам, потому что считаю необходимым сказать, что среди советской интеллигенции (думаю, что имею право говорить не только

о себе, но и о тех, чье мнение по этому поводу мне известно) есть, вопреки утверждению Еремина, люди, глубоко обеспокоенные фактом ареста писателей за их литературную деятельность и возмущенные газетной травлей людей, не имеющих возможности ответить на обвинения и опровергнуть возводимую на них клевету, тем более, что явная недобросовестность статьи Дм.Еремина ясна и многим из тех, кто не имеет возможности его проверить. <...>

<Январь 1966 г.>

Юрий Герчук

---

Владимир Корнилов, Лидия Чуковская  
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ "ИЗВЕСТИЯ"\*

---

Копия: Президиуму Верховного Совета СССР

Уважаемый товарищ редактор!

В номере 10 Вашей газеты от 13 января 1966 года помещена статья Дм.Еремина "Перевертыши".

Молча пройти мимо этой статьи мы не можем.

Приведя несколько цитат из произведений, напечатанных за границей, Дм.Еремин осыпает бранью предполагаемых авторов.

В первой половине статьи он именует А.Синявского и Ю.Даниэля отщепенцами, подонками и хулиганами, затем, уже ближе к концу, "орудием подогревания психологической войны против Советского Союза" и в конце — "подручными тех, кто шурует в топке международной напряженности", кто "хочет холодную войну превратить в горячую".

Статья принесла свои плоды. В номере 14 от 18 января 1966 г. помещены читательские отклики — три письма, в которых фамилии Даниэля и Синявского пишутся уже с маленькой буквы. Авторы писем безусловно, уже без всяких цитат и малейших попыток аргументации, уже без постепенных переходов от беспринципности к хулиганству, от войны психологической к настоящей войне, — прямо и решительно именуют А.Синявского и Ю.Даниэля предателями и изменниками.

За это вреднейшее смешение понятий, за эту подмену и рост обвинений в умах читателей — всецело отвечает Дм.Еремин.

Один из нас никогда и в глаза не видывал ни Ю.Даниэля, ни А.Синявского; другой отдаленно знаком с Ю.Даниэлем. Человеческий облик обоих вообще нам неведом, а литературные работы известны слишком недостаточно для определенного суждения. Нам неизвестно, например, из какого контек-

---

\*Опубликовано впервые в кн.: Чуковская Л.К. Открытое слово. Нью-Йорк, 1976.

ста почерпнуты цитаты, приводимые Дм.Ереминым, выражают ли они идеи авторов или мысли персонажей. Таким образом мы (как, впрочем, все читатели "Известий") не располагаем материалом, позволяющим нам соглашаться или спорить со статьей Дм.Еремина по существу.

Но она глубоко возмутила нас. Духом, тоном, стилем. Используя выражение Герцена, о статье этой можно сказать, что "здесь чернила слишком близки к крови, слова к свинцу".

От авторского словаря и системы мышления разит тем словарем и тем ходом умозаключений, каким отличались газетные статьи в наиболее острые периоды сталинских кровавых облав на людей: годы 37—38, 48—53. Та же грубость выражений, та же опасная игра словами и понятиями.

И самую статью Дм.Еремина и ее напечатание в "Известиях" — газете, которая еще так недавно призывала соблюдать законность, — мы считаем вреднейшей ошибкой.

Прежде всего статья Дм.Еремина безнравственна. Наносить публичные оскорбления людям, которые в данную минуту находятся в тюрьме и лишены возможности ответить, — неблагородно, низко. Это во-первых. А во-вторых, напечатание статьи Дм.Еремина противоречит смыслу нашего законодательства. В 1964 году, в номере 287 тех же "Известий", была опубликована статья А.Ф.Горкина. Председатель Верховного суда СССР настойчиво предлагал газетам воздерживаться от опубликования высказываний, "в которых до рассмотрения дела в суде уже признается виновность тех или иных лиц". А.Ф.Горкин квалифицировал подобные высказывания как попытки давить на суд.

Статья Дм.Еремина — это и есть, на наш взгляд, попытка противозаконного воздействия на суд и на общественное мнение накануне процесса. Ведь суда еще не было, голоса прокурора, свидетелей, защитников и самих обвиняемых еще не прозвучали, а читатели, с легкой руки Дм.Еремина, уже гневно клеймят подсудимых, принимая их за осужденных... Клики ненависти и грубая брань — та ли это атмосфера, в которой должны работать беспристрастные судьи?

Кто дал право "Известиям", накануне судебного разбирательства, устами авторов писем называть подсудимых изменниками и предателями, то есть практически подменять собою судей и выносить приговор до суда, выдавая за доказанное то, что как раз и подлежит доказательству?

Мы протестуем против статьи Дм.Еремина как против замаскированного беззакония.

23 января 1966 года

Члены Союза писателей:  
Владимир Корнилов, Лидия Чуковская

---

---

Зоя Кедрина

---

**НАСЛЕДНИКИ СМЕРДЯКОВА**

---

Литературная газета. 1966. 22 янв.

---

Еще до того, как выяснилось, что А.Синявский и Ю.Даниэль тайно печатались за рубежом под псевдонимами Абрама Терца и Николая Аржака, до того, как они были привлечены к ответственности за свои антисоветские "литературные забавы", зарубежная капиталистическая пресса, радио, телевидение до небес превозносили их произведения. Лондонская газета "Таймс", например, объявляла творения Терца "блестящим опытом сатиры... достойным лучших образцов русской традиции", а "Нью-Йорк Таймс" высказывала уверенность, что "каждый русский писатель гордился бы, если бы мог создать такие эссе, повести и афоризмы, как Абрам Терц".

Еще в 1962 году радиостанция "Свобода" утверждала, что Абрам Терц "рисует советскую действительность с намешкой..." Американское агентство ЮПИ совсем недавно сообщало, что "Синявский специализировался на произведениях, высмеивающих советскую действительность", а итальянская газета "Джорно" повествует с эпическим спокойствием: "С 1959 г. в США и других западных странах появились брошюры и книги... антисоветского характера за подписью Абрама Терца".

Еще вчера печатавшие завлекательные статьи под заголовками вроде "Неуловимый Абрам Терц", сегодня те же газеты и журналы спокойно раскрывают псевдонимы, так прямо и пишут: Терц-Синявский, Даниэль-Аржак.

Да, буржуазная пропаганда не скрывала своих политических оценок писаний Терца-Синявского и Аржака-Даниэля.

Тем более удивительно, что в самое последнее время на Западе раздались голоса "доброжелателей", озабоченных судьбой Синявского и Даниэля и уверяющих, что причины их ареста якобы неосновательны. Заступники и болельщики Синявского и Даниэля ныне деликатно умалчивают об антисоветском содержании их сочинений.

Так что же такое написали эти люди, тайно выступавшие за рубежом под вымышленными именами? Что заставило их искать покровителей среди реакционных западных, в том числе эмигрантских, издательств?

Передо мною вашингтонские издания книг Абрама Терца и Николая Аржака.

Я прочитала эти книги внимательно, и для меня совершенно ясно, что это самая настоящая антисоветчина, вдохновленная ненавистью к социалистическому строю. Разумеется, я не претендую на юридическое определение вины Аржака и Терца. Это дело судебных органов. Мне хочется разобраться

в другом. Может быть, при всей враждебности нам содержания этих произведений авторы их все же способные люди, какими их хотят представить зарубежные покровители? Нет. Даже если отвлечься от всего того, что в этих книгах возмущает вас как советского человека, читать их неприятно и скучно, — в иных случаях из-за примитивной прямолинейности, художественного худосочия, в других — из-за нарочитой запутанности изложения, такого нагромождения всевозможных иносказаний, что иной раз начинает казаться, будто перед вами бес-связное бормотание.

Пробравшись через, казалось бы, непроходимые пустыни риторики, сквозь чащи всевозможных символов, аллегорий и перекрестных взаимоперевоплощений персонажей, обнаруживаешь очень простую и ясную рационалистическую конструкцию, так сказать, идейный скелет всех произведений этих людей. Предельная запутанность формы у А. Терца служит всего лишь пестрым камуфляжем для его "основополагающих идей", и когда ее сорвешь и отбросишь в сторону, поначалу голая схема даже ошеломляет: только-то и всего?! Два-три самых затасканных тезиса антисоветской пропаганды, знакомых с незапамятных времен.

Особенно наглядно нищета мысли раскрывается в насквозь клеветнической повести Н. Аржака "Говорит Москва".

Сюжет этого "произведения" столь же прост, сколь облыжен. Правительственным указом по радио объявляется (в ряду дней "железнодорожника", "танкиста" и др.) "День открытых убийств". В этот день каждый может и должен уничтожить любого человека (кого заблагорассудится), исключая лиц некоторых административных, категорий. "Мероприятие", направленное на то, чтобы "запугать" население, в общем-то проваливается.

Читатель, естественно, спросит, зачем было придумывать такую нелепицу? Да затем, чтобы дать главному "положительному" персонажу возможность произнести несколько "зажигательных" речей, в том числе и о том, кого бы, по его мнению, на самом деле стоит убить.

Обдумывая и отвергая предложение своей любовницы убить ее нелюбимого мужа (впрочем, тут же и извиняя ее желание: ведь она мужа ненавидит), "герой" перебирает в уме всех своих врагов и обидчиков с детства и находит их достойными лишь того, чтобы проучить хорошенько, но не убивать же! А убивать хочется. Кого же?..

Лицами, заслуживающими поголовного истребления, оказываются все люди, представляющие социалистический строй и осуществляющие государственную политику, люди, которых "герой" повести малюет в самых гнусных, издевательских тонах. "Как с ними быть?" И тут кровавый туман застилает глаза героя-рассказчика. И он взывает: "Ты еще

помнишь, как это делается? Запал. Сорвать предохранительное кольцо. Швырнуть. Падай на землю. Падай! Рвануло. А теперь — бросок вперед. На бегу — от живота веером. Очередь. Очередь. Очередь...” И упиваясь мысленным зрелищем разорванных животов и вывороченных кишок, кровавой кашей, где все перемешалось — ”русские, немцы, грузины, румыны, евреи, венгры, бушлаты, плакаты, санбаты, лопаты”, ”положительный герой” грезит о студебеккерах — одном, двух, восьми, сорока, которые пройдут по трупам.

Обыкновенный фашизм, скажете вы? Да, обыкновенный фашизм. Иллюстрации к его программе кровавых войн и спровоцированных путчей. При этом иллюстрации античеловечные не только по содержанию, но и по форме, по своей ”эстетике” массового истребления людей. Эту программу ”освобождения” от коммунизма и советского строя ”герой” повести пытается обосновать, с одной стороны, заверениями, будто идея ”открытых убийств” берет начало ”в самой сути учения о социализме”, с другой, что вражда — в природе человеческого общества вообще. Правильно делает тот, кто рассматривает каждого человека как потенциального врага, ибо ”все друг друга в ложке воды утопить готовы”, ”скоро звери единственно связующим звеном... между людьми будут”. Сюжет повести эту идею полного распада человеческих связей и иллюстрирует...

Я думаю, что читатель согласится со мной, что при таком содержании форма изложения особой роли не играет. Повидимому, так считают и сам автор, и его издатели, объявляющие в предисловии, что ”основной момент повести” (объявление ”Дня убийств”) — ”только художественный прием” для изображения советского общества в нужном им плане. Автор предисловия поясняет далее, что ”нельзя к советской действительности подходить с мерками и оценками общеевропейского реализма: что кажется совершенно невероятным в некоммунистическом мире, — вполне возможно в мире ”социалистического реализма”. То есть на советское общество можно лгать как угодно, — все сойдет, лишь бы было против социализма.

Под этим знаком трудился и Абрам Терц, правда, с более пристальной заботой о камуфляже своих антисоветских взглядов.

Автор повестей Абрама Терца — кандидат филологических наук А.Синявский, которого зарубежная реакционная пресса с рекламным шумом объявляет ”наследником русской традиции”, человек расторопный, и сам охулки на руку не положит, без зазрения совести запуская ее в чужие книги. Нравственная нагота Абрама Терца, те антисоветские ”идеи”, которые он усвоил и жаждет распространить, выступают в одеждах самых различных литературных реминисценций и парал-



лелей. Вырванные с мясом из самых различных чужих произведений, вывернутые наизнанку и на скорую руку сметанные в пестрое лоскутное одеяло "антисоветчины", они характеризуют "творческое лицо" Абрама Терца как человека, нагло паразитирующего на литературном наследии.

Статья А.Терца "Социалистический реализм"\* — наглядное свидетельство "разложения личности", отвратительного двурушничества, поскольку в этой статье оплевывается то, чему Синявский посвящал свои историко-литературные работы, опубликовавшиеся в СССР.

Так вел себя Синявский—"теоретик", а вот воплощение его теорий в художественной, с позволения сказать, практике.

Передо мной "Фантастические повести" Абрама Терца, посвященные повседневному быту советских людей. Куда же "приводят" эти повести читателя? Что за мир разворачивается перед нами?

Случайные воры и убийцы, пропивающие свои несправедливые доходы по ресторанам и развлекающиеся на манер охотнорядских купцов с проститутками (рассказ "В цирке").

Оборотни, ведьмы, русалки и всяческая нежить, приплывшая в город по водопроводным трубам и существующая в смертельной взаимной вражде в коммунальной квартире (рассказ "Квартиранты").

Невольный ясновидец, завербованный в органы безопасности и бьющийся вместе с тупым полковником Тарасовым над усиленным "улучшением истории", которая выражается в составлении планов мировой агрессии коммунизма. Именно для этого "мотива" и конструировалась длиннейшая и нелепейшая история о злоключениях супермена, который все заранее предвидит, но ничего не может предотвратить, даже свою собственную гибель. Для этого да еще опять же для иллюстрации "идеи" об извечной враждебности людей друг к другу и написана повесть "Гололедица".

Но сколь ни фантастично все, что вы читаете, вас не покидает мысль о том, что если нигде и никогда еще вы не встречали такой тоскливой злобы, липкой грязи, оголтелого цинизма, то внешние черты обстановки, приема, сюжетной схемы вам уже знакомы. Вот появляются перед вами нищие трущобы, населенные забитыми, озлобленными и униженными людьми, — и вы вспоминаете "Петербургские трущобы". Сам А.Терц и его зарубежные покровители усиленно хлопочут, чтобы перебросить мостик от "Фантастических повестей" прямо к Достоевскому. Вы догадываетесь об адресе терцевских притязаний не по силе сострадания к униженным и оскорбленным и не по глубине психологического анализа, проникновения в души

---

\*"Что такое социалистический реализм".

людей; состраданию и никаким нормальным человеческим чувствам у Терца места нет, а психология у него вообще подменяется патологией. Вам становится понятным, на что претендует Терц, по внешним, грубо спародированным описаниям сырых углов, физических и нравственных тупиков, которые возникают в потоке помраченного сознания персонажей "Фантастических повестей".

В уже упоминавшейся выше статье Абрам Терц заявил, что Достоевский "был настолько широким, что сочетал в себе православие с нигилизмом и мог бы обнаружить в своей душе сразу всех Карамазовых — Алешу, Митю, Ивана, Федора (а некоторые утверждают, что даже Смердякова), и, собственно, неизвестно, кого из них в нем было больше". В отношении самого Терца всякому, кто прочитал его сочинения, становится ясно: в его, терцевской, "душе" больше всего Смердякова. Если бы не Достоевский создал Смердякова, вложив в его образ всю силу своей ненависти к растлителям человеческих душ, а сам Смердяков писал романы, обобщая явления жизни со своих, смердяковских позиций, мы могли бы без труда установить прямое родство Терца с такой "традицией". Ибо нет той бездны нравственного распада и растления, которой убоялись бы достойные наследники Смердякова в своем стремлении осквернить и затоптать все человеческое в советском человеке: дружбу, любовь, материнство, семью. Только в смердяковском воспаленном мозгу могли быть созданы эти изощреннейшие извращения всех отношений между людьми, в условиях которых, скажем, жена изменяет одновременно и мужу, и любовнику, а они изменяют ей, а заодно и самым элементарным нормам нравственной чистоплотности, делясь между собой своими интимными "впечатлениями". Только духом Смердякова могут быть вдохновлены мысли терцевского персонажа насчет употребления человеческих эмбрионов на консервы в целях предотвращения перенаселения земли.

Литературные пародии и реминисценции Синявского-Терца выражают злобную ненависть по отношению ко всем установлениям, людям, быту того общества, в котором Терц-Синявский живет и которое стремится замарать всеми доступными ему средствами, рисуя его в виде скопища отвратительных чудовищ.

Входите вы в "коммунальную" квартиру с населяющими ее ведьмами и оборотнями — и перед вами начинают мелькать сологубовские персонажи, нечисть из клычковского "Чертухинского балакиря". А вот и "жилец" — персонаж, сделанный в стиле Кафки, — оборотень, вползающий в комнату без стука, в щель под дверь. "По внутреннему помещению расхаживаю сколько угодно. Хочу — по стенам, хочу — по толку. Но за порог ни ногой. Физиология не позволяет".

Но Сологуб, создавший своего Передонова, этого Передонова презирал. Кафка, при всей безнадежности своего взгляда на человеческую жизнь, ненавидел копеечный мир бюргерства, превращающий человека в пресмыкающееся. Терц же неотделим от той мерзости, в какой пребывают его персонажи.

"С миру по нитке — голому рубашка". Рядом с обокраденным Кафкой Терц спокойно и деловито вклеивает издательскую пародию на гоголевскую птицу-тройку — и все для того же, чтобы еще раз пнуть ногой советское общество. "Эх, поезд, птица-поезд! Кто тебя выдумал? Знать, у бойкого народа мог ты только родиться! И хоть выдумал тебя не тульский и не ярославский расторопный мужик, а изобрел, говорят, для пользы дела мудрец-англичанин Стефенсон, уж больно пришлось ты в пору по нашей русской равнине, и несешься вскачь по кочкам, по пригоркам, по телеграфным столбам, и замедляешь и убыстряешь движение, пока не зарябит тебе в очи. А приглядеться — печь на колесах, деревенский самовар с прицепом. Сердитый на взгляд, но добрый, великодушный, кудрявый. Пыхтит себе, отдувается и прет на рожон куда ни попросишь, только ухнет для острстки, да как свистнет в два пальца, заломив шапку на затылок этаким фертом, этаким чертом, этаким черт те каким, сам не знает, гоголем? дескать, помни наших, не то раздавлю! Чем мы хуже других?!"

Хочешь не хочешь, а согласишься с оборотом из "Квартирантов": "Нет... не найти вам среди наших квартирантов ни одного живого лица". Да, ни одного лица, взятого из той жизни, на обобщение которой претендует Абрам Терц, — а все из чужих книг, изображающих иные времена, а то и другие страны. Взято, чтобы исковеркать, осквернить и запачкать по-своему, по-терцевски все советское, все человеческое, а заодно и тот источник, из которого "заимствует" Терц.

Даже в тех случаях, когда А. Терц берет не фантастический сюжет, а претендует вроде бы на обыкновенный показ жизни (повесть "Суд идет"), сюжетные ходы, образы, расстановка противоборствующих сил взяты напрокат из многообразных книжных источников, одним из которых является и позабытая уже у нас бульварная литература. В духе этой литературы дана, например, вся линия роскошной обольстительницы, жены прокурора — Марины Павловны. Откровенное любование "утонченно-пошлым очарованием" пожирательницы сердец живо напоминает бульварные шедевры. А подробное описание нравов и обычаев среды, в которой разворачивается действие, среды "добродушных мужчин, наводящих ужас, может быть, на полмира", снова приводит на ум литературу эпохи реакции и еще более ранних времен: Сологуб, Арцыбашев — все имеют здесь свою "долю", невольно поставляя автору изуродованные клочки и обрывки своих тем и образов.

Вкладывая иезуитский тезис о цели, оправдывающей средства, в уста советского человека, на все лады глумясь над идеалами коммунизма, Абрам Терц посылно иллюстрирует клеветническую формулу антисоветской пропаганды, что "хороший социализм" — это "свободное рабство" ("Суд идет").

Иллюстрации этого положения посвящена и повесть "Любимов", самое объемное произведение, наиболее полно выражающее "идейную концепцию" и "художественный метод" Абрама Терца.

Если в предыдущих своих повестях Абрам Терц задавался целью оклеветать наши идеалы, наше общество, так сказать, по частям, то здесь, в "Любимове", автор пытается "снять" проблему построения коммунизма в целом, в "историческом" разрезе раз и навсегда! — не больше, не меньше. Для этого он пародирует тезис о построении социализма в одной стране изображением неудавшейся попытки такого построения в одном заштатном городе Любимове, стоящем среди лесов и болот, в стороне от мировой цивилизации.

"История заштатного города Любимова — это — в капле воды — история всего необъятного коммунистического мира, в первую очередь — коммунистического СССР", — пишет автор предисловия к вашингтонскому изданию книги белоэмигрант Б.Филиппов\*. "Но это не "История города Глупова" Салтыкова-Щедрина. У Салтыкова-Щедрина — позитивистическая желчная карикатура, вполне реалистическая, плоская, не идущая дальше эпидермы явлений", — присовокупляет он. "Любимов" Терца — современнее — и глубже..." Еще бы! Терцевское "творение" современнее уже потому, что, "списав" опять-таки чисто внешний рисунок щедринской сатиры с ее фантастической гиперболой, А.Терц подбавил к ней и кое-какие "окуровские" краски, поставив во главу угла своей конструкции, рассчитанной на невзыскательный вкус обывателя, замятинское "Наше уездное"\*\*. Для изображения своего заштатного городка автор обокрал также и некоторые произведения советской литературы 20-х годов, рисующие Россию нэповских времен, прихватив, кстати, и кое-какие словесные приемы орнаментальной прозы.

А.Терца не смущает, что украденные им приемы, образы, сюжетные ходы, характеристики несут совершенно иные,

---

\*Филиппов Борис Андреевич — поэт, критик, прозаик. Участвовал в издании русских классиков XX века (А.Ахматова, М.Волошин, Н.Гумилев, Н.Заболоцкий, Е.Замятин, Н.Клюев, О.Мандельштам, Б.Пастернак), автор предисловий к книгам Н.Аржака и А.Терца.

\*\*Название одного из самых известных произведений Е.Замятина — "Уездное".

прямо противоположные идейные и художественные функции, служат диаметрально противоположным общественным задачам. Беззастенчивый похититель с чувством полной безнаказанности (в Вашингтоне не разберут, а разберут, так не осудят!) перемолол все, вместе взятое, одобрил порцией наисовременнейшего западного модернизма, подперчил щепоткой ремизовщины и, пропустив сквозь призму смердяковщины, подчинил требованиям своего заказчика и своей собственной разнузданной ненависти ко всему советскому.

Случайно получив в свои руки мистическую книгу покойного барина Проферансова "Психический магнит", "зачитавшийся в уме" велосипедный мастер Тихомиров обретает дар гипнотического внушения и свергает партийное руководство города.

Далее, путем все того же гипноза, Тихомиров внушает всем гражданам, включая грудных младенцев, что они хотят его "царем", и празднует свою свадьбу с местной вамп, Серафимой Петровной, претворяя тем же порядком воду местной речушки в шампанское (и божественное евангелие не оставил без внимания расторопный автор). Той же силой внушения искусственная минеральная вода превращается в чистый спирт, гнилые огурцы — в колбасу и т.д. Все верят, пьют, едят, хвалят новоявленного чудотворца, и только собак не удается обмануть: они претворенную колбасу не едят.

Таким образом, руководствуясь барским трактатом, узурпатор правит Любимовом, внушая жителям, что они сами хотят работать до упаду, не только не получая ничего взамен, но отдавая и все то, что имели. Супермен Тихомиров со своим подручным "летописцем" из "бывших" (потомком барина Проферансова, который изображается возможным прародителем и самого Тихомирова) слепо выполняет волю своего мистического диктатора. Узурпатор, ворующий незаслуженное им доверие народа, совершает все единолично, включая и оборону города от посланной "из Москвы" карательной экспедиции, замаскированной под туристскую группу. И магнетическая сила его, наконец, иссякает, включаясь произвольно для того, чтобы поднять в воздух бабу на помеле, и отключаясь как раз тогда, когда надо отражать наступление врагов. Диктатура Тихомирова гибнет.

"Рассыпается материалистически-магический морок — город внушенного коммунистического счастья и благополучия — Любимов", — радуется Борис Филиппов, тут же и сетуя, однако, что социалистический распорядок жизни вообще-то не сокрушен в "общемперских" масштабах, и остается лишь уповать на "силу" "подпольной и полузапретной литературы", в том числе на того же Терца-Синявского.

Вполне уложившись в предложенное "покупателями" прокрустово ложе зарубежной антисоветчины, творения Абрама

Терца обнаружили всю свою паразитическую сущность, идейную и художественную несостоятельность.

Есть, впрочем, у этого автора и нечто бесспорно свое, "задушевное". Это, во-первых, порнография, рядом с которой самые рискованные пассажи Арцыбашева выглядят литературой для дошкольников.

Это, во-вторых, стойкий "аромат" антисемитизма, которым веет уже от провокационной подмены имени Андрея Синявского псевдонимом — Абрам Терц. Повсеместно и не без умысла рассеяны в его "трудах" замечания типа: "наглый и навязчивый, как все евреи"... "но что он мог понимать в русском национальном характере, этот Соломон Моисеевич?" и т.п. Все это составляет "букет" весьма определенного свойства. Неистребимый, провокационный запах этого "букета" никак не снимается многослойной иронией, призванной помочь автору в любой момент установить свою "непричастность" к им же написанному.

И, наконец, в-третьих, настойчиво повторяющийся, переходящий из повести в повесть, мотив страха перед арестом и предвидение неизбежности его. На эту тему написан даже целый рассказ "Ты и я", в котором маниакальный ужас перед арестом приводит "героя" к самоубийству. Пожалуй, ни одно произведение Абрама Терца не обходится без панических воплей в дуже звучащего "лирическим отступлением" обращения любимовского летописца к усопшему барину Проферансову. Оно свидетельствует, кстати, о том, что сам-то Синявский отлично понимает антисоветскую сущность своих сочинений:

"Я сижу и трясусь, что обыщут и обнаружат под половицей эту рукопись, и тогда уж по ней нас всех до одного выловят. Слушай, профессор. Ты же мой соавтор. Припрячь временно где-нибудь там у себя нашу повестушку. Пускай полежит пока в каком-нибудь твоём недоступном сейфе... Есть же у тебя укромное место. Тайничок какой-нибудь. Приюти до срока. Разве это не твоё добро?"

Да, "творения" Терца и Аржака — безусловно, "добро" старого мира, который, как мы уже знаем, охотно принимает и публикует их "манускрипты", во всеулышание объявляя, за что именно к ним благоволит. "Интеллектуальный портрет Синявского-Терца так же двойствен, как и его имя, — заявляет автор журнала "Эспрессо", — открытая деятельность историка литературы и литературно-художественного критика... и подпольные рассказы, отправляемые за границу..."

Эта исчерпывающая характеристика творческого облика "внутреннего эмигранта" вряд ли нуждается в добавлениях. Наследники Смердякова, нетерпимые в нашей среде, нашли своих ценителей, издателей и почитателей в среде зарубежной реакции, все еще не теряющей надежду на то, что удастся

сколотить "советское литературное подполье". Напрасные надежды, господа!

---

**Ирина Роднянская, литературный критик**

**ПИСЬМО В ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР**

---

Копия: "Литературной газете"

В "Известиях" и "Литературной газете" недавно были опубликованы статьи Д.Еремина и З.Кедриной о причинах привлечения к судебной ответственности А.Синявского и Ю.Даниэля. Разумеется, сам факт печатной информации о предварительных результатах следствия можно только приветствовать (хотя предпочтительно было бы получить такую информацию из официальных, полномочных источников). Однако в обеих статьях звучат ноты, которые побудили меня обратиться в столь высокую инстанцию, чтобы выразить свое недоумение и серьезную тревогу.

Я не буду останавливаться на тоне, которым написана статья Д.Еремина. Замечу только, что набор ругательств ("бездонное болото мерзости", "грязные помои клеветы", "брызжут ядом" и т.п.) вряд ли годится в качестве оружия для самой непримиримой полемики и в качестве средства для самого безоговорочного осуждения — и не может не унижить того, кто выражает свои чувства подобным образом. Кроме того, явственное стилистическое совпадение этих формулировок с формулировками, принятыми в печати в годы незаконных репрессий, вызывает естественное отталкивание и настороженность. Но это вопрос в основном этический.

Я же хочу обратить Ваше внимание на другое — на попытку авторов обеих статей до начала судебного процесса и вместо лиц и органов, ведущих этот процесс, составить собственное, "самодельное", так сказать, обвинительное заключение, обнародовать его и, тем самым, вольно или невольно, оказать давление на ход судебного разбирательства.

В самом деле, Д.Еремин формулирует свои обвинения весьма конкретно и четко: провокационный призыв к террору, преступления против советской власти, поступление на службу к оголтелым, самым разнузданным врагам коммунизма, пособничество поджигателям войны. З.Кедрина утверждает, что не претендует на юридическое определение вины Синявского и Даниэля, — и через несколько абзацев дает, по существу, такое определение, произнося слова: "антисоветская пропаганда", "иллюстрация к фашистской программе кровавых войн и спровоцированных путчей". Суду предстоит установить, есть ли в действиях подсудимых состав преступления против советской власти и ее законов; но авторы статей игнорируют эту работу, предстоящую судьям,

прокурору, защитнику, свидетелям — всем участникам сложной, юридически обоснованной процедуры; они полагают, должно быть, что такие "тонкости" ни к чему, им все ясно наперед. Мне кажется, это откровенное неуважение к суду, к важности стоящей перед ним задачи — неуважение, граничащее с нигилистическим убеждением, что судебная процедура — не более, чем пустая формальность. Меня поражает факт публикации таких статей ответственнейшими органами центральной печати без каких-либо редакционных оговорок и комментариев.

Хочется подчеркнуть еще одно обстоятельство. Даже человеку, юридически неграмотному, ясно, что уголовному преследованию может подвергаться не факт публикации каких-либо сочинений за рубежом (здесь действует суд общественного мнения), а антигосударственный, противозаконный характер этих сочинений. Значит, самый тонкий, серьезный и решающий пункт следственно-судебного процесса — это вопрос о квалификации подследственных материалов. Поэтому особенно недопустимо оказывать давление на работников суда в этом вопросе, от решения которого в ту или иную сторону фактически зависит ход процесса и судьба подсудимых. Ведь суд располагает возможностью прибегнуть к услугам любых экспертов, которых он сам изберет.

Между тем, статьи Д.Еремина и З.Кедриной стремятся создать впечатление, что такого вопроса вообще не существует. Между сочинениями, относящимися к области литературного вымысла (каково бы ни было идейно-художественное качество этого вымысла), и определенными провокационно-пропагандистскими призывами, лозунгами, программами авторы статей ставят знак равенства с такой легкостью, как будто это нечто само собой разумеющееся. Так, З.Кедрина всю совокупность литературных приемов Абрама Терца (среди которых она называет такие специфические, присущие беллетристике, как фантастика, многослойная ирония, пародийная стилизация и литературные реминисценции из известных писателей), не задумываясь, определяет как камуфляж, за которым скрываются два-три тезиса антисоветской пропаганды. В качестве аргументации З.Кедрина пользуется приемом, недопустимым даже в литературно-критической полемике обычного характера, когда речь идет не о судебном приговоре, а о литературной репутации, — она отождествляет точку зрения автора с речами и поступками персонажей. Она так и пишет: "Терц неотделим от той мерзости, в какой пребывают его персонажи". Тот же прием использует Д.Еремин в отношении Аржака: "Автор устами своего "героя" обращается к читателю с таким призывом..." Кроме того, З.Кедрина для подкрепления своей точки зрения приводит высказывания эмигрантского литератора Б.Филиппа



пова — свидетеля несомненно тенденциозного. Ведь нам известно, что даже "Продолжение легенды" А.Кузнецова было издано во Франции с предисловием, напоминающим филипповское.

Всем еще памятливы те времена, когда люди подвергались репрессиям за "переверзевщину" или "вейсманизм-морганнизм", когда те или иные взгляды, высказанные в литературных, научных, философских сочинениях, безоговорочно квалифицировались как антисоветские политические маски, которые следует сорвать. И в интересах советской законности и советской общественности — проявить особенное, быть может, даже подчеркнутое внимание к тому, чтобы всякая возможность подобных прецедентов была исключена из нашей жизни навсегда.

Я не знакома с литераторами, находящимися под следствием, не читала их сочинений (за исключением публиковавшихся в советской печати статей А.Синявского) и, разумеется, не берусь судить о характере и степени их вины. Но я не могу не выразить решительного несогласия с безответственными и бестактными попытками вмешаться в нормальный ход судебного процесса и психологически дезориентировать тех, кому доверено его вести.

1 февраля 1966 г.

*С уважением  
И.Роднянская, член Союза  
писателей СССР*

---

---

**Вадим Меникер, экономист**

**ИЗ ПИСЬМА В МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД**

---

---

Копии: ЦК КПСС  
Верховный суд РСФСР  
Редакция газеты "Известия"

Из статей, опубликованных в советской и иностранной печати, мне стало известно об аресте литераторов А.Синявского и Ю.Даниэля по обвинению в антисоветской пропаганде.

Поскольку, как мне представляется, на процессе по делу Синявского и Даниэля документами, имеющими силу доказательств их вины (ст. 88 и 83 УПК РСФСР), послужат литературные произведения, опубликованные за рубежом под псевдонимами "Абрам Терц" и "Николай Аржак", то, будучи знаком с этими произведениями, я считаю своим правом (ст. 70, часть вторая и третья) и обязанностью (ст. 73 УПК РСФСР) сообщить все, известное мне по данному делу.

Надеюсь, что, согласно ст. 70 часть третья и ст. 292 УПК РСФСР, суд огласит следующее мое показание или предоставит мне возможность огласить его лично.

Тщательное ознакомление с произведениями, изданными

под псевдонимами "Абрам Терц" и "Николай Аржак", показывает следующее:

1) что эти произведения являются художественной литературой;

2) что политические мотивы, встречающиеся в этих произведениях, связаны с критикой явлений культа личности и его последствий, что соответствует линии КПСС и всего народа, проводимой с XX съезда партии;

3) что являющееся чистой гипотезой использование указанных произведений (полностью или частично) для антисоветской пропаганды (в виде, например, памфлетов, публицистических статей, радиопередач и т.п.) не может быть поставлено в вину авторам, если они не дали на это разрешения.

По первому вопросу я не могу считать себя более компетентным, чем средний читатель, но я позволю себе обратить внимание суда на то, что ни в официальном органе Союза писателей СССР "Литературной газете" (22.1.1966), ни в статье профессионального литератора Дм.Еремина ("Известия", 12.1.1966) при всей резкости критики произведений А.Терца и Н.Аржака их не отлучают от художественной литературы. При этом даже литературовед З.Кедрина, "с трудом пробравшись через, казалось бы, непроходимые пустыни риторики", весьма невысоко оценивает "пропагандистский заряд" этих произведений и с понятной осторожностью отрешается от определения виновности авторов.

Это понятно, если прочитать их произведения глазами людей, желающих истинной славы и процветания нашей страны.

Действие произведений Терца и Аржака происходит в годы, когда во главе партии и правительства стоял Сталин, во главе органов госбезопасности — Берия. Хронологически действие этих произведений приходится также на годы, когда в нашей стране имели место проявления волюнтаризма и субъективизма в области политики, экономики и культуры.

Насколько мне известно, не существует партийных документов, в которых указывалось бы, что явления культа личности перестали встречаться со смертью Сталина и устранением Берии. Наоборот, само заглавие остающегося в силе постановления ЦК КПСС от 30 июня 1956 г. "О преодолении культа личности и его последствий", материалы октябрьского (1964 г.) Пленума ЦК и Пленумов ЦК КПСС 1965 г. свидетельствуют о другом. Вряд ли найдется суд, который заподозрит в антисоветской пропаганде тов. Пальмиро Тольятти, который писал, что в СССР "слишком медленно ликвидируются пережитки культа личности" ("Правда" от 18 августа 1964 г.).

Против каких явлений культа личности выступали Терц и Аржак? На этот вопрос трудно ответить кратко. Ни один из советских писателей, включая Солженицына, и даже публицистов, включая Эренбурга, не создал такой галереи ярких худо-

жественных образов конкретных носителей тех явлений, которые были характерны для культа личности; но ни в одном случае черты культа личности не приписываются всей советской действительности, всему советскому обществу. В каждом случае имеется конкретный носитель этих черт, с убедительной, на мой взгляд, художественной силой осуждаемый Терцем и Аржаком. Это политический демагог Леня Тихомиров ("Любимов" Терца), циник и иезуит Глобов ("Суд идет" Терца), который проповедует принцип "цель оправдывает средства" (как видите, это не просто "советский человек", как уверяет З.Кедрина), аморальный в общественных вопросах и в быту Володя Залесский ("Человек из МИНАПа" Аржака), проводник волюнтаризма в политике полковник Тарасов ("Гололедица" Терца), осведомители и доносчики, кормящиеся вокруг этих людей, трусливые и циничные интеллигенты (адвокат Карлинский, преподаватель истории в "Суд идет" Терца).

Но, как известно, "культ личности не мог изменить и не изменил природы нашего общественного строя" ("КПСС в резолюциях". С. 231). В полном соответствии с этим Терц и Аржак показывают лучших представителей советского народа — борцов против культа личности и его проявлений. Это честный юноша Сережа Глобов, возмущенный нарушениями ленинской сельскохозяйственной практики, недоумевающий по поводу теории антинародности восстания Шамиля, его тетка — старая большевичка ("Суд идет" Терца), Анатолий Карцев ("Говорит Москва" Аржака) — человек, прошедший всю войну и выступающий против бессмысленных убийств. Тех людей, которых он желал бы уничтожить, он ненавидит не за то, что это "люди, представляющие социалистический строй и осуществляющие государственную политику", а за то, что эти люди сделали со страной.

Этот мотив — ненависть к культу личности во имя подлинных революционных идеалов, цинично эксплуатируемых носителями культа личности, полностью опровергает доказательство вины А.Синявского и Ю.Даниэля. <...>

Разумеется, для антисоветской пропаганды можно использовать все, включая многочисленные материалы, публикуемые в советской печати. Здесь можно вновь сослаться на партийные документы, опубликованные со времен XX съезда. Лучше всего об этом сказано в уже упоминавшемся постановлении ЦК от 30.6.56 г.

"Коммунистическая партия Советского Союза, воспитанная на революционных традициях марксизма-ленинизма, сказала всю правду, как бы ни была она горька. Партия пошла на этот шаг, руководствуясь принципиальными соображениями. Она исходила из того, что если выступление против культа личности Сталина и вызовет некоторые временные трудности, то в перспективе, с точки зрения коренных инте-

ресов рабочего класса, это даст огромный положительный результат" ("КПСС в резолюциях", изд. 7-е, т. 4, с. 224—225).

В соответствии с этим конкретным указанием партии действия А.Синявского и Ю.Даниэля могут быть квалифицированы по ст. 14 УК РСФСР и, следовательно, не могут признаваться преступлениями, ибо ущерб, причиненный культом личности и его последствиями, значительно превышает ущерб, якобы нанесенный публикацией произведений этих авторов за рубежом. <...>

В заключение я хотел бы обратить внимание суда на нарушение правопорядка в связи с публикацией в "Известиях" от 12 января 1966 года статьи "Перевертыши". Дело не только в том, что сама статья может быть квалифицирована по статье 181 УК РСФСР как "искусственное создание доказательств обвинения", т.е. ложный донос. Главное то, что издатель "Известий" — Верховный Совет СССР — осуществляет через Верховный суд СССР контроль над деятельностью всех судебных органов страны ("Положение о Верховном суде СССР", ст. 1 и 2). Следовательно, уже до процесса нарушена ст. 16 УПК РСФСР, согласно которой судьи и народные заседатели разрешают уголовные дела в условиях, исключающих постороннее воздействие на них.

*<Начало февраля 1966 г.>*

*В.Д.Меникер, мл. научный  
сотрудник Института эконо-  
мики АН СССР*

---

Л.З.Копелев

---

**ПИСЬМО В ЮРИДИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ № 1  
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА Г. МОСКВЫ**

---

В ответ на Ваш запрос от 1 февраля 1966 года (№1—25) об отзыве на произведения Ю.Даниэля, который, как Вы указываете, нужен "в связи с рассмотрением уголовного дела", считаю необходимым сообщить нижеследующее:

1. Я прочел повесть "Говорит Москва" и рассказы "Руки" и "Человек из МИНАПа" Н.Аржака. В статье Д.Еремина, опубликованной в "Известиях", и статье З.Кедриной, опубликованной в "Литературной газете", говорится, что Н.Аржак — псевдоним Ю.Даниэля.

Подробный разбор этих произведений вызвал бы разные толкования и оценки, вызвал бы также и резкую критику идейно-художественных недостатков. Такой разбор может быть только профессиональным литературно-художественным исследованием, которое необходимо предполагает спор, сопоставление разных точек зрения, исключает любые безапелляционные вердикты.

Но в Вашем запросе речь идет об "уголовном деле". Судя по упомянутым выше статьям, это дело о государственном преступлении. Поэтому целесообразно прежде всего ответить на вопрос, дают ли прочтенные мною повесть и рассказы материал для такого обвинения. На этот вопрос я могу ответить только отрицательно.

Естественно, возникает другой вопрос: что же могло дать повод для возникновения уголовного дела и для тех резких политических обвинений, которые еще до суда прозвучали со страниц газет.

2. Мне представляется, что это объяснимо прежде всего самой природой того литературного жанра, в котором написаны повесть и второй рассказ. Это жанр фантастического гротеска, сравнительно редкий и непривычный в нашей литературе последних десятилетий и потому вызывающий подчас резко отрицательное отношение читателей, воспитанных в традициях реалистического повествования, основанного на достоверном изображении жизни.

Н.Аржак, по-моему мнению, — тем более объективному, что мне лично не нравятся некоторые существенные особенности его произведений, — одаренный и квалифицированный беллетрист. Повесть "Говорит Москва" — это гротескно-фантастическая притча. Ее фабула откровенно условна, нарочито фантастически абсурдна. Время действия отнесено к 1960 году, что уже само по себе исключает претензию на достоверность. Внешние черты нашего быта пародийно смещены. Но общий вывод, так сказать, основной пафос повести отнюдь не антигосударственный, да и вообще не политический, а моралистический. Смысл его, по-моему, таков: каждый человек ответственен, даже виновен, если рядом с ним покушаются на жизнь другого человека. Можно спорить с абстрактно-метафизическими и пацифистскими нравственными принципами, воплощенными в этой повести, можно спорить с иными сомнительными в идейно-художественном отношении особенностями его сатирического гротеска. Однако я убежден, что нельзя предъявлять автору политические обвинения, ссылаясь на этот нарочито гротескный, абсурдный сюжет. И тем более нельзя возлагать на автора ответственность за мысли и речи его персонажей, как это делают авторы статей в "Известиях" и в "Литературной газете". Это недопустимо при анализе любого литературного произведения и особенно — гротескного. Между тем Д.Еремин квалифицирует даже как "провокационный призыв к террору" то место, которое в действительности имеет прямо противоположный смысл. Военные воспоминания героя, возникающие почти как бред, вызывают у него ужас и отвращение ко всякому убийству: "Я больше не хочу никого убивать. Не хочу!"

Общее мировосприятие лирического героя достаточно внятно выражено в ряде мест — в его воспоминаниях об отце, комис-

саре гражданской войны, и особенно в заключительных абзацах. Моралистическое обобщение: "Ты должен сам за себя отвечать, и этим — ты в ответе за других" — явственно сочетается с утверждением любви к родной стране.

Рассказ "Человек из МИНАПа" тоже написан в манере фантастического гротеска. Литературно он более слаб, несколько пошловат, но никак не может быть поводом для политических и уголовных обвинений.

3. Возможность таких обвинений, как уже указывалось выше, связана с особенностями жанра. Гегель считал одним из признаков гротеска "безмерность преувеличения". В первом издании Советской Литературной Энциклопедии сказано: "О гротеске в собственном смысле слова можно говорить лишь там, где смещение планов и нарушение естественного изображения носит характер литературного приема, отнюдь не воспроизводящего полного мировосприятия автора" (Т. 3. С. 24). Во втором издании Литературной Энциклопедии гротеск характеризуется как один из "видов типизации (преимущественно сатирической), при которой деформируются реальные жизненные соотношения правдоподобия, уступая место карикатуре, фантастике, резкому совмещению контрастов" (Т. 2. С. 401).

В недавно изданной книге выдающегося советского литературоведа М.Бахтина отмечается: "В гротеске... то, что было для нас своим, родным и близким, внезапно становится чужим и враждебным. Именно *наш* мир превращается вдруг в *чужой*" (Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965. С. 55).

Конкретные примеры жанра — многие новеллы Э.Т.А.Гофмана и Э.По, повесть Н.В.Гоголя "Нос", значительная часть прозы М.Щедрина, "Двойник" и "Крокодил..." Ф.Достоевского, некоторые рассказы Лескова, Ремизова и др. В советской литературе средства сатирического и фантастического гротеска широко использовали В.Маяковский, Вс.Иванов, И.Ильф и Е.Петров, И.Эренбург, Е.Шварц и др. В зарубежной литературе 20-го века — Я.Гашек, К.Чапек, Б.Брехт и др.

Гротескно-фантастическая проза произведений Н.Аржака находится в русле традиций этого жанра.

4. Как уже отмечалось выше, характерные особенности гротеска затрудняют его восприятие и даже вызывают антипатию, вполне естественную у читателей, воспитанных в иных литературных традициях. Но это никак не может обосновать уголовное преследования по политическим обвинениям.

Многолетний опыт советской литературы свидетельствует о том, что политические обвинения, выдвигавшиеся против самых разных авторов в пылу литературной полемики, как правило, впоследствии оказывались несостоятельными. Достаточно вспомнить, что даже такие произведения, ставшие ныне нашей классикой, как пьесы и многие стихи Маяковского, "Тихий Дон"

Шолохова, "Вор" Леонова, романы и фельетоны Ильфа и Петрова, назывались "антипартийными", "мелкобуржуазными и даже "клеветническими". Стихи Есенина, ранние романы Эренбурга были изъяты из библиотек в результате еще более суровых обвинений.

Разумеется, я не намерен ставить в один ряд с названными выше книгами те произведения, на которые делается этот отзыв. Но тем не менее исторический опыт необходимо учитывать и в данном деле.

5. В истории нашей литературы есть и иные примеры, гораздо более близкие к данному случаю. Роман Е.Замятина "Мы" и роман Б.Пильняка "Красное дерево" были опубликованы за границей в конце 20-х годов. Оба эти произведения наша критика тогда расценила как резко враждебные основным принципам советского строя. Однако, несмотря на то, что в ту пору наша страна находилась в неизмеримо более трудном положении, чем теперь, окруженная со всех сторон врагами, эти литераторы не были привлечены к судебной ответственности. Е.Замятину в 1931 году была предоставлена по его просьбе возможность уехать в Англию, Б.Пильняк был репрессирован в 1938 году по другому поводу и посмертно реабилитирован.

6. Все сказанное выше побуждает меня с полным сознанием всей меры гражданской и партийной ответственности, повинаясь только моей совести коммуниста, гражданина, советского литератора заявить, что при всех недостатках рассмотренных мною произведений я не вижу в них никаких оснований для судебного преследования по уголовному делу.

5/6 февраля 1966 года

Л.З.Копелев, член  
Союза писателей, кандидат филологических наук\*

---

\*27 ноября 1965 г. Л.З.Копелев направил открытое письмо в секретариат ЦК КПСС, в идеологическую комиссию при ЦК КПСС, в президиум правления Союза писателей СССР в защиту А.Д.Синявского, в котором, в частности, писал: "...представляется необходимым возможно скорее освободить Синявского, а материалы этого дела передать в Институт мировой литературы, где он работает, и в Союз писателей, членом которого он состоит".

---

---

**ПИСЬМО ПИСАТЕЛЕЙ ФРАНЦИИ, ГЕРМАНИИ, ИТАЛИИ,  
США И ВЕЛИКОБРИТАНИИ**

---

---

Таймс. 1966. 31 янв.

---

Московское радио и советская пресса сообщили, что Андрей Синявский и Юлий Даниэль, опубликовавшие за границей свои книги под псевдонимами Абрам Терц и Николай Аржак, должны ответить за "свой гнусный поклеп" и пропаганду против собственной страны за границей.

Мы хотим подтвердить то, что уже заявляли публично многие писатели и деятели культуры разных стран: мы не считаем труды этих писателей пропагандой и декларируем, что наше отношение к этим писателям основывается только на их литературных и художественных достоинствах. Мы убеждены, что если бы они жили в одной из наших стран, в их книгах также могла бы прозвучать критика различных аспектов нашей жизни. Разница в том, что книги были бы опубликованы, а авторы их не оказались бы за решеткой. Мы можем только надеяться, что Советское правительство не останется равнодушным к голосу мировой общественности, к письмам со всего света, включая Международный ПЕН-клуб и Комитет европейских писателей.

Мы верим в правоту этих писателей и в то, что их произведения будут опубликованы на родине, и потому вновь обращаемся к совести и добрым чувствам советских руководителей и просим их освободить двух наших коллег, чьи книги мы считаем серьезным вкладом в современную литературу.

*С совершенным почтением*

*Франция: Морис Бланшо, Андре Бретон, Жан Кассу, Маргерит Дюрас, Пьер Эмманюэль, Андре Френо, Жан Гиенно, Франсуа Мориак; Германия: Генрих Бёльль, Гюнтер Грасс, Уве Йохансон, Ханс Магнус Энциенсбергер, Клаус Хауптхехт, Мартин Вальзер; Италия: Либеро Биджаретти, Итадо Кальвино, Диего Фаббри, Альберто Моравиа, Иньяцио Силоне, Джанкарло Вигорелли; США: Ханна Арендт, У.Х.Оден, Сол Беллоу, Микаэл Харрингтон, Альфред Казини, Мэри Маккарти, Дуайт Макдональд, Артур Миллер, Филип Рах, Филип Рот, Мейер Шапиро, Уильям Стайрон; Великобритания: А.Альварес, А.Эйер, Дэвид Карвер, Бриан Гранвилл, Грэм Грин, Дж.Хаксли, Леман, Дорис Лессинг, Айрис Мердок, Герберт Рид, Клэнси Сигал, Мюриел Спарк, Филип Тойнби, Джо Уэйн, Бернард Уолп, Т.Уэйгвуд, Ребекка Уэст.*



---

---

**НИКОЛАЙ АРЖАК**

---

---

---

— Миу! — это плачет маленький котенок.  
— Миу! — он еще мяукать не умеет.  
Одиночеством безмерно угнетенный,  
Он тоскливо бродит меж скамеек.

Рядом грубые, всеильные, большие  
На скамейках восседают люди.  
Словно псы, кругом рычат машины.  
Он боится. Как же дальше будет?

На его на жалкий интеллект кошачий  
Независимость нечаянно свалилась.  
— Миу! — кот раскрепощенный плачет.  
— Объясните! Окажите милость!..

Что ж, он возмужает в странствиях суровых,  
Он украсится когтями и клыками,  
Как стеклом разбитых поллитровок,  
Засверкает желтыми зрачками;

Он освоит «м я у». Скажет в полный голос,  
Что вцепиться сможет в каждого громилу;  
А пока что — сердце расколосось,  
А пока что — «Миу ... миу ... миу ...»

*Илья Чур. «Московские бульвары».*

Сейчас, когда я пытаюсь мысленно восстановить события минувшего лета, мне очень трудно привести мои воспоминания в какую-то систему, связно и последовательно изложить все, что я видел, слышал и чувствовал; но тот день, когда э т о нача-лось, я запомнил очень хорошо, до мельчайших деталей, до пустяков.

Мы сидели в саду, на даче. Накануне все мы, приехавшие на день рождения к Игорю, крепко выпили, шумели допоздна и наконец улеглись в полной уверенности, что проспим до полудня; однако загородная тишина разбудила нас часов в семь утра. Мы поднялись и дружно стали совершать всякие нелепые поступки: бегали в одних трусах по аллеикам, подтягивались на турнике (больше пяти раз никто так и не сумел подтянуться), а Володька Маргулис даже окатился водой из колодца, хотя, как всем было известно, по утрам он никогда не умывался, ссылаясь на то, что опаздывает на работу.

Мы сидели и бодро спорили о том, как наилучшим образом провести воскресенье. Само собой, вспоминались и купанье, и волейбольный мяч, и лодка; какой-то зарвавшийся энтузиаст предложил даже пеший поход в соседнюю деревню в церковь.

— Очень хорошая церковь, — сказал он, — очень старая, не помню, какого века...

Но его высмеяли — никому не улыбалось переть по жаре восемь километров.

Наверное, странное зрелище представляли мы, тридцати-, тридцатипятилетние мужчины и женщины, раздетые, как на пляже. Мы деликатно старались не замечать друг у друга всякие смешные и грустные неожиданности: впалую грудь и намечающиеся животики у мужчин, волосатые ноги и отсутствие талии у женщин. Все мы знали друг друга давно, нам были знакомы костюмы, галстуки и платья друг друга, но каковы мы без одежды, в натуральном виде — этого никто себе не представлял. Кто бы мог подумать, например, что Игорь, такой элегантный и всегда подтянутый, имевший несомненный успех у сослуживцев в своей академии, что этот самый Игорь окажется кривоногим? Разглядывать друг друга было так же интересно, смешно и стыдно, как смотреть порнографические открытки.

Мы сидели, прочно прижавшись задками к стульям, жалко выглядевшим на траве, и говорили о предстоящих нам спортивных подвигах. Вдруг на террасе появилась Лиля.

— Братцы, — сказала она, — я ничего не понимаю.

— А что ты, собственно, должна понимать? Иди к нам.

— Я ничего не понимаю, — повторила она, жалобно улыбаясь, — радио... По радио передавали... Я самый конец услышала... Через десять минут снова передавать будут.

— Очередное, — дикторским басом сказал Володька; — двадцать первое по счету снижение цен на хомуты и череседыльники...

— Идите в дом, — сказала Лиля. — Пожалуйста...

Мы всей гурьбой ввалились в комнату, где на гвоздике скромно висела пластмассовая коробочка репродуктора. В ответ на наши недоуменные вопросы Лиля только вздыхала.

— Паровозные вздохи, — сострил Володька. — А что, здорово сказано? Прямо ильфонпетровский эпитет.

— Лилька, брось нас разыгрывать, — начал Игорь. — Я знаю, тебе скучно одной посуду мыть...

И в это время радио заговорило.

— Говорит Москва, — произнесло оно, — говорит Москва. Передаем Указ Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик от 16 июля 1960 года. В связи с растущим благосостоянием...

Я оглянулся. Все спокойно стояли, вслушиваясь в раскатистый баритон диктора, только Лиля суетилась, как фотограф перед детьми, и делала приглашающие жесты в сторону репродуктора.

— ...навстречу пожеланиям широких масс трудящихся...

— Володя, дайте мне спички, — сказала Зоя. На нее шикну-

ли. Она пожала плечами и, уронив в ладонь не зажженную сигарету, отвернулась к окну.

— ...объявить воскресенье 10 августа 1960 года...

— Вот оно! — крикнула Лиля.

— ...Днем открытых убийств. В этот день всем гражданам Советского Союза, достигшим шестнадцатилетнего возраста, предоставляется право свободного умерщвления любых других граждан, за исключением лиц, упомянутых в пункте первом примечаний к настоящему Указу. Действие Указа вступает в силу 10 августа 1960 года в 6 часов 00 минут по московскому времени и прекращается в 24 часа 00 минут. Примечания. Пункт первый. Запрещается убийство: а) детей до 16-ти лет, б) одетых в форму военнослужащих и работников милиции и в) работников транспорта при исполнении служебных обязанностей. Пункт второй. Убийство, совершенное до или после указанного срока, равно как и убийство, совершенное с целью грабежа или являющееся результатом насилия над женщиной, будет рассматриваться как уголовное преступление и караться в соответствии с существующими законами. Москва. Кремль. Председатель Президиума Верховного...

Потом радио сказало:

— Передаем концерт легкой музыки...

Мы стояли и обалдело смотрели друг на друга.

— Странно, — сказал я, — очень странно. Непонятно, к чему бы это.

— Объяснят, — сказала Зоя. — Не может быть, чтобы в газетах не было разъяснений.

— Товарищи, это провокация! — Игорь заметался по комнате, разыскивая рубашку. — Это провокация. Это «Голос Америки», они на нашей волне передают!

Он запрыгал на одной ноге, натягивая брюки.

— Ох, извините! — Он выскочил на террасу и там застегнул ширинку. Никто не улыбнулся.

— «Голос Америки»? — задумчиво переспросил Володька. — Нет, это невозможно. Технически невозможно. Ведь сейчас, — он взглянул на часы, — половина десятого. Идут передачи. Если бы они работали на нашей волне, мы бы слышали и то, и другое...

Мы снова вышли наружу. На террасах соседних дач появились полуодетые люди. Они сбивались группами, пожимали плечами и бестолково жестикулировали.

Зоя закурила наконец свою сигарету. Она села на ступеньку, упершись локтями в колени. Я смотрел на ее обтянутые купальником бедра, на грудь, наполовину открытую глубоким вырезом. Несмотря на полноту, она была очень хороша. Лучше всех остальных женщин. Лицо у нее, как всегда, было спокойным и немного сонным. За глаза ее называли Мадам Флегма.

Игорь стоял среди нас совершенно одетый, как миссионер

среди полинезийцев. После категорического заявления Володьки о том, что сообщение по радио не могло быть фокусами заокеанских гангстеров, он присмирел. Видно, он уже жалел о том, что так решительно объявил передачу провокацией. Но, по-моему, он напрасно испугался: стукачей среди нас вроде не должно было быть.

— Отчего мы, собственно, всполошились? — бодро сказал он. — Зоя права: будут разъяснения. Толя, ты как думаешь?

— А черт его знает, — пробормотал я. — Еще почти месяц до этого самого, как его, Дня открытых...

Я осекся. Мы снова с недоумением уставились друг на друга.

— Ладно, — Игорь тряхнул головой. — Я думаю, это все связано с международной политикой.

— С президентскими выборами в Америке? Да, Игорек?

— Ох, Лилька, ты-то уж помолчала бы! Черт-те что несешь!

— Идемте купаться, — сказала Зоя, поднимаясь. — Толя, принеси мою резиновую шапочку.

Очевидно, вся эта неразбериха даже ее выбила из колеи, иначе бы она не назвала меня при всех на «ты». Но этого, кажется, никто не заметил.

Когда мы шли к речке, Володька нагнал меня, взял под руку и сказал, скорбно глядя своими библейскими глазами:

— Понимаешь, Толя, я думаю, здесь что-то насчет евреев замышляют...

---

---

## II

---

---

Ну кто бы смог, ну кто бы вынес,  
Когда бы не было для нас  
Торговли масками на вынос  
На каждый день, на каждый час?

Рядись лифтером и поэтом,  
Энтузиастом и хлыщом,  
Стучись в окошко за билетом,  
Ори! Но не забудь при этом,  
Что «Вход без масок воспрещен».

*Илья Чур. «Билеты продаются».*

Вот я пишу все это и думаю: а зачем мне, собственно, понадобилось делать эти записи? Опубликовать их у нас никогда не удастся, даже показать прочесть некому. Переправить за границу? Но, во-первых, это практически неосуществимо, а во-вторых, то, о чем я собираюсь писать, уже рассказано в сотнях зарубежных газет, по радио об этом день и ночь трещали; нет, у них там все это давно обсосано. Да, по правде говоря, это и не очень красиво — печататься в антисоветских изданиях.

Я притворяюсь. Я знаю, зачем я пишу. Я должен сам для

себя уяснить, что же все-таки произошло. И, главное, что произошло со мной? Вот я сижу за своим письменным столом. Мне тридцать пять лет. Я по-прежнему работаю в этом дурацком промышленном издательстве. Внешность моя не изменилась. Вкусы тоже. Так же, как и раньше, я люблю стихи, люблю выпить, люблю баб. И они меня, в общем, любят. Я в свое время был на войне. Убивал. Меня самого чуть не убили. Когда женщины вдруг притрагиваются к шраму на моем бедре, они отдергивают руку и вскрикивают шепотом: «Ой, что это у тебя?» «Это ранение, — говорю я, — рубец от разрывной». «Бедный, — говорят они, — это было очень больно?» В общем, все, как и раньше. Любой знакомый, любой приятель, сослуживец сказал бы: «Ну, Толька, ты совершенно не меняешься!» Но ведь я-то знаю, что этот день схватил меня за шиворот и ткнул в лицо самому себе! Я-то знаю, что мне пришлось знакомиться с собой заново!

И еще одно. Я не писатель. В юности писал стихи, да и сейчас могу — к случаю; написал несколько театральных рецензий — думал таким манером пробиться в литературу, но ничего не вышло. Но я все-таки пишу. Нет, я не графоман. Графоманы (я с ними часто встречаюсь по своей должности литсотрудника), графоманы уверены в собственной гениальности, а я знаю, что таланта у меня нет. Или, если есть, то небольшой. А писать очень хочется. Ведь что хорошо в моем положении, что приятно? Знаю заранее, что никто читать не будет, и могу писать безбоязненно, все, что в голову придет! Захочу написать:

«И черной Африкой рояль  
По-негритянски зубы скалит»

— и напишу. Никто меня ни в претенциозности, ни в колониализме не упрекнет. Захочу написать о правительстве, что все они демагоги, лицемеры и вообще сволочи — и это напишу... Я могу позволить себе эту роскошь — быть коммунистом наедине с самим собой.

А если быть откровенным до конца, то я все-таки надеюсь, что у меня будут читатели — не сейчас, конечно, а через много-много лет, когда меня уже в живых не будет. В общем — «когда-нибудь монах трудолюбивый прочтет мой труд усердный, безмянный...» И думать об этом приятно.

Ну вот, теперь, когда я совершенно открылся перед моим предполагаемым, воображаемым читателем, можно и продолжать.

Веселья у нас в тот день так и не получилось. Острили скучно, играли без азарта, пить не стали совсем и разъехались рано.

В Москве на другой день я пошел на работу. Я заранее знал, что будет неминуемый треп об Указе, знал, кто будет высказываться, а кто помалкивать. Но, к удивлению моему, помалкивали почти все. Два-три человека, правда, спросили меня:

«Ну, что вы обо всем этом думаете?» Я промямлил что-то вроде: «Не знаю... там видно будет...» — и на том разговоры прекратились.

Через день в «Известиях» появилась большая редакционная статья «Навстречу Дню открытых убийств». В ней очень мало говорилось о сути мероприятия, а повторялся обычный набор: «Растущее благосостояние — семимильными шагами — подлинный демократизм — только в нашей стране — все помыслы — впервые в истории — зримые черты — буржуазная пресса...» Еще сообщалось, что нельзя будет причинять ущерб народному достоянию, а потому запрещаются поджоги и взрывы. Кроме того, Указ не распространялся на заключенных. Ну вот. Статью эту читали от корки до корки, никто по-прежнему ничего не понял, но все почему-то успокоились. Вероятно, самый стиль статьи — привычно торжественный, буднично высокопарный — внес успокоение. Ничего особенного: День артиллерии, День советской печати, День открытых убийств... Транспорт работает, милицию трогать не велено — значит, порядок будет. Все вошло в свою колею.

Так прошло недели полторы. И вот началось нечто такое, что трудно даже определить словом. Какое-то беспокойство, брожение, какое-то странное состояние. Нет, не подобрать выражения! В общем, все как-то засуетились, забегали. В метро, в кино на улицах появились люди, которые подходили к другим и, заискивающе улыбаясь, начинали разговор о своих болезнях, о рыбной ловле, о качестве капроновых чулок — словом, о чем угодно. И если их не обрывали сразу и выслушивали, они долго жали собеседнику руку, благодарно и проникновенно глядя в глаза. А другие — особенно молодежь — стали крикливыми, нахальными, всяк выпендривался на свой лад; больше обычного пели на улицах и орали стихи, преимущественно Есенина. Да, кстати, насчет стихов. «Литература и жизнь» дала подборку стихотворений о предстоящем событии — Безыменского, Михалкова, Софронова и других. Сейчас, к сожалению, я не смог достать этот номер, сколько ни пытался, но кусок из софроновского стихотворения помню наизусть:

Гудели станки Ростсельмаша,  
Фабричные пели гудки,  
Великая партия наша  
Троцкистов брала за грудки.

Мне было в ту пору семнадцать,  
От зрелости был я далек,  
Я в людях не мог разобраться,  
Удар соразмерить не мог.

И, может, я пел тогда громче,  
Но не был спокоен и смел:  
Того, пожалев, не прикончил,  
Другого добить не сумел...

В совершенно астрономическом количестве появились анекдоты; Володька Маргулис бегал от одного приятеля к другому и, захлебываясь, рассказывал их. Он же, выложив мне как-то весь свой запас, сообщил о том, что Игорь на каком-то собрании у себя в академии высказался в том смысле, что 10 августа есть результат мудрой политики нашей партии, что Указ еще раз свидетельствует о разворачивании творческой инициативы народных масс — ну, и так далее, в обычном духе.

— Понимаешь, Толька, — сказал он, — хотя я и знал, что Игорь — карьерист и все такое, но этого я от него не ожидал.

— А почему? — спросил я. — А что тут особенного? Поручили выступить — он и выступил; был бы ты, как Игорь, членом партии, и ты бы высказывался на всю катушку.

— Я? — Никогда! Во-первых, я ни за что не вступлю в партию, во-вторых...

— Во-первых, во-вторых, не ори. Чем ты лучше Игоря? А ты у себя в школе во время «дела врачей» не трепался о национализме?

Я сказал и сразу пожалел, что сказал. Это его больное место. Он простить себе не может, что на какое-то время тогда поверил газетам.

— Расскажи лучше, что у тебя с Нинкой, — сказал я примирительно. — Ты ее давно видел?

Володька оживился.

— Понимаешь, Толя, трудно я люблю, — сказал он, — трудно. Я ей вчера позвонил, говорю, что хочу ее видеть, а она отвечает...

И Володька принялся подробно рассказывать, что она ему ответила, что он ей сказал, что они оба сказали.

— Понимаешь, Толя, ты же меня знаешь, я человек не sentimentalный, но тогда я чуть не заревел...

Я слушал его и думал о том, как люди умудряются создавать проблемы на пустом месте. Володька женат, у него двое детей, он преподает литературу в школе, лучший методист района и, в общем-то, умный парень. Но его романы! Конечно, жена у него халда, спору нет, от такой жены на любую бабу кинешься. Ну и кидайся на здоровье. А к чему эти переживания, страсти африканские, весь этот провинциальный гамлетизм? И слова-то какие: «нравственные обязательства», «душевная раздвоенность», «она в меня верит»... Кстати, «она в меня верит» говорится и о жене и об очередной пассии. Нет, я на все это проще смотрю. С самого начала не нужно никакой игры, никакой дипломатии, никаких обязательств, чтобы все было честно. Нравимся друг другу? Отлично. Хотим друг друга? Превосходно. Чего еще надо? А-а-а, супружеская измена, адюльтерчик! Ну и что? Я, если женюсь, не буду терзаться Володькиными проблемами, я просто буду сообщать заранее: «Я, знаете ли,



женат, разводиться не собираюсь, а вот вы мне здорово нравитесь. Подходит это вам? Чудесно, где и когда мы встретимся? Не подходит? Очень жаль, до свиданья, подумайте все-таки...» Вот так. Ну, разумеется, не так примитивно. И, по-моему, это гораздо лучше, чем трепаться о несходстве духовных запросов между тобой и твоей женой, о том, что, «конечно, я свою жену уважаю, но...» Я еще ни одной женщины не обидел всерьез, а все потому, что не разрешал им строить иллюзии на свой счет...

Володька поговорил еще с полчаса о своей трудной любви и ушел. Я проводил его, но он тут же позвонил, просунул голову в приоткрывшуюся дверь и сказал шепотом, чтобы соседи не услышали:

— Толя, а если десятого августа будет еврейский погром, я буду драться. Это им не Бабий Яр, не тракторный завод. Я их, гадов, стрелять буду. Вот, смотри!

И он, распахнув пиджак, показал высунувшуюся из внутреннего кармана рукоять офицерского ТТ, сбереженного им с военных лет.

— Они меня задешево не возьмут...

Когда он окончательно ушел, я долго стоял посреди комнаты. Кто «они»?

---

---

### III

---

---

Нет, Алкиной, ты не прав:

есть бесконечность в природе.

Служит примером тому глупость и подлость людей.

*Кирилл Замойский. «Опыты и поучения».*

— Ах, Толя, вы просто не хотите рассуждать всерьез! Вы поймите такую простую вещь...

Мой сосед по квартире намыливал мочалкой грязную посуду; брюхо, поросшее седыми волосами, туго обтянутое сеткой, выпирало из штанов, ложилось на край раковины. Он ужасно горячился, хотя я ни словом не возражал ему.

— ...нет, нет, поймите меня правильно! кто-кто, а уж я-то не поклонник газетных штампов. Но факты есть факты, и надо смотреть им в глаза... Сознательность-то действительно выросла! Эрго: государство вправе поставить широкий эксперимент, вправе передать отдельные свои функции в руки народа! Вы посмотрите — бригады содействия милиции, комсомольские патрули, народные дружины по охране общественного порядка — это же факт! И факт многозначительный. Разумеется, и у них случаются ошибки, так сказать, ляпсусы, — узкие брюки порезали, девиц каких-то обстригли — так ведь без этого не бывает! Издержки производства! Лес рубят! И теперешний Указ это не

что иное, как логическое продолжение уже начавшегося процесса — процесса демократизации. Демократизации — чего? Демократизации органов исполнительной власти. Идеал же, поймите меня правильно, — постепенное растворение исполнительной власти в широких народных массах, в самых, так сказать, низах. То есть не в низах, я не так выразился, какие у нас низы, ну, вы меня понимаете... И поверьте моему слову, слову старого юриста — передо мной сотни, тысячи, десятки тысяч людей прошли — поверьте моему слову: народ в первую очередь сведет счеты с хулиганами, с туеядцами, с отбросами общества... Да-да, помните, как у Толстого: «Всем миром навальтись хотят! Один конец сделать хотят!» Вот именно, Толя, — «всем миром», общиной, так сказать, «обществом», по-русски...

Я с нетерпением ждал, когда он выронит скользкую тарелку, и он, наконец, кокнул ее. На шум выплыла из комнаты его жена, неодобрительно посмотрела на осколки и на меня и сказала ровным голосом:

— Петр, иди в комнату.

«Мало тебя, дурака, в лагере держали», — подумал я вслед ему и пошел открывать на звонок.

Вошла Зоя.

Мы прошли в мою комнату, и Зоя, облегченно вздохнув, сбросила туфли. Я люблю смотреть, как женщины снимают туфли, меняется форма ноги, линия сразу становится интимной, домашней, какой-то простодушной.

— Ты в белых тапочках, — сказал я, указывая на ее незагорелые ступни. — Покажи, где ты еще белая.

— Я хотела с тобой поговорить, — ответила она, — ну, ладно, потом...

Я обнял ее.

— Запри дверь, — сказала она.

...Мы лежали рядом, чуть отодвинувшись друг от друга. Кожа у Зои была прохладной, несмотря на жару; ее светло-коричневое тело было трижды опоясано белыми лентами: на груди, на бедрах и на ступнях. Она лежала рядом со мной, свободно и бесстыдно раскинувшись, прекрасная и сверкающая, как клоун на манеже, и я чувствовал, что очень люблю ее. И мне хотелось так же свободно и бесстыдно подмигнуть кому-то, какому-то воображаемому наблюдателю и, может быть, соучастнику, и сказать ему: «Посмотри, дружище, какая мне женщина досталась!» Я лежал и думал, что, вероятно, происходящее между нами и называется «жизнью»: борьба, завоевание, взаимная капитуляция, утверждение и яростное отрицание, пронзительное ощущение себя и полное растворение отчуждения и слияния — все вместе, все одновременно. И мне было в эту минуту безразлично, что она замужем, что этой умной, покорной, постоянно ждущей плотью владею не я один, что у нее есть муж, ласкающий ее на законных основаниях, что через месяц вернется к ку-

рорта моя сестра и Зоя уже не сможет приходить ко мне, что нам снова придется, как бездомным котам, лазать по всяким чердакам и подъездам, что снова я буду удивляться и даже чуть-чуть шокироваться ее способностью отдаваться в самых неподходящих условиях, и я снова буду ей за это очень благодарен, и сейчас мне было безразлично все это. Я лежал и ждал, когда она заговорит.

И она заговорила.

— Толя, — сказала она. — Скоро День открытых убийств.

Она произнесла эти слова очень просто и деловито, как если бы сказала: «Скоро Новый год», или «Скоро майские праздники».

— Ну, и что же? — спросил я. — Какое это к нам имеет отношение?

— Разве тебе не надоело прятаться? — спросила она. — Ведь мы можем все переменить.

— Я не понимаю, — пробормотал я. Но я врал — я уже все понял.

— Давай убьем Павлика.

Она так и сказала: «Павлика». Не «мужа», не «Павла», а именно «Павлика». Я почувствовал, как у меня деревенеют губы.

— Зоя, ты в своем уме? Что ты говоришь?

Зоя медленно повернула голову и потерлась щекой о мое плечо.

— Толенька, не волнуйся только, ты только подумай спокойно. Ведь другого такого случая не будет. Я уже все обдумала. Ты придешь к нам накануне. Скажешь, что хочешь провести этот день у нас. Ведь мы с Павликом решили никуда не выходить, и мы это сделаем вдвоем с тобой. А потом ты переедешь ко мне. И мы поженимся. Я бы не стала тебя впутывать в это, я бы сама все сделала, но я просто боюсь не справиться.

Она говорила, а я лежал и слушал, и каждое ее слово, как мгновенное удушье, хватало меня за горло.

— Толя, ну что же ты молчишь?

Я прокашлялся и сказал:

— Уходи.

Она не поняла.

— Куда?

— К черту, — сказал я.

Зоя несколько секунд смотрела мне в глаза, потом встала и начала одеваться. Она надела лифчик, потом трусики, потом комбинашку. Я следил за тем, как она скрывается под одеждой. Она накинула платье, сунула ноги в туфли и стала причесываться.

Причесавшись, она взяла сумочку и отперла дверь. На пороге обернулась и сказала негромко:

— Слякоть.

И ушла. Я слышал, как щелкнул замок входной двери.

Я встал и оделся. Я аккуратно застелил развороченную постель. Я подмел в комнате. Я сделал много движений, сосредоточиваясь на каждом из них. Мне очень не хотелось думать.

---

---

#### IV

---

---

Я их ненавижу до спазм,  
До клекота в горле, до дрожи;  
О, если собрать бы да разом  
Всех этих блядей уничтожить!..

*Георгий Болотин. «Трубы времени».*

А думать все-таки пришлось. Может быть, это глупо, но больше всего меня ошеломило брошенное Зоей словечко «слякоть»: ведь я не трус, я это знаю, я убедился в этом и на фронте, да и после войны бывали всякие случаи. А Зоя решила, что я трусил. Да нет, какая там трусость, просто это же дико: взять и убить Павлика, безропотного, кроткого, ничего не замечающего Павлика. Ну да, мы обманывали его; если бы он узнал о нашей связи, он бы, конечно, страдал; мы пили на его деньги, мы смеялись над ним в глаза и за глаза; все это так — но убить? За что? и зачем? Ведь если на то пошло, если дело только в том, чтобы выйти за меня замуж, то она могла бы и развестись?! Значит, убийство — не просто средство избавиться от нелюбимого, глуповатого и пожилого мужа? Значит, для нее в убийстве есть какой-то непонятный для меня смысл? Может быть, она его ненавидит, мстит? Ну, конечно, она мстит за то, что в свое время, в девятнадцать лет, влюбилась в него, а он только и умеет что говорить: «Техника на грани фантастики», «Ключ от квартиры, где деньги лежат» — да рассказывать еврейские и армянские анекдоты... Она не в состоянии не ненавидеть его. Ну, конечно, если ненавидит, то может и убить. Это-то я понимаю. Ненависть дает право на убийство. Ненавидя, я и сам могу... Могу? Ну, разумеется, могу. Безусловно, могу. Кого я ненавижу? Кого я ненавидел за всю свою жизнь? Ну, школьные годы не в счет, а вот взрослым? Институт. Я ненавидел одного из преподавателей, который четыре раза подряд нарочно срезал меня на зачете. Ну, ладно, черт с ним, это было давно. Начальство разных мастей, с которым мне довелось работать. Да, это были подлецы. Они изрядно попортили мне кровь. Морду бы им набить, сволочам. Кто еще? Писатель К., пишущий черносотенные романы. Да, да, я помню, как я говорил, что убил бы его, если бы знал, что мне за это ничего не будет. О, его, мерзавца, стоило бы проучить! Да так, чтоб он больше никогда к перу не прикоснулся... Ну, а эти, толстомордые,

засадающие и восседающие, вершители наших судеб, наши вожди и учителя, верные сыны народа, принимающие приветственные телеграммы от колхозников Рязанской области, от металлургов Криворожья, от императора Эфиопии, от съезда учителей, от президента Соединенных Штатов, от персонала общественных уборных? Лучшие друзья советских физкультурников, литераторов, текстильщиков, дальтоников и умалишенных? Как с ними быть? Неужто простить? А тридцать седьмой год? А послевоенное безумие, когда страна, осатанев, билась в падучей, кликушествовала, пожирая самое себя? Они думают, что если они наклали на могилу Усатому, так с них и взятки гладки? Нет, нет, нет, с ними надо иначе; ты еще помнишь, как это делается? Запал. Сорвать предохранительное кольцо. Швырнуть. Падай на землю. Падай! Рвануло. А теперь — бросок вперед. На бегу — от живота, веером. Очередь. Очередь. Очередь... Вот они лежат, — искромсанные взрывом, изрешеченные пулями. Сколько: ноги скользят. Кто это? Ползет, волоча за собой кишки по паркету, усыпанному шукаатуркой. А, это тот, обвешанный орденами, который сопровождает Главного в поездках! А почему он такой худой? Почему на нем ватник? Я его уже видел один раз, как он полз по грейдеру, вывалив в пыль синеву и красноту своего живота. А эти? Я их видел? Только тогда на них были пояса с надписью «Готт мит унс» на пряжках, фуражки с красными звездами, сапоги с низким подъемом, прямой наводкой, обмоткой, пилоткой, русские, немцы, грузины, румыны, евреи, венгры, бушлаты, плакаты, санбаты, лопаты, по трупу прошел студебеккер, два студебеккера, восемь студебеккеров, сорок студебеккеров, и ты так же будешь лежать, распластанный, как лягушка, — все это уже было!..

Я встал с постели, подошел к окну и вытер занавеской залитое потом лицо. Потом я пошел на кухню, умылся над раковиной и надел пиджак. Дома я больше оставаться не мог.

Я шел по улице, раскаленной августовским солнцем; навстречу мне шли домохозяйки с авоськами, мальчишки оглушительно жужжали подшипниками самокатов, потные пожилые мужчины брели по тротуару, останавливаясь возле каждого киоска с газировкой. Я вышел на угол Арбата и Смоленской площади и остановился. Хорошо бы в гости к кому-нибудь. К кому? Лето, все на дачах. А кто не на даче, тот наверняка в Серебряном бору или еще где-нибудь, где купаются. И хорошо бы выпить. Я вспомнил, что недалеко, по дороге к Киевскому вокзалу, живет Саша Чупров, художник, мой приятель. Если я даже не застану его дома, я все равно посижу там: дверь его комнаты никогда не запиралась.

Я зашел в угловой гастроном и побрел по залам, отыскивая винный отдел. Я подходил к прилавкам и смотрел, как работают продавцы. В своей магазинной униформе, они были все похожи друг на друга, но держались по-разному: деловито

и солидно в колбасном отделе, равнодушно и надменно во фруктовом, кокетливо и услужливо в кондитерском, бестолково и суматошно в бакалее. В винном отделе, до которого наконец я добрался, они были снисходительны и чуточку фамильярны. Я стоял и разглядывал вертушку с бутылками, конусом возвышающуюся возле колонны. Здесь хранились эмоции. Разлитые по бутылкам, прихлопнутые сверху сургучом, они были снабжены случайными этикетками: «Коньяк», «Столичная», «Гурджаани»; а на самом деле туда загнали меланхолию, веселье, необузданный гнев, трогательную доверчивость, обидчивость и отвагу. Эмоции ждали своей поры. Они должны были выйти на свет из своих стеклянных тюрем, услышать глупые напутственные тосты и взыграть в руках, сдергивающих скатерти, в нечаянно целующих губах, в легких, набирающих побольше воздуха, чтобы достойно исполнить «Подмосковные вечера». «Время работает на нас, — думали они, разноцветно поблескивая в свете электричества, — наше дело правое, будет и на нашей улице праздник...»

Я купил бутылку коньяку (грузинского, на лучший у меня не хватило), лимон и вышел из магазина.

Чупров оказался дома.

— А, это ты, старик, — мрачно сказал он. — Заходи...

Просторная и светлая комната была невероятно захлавлена. На полу валялся раскрытый этюдник, на столе, под столом, на подоконнике лежали рулоны бумаги. Сам хозяин, одетый, ворочался на постели, пристраивая ноги на спинку кровати.

— Что с тобой? — спросил я.

— Сволочи, — ответил он. — Работал, работал, а все псу под хвост.

— А что ты работал?

— Известно что — плакаты.

Чупров писал левые картины и был известен в либеральных кругах как новатор. Но продавать полотна, отмеченные тлетворным влиянием Запада, было некому, с иностранцами он связываться боялся, а жрать надо было. Поэтому он делал плакаты: девушек с просветленными лицами на фоне кремлевских стен, шахтеров в полной подземной амуниции, шагающих уверенной поступью к светлому будущему, молодых инженеров в комбинезонах с кронциркулем в нагрудном кармане и с «Историей КПСС» под мышкой. Платили ему здорово, хотя и нерегулярно.

— Что, не приняли работу? — спросил я. — У тебя что же, договора не было?

— В том-то и штука, что не было. Я думал, им выбирать будет не из чего, ну и решил рискнуть ради такого случая. Лево сделал, в своей, свободной манере. Соображаешь? Приношу, а там...

— Погоди, ради какого случая?

— Ты что, с Луны свалился? Ради Дня открытых убийств. Без плакатов, небось, не обойдутся. Да ты слушай, не перебивай. Приношу, значит, я, а шеф — он же рутинер, академик, ермолки только не хватает. «Вы, говорит, Чупров, не по адресу обратились; такая, говорит, продукция для «Лайфа», может быть, и подходит, а для нас не годится». И пошел, и пошел: «событие в жизни страны... партия нас ориентирует... большие идеи требуют четкого воплощения... чтоб вдохновляло... чтоб звало... вот, смотрите...» И показывает мне плакат Артемьева и Кравца. Ну, поверишь, старик, смотреть не на что! Это я говорю не потому, что мой плакат отвергли, а их приняли, ты же знаешь, как я отношусь к этой работе. Это для меня кормушка, не больше. Но ведь совесть-то надо иметь! Если делаешь, так делай по-настоящему! Не халтурь! Жми! А они, говнюки, намалевали какие-то манекены, — не разберешь, где живые, где мертвые — башенный кран на заднем плане лягнули — и готово, радуешься, красочный плакат! И, в конце концов, наплевать мне на деньги, я на Первом Мая достаточно отхватил, но жалко труда, и-д-е-й жалко! Когда наконец у нас поймут, что теперь середина двадцатого века, что искусство должно двигаться на новых... на новых... м-м-м, скоростях, что ли!

Чупров выпалил все это залпом и матюкнулся; пепел сигареты, обломившись, упал на подушку.

— Слушай, Саша, — осторожно сказал я, — а этот твой неприятый плакат... Можно на него взглянуть?

— Отчего же нет? Гляди — вон он, у стены.

Я расчистил свободное место на полу и развернул рулон.

На фоне огромного, не то восходящего, не то заходящего солнца стояли условные юноша и девушка; солнце било им в спину, и красные тени их фигур ложились поперек плаката; внизу слева тени сливались с красно-черной лужей, омывавшей угол условного дома; в нижнем правом углу лежал, вздернув колени и раскинув руки, труп.

— Ну как? — спросил Саша.

Я подумал и сказал:

— Масса экспрессии.

Я ничем не рисковал: мне было доподлинно известно, что Саша никогда не читал Хаксли.

— Правда? — Саша просиял.

— Да, — продолжал я, — но мне кажется, что труп слишком кричит.

Саша живо соскочил с постели и, оттопырив губу, посмотрел на свою работу.

— Пожалуй, ты прав, старик, — сказал он. — И знаешь, отчего это? Мне бы следовало сделать это поусловнее, не таким реалистическим, не таким настоящим, что ли...

Мы пили коньяк; Саша рассказывал о своих занятиях, я слушал и думал о том, что во всем виновата Зоя, что, если бы

не она, я бы и думать не стал об этом проклятом Дне убийств. Какое мне дело до него? Какого черта... Да пропади они пропадом! А Зойка — сука. Надо Павлику сказать. Нет, теперь уже не надо. Теперь, когда я отказался, она побоится. Сука, убийца. Все было так хорошо, нам было так хорошо, а теперь я больше к ней не прикоснусь. Да она и сама не даст. Из-за нее, это из-за нее я должен сидеть тут и слушать пьяные излияния Чупрова. Левый, новатор! Завтра объявят День педераста, и он сразу за кисти схватится. Будет вычерчивать рост гомосексуализма по сравнению с 1913 годом. Я больше не хочу никого убивать. Не хочу!

— Чего ты не хочешь? — спросил Чупров.

— Пить я больше не хочу.

— Больше и пить-то нечего. А почему это ты пить не хочешь? В самый раз. Погоди, я сбегая за бутылкой... Или вот что: хочешь, я тебя с одним человеком познакомлю, со стариком, хочешь? У-у, какой старик! Он стихи пишет. Пошли, пошли, благодарить будешь, ты таких не видал никогда.

— Пошли!

Я встал, меня качнуло.

— Пошли, Саша! Пошли, Александр Чупров! Пошли, гениальный художник. Он тоже гениальный? Он все объяснит?

— Все! Он все может объяснить — он официант!

---

## V

---

Они в любом подъезде залегли,  
Они струятся запахом карболки,  
Они в траве, растущей из земли,  
В старинных книгах, дремлющих на полке.

Повсюду слышен шепот неживой,  
И злой конец таит любая фраза.  
Они в воде, текущей в душевой,  
И в сиплом бормотанье унитаза.

*Георгий Болотин. «Дьяволы смерти»*

Пока мы купали водку, ловили такси и ехали куда-то к Даниловскому рынку, я успел немного протрезвиться. «А зачем и куда я еду? — подумал я. — На кой ляд мне этот старик? А впрочем...» Впрочем, воскресенье надо было как-то заканчивать. Старик так старик. Подумаешь, великое дело: с женщиной расстался. С любовницей разошелся. С бабой расплевался. Старик так старик.

Саша остановил машину и расплатился.

— Ты посиди тут, а я пойду узнаю, можно ли к нему. Я — мигом...

Я улегся на скамейку бульвара и закурил. За спиной дребезжали трамваи. По дорожкам молодые отцы возили в коляс-



ках младенцев. Надраенные солдаты гуляли с девушками, чинно-благородно вели беседу и не лапали — было еще светло. Я поднял глаза.

Новые восьми-, девятиэтажные дома стояли разомкнутым строем параллельно бульвару; их светлые кирпичные лица с чисто промытыми глазами доброжелательно и обнадеживающе глядели на молоденькую зелень посадок. Но в разрывы этого парадного оптимизма упорно, с мрачным сознанием собственного превосходства, уставились серые здания тридцатых годов. Поставленные углами к бульвару, клиноподобным строем, немецкой «свиньей», — они, не трогаясь с места, все же надвигались из глубины дворов. И такая уверенность в своей правоте чувствовалась в них, такая непоколебимая верность идее, что казалось: восстань только из гроба Зодчий, породивший их, протяни он указующую длань, — и серые утюги двинутся вперед, сметая картонную мишуру новостроек, ровняя с асфальтом автоматические лифты, финскую мебель, двухтомники Хемингуэя и фиги в карманах модных брюк.

Чупров появился около меня внезапно, словно из-под земли выскочил.

— Айда, — сказал он. — Маэстро дома.

Я пошел за ним, толкаясь грудью о бутылки, засунутые во внутренние карманы пиджака.

В чистенькой, вылизанной до блеска однокомнатной квартирке нас встретил маленький старичок с шевелящимися бровями. На нем поверх трикотажных спортивных брюк была надета старомодная пижама со шнурами, похожая на гусарскую куртку; из-под пижамы выглядывала черная косоворотка с белыми, как на баяне, пуговками.

— Прошу, — сказал он. — Очень приятно. Арбатов, Геннадий Васильевич. А вас как прикажете величать? А по батюшке? Анатолий Николаич. Очень приятно. Проходите, садитесь, не обессудьте за беспорядок: холостяцкую жизнь веду, супруга на даче пребывать изволит.

Мы прошли в большую продолговатую комнату; мебель была новая, ухоженная, скатерть на круглом массивном столе заботливо прикрыта прозрачной клеенкой, на диван-кровати, как горох, мал мала меньше лежали подушки. Одна стена была наглухо затянута серым занавесом.

— Вот, Геннадий Васильич, друг мой Толя очень интересуется вашими стихами, — сказал Чупров. — Вы почитаете нам?

— Экой вы, Сашенька, скорый. Все торопитесь, все спешите. А позволительно спросить, куда? Всему свой черед. Не гоните быстролетное время, успеете. Вот мы выпьем водочки с Анатолием Николаевичем, посудачим о том, о сем, обнюхаемся, как муравьишки, — усиками. А там и до стихов рукой подать. «Стишок — отрада для кишок», как говаривал один мой добрый приятель. Как вы, Анатолий Николаич, согласны со мной?

— Да не называйте вы его Анатолием Николаевичем! Толя — и все!

— Нет, любезный мой Сашенька, не могу-с! Мы с молодым человеком первый раз встретились, пуд соли не съели. Все принимаю в нынешней жизни, все приветствую и, как говорится, поздравляю, а вот с новомодной привычкой, этой привычкой не величать — согласиться никак не могу. Меня, ежели угодно, с пятнадцати лет Геннадием Васильевичем звали. И правильно! Ибо уважительное обращение человека возносит, приподнимает, так сказать, над грешной землей. Как вы считаете, Анатолий Николаевич?

— Да как вам удобнее будет, — сказал я. — Хоть горшком назови...

— ...только в печку не ставь, — закончил старик. Он говорил, а сам быстро и аккуратно накрывал на стол. Рюмки, вилки, тарелочки, редис, огурцы, нарезанный хлеб, колбаса возникли на столе со сказочной быстротой. И так же быстро, как заученные, сыпались из него слова — округлые, уютные и старомодные, как вилки с костяными черенками. Он разлил водку по рюмкам, и мы выпили.

— Да, насчет горшка и печки вы правильно заметили, Анатолий Николаич. А между прочим, обратное явление наблюдается: один другого так и норовит и горшком обозвать, и в печку сунуть — на уголечки, на жарок...

— Люди — звери, — мрачно сказал Чупров. Он, очевидно, вспомнил непринятый плакат.

— Напрасно, Сашенька. Напрасно зверей обижаете. Не изволили замечать, о чем люди в благодушном настроении охотнее всего рассуждают? О зверях, о зверушечках. А почему? А потому, что они всем милы. О книжках, скажем, о картинках, о статуях разных — обо всем спорят. О политике, само собой. А о зверях и спорить нечего. Вот в журнале весной этой прочел я статейку с фотографиями про зоопарки разных государств, директор Московского зоопарка написал — и приятно-с. Казалось бы, какая мне корысть, что в Италии чепрачный тапиренок народился? А читаю — и сердце радуется. И все так-то. Скоро звери единственным связующим звеном, единственной точкой соприкосновения между людьми будут. Звери, молодые люди, это не просто животные, это носители, хранилища духовного начала!

Я невольно вскинул голову от тарелки — так несходны были эти последние фразы со всей его предыдущей речью — со «статуями», «народился», «изволили замечать». Старик увидел мое движение и остановился. Саша немедленно ворвался в паузу:

— Выпьем за тапиренка! Как его — чепрачный? За чепрачного тапиренка! Ура!

Мы выпили по несколько рюмок подряд. Старик быстро хмелел, и чем больше он хмелел, тем чище, тем интеллигентнее

становилась его речь. Он уже больше не употреблял «слово-ер». Заложив ногу на ногу, вертя головой от Саши ко мне, он, понизив голос, быстро и очень внятно говорил:

— Никто из нас не знает, что скрыто в душе у другого. К примеру, наш с вами откровенный разговор есть не что иное, как безумие, самоубийственное срывание одежд. Но если вы сорвете на улице одежду в буквальном смысле слова — вас отведут в милицию, оштрафуют, общественное порицание вынесут — и только! А откровенность, срывание одежд душевных — недопустимо! Как знать, а вдруг какое-то мое слово, какая-то идея уязвит вас в самое сокровенное, самое больное место, вопьется настолько сильно, что вырвать эту ядовитую занозу можно только ценой жизни моей?! И вы ринетесь убивать меня — спасти себя! А кто и что может воспрепятствовать вам? Или любому, другому, третьему? Кто из нас знает, сколько весит вражда, которую кто-то испытывает к нам? И чем она вызвана? Неловким словом, манерой закусывать, формой носа? Кстати, — он повернулся ко мне, — вы не еврей?

— Нет, — ответил я, трогая нос. — А что, похож?

— Да, есть что-то. Вот они, евреи, — мудрый народ. Они живут в страхе. И не в страхе Божиим, а в страхе людском. Они каждого рассматривают как возможного врага. И правильно делают. Что может быть страшнее человека? Зверь убивает, чтобы насытиться. Ему — зверю — наплевать на честолюбие, на жажду власти, на карьеру. Он не завистлив! А вот мы — можем ли знать, кто жаждет нашей смерти, кого мы, сами не зная о том, обидели? Обидели самым существованием своим? Ничего мы не знаем...

— Звери из-за самок насмерть дерутся, — сказал Саша.

Геннадий Васильевич двинул бровями:

— Это статья особая. Это — инстинкт продолжения рода. В зверях есть мудрость и простота: они не влюбляются. А вот человек... Стоит человеку влюбиться — и он готов на любую подлость, на любое преступление. Недаром римляне говорили: «Фемина — морс аниме» — «Женщина — смерть души». Но я не об этом. Я спрашиваю вас, Саша, и вас, Анатолий: вы уверены, что среди ваших знакомых и друзей нет таких, которые могут вас убить? Я о себе скажу, что не уверен! А смерть... вы молоды, вы о ней не думали, а я — я старик. Я лежу ночью вот на этом самом диване — посмотрите на него, у него деревянная спинка, — ворочаюсь с боку на бок, толкнувшись локтем о дерево и сразу: «Вот так будет и в гробу — дерево рядом, дерево сверху, дерево, дерево!..»

Он перевел дух; голова его чуть заметно тряслась.

— И ничего нельзя предусмотреть. Ничто не поможет: ни осторожность, ни одиночество — ничто! И напрасно они спорят, толкуют, суетятся...

— Кто «они», Геннадий Васильевич? — спросил я.

— Эти вот — шелкоперы, — устало ответил старик.

Он встал, качаясь, и отдернул серую занавеску: вдоль всей стены протянулись стеллажи с книгами. Пестрые, переплетенные в цветистые ситцы писатели ворвались в комнату, как татарская орда, в клочья разорвав видимость благополучия, обманчивое спокойствие мещанского уюта, а с ними — скрипучие, громоздкие арбы философских систем, кривые зеркала сабель самоанализа, тупые тараны вселенского пессимизма, жеребцы цивилизации с желтой пеной человеконенавистничества на оскаленных мордах, вдребезги, всмятку, в лепешку топчущие седобородых евангелистов, возносящих к равнодушному потолку распадающиеся в атомную пыль заповеди...

— Все друг друга в ложке воды утопить готовы, — вздохнул Чупров, разливая остатки водки.

...Мы шли с Чупровым по пустым улицам. На перекрестках маячили постовые, во всю силу горели неоновые вывески продмагов, каблуки резко и звучно стучали по тротуару, но даже этот стук, обычно так нравящийся мне, сейчас не радовал. До Дня открытых убийств оставалась ровно неделя.

---

## VI

---

— Восстать — не посметь, уйти — не суметь,  
И все одинаково, право:  
Что выйдет солдату — бесславная смерть  
Или бессмертная слава.

*Георгий Болотин. «Привал».*

Я перестал ходить на работу. Я позвонил в редакцию, сказал, что болен. Я валялся на постели, слонялся по комнате и часами рисовал профили на оберточной бумаге, в которой приносил из магазина колбасу.

За все время у меня был только Володька Маргулис, который сразу, как пришел, задал мне дурацкий вопрос: «Зачем им все-таки понадобился этот Указ?» «Им» — это правительству. Я промолчал, и он, обрадовавшись, что я никаких своих суждений не имею, стал объяснять мне, что вся эта чертовщина неизбежна, что она лежит в самой сути учения о социализме.

— Почему? — спросил я.

— А как же? Все правильно: они должны были легализовать убийство, сделать его обычным явлением, поэтому и не объясняют ничего. Раньше объясняли, агитировали.

— Ты чушь порешь! Когда?

— В революцию.

— Ну, это ты загнул. Революция не так и не для того делалась.

— А тридцать седьмой год?

— Что тридцать седьмой?

— То же самое. Полная свобода умерщвления. Только тогда был соус, а сейчас безо всего. Убивайте — и баста! И потом, тогда к услугам убийц был целый аппарат, огромные штаты, а сейчас — извольте сами. На самообслуживании.

— Ох, Володька, хватит! Твои антисоветские монологи перестали быть остроумными.

— А ты что, обиделся за Советскую власть? Ты считаешь, что за нее следует заступаться?

— За настоящую Советскую — конечно, следует.

— Это которая без коммунистов? Как у Шолохова в «Тихом Доне»?

— Иди к черту!

— Оч-чень убедительный ответ! — съязвил Володька. — А ты...

— Хватит, — сказал я.

Мы помолчали, а потом он, обиженный, ушел.

Я снова лег на постель и начал думать. Почему и зачем издан этот Указ — это мне все равно. И нечего подводить под это научную базу и трепаться о революции. Я этого не люблю. Мой отец в гражданскую комиссарил, и я думаю, он знал, за что воевал. Я его плохо помню — его взяли в тридцать шестом, одним из первых, — но после смерти матери я нашел его письма. Я их прочел, и, по-моему, люди моего поколения не имеют права болтать о тех временах. Мы можем и должны решать каждый за себя. Это все, что нам осталось, все, что мы в состоянии сделать, но и этого много. Слишком много.

Этот самый Арбатов, старик с Даниловского бульвара, разбередил меня. Да, я не хочу и не могу убивать, но могут захотеть и смочь другие. И объектом их усердия могу сделаться я — я, Анатолий Карцев! Я снова, как в день последнего свидания с Зоей, перебирал своих врагов. Этот не может. Этот хотел бы, но струсит. Этот может — камнем, кирпичом из-за угла. Кто еще? Этот? Нет, он мне не враг. Не враг? А откуда я знаю? А может, и враг! И потом, почему убить меня могут только враги? Любой прохожий, любой пьяный, сумасшедший дурак может выстрелить мне в лицо, чтобы полюбоваться, как я дрыгаю ногами. Как я истекаю жизнью на асфальт. Как я заостряюсь носом, проваливаюсь щеками, отвисаю челюстью. Как через дырку в черепе уходят мои глаза, мои руки, мои слова, мое молчание, мое море, мой песок, мои женщины, мои неуклюжие стихи...

К черту! К чертовой матери! Я не могу позволить им убить себя. Я должен жить. Я спрячусь, забаррикадируюсь, я пересажу у себя в комнате. Я не хочу умирать. Не хочу! Живые сраму не имеют. Лучше живая собака...

Стоп! Надо взять себя в руки. Надо успокоиться. Лучше живая собака. Я накануне куплю еды и в воскресенье не буду выходить совсем. Я буду лежать на постели и читать Анатоля Франса. Я очень люблю Анатоля Франса. «Остров пингвинов».

«Восстание ангелов». Есть еще «Анатоль Франс в халате». Когда мне случалось ночевать у Зои, она надевала на меня халат Павлика и безумно веселилась. Тогда я не понимал, чему она так радуется, а теперь понимаю. Она думала, что овдовела и вышла за меня замуж. Интересно, каким способом она собиралась убить Павлика? Пересидеть воскресенье. Соседи тоже будут пересидывать. Конечно, могут ворваться в квартиру. Надо укрепить входную дверь. Украсть внизу на стройке лом и заложить дверь. Ломом по голове. Если они ворвутся, я их буду бить ломом, как собак. Лучше живая собака. Недавно я был на собачьей выставке. Мне очень понравились борзые — с головами узкими и длинными, как дуэльные пистолеты. А на дуэли я смог бы драться? Пуля Пушкина попала Дантесу в пуговицу. Если я буду выходить в воскресенье, надо положить портсигар во внутренний карман пиджака, слева, где сердце. «Слева, где сердце» — это роман Леонгарда Франка, очень скучный. А Бруно Франк — это совсем другое, он написал книгу о Сервантесе. А что делал бы Дон Кихот десятого августа? Он ездил бы по Москве на своем Россинанте и за всех заступался бы. На своем персональном Россинанте. Чудак с медным тазом на голове, он проехал бы по Красной площади, готовый преломить копьё во имя Прекрасной Дамы, во имя России. Бедный рыцарь, на московских мостовых 1960 года он искал бы своего друга, своего единомышленника — украинского хлопца, пропевшего когда-то песню о Гренаде. Но заложены булыжником следы боевых коней, и ямки, выбитые в земле древками полковых знамен, залиты асфальтом. Никого он не найдет, фантазер из Ламанчи, ни-ко-го! Уж это я точно знаю. Где они — те, что пошли бы за Дон Кихотом? Чупров? Маргулис? Игорь? Нет, нет, если они и будут драться, то только каждый за себя. Каждый за себя будет драться, каждый за себя будет решать. Постой, постой, кто это недавно говорил: «Мы должны решать каждый за себя»? А-а, это я сам говорил, я сам к этому пришел. Так чего ж я взялся судить других? Чем они хуже меня? Чем я лучше их?

Я вскочил с постели и с отвращением уставился на подушку, сохранившую вмятину от моей головы. Это я там лежал? Это я запасался жратвой и закладывал двери ломом? Это я трясся, как последняя тварь, за свою драгоценную шкуру? Это я чуть в штаны не нагадил от страха? Так чего ж я стою со всем своим великолепным пафосом разоблачения, презрения, со своей вонючей сторонней позицией? Понтий Пилат, предающий ежедневно свою собственную душу, — чего я стою?

Да, каждый отвечает сам за себя. Но за себя, а не за того, кем тебя хотят сделать. Я отвечаю за себя, а не за потенциального шкурника, доносчика, черносотенца, труса. Я не могу позволить им убить себя и этим сохранить свою жизнь.

Погоди, а что я буду делать? Я выйду послезавтра на

улицу и буду кричать: «Граждане, не убивайте друг друга! Возлюбите своего ближнего!»? А что это даст? Кому я помогу? Кого спасу? Не знаю, ничего не знаю... Может быть, я спасу себя. Если не поздно.

---

## VII

---

Останьтесь здесь! Куда же вы пойдете  
В тоске безумной, в ярости слепой —  
Ведь ангелы на бреющем полете  
Пронесутся над воющей толпой,

Ведь тыщи гадов, позабыв о власти  
Земных законов, вышли из болот,  
Они шипят, распяливая пасти, —  
И матери выкидывают плод.

Останьтесь здесь! Вас жизнь сама призвала  
Глашатаями согнанных сюда.  
Упейтесь, вдохновитесь до отвала  
Бессмысленностью Страшного суда!

*Георгий Болотин. «Вам, поэты!»*

Десятого августа я встал в восемь часов утра. Побрился, позавтракал, почитал. За что я ни брался, я все равно неотвязно думал о том, что я должен выйти из дому. Об этом напоминали мне и репродукторы, наяривавшие за окном бравурные марши, и кошки, зигзагами гулявшие по мостовой, восхищенные внезапным безлюдьем, и то, что соседи не выходили ни в кухни, ни в уборные — все совершали у себя в комнате.

Часов в одиннадцать я оделся, положил портсигар, куда собирался, и вышел на лестницу.

Я спускался по ступенькам не торопясь и бесшумно, так что, когда я на повороте столкнулся с соседкой с третьего этажа, это было неожиданностью для нас обоих. А то, что произошло потом... Она вскрикнула, метнулась в сторону, сетка с бутылками ударилась о перила. Зазвенело стекло, кефир хлынул сквозь ячейки авоськи на площадку. Женщина поскользнулась в густой кефирной луже и, ойкнув, грузно села на ступеньки. Я бросился помогать ей. И тут она крикнула второй раз и, закрыв глаза, стала слабо отталкивать меня трясущимися руками.

— Толя, Толя, — бормотала она невнятно. — Я же вас маленького... на руках... я вашу маму... Толя!

— Анна Филипповна, да что с вами? Здесь стекло, вы же порежетесь!

Она открыла глаза, медленно подняла ко мне свое мертвое лицо.

— Толя, — сказала она, — ведь я... ведь я... я подумала... Я кефирчику для Анечки, для внучки... Ох, Толя!..

И она заплакала. Ее грузное, оплывшее шестидесятилетнее тело содрогалось. Я поднял ее, подобрал сумку.

— Зиночка больна, а Борис в командировке, вот я за кефирчиком...

Сверху, с третьего этажа, уже бежала в распахнутом халате Зина, ее дочь, моя одноклассница.

— Мама! Что с тобой? Кто тебя? Что с тобой?

— Ничего, Зиночка, ничего. Я вот упала...

— Говорила я тебе, — начала Зина.

— Зина, отведи-ка мать домой, а я схожу за кефиром.

Я вынул залитые кефиром батоны и отдал их Зине.

— Толя, а деньги-то, деньги!..

...Когда я разделался с этим кефиром и снова вышел на улицу, стало еще жарче. Парило, как перед грозой, и я взял пиджак на руку, забыв о спасительном портсигаре. На душе у меня было мерзко; перед глазами стояло помертвевшее лицо соседки, я слышал ее бессвязный и бессмысленный лепет: «Толя, Толя...»

Я шел по Никитскому бульвару. Он был такой же, как всегда, — веселый, нарядный, весь, как лошадь в яблоках, в крохотных тенях листьев. Только сегодня на нем не было детей. Подростки в рубашках с закатанными рукавами, развалившись на скамейках, поплевывали через плечо в газоны, да посреди аллей, надменно вздернув подбородок, шел пожилой мужчина, ведя на поводке огромного дога без намордника.

Когда я вышел на Арбатскую площадь, я увидел бегущих людей. Они торопились куда-то за старое метро, куда — я не мог увидеть: мешало здание театра. Я перебежал дорогу и протолкался сквозь толпу.

На земле, головой к стене, лежал человек. Он лежал в той самой позе, в какой был изображен труп на плакате Саши Чупрова: раскинув руки, завалив на бок согнутую в колене ногу. По рубашке расплзлось красное пятно; рубашка была белая, вьетнамская — у меня тоже есть такая, мне ее весной купила сестра. Он лежал совершенно неподвижно, и солнце отражалось в узких носках его модных туфель. Я даже как-то не сразу понял, что он мертв; а когда понял, меня пробрал озноб. И потрясло меня не убийство, не смерть, а именно эта чуть ли не мистическая реализация графических бредней Чупрова: почему он лежит точно в такой позе? Он почти упирался запрокинутой головой в раму афиши; на афише лихой черно-белый танцор анонсировал декаду осетинского искусства и литературы. Рядом висела полуоборванная реклама Политехнического музея. «Кандидат экономических наук Г.С.Горнфельд прочтет лекцию на тему: «Вопросы планирования и организации труда на предприятиях...» Дальше было оборвано.

Собравшиеся негромко переговаривались:

— Молодой.



— А может, он жив еще?

— Что вы! Он скончался: я зеркальце подносила, вот это, из сумочки.

— Кто же это его?

— Цветочница говорит: «Подлетел длинный такой, загорелый, и выстрелил. Окликнул его, а он обернулся, он и выстрелил».

— Кто обернулся?

— Господи, да покойник же!

— И милиции, как на грех, нет!

— Когда не надо, они всегда тут.

— Погоди, папаша, а при чем тут милиция?

— Как это при чем? Человека убили!

— Ну и что?

— Тыфу ты, дурак какой! Человека, говорю, убили!

— А ты, отец, полегче. Не дурей тебя. Газеты читаешь? Сегодня — можно!

— Ты, парень, не ори: покойник рядом. Газеты — газетами, а совесть знать тоже надо.

— Вы, уважаемый, что-то не то говорите. По-вашему, совесть и правительственный указ — ве и разные? Я бы на вашем месте поостерегся агитацией заниматься!

— А ты, милоч, ступай отседова, пока я тебя клюшкой промеж очков не ляпнул!

— Боевой какой старикан!

— Мух-то отогнать надо бы. Нехорошо.

— Что ж это, милые мои, значит, какой ни есть хулиган пырнет вот эдак, — и ничего ему за это не будет?

— Газеты, мамаша, читать надо. Сказано: «Свободное умерщвление». Но ты не тушуйся: побьют кого надо — и все.

— А кого это надо?

— Там уж знают кого. Зазря указ писать не станут.

— Как бы не раздели покойника. Туфли-то на нем...

— Грабить нельзя. Тут дело государственное.

Я выбрался из толпы и пошел прочь.

Я не помню сейчас, где я бродил, сколько улиц и площадей я прошагал и как я добрал до Красной площади.

Многолетним благоговением, плотным и осязаемым до отказа, до крыши и куполов, была забита выпуклая, прямоугольная коробка площади. Голые бетонные параллели трибун, трехъярусные кубы гробницы, прямые углы невысокого парапета, наивные двузубцы стены — весь этот с детства, с младенческого лепета знакомый и любимый мною узор, непреложный и бескомпромиссный, как чертеж теоремы, внезапно ударил меня в мозг, в душу, в сердце. Дано: идея; требуется доказать: воплощение. И чертят, чертят оледеневшие в своем рвении геометры, чертят, положив бумагу на склоненную перед ними спину, чертят и не замечают, не хотят замечать,

что прорвалась бумага, что сломался грифель, что по коже, по мясу бороздит обернувшийся шпигрутенном карандаш! Остановитесь! Нельзя же, нельзя такой ценой! Ведь люди же! Ведь не этого он хотел — тот, кто первым лег в эти мраморные стены!..

Меня сбили с ног. Я упал, и прежде, чем я успел подняться, на меня навалился человек. Он сжал мне горло, но я резко дернулся и высвободил шею. Мы покатались, стучаясь головами о тесаный булыжник, стискивая друг друга и тщетно пытаюсь упереться ногами в скользкий, недавно политый камень. Передо мной мелькало голубое небо, пестрота Василия Блаженного, красный мрамор куба и две неподвижные статуи с винтовками, охранявшие мертвецов. Мы покатались к ногам часовых. Здесь мне удалось наконец двинуть его коленом в живот. Он разжал руки, и я вскочил, пошатнулся, наступил на ногу часовому. Мой противник тоже поднялся, и я ударил его в челюсть, раз и еще раз, и он снова упал и пополз, и хотел встать, и руки у него подломились, и он сел, привалился спиной к мавзолею, и, сплевывая красную слюну, прохрипел:

— Я готов. Бей!

Я поднял валявшийся у парапета пиджак и сказал, задыхаясь:

— Сволочь...

— Он ответил:

— По приказу Родины...

Я оглянулся на часовых. Они так же неподвижно стояли, как и три минуты назад, и только один из них, скосив вниз глаза, смотрел на пыльное пятно, оставленное моим каблуком на его начищенном сапоге...

Я пошел домой.

---

---

## VIII

---

---

От прочих раковину отличив,  
Обидел ее Господь:  
Песчинку колючую взял и швырнул  
В ее беззащитную плоть.

А если в дом твой Нечто войдет,  
Куда убежишь от зла?  
И шариком белым, прозрачным зерном  
Жемчужина там росла.

*Ричард О'Хара. «Лагуна».*

Октябрьскую годовщину мы праздновали все той же компанией. После долгих переговоров решено было собраться у Зои и Павлика. у них отдельная двухкомнатная квартира, магнитофон с записями Вертинского и Лещенко, масса посуды — одним словом, женщины решили, что так будет лучше всего.

Я, когда мне сказали, что вечер устраивается там, сначала решил, что не пойду, а потом... а потом я подумал: «А какого черта, собственно говоря? Компания своя, кормят там вкусно, а то, что я знаю про Зою... будем считать, что я ничего не знаю». Я, правда, был не совсем уверен, что Зое все равно — буду я или не буду, и поэтому я сказал Лиле, что еще не знаю, пойду ли я куда-нибудь вообще, что настроение у меня плохое и что пусть Зоя позвонит накануне — тогда я скажу наверняка. А про себя решил, что во время разговора соображу, как поступать. И Зоя позвонила.

Она поздоровалась со мной как ни в чем не бывало, спросила о здоровье, о настроении и о том, приду ли я. Она говорила со мной, и я отвечал ей и слышал ее дыхание в телефонной трубке. Она сказала:

— Пожалуйста, приходи, Толя. Я очень тебя прошу. Я буду ждать тебя. Ты мне испортишь праздник, если не придешь.

Я сказал ей в трубку:

— Знаешь, Зоя, если я приду, то приду не один.

— А с кем?

— Ты ее не знаешь, — сказал я.

• Зоя помедлила самую малость и сказала:

— Ну, конечно, приходи с кем хочешь. Ты же знаешь, мы все будем рады твоим друзьям.

И мы попрощались.

«Ты ее не знаешь», — сказал я. Это была святая правда: я и сам не знал, кого я имел в виду.

Я перебрал в уме всех своих приятельниц, разумеется, одиноких. Их было немало, но вся беда в том, что такое приглашение они истолковали бы слишком многозначительно, а у меня не было ни малейшего желания заводить новые романы. Может быть, пойти одному? Но мною вдруг овладел бес мальчишеской мстительности: я во что бы то ни стало должен доказать Зое, что мне на нее наплевать. Я решил позвонить Светлане. Светлана — это художница из нашего издательства, ей года двадцать три. Она очень мила, явно равнодушна ко мне и достаточно скромна, чтобы не вообразить Бог знает что. Она очень обрадовалась, когда я пригласил ее, смутилась и залепетала, что это неудобно, что она ни с кем не знакома, что, право, она не знает...

— Ерунда, Светочка, — сказал я. — Все они очень милые люди, и если вас не смущает, что они перепьются и будут петь блатные песни и, может быть, ругаться при этом, то... В общем, я вас жду завтра в полдесятого на углу Столешникова, там, где книжный магазин.

...Мы пришли, когда все уже давно сидели за столом. Бутылки на треть были опорожнены, мужчины сняли пиджаки, и кто-то уже порывался запеть. Но благолепие праздничного

стола не было окончательно разрушено: окурки еще не тыкали в тарелки и не путали рюмок.

При виде нас все радостно загалдели. Они галдели и разглядывали Светлану.

— Это Светлана, прошу любить и жаловать, — сказал я. — Держите бутылки, кормите и поите нас.

— Светланочка, деточка, идите сюда, — пропела Лиля. — Эти мужики совсем отбились от рук, сами едят и пьют и не оказывают нам никакого внимания. Но мы без них обойдемся, правда?

— Без нас не обойдетесь! — захохотал Павлик. — Мы..

— Штрафную, штрафную! — кричал Володька.

— Светлана, вот ваш бокал, — Игорь налил сухого вина. — А может, вы выпьете коньяку? Водку я не решаюсь предлагать.

— Нет, нет, что вы, спасибо, — Светлана улыбалась несколько напряженно.

— Толя, куда вы пропали, почему не приходите? Мишенька все время спрашивает: «А где дядя Толя? А когда он придет?» — Эмма, Володькина жена, положила бюст на стол и округлила рот и глаза, изображая сына. Одета она была, как всегда, ярко и безвкусно.

— Итак? — Зоя протянула мне рюмку водки.

— Итак? — отозвался я.

— С праздником! С праздником вас, опоздавшие! — Павлик потянулся ко мне через стол — чокаться. — Я уж боялся, что вы не придете. Мы с Зоей...

— Павлик, ты льешь.

— Прости, дорогая... Мы с Зоей...

— Павлик, передай салат, пожалуйста.

— Мы с Зоей... Да что ты мне слова сказать не даешь?!

— Я просто хотела попросить тебя, чтобы ты и мне налил вина.

Шум нарастал. Уже не было общего разговора. Уже Игорь вовсю ухаживал за Светланой, уже Лиля, выскочив из-за стола, повисла на каком-то длинном парне, которого все называли «геолог Юра», уже Володька читал громко стихи модного молодого поэта, плохие стихи с неряшливыми, как болтающиеся шнурки, рифмами. На него наскакивала востроносая девица и кричала, что поэт — пошляк, а стихи — бездарные.

— Пошляк — а гражданское мужество?! — орал Володька. — Бездарные — а «Комсомольская правда» его ругает!

Все веселились. Павлик налаживал магнитофон. Эмма ела салат. Геолог Юра повторял: «Мы там ствыкли от майонеза». Я выпил три рюмки и невесть чего обозлился.

— Слушайте, друзья, — сказал я, покрывая разноцветный шум пирушки, — а вы знаете, что я вас всех чертовски люблю!

— Толенька!

— То-ля!  
— Толя, лапонька!  
— Ведь это ужасно глупо, что мы так редко встречаемся, — продолжал я. — Когда мы последний раз собирались?

— Последний раз?

— В самом деле — когда?

— А я знаю! — закричала Лиля. — Последний раз мы собирались у нас на даче! Когда объявили про День открытых убийств!

Все разом замолчали. Даже наладившийся было магнитофон скрипнул каким-то своим тормозом и остановился. И только Эмма с разгону продолжала говорить:

— ...а в школе у них организованы горячие завтраки...

Но, оглянувшись на тишину, умолкла и она. Пауза длилась, затягивалась, становилась уже неприличной.

— В самом деле, — сказал Игорь, — столько времени прошло, столько событий. Десятое августа...

— Мы с Зоей, — закричал Павлик, — мы с Зоей пересидели спокойненько... Телевизор, магнитофончик... На другой день меня на работе спрашивают...

И тут всех будто прорвало:

— ...а я ему говорю: «Я тебя первого пристукну! Ты, говорю, падло!» И загнул, знаешь, как я умею!..

— В Одессе блатные поймали начальника милиции. Ну, он, конечно, в форме был. Так что они сделали? Переодели его в какую-то рвань и отпустили. Понимаете, отпустили! А потом догнали и... кончили! Их еще потом судили.

— Ну-у?

— Осудили... за грабеж!

— Слушайте, слушайте, что было в Переделкине! Кочетов нанял себе охрану — из подмосковной шпаны. Кормил, поил, конечно. А другие писатели тоже наняли — понимаете? Чтобы Кочетова прихлопнули!

— Ну и что же было?

— Что было! Драка была — вот что! Шпана между собой дралась!

— Ребята, а кто знает, много жертв было?

— По РСФСР немного: не то восемьсот, не то девятьсот, что-то около тысячи. Мне один человек из ЦСУ говорил.

— Так мало? Не может быть!

— Правильно, правильно. Эти же цифры по радио передавали. По заграничному, конечно.

— Ух, и резня там была! Грузины армян, армяне азербайджанцев...

— Армяне азербайджанцев?

— Ну да, в Нагорном Карабахе. Это же армянская область.

— А в Средней Азии как? Там тоже, небось, передрались?

— Не-ет, там междоусобия не было. Там все русских резали...

— Письмо ЦК читали?

— Читали!

— Не читали! Рассказывай!

— Во-первых, про Украину. Там Указ приняли как директиву. Ну, и наворотили. Молодежные команды из активистов, рекомендательные списки: ну, про списки сразу известно стало — разве такое в секрете удержишь? И пришлось спецкомандам облизнуться: все, кто в списках значился, удрали. Так что это дело у них бортиком вышло. И еще ЦК их приложил — за вульгаризацию идеи, за перегибы. Четырнадцать секретарей райкома и два секретаря обкома — фьют!

— Ну да?

— Абсолютно точно. А в Прибалтике никого не убили.

— Как, никого не убили?!

— А так! Не убили — и баста!

— Да ведь это демонстрация!

— И еще какая! Игнорировали Указ, и все. В письме ЦК устанавливается недостаточность политико-воспитательной работы в Прибалтике. Тоже кого-то сняли.

— ...бежит по переулку, кричит и стреляет, стреляет! Очередями по окнам! Откуда он автомат раздобыл? В Авиационно-технологическом сопромат преподает...

— А мы двери на замок, шторы опустили — и в шахматки...

— Я ему говорю: «Не смей, подумай о детях!» А он: «Я пойду на улицу!» — и даже зубами заскрипел. Миша плачет... Еле его уговорила.

— ...в «Известиях» статья этой, как ее... Елены Коломейко. О воспитательном значении для молодежи. Она еще как-то с политехнизацией и с целинными землями увязала...

— В «Крокодиле»! Там такой рисунок: он лежит...

— А мы с Зоей жалели только, что никого из своих нет: веселее было бы...

Миновало, миновало, миновало! Это произнесенное словечко прорывалось сквозь анекдотические рассказы, сквозь нервный смешок, сквозь фрондерские реплики в адрес правительства. Впервые со Дня открытых убийств услышал я, как люди говорят о случившемся. До сих пор, когда я заговаривал с ними об этом, они смотрели как-то странно и переводили разговор на другое. Я подчас ловил себя на дикой мысли: «А не приснилось ли мне все это?!» А теперь — миновало! А теперь мы справляем 43-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции!

Четверо — Светлана, Зоя, Володька и я — молчали. А водоворот впечатлений, рассказов, слухов, сведений крутился, повисал пестрой радугой, брызгал пеной на бежевые обои:

— У нас в экспедиции все было тихо-мирно. У нас нельзя — тайга кругом. Сегодня — ты, а завтра я...

— Он на рассвете покончил самоубийством, сосед наш... Тихий такой старичок, официантом в «Праге» работал...

— Я всю ночь не могла заснуть, казалось, кто-то скребется...

Я вспомнил, как в ночь на одиннадцатое августа я вышел и увидел идущие по Садовой машины для поливания улиц; они шли широким фронтом, раскинув водяные щетки и мыли, мыли, мыли мостовую и тротуары...

Дождавшись, когда Светлана повернется ко мне, я тихонько показал ей глазами на дверь. Она вышла, а через минуту вышел и я. В кухне было уютно и тихо.

— Ну как, Светлана? Нравится?

— Я не понимаю, Толя. Они действительно были все очень милые, а потом, когда начали про это говорить... Почему они так радуются?

— Они радуются, что уцелели, Светочка.

— Но они же все прятались! Их же, — Светлана запнулась, подыскивая слово, — их же... запугали!

— Запугали? — я взял Светлану за плечи. — Света, вы понимаете?..

Нет, она не понимала. Она не могла понять, что одним этим словом ответила на вопрос, который задавали себе и друг другу миллионы растерявшихся людей. Она, эта девчушка, не могла понять, что стала вровень с государственными мужами, с зоркими пастырями народа, вровень с мудрым шелестом бумаг в затемненных кабинетах, вровень с негромким и почтительным бормотанием референтов, вровень с тем, что так торжественно именуется Державой. Ей казалось, что она выговорила это слово мне, а она нечаянно бросила его в лицо огромным правительственным зданиям, черно-белым гектарам газет, ежедневно устилающих страну, согласному реву общих собраний, навстречу дьявольскому лязганью гусениц, несущих разверстые пасти орудий на праздничные парады.

Я обнял ее и сказал:

— Хватит об этом, Света. Я хочу вас поцеловать, давно уже хочу, разве ты не видишь?..

...И вот, проводив Светлану, я иду домой. Я иду по знакомым улицам, по переулкам, которые я мог бы пройти с закрытыми глазами. Сквозь тюлевые занавески розовеют пышные кринолины абажуров. У подъездов расстаются и никак не могут расстаться парочки. Каменный Тимирязев задумчив, как палец, приставленный ко лбу. Откуда-то гремит радио, где-то взвизгивает тормозами машина, шумят развеселые компании, так же, как я, возвращающиеся из гостей. Где-то в своих комнатах на каких-то своих этажах сидят люди и бормочут ругательства, стихи, признания в любви.

Это — говорит Москва.

Я иду по улице, по тихому уютному бульвару, нащупываю в кармане тетрадь и думаю о том, что я написал. Я думаю, что

написанное мною могло быть написано любым другим человеком моего поколения, моей судьбы, так же, как и я, любящим эту проклятую, эту прекрасную страну. Я судил о ней, и о ее людях, и о себе самом лучше и хуже, чем следовало бы судить. Но кто упрекнет меня за это?

Я иду и говорю себе: «Это — твой мир, твоя жизнь, и ты — клетка, частица ее. Ты не должен позволять запугать себя. Ты должен сам за себя отвечать, и этим — ты в ответе за других». И негромким гулом неосознанного согласия, удивленного одобрения отвечают мне бесконечные улицы и площади, набережные и деревья, дремлющие пароходы домов, гигантским караваном плывущие в неизвестность.

Это — говорит Москва.

1961 г.



Ты вот, Сергей, интеллигент, вежливый. Поэтому и молчишь, не спрашиваешь ничего. А наши ребята, заводские, так те прямо говорят: «Что, говорят, Васька, допился до ручки?!» Это они про руки мои. Думаешь, я не заметил, как ты мне на руки посмотрел и отвернулся? И сейчас все норовишь мимо рук глянуть. Я, брат, все понимаю — ты это из деликатности, чтобы меня не смущать. А ты смотри, смотри, ничего. Я не обижусь. Тоже, небось, не каждый день увидишь такое. Это, друг ты мой, не от пьянства. Я и пью-то редко, больше в компании или к случаю, как вот с тобой. Нам с тобой нельзя не выпить за встречу-то. Я, брат, все помню. И как мы с тобой в секрете стояли, и как ты с беляком по-французски разговаривал, и как Ярославль брали... Помнишь, как ты на митинге выступал, за руку взял меня — я рядом с тобой случился — и сказал: «Вот этими, сказал, руками...» Да-а. Ну, Серега, наливай. А то я и впрямь расхлюпаю. Забыл я, как она называется, трясучка эта, по-медицинскому. Ладно, у меня это записано, я тебе потом покажу... Так вот — отчего это со мной приключилось? От происшествия. А по порядку если говорить, то расскажу тебе так, что когда демобилизовались мы в победившем 21-м году, то я сразу вернулся на свой родной завод. Ну, мне там, ясное дело, почет и уважение, как революционному герою, опять же — член партии, сознательный рабочий. Не без того, конечно, было, чтобы не вправить мозги кому следует. Разговорчики тогда разные пошли: «Вот, дескать, довоевались, дохозяйничались. Ни хлеба, ни хрена...» Ну, я это дело пресекал. Я всегда был твердый. Меня на этой ихней меньшевистской мякине не проведешь. Да. Ты наливай, меня не дожидайся. Только проработал это я с год, не больше, — хлоп, вызывают меня в райком. «Вот, говорят, тебе, Калинин, путевка. Партия, говорят, мобилизует тебя, Калинин Василий Семенович, в ряды доблестной Чрезвычайной комиссии, для борьбы с контрреволюцией. Желаем, говорят, тебе успехов в борьбе с мировой буржуазией, и кланяйся низко товарищу Дзержинскому, если увидишь». Ну, я — что ж? Я человек партийный. «Есть, говорю, приказ партии исполню». Взял путевку, забежал на завод, попрощался там с ребятами и пошел. Иду, а сам в мечтах воображаю, как я всех этих контриков беспощадно вылавливать буду, чтобы они молодую нашу Советскую власть не поганили. Ну, пришел я. Действительно, Дзержинского Феликса Эдмундовича видел, передал ему от райкомовцев, чего говорили. Он мне руку пожал, поблагодарил, а потом всем нам — нас там человек тридцать было, по партийной мобилизации — выстроил нас всех и сказал, что, мол, на болоте

дом не построишь, надо, мол, болото сперва осушить, а что, мол, при этом всяких там жаб да гадюк уничтожить придется, так на то, говорит, есть железная необходимость. И к этому, говорит, всем нам надо руки приложить... Значит, он сказал вроде басни или анекдота какого, а все, конечно, понятно. Строгий сам, не улыбнется. А после нас распределять стали. Кто, что, откуда — расспросили. Образование, говорят, какое? У меня образование, сам знаешь, германская да гражданская, за станком маялся — вот и все мое образование. Два класса церковноприходской кончил... Ну и назначили меня в команду особой службы, а просто сказать — приводить приговоры в исполнение. Работа не так чтобы трудная, а и легкой не назовешь. На сердце влияет. Одно дело, сам помнишь, на фронте: либо ты его, либо он тебя. А здесь... Ну, конечно, привык. Шагаешь за ним по двору, а сам думаешь, говоришь себе: «Надо, Василий, Н-А-Д-О. Не кончишь его сейчас, он, гад, всю Советскую Республику порушит». Привык. Выпивал, конечно, не без того. Спирт нам давали. Насчет пайков каких-то там особенных, что, дескать, чекистов шоколадом и белыми булками кормят — это все буржуйские выдумки: паек как паек, обыкновенный, солдатский — хлеб, пшено и вобла. А спирт, действительно, давали. Нельзя, сам понимаешь. Ну вот. Проработал я таким манером месяцев семь, и тут-то и случилось происшествие. Приказано нам было вывести в расход партию попов. За контрреволюционную агитацию. За злостность. Они там прихожан мучили. Из-за Тихона, что ли. Или вообще против социализма — не знаю. Одним словом — враги. Их там двенадцать человек было. Начальник наш распорядился: «Ты, говорит, Калинин, возьми троих, ты, Власенко, ты, Головчинер, и ты...» Забыл я, как четвертого-то звали. Латыш он был, фамилие такое чудное, не наше. Он и Головчинер первыми пошли. А у нас так было устроено: караульное помещение — оно как раз посерединке было. С одной стороны, значит, комната, где приговоренных держали, а с другой — выход во двор. Брали мы их по одному. С одним во дворе закончишь, оттащишь его с ребятами в сторону и вернешься за другим. Оттаскивать необходимо было, а то, бывало, как выйдешь за другим, а он как увидит покойника и начнет биться да рваться — хлопот не оберешься, да и понятно. Лучше, когда молчат. Ну вот, значит, Головчинер и латыш этот кончили своих, настала моя очередь. А я уж до этого спирту выпил. Не то чтобы боязно мне было или там приверженный я к религии был. Нет, я человек партийный, твердый, я в эту дурь — богов там разных, ангелов, архангелов — не верю, а все ж таки стало мне как-то не по себе. Головчинеру легко, он — еврей, у них, говорят, и икон-то нету, не знаю, правда ли, а я сижу, пью, и все в голову ерунда всякая лезет: как мать-покойница в деревне в церковь водила и как я попу нашему, отцу Василию, руку целовал, а он — старик он

был — тезкой все меня называл... Да-а. Ну, пошел я, значит, за первым, вывел его. Вернулся, покурил малость, вывел второго. Обрато вернулся, выпил — и что-то замутило меня. «Подождите, говорю, ребята. Я сейчас вернусь». Положил маузер на стою, а сам вышел. Перепил, думаю. Сейчас суну пальцы в рот, облегчусь, умоюсь, и все в порядок придет. Ну, сходил, сделал все, что надо, — нет, не легчает. Ладно, думаю, черт с ним, закончу сейчас все и — спать. Взял я маузер, пошел за третьим. Третий был молодой еще, видный из себя, здоровенный такой попище, красивый. Веду это я его по коридору, смотрю, как он рясу свою долгополую над порогом поднимает, и тошно мне как-то сделалось, сам не пойму — что такое. Вышли во двор. А он бороду кверху задирает, в небо глядит. «Шагай, говорю, батюшка, не оглядывайся. Сам себе, говорю, рай намолил». Это я, значит, пошутил для бодрости. А зачем — не знаю. Сроду со мной этого не бывало — с приговоренными разговаривать. Ну, пропустил я его на три шага вперед, как положено, поставил ему маузер промеж лопаток и выстрелил. Маузер — он, сам знаешь, как бьет — пушка! И отдача такая, что чуть руку из плеча не выдергивает. Только смотрю я — а мой расстрелянный поп поворачивается и идет на меня. Конечно, раз на раз не приходится: иные сразу плашмя падают, иные на месте волчком крутятся, а бывает и шагать начинают, качаются, как пьяные. А этот идет на меня мелкими шагами, как плывет в рясе своей, будто я и не в него стрелял. «Что ты, говорю, отец, стой!» И еще раз приложил ему — в грудь. А он рясу на груди распахнул-разорвал, грудь волосатая, курчавая, идет и кричит полным голосом: «Стреляй, кричит, в меня, антихрист! Убивай меня, Христа твоего!» Растерялся я тут, еще раз выстрелил и еще. А он идет! Ни раны, ни крови, идет и молится: «Господи, остановил Ты пулю от черных рук! За Тебя муку принимаю!.. Не убить душу живую!» И еще что-то... Не помню уж, как я обйму расстрелял; только точно знаю — промахнуться не мог, в упор бил. Стоит он передо мной, глаза горят, как у волка, грудь голая, и от головы вроде сияние идет — я уж потом сообразил, что он мне солнце застил, к закату дело шло. «Руки, кричит, твои в крови! Взгляни на руки свои!» Бросил я тут маузер на землю, вбежал в караулку, сшиб кого-то в дверях. Вбежал, а ребята смотрят на меня, как на психа, и ржут. Схватил я винтовку из пирамиды и кричу. «Ведите, кричу, меня сию минуту к Держинскому или я вас всех сейчас переколю!» Ну, отняли у меня винтовку, повели скорым шагом. Вошел я в кабинет; вырвался от товарищей и говорю ему, а сам весь дрожу, заикаюсь: «Расстреляй, говорю, меня, Феликс Эдмундыч, не могу я попа убить!» Сказал я это, а сам упал, не помню больше ничего. Очнулся в больнице. Врачи говорят: «Нервное потрясение». Лечили меня, правду сказать, хорошо, заботливо. И уход, и чистота, и питание по тем временам легкое. Все вылечили, а вот

руки, сам видишь, ходуном ходят. Должно быть, потрясение это в них перешло. Из ЧК меня, конечно, уволили. Там руки не такие нужны. К станку, ясное дело, тоже не вернешься. Определили меня на склад заводской. Ну что ж, я и там дело делаю. Правда, бумаги всякие, накладные сам не пишу — Из-за рук. Помощница у меня для этого есть, смышленная такая девчоночка. Вот так и живу, браток. А с попом тем я уж потом узнал, как дело было. И никакой тут божественности нету. Просто ребята наши, когда я оправляться ходил, обойму из маузера вынули и другую всунули — с холостыми. Пошутили, значит. Что ж, я на них не сержусь — дело молодое, им тоже несладко было, вот они и придумали. Нет, я на них не обижаюсь. Руки только вот у меня... совсем теперь к работе не годятся...

**1.**

---

Две молодые женщины, Анна Львовна Княжицкая и Вера Ивановна Кранц, сбросив туфли, забралась на тахту с ногами. Обе дамы чувствовали себя великолепно: они только что поужинали, выпили коньяку и закурили. Муж Анны Львовны недавно уехал в командировку, и, кроме них, в квартире никого не было. Все располагало к интимной беседе, к откровенному разговору. И как только подруги перекочевали на тахту, разговор действительно произошел.

Начала его Вера Ивановна.

— Анечка, ты не сердись на меня, но я должна спросить тебя об одной вещи.

— Спрашивай, — лениво отозвалась Анна Львовна.

— Ты думаешь обзаводиться детьми или нет? Тебе уже, извини меня, двадцать восемь, годы идут, а чем позже, тем труднее будет. Чего ты ждешь? Зарабатываете вы прилично, жилищные условия — лучше и желать нечего, отдельная квартира. В чем дело? Или ты так и собираешься этой, как ее — бесплодной смоковницей? Ты у врачей была?

— А зачем мне ходить к врачам? Все дело в Леониде.

— Он что же — не может?! Бедная моя!

— Как же, не может! За последние два года я три раза аборт делала.

— Зачем?!

— Леонид. Все дело в нем. Он, видишь ли, хочет мальчика. Ему, понимаешь, продолжатель рода нужен. Он гарантий от меня требует. А какие у меня гарантии?.. Ольга — знаешь, сестра двоюродная Леонида? — на хвосте принесла, что надо высчитывать.

— Что высчитывать?

— Понимаешь, организм у мужчин обновляется каждые четыре года, а у нас каждые три. В общем, у кого в это время организм обновленной, тот и родится. То есть не тот родится, а ребенок. Если мужчина обновленный, то мальчик, а если женщина, то девочка.

— Когда обновленной?

— Господи, ну что значит «когда»? В этот самый момент. Ну, зачатие когда происходит. В общем, все это ерунда. Мы стали знакомых детей вспоминать, и ничего не сходится. Давай выпьем еще по рюмочке?

Они выпили по рюмочке, и Вера Ивановна сказала:

— Анька, ты дура. Родила бы ему кого попало — небось обратно не запихнет.

Анна Львовна заморгала красивыми коровьими глазами и заплакала.

— Ты его не знаешь. Он только перед чужими такой тихонький. Он меня со свету сживет, если девочка. Он меня бросит с девочкой вместе. А он все-таки интеллигентный человек, вечернюю школу кончил. И зарабатывает прилично, ты сама говоришь. А второй раз замуж не выйдешь. Женщин на тридцать процентов больше. По переписи.

Против данных Всесоюзной переписи Вера Ивановна спорить не стала. Она только налила плачущей Анне Львовне коньяку и выпила сама. Ей и так было жалко подругу, а тут еще коньяк взыграл, и очень захотелось помочь. Но это была тайна. Вера Ивановна смотрела на ревущую Анну Львовну и мысленно взвешивала — так ли уж несчастна ее подруга? Дело в том, что, помогая Анне Львовне, она вручила бы ей свою честь и свое семейное благополучие. Заветная тайна билась у нее под языком, как золотая рыбка в кулаке. И Вера Ивановна не выдержала.

— Аня, — сказала она наконец, — Аня, поклянись мне, что ты никому не скажешь. Поклянись всем, что есть у тебя святого!

— Клянусь, — сказала Анна Львовна, стараясь сообразить, что у нее святое, но, кроме ВЛКСМ, из которого она недавно выбыла по возрасту, она так ничего и не вспомнила.

---

---

## 2.

Прощаясь, Вера Ивановна сказала:

— Значит, договорились: как только вернется Леонид, сразу же дашь мне знать, а я пока подготавливаю почву...

И вот, наконец, возвратился из командировки Леонид Николаевич Княжицкий. Была радостная встреча на вокзале, веселый ужин вдвоем и счастливая содержательная ночь. А наутро, проводив мужа на работу, Анна Львовна бросилась к телефону.

— Верочка, это я. Леонид приехал. Да, вчера. Да-да, три раза. Да. Безо всего. Да? Уже? В два часа? Ох, как я боюсь! Приду. Нет, нет, приду обязательно. Что мне надеть? Ведь надо, наверно, одеться получше? Ой, Верка, как тебе не стыдно! Я же серьезно. На кнопках? Бежевое на кнопках — ну, ты знаешь, с круглым вырезом... Пока.

...Остановившись перед дверью, Анна Львовна суетливо открыла сумочку, попудрилась и нажала кнопку звонка. Дверь тотчас отворилась, и Вера Ивановна, подхватив гостью под руку, повела ее в столовую. Там за столом, сервированным на троих, сидел молодой человек. Он сидел, небрежно откинувшись на спинку стула, поигрывая металлической крышечкой от сахарницы. Он курил сигарету с фильтром.

— Знакомьтесь, пожалуйста, — сказала Вера Ивановна. — Это Володя Залесский. А это Анечка. Я вам обоим друг о друге рассказывала, вы уже заочно знакомы.

— Но очное знакомство превзошло все мои ожидания, — равнодушно сказал Володя.

— Анечка, Володя, ешьте, пожалуйста. Володя, наливайте вино. Ничего не поделаешь, вы единственный мужчина — придется потрудиться.

— Готов к труду и обороне, — тем же голосом вокзального диктора произнес Володя. Он разлил вино по рюмкам.

— А к нападению вы готовы? — спросила Вера Ивановна кокетливо.

— Всегда готов, — сказал Володя. Он не поддержал шутливого тона хозяйки: он просто ответил на поставленный ему вопрос.

Ел Володя без суеты и опрятно, загодя обдирая колбасную кожуру и обрезая лишнюю ветчину по краю бутерброда. Из обрезков он потом устроил себе отдельный бутерброд, крытый ветчинной мозаикой.

Закусывая, говорил об американском «Айс-ревью», а когда все почти съедено было и выпито, Вера Ивановна посмотрела на часы и ненатурально ахнула.

— Ах, — сказала она. — Ах, я совсем забыла. У меня в четыре примерка. Друзья мои, посидите тут, поразвлеките друг друга. Анечка, покажи Володе квартиру.

Она упорхнула. Гулко, как стартовый пистолет, хлопнул замок входной двери, и, словно повинувшись этому сигналу, Володя встал.

— Вы знаете Верину квартиру? — лепетнула Анна Львовна.

— Да. Спальня там, — ответил он, взял ее за плечо и слегка подтолкнул к двери.

В спальне он деловито взял ее за обе груди сразу и приподнял их, как бы взвешивая. Потом повернул Анну Львовну спиной к себе и расстегнул кнопки на платье. На этом период ухаживания закончился. Он оставил ее, снял пиджак, поискал глазами плечики и, не найдя, повесил на спинку стула. Сняв брюки, он повернулся и рассеянно посмотрел на Анну Львовну.

— Ну? — сказал он.

Анна Львовна покорно, как на приеме у гинеколога, стала раздеваться. Уже лежа, закрывая глаза, она пролепетала в нависшее над ней Володино лицо.

— Мальчика...

— Знаю. Меня Вера предупредила, — ответил Володя.

---

### 3.

---

С Володей Залесским Вера Ивановна познакомилась на курорте, в Крыму. Подобралась теплая компания, было весело и беззаботно. Вспыхивали и затухали бесчетные романы, любили усердно и не щадя себя, вкладывая в это меро-

приятие весь нерастроченный на службе трудовой энтузиазм. Торопились все так, как будто непосредственно по окончании отпуска наступит конец света. Самые остроумные говорили: «Все равно — атомная бомба!», прочие же сходились не мудрствуя, без ссылок на международную обстановку.

Однажды Вера Ивановна в перерыве между удовольствиями принялась рассказывать Володе о своей семье. Есть нечто фатальное в том, что на каком-то определенном этапе интимности любовники вдруг начинают выкладывать друг другу всю подноготную о своих женах и мужьях. Может быть, это традиция, неведомыми путями передающаяся от одного поколения курортников к другому, а может быть, потребность организма? Этого я, к сожалению, не знаю. Так или иначе, но Вера Ивановна подробно описала сокровенные привычки Семена Моисеевича, с похвалой отозвалась о его мужских достоинствах, рассказала о том, какой он заботливый («Все евреи, знаешь, замечательные семьянины!»), с умилением повторила забавные выражения своего четырехлетнего сына и между прочим сказала:

— Мы бы еще одного завели, но нам с Семой хочется, чтобы теперь была девочка...

— Был бы я твоим мужем, я бы тебе на заказ сработал. Раз — и готово! Хочешь девочку, хочешь — мальчика...

Вера Ивановна засмеялась.

— Хочешь — двойню, — с пьяным упорством продолжал Володя (с вечера они с Верой Ивановной накачались массандровским вином), — хочешь — тройню: двух мальчиков и девочку, двух девочек и мальчика...

— А гермафродита можешь?

— Я серьезно говорю!

Володя обиделся и встал на постели во весь свой голый рост. Вера Ивановна смотрела на него снизу вверх.

— Ты не туда смотри! — воскликнул Володя. — Ты сюда смотри!

И он хлопнул себя ладонью по лбу.

— Ну ладно, ладно, ложись, чего ты взвился, как ракета?..

На другой день, когда они возвращались с пляжа, Вера Ивановна вдруг засмеялась и сказала:

— Володя, а ты помнишь, что ты ночью спяну городил?

Володя, отвернувшись в сторону, буркнул:

— А я не спяну.

Вера Ивановна остановилась.

— То есть как, не спяну?

— А вот так.

Он отколупнул кусочек коры пробкового дерева, машинально понюхал его и сказал:

— Я действительно могу... это... зачинать кого хочу...

...Это было три года назад. Вскоре они уехали в Москву. Вера Ивановна вернулась в объятия мужа, но не забыла и



Володю: он не раз навещал ее в рабочие часы Семена Моисеевича.

Сейчас у супругов Кранц была очаровательная двухлетняя Лидочка.

Но Вера Ивановна на этом не успокоилась. Необычайное дарование, выдающиеся способности Володи не должны были пропадать зря в ожидании того далекого, покрытого дымкой неопределенности дня, когда Володя на ком-нибудь женится. «Сколько семей страдает, — думала Вера Ивановна, — сколько браков были бы более счастливыми, если бы Володя... вмешался. Я должна, должна помочь людям. Это, если хотите, мой гражданский долг», — спорила она с воображаемым оппонентом. Да, что и говорить, еще с пионерских лет была в ней такая общественная жилка. И когда она приступила к осуществлению задуманного, то чувствовала себя чем-то вроде Жанны д'Арк при аполитичном короле Карле Седьмом. Она стала убеждать Володю, что он не вправе зарывать свой талант, не для этого страна растила и воспитывала его! Володя колебался, но когда Вера Ивановна сказала, что он, Володя Залесский, призван осуществить на практике лозунг Мичурина «Мы не можем ждать милостей от природы», когда она, поправив бретельку комбинашки, села на постели и воскликнула: «Ты же комсомолец, Володя!» — он не выдержал и согласился.

Чета Княжицких была седьмой по счету супружеской парой, по отношению к которой Вера Ивановна и Володя исполнили свой долг.

---

---

#### 4.

---

---

Когда Вера Ивановна возвратилась домой, Володи уже не было. Анна Львовна убирала посуду со стола, и только самоуглубленное, сосредоточенное выражение ее лица говорило о том, что произошло нечто значительное. Вера Ивановна, полная жгучего сочувствия, принялась расспрашивать ее. Выслушав подробный отчет, она обняла ее и поцеловала; с таким примерно чувством она обнимала своего сына первоклассника, когда он сообщал ей, что получил пятерку за чистописание. Правда, про себя она не без удовольствия отметила, что Володя не очень баловал ее подружку дополнительными знаками внимания, востроепенными, но приятными.

— На когда вы еще договорились? — спросила она.

— А мы не договаривались, — рассеянно ответила Анна Львовна.

— То есть как, не договаривались? — возмутилась Вера Ивановна. — Ты, Анька, как ребенок, честное слово! Повторить-то ведь надо!

— А зачем?

— «Зачем, зачем!» Затем, чтобы наверняка было — вот зачем!

— Да, — задумчиво сказала Анна Львовна, — действительно. Когда случали Джильду — это соседская овчарка, — так ее два раза водили.

— Собак не случают, а вяжут, — наставительно сказала Вера Ивановна. — Но дело не в этом. Правда, Аня, ты какая-то неинициативная.

— Верочка, не сердись! Я же... как это... ну, в общем, в первый раз изменяю мужу.

— Все когда-нибудь в первый раз изменяют. Да это вовсе и не измена.

— Но что же это?

— Как бы тебе объяснить... Ну, скажем, если у тебя холодильник испортился, ты же не к Леониду обратишься, а к мастеру. Мебель для кухни ты кому заказывала? Столяру. Он сделал, а уж потом вы с Леонидом вместе пользовались. Понимаешь, специалист делал. Вот и Володя тоже специалист.

Действительно, Анна Львовна холодильник мужу бы не доверила; и стеклянные кухонные шкафчики тоже делал не он, а мастер, специалист. И Анна Львовна успокоилась.

Отругав подругу за легкомыслие, Вера Ивановна снова созвоңилась с Володей. Встреча была назначена через день, на среду; но во вторник в детском саду обнаружили коклюш, Вере Ивановне пришлось оставить дочку дома, и Анна Львовна вынуждена была пригласить Володю к себе. Конечно, она поступила опрометчиво, но что же было делать? Это на развратном Западе любовники запросто соединяются в любой гостинице — приходят и говорят: «Здравствуйте, мол, мистер дежурный администратор, мы, мол, супруги, я — Томас или там Альфред Гопкинс, а это моя законная жена, мадам Гопкинс. Разбудите нас через три часа». Паспортов у них никто не спрашивает, и они преспокойно отправляются в номер и там между делом хлещут коньяк. А которые побогаче, так те даже холостую квартиру снимают. А у нас в гостиницы только иногородних пускают, а если вы вдвоем и у одного из вас не те половые признаки, так сразу смотрят — есть ли в паспорте регистрация брака. А уж насчет квартиры... Тут дай Бог ее для законных отношений иметь, а не то что...

И все-таки надо как-то выходить из положения. Так вот, я советую: нужно нейтральную территорию подыскивать, нельзя к себе приглашать. И к ней или к нему тоже нельзя на дом ходить. Нельзя! Застукают жена или муж, а потом хлопай ушами, доказывай, что вы вдвоем программу КПСС обсуждали...

В среду Леонид Николаевич Княжицкий, сидя на службе, вспомнил, что он забыл дома, в ящике письменного стола, уникальные спичечные этикетки, которые собирался преподнести

своему начальнику. Леонида Николаевича после долгих лет работы в отделе кадров перевели на крупную административно-хозяйственную должность, и необходимо было срочно установить личный контакт с начальником. Обеденный перерыв был на носу, и Леонид Николаевич решил быстренько смотаться домой, закупить там на скорую руку и привезти шефу подарок. Сказано — сделано.

Взобравшись на третий этаж, Княжицкий отпер своим ключом дверь, бесшумно притворил ее и на цыпочках двинулся по коридорчику. «Сейчас я ее напугаю», — с удовольствием подумал он. И, действительно, он ее напугал. Едва лишь под нажимом его руки скрипнула дверь в спальню, как оттуда раздался истерический крик Анны Львовны:

— Кто там?!!

— Анечка, это я!

И, спеша успокоить жену, Леонид Николаевич вовсе распахнул дверь...

...Мне в точности не известно, что именно почувствовал Леонид Николаевич, застав свою благоверную в ситуации, для которой, как пишут газеты, «комментарии излишни»; я в положении Леонида Николаевича, слава Богу, ни разу не был; а вот что переживал ни в чем не повинный Володя Залесский — это я очень хорошо знаю. Бр-р-р, вспомнить — и то страшно! Только что, минуту назад, было одно-единственное желание, а теперь — батюшки, сколько их! Да еще противоречивых, взаимоисключающих! И поскорей принять приличный вид хочется, и крикнуть: «Я не виноват! Это все гражданка ваша жена придумала!» И в окошко рад бы выпрыгнуть, и вспоминаешь, сколько этажей лифт отщелкал, пока ты поднимался, упрятав букетик в портфель, чтобы швейцар не заметил! И все думаешь: «Господи, только бы не по морде! ведь следы останутся!»

Леонид Николаевич стоял перед своим вдоль и поперек перепаханным ложем и молчал. Он краснел, он наливался гневным соком, и когда, наконец, стал цвета полного собрания сочинений В.И.Ленина (но не в третьем, а в четвертом издании), он шагнул вперед и скомандовал:

— Документы на стол!

Путаясь в штанах, Володя побрел к пиджаку, висевшему на спинке стула.

---

---

5.

---

---

Еще никогда за тридцать лет существования МИНАПа актовый зал института не был так переполнен. Сюда собрались не только все учащиеся и вся профессура, но и представители райкома комсомола и райкома партии, и корреспонденты

молодежных газет, и знакомые студентов и преподавателей. Стулья притащили из всех аудиторий и кабинетов, сидели на ступеньках эстрады и на подоконниках, толпились в дверях и проходах. Собравшиеся гудели; неизвестность распалая воображение. Скромное сообщение, написанное чертежным шрифтом на куске ватмана, гласило: «26 марта в 5 ч. вечера состоится открытое комсомольское собрание. Повестка дня: персональное дело студента IV курса комсомольца В.Залесского». Сначала никто не знал, что, собственно, произошло, но потом, неизвестно как, просочился слух: Володьку застукали с чужой женой! Легкомысленные сокурсники собирались устроить начальству обструкцию. Уязвленные сокурсницы были полны решимости осудить Залесского по всем канонам комсомольской морали. Старики-профессора оживились и, молодежки крикая, шепотом рассказывали друг другу о грехах молодежи.

Но когда в зале появился известный всей Москве журналист — узкий специалист по вопросам комсомольской любви и дружбы, когда на эстраде залоснились упитанные физиономии райкомовских деятелей, когда появился сам директор института — лауреат многочисленных премий и доктор разнообразных наук, академик Оглоедов, — тогда собравшиеся поняли, что готовится нечто из ряда вон выходящее.

Ах, эти последние минуты перед началом судилища, это затишье перед бурей! Уже собрались грозовые тучи в темно-серых костюмах и светлых галстуках, уже глухо зарокотали баритоны над столом президиума, уже смолкли свист и щебет в гуще зала. Сейчас, вот сейчас, бешено сверкнут чьи-то очки со стеклами — замороженной луговой травой полягут слушатели на спинки стоящих впереди стульев, грянет гром и на тезисы выступления прольются первые капли слюны...

Володя сидел у самой эстрады, и, несмотря на тесноту, рядом с ним с обеих сторон пустовали стулья... И вот — началось.

— Товарищи! В адрес комсомольского бюро института поступило заявление от работника одного из московских учреждений товарища Княжицкого. Разрешите огласить его: «Уважаемые товарищи члены бюро комсомольской организации! Я обращаюсь к вам с просьбой разобраться в антиобщественной деятельности вашего студента Залесского Владимира Альбертовича, 1935 года рождения. Указанный Залесский Владимир Альбертович в среду 17 марта сего года в 13 часов 30 мин. по московскому времени был застигнут мною в моей собственной квартире в тот момент, когда он нарушил мою супружескую верность с моей женой Княжицкой Анной Львовной. Я как член партии с 1949 года не могу пройти мимо этого безобразного факта, что гражданин Залесский в этот момент должен был находиться на лекции по политэкономии социализма, что подтверждается расписанием лекций в вестибюле вашего института. А он вместо этого разрушал советскую семью, находясь в совершенно разде-

том виде, за исключением трикотажной майки-безрукавки. Но это еще не все, товарищи комсомольцы из московского института. На мой вопрос, зачем она это сделала и как дошла до жизни такой, моя жена Княжицкая Анна Львовна сказала, что сделала только ради семьи, что гражданин Залесский специалист по зачатию новорожденных мальчиков мужского пола. Это обман, недостойный советского студента и тем более комсомольца, потому что я консультировался с врачом 18 лет стажа, и он сказал, что наперед ничего не угадаешь. И еще моя жена, в скором времени бывшая, созналась, что гр. Залесский нарушил ей супружескую верность во второй раз, а первый раз на квартире у своей знакомой Кранц В.И., муж которой занимается шахер-махерами по снабженческой части, а сало русское ест. И я считаю, что таким, как Залесский В.А., не место в советском институте и в рядах советского общества, идущего к коммунизму, как указывает программа. Княжицкий Л.Н. Прошу о решении сообщить по указанному адресу».

Невообразимый шум стоял в зале. Уже примерно с середины заявления читавшему пришлось напрягать голос, а к концу он просто кричал. Тщетно брякал пробкой по графину секретарь комсомольского бюро, тщетно воздевал он к потолку белые манжеты. Ревом, свистом, внеплановым весельем отозвалась аудитория на заявление оскорбленного мужа. Но всему на свете приходит конец, в слитном гуле, как в крепостной стене, стали появляться бреши, и в один из таких проломов ворвался старческий бас академика Оглоедова.

— Мне стыдно! — прогремел он. Аудитория утихла. — Мне странно! Мне, наконец, страшно слышать, как вы, советские студенты, вы, молодые люди, вы, кто будет жить при коммунизме, как вы нигилистическим смехом встречаете крик человеческой души! Оскорбили и унизили нашего товарища, нашего соратника в деле созидания светлого будущего, унизили и оскорбили человека и гражданина. На каких весах взвесим мы чувство горечи, переполняющей сейчас все его существо? Какою мерою измерим мы зло, нанесенное обществу распадом семьи?! Ах, друзья мои! Пусть не блещет литературными красотами заявление товарища Княжицкого, пусть грешит он против незыблемых законов русской грамматики, но... Он, простой советский человек, обращается к нашим гражданским чувствам, к нашей советской морали — и он прав! Мы, в первую очередь мы несем ответственность за то, что просмотрели, прошляпили в наших рядах человека с чуждой нам идеологией. Вспомните, как сказал Владимир Владимирович Маяковский: «Их и по сегодня много ходит, всяческих охотников до наших жен!» И подумать только, на какие уловки идут эти любители легких побед, эти современные донжуаны! Он, видите ли, может регулировать пол имеющего родиться ребенка! Совет-

ская, самая передовая в мире наука не может этого сделать, а он, студент Владимир Залесский, — он может! Он постиг все тайны природы! Позор! Позор, товарищ Залесский, эти идеалистические ухищрения нас не обманут, как обманули они жертву вашей распущенности. Наша общественность, наш здоровый молодой коллектив вынесет — я уверен в этом! — суровый приговор проходимцу, опозорившему стены нашего МИНАПа!

Оглоедов кончил и сел, отдуваясь. В зале снова загудели, но уже без того веселого оживления, что раньше. Поступок комсомольца Залесского перед собранием встал во всей своей неприглядности.

— Слово имеет комсорг четвертого курса!

— Товарищи! — сказал комсорг. — Я буду краток. Посмотрите на него. Посмотрите на Владимира Залесского. Каков нравственный облик этого, с позволения сказать, комсомольца? Таков же, как и его внешний облик. А каков его внешний облик? Усики! Нейлоновая рубашка! Узкие брючки! А что скрывается под этими узкими брючками?!

— Что у всех, то и у меня скрывается, — мрачно сказал Володя.

— Нет, не то! Не то, товарищ Залесский! Мы не стилиаги! Мы не прикрываемся брюками! Нам нечего скрывать от общества!

— Это тебе, может, нечего скрывать! — раздался голос из задних рядов. В зале заржали.

— Я прошу прекратить эти демагогические выпады! Не ловите меня на слове! — обозлился комсорг. — Кто из студентов не явился на обсуждение романа Кожевникова «Знакомьтесь, Балуев»? Залесский не явился. Кто на вечере 8 Марта в пьяном виде сказал преподавательнице английского: «Вы — милашка»? Залесский сказал. Это кто ж`ему дал право называть женщину «милашкой», как в каком-нибудь Чикаго? Где вы были, товарищ Залесский, когда весь курс, как один человек, трудился на субботнике?

— Я был болен!

— А по чужим квартирам ходить — вы здоровы?! Я предлагаю исключить Залесского из комсомола! Выжечь его каленым железом из наших рядов! Поставить перед администрацией вопрос о пребывании Залесского в институте! Я кончил.

— Разрешите мне!

Из первых рядов поднялась молодая женщина. Это была аспирантка Ниночка Армянова. Близоруко щурясь, она улыбнулась председателю.

— Я хотела бы задать несколько вопросов студенту Залесскому. Скажите, Залесский, что побудило вас сделать это странное антинаучное заявление? Я имею в виду предполагаемый пол ребенка. Меня это интересует чисто психологически. Ведь не может же быть, чтобы вы сами верили в эту басню?

— Это не басня, — сказал Володя. Он оглянулся. На него глядело огромное многоглазое лицо собрания. Оно дрожало, дробилось, причудливо менялось, как стеклышки в калейдоскопе, переливалось насмешкой, сочувствием, злорадством и недоумением. «Сволочи, — подумал Володя. — Что делать? Ведь выгонят, с волчьим билетом выгонят»...

— Это не басня, — сказал он. — Никакой я не Дон-Жуан, а что брюки узкие, то это все носят...

— Не все, — перебил его комсорг. — Не все...

Но ему не дали говорить.

— Не мешай!

— Поговорил и хватит!

— Рассказывай, Залесский!

— Ти-ше! — надрывался секретарь бюро. — Говори, Залесский. Только по существу — о брюках мы и в газете прочтем, если надо...

— Я не Дон-Жуан, — продолжал Володя, — а если женщины просят, я отказать не могу...

На аудиторию пала лекционная тишина.

— Я, товарищи, обладаю такой способностью. Но я сам первый никогда не лезу. Они сами звонят и телефоны оставляют. У меня свидетели есть, — взвизгнул он неожиданно. — Спросите сами, если не верите! — он выхватил из кармана записную книжку. — Кранц Вера Ивановна — К6-33-11! Савченко Лариса Михайловна — Д7-11-81! Леселидзе Тамара Георгиевна — Ж2-37-19, добавочный 2-02! Хавкина Лия Эрнестовна... Ратнер Василий Сергеевич, спросить Ольгу Харитоновну... Все! не жалко... Мальчика, девочку — мне все равно...

Все время, пока читали заявление Княжицкого, пока гремел директорский бас, пока праведным гневом захлебывался комсорг четвертого курса и выкрикивал Володя Залесский, все это время парторг института Дмитрий Петрович Бронин сидел молча, чиркая карандашом в блокноте. То, что он услышал, не было для него новостью; недаром у него состоялся длительный разговор с обиженным Княжицким, недаром он беседовал с убитой горем Анной Львовной и посетил на дому Веру Ивановну Кранц.

С самого начала этой загадочной истории он чувствовал странное смятение и неуверенность — как поступить? Раньше чуть никогда не обманывало его, а сейчас он колебался, как колеблется игрок в «21», набравший пятнадцать очков: купить ли? Хорошо, если картинка или шестерка, а вдруг не то? Вдруг явится какой-нибудь туз и скажет: «Перебор! Перебор, товарищ Бронин! Недодумали, перегнули палку!» Он набрасывал тезисы своего выступления, но мысли его текли сбивчиво и непоследовательно: «В то время как партия и вся наша общественность уделяют всемерное внимание укреплению советской семьи — а эта самая Княжицкая совсем даже недурна, — посту-

пок комсомольца Залесского находится в вопиющем противоречии со всеми этическими нормами — как же он все-таки это делает, черт побери?! — глупейший предлог, которым он воспользовался, чтобы обмануть бдительность молодой женщины — надо было заставить парня выложить все его приемчики — нравственность — не пустое слово, и мы не позволим — в самом деле, родить мальчишку, а то «всем бы молодец, только девичий отец» — дело Залесского значительно глубже и серьезнее, чем это кажется с первого взгляда. Повторяя нелепую выдумку о своих сверхъестественных возможностях, Залесский льет воду на мельницу идеалистов, способствует распространению предрассудков, подрывает веру в правоту науки и, в конечном итоге, осуществляет идеологическую диверсию! — тоже неплохо устроился: бабы его кормят, поят; небось и деньжата перепадают? — я не сомневаюсь, что у Залесского была и материальная, денежная заинтересованность: такого рода типы ничем не брезгают, а я этой шлюхе пятьдесят целковых отдал — таким не место в советском институте — как же он это делает? — стилиага и тунеядец — молодчага-парень! — заклеимить — эх, мне бы! Я бы это дело не так поставил... Я бы...»

И вдруг Бронин замер, застыл с полуоткрытым ртом, внезапно осененный блистательной, гениальной в своей простоте идеей! Стараясь не шуметь, он выбрался из-за стола, на цыпочках прошел к заднему выходу, у дверей опасно оглянулся на президиум — а вдруг еще кого-нибудь осенило?! — и, выскользнув за двери, бегом помчался по коридору к своему кабинету. Там он запер двери на ключ и набрал номер телефона.

— Попрошу товарища Волкова... Нет, нет, лично товарища Волкова. Да, срочно... Бронин говорит, парторг МИНАПа... МИНАП — Московский Институт Научной Профанации... Да, да... Весьма срочно... Да, он меня знает... Благодарю вас...

Возвратившись в зал через десять минут, Бронин убедился, что поспел вовремя: заведующий кафедрой истории партии, седовласый недоумок, говорил, благообразно разводя руками:

—... пусть выйдет, пусть скажет. Раз он настаивает на своей, так сказать, избранности, пусть расскажет коллективу, в чем она, собственно, заключается. Прошу вас, товарищ Залесский.

Володя снова поднялся, но не успел он рта раскрыть, как встал Бронин и, выпрямившись во весь рост, отчеканил:

— Я категорически против! Пусть извинит меня многоуважаемый Валериан Викентьевич, но я считаю недопустимым предоставлять трибуну для пропаганды предрассудков! («Что, съел, старый дурак?!») Нас, людей науки, совершенно не интересуют мистические домыслы Залесского. Сколько бы он ни бил себя в грудь, как бы ни стремился опорочить честных советских женщин-тружениц — это ему не удастся!.. Я предлагаю устроить перерыв, — неожиданно закончил он. — А вы, Залесский, пока пройдите ко мне в кабинет...



И, наклонившись к представителю райкома партии, он шепнул в его насторожившееся ухо:

— Собрание придется прекратить. У меня только что был разговор с товарищем Волковым...

Через двадцать минут к подъезду МИНАПа подкатил черный «зим». Бронин и Залесский сели в него.

«Зим» прижал уши, присел на задние лапы и мягкими прыжками помчался вперед, разбрызгивая снежную кашицу на сапоги милиционеров.

---

---

б.

---

---

— Ну что же, товарищи, послушаем, что скажет наша медицина.

Профессор, высокий жилистый мужчина с загорелой плечью, откашлялся и, явно робея, начал:

— Мои коллеги поручили мне сообщить вам, товарищи, результаты всестороннего медицинского обследования, произведенного нами над... простите, нам не сообщили фамилии пациента и даже, м-м-м, рекомендовали не интересоваться ею...

— Называйте его «человеком из МИНАПа».

— Благодарю вас... Итак, освидетельствованный нами, м-м-м, человек из МИНАПа, по нашему заключению, совершенно здоров. Сердце, легкие, кишечник, нервная система — в идеальном состоянии. Хорошо развит физически. Можно сказать, завидного здоровья молодой человек. Что же касается специфических особенностей, якобы проявляющихся при половых сношениях, то здесь мы, по всей вероятности, имеем дело с одним из видов психических заболеваний, связанных с сексуальным...

— Вы, товарищ профессор, скажите нам просто: допускает ли наука такое явление?

— Наука утверждает, что при совокуплении ни одна из сторон не может не только повлиять на пол будущего ребенка, но и не в состоянии предугадать его. Что же касается средств, при помощи которых человек, э-э-э, из МИНАПа регулирует, по его словам...

— Погодите, товарищ профессор. Ознакомьтесь вот с этими документами.

— Сию минуту... Простите, мои очки... Ах, вот они... Так-с. «Протокол допроса»... Простите?

— Ничего, ничего, читайте.

— «...девочку, как и было обусловлено заранее. Копия метрического свидетельства прилагается... Родился мальчик, как он и обещал... Копия метрического свидетельства... Две девочки и мальчик — итого трое, столько, сколько нужно для получения квартиры... Копия метрического... Копия ордера

на квартиру... Я, как страдающий импотенцией, дал согласие... Лучше, чем на стороне... В моем присутствии... Копия...»

— Что скажете, товарищ профессор?

— Простите, я ничего не понимаю... Эти документы...

— Будьте спокойны, профессор: нарушений социалистической законности не было. Товарищ Волков, кто подготовил материалы?

— Подполковник Сазан и майор Прохоров, Павел Петрович.

— Объявите им благодарность.

— Слушаюсь, Павел Петрович.

— Так вот, профессор, факты есть, а научных объяснений мы пока что не слышим?

— «Есть многое на свете, друг Горацио, что недоступно нашим мудрецам».

— Что? Какой Гораций?

— Простите, это из Шекспира. Цитата.

— А-а. Ну-ка, расскажите нам, как он это делает.

— Сию минуту. Итак, больной... простите — человек из МИНАПа утверждает, что каждый раз, когда происходит целенаправленный в смысле мужского пола coitus, то есть соитие, он усилием воли мысленно воссоздает облик...

— Ну?

— Облик, простите, Карла Маркса. Он — я только повторяю его слова — он так и выразился: «Основоположник научного социализма Карл Маркс»...

— Так. А если девочка?

— Тогда Клару Цеткин. Двум запланированным мальчикам соответствуют два облика Маркса, трем — три, и т.д. Мы провели ряд испытаний зрительной памяти пациента и получили, знаете ли, удивительные результаты: после двух-трех минут сосредоточенного рассматривания совершенно незнакомого ему лица человек из МИНАПа дает абсолютно точный словесный портрет. Если принять за рабочую гипотезу, что он действительно может влиять на пол ребенка, то достойно удивления следующее: как он может в эти минуты думать о чем-то постороннем — Марксе? — То есть я, разумеется, хочу сказать — постороннем в данной ситуации. Трудно в такой момент отвлечься, так сказать, эмансипироваться от... предмета наших усилий — не так ли?

— М-да, трудновато... А что он говорит — как он додумался до этого?

— Видите ли, он объясняет это так: в раннем детстве, когда он спросил у родителей, как рождаются дети, — очень пространственный, знаете ли, вопрос у детишек! — ему сказали, что если упорно и настойчиво думать о мальчике или девочке, то они и рождаются. Со временем он получил научные сведения о деторождении в популярной, разумеется, форме. И вот, когда он впервые сошелся с женщиной, в первое свое «взаимоотноше-

ние», как он выразился, он вспомнил это детское свое представление и, шутки ради... попробовал. А так как воображать абстрактного мальчика было трудно, то он представил себе конкретного Маркса — с бородой, манишкой, лорнетом и прочим.

— А как он проверил это?

— Аборты. После трех месяцев плод имеет ярко выраженные половые признаки. Он — человек из МИНАПа — утверждает, что за все время у него была только одна ошибка: вместо Клары Цеткин ему представился писатель Федор Гладков. Конечно, мы отнеслись к его объяснениям скептически, но ведь мы не были знакомы с этими документами...

— Так. В общем, товарищ профессор, картина ясная. Спасибо, мы вас не задерживаем. Работайте, трудитесь, если что понадобится — обращайтесь прямо ко мне. Товарищ Волков, проводите профессора.

Профессор на негнущихся ногах зашагал к выходу. За дверью послышалось его громкое «Уф!»

— Ну что ж, товарищи, я думаю, надо делать практические выводы. Мы должны подойти к этому расчетливо, похозяйски. Первым делом надо выяснить, сумеет ли он обучать других. Если сумеет — тогда мы сможем перейти на планированное деторождение. Уточнить цифры выпуска одежды, обуви, бюстгальтеров и дамских велосипедов. В течение восемнадцати-двадцати лет устранить разницу в количестве женщин и мужчин. Чтоб всем было по потребности. А за безбрачие — под суд! Так я говорю, товарищи? Если не так — подскажите, поправьте. Иван Петрович — выскажись! Василий Семеныч! Правильно я говорю?

— Правильно, Павел Петрович! Грандиозные перспективы развития... А если, кроме него, никто не сможет?

— Волков бояться — в лес не ходить, а уж если... Что ж, подумаем, посоветуемся. У нас человек не пропадет, найдем ему место, используем. В малых масштабах используем... в узком кругу. Мы ведь народ занятой, да и годы наши не те. А если у нас дети рождаются — это будет иметь ба-а-льшее политическое значение! Это будет воспринято как новое свидетельство нашей силы, нашей мощи... м-да... А он парень наш, советский, комсомолец!.. Кормить его надо получше... Мясa, мясa ему! Товарищ Волков, распорядитесь.

— Слушаюсь, Павел Петрович.

— Трофим Денисович, а ты чего молчишь? Как тут с философской точки зрения? Идеализма нет? Я про методы его.

— Что вы, Павел Петрович! Тут диалектика: базис влияет на надстройку — то есть социалистические условия жизни влияют на его сознание, а надстройка, то есть его сознание, влияет на базис — то есть на зачатие, на материальный, на биологический процесс. Опять же не кто-нибудь, а Карл Маркс...

— Итак, товарищи, организацию этого дела мы поручим...

Вот так и превратился Володя Залесский в «человека из МИНАПа». Из грандиозных экономических планов ничего, к сожалению, не вышло. Талант юноши оказался уникальным, вроде таланта Паганини. И хотя н а в е р х у уже представляли себе заголовки в газетах вроде «Проект поправок к семилетнему плану развития народного хозяйства, принятый на основе выдающихся достижений советской науки», «Впервые в истории человечества», «Советский человек управляет биопроцессами», «Новое торжество марксистской философии» — но от всего этого пришлось отказаться. Впрочем, ученые-генетики высказали предположение, что необычайные способности человека из МИНАПа могут передаваться по наследству. Что ж, поживем — увидим.

А пока Володя живет на подмосковной даче; там он ест, спит, занимается спортом и смотрит телевизор под наблюдением врачей. Время от времени за ним присылают машину, и он едет выполнять свои обязанности.

Одно время он интересовался: к кому его возят? Все спрашивал, спрашивал, пока один из охранников не сказал ему:

— Ты, парень, делай свое дело да помалкивай. Зачем тебе фамилии? Если что случится, с тебя и спросу нет. А будешь много знать, — а-а, скажут, слишком много знает, пожалуйста бриться! А так твое дело телячье — пожрал и на бок!

И Володя замолчал.

Живётся ему неплохо, хотя и скучновато. И лишь одна мысль омрачает его существование: что будет, если он утратит свое дарование? Институт-то он так и не кончил. А сейчас без образования — ой как трудно!

---

---

## ИСКУПЛЕНИЕ

---

---

Я согладатай между вами,  
Я слушаю, когда в тревоге  
Вы рассуждаете о ванне,  
О домработницах, о Боге.

О, милые, и я такой же,  
Интеллигентен и тактичен,  
Но вот — рванет мороз по коже  
И на полях наставит птичек.

И я предам вас, я продам вас!  
За что? За то, что в час вечерний  
Случайно вспомню я про давность  
Вражды художника и черни.

*Илья Чур. «Товарищам интеллигентам».*

Наступило время блатных песен. Медленно и постепенно они просачивались с Дальнего Востока и с Дальнего Севера, они вспыхивали в вокзальных буфетах узловых станций. Указ об амнистии напевал их сквозь зубы. Как пикеты наступающей армии, отдельные песни мотались вокруг больших городов, их такт отстукивали дачные электрички, и наконец, на плечах реабилитированной 58-й, они вошли в города. Их запела интеллигенция; была какая-то особая пикантность в том, что уютная беседа о «Комеди Франсэз» прерывалась меланхолическим матом лагерного доходяги, в том, что бойкие мальчишки с филфака толковали об аллитерациях и ассонансах окаянного жанра. Разумянившиеся от ледяной водки дамы вкусно выговаривали:

(Ты, начальник, ты, начальник,  
Отпусти до дому...)

А если какая-нибудь из них внезапно вздрагивала и пыталась проглотить словцо, до сей поры бесполезно лежавшее в ее лексиконе, то всегда находился знаток, который говорил:

— Душа моя, это же ли-те-ра-ту-у-у-ра!

И все становилось ясно. Это превратилось в литературу — безумный волчий вой, завшивевшие нательные рубахи, язвы, растертые портянками, «пайка», куском глины падавшая в тоскующие кишки...

Но бывало и так, что кто-то из этих чисто умытых, сытых людей вдруг ощущал некое волнение, некий суеверный страх: «Боже, что ж это я делаю?! Зачем я пою эти песни? Зачем накликаю? Ведь вот оно, встающее из дальнего угла комнаты, опустившее, как несущественную деталь, традиционный ночной звонок, вот оно, холодным, промозглым туманом отделяющее меня от сотрапезников, влекущее «по тундре, по широкой

дороге» под окрики конвойных, под собачий лай... Зачем, зачем я улыбаюсь наивности этих слов? Это же всерьез, это же взаправду! Ах, прощай, Москва, прощайте, все!.. Возьмут винтовочки, взведут курки стальные и непременно убьют меня... Тьфу, напасть!»

И я (это я о себе пишу) встряхивал головой, выпивал очередную рюмку и трогал колено чужой жены, сидевшей рядом со мной.

А песня звучала, песня шла под улыбку, и зловещие тени уползали из комнаты, через переднюю, на лестничную площадку. И оставались там.

---

---

## 1.

В буфете не продавали пива, потому что в фойе шла лекция о полупроводниках. Так распорядился директор кинотеатра из уважения к науке. Буфетчица, пятнистая от возмущения (у нее срывался план), шмякнула на поднос бутерброд с засохшей семгой. Я жевал семгу и разглядывал фойе. Кинотеатр был третьесортный, и новейшие веяния его не коснулись: по стенам по-прежнему висели портреты передовиков производства. Пожилой лектор уныло и невнятно бормотал что-то десятку-другому слушателей, время от времени показывая непонятные, с виду пластмассовые штуковины.

У Ирины после работы было какое-то профсоюзное собрание, отчетно-перевыборное, что ли, и мы могли встретиться только в восемь. Ну что ж, до начала сеанса полчаса, картина — часа полтора, минут двадцать пешком до Курского — время можно растянуть. Только бы на знакомых не нарваться. Хотя, впрочем, третий лишний — не всегда лишний. Этот третий дает возможность говорить с невинным видом такое, от чего у Ирины вздрагивают губы, можно острить, балансировать на тонком словесном канате — а вдвоем эта игра не имеет никакого смысла. Вообще, трудно стало с Ириной. Той последней, окончательной близости, которая дала бы толчок новым отношениям, еще нет, а обо всем остальном уже переговорено: о детстве, о войне, об эвакуации, об общих знакомых. Дырки в разговорах хорошо затыкать поцелуями, но куда спрячешься от людей? Зимой холодно, а теперь темнеет так поздно, что поневоле приходится вести себя благопристойно.

Я сидел и рассеянно обводил глазами публику. Какая все-таки у большинства женщин некрасивая походка! Работают много, что ли? Вот цыганки — те всё, как одна, идут — плывут, только юбки выются...

Все звучат, звенят, зовут и не кончаются  
Речи смутные, как небо в облаках.  
И идут-плывут цыганки, и качаются  
На высоких, сбитых набок каблуках.

Это Мишка Лурье поет под гитару — здорово поет. Жаль, что я так не могу. И какой это идиот выдумал, что гитара — мещанство?

Лениво и равнодушно оглядывал я лица, разноцветные и одинаковые, как булыжники мостовой, и вдруг задержался взглядом на одном из них. Что-то остановило меня — и даже не то, что человек смотрел на меня в упор, а какая-то напряженная, болезненная гримаса. Лицо было чем-то знакомо — узкими, широко расставленными глазами, нервной одухотворенностью, нездоровой желтизной кожи. Кто бы это мог быть? Я горжусь своей памятью на лица. Но тут я никак не мог вспомнить. Ясно одно — знакомство давнишнее. Ну что ж, сейчас узнаем. Я встал, отряхнул крошки с пиджака. Встал и человек, смотревший на меня. Улыбаясь ему, я двинулся вперед. Но человек протянул руку женщине, сидевшей рядом, и они оба зашагали по направлению к курительной. У самых дверей он повернул голову и снова пристально, без улыбки, останавливая взглядом, посмотрел мне в глаза, как бы говоря: «Да, да, это не случайность, я специально ухожу, чтоб не разговаривать, не встречаться. Да, мы знакомы, я тебя узнал, но ты ко мне лучше не подходи». Он отвернулся, пропустил в дверях спутницу и вышел.

Я стоял почти посреди фойе, улыбаясь по инерции. Потом пожал плечами и вернулся на свое место. Черт-те что!

Ощущение было такое, как будто меня ни за что, ни про что обругали. Этот человек вел себя так, словно я враг ему. А у меня врагов никогда не было. Я никогда никому не сделал зла. Даже женщины, с которыми я расставался, никогда ни в чем меня не винили, хоть и горевали. А этот человек... Ну, ладно, черт с ним! Может, вообще все померещилось?

Когда сеанс закончился, я снова увидел эту пару в толпе, спускавшейся по лестнице. Женщина — очень красивая, с надменным лицом и длинной, вопреки моде, косой — говорила без улыбки:

— Фильм так плох, что даже хорош. Какая-то прямо первобытная глупость, идиотизм без изъяна, без проблеска — совершенство своего рода... Право, давно я не получала такого удовольствия от кино...

Ее спутник что-то бормотнул невнятно, остановился, закуривая, толпа подтащила меня к ним, мы снова посмотрели друг на друга, и мой, должно быть, недоумевающий, вопросительный взгляд столкнулся с отстраняющим прищуром незнакомца. Или знакомца? А ну его к черту!..

...Электричка отгрохотала. Мы шли, переплетя пальцы, тесно прижавшись. И хотя я видел только нос, кусочек щеки и красешек полуоткрытого рта, она была видна мне вся — длинноногая, стремительная и узкая, словно копье, набирающее высоту.

— Пусти, — сказала она. — Нельзя так. Кругом народ.  
— Это тебе мерещится, — ответил я. — Никого нет.  
— Как же, никого. А вот этот, толстый, — он мне тоже мерещится?

— Сейчас проверим. Простите, гражданин, вы — фикция?

— Чево? — спросил толстяк.

— Витька, ты с ума сошел!

— Извините, я ошибся, думал — знакомый.

Платформа, пивной ларек, хлебный ларек. Дача, дача, магазин, дача, парикмахерская, дача. Мимо, мимо. Песок под ногами — плотный, утрамбованный, перемешанный со щебнем и шлаком. Как ладно шагают ноги, как легко несут они тела, как близко щеки. Какая смесь силы и нежности, как солнце воткнуло в землю рыжие сосны, как сухо и светло в лесу! Ладони, наполнитесь! Господи, Ты есть, ведь не может счастье быть ниоткуда! Ведь не могут же без чьей-то доброй и умной воли захлестнуть меня эти плечи, колени, груди!

— Не надо, — сказала она.

---

## 2.

---

Утреннее море было, как плохо выстиранная и невыглаженная простыня. Моторная лодка шла на восток, к невставшему еще солнцу. Мотор трещал, пассажиры кричали, какие-то дети хлопали в ладоши, и все это было совершенно беззвучно. Я крикнул, чтобы услышать свой голос. Никто не обернулся, и сам я себя не услышал. Тогда я стал заглядывать в лица своим попутчикам, но они не замечали ни моих взглядов, ни того, что не слышно голосов. «Куда же мы приплывем, если не слышим друг друга? — подумал я. — Надо жестикулировать. Надо азбуку глухонемых». Я стал приставлять пальцы к носу и подбородку, щурить глаза, двигать нижней губой — но меня никто не понимал, хотя я изображал очень простую фразу: «Товарищи, почему ничего не слышно?» Отчаявшись, я махнул рукой и стал смотреть на мягкую и мощную мускулатуру воды за кормой. Лодка неслась все быстрее, люди говорили все горячее и громче — это было видно по артикуляции, волны перестали быть похожими на борцов и превратились в боксеров, крашек солнца показался над горизонтом. «Сейчас мы опрокинемся, — подумал я, — мы опрокинемся, если не услышим друг друга». «Мы опрокинемся!» — крикнул я, преодолевая свою и чужую глухоту. Звонко лопнула пленка в ушах, я услышал свой крик, и все другие — тоже, но было уже поздно: боксер вошел в клин с лодкой, ударил ее в солнечное сплетение, она согнулась пополам, потом два крюка справа и слева, все рассыпалось, и, уходя под воду, я увидел накатившийся на волны багровый шар солнца...



Какое счастье просыпаться после страшного сна, после смерти и гибели! Медленное воскрешение из мертвых, тающий туман небытия, жизнь, снова прихлынувшая к телу. Только что, секунду назад, ты чувствовал, как превращаешься в ничто, и тебя охватила последняя, самая страшная мука — ужас умирания неготового к смерти, ты знал, что умер, — и вот ты спасен. Мы оставляем себе счастье пробуждения и торопимся забыть о смертной тоске, о том, что нас предупреждают...

Я взял папиросу, глянул на часы. Ого, уже восемь вечера. Сегодня на работе я весь день задремывал, а когда пришел домой, прилег на минутку — и два часа проспал. Еще бы, ведь вернулся-то на рассвете.

Я вскочил с дивана, включил электробритву. Я бреюсь по вечерам. Ведь заранее никогда не угадаешь, как обернутся дела. Случилось же как-то, что я пошел небритым в одну компанию, а там была одна такая Тонечка, и я ее провожал, и зашел к ней, и остался у нее, и все время чувствовал, что небрит, и это здорово мне мешало. Тонечка, правда, говорила, что в мужской небритости есть, мол, даже какая-то привлекательность, но мне все равно было неловко. Да и не все женщины по-тонечкиному рассуждают...

Мы встретились с Мишкой Лурье у метро «Дворец Советов». Было время свиданий, и парочки, как всегда, бродяжили у дощатого забора, окружающего котлован. Интересно, выстроят здесь что-нибудь или эти ямы так и останутся памятником взорванному Храму Христа-Спасителя? Сколько же лет торчат тут доски, заклеенные афишами.

— Мишка, когда взорвали церковь?

— Какую церковь?

Мишка рассказывал последние сплетни о кинофестивале — и о том, как, к великому смущению и конфузу, первую премию присудили Феллини. «Восемь с половиной!» — бубнил он. — Переполох, скандал! Никто ничего не понимает. Сейчас он был очень недоволен, что я его перебил.

— Ну, в 34-м году взорвали. Ты слушай, что было дальше...

Двадцать девять лет назад взорвали храм. Вопреки поговорке, свято место пусто. Конечно, спору нет, пользы от церквей — кот наплакал, они — архитектурные памятники, не больше, но все-таки... Взорвали Бога, а взрывной волной ранило, контузило человека. Глухота, немота... Гной течет из-под бинтиков, из-под статеек о гуманизме. Правда, врачи говорят: «Гной течет — рана очищается». Что ж, посмотрим. Впрочем, мне-то зачем забивать голову всем этим? Что мне — больше всех надо? Я чист перед людьми. Есть работа — не очень хорошая, но и не мерзкая, есть жилье, здоровье, деньги... Да, вот с деньгами худо. Как ни крутись, а в зарплату не уложишься. Особенно последние года два...

— Стоп, пришли!

Мы подошли к новому дому. Рядом стояли забавные домишки с деревянными колоннами, особнячки с резными ставнями, свежеразкрашенные заборы, даже какая-то пузатая чугунная тумба.

— Мишка, что эта за тумба?

— Эта? К ней в старину лошадей привязывали.

Все-то он знает, собака. Впрочем, кому ж и знать, как не ему — на то он и искусствовед. Я похлопал ладонью по теплому металлу и пошёл вслед за Мишкой.

В доме Ряженцевых я был не в первый раз, хорошо знал и хозяйку, и многих гостей. Здесь редко собирались просто так — выпить и потрепаться, а почти всегда был какой-нибудь «герой вечера». Случилось и мне быть в этой роли, когда я вернулся из поездки в Польшу. Тогда «на меня звали». А сегодня звали на Брынского, он будет стихи читать. Любопытно, что за стихи? То, что его не печатают, разумеется, ничего не значит. Стихи вполне могут оказаться никомушными.

Стихи, однако, оказались занятыми. Да и сам Брынский очень хорошо держался, не заискивал и не важничал. Он охотно замолчал, когда Мишка Лурье, хватив очередную рюмку, заявил:

— Ребята! Хватит изящной словесности. Давайте песни петь.

И он взялся за гитару.

— Мишка! «Цыганок»!

— «Матрешку», Мишенька!

— Мишка, «Бутылку в море»!

— Я спою «Цыганок», — сказал Мишка, подкручивая колки.

Сердце с домом, сердце с долгом разлучается,  
Сердце бедное у зависти в руках,  
Только гляну, как цыганки закачаются  
На высоких, сбитых набок каблуках.

Мишка пел, убежденно глядя в угол, и всем почудилось, что и в самом деле оттуда вышли цыганки и поплыли по натертому паркету, задевая пышными оборками книжные полки.

Вы откуда, вы откуда, птицы смуглые,  
Из каких-таких просторов забрели,  
И давно ли вас кибитки — лодки утлые  
До московских тротуаров донесли?

• Кое-кто начал подтягивать, но Мишка нетерпеливо мотнул головой. — Не мешайте, мол.

Отвечают мне цыганки — юбки пестрые:  
— К вольной воле весь наш век мы держим путь,  
А захочешь — мы твоими станем сестрами,  
Только все, что было-не было, забудь!

Ах, забыть бы «все, что было-не было», уйти, убежать за кибиткой кочевой, за детьми природы, под звуки Чайковского, под ритмы Пушкина, под всхлипы Лещенко! Ах, мечта, милая сердцу! Вот так и снялся бы с места российский интел-

лигент, вот так и пошел бы, пыля по дороге лаковыми сапожками, сморщенными в гармошку! Ах, Стеши, Груши и Параши! Не забыть подписаться на Эренбурга, холодильник через три дня выкупить надо — опять деньги занимать... Эх, жги-говори!

Отвечаю я цыганкам: «Мне-то по сердцу  
К вольной воле заповедные пути,  
Да не двинуться, не кинуться, не броситься,  
Видно, крепко я привязан — не уйти».

Мишка почти плакал под гитару. Все улыбались застенчиво и сконфуженно. В самом деле, хорошо быг — а куда денешься? Кругом профорги, парторги, мосторги — эх!

Да все звучат, звенят, зовут и не кончаются  
Речи смутные, как небо в облаках,  
И идут-плывут цыганки и качаются  
На высоких, сбитых набок каблуках.

Мишка оборвал последний аккорд, как свечу задул.

— Хорошо! — сказал Брынский. — Это вы сами все придумали — и музыку, и слова?

— Сам, — буркнул Мишка недовольно: он почему-то стеснялся своего сочинительства и пел, только когда выпьет.

— Ну, пожалуйста, еще, — защебетали женщины. — «Матрешку», Миша!

Это была песенка о Матрешке. Семь деревянных русских красоток помещались друг в друге. Они все были разного цвета, каждая из них завлекала, улыбалась маняще: «А душу мою ты не понял! Загляни-ка внутрь!»

Я одна в другой, я одна в другой,  
Полюби меня, дорогой!  
Да не ту, что здесь, а вон ту — внутри,  
Посмотри в меня, посмотри!

Он не успел начать второй куплет, как раздался звонок. Явились новые гости, и, когда они, трое, вошли в комнату, в двух из них я узнал вчерашнюю парочку из кино.

— Знакомьтесь, — сказала хозяйка, — это мои милые хостинские друзья: Ася и Феликс Черновы...

Феликс Чернов! Я сразу же вспомнил озеро Селигер, палатки на берегу, плеск воды под веслами, веселый галдеж с утра и фронтовые песни по вечерам — тогда их еще пели. И Феликса Чернова — узкоглазого, веселого студента-зоолога, который шокировал дурочек-первокурсниц рассказами о многобрачии у животных. Остряк, актер, импровизатор — как он нравился мне тогда. Да и не одному мне — он для всех был героем тех двух недель на Селигере. Ведь мы потом и в Москве собирались несколько раз той же компанией. А потом я уехал по назначению и за годы, проведенные вне Москвы, перезабыл имена и адреса тогдашних приятелей...

Третьего, пришедшего вместе с Черновым, я знал: это был Владимир Семенович Игольников, писатель, прозаик. Мы с ним не то чтобы дружили, а издавна симпатизировали друг другу; у меня был даже его сборник с дарственной надписью.

Все трое на мгновение остановились у двери, потом Чернов сделал движение обойти всех и пожать каждому руку, но тут он увидел меня. Он сделал общий поклон и сел на свободное место. Игольников и жена Феликса тоже сели.

— Мы, кажется, пение прервали? — сказал Игольников.  
— Не сердитесь, Миша, продолжайте.

— Я все равно сбился, — ответил Мишка не очень любезно.  
— Давайте лучше прервемся и тяпнем с новоприбывшими.

Все дружно выпили; Игольников грустно сказал:

— Такова моя горькая участь. Стоит мне где-нибудь появиться, и сразу прекращаются все умные разговоры, искусства и науки разбегаются, как тараканы...

— Так это же здорово! — сказал я. — Вы счастливый человек, Володя. А окружающие как довольны! Легко ли вести интеллектуальные разговоры...

— Витя, вы художник, для вас интеллект не обязателен, даже вреден. А я — инженер человеческих душ, мне по штату положено душу уловить, изучить и затем, используя накопленный материал, глаголом жечь сердца людей. А где ее уловишь, душу-то, когда только и слышишь: «А ну, тяпнем!», «Эх, хорошо пошла!», «А не повторить ли нам?»

— Владимир Семенович, так ведь тяпнувшую душу легче улавливать!

— Это трезвому легче, а ведь я... В общем, ясно.

— Друзей у вас слишком много.

— Друзей у меня — вся Москва. Размеры этого бедствия будут видны, когда я помру. «Литературка» поместит объявление о смерти члена Литфонда В.С.Игольникова, и случится то же самое, что на похоронах великого вождя и учителя. Причем давить друг друга будут люди, знакомые между собой. Эх, жаль, увидеть не придется!

— Да будет вам, Владимир Семенович!

— Что это вы, Миша, меня по отчеству титузуете? Вы не смотрите, что я толстый — я еще молодой. Отчество, знаете ли, определенные обязанности накладывает. А в наше время обязанности иметь хлопотливо, да и небезопасно. Это все, даже не понимая, нутром чуют. Поэтому и отчество у нас отмирает. Загляните ну хотя бы в Тургенева или в Достоевского: мальчишку, вчерашнего школяра, называют Аркадий Макарович, девицу семнадцати лет — Зинаида Борисовна или Петровна, а ее бы по всем статьям Зиночкой звать. Вот мы здесь все вокруг сорока лет крутимся, а только меня за толстое брюхо Семенычем обзывают...

Он много еще балагурил, Игольников. В конце концов все вылезли из-за стола, стайками разбрелись по углам, по диванам, по другим комнатам.

Я выбрал момент, когда Чернов остался один, и подошел к нему.

— Слушайте, Феликс, я никак не пойму, вы узнали меня или нет? Ведь мы с вами были знакомы в... дай Бог памяти...

— Вас да не узнать! — Чернов усмехнулся. — Мы с вами встречались в 51-м году, с августа по октябрь.

— Как это вы так сразу дату вспомнили?

— А мне ее и вспоминать не надо. Я ее всегда помню. В октябре 51-го меня посадили.

— Вот как? А я и не знал.

— Да? А ведь у нас было много общих знакомых, — сказал Чернов.

— Дело в том, что примерно тогда же я уехал из Москвы, по назначению, в Воронеж. Я там в художественной школе преподавал...

— Вы, я вижу, уже подружились? — к нам подошла Нина, хозяйка дома.

— А мы старые друзья, — опять усмехнулся Феликс.

— Вот и чудно, вот и хорошо! Но послушайте, нельзя так уединяться. Идемте, идемте, сейчас Миша опять будет петь.

Но в другой комнате не пели. Там царил Игольников. Он стоял, как монумент, и, расставив ноги и заложив руки в карманы, сокрушал авторитеты. Бог мой, кому здесь только не доставалось! Он громил ученых за вмешательство в политику, писателей — за то, что они не вмешиваются, государственных деятелей, кинематографистов, кибернетиков и скульпторов.

— Как слепые! — шумел он. — Как слепые, прут куда-то в сторону. Ну стоит ли писать, рисовать, лепить о том, что люди делают?! Надо о том, что они могут сделать! Что они могли сделать, да не сделали! О чувстве вины за бездействие. Я утверждаю, — произнес он с расстановкой, — я утверждаю, что это чувство — ощущение вины — живет сейчас в каждом интеллигенте. Вины за несодеянное!

— Не понимаю, — сказал я. — А если человек — я, предположим, — ни в чем не виноват? Почему я должен терзаться?

— Вы действительно ничего не понимаете, Витя. Во-первых, я категорически заявляю, что каждый человек хоть раз в жизни причинил вред другому: и вы, и он, и я. Во-вторых, — и это самое главное — вы виноваты в том, чего не сделали. А что, разве вас не преследуют призраки несовершенного? Разве вам не мерещатся по ночам эмбрионы поступков, жертвы абортотворения, начинания, которым вы сделали искусственный выкидыш?

— Фу, — сказала Нина.

— Не фыркайте, Ниночка. Я не буду говорить о том, что я мог бы сделать всерьез. Действительно важное и нужное, для многих людей. Да, не стоит — это было бы напыщенно. Вот взять, казалось бы, пустяки: я не могу простить себе, что в свое время не написал, не пришел к таким людям, как Пастернак или Зощенко. Да-да, я понимаю, вас, снобов, шокирует это сопоставление. Дело не в этом. Никогда, вы понимаете,

ни-ко-гда я уже на смогу сказать им, как я им благодарен, как счастлив, что я их современник. Или другое: я не написал ни одного письма своему другу, когда посадили его родителей. И не от трусости, нет! Просто я не люблю писать письма, не люблю эпистолярного жанра. И я, скотина, не сделал исключения для него. А ведь тогда одно мое письмо было важнее, чем все наше общение потом... Эх, да мало ли!

— Владимир Семенович, а как все это с вашим писательством согласуется?

— Как согласуется? Никак не согласуется! Ни хрена не согласуется... Дамы, простите. В том-то и штука, что в работе — разумеется, в той работе, за которую гонорары платят — так вот, в этой работе у меня принцип один есть. Нет, братцы, я не продан — я смирился. Не знаю, правда, что хуже...

— Какой принцип? — спросил Феликс.

— Что? Ах да, принцип. «Не вреди». Это медицинская заповедь — «не вреди». Заповедь хорошая, заповедь чудесная, римских врачей заповедь; но, дорогие мои, с римских-то времен медицина куда шагнула, а? Хирургия, рентген, антибиотики! Мать честная! А я литератор, к временам Цинцината, блаженного Августина, Марка Аврелия и еще черт знает кого — я к этим временам возвращаюсь! И когда? В наши дни! В наши необычайные дни! В наши смрадные дни! Что — небось, не знаете, эрудиты?

Он протянул руку и, отбивая такт, скандируя, произнес:

— «В наши смрадные дни никуда не уйти от гримас и болячек родной политики». Лесков это, Лесков, пажоны!

Он был уже здорово пьян. Феликс Чернов взял его под руку:

— Владимир Семенович, хватит. Все это суета сует и томление духа. И... неуместно, ненужно.

— Феликс, милый! Зачем ты мне мешаешь? Ты же солдат, ты же должен понимать!

— Ну какой я солдат! Я и в армии-то не служил.

— Все равно, ты сидел, а солдат и зека всегда друг друга поймут... Давай блатные песни петь!

Пели блатные песни. Допивали водку. Брынский опять читал стихи.

Слова, как пули, ложатся кучно  
В сердце, прикрытое только кожей.  
Кто пожалсет меня, измученного?  
Ну, не стреляй же хоть ты, прохожий!

Когда мы вышли на улицу и Феликс, поймав такси, стал усаживать в него Игольникову, я тронул его за локоть и сказал:

— Феликс, давайте увидимся на днях. Поболтаем, старину вспомним. Вот, — я вырвал листок из записной книжки, — вот мой телефон. Позвоните мне, ну хотя бы в четверг после шести.

Феликс взял бумажку и сказал — очень медленно:

— У вас потрясающая выдержка, Виктор Вольский. Прямо зависть берет. Ну что ж, я позвоню.

Я смотрю на мое прошлое сквозь цветные стеклышки прожитых лет, и оно непостижимо окрашивается в радостные зеленые, синие и розовые тона. Я должен сделать усилие над собой, чтобы восстановить истинный колорит событий и впечатлений, людей и времени. Но даже если мне это удастся, я не могу восстановить свое тогдашнее отношение. Я помню демонстрацию где-то около Сретенских ворот, ликующую демонстрацию по поводу смертного приговора героям процесса не то 37-го, не то 38-го года. Люди шли с лозунгами и портретами Ежова, шли от Колхозной площади к Лубянке. Странно, кстати, как все перевернулось: Лубянка тогда уже называлась площадью Дзержинского, а Колхозная площадь, кажется, еще не была переименована, а вот ведь никак не могу вспомнить старое название. Слово «Лубянка»-то не забывается. Так вот, я посмотрел на демонстрацию, пришел домой и процитировал (я был начитанный мальчик): «Пристойно ли, скажите, сгоряча Смеяться нам над жертвой палача?» Я ничего особенного не имел в виду, просто цитата показалась мне подходящей. Родителей так и перекосило... Какого цвета была эта демонстрация? Наверное, черного, а мне она помнится ярко-желтой — был солнечный день. Я упорно и много раз восстанавливал серый осенний денек, поникшие кресты деревенского кладбища и себя, шестнадцатилетнего, первый раз в жизни берущего женщину. Как все это было серо и непохоже на книжки! Но время, доброе время зеленил траву и проясняет небо, в нежный румянец окрашивает щеки двадцатичетырехлетней распутной бабенки. Ах, какой он колорист — сегодняшний день! Как он все переиначит, переделает!

Тогда, на Селигере, все было сине, зелено, оранжево, а после встречи с Черновым воспоминания подернулись странной черно-багровой дымкой, тревожной и нерадостной. К чему была эта загадочная фраза о моей выдержке? Почему он себя так странно держит?

В четверг я ловил себя на том, что с нетерпением жду, когда, наконец, часы отстукают шесть. В конце концов, что это за манера? Если я ему неприятен, если он не хочет видиться со мной, пусть скажет прямо. А эти многозначительные ужимки. На кой ляд они нужны...

Феликс позвонил в полседьмого. Когда я пригласил его прийти, он отказался. К себе он тоже не позвал, а сказал, что можно встретиться через час на Арбате, у памятника Гоголю.

Около Гоголя шумели дети. Я оглянулся. Феликса еще не было. Я закурил и не спеша пошел вокруг памятника. Я остановился, разглядывая надпись, выбитую на постаменте, когда вдруг услышал женский голос, сказавший по ту сторону каменной фигуры:

— Фелька, ты все-таки с ним поосторожнее...

— Не беспокойся, — ответил голос Феликса Чернова, и в то же мгновение он и его жена вышли мне навстречу. «С ним» явно относилось ко мне, но они ничуть не смутились, а наоборот, уставились на меня так, как будто это я должен смутиться.

— Здравствуйте, — сказал я.

— Привет, — отозвался Феликс. — Ася, ты иди. Я долго не задержусь.

Она, так и не поздоровавшись и не попрощавшись, ушла. Мы оба глядели ей вслед. Она была очень красивая, и хотя я уже давно не писал портретов, мне захотелось попросить ее попозировать.

— Ну-с, где мы устроимся? — произнес Феликс.

Я молча глядел на него.

— Видите ли, я подумал и решил, что нам действительно нужно поговорить. Причем наедине. Это, кстати, в ваших интересах.

— Вы держите себя, как дипломат, собирающийся предъявить ультиматум, — сказал я.

— Это так и есть, — ответил Феликс без улыбки.

Мы сели на свободную скамейку. Недалеко от нас толстая девочка в комбинезоне воздвигала какое-то сооружение из песка. «Нюр-р-ра, смотр-ры!» — кричала она, раскатываясь на букве «р», и дергала за рукав няню. Мы некоторое время следили за девочкой. Песок осыпался. Феликс потер лоб и заговорил:

— Я вам уже сообщил, что меня арестовали в октябре 51-го года, вскоре после нашего с вами знакомства. Само по себе это совпадение не имеет значения. «После этого» не значит «вследствие этого», — так утверждают логики. Но дело в том, что на следствии мне были предъявлены обвинения в злостной антисоветской агитации и был процитирован целый ряд моих высказываний. Источником такой доскональной информации могли быть только вы, Виктор Вольский. Подождите, не вскакивайте. Вы же человек с самообладанием. Я поясню вам. Мне предъявили почти дословную запись моих суждений о логической стороне выступлений и статей Сталина, о приемах его доказательств. Ну, вы помните: «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда» — и прочее, в том же духе. Мы с вами знаем, чем это пахло. Я помню вечер, когда мы разговаривали, когда я разглагольствовал, цитировал учебник логики Асмуса и щеголял латынью. Я помню даже то, что говорили вы, Виктор Вольский, о внешности Сталина: о том, что у него мало лба и мало ног, что единственный похожий портрет — это рисунок Андреева в Третьяковке — там видно, какой он рябой и какие у него мутные глаза. Я бы мог все это сказать следователю, вы бы тоже загремели в лагерь, таких вещей даже сексотам не прощали. Ну что вы опять? Потерпите, я больше терпел. Я вас не посадил не потому, что пожалел, —



я вас ненавидел тогда... Просто я — брезгливый, мне противно было мстить при помощи эмгэбэшников. Так вот, в этот вечер, кроме нас с вами, было еще трое. Одного из них тогда же арестовали, и он сидел все эти годы. Другой — он был моим другом с детства, он вне подозрений — он умер, а третья, девушка — вы помните ее? — эта девушка была моя девушка, моя возлюбленная, моя жена. Мы жили с ней, понимаете? Мы спали с ней, понимаете? Мы любили друг друга. Вы поняли, Виктор? Вам незачем сейчас и когда бы то ни было отпираться и оправдываться. Да. Вы единственный человек, которому я мог бы рассказать все, что я перенес, — чтобы вы поняли, чтобы вы почувствовали хоть в какой-то мере, что вы сделали. Вы понимаете, что у вас нет оправданий? Если вас запутали, запугали, вы должны были убить себя, уйти добровольно, а не становиться тем... тем, чем вы стали. Вы предатель, Виктор. О, я все это обдумал! Там, в лагере, я решил, что убью вас. Убью — за свою испоганенную жизнь, за то, что мы едим баланду, за то, что спим с мокрыми ногами, за то, что следователь плевал в меня и я не имел права стереть его слюну с лица, за то, что Люда вышла замуж за другого — не любя, плача, — чтобы ей, выгнанной отовсюду, было чем кормить ребенка, моего ребенка, он родился уже после того, как меня взяли. Слава Богу, муж ей попался хороший, очень хороший человек, теперь уже и она любит его. Понимаете, Виктор, — вы же умный человек, вы можете и должны это понять — я не мог мечтать о том, чтобы свернуть шею всему режиму, но вас я мог бы убить даже голыми руками, ведь я раза в два сильнее вас, и теперь могу — вот просто могу взять и задушить, здесь, на скамейке, около Гоголя... Что вы смотрите так? Не боитесь? Это хорошо, что вы вздрагиваете от слова «сексот» и не трусите, что я убью вас. Значит, вы поймете и сделаете то, что я хочу. Я раздумал убивать вас. Я очень переменялся с тех пор, Виктор. Мне стала противна мысль об убийстве. Я уж не говорю о том, что у меня есть семья, друзья, работа, много моря и много солнца в моих экспедициях, и мне было бы жаль все это потерять. Нет, я не стану убивать вас. Но вы исчезнете. Вы не должны ни с кем общаться, вы не имеете права ни с кем дружить, вы не должны спать с порядочными женщинами, вы не смеете жениться — слышите? Лучше всего вам было бы уехать куда-нибудь на край света, на Дальний Восток или в Среднюю Азию, потому что я облегчу вам ваше исчезновение. Я вас предупреждаю открыто, Виктор: я позабочусь о том, чтобы все знали, кто вы такой. Мне вас жалко, Виктор, почти так же, как было жалко самого себя, но другого выхода нет. Вы спросите, почему я не встретился с вами раньше? Почему раньше не потребовал этого? Я ждал. Я ждал, что вы придете ко мне, что вы хотя бы попытаете объясниться со мною, и, честное слово, если бы я заметил, что вы хоть немного страдаете, что вам неудобно, неуютно жить

от того, что вы сделали, — честное слово, я простил бы вас. Но вы спокойны, Виктор, вы ходите в гости, вы пьете вино и, наверно, встречаетесь с женщинами. А ведь вы не имеете на это права, Виктор, вы не имеете права! Раз вы так спокойны, раз вы так хладнокровны, значит, вы — подлец, Витя. Значит, вы не тодько марионетка сталинских времен — с тех пор многим «винтикам» стало не по себе. Вы спокойны, вы — негодяй; это я не оскорбляю вас, нет, — я классифицирую, ведь я же зоолог. В вас негодяйское, черное начало. Будь я верующим, я бы сказал: антихристово начало. Оно встречалось у людей и до Сталина, и до Гитлера, и до Ивана Грозного, и до Лойолы. Таких людей надо обезвреживать, самое лучшее — убивать, но я не могу убить. Вы поняли меня, Виктор? Не отвечайте мне, мне не нужно ответа, я вам все сказал и обо всем предупредил. Мой вам совет — уезжайте; лучше лечиться самому в одиночестве, чем ждать, пока вас начнут лечить другие. Прощайте, я надеюсь, мы больше никогда не встретимся. Мне очень вас жаль, Виктор.

Он встал, постоял немного надо мной, протянул руку и тронул ладонью мое плечо. Потом повернулся и зашагал прочь. Я смотрел ему вслед, помнится, подумал: «А ведь это ему только кажется, что он вдвое сильнее меня. Как он сутулится...»

Я зажег потухшую папиросу и пошел домой. Добредя до подъезда, я остановился и оглянулся. Улица шумела, но этот уличный шум был как-то отдельно от моего слуха. Сам по себе вздрагивал какой-то дурацкий мускул на плече. Я стоял и смотрел, как задним ходом плывут отражения домов в окнах троллейбусов, как, низко пригнувшись, едут велосипедисты — единственные, кому не возбраняется одеваться эксцентрически: они напяливают на себя женские шапочки, фуфайки немыслимых фасонов и расцветок, и никакие дружинники не трогают их. Девочки, болтая косичками, играли на тротуаре в «классы».

Но, Господи Боже мой, я же не доносил на него! Я никогда ни на кого не доносил!

.....  
*Они сидели за шахматной доской где-то над городом, а может быть, и в самом городе, но все равно — вокруг было пусто, и холодный синий воздух отделял их ото всего. Добро было в белой одежде, а Зло — в черной, как и положено. Они кончали одну партию и тут же начинали другую. Добро играло напористо, темпераментно, с азартом; Зло медленно обдумывало ходы. Их силы были примерно равны, но Добру не хватало выдержки: оно торопилось, хваталось за разные фигуры и часто просило дать ход назад. Зло всегда соглашалось, ему незачем было спешить. Оно продвигало пешки, укрепляло позиции,*

неторопливо развивало фигуры. Наискось, стремительно, как шагаи, разцли слоны Зла. С фантастическим, ненатуральным вывертом прыгали кони Зла. Гремя, скатывались в никуда фигуры. Чаще это были фигуры Добра. Оно охотно жертвовало ими в надежде на скорый выигрыш. Зло щадило своих. Постепенно пустела доска, разыгрывался эндшпиль, звучало «Шах и мат!» — и снова, для новой партии выстраивались фигуры. «Ну, последнюю», — говорило проигравшее Добро. И Зло всегда соглашалось. И снова выдвигались вперед пешки, и происходили рокировки, и готовились «вилки», и снова игроки заслоняли своих королей другими фигурами — своих почти беспомощных королей, носителей идеи победы, добиваться которой приходилось другим. Когда побеждало Добро, оно бурно ликovalo и требовало продолжать игру, чтобы упрочить успех. Зло всегда соглашалось. И партия следовала за партией, и холодный синий воздух, прослоенный белыми облаками, клубился вокруг шахматцтов, и Зло курило сигареты с фильтром, а Добро сосало карамельки, и они играли, играли, играли, и оба знали, что в любую минуту может зазвучать властный голос: «Хватит! Кончайте игру! Уступите другим доску!», и поэтому Добро торопилось увеличить счет в свою пользу, а Злу было незачем спешить.

.....

---

---

5.

Мне хотелось побыть одному, а вся наша шайка-лейка, как на грех, решила пообедать бутербродами с пивом тут же, на работе. Один побежал за припасами, а остальные сидели на столах и рассказывали о летних приключениях. Я вышел из комнаты и пошел в мастерскую трафаретчиков. Там никого не было, все ушли обедать в ближайшую столовку. Я лег на скамейку и подложил под голову чей-то портфель. Прислоненные к стенке, стояли неоконченные рекламные щиты. Это были изображения эlegantного мужчины, сообщавшего, что до Сочи можно долететь за три с половиной часа. Я знал этот заказ, я сам набрасывал эскизы. Щиты были почти готовы, не хватало только красной краски — ее накладывали в последнюю очередь. Красным делали текст, полоски на галстукe и рот. И вот теперь они стояли, безгубые, безротые, что-то хотели сказать и не могли, нечем было. Глаза у них были страдальческие, как у собак. И хотя я точно знал, что ничего, кроме дурацкой фразы о полете в Сочи, они мне сказать не могут, мне почудилась в их лицах просьба о важном разговоре.

— Вы что-нибудь знаете? — спросил я их. — Что-нибудь нужное мне?

Они многозначительно молчали.

— Ведь у вас в башках всего одна мыслишка: о трех с половиной часах полета.

«Как знать!» — ответили они мне молча.

— Даже если есть и другие мысли, так они такие же пошлые, как и эта.

«А ты дай нам речь — тогда услышишь», — сказали они.

— А стоит ли? — спросил я. — Много ли радости от слов?

«Никакой радости, — сказали они, — но все равно: люди должны говорить».

— Так вы же не люди.

Они посмотрели на меня укоризненно. Я встал, оглянулся. На подоконнике лежала губная помада. Я взял ее, сделал одному из них рот и сказал:

— Ну?

Он пожевал губами, разминая их, и произнес:

— Главное — это то, что ты сам знаешь, что ни в чем не виноват.

— Я-то знаю, а разве мне от этого легче?

— А кто сказал, что всегда должно быть легко? Хватит с тебя, тебе тридцать семь лет легко жилось.

— Но как же я буду жить среди людей?

— Страдай.

— Не хочу!

— Мне жаль тебя, — сказал он голосом Феликса Чернова.

Я взял тряпку, стер ему рот и подошел к другому. Этот другой был очень деловит:

— Ты должен встретиться с Феликсом и объяснить. Ты должен найти убедительные слова. Напомни ему, что лучше оправдать виновного, чем осудить невинного.

— Да разве ты не слышал, каким тоном он со мной разговаривал? — спросил я, тоскуя.

— Это все равно. Ты человек и он человек. Оба вы — Homo Sapiens. Человеческий разум...

Я ударил его тряпкой по лицу и заставил замолчать.

Третий сказал:

— Виктор, тебе придется смириться. Тебе придется сделать все, как сказал Чернов.

— Почему? — закричал я.

— Потому что ты виноват. И ты сам это знаешь.

— Ничего я не знаю! Я не доносил!

— Я не об этом. Ты виноват. Подумай, и ты сам поймешь. Ты виноват в том...

В это время в коридоре захлопали двери. Я едва успел лишить его речи, как в мастерскую ворвалась банда трафаретчиков. «О, Витя! Виктор! Виктор Львович! — зашумели они. — К нам приехал ненаглядный Виктор Львович дорогой!» Они все были много моложе меня — студенты и студентки, халтурившие на летних каникулах, — но мы были на короткой ноге,

вместе выпивали, играли в пинг-понг и ездили за город. Отношения были самые своиские. Троицким из них я, правда, показал как-то свои работы, попросив не говорить другим; но они, конечно, растрепались, и теперь я иногда ловил на себе почтительные взгляды. «Банда» явно гордилась знакомством со мной и короткостью. Иногда, по молодости, они пересаливали, но я терпел, они мне тоже нравились.

Мы поболтали немного об абстрактной живописи и о «левых» стихах, выяснили, что хорошая абстрактная живопись — это хорошо, а плохая — это плохо. Потом я сказал:

— Ну, мальчики и девочки, делайте деньги, — и ушел.

Работа не ладилась. Надоели мне эти чертовы рекламы. Я вяло водил карандашом, набрасывая контуры, шаркал резинкой по бумаге. Все это дурной сон. Какое право он имеет распоряжаться мною, моей жизнью? Как будто он Господь Бог. Навалился на меня, скомандовал и ушел. Нет, он не посмеет сделать то, чем угрожал. И вообще, я могу сам рассказать об этом разговоре. Рассказать своим друзьям и знакомым. Ирине надо рассказать. Мы с нею не виделись с того дня, как за город ездили. У нее мать заболела, и она сидела дома, даже на работу не ходила — взяла бюллетень. После работы позвоню ей, может быть, она уже свободна. «Предатель!» Это я-то предатель! Как будто я не знаю, чего стоит свобода. Слава Богу, навидался и наслушался, только что сам не сидел. Впрочем, армия и тюрьма — родные сестры. Игольников прав: солдат и зека друг друга поймут. А что же ты с Черновым общий язык не нашел? Попробуй найди, когда он так предвзято... Я бы мог рассказать ему, когда я впервые понял, что такое несвобода, я рассказал бы ему о том человеке, который заставил меня понять. Это было на фронте, на Украине, меня, автоматчика, после ранения сунули к связистам, и я тащил по дороге все их связистское снаряжение. Каждая катушка весила по восемь килограмм, их было две — шестнадцать; стационарный аппарат — килограмма четыре, полевой, чтобы бегать на линию, — около полутора, автомат — четыре с половиной, да еще запасной диск, котелок, кусачки, всякая мелочь... Всего набиралось пуда два. Если бы все это было в одном месте, компактно, тогда бы еще ничего, а то перекрещивающиеся ремни давили на грудь, прижимали к шее жесткий и мокрый воротник шинели. И грязь. Тугая, как резина, хищная, как болото, она хватала за ноги, разувала. Иногда я сбивался с танковой колеи. Я уже не радовался тому, что немцам еще хуже. Я яростно выдираю ноги из этой гнусной квашни, цепляясь за измызганные и покалеченные прутья придорожного кустарника. Выбравшись на сухое местечко, я садился и, стараясь не торопиться, счищал щепкой, а то и пальцами, грязь с ботинок и обмоток. При этом ругался — устало и механически. И только потом, когда усталость чуть отпускала меня, — по-настоящему она никогда не исчезала, она была всегда, и вой-

на была прежде всего усталостью, — только немного погодя я начинал смотреть на все, что меня окружало, так, как смотрел до войны, видел бурую, разбухшую пористой грязью дорогу, детали: прямоугольнички грязи, отлетевшие от гусениц, керосиново-глянцевые в тех местах, где они соприкоснулись с металлом, бледное пятно потерянной пилотки, походную кухню с сорванной крышкой, налитую вровень с краями мутной дождевой водой, и неожиданно яркий, радостный колер трофейного кабеля — красные и желтые нитки, протянутые метрах в десяти от дороги. Из такого кабеля деревенские девчата делали «намысто». — бусы. Если посидеть подольше, вглядеться пристальней, все это обретало особую точность, каждый предмет как бы сам собой приближался к глазам, громко заявляя о своем цвете, о форме, о самом главном в себе. Но долго сидеть было нельзя... На одном из таких привалов я заметил, что в стороне, метра за три от дороги, валяется альбом — большой, красивый, с обтянутой целлофаном крышкой. Я смотрел на него и колебался. Чтобы взять его, надо было сделать несколько шагов в сторону, в топкое месиво. А вдруг в нем есть чистые листы? Я пересилил себя и пошел за альбомом. Я поднял его и сразу же заглянул в конец — чистых листов не было. Последняя страница была перечеркнута трехбуквенным ругательством. «Братья-славяне, — усмехнулся я. — Резолюцию наложили». Надпись была сделана химическим карандашом, должно быть, огрызком — бумага была поцарапана. Сначала я хотел бросить находку, а потом все-таки сунул альбом под ремень и побрел дальше.

Вечером, на ночлеге, я раскрыл альбом и придвинул его к светильнику, сделанному из гильзы.

Я увидел немецких мотоциклистов, мчащихся в ночь по залитой водой дороге, фары прорывались сквозь дождь; я увидел картину атаки: солдаты бежали вперед, выставив автоматы, а под землей в обратном направлении ползли мертвецы; Иисус в мундире с нашивками фельдфебеля нес крест на Голгофу, изрезанную траншеями; дальше был портрет человека с измученным ртом, со шрамом на лбу, внизу было написано по-немецки: «Я еще жив. 1943, февраль»; на следующей странице — человек с тем же лицом, он стоял у стены, его расстреливали, внизу надпись «Расстрел дезертира»; рисунок повторялся, только на этот раз художника расстреливали не немцы, а наши, он же лежал, как младенец, на руках Богоматери, а она стояла на коленях перед офицером; опять автопортрет: художник гладит оторванную женскую руку с обручальным кольцом; группа зенитчиков стреляет в ангелов, спускающихся на парашютах; солдат, стоящий под виселицей, на которой раскачивается труп человека в нижнем белье, надпись: «Я тоже хочу быть свободным».

Все рисунки были сделаны карандашом, только автопортрет 43-го года — пером.

Я смотрел этот альбом, пока мне не крикнули, чтобы я прикрутил огонь. Я лег, но и в темноте видел рисунки немца. Потом я заснул.

Я таскал с собой альбом почти до самой демобилизации, пока замполит не отобрал. Нет, я не относился к войне так, как этот Фриц или Ганс. Я должен был воевать, и не только потому, что меня призвали. Эта война была моей войной. Я не жалел, что воюю. И не о войне думал я, снова и снова рассматривая альбом. Я понял, что немец боялся не смерти: он был в ужасе оттого, что кто-то взял его за глотку и заставил подчиняться, сделал его несвободным. Может быть, с этого-то немца, брата моего во Искусстве, и начались мои мысли о свободе и несвободе. Может быть, тогда-то и пришло мне впервые в голову, что умирать легче, чем быть в тюрьме. Может быть, именно с тех пор я стал осторожнее в разговорах, оберегая свою свободу. Свободу? Да, свободу: я писал картины, я пил вино, я купался в море, я ласкал женщин...

— Виктор, эскиз готов?

Он хочет наказать меня за несовершенный грех. Он хочет обречь меня на одиночество, высадить на необитаемый остров. Ну что ж, пусть попробует: я не дамся, я буду сопротивляться, меня так легко не сломишь. Я буду звать на помощь, я брошу SOS, как бутылку в море...

— Виктор, как с эскизом?

Бутылка в море, Мишкина «Бутылка в море»!

Плещет в море волна ласковая,  
Плещет, плещет и бутылка шевелит,  
Потихоньку ополаскивая,  
Осьминогам ее трогать не велит.

Ветер носится, посвистывая,  
Вести носит от земли до земли,  
Синева глядит неистовая,  
Не заметят ли бутылку корабли.

— Виктор!

— Чего тебе?

— Эскиз готов?

— Сейчас.

А что если все будет, как в Мишкиной песне? Как в печальной песенке, вызывающей задумчивые вздохи после ужина? Как в грустной песенке о людской беспомощности, о приветливом равнодушии мира?

Цепи с грохотом потравливая,  
Соберутся корабли всех морей:  
Вон плывет письмо отправленное,  
Подбирайте-ка бутылку поскорей!

У судьбы моряцкой выпрошенный,  
Открывается конверт из стекла:  
Ждет моряк, на скалы выброшенный,  
Два столетья, чтобы помощь подошла.

— Ребята, шабаш! Пошли до дому, до хаты. Витя, черт с ним, с эскизом. Завтра dokonчишь. Двинулись?

— Идите, я еще поковыряюсь.

— Ну, как хочешь. Салют!

— Пока.

Когда все ушли, я откнутил ватман, собрал карандаши, взял свою папку и пошел домой. Проходя по коридору мимо трафаретчиков, я замедлил шаг. Потом раскрыл двери и вошел. «Банды» уже не было. Мои давешние собеседники стояли у стен и улыбались свежими ртами. Я подошел к тому, с кем не договорил.

— Ну так как же, дружище? В чем же я виноват?

«Пользуйтесь авиатранспортом!» — ответил он. — До Сочи вы можете долететь за три с половиной часа».

— Не дури! — сказал я. — Ты вроде бы умней своих братьев. Что ты хотел мне сказать?

«Пользуйтесь авиатранспортом...»

— Слушай, не будь сволочью. Говори!

«...до Сочи вы можете долететь...»

— А пошел ты к...

«...за три с половиной часа».

Я хлопнул дверью.

---

---

6.

У Ирины была плавная фамилия — Иевлева. Каждый раз, когда я звонил ей по телефону, мне казалось, что я пою, произнося: «И-Р-И-Н-У-И-Е-В-Л-Е-В-У». И каждый раз я вздрагивал, слыша в ответ вопросительное «Да-а?»

— Иринка, — сказал я, — как дела?

— Витенька, я свободна! Мама решила, что ей удобнее болеть у тетки, и я ее утром отвезла на Фили. И теперь я свободна! Ты видишь, как я танцую у телефона?

— Конечно, — сказал я. — Ты встаешь на носки и щелкаешь пятками. А левой рукой ты придерживаешь халатик.

— Витька, ты ослеп! На мне нет халатика. И вообще почти ничего нет — так, самая малость.

— Ох ты! Тогда я сейчас примчусь.

— Сударь, я вас не задержу: вы застанете меня вполне одетой, готовой к выходу.

— А куда?

— Куда-нибудь махнем, Витя. Приезжай.



Я взял такси. Водитель попался молодой и напористый. Мы лихо проскочили перекресток на желтый свет. Милиционер в стеклянной будке погрозил нам.

— Ладно, ладно, сиди в своем подстаканнике, — пробормотал шофер. Некоторое время он гнал машину молча, потом попросил у меня закурить и доложил:

— Вернулся я сейчас из Нарофоминска, возил туда инженера одного. Когда брал его, спрашиваю: «Один едете?» «Один», — говорит. И правда, ехал один. А свободных мест в машине не было.

Он замолчал, ожидая, что я спрошу. Я спросил:

— Как так?

— А вот так: всю машину продуктами завалил. Я говорю: «Что это вы все московские магазины скупили?» А он. «Милый, говорит, жрать-то надо? У меня, говорит, семья большая. У нас, говорит, в Нарофоминске один лозунг: «Пей вино, смотри кино, закусывай радио».

Он захохотал.

— Ну, отвез я его, выгрузил, дай, думаю, в магазины загляну. Зашел, а там и в самом деле — ни хрена! Вам сюда? К подъезду... Спасибо. Будьте здоровы!

Я вбежал на второй этаж и позвонил.

— Витька, это ты?

— Ага.

— Подожди за дверью, я оденусь.

— Открой, Ирка, здесь страшно, волки воют...

— Ну ладно, входи, только не смотри на меня...

Я вошел с закрытыми глазами. Ирина засмеялась, взяла меня за руку и повела в комнату.

— Ирка, а что же ты в непристойном виде по коридору разгуливаешь?

— А никого нет. Была соседка — и та только что ушла.

Я открыл глаза. Ирина стояла в старом купальном халате, кое-как стянутом в талии пояском от плаща. Она смотрела на меня и улыбалась.

— Какой ты нарядный, — сказала она. — Каким ты франтом на работу ходишь. В голубенькой рубашечке пришел к своей милашечке.

Халат на плече был разорван. Я поцеловал ее сквозь дырку.

— Витька-Витька, — сказала она. — Витька-Витька...

...Мы никуда не пошли. Позже, под вечер, я сбегал в магазин, купил бутылку вина и еды. Мы ели и пили, сидя на постели, и она немножко опьянела, и смеялась, проливая вино, и прижималась ко мне растрепанной головой.

— Витька-Витька, — твердила она, — Виктор-победитель... Какая я дура, что столько времени оттягивала это. Я тебя больше никуда не отпускаю. Слышишь?

Снова смешалось наше дыхание. Белели ее плотно опущен-

ные веки, рот казался черным. Это было, как плавание в неспокойном море. Нас с головой захлестывало волнами, мы задыхались под тяжелыми, сотрясающими тело ударами, нас выносило вверх, к ослепительному солнечному свету, и снова швыряло вниз, в черные провалы беспомыслия. Переводя дыхание, мы могли выговорить, простонать только имена друг друга...

Я выбрался из постели потихоньку, чтоб не разбудить Ирину. Я сел у нее в ногах и закурил. Огромная, никогда раньше не испытанная нежность властно овладела мной. Ирина лежала, подтянув к животу мерцающие колени, смешно вывернув руки кверху ладонями. Я глядел на нее и думал, что сейчас мне уже безразлично, красива ли она, умна ли; сейчас она мне близка — и это самое важное. Я ее люблю; и я любил бы ее теперь с кривыми ногами, или с черными зубами, или плохо острящую. «Жена моя», — подумал я и сжал челюсти, чтобы не заплакать. Такого у меня еще никогда не бывало. Я ни на секунду не осуждал себя за то, что много распутничал раньше, и думать о женщинах не казалось мне кощунственным рядом с нею. Я знал, что жил так же, как десятки моих знакомых, так же, как они, сходился и расходился с женщинами, так же думал и говорил о них. Может быть, мы говорили пошлости. Пошлость! Нет, не то. Наверно, все-таки это был поиск — поиск, сам по себе доставляющий наслаждение. Кто ж виноват, что самоутверждение мы ищем в запретных и стыдных потемках, что слова, которые мы произносим, заземляют и снижают мудрую жажду красоты? Ира, Иринка, жена моя, я все-таки нашел тебя...

«Вы не смеете жениться». Я встал. «Вы не смеете спать с порядочными женщинами». Врешь! Я смею. Я сам порядочен. Я умен и талантлив. Ищи других, ищи настоящих нелюдей. Ищи пристально, не клюй на слишком яркую приманку. Ищи! Они живут среди нас, настоящие стукачи, — ездят в трамваях и метро, посещают филармонию и читают Солженицына, выходят на пенсию и разводят цветы, заседают в товарищеских судах, пишут научные работы! С ними своди свои счета...

«Своди свои счета», — повторил голос Чернова. Если ты такой честный, то это и твои счета. Ты уходишь от ответственности, ты хочешь, чтоб другие отскабливали грязь, а ты будешь щеголять в чистой совести, как в чистых ботинках. Взамен мелкой монеты ты кинешь чистильщику: «Я с вами совершенно согласен!» И будешь гордиться своей гражданской смелостью. «Дело делать надо!» Дело делать? А что сделал ты, Феликс Чернов? За что ты сидел в тюрьме? Ты и девяносто девять процентов всей 58-й? Вы же сидели ни за что. Вы тоже ничего не делали. Ни плохого, ни хорошего — ничего; мне до слез, до крови жалко вас, но передо мною вам гордиться нечем — вы тоже бездействовали. Я виноват только в том, что ничего не сделал — если это можно считать виной. Если это считать виной... Если считать виной...

Я так и не сказал ничего Ирине. Мне не хотелось зряшными разговорами портить наши первые часы, первые дни.

Прошла неделя. С работы я счал прямо к ней, а иногда она встречала меня у дверей наших мастерских, и мы шатались по Москве, бродили по набережным, глаза на неоновых пиццинов, рекламирующих мороженое. Мы очень заботились друг о друге: я объяснял ей, что Пиросманишвили гениален, а она то же самое говорила о Шостаковиче. Все было чудесно.

Я сидел на работе и, насвистывая, затачивал карандаши, когда меня позвали к телефону. Это звонила Ирина. Она сказала мне, что мать вернулась домой и поэтому я не смогу прийти к ней сегодня.

— Ну так приходи ко мне.

— Витенька, сегодня мне надо побыть с нею. Первый день.

— Какого лешего! — завопил я. — Жена ты мне или не жена?!

— Милый, не скандаль. Во-первых, еще не жена... Что?

Не рычи — жена, жена. А во-вторых, я в самом деле совсем запустила хозяйство. Надо прибрать, постирать кое-что... Завтра увидимся. Ну, целую тебя.

Я повесил трубку. Рядом стоял и ухмылялся сослуживец:

— Ты, значит, женился? А свадьба где? Зажал?

Я хлопнул его по плечу:

— Не горюй, не грусти! Будет вам и белка, будет и свисток.

Но когда я кончил работу, я вдруг задумался: куда деваться? За эту неделю я привык быть с Ириной ежедневно, и сейчас мне было как-то не по себе. Я пошел к Мишке Лурье.

Мишка жил недалеко от меня, на Трубной площади. Дверь в квартиру отворила соседка. Я постучал в Мишкину комнату и, не дождавись ответа, вошел.

Мишка, его жена и Нина Ряженцева сидели за столом. Еще за дверью я услышал, что они о чем-то спорят, а когда вошел, увидел, что Мишка зол, как черт, и у Нины красные пятна на лице. Мишкина жена сидела, поджав губы.

— Здорово, служивые! — сказал я. — Чего вы тут не поделили?

— Здравствуй, — сказал Мишка хмуро.

— Что случилось?

Они молчали. Потом Нина встала.

— Мне пора идти, — сказала она.

— Я вас провожу, Ниночка, — отозвалась Мишкина жена.

— До свиданья, — сказала Нина, и они ушли.

— Мишка, в чем дело? — спросил я. — Что-нибудь стряслось?

— Стряслось.

— С кем?

— С тобой.

Я понял.

— Ага, — сказал я. — Чернов. Мне следовало всех вас пре-

дупредить. Ну что ж, рассказывай. Жаль, я опоздал. Мне не до того было.

— А до чего тебе было?

— До любви.

— Мог бы ради такого случая отложить кобеляж.

— Это не кобеляж, Мишка. Я женюсь.

— На ком?

— На Ирине Иевлевой.

— Ого! — Мишка заулыбался. — Вот это да! Ну и ну!

— Может, ты прекратишь эти междометия? Рассказывай, что произошло.

— Что произошло, что произошло! Произошло то, что к Нине пришел Феликс Чернов и сказал, что ты стукач, что ты его посадил, что у него есть неопровержимые доказательства.

— Он изложил эти неопровержимые?

— Да.

— Ну и что? Ты-то что думаешь?

Мишка отвернулся и устался в стенку, где пестрела репродукция «Танцовщиц» Дега.

— Мишка, что же ты молчишь? Ты тоже считаешь, что я гад?

Мишка, мы же друг друга со школы знаем.

— Слушай, Виктор, — Мишка выпрямился. — Ты должен пойти к Чернову. Вы должны с ним объясниться. Вы же оба разумные люди. Он ведь должен понять, что лучше молчать, чем обвинять, ошибаясь. Хочешь, мы вместе пойдём?

— погоди, Миша. Ты-то, ты — что думаешь?

Мишка помолчал.

— Я верю тебе, Виктор, — сказал он медленно, — верю...

— Но... Ты ведь хотел добавить «но»?

Он молчал.

— Мишка! — заорал я.

— Как будто ты сам не понимаешь, — выговорил он нехотя.

Я поднялся.

— Ну что ж. Спасибо и на этом...

---

---

## 7.

«Узбекистан» гудел, как бесплацкартный вагон. Запарившаяся прислуга моталась между столиками, отмахиваясь салфетками от нетерпеливой публики. Пьяная девка за моим столиком все время пыталась говорить со мной по-английски, но кроме «спик ю инглиш» и «ай эм гёрл» ничего выдать не могла. Ее кавалер, высоколобый зануда с университетским значком, говорил: «Люда, погоди!» Она на какое-то мгновение умолкала, и тогда он, перегибаясь через столик, пачкая рукава салатом, убеждал меня:

— Самая объективная газета у американцев — это «Нью-

Йорк геральд трибюн». Читайте «Нью-Йорк геральд». Они всему цену знают...

— Вы что — агент по рекламе? — спросил я, отпихивая его влажную руку, хватавшую меня за плечо. Но он не давал сбить себя:

— Нет, я — доцент Вашечкин. Семен Алексеевич Вашечкин. А вас как зовут?

— Фра-Дьяволо.

— Ха, вы шутник. Я говорю: читайте...

Он остановился и посмотрел на меня любящими глазами. Девка завопила:

— Спик ю инглиш?

— Люда, погоди! Вот я вам сейчас расскажу: сели мы в покер, и я проиграл восемь рублей, а? Вы играете в покер?

В покер! Сукин ты сын! Встретился бы ты мне на улице, я бы тебе показал покер!

Я перевернул графинчик над стопкой. И полстопки не набралось. Доцент засуетился:

— Разрешите, я налью. Пожалуйста...

— Ай эм гёрл!

— Люда, погоди! Вы мне очень нравитесь, уважаемый — хе!  
— Фра-Дьяволо!

— Ладно, лейте. Официантка, еще триста грамм!

Официантка по-матерински поникла надо мной:

— А не хватит ли? Не сердитесь, вы уже много выпили.

— Ничего, ничего, девушка! Вы же видите — я в полном порядке.

Но я не был в полном порядке. Хотя я и чувствовал себя трезвым, зал расплывался, в голове стучало и страшная сухость стягивала рот.

— Слушайте, Вашечкин! Слушайте, доцент! Я хочу вас спросить кой о чем. Только скажите ей, чтоб она не лезла со своим «инглишем», а то я ее по-русски пошлю! — добавил я раздраженно. Я был уверен, что трезв: я фиксировал свой тон, я позволял себе раздражаться.

— Люда, погоди! Я слушаю вас, дорогой друг. Я — доцент Вашечкин...

— Спик ю... — пискнула Люда и печально умолкла.

— Слушайте, Вашечкин. Кстати, что за дурацкая фамилия: Вашечкин, Нашечкин... Ладно, не сердитесь. А, принесли. Спасибо, поставьте сюда. Так вот, представьте, что вас обвинили в грязном поступке, в подлости. И вы не можете доказать, что не виноваты, вы беззащитны против клеветы. Вы слушаете меня? Вы слушайте, а то... Что вы будете делать, доцент? Как вы будете жить?

— Я... Спасибо, спасибо. За ваше здоровье! Кха. Да. Если бы меня обвинили в чем, в том... в том, в чем я не виноват, то я

был бы спокойным! Спокойненьким!!! Потому что я сам знал бы, что я ни в чем не виноват. А?

— Здорово! Ай да доцент, ай да молодчина! Слушай, сколько лёту от Москвы до Сочи?

— Что? До Сочи? Кажется, часа три, три с половиной.

— Ух, Вашечкин, опять угадал!

В это время Люду замутило. Она встала и посмотрела на нас трагическими и бессмысленными глазами.

Вашечкин вскочил, подхватил ее за талию и повел, оборачиваясь ко мне и вскрикивая:

— Погодите! Не уходите! Договорим!

— Здесь свободно?

Одно место за нашим столиком было не занято, но к нам никто не садился, потому что на стуле лежала Людина сумочка. Вашечкин, уходя, подхватил ее.

— Да, одно место, — сказал я.

— А мне больше не надо. Я не люблю, знаете ли, на двух стульях сидеть. Я всю жизнь на одном стуле просидел. Чего и вам желаю.

Он был совсем пьян, этот человек лет пятидесяти, с осоловелым добродушным лицом, с маленькой лысинкой в белокурых седоватых волосах — я увидел ее, когда он нагнулся, садясь.

— Ну, что пьем? — спросил он, потирая руки. — Девушка, графинчик, салатик, шашлычок по-карски, пару бутылочек минеральной. Вот так. Молодой человек, разрешите воспользоваться пепельницей. Вот так. Спасибо, коллега.

— Какой я вам коллега, — буркнул я. — Я художник.

— И я художник, — подхватил он. — Художник в своем роде. Шучу, шучу. А с художниками я был знаком. С художниками я много встречался. Ночи напролет, бывало, беседуем.

— Вы кто же? Искусствовед? Критик? Министр культуры?

— У-у, горяч, горяч. Молодой еще, ничего.

— Вы лучше выпейте. А то пока вам еще принесут...

— Выпью, сынок, выпью. Разочтемся. Будь здоров. Я им говорю: «Что ж вы, говорю, художники? Жалко мне вас, говорю». Та-акой народ! «Присаживайтесь», — говорю. Да, а сейчас я на пенсии. Вот так.

— Что-то я не пойму, какие у вас с художниками дела были?

— Да одни ли художники! Профессора, академики! Химики! Я тут, а они — вот они, голубчики мои. Ну, чего ты смотришь, чего глазками моргаешь? Кто я такой? Пожалуйста! Я — майор. Я в органах работал. Двадцать семь лет, как одна колесечка. А теперь на пенсии.

Он вдруг заговорил шепотом:

— Не нужен, говорят, стал. Образования, говорят, мало. Отдохните, говорят. А на мое место — мальчишку, сопляка. Только — тсс, молчок! Я тебе, как своему...

— Что?!

— ...как своему брату говорю, как младшему брату: придут! Придут, позовут, «выручай, скажут, майор!» Ты думаешь, все эти штучки — надолго? Все эти манежи, евтушенки, совнархозы, мать вашу... Молчи, молчи. Зубы стисни, молчи, не тушуйся. Думаешь, я один такой? Думаешь, я сопьюсь на большой-то пенсии? Врешь! Я иду по Кузнецкому, а они навстречу, навстречу. Здраваться не положено в штатском, так они глазами приветствуют! Нет! Шалишь! Без меня не обойдешься! Придут, позовут, а я умоюсь, побреюсь, выйду к ним — и мы такое покажем! Т-с-с! А то, понимаешь, слабаки: «Я, говорит, угрызения совести испытываю, я неправильно сообщил». А какое-то право имеешь рассуждать, что правильно, что неправильно? Ты долг свой исполнил! Перед родиной, перед партией! Перед... впрочем, о Нем молчу. О Нем другие скажут. Вот так. Мало ли, что неправильно, а сообщить надо. Мы разберемся. Ты хороший малый, молодой только, в глазах задумчивость. Ты это брось, не задумывайся. Не тушуйся! И правильно сообщил. То есть, это не ты сообщил, я спутался... Но и ты мог бы. Ты настоящий человек. На каких фронтах воевал? В окружении, в плену был?

Он вдруг замолчал и подозрительно уставился на меня.

— Ты мне смотри-и, — прошептал он. — Ты подписку дал. Вот так.

За соседним столиком освободилось место. Майор встал и перебрался. Туда ему и заказ принесли, оттуда он грозил мне пальцем и шипел: «Вот так!»

Вот так! Так и никак иначе! Он распухал у меня на глазах, двоился, троился, переодевался в серые плащи, обрастал погонами и орденами, размножился по всему ресторану. Вот так! Да нет же — не так! Не будет так, майор, эмгэбэшник, сволочь проклятая, не будет так! Я сдохну, чтобы так не было.

Я не помню, как и откуда появился Брынский. Кажется, он сначала звал меня с другого конца ресторана, но я не вставал и он сам пришел ко мне. Водки у меня уже не было, и я пошел требовать долг у эмгэбэшника, а Брынский твердил:

— Плюнь! Я тебе стихи почитаю.

— Сейчас, — сказал я, — сейчас.

Я пошел в уборную и подставил голову под кран. Ко мне подошел служитель:

— Молодой человек, хотите, через пятнадцать минут трезвым будете?

— Хочу, — сказал я. — На всю жизнь...

— На всю не выйдет, — ответил он деловито. — Три рубля пожалуйста.

Я дал ему трешку. Он отвел меня за перегородку, усадил на стул и сунул в руки флакон с витамином «Б-прим».

— Ешьте, — сказал он. — Только не засыпайте.

Я глотал драже, давился и не верил. Однако минут через двадцать, на слабых ногах, но почти трезвый, я вышел в зал.

Брынский ждал меня.

— Слушай, — сказал он. — И вы слушайте, — он повернулся к Вашечкину и его Люде — они уже вернулись. Лицо его стало каменным, он взялся за щеки и прочел:

Пройдут века, прекрасны и суровы,  
Чтоб мы смогли все знать и все уметь,  
Тогда спадут небесные покровы  
И завопит архангелова медь.

Народ завост: «Как же так? До срока?»  
И взмолятся: «Немного погода...»  
Народ, спеша, отыщет лжепророка,  
Народ, блюя, создаст себе вождя

И побежит бессмысленно куда-то,  
А вождь наморщит мудрое чело —  
И вот восстанут снова брат на брата,  
Рассудок на рассудок, зло на зло...

И черный конь сверкающей подковой  
Ударит о заждавшийся гранит —  
И землю всю период ледниковый  
В миллионный раз, кряхтя, оледенит.

...Доктрины строя, лезя в поднебесье,  
Глупцы, глупцы, не увидали мы,  
Что стержень жизни — только в равновесье  
Добра и зла, сияния и тьмы.

— Поэт! — воскликнул Вашечкин. — Настоящий поэт! Напишите мне автограф. Я — доцент Вашечкин.

На другое утро я нашел листок со стихами у себя в кармане. Не знаю, как он туда попал. Может быть, я отнял его у Вашечкина? Ведь я снова напился.

.....

*Брат мой! Я вечером выйду из дому и спущусь в преисподнюю, где станции нанизываются на грохотанье составов, в чванную бессмысленность мрамора и бронзы, в угрюмую усталость толпы. Я промчусь под городом, под людскими рожденьями и смертями, под нежностью и разворотом, под пестрой мешаниной жизни. Я выйду наверх, неся на сутулых плечах весь этот груз. Я постучусь в твои двери, свалю ношу у порога и спрошу тебя: «Что мне делать со всем этим?» Ты ухмыльнешься лукаво и грустно, как будто тебе ведомы привалы и провалы дороги, победы и побеги в пути. Ты процитируешь, мне тоскливых мудрецов, длинными пальцами вылепшишь из воздуха чудищ Апокалипсиса и скажешь: «Это будущее». Я не поверю тебе, брат мой. Я не захочу голой душой сунуться в лед и пламень твоих пророчеств. Я скажу тебе: «Что мне делать сегодня, сейчас?» Я вытащу из вороха и положу на осыпанный папиросным пеплом*



стол Виктора, моего героя. И я спрошу тебя: «Чем ему помочь?» Ты ничего не ответишь, и мы будем печально смотреть, как он корчится на липкой клеенке, рядом с недоеденным куском хлеба, на краю стола, с которого так легко упасть. Мы будем смотреть на него так, как смотрим в зверинце на обезьян, умиляясь и ужасаясь сходству с нами. И ты спросишь меня: «А много ли тебя в нем?» «Не знаю, — отвечу я, — не знаю. Наверно, много».

Мы допьем вино, оставшееся от позавчерашнего кутежа, обменяемся новостями и анекдотами, и я уйду, провожаемый твоим взглядом, — уйду бродить по улицам и заглядывать в лица прохожим и в освещенные окна первых этажей.

Я доберусь до твоего переулка, женщина, друг мой, и войду в твой дом. Мы вместе подберем обломки нашего прошлого, и сложим их маленьким костром, и будем греть над ним озябшие ладони. И я не спрошу тебя, что мне делать, потому что в твоих глазах я увижу бегство — от раздумий, от крутизны, от меня. Ты скрываешься в музыку и в цветы, ты прячешься в своего ребенка. И что ты можешь мне посоветовать, как можешь спасти меня и моего Виктора?

И я вернусь домой, и молчаливое сочувствие встретит меня на пороге, и я ткнусь губами в теплые ключицы, и медленно буду воскресать для новых дней и ночей. И я не услышу вопроса «А много ли тебя в нем?», потому что только здесь знают — сколько.

Я снова останусь один на один со своим героем и скажу ему, лежащему в пьяном забытьи:

— Я ничем не могу тебе помочь. Ты обречен, Виктор...

.....

---

---

В.

Я шел на работу с тяжелой головой, изломанный, измененный. Я заставил себя пойти не потому, что не мог пропустить — у нас с этим довольно свободно — мне нужно, мне необходимо было знать, известно ли что-нибудь на работе. Кажется, мне хотелось, чтобы уже все наконец узнали, чтобы все для всех стало ясно, чтобы я перестал висеть между небом и землей.

На работе все было тихо. Сослуживцы подсмеивались над моим помятым видом — я спал, не раздеваясь, — и над тем, что я через каждые десять минут пил воду.

Шел срочный заказ: рекламные щиты для Союзпечати, и, как всегда, расцвела обычная бестолковость нашей шарашкиной конторы. Никак не могли распределить задания, терялись тексты, кто-то уже вопил, что ни одного дня в этом сумасшедшем доме не останется.

Сумасшедший дом! Посмотрели бы они, как там на самом деле. Чистота, порядок, телевизор, стенгазета. Я, правда, у буйных не бывал, я приходил с визитами только в тихое отделение. Там все были очень деловитые, очень сосредоточенные. Прямо не психбольница, а читальный зал Ленинской библиотеки. Вот только двери там открывают треугольными ключами, как в железнодорожных вагонах. Идиллия, мирный приют. Заповедник раскрепощенной мысли...

У меня кончились папиросы, а курящих в нашей комнате, кроме меня, не было. Я пошел к трафаретчикам.

Дверь в мастерскую была полуоткрыта. Оттуда слышался галдеж:

- Зинка, не трещи!
- Алло, Эдик, кинь тряпку!
- Ребята, новые стихи!
- Левушка, Левушка, когда ты побреешься?
- Вайс утверждает, что критическая точка...
- Эй, босяки, тихо! Читай, Леноч!

Они всё бубнят про политику,  
Про договоры долдонят,  
А у девочки — слезы по личику  
И подбородок в ладонях.

Они нажрались до отвала  
Доктринами США и Росий  
А снег, как ни в чем не бывало,  
Декоративно красив.

Как высушить сердце ни целью,  
Но сыплется звезд фейерверк,  
И прет по-весеннему Цельсий,  
И гонит подснежники вверх!

- Слабо, Леночка, слабо!
- Ну что за наивное противопоставление!
- Девочки, а мне нравится!
- И мне...
- А кто это, собственно, «они»?
- «Они» — это мы, те, кто газеты читают. Так ведь, Леночка?
- Вадим, ты шкаф. Бесчувственный нескороаемый шкаф, в двести килограмм весом. И не разговаривай со мной, пожалуйста.

Я вошел. Все замолчали. Ко мне обернулось с десятков лиц — смущенных, любопытных, вызывающих.

— У меня кончились папиросы, — сказал я. Они молчали, не двигались. Потом Вадим, тот, кого назвали «шкафом», положил передо мной на стол пачку сигарет. Я вынул одну, поблагодарил и вышел, плотно закрыв за собой дверь. В комнате сразу зашумели. Не успел я пройти и пяти шагов, как меня догнала Леночка. Я остановился. Она стояла передо мной, испуганная, решительная, и вдруг выпалила, как в воду кинулась:

— И мы просим вас, Виктор Львович, приходите к нам только по делу!

Я молча смотрел на нее. Она всплеснула руками и зашептала:

— Как вы могли, как вы могли... Вы, такой... И что вы с собой сделали!

Ах ты, Сонечка Мармеладова! Я захохотал.

— Успокойтесь, Леночка, я не убивал старуху.

— Что? Какую старуху?

Но я уже бежал к выходу. Я вылетел на улицу и бросился к автомату.

— Нина? Нину Васильевну Ряженцеву. Нина, это говорит Виктор Вольский. Погодите, не бросайте трубку! Мне нужен адрес Феликса, Феликса Чернова. Что? Я хочу остановить его, пока не поздно. Что? Нет, я не угрожаю... Потом, потом, дайте сперва адрес. Что? Что? Дом 45. А квартира? Ага. Не будьте душой, Нина! А, Господи, какая разница, хам я или нет!

Я шел на людей, на машины, на красные огоньки светофоров. «Пьяный! Хулиган!» — кричали мне вслед. Я шел, как вал, как волна, закипая по дороге. Я нес в себе проклятья и просьбы. Я шел, чтобы обрушиться на него. И я зазря расплескал все это в чистой прихожей квартиры Черновых, где красивая Ася брезгливо сказала мне:

— Феликса нет дома. Но мы предполагали, что вы придете. Поэтому Феликс поручил мне передать, чтобы вы выполнили то, о чем он вам говорил. Он свое решение не изменит. И я думаю, что он поступает правильно и справедливо. Такие, как вы, не должны встречаться с людьми. Мне даже странно думать, что какая-нибудь женщина может любить вас. Разве что шлюха...

Я шагнул к ней. Я ударил бы ее, если б она вздрогнула, отшатнулась. Но она осталась стоять на месте и по-прежнему с гадливостью смотрела на меня...

Дома я лег на диван. «Он поступает правильно и справедливо!» Он поступает правильно и несправедливо! Ведь я же не виноват. Ведь я же безгрешен. Нет на мне вины!

Есть на мне вина. Я не сидел в тюрьме. Я должен был сидеть в тюрьме. Но не так, как Феликс. Не дуриком. Я должен был что-то сделать, за что мог попасть в тюрьму, в лагерь, в рудники, к стенке!

Зазвонил телефон.

— Да, это я... Что? Считать, что мы... Повторите! Считать, что мы незнакомы? Ладно, буду считать!

Господи, грешен! Виноват в несодеянном, виноват в несовершенном, в равнодушии, в трусости виноват. В том же, в чем и вы! Только я один за всех буду расплачиваться.

Звонок.

— Да, да. Да, конечно. Не беспокойтесь, не приду. Будьте здоровы!

Ладно, черт с вами. Вы меня одолели. Вы — справедливые и честные, вы — храбрецы образца 63-го года. Куда мне от вас деваться? Ладно, я уйду. Я возьму только одного человека, которому я нужен. Это вы мне можете подарить, мне — побежденному — жизнь... Мы с нею уедем от вас. Куда-нибудь, где она сможет заниматься музыкой, а я хоть малярить. Нам хватит друг друга на всю жизнь...

— Да, это я, мне все понятно, идите к черту!

Я буду жить с нею далеко, а вы оставайтесь здесь. Будьте честны, будьте справедливы, будьте счастливы, будьте прокляты.

Звонок...

Звонок...

Звонок...

Ирина, позвони же мне! Или хотя бы ты позвони, Господи!

---

9.

---

Дверь распахнулась, и в комнату без стука вошел Игольников. Я приподнялся на локте.

— Витя, можно мне к вам?

— Ко мне нельзя, Володя. Ни вам, никому другому. Я вне закона, вне игры. Я для вас кончился.

— Витя, перестаньте! Да не верю я ничему, поймите. Можете вы мне поверить, что я не верю, что я вам верю... тьфу, черт, запутался! Бросьте, не хочу даже говорить об этом.

— Слушайте, Володя, не надо мне примочки прикладывать. Вы же никогда у меня не бывали, чего же вы сейчас примчались? Утешать? Уговаривать?

— Ничего подобного! — окрысился он. — Тоже, нашли утешителя. Я к вам пообщаться пришел... Ладно, не буду врать. Вам сейчас скверно, а я к вам хорошо отношусь, ведь вы сами это знаете. Ну, так как — уйти мне или остаться?

— Оставайтесь.

— Ага! А ежели я остаюсь, так извольте принимать меня как положено. Скажите: «Будьте гостем дорогим!»

— Будьте гостем дорогим.

— Не слышу энтузиазма в голосе. Ладно, Бог вам судья, я сам буду хозяйничать. Где у вас штопор? Дайте нож — кодбасу нарезать. И какие ни на есть тарелки. Рюмки? Вот они. Ну, поехали!

Мы выпили.

— Витя, дорогой мой, я вам сейчас одну тайну открою. Все ерунда, не обращайтесь внимания. Все объяснится, все войдет в свою колею. С вами не произошло самого страшного. Вас обвинили в измене? Пусть! Мы с вами знаем, что это не так. Я с Черновым из-за вас поругался. Плюньте! Главное — что вам не изменили.

— Как «не изменили»? Все отвернулись, все поверили...

— Но вот я же не поверил! Но я — это ладно, это пустяки. Вам не изменила женщина, которую вы любите. Я, брат, все знаю. И душевно вас поздравляю — Ирина замечательный человек. Мы ведь с ее братом, с Леонидом, друзья были. Он в 44-м на фронте погиб. Какой пианист был, эх! У них вся семья музыкальная.

— Подождите, Володя. Она — знает?

— Знает. Ну, чего вас затрясло? Вы слушайте: был я вчера у Оксаны Ямпольской — вы ее не знаете, она в издательстве корректором работает, разбитная такая бабенка. Народ там разный собрался. И вдруг является Ирина. Они с Оксаной, оказывается, приятельницы, даже родня какая-то по первым мужьям. Ну, я, понятно, обрадовался, о матери стал расспрашивать. Хорошо. Вечер как вечер. Только смотрю я — Ирина какая-то смутная. «Что ты, говорю, деточка, что с тобой?» А она: «Отказалась я, говорит, от одной встречи сегодня, а потом обстоятельства переменялись, я стала звонить, а его нет». Я говорю ей: «Пустяки, мол. Погляди, какие парни бравые. Да и я еще хоть куда». Смеется. «Я, говорит, Володечка, замуж собралась. Можно мне по второму кругу замуж выйти?» Только мы собрались выпить с ней по этому поводу, вдруг слышим — ваше имя назвали. Я возьми да и пошути: «Кто это там о моем знакомом мазиле говорит?» И какая-то чертова баба выкладывает всю эту ахинею. Я, признаться, так растерялся, что даже дар речи утратил. И вдруг встает Ирина и говорит... В общем, неважно, что именно она говорила. Вложила им по первое число. И я немного добавил. И мы с нею гордо ушли, к великому огорчению хозяйки. Так что салон остался без музыки и литературы. Проводил я ее домой, а сам к Черновым. Там... поцупались. Вот и все. Хорошо, что я вас застал. К вам никак не могли дозвониться эти вот — благородные либералы. Где вы пропадали?

— Я всю неделю у нее жил.

— Голубчик, Витя, Ирочка с вами — и вам все — трын-трава! Вот когда женщина уходит — тогда дело плохо. Ведь было со мной, было. Поверите ли, Витя, Богу молиться стал. Господи, твержу, что ж это? Господи, помоги! А ведь я безбожник, язычник, я толстяк, я член ССП, чтоб ему провалиться! А тут как за горло взяло — взвыл! И ревность, ревность. Как вспомню этого человека, к которому она уйти хотела, так меня трясет от ненависти, от отвращения. Мне в нем все противно было: и голос, и фигура, и манеры. Сейчас-то я понимаю — человек как человек, неглупый, занимательный, работник дельный, честный. А тогда! Меня мутило от одного его вида. А уж представить ее с ним вместе, с руками его волосатыми — какая это мука... Погляжу на него — и всего передергивает, как будто он не ей, а мне плечи целовал. Какая мука, Витя, какое несчастье...

Он замолчал, налил водку в стаканчики. Мы выпили.

— Володя, — сказал я. — Я позвоню ей?

— Не надо. Я сам позже позвоню... Да, так и страдал. Уехать хотел. Я тогда в газете работал. Пришел к главному, отпусти, мол. «В чем дело?» «Бога, говорю, искать пойду». А он: «Ищи, говорит, царство Божие внутри себя, а общественность тебе поможет». Н-да, было — бьльем поросло. Я к чему это все? К тому, что вам, Витя, грех жаловаться, у вас еѣть стержень, арматура, вы не рассыплетесь.

— Володя, — сказал я, — налейте мне еще, давайте выпьем. Вы удивительно добрый человек, Володя.

— Нет, это не я, это климат такой. Мы, россияне, добрые от безволя, от обреченности, оттого, что все вокруг, все, что было и есть, — мираж, фантомы. Все зыбко и шатко. И злые мы оттого же.

Как все алкоголики, он быстро пьянел.

— Американец или швед — я об обыкновенных людях говорю — без нужды не будет добрым или злым. У них есть конкретное, утилитарное представление о справедливости. Они не швыряются эмоциями. Они экономят себя и время. А мы гордимся сдуру, что не минуты, не сутки, не годы, а целую жизнь, целую эпоху бросаем псу под хвост. Сами знаем, что дураки, а гордимся. Как мы огрызаемся, когда нас иностранцы жалуют! Один мой приятель даже стишки сочинил по этому поводу — его какой-то француз уговаривал, какие мы несчастные. Там такие строчки есть:

А ты, француз, ты ни при чем,  
Не лезь и наших душ не трогай,  
Мы двое — жертва с палачом,  
И мы идем своей дорогой.

Нет, мы с вами там жить не смогли бы. И не потому, что не сумели бы на жизнь заработать, нет! У меня профессий двадцать есть, у вас одна — но интернациональная. Нет, дело не в том. А вот смог бы я в одиннадцать вечера вломиться в дом к не очень близкому человеку и начать выкладывать ему то, что я вам выложил? Нет! Задушевность, Витя, это такая валюта, на которую за границей ни фига не купишь. А мы в России сидим по уши в дерьме и такие задушевные разговоры ведем! Прячемся, как страусы, в многозначительность... Кстати, о страусах: вот вы, Витя, художник. На кого похожи страусы?

— Не знаю, — пробормотал я.

— На балерин. У этих дурацких птиц позиция классического балета. И хвосты, как балетные пачки... О чем мы говорили? А, ругали Россию! А мы ее всегда ругали, всю дорогу, со времен Владимира Красное Солнышко. Газетчики пишут, что кто, мол, ведет подобные разговорчики, тот кусает руку, которая его кормит. Идиоты! Рука-то — моя!

Я хочу побриться, — неожиданно заявил он. Я включил бритву.

— Бритье — это ежедневный обряд отречения от варварства. Петр это понимал, жердь голландская. Он этим бояр крепче, чем стрелецкой казнью, связал...

Я уже не слушал его. Тоска по Ирине погнала меня к телефону. Я набрал номер.

— Ее нет дома, — ответила мать. — Нет, не знаю... Хорошо, передам... До свидания.

Ирка, где же ты? Ты где-то в одном городе со мной, в одной стране, на одной планете. Почему ты не отзываешься? Не надо, не ходи к знакомым, не ломай копья из-за меня. Приходи сюда, мы выставим этого милого, этого смешного толстяка и останемся одни. Ирка, приходи!

---

## 10.

---

Она пришла. Она пришла через два дня, через два долгих дня, наполненных рвущими душу телефонными звонками и письмами. Я шел сквозь строй. Люди, с которыми я раньше разговаривал, пил, ходил в кино, дружил и ссорился, — эти люди стояли теперь с палками наготове. О, это были разные палки: молчание, вежливое презрение, осторожный интерес, безразличие. Я блуждал, я тонул в плотном тумане того знания, которое, как им казалось, было у них.

Я застал ее у себя дома.

— Меня твои соседи впустили, — сказала она.

— Ирина? Ты... с чем ты пришла?

— Витя, я пришла сказать... Я не верю тому, что о тебе говорят.

— Иринка!

— погоди. Я не верю, но я больше не могу. Эти три дня я разговаривала, я отбивалась. У меня не было ни минуты свободной, потому что все время ко мне приходили, звонили домой, на работу. Удивительно, как много людей знало, что мы с тобой связаны. Витя, Витька, я боролась, как могла!

Она заплакала.

— Витя, я слабая, я плохая! Я не могу. Ведь это навсегда, ведь это на всю жизнь. Это — как клеймо. Витя, я знаю — нечестно оставлять тебя в беде, но у меня нет больше сил.

У нее похудело лицо, обуглился рот, тени легли под глазами. Но это были не те фиолетовые тени, которые я разглаживал по утрам кончиками пальцев.

— Ну, ударь меня, прогони, скажи что-нибудь...

— Ничего не надо, Ира. Ты права.

— Витя, когда это кончится...

— Это скоро не кончится. Я сейчас зачумленный. Любые

жертвы были бы напрасны. Да, конечно, потом, когда-нибудь... Иди. Ты все равно не можешь спасти меня.

Она могла спасти меня.

Она улыбнулась мне от порога жалкой, пристыженной улыбкой. И ушла.

Да здравствует либеральная интеллигенция! Да здравствуют стойкие стражи морали! Да здравствует наша мыслящая молодежь! Вы правы, друзья мои. Ты прав, Феликс, ты прав, Мишка, вы правы, Нина, вы правы, юные мастера трафарета. Ты права, Ирина. И я прав. Все хорошо, все правильно. Нас с тобой двое, Виктор Вольский. Один из нас сидит здесь, в этой комнате, и принимает решения; другой из нас сидит там, у Лурье или у Ряженцевых, и с возмущением говорит о первом, о подонке, о стукаче. Стань на его место, Вольский номер один. Попробуй, найди хоть какое-нибудь оправдание для доносчика, для себя. Нет оправдания. Ты обречен, номер первый. Номер второй вынес тебе приговор. И ты, номер второй, судья, тоже осужден. Мы можем теперь соединиться в одно и расплатиться за себя и за всех. За бездействие, за негодяйное. Слышите, вы, поклонники Хемингуэя, Пикассо и Прокофьева, я расплачусь не за ту вину, которую вы выдумали, а за ту, что действительно есть, за мою вину и вашу! Вашу! Вашу!

.....

*Но, послушайте, вы же знаете, что я не вмешиваюсь в их дела, я только оцениваю их... Жалко, разумеется, жалко, но что я могу сделать? Порядок есть порядок, как говорят эти, как их?.. Да, немцы. А что там, собственно, произошло?.. Так... Так... Так... Ну, а кто же в самом деле виноват?.. Нет, я не об этом. Это ясно, что виноваты все, и он тоже. Я спрашиваю, чью вину — ну, эту, маленькую, глупую вину! — чью вину ему инкриминируют?.. А-а... Знаете что — конечно, если это можно устроить неофициальным путем, — пусть этот второй, сидевший, тоже заплатит. Как-нибудь объясните, они поймут, они же знают, что и среди пострадавших были провокаторы... Ах, предусмотрено? Видите, как хорошо. Это подтверждает мой принцип невмешательства. Я сейчас дал себе волю и стал советовать — и оказалось, что это совершенно излишне... Что? Умерший тоже? Это было самоубийство?.. Хороши, нечего сказать... А где он сейчас?.. У нас? Гм... Что? Нет, нет, никак не могу... Поймите: все идет своим чередом... И в конце концов он действительно виноват, не в том, так в другом... Ну что ж, что талантлив, какое это имеет значение... Ну, конечно, жаль... Очень, очень, очень жаль...*

.....



Я одеваюсь. Я натягиваю отглаженные брюки, скрепляю запонками обшлага рубашки, стягиваю галстук модным узлом. Я — фронт, я — щеголь, я иду в концертный зал Чайковского. Пора мне приобщиться к музыке. Сегодня выступает — очереди у концертных касс! — известная американская — нет ли лишнего билетика? — певица-негритянка. Кто принес мне билет? Он лежал на столе, когда я проснулся: Я его не покупал. Кто принес билет? Дверь была заперта. Ладно, наплевать. Я иду на концерт.

Кондуктор, сколько до площади Маяковского? Ага. Что, нет сдачи? Ничего, не беспокойтесь, давайте билет до Киевского, я пройду пешочком на лишние деньги, это даже полезно. Что, шутник я? А чего мне унывать? Кто принес билет? Глупости, я, наверно, сам его купил, мне его дали вместо сдачи в булочной.

Приехали, приехали! Ого, вот так ножки! Ай да ножки! Сука, ты думаешь, мне нужны твои ноги! Нет, это я не вам, я про себя.

Ух, как здорово! Тепло и пахнет пудрой. Да, это двадцать второе место. Что? Какие концерты объявлены? Не знаю, девушка, я здесь случайно, я не поклонник музыки. Нет, я москвич, а вы? Из Вольска? Как забавно, моя фамилия — Вольский, вы еще не слышали? Ничего, услышите. А где это — Вольск? В Саратовской области. Жаль, я никогда там не был. Нет, не побываю, даже если вы меня пригласите. Ну и что ж, что не люблю музыку? Случайно, случайно, мне кто-то прислал билет через запертую дверь. Ну, конечно, шучу. Мои шутки все московские кондуктора знают. А вы угадайте. Нет, не инженер. Не врач. И не учитель. Я работаю в тире, в парке культуры. Нет, не инструктором. Я работаю мишенью. Да-да. Вы понимаете, люди — особенно либералы — любят показать друг другу, какие они меткие, стреляют в меня. А мне за это деньги платят. Серьезно? Пожалуйста, могу серьезно. Я работаю козлом. Ну что вы, не знаете, что такое козел? С бородой, с рогами — ме-е-е! Девушка, куда вы? Чего вы испугались? Я имел в виду — козлом отпущения...

А, это и есть знаменитая негритянка? А что голос хриплый — это так и надо? Молчу, молчу.

Ты говорил, что у тебя была свобода пить вино. Вино было отравленное. Свобода купаться в море — в море сидели слухачи с аквалангами. Свобода писать картины — они были написаны потом, пролитым в Магадане и Тайшете. Свобода любить женщин — они все были невестами, женами и вдовами тех самых... Свобода? «Маргарин по калорийности и усвояемости равен сливочному маслу и почти вдвое дешевле его».

Отчего у меня так болит голова? Я же хорошо выспался.

Что это? Антракт? Антракта не будет!

Товарищи!

Да-да, сюда смотрите! Я буду говорить отсюда, а то я боюсь, меня схватят, пока я доберусь до сцены.

Товарищи!

Они продолжают нас ре-пре-ссировать! Тюрьмы и лагеря не закрыты! Это ложь! Это газетная ложь! Нет никакой разницы: мы в тюрьме или тюрьма в нас! Мы все заключенные! Правительство не в силах нас освободить! Нам нужна операция! Вырежьте, выпустите лагеря из себя! Вы думаете, это ЧК, НКВД, КГБ нас сажало? Нет, это мы сами. Государство — это мы. Не пейте вино, не любите женщин — они все вдовы!..

Погодите, куда вы? Не убегайте! Все равно вы никуда не убежите! От себя не убежите!

Товарищи, стойте, может, вы знаете, это очень важно: кто принес билет? Не знаете?

Да зачем же вы так — вы же задушите друг друга в дверях... Эх, вы!..

Кто принес билет? Почему мне никто не отвечает? Сволочи, гады, братцы — кто же мне ответит? Ведь я для вас, подонки...

Мать твою, иже еси на небесех, — это Ты принес билет?!

---

---

## 12.

---

---

На днях мне исполнилось тридцать восемь лет. В честь моего дня рождения устроили вечер. Было очень весело: пели, читали стихи, ставили шарады, играли в «испорченный телефон». Один из собравшихся так смеялся, что его пришлось отпаивать валерьянкой.

Я снова рисую. Особенно хорошо мне удаются заголовки и лозунги. Я делаю их акварелью. У меня много красок и карандашей, потому что всем нравится, как я рисую, и все мне дарят. На день рождения мне подарили коробку цветных карандашей. Иван Александрович подарил. Он был в этот день очень занят, но все-таки зашел поздравить меня с днем рождения.

У нас есть телевизор. Недавно мы смотрели кинофильм в двух сериях — «Русское чудо». Один из смотревших так смеялся, что его пришлось отпаивать валерьянкой.

Я теперь чувствую себя хорошо. Только голова очень болит. И все время спать хочется.

На днях ко мне приходила Ирина. Она принесла мне цветы. Она была очень грустная и все время плакала. А потом пришел Иван Александрович и успокоил ее. Он очень хорошо умеет успокаивать. Он мне после сказал, что Ирина красивая.

Сейчас осень, уже холодно, но топят хорошо, и я не мерзну. Я каждый день, если нет дождя, хожу гулять. Сад замечательный,

большой, только слишком яркий: много желтого и красного, от этого болит голова.

Сегодня 28 ноября 1963 года. Зовут меня Виктор Вольский.

Я нашел одну вещь. Я привязал эту вещь изнутри к кальсонам. Там, на кальсонах, есть сзади такие тесемочки, вот к ним я и привязал эту вещь.

Иногда, если не болит голова и на улице нет дождя, мне хочется уйти куда-нибудь далеко-далеко, где не так много людей. Они все очень умные и добрые, но я так устал, так устал, что они всегда со мной. Очень хочется побыть одному.

Теперь, после моей находки, я смогу это сделать. Но я не буду торопиться. Я дождусь зимы, когда будет идти снег, или еще лучше — метель, чтоб меня не могли найти по следам. Я дождусь метельной ночи, надену халат и отопру дверь треугольным ключом, который я нашел и спрятал в кальсонах. Между прочим, этот ключ похож на те ключи, которыми отпирают железнодорожные вагоны.

Я уйду и снова буду один.

1963 г.

---

---

Вместо послесловия к прозе Николая Аржака

Анатолий Якобсон, поэт-переводчик

---

**ПИСЬМО В МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД**

---

Я — Якобсон Анатолий Александрович, поэт-переводчик, член профессионального комитета литераторов при изд. "Советский писатель", намерен был претендовать на роль индивидуального защитника по делу Ю.М.Даниэля, судимого сейчас совместно с Синявским. Однако Ю.Даниэль и его адвокат сочли целесообразным вызвать меня в качестве свидетеля и сделали соответствующее заявление суду. Я считаю своим долгом предать широкой гласности то, что готовился заявить на суде в качестве индивидуального защитника.

Я знаю Даниэля 10 лет. Знаю хорошо, близко, — он мой друг. Знаю и с профессиональной стороны — мы состоим в одном литературном объединении. Юлий Даниэль — человек честный, искренний, свободно мыслящий, душевно щедрый. Он бескорыстен, принципиален, достоин того звания, которое носил во время войны, — звания солдата победившей фашизм страны. Даниэль всегда любил свою родину, свой народ, будучи при этом убежденным интернационалистом. Он всегда считал, что любить свою родину — это значит, прежде всего, не закрывать глаза на творящееся в ней зло, а наоборот — активно бороться со злом. Борьба писателя — это свободное печатное слово. Я до последнего времени не читал опубликованных за границей произведений Даниэля. Но я не мог поверить, зная его убеждения, что эти произведения являются антинародными, клеветническими, враждебными нашему обществу. Я не мог поверить соответствующим газетным статьям. Даниэль не профессиональный политик, а литератор, но его суждения в области гражданской всегда соответствовали духу решений XX и XXII съездов КПСС.

Ввиду предстоящего суда я нашел способ прочесть произведения Даниэля. В ст. 70 Уголовного кодекса РСФСР, по которой обвиняют Синявского и Даниэля, говорится о том, что антисоветская литература — это литература, содержащая призывы к подрыву или ослаблению Советской власти. И я убедился, прочитав произведения Даниэля, что они не являются антисоветскими. Это прежде всего художественные произведения, не заключающие в себе никаких призывов, положений, выводов, никакой политической программы — ни антисоветской, ни иной. Но эти произведения имеют гражданскую тенденцию, направленную против сталинизма, против его пережитков и рецидивов в нашем обществе. Эта тенденция связана с сатирическими приемами повествования — с гротеском, с гиперболой, с фантастическим претворением жизненного материала. То, что есть хорошего в нашей советской действ-

вительности, не осмеяно, не оскорблено в произведениях Даниэля. Там, где хорошее не выступает объектом изображения — там не вина Даниэля, а закон избранного им — сатирического — жанра (Гоголь, Щедрин, в наше время Ильф и Петров, Зощенко и др.). Предметом сатирического изображения является дурное. И это дурное представлено в произведениях Даниэля намеренно-преображенным, в гротескном виде — в полном соответствии с природой избранного автором литературного жанра. Но автор, бичуя зло, сам не впадает в озлобленность, не предается ни цинизму, ни даже политическому скепсису, он неизменно верит в торжество человечности, справедливости, добра. В повести "Говорит Москва" за сатирическими негативными образами явственно выступает положительная гуманистическая идея, составляющая главный смысл произведения. Чей-то злой произвол планирует проведение в стране "дня открытых убийств" (вспомним террор 37—38 годов и "открытые" процессы тех лет; вспомним беззакония послевоенного времени: "ленинградское дело", "дело врачей" и проч.). Как должен относиться сознательный советский человек к такого рода "мероприятиям"? Точно так, как герой повести, который идет на улицу, в толпу и примером бесстрашия, личной свободы побуждает людей оставаться людьми вопреки безумному указанию. Таково настроение большинства, таков, в конечном итоге, дух всего народа, и потому, как указано в повести, чудовищное дело срывается.

Индивидуальная и коллективная ответственность людей за все то, что совершается в их государстве, — вот тема повести "Говорит Москва". И показано, что эта ответственность уже осуществляется в нашем обществе.

Охарактеризую кратко гражданскую тенденцию остальных произведений Даниэля, опубликованных за рубежом. Подчеркиваю: речь идет только о социально-критических тенденциях этих произведений, а не обо всем их содержании, которое значительно богаче этих тенденций.

Рассказ "Руки". Здесь осуждены перегибы красного террора первых лет советской власти. Эти перегибы достаточно сурово осудил в свое время сам Ленин. Вспомним, какой разнос устроил он Дзержинскому и Орджоникидзе за насилие, учиненные ими в Грузии в 1922 году.

Повесть "Искушение". Здесь изобличена атмосфера предательства, доносов, клеветы, которая была порождена культом личности Сталина. Показано, как в период, когда воздух страны уже очистился от этой скверны, один честный человек был нравственно задушен ядовитыми испарениями прошлого, вдруг поднявшимися вокруг него в силу трагического недоразумения.

Рассказ "Человек из МИНАПа". Произведение вообще

лишено какой бы то ни было серьезной тенденции. Игривый, озорной, в значительной мере легкомысленный сюжет. Что здесь страшного? Уж не то ли, что имя и внешний облик К.Маркса "без должного уважения" преподносится в не совсем почтенной ситуации, в воображении сатирически осмеянного героя? Примерно то же самое мы находим в "Бане" у Маяковского. Сам К.Маркс как человек, не лишенный чувства юмора, только посмеялся бы, прочитав этот рассказ. Единственный грех этого произведения, как и всех прочих, — в том, что оно опубликовано за границей.

Но, может быть, издание своих произведений за рубежом, не являясь преступлением, является все же чем-то некорректным, предвзятым? Ни с какой честной точки зрения, если, конечно, сами произведения честны! Разумеется, было бы лучше, если бы Даниэль имел возможность опубликовать свои произведения в нашей стране, но, к сожалению, это было невозможным ввиду не до конца изжившего себя страха — нашего страха перед открытым, резким изобличением наших недостатков. Эта невозможность сама толкнула писателя на то, чтобы распространять свои произведения "любимыми средствами".

Можно ли вменить в вину писателю, как это делается в данном случае, что часть зарубежной прессы использует его произведения для антисоветской пропаганды? А разве не были в тех же целях использованы и материалы XX и XXII съездов КПСС, т.е. живые факты, несущие в себе несравненно большую силу обличения, чем художественное произведение? А произведения советских писателей, опубликованные в нашей стране, — разве их не использовала в своих целях антисоветская пропаганда? Не все то, что хвалят в нашей жизни за границей, плохо для нас (например, XX съезд); и не все то, что ругают за границей, хорошо для нас (например, имевшее место гонение на генетику и кибернетику или травля так называемых космополитов).

Произведения искусства следует рассматривать не с точки зрения их возможного субъективного истолкования, кем-то, а с точки зрения их действительного объективного содержания. Между тем ни в одном из произведений Даниэля нет антисоветского содержания. В нашей прессе имели место попытки доказать антисоветский характер произведений Даниэля с помощью недобросовестных средств. Отдельные цитаты, препарированные определенным образом, — цитаты, принадлежащие персонажам произведений Даниэля, были выданы за авторский текст. Таким образом можно любого писателя обвинить в чем угодно. Можно утверждать, что Пушкин — злодей (цитируя Сальери), что Салтыков-Щедрин — садист и ханжа (цитируя Иудушку Головлева), что Чехов — обскурант и дегенерат (цитируя "Письмо к ученому соседу"), что Шолохов — отъяв-

ленный контрреволюционер (цитируя выступления многочисленных персонажей "Тихого Дона", в том числе любимого автором героя Григория Мелехова).

Я тоже приведу отдельные цитаты, но лишь те, которые по смыслу повествования действительно выражают точку зрения автора.

Из повести "Искушение".

"Нет, я не относился к войне так, как этот Фриц или Ганс. Я должен был воевать не только потому, что меня призвали. Эта война была моей войной".

"О чем мы говорили? А, ругали Россию. А мы ее всегда ругали, всю дорогу, со времен Владимира Красное Солнышко. Газетчики пишут, что кто, мол, ведет подобные разговорчики, тот кусает руку, которая его кормит. Идиоты. Рука-то моя".

Из повести "Говорит Москва".

— "А ты обиделся за советскую власть? Ты считаешь, что за нее следует заступаться?"

— За настоящую советскую — конечно, следует".

"Мой отец в гражданскую комиссарил, и, я думаю, он знал, за что воевал".

"Я их (письма отца) прочел, и, по-моему, люди нашего поколения не имеют права болтать о тех временах".

"Я иду по улице, по тихому, уютному бульвару, нащупываю в руках тетрадь и думаю о том, что написал. Я думаю, что написанное мной могло бы быть написано любым другим человеком моего поколения, моей судьбы, так же, как я, любящим эту проклятую, эту прекрасную страну. Я судил о ней и ее людях и о себе самом лучше и хуже, чем следовало бы судить. Но кто упрекнет меня за это?"

Я иду и говорю себе: "Это твой мир, твоя жизнь, и ты — клетка, частица ее. Ты не должен позволять запугать себя. Ты должен сам за себя отвечать, и этим — ты в ответе за других". И негромким гулом неосознанного согласия, удивленного одобрения отвечают мне бесконечные улицы и площади, набережные и деревья, дремлющие пароходы домов, гигантским караваном плывущие в неизвестность.

Это — говорит Москва".

Разве не следует отсюда, что автор — истинный патриот своей родины? И я хочу напомнить суду слова другого патриота, П.Я. Чаадаева: "Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами. Я нахожу, что человек может быть полезен своей стране только в том случае, если ясно видит ее; я думаю, что время слепых влюбленностей прошло. Я полагаю, что мы пришли после других, чтобы не впадать в их ошибки, в их заблуждения и суеверия".

Я призываю суд прислушаться к голосу совести, к голосу справедливости и голосам зарубежных друзей Советского

Союза, выступающих сейчас в защиту Синявского и Даниэля.

Я призываю суд подумать о международном престиже нашей страны.

Я призываю суд оправдать Синявского и Даниэля.

9.2.66 г.

А.Якобсон\*

---

\*Подобно А.Якобсону, письма-заявления в Московский городской суд и другие инстанции направили в первых числах февраля экономист В.Меникер, искусствовед И.Голомшток, художник-реставратор И.Кишилов. Ни один из этих документов не был зачитан в суде (впрочем, как и отзывы официальных рецензентов: писателей Агнии Барто, Сергея Антонова и др.), не был приобщен к делу. Подобно А.Якобсону, их авторы не были вызваны в качестве свидетелей, несмотря на собственные ходатайства и ходатайства защиты (в вызове в суд отказано также физики А.Воронелю и филологу В.Иванову, предлагавшему свои услуги в качестве *общественного защитника*; письмо последнего см. на с. 460). Мы выражаем сердечную благодарность семье Чуковских за предоставленную нам возможность познакомиться с письмом К.И. в Московский городской суд "Переводчик Даниэль"; это письмо мы не воспроизводим здесь как носящее сугубо специальный, литературоведческий характер. К сожалению, нам пока не удалось обнаружить письмо-отзыв К.Г.Паустовского.



---

---

АБРАМ ТЕРЦ

---

---

---

...Снова грохнула музыка, зажегся ослепительный свет, и две сестры-акробатки, сильные, как медведи, изобразили трюк под названием «акробатический танец». Они ездили друг на друге в стоячем и в перевернутом виде, вдавливая красные каблуки в свои мясистые плечи, и руками, толщиной в ногу, и ногами, толщиной в туловище, выделявали всевозможные редкостные упражнения. От их чудовищно распахнутых тел шел пар.

Потом на арену выпрыгнуло целое семейство жонглеров в составе мужа с женою и четырех детенышей. Они устроили в воздухе жуткую-циркулящую, а папаша, их воспитавший, самый главный жонглер, скосил глаза к переносью и воткнул в рот палку с никелированным диском, а на нее поставил бутылку с этикеткой от жигулевского пива, а на бутылку — стакан и сверху того: зонтик — во-первых, блюдо — во-вторых, а на блюде — два графина с настоящей водою — в-третьих. Наверное, с полминуты держал он все это в зубах и ничего не уронил.

Но всех превзошел артист, именуемый Манипулятор, интеллигентный такой господинчик заграничной наружности. Был он жгучий брюнет и обладал столь гладким пробором, точно выгравировали ему плешь по линейке электрической бритвой. А пониже — усы и все что полагается: галстучек, лаковые полуботинки.

Подходит с невинным видом к одной даме и вытаскивает у нее из-под шляпки настоящую белую мышь. Потом — вторую, третью и так — девять штук. Дама — в обморок. Говорит: «Ах, ах, я больше не в силах!» и требует для успокоения — воды.

Тогда он подбегает к ее кавалеру справа и хватает его за нос — осторожно, двумя пальчиками, как парикмахер. А незанятой левой рукою достает из кармана рюмку и поднимает кверху, на свет, чтобы все могли убедиться в неподдельной ее пустоте. Потом резким жестом сжимает нос кавалеру, и оттуда льется в рюмку золотистый напиток — газированный, с сиропом. И ничего не разбрызгав, подносит учтиво даме, которая пьет с наслаждением и говорит «мерси», и все вокруг смеются и хлопают от восторга в ладоши.

Как только публика стихла, Манипулятор, воротясь на арену, спросил грубым голосом у того самого, кому выпустил воду:

— Отвечайте, гражданин, побыстрее, который час на ваших часах?

Тот хватя себя за жилетку, а там ничего нет, а Манипулятор слегка поднапрягся и выплюнул ему на арену его золотые часики. А потом тем же порядком вернул разным гражданам — кому бумажник, кому портсигар, а кому, так себе, мелочь какую-нибудь: перочинный ножик, расческу — все что сумел вынуть из них за время представления. У одного старика он даже похитил сберкнижку и деликатный дамский предмет — из внутреннего потайного кармана. И все вернул по назначению под общие аплодисменты: такой был артист!

Когда все кончилось и публика начала расходиться, Косте стало обидно, что он ничего не умеет: ни ходить колесом по орбите, ни кататься на велбсипеде раком — руки чтоб на педалях, а ногами чтоб держаться за руль и управлять в разные стороны. Он даже не смог бы, наверное, без предварительной практики так подбросить кепку, чтобы она сделала салто и сама села на череп. Единственное, что Костя умел, — это сунуть в рот папироску задом наперед и не обжечься, но спокойно выпускать дым из отверстия, как паровоз или же пароход из трубы.

Но эту нетрудную штуку знал теперь любой школьник, а Косте шел двадцать шестой год и ему все надоело: целыми днями лазай по стенам, как сумасшедший, да вывинчивай перегоревшие пробки, не имея в жизни других удовольствий кроме кинофильмов и девочек.

Он встал и двинулся к выходу той решительной, упругой походкой, какую ходят во всем мире лишь фокусники и акробаты.

Случай представился сразу, и это был мужчина что надо: в шубе на меху, расстегнутой по всему фасаду. Запрудив центральную дверь широченной своей фигурой, он говорил кому-то — неизвестно кому:

— Настоящую акробатку полагается видеть раздетой. И не в цирке, а на квартире, на скатерти, посреди ананасов...

Его глаза, устремленные вдаль, голубые, с зелеными искрами, не обращали на Костю ни малейшего внимания. А тот вдруг возьми да застрянь в самом ответственном месте — в дверях, на многолюдном потоке, как раз напротив. Они толкали друг друга и в результате так перепутались, что трудно было бы отличить, где тут Костин клиент, а где Костя. А шуба еще энергичнее распахнула свою пушистую внутренность, и грудастый, двубортный пиджак сам собою раскрылся, и все это произошло — как фокус, без человеческого вмешательства...

Дыханье мое замирает, а пульс переселяется в пальцы. Они тихонечко тикают в такт с огибаемым сердцем, которое ходит в чужой груди, возле внутреннего кармана, и методично вспрыгивает ко мне на ладонь, не подозревая подмены, не гадаясь о моем волнующем, потустороннем присутствии. И вот одним взмахом руки я делаю чудо: толстая пачка денег перелетает, как птица, по воздуху и располагается у меня под

рубашкой. «Деньги ваши — стали наши», — как поется в песне, и в этом сказочном превращении — весь фокус.

Они согреты твоим теплом, дорогой товарищ, и пахнут нежно и духовито, как девичья шея. А ты, ничего не имея, все еще ими гордишься, и топыришь пустую грудь, рассказывая про акробатку, и смеешься, предвкушая, но ты смеешься и предвкушаешь напрасно. Потому что я вместо тебя поеду на такси «Победа» в ресторан «Киев», и скушаю твои сардинки, и выпью все коньяки, и буду целовать вместо тебя твоих женщин — на твой собственный счет, но в полное мое удовольствие. Я не стану скупиться и, коли встретимся мы в ресторане, я напою тебя допьяна и накормлю до отвала — той самой пищей, которую ты не сумел вовремя и самостоятельно съесть. И ты еще будешь мне благодарен за это, смею тебя уверить. Ты подумаешь, что я писатель какой-нибудь, артист, заслуженный мастер спорта. А я есть не кто иной, как фокусник-манипулятор. Будем знакомы. Привет!

На улице, в темноте, Константин поднял воротник и только тогда привел в движение лицевую мускулатуру. Она с трудом подчинялась ему и была будто резиновая: ударь кулаком — отсканет. Но Константин манипулировал ртом по направлению к ушам и обратно, пока не вернул всему лицу первоначальную мягкость. Тогда он закурил папироску, сунул ее горящим концом в рот и пошел, пуская дым из трубы, к ближайшей автомобильной стоянке.

С тех пор у Константина Петровича началась новая жизнь. Заходит он между делом в ресторан «Киев», и едва переступает порог, уже бегут — из глубины — напомаженные официанты, восклицая отрывистыми голосами, наподобие ружейных выстрелов:

— Жалст! Жалст! Жалст!

У каждого над головой поднос, который непрерывно вращается, а там разные вина — красное и белое, или есть еще такое: «Розовый мускат». Одним словом — вся гамма к вашим, Константин Петрович, услугам.

— Нет, — говорит Константин Петрович усталым голосом и отстраняет их вежливо ручкой, — я решительно воздерживаюсь... Плохо себя чувствую и ничего мне в жизни не надо. А давайте мне водки — белая головка — 275 грамм и микроскопический бутербродик из атлантической сельди. Только хлеба черного в бутербродик тот не кладите, а кладите батон с изюмом, да чтобы изюм пожирнее.

И сейчас же официанты — в количестве трех человек — откупоривают цветные бутылки и щелкают салфетками в воздухе, полируя бокалы и рюмки до полного зеркального блеска и обмахивая попутно пылинки с узконосых своих штиблет.

А как выпьешь для порядка 275 грамм, все чувства в твоей душе обостряются до крайности. Ты явственно различаешь и склизлый скрежет ножей, от которого ноют зубы и передергивается спинномозговая спираль, и колокольный звон стекла, пригубленного на разных уровнях, и монотонный мужской припев: «Будем здоровы! С приездом! За встречу! С приездом!» — и вопросительное хохотание женщин, которые чего-то ждут, беспрестанно вертя головами, и охорашиваются нервно, как перед свадьбой.

В мимике официантов проглядывает обезьянья сноровка. Они прыгают между кадками с пальмами, растущими повсюду, как в Африке, и перекидываются жестяными судками с дымящимися борщами, или, изогнувшись над столиком, точно над бильярдом, разливают все что хотите в стаканы — падающим, коротким движением.

Когда вся картина подгулявшего ресторана открывалась внезапно и выпукло взору Константина Петровича, он ощущал в глубине души — где-то в сердцевине хребта — сладкий, пронзительный, шевелящий волосы трепет. Будто идет он по проволоке на высоте четыреста метров и, хотя стены качаются, грозя обвалом, он идет упругим и легким, соразмеренным шагом, ровно-ровно по прямой. А публика смотрит во все глаза, затаив дыхание, и надеется на тебя, как на Бога: — Костя, не выдай! Константин Петрович, не подкачай, покажи им, где раки зимуют!

И ты должен, непременно должен что-то им показать: сальто-мортале какое-нибудь, или удивительный фокус, или просто найти и высказать какое-то слово — единственное в жизни, — после которого весь мир встанет вверх дном и перейдет во мгновение ока в сверхъестественное состояние. Сердце колотится в груди, как птичка в клетке, душа разрывается на части от любви и жалости, а ты подливаешь и подливаешь ей вина, чтобы продлить терзание, пока, наконец, не поднимешься в полный рост с запакощенного паркета и не гаркнешь на всю Европу:

— Ах, ты! Мать твою так — распротак — так!

После чего Константин Петрович имели привычку стихать, а стихнув, приглашали за столик всякого, кто пожелает, — для бесплатного угощения и душевной беседы. Чаще других к нему присаживался один печальный мужчина, немолодой и скромно одетый, между прочим еврейской нации, хотя алкоголик, сохранявший на исхудалой груди в знак высшего образования благородную бабочку синего цвета. Звали его Соломон, а помещался он в темном углу, под пальмой, терпеливо поджидая вакансии, ибо деньгами не располагал и пускали его посидеть в ресторане главным образом за культурную внешность.

— Так вот, Соломон Моисеевич, как вы человек образованный, а я четвертого класса полностью не закончил, от-

вечайте без промедлений: в чем вся суть? И чтобы в едином слове эту самую суть — заключить...

Соломон морщил брови, припоминая все науки, которым он обучался в различных учебных заведениях.

— Суть явления... явления... представление... — говорил он с запинкой и не мог больше вспомнить ни шиша.

Тогда Константин Петрович, чтобы разохотить к беседе, подносил ему бокальчик, но не более как 150 грамм, а то потеряет Соломон Моисеевич свой человеческий облик и не сможет составить компании для сердечного разговора.

— Ну, ладно, ладно — выпил и потерпи! Поговори со мною как человек с человеком. Отвечай: почему я жулик и пьяница, а не стыдно мне в жизни несколько? Нет, ты скажи, зачем русский человек всегда украсть норовит? Украсть или выпить? Откуда такая потребность души у русского человека?..

На это Соломон Моисеевич знал научный ответ и, застенчиво кусая огурчик, заходил в изыскании первопричин аж до татарского ига, откуда повелось на русской земле и кабаки и тюрьма: все благодаря культурной отсталости.

— Вот в Англии вы, Константин Петрович, были бы изобретателем... Или депутатом парламента... министром без портфеля...

Его кадык, непропорционально развитый, сновал по отощавшему горлу, а глаза бросали на потолок тоскливые, чужестранные взгляды. Но проникнуть в самый корень жизни он все равно не умел. Да разве может Соломон Моисеевич понять русскую душу?! И хотя был он алкоголиком по собственным национальным причинам, какую Англию или Бельгию мог предложить он взамен и какую такую свободу печати? — тоже неизвестно...

— А я возьму и обворую твое британское казначейство! И все пропью, проиграю до нитки! Душа-то, душа для чего мне дана?! Я тебя про душу пытаю, иудина твоя порода, а ты мне взамен души хер собачачий подносишь!..

Но никогда не бил его Константин Петрович, а наоборот — угощал дополнительно, во второй раз и в третий, и все за то, что обладал Соломон способностями к разговору. Другой нальется на твои деньги, да тебе же норовит свою биографию рассказать по порядку. Ты и словечка не вставишь. А этот, когда надо, и поспорит, и в раздумье кинется, а когда — сидит и сочувственно помалкивает.

Бывало, расстроится Константин Петрович и — в слезы, и так уж плачет, так рыдает, никак унять не хочет. И все говорит про свою несчастную жизнь, и вспоминает про свою старую маму, которая — в трех шагах отсюда — на железной кровати лежит и с голоду помирает, а он, подлец, вместо того, чтобы к ней бежать и средства на излечение немедля маме принести, торчит здесь и все денежки, до последней копеечки, с последней шпаной тропивает.

Слушает, слушает его Соломон Моисеевич, да только молча вздохнет. И хотя знал он достоверно, что нет никакой мамы у Константина Петровича и все это одна игра ума, изобретенная для усугубления грусти, никогда не разубеждал он его, потому что тоже, значит, был человеком и понимал, что всякому человеку тоже хочется себя подлецом обозвать. А когда принимался Константин Петрович от грустных переживаний икать и биться головкой об стол, и об стул, и обо что попало, брал он тогда его нежно за плечико и говорил:

— Не кручиньтесь, Костя. Давайте-ка лучше выпьем. И давайте поскорей перейдем к менее печальным предметам. Например, мы давно не говорили о Боге. Как вы считаете — Бог есть?

От этой Соломоновой шутки переставал Костя плакать и начинал постепенно смеяться, понимая тонкий намек, что нет на свете ни богов, ни чертей, хотя было бы очень весело, если бы они были.

Ему случалось заглядывать в церковь. Любил он всякие чудеса, нарисованные на потолке и на стенах в акробатических видах. Особенно ему нравилось, когда один фокусник нарядился покойником, а потом выскочил из гроба и всех удивил. А другой — между прочим, той же нации, что Соломон Моисеевич, — предательски донес на него, но фокусника не поймали, а поймали того самого иуду-предателя и живьем прибили гвоздями к церковному кресту...

Слушая эти истории, Соломон Моисеевич радовался и все повторял с восхищением, что церковь происходит от цирка и что русскому народу всего главное — фокусы и чудеса.

Но больше церкви любил Константин Петрович ходить в Сандуновские бани, в семейные номера. Туда одних женатых пускают и в доказательство требуют паспорт, а у него по счастливой случайности там приятель имелся из обслуживающего персонала — инвалид Отечественной войны, Лешкой звать, — и так все Лешка устраивал, что мойся хоть с генеральшей, только чтобы без драки.

Благодаря такому знакомству мылся Константин Петрович по холостяцкому делу с Тамарой, и такие они номера в этих номерах вытворяли, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Кому ни рассказывай — никто не верит. Хотя всякий завидует.

— Поиграем, что ли? — спрашивал он Тамару, запирая дверь на защелку.

— Поиграем, — говорила Тамара обыкновенным голосом, а спинкой так и вильнет.

И скинув одежду — до самых последних кальсон включительно, — начинали они показывать разные редкие штуки. Константин Петрович вешал себе интересным способом шайку промежду ног и барабил в нее, как в барабан, а Тамара

плясала народные танцы. Малиновая, запыхавшаяся, покрытая серебряной пеной, она скакала по бане, в которой было жарко, как в Африке, а он, гремя железом, гонялся за нею, и были они похожи на чертей в адской парильне, а также на краснокожих индейцев, которые действительно существуют и ходят нагишом, никого не стесняясь.

Когда же Тамаре наскучивало попусту красоваться, Константин Петрович изобретал другие развлечения. То холодной водицей окатит. То взамен поцелуя накормит Тамару мылом, а с другого конца для потехи употребит указательный палец или химический карандашик воткнет в виде сюрприза.

Все позволяла ему любящая Тамара. Лишь одного не велела делать: это смеяться не к месту — когда играющие входили в азарт и принимались функционировать друг с другом со страшной силой.

В эти минуты Константина Петровича разбирал смех. Но Тамара, кусая губу, грозила розовыми глазами. Ее лицо, горячее, темное, казалось ожесточенным.

— Молчи! — шептала она. — Молчи! не смей смеяться!

Потом, отвалившись набок, она вновь бывала доступной и первой хохотала надо всем, что произошло. Перед тем и после того — смейся сколько влезет, а во время этого — не моги.

— Это — грех, большой грех! — твердила убежденно Тамара. Объяснить же свои капризы не могла.

— Да! да! Это — так! — кричал Соломон Моисеевич, систематически хмелевший по ходу рассказа. К концу любовных затей Константина Петровича он бывал порядочно пьян.

— Грех! Не переступи! — кричал он, воодушевляясь. — В игре нет преград! Не убий! Не убий! Бог! Дьявол! «Смейся, паяц, над разбитой любовью...»

Точно сорвавшись с цепи, он говорил бессмысленно и много о загадочном русском характере — теребя исполинский кадык, о загадочной женской натуре — ужасно волнуясь. Всем было известно, что три года назад от Соломона убежала жена — блудливая русская баба, предварительно обокрав его, а потом опозорив с парикмахером Геннадием шестнадцати лет. Он знал и боялся женщин, имея на то основания. Но что он мог понимать в русском национальном характере, этот Соломон Моисеевич?!

У Лешки, инвалида войны, была ценная поговорка: «Минер ошибается только раз». Сам он, Лешка, испытал на опыте ее народную меткость: фашистская мина под Берлином оторвала ему правую руку.

Но допущенная ошибка и невозвратимая эта утрата не научили его ничему хорошему, и вот однажды безрукий Лешка говорит Косте:

— Знаешь ли ты, Костя, или нет, что есть у меня персо-



нальная квартирка из трех комнат с балконом и со всеми удобствами? Хозяин третьего дня отбыл в командировку в город Таллин, а хозяйка проживает на даче со своим сыном Вовочкой, который от рождения страдает рахитом и потому должен регулярно дышать свежим воздухом. А няня Вовочкина, приспособленная для охраны имущества, как осталась одна, до рассвета гуляет с ребятами из трамвайного парка, и почему бы ей не пойти к трамваям в ночную смену сегодня, как ты считаешь?

— Я прекрасно понимаю вашу внешнюю политику, — говорит Костя, — но только вы меня трактуете очень уж вульгарно. Я имею дело с живыми существами, а залезать в закрытые окна неизвестно на каком этаже — не в моих правилах. И вообще, стоящее ли это занятие — твоя квартирка с балконом? Принес бы ты мне лучше жигулевского пива в номер.

— Перестань ломаться, Костя, и не строй из себя артиста, — говорит ему Лешка раздраженным тоном. — И не лапай при мне Тамару сразу двумя руками. Это становится даже неприличным. Надевай штаны и давай думать. Минер ошибается только один раз.

Так они говорили до позднего вечера, а когда закрылись Сандуновские бани, взяли они Соломона Моисеевича, чтобы стоял на шухере, и заграничный браунинг на всякий пожарный случай, унесенный Лешкой с поля сражения во время Великой Отечественной войны, и пошли, не мешкая, к тому месту, где была припасена для них квартирка со всеми удобствами.

Она стоит на втором этаже, трехкомнатная квартирка, набитая доверху дорогим барахлом — габардином да трикотажем, и двумя костюмчиками иностранной работы, и одним кожаным пальто шоколадного цвета по имени «реглан», — стоит и смеется. Все двери, окошки и даже форточки в ней заперты на двойные запоры, и никакой дырки или хотя бы щелки в наличии не имеется. Возникает естественный вопрос: как туда проникнуть?

Вы, конечно, удивляетесь безвыходной этой картине, и рвете на себе волосы, и готовы сдуру банальным путем действовать через окно с невероятным шумом и треском? Вот и нет, не угадали, и вам в жизни не разрешить эту задачу.

Но есть на свете, говоря по секрету, один инструмент, по-русски — «отмычка». С нею вам не страшна любая дверь. А для всяких замков — коллекция ключей на все уровни жизни.

А тишина такая, братцы, кругом, что плакать хочется.

— Задерни шторы, а то снаружи видать, — приказал Константин однорукому Лешке и поиграл револьвером.

— Регланчик достанется мне и тросточка тоже мне!

Ему понравился набалдашник у трости, разделенный на две половинки — по образцу филейных частей, но в меньшем масштабе. Ходишь с тросточкой по панели и непрерывно на-

балдашник ощупываешь, и можно девушкам показывать — для смеху и смущения — при первом знакомстве. Такую вещь обязательно надо иметь при себе — и в доме, и на прогулке.

Вдруг чувствует Костя: в соседней комнате кто-то неожиданно спит. Он — туда и видит в постели — кого бы вы думали? хозяйку? — нет! хозяина? — тоже нет! спящую няньку в одной сорочке? — это было бы хорошо, но все равно — нет! и еще раз нет! и вы опять просчитались! — он видит неизвестного вам господинчика с приятными усиками, но без галстука и без пробора. Впрочем, пробор в состоянии тряпки висел отдельно на спинке стула, а рядом покоились в полном порядке лаковые полуботинки, а больше здесь не было ни единой души.

Самый настоящий Манипулятор из настоящего цирка храпел во все горло на хозяйской кровати или делал вид, что храпит, а сам приготовлялся к прыжку.

Как впоследствии оказалось, Манипулятор — на свою лысую голову — сбежал накануне к другу детства, чтобы отдохнуть от семьи, но вместо этого угодил под ночную манипуляцию Кости — к их взаимному неудовольствию и трагическому концу.

Но ничего этого Костя не знал в тот кульминационный момент и был очень разочарован внезапным появлением гостя, о чьей магической ловкости он имел представление, посещая государственный цирк каждый воскресный день. Этот чертов фокусник мог бы голыми руками кого хотите обездолить и что хотите украсть, и Костя наставил огнестрельное оружие на своего наставника, чтобы тот не вздумал, если проснется, выкинуть какой-нибудь трюк.

— Шуруй потише в комод, — приказал он шепотом Лешке. — Да помни: тросточку с изображением задницы я забираю себе.

И от этих ли слов или от чего другого Манипулятор открыл глаза и сделал их вот такими, и не успел Костя предупредить его — «Спокойно! а то застрелю!», как он закричал в полный голос, звучащий очень противно:

— Караул! Убивают!

Мужчины в большинстве случаев под наведенным на них револьвером поднимают руки кверху и с зачарованным видом молчат. А женщины — вопреки рассудку — визжат и барахтаются и, бывает, кусаются, но им тоже можно по-свойски втолковать ситуацию, и они ради продолжения жизни будут плакать в подушку.

Но на сей раз Косте встретился сущий злодей, не обращавший никакого внимания на дуло заграничного браунинга. С глазами на обе щеки, он сполз на пол с кровати и, как был, в сплошном опупении, в неприглядном своем естестве, сиганул к двери балкона. Стекло разлетелось вдребезги, и на всю

улицу, над умиротворенными крышами, прокатилось многократное эхо:

— Караул! Караул! Убивают!

И чтобы прекратить безобразный и действующий на нервы скандал, Костя, почти плача, выстрелил ему в спину между малокровными лопатками, и в том была его — Кости — роковая ошибка, а минер, как известно, товарищи, ошибается только раз. Потому что, если по существу разобраться, нужно было бы не стрелять, не испускать опасные звуки, а дать Манипулятору в голое темя каким-нибудь веским предметом, например, рукояткой и, оглушив крикуна, без лишнего шума продолжить осмотр помещения.

А Костя, вместо того чтобы решительно действовать, надавил слегка пальчиком спусковую пружину, и немецкая злая пружина сама собою сработала — только и всего. Только и всего, но сразу Манипулятор заметно притих. Он больше не кричал, он булькал губами и дудел, и клокотал в горловину, изображая с большой тщательностью протяжные хриплые трели — сложное искусство полоскания рта на высоких и низких регистрах.

Спервоначалу казалось, что, покривлявшись для форсу, он сядет на полу и отхаркнется, и заявит во всеуслышание, что обманул их ради испуга. Но, видно, этот артист давал гастрологи навынос и, вдохновленный выстрелом Кости, разыгрывал коронную роль, превращаясь чудесным образом в мертвого человека, сознающего свое превосходство над оставшимися в живых. Его лицо удалялось с плавностью парусной лодки, приобретая природную гордость камня и отвердевшей воды. Он умер незаметно, даже не подмигнув на прощание и оставляя Костю в растерянности перед содеянным фокусом, который в равной мере принадлежал им обоим.

Это зрелище было испорчено появлением Соломона Моисеевича. Он честно стоял на шухере в темном сыром подъезде, а теперь прибежал в квартиру, задыхаясь от гипертонии, чтобы сообщить товарищам о грозящей опасности со стороны разбуженных дворников и недремлющих милиционеров.

— Зачем вы устроили шум, Константин Петрович? — сказал он в глубокой тоске, ничего не видя вокруг. — Я же предупреждал: надо быть осторожным. Пистолет может выстрелить безо всякого нажатия курка — от обычного колебания воздуха...

Костя не стал спорить... В дверях два дюжих дворника крутили за спину Лешке единственную левую руку. Лешка отбивался ногами и говорил:

— Пустите, гады!

Понимая, что сопротивляться бесцельно, Костя поднял руки, но все же не мог отказаться от маленького удовольствия: все заряды, сидевшие в браунинге, он пульнул в потолок и тем

оставил по себе веселую, добрую память. Милиционеры попадали на пол, а потом кинулись к Косте и скоренько его разоружили. Так была загублена в расцвете красоты и здоровья молодая жизнь Константина Петровича.

Правда, перед грустным финалом он имел хороший парад при большом стечении публики, на суде. Прокурор ему попался строгий, как полагается, и требовал для Константина Петровича высшей меры наказания через настоящий расстрел. А защитник, тоже не лыком шитый, всячески упирал на смягчающее слабоеумие подсудимого. Все взгляды мужчин и женщин были прикованы к Константину Петровичу, и, стоя в центре арены, он испытал много чудных мгновений, щекотавших его ревнивое артистическое самолюбие.

Суд приговорил Константина Петровича к двадцати годам заключения с конфискацией имущества, движимого и недвижимого. Но регланчик и заветную тросточку он утратил значительно раньше и теперь, увильнув от расстрела, не слишком тужил по поводу предстоящего срока.

А Лешка и Соломон Моисеевич получили по десятке на каждого.

В строю таких же, как он, обиженных судьбою людей, Костя шел не спеша на работу в одно прекрасное утро. Они держали руки сложенными за спиной в знак потерянной воли и вынужденной покорности. Вокруг порхали птички, свободные обитатели края, одуряюще пахли цветы, травы, кусты. Всюду летали прозрачные и легкие одуванчики. По бокам, спотыкаясь от скуки и собственной никчемности, брел небольшой конвой, куря большие цыгарки.

Вдруг на фоне этого мирного пейзажа произошло смятение. Старик-охранник, бросив недокуренный тубик, завопил испуганным голосом:

— Стой! Стой! Застрелю!

Но Костя уже летел над бугорками и кочками, отталкиваясь от мягкой земли жилистыми ногами. Ветер преспокойно играл у него на оживленном лице. Вдалеке лиловел лес — вечное прибежище соловьев-разбойников.

Косте виднелось пространство, залитое электрическим светом с километрами растянутой проволоки под куполом всемирного цирка. И чем дальше он улетал от первоначальной точки разбега, тем радостнее и тревожнее делалось у него на душе. Им овладело чувство близкое вдохновению, когда каждая жилка играет и резвится и, резвясь, поджидает прилива той посторонней и великодушной сверхъестественной силы, которая кинет тебя на воздух в могущественном прыжке, самом высоком и самом легком в твоей легковесной жизни.

Все ближе, ближе... Вот сейчас кинет... сейчас он им покажет...

Костя прыгнул, перевернулся и, сделав долгожданное сальто, упал на землю лицом, простреленной головою вперед.

1955

---

---

## ТЫ И Я

---

---

И остался Иаков один. И боролся  
некто с ним, до появления зари...

Бытие, XXXII, 24

---

---

## 1

---

---

С самого начала эта история имела странный оттенок. Под предлогом серебряной свадьбы Граубе, Генрих Иванович, пригласил к себе на квартиру четырех сослуживцев и тебя в том числе, причем тебя в тот вечер он звал так настоятельно, как будто твое присутствие было главной заботой сборища.

— Если вы не придете, я смертельно обижусь! — сказал он с ударением и навел на тебя глаза, подобные выпуклым линзам.

Там гипнотически вздрагивали ледянистые икринки зрачков.

Понимая, что нельзя преждевременно выказывать свои подозрения, иначе он догадается и примет меры, тобою не учтенные и наверняка еще более хитростные, ты вежливо согласился. Ты даже поздравил Граубе с фиктивным его юбилеем. Для каких целей он тебя зазывал, было неизвестно, но сердце твое сжалось от дурного предчувствия.

Действительно: едва ты вошел — гости повскакали со стульев, на которых они притаились в ожидании твоего появления. Два твоих сослуживца — Лобзиков и Полянский — обрадованно перемигнулись.

— Вот и он!

— Пора начинать!!

Тем самым они обнаружили свои коварные умыслы, и хозяин, Генрих Иванович, чтобы запутать следы, был вынужден дать сигнал всем садиться за стол. Но ты и вида не показал, что придаешь значение угрожающей фразе — «Пора начинать!!» Как будто в ней, в этой фразе, оброненной подручными Граубе, не заключалось ничего подозрительного, а всего лишь невинный свадебный план: выпивать и закусывать.

— Поднимем наши рюмки! — воскликнул ты очень громко и по возможности весело. — Пусть за серебряной свадьбой воспоследует золотая! Ура!!

Все подняли рюмки и чокнулись, а ты, учтя обстановку, выплеснул водку под стол — в тот благоприятный момент,

когда они, закатив глаза, тянули жидкость в честь Генриха Ивановича Граубе и его мнимой супруги.

Да! в этой компании жена и хозяйка дома была ни тем и ни другим, а подставной фигурой. Скорее всего это был переодетый мужчина. Его тщательно вымыли, напудрили, припомладили и теперь выпускали за даму с двадцатипятилетним стажем. Именно этим фактом объяснялась брезгливая мина, с какою Генрих Иванович в знак семейного счастья поцеловал публично ее, то бишь — его — в протянутые мускулистые губы. На какие жертвы не шли эти люди, чтобы завлечь тебя в сети и погубить!

Тут было одних бутылок — рублей на 280, не считая жареных уток, грибов, осетрины. Да еще, вероятно, к чаю были куплены ореховый торт, печенье разных жанров, конфеты — на худой конец — фруктовые, по двадцать два рубля, дешевле не обошлось. А масло? сахарок? хлебные изделия?..

Итого восемь сотен по меньшей мере уплачено. Или — десять тысяч, если принять во внимание, что мужчинам, исполняющим дамские функции (у Лобзикова и Полянского жены тоже наверняка подложные), потребовались туалеты и всякие душистые специи, хотя белье на них — свое, казенное, а может — опять покупное, колоритное, в кружевах: для полного правдоподобия — если придется кокетничать...

И вся эта крупная сумма в размере пятнадцати тысяч была вынута из банков ради тебя одного. Ты отчасти гордился, подсчитывая расходы, но помнил ежеминутно, что дело твое плохо, раз уж смета утверждена и финансы отмуслены.

Гости стремительно ели, стуча ножами и вилками, и при помощи этих звуков поддерживали тайную связь на шифрованном коде, вроде азбуки Морзе. «Пора начинать! Пора начинать!» — выстукивал нетерпеливый Полянский, который с давней поры тебя невзлюбил, потому что начальство по указанию свыше повысило тебе ставку, а ему — нет, и правильно сделал.

А Лобзиков — приятель Полянского по пословице «два сапога пара и рука руку моет» — захватил в обе руки большую порцию утки и выкусил ей бок, намекая своим поступком, что аналогичный конец в иносказательном смысле постигнет и тебя. При этом известии гости, чмокнув сальными ртами, дружно ударили ножами в тарелки: «Постигнет! Постигнет!» Но Генрих Иванович Граубе, сидевший во главе заговорщиков, покачал слегка головою и пригубил задумчиво рюмку, в которой еще светилась недопитая жидкость. Тем самым давалось понять, что надо с полчаса выждать, пока ты захмелешь как следует и перестанешь все замечать.

Тогда Вера Ивановна Граубе, вернее сказать — мужчина, загримированный под Веру Ивановну, обратился к тебе со словами, звучащими очень прозрачно:

— Почему наш скромный друг вовсе ничего не кушает и совсем ничего не пьет?

Произнес он эту фразу тончайшим девичьим голосом, как если бы в самом деле был какой-нибудь женщиной. Виртуозная писклявость стоила ему трудов и противоречила конфигурации — боксера в тяжелом весе.

— Ах! — сказал он с чувством и едва не порвал связки. — Вы знаете, этих уток я приобрела на Ваганьковском рынке. Разве теперь в магазине найдешь порядочный стол?

При этом провокационном вопросе гости перестали жевать и устали на тебя в нетерпении, как ты ответишь. Одно слово сочувствия — и все было бы кончено. Ушные раковины Граубе, растопыренные будто наушники с обеих сторон головы, повисли над столом, Взгляд Генриха Ивановича, снайперский, микроскопийный, рыскал по твоему лицу. В дополнение ко всему тебе внезапно почудилось, что кто-то невидимый и всевидящий глянул в это мгновение (в окно ли, со стены или сквозь стену?) — на тебя и на всех сидящих выпрямленно перед тарелками, словно их собирались фотографировать для группового портрета.

Сознавая, что нельзя промолчать, иначе твое молчание может быть сочтено за согласие с твоей стороны, за нелегальное соучастие в имевшей место диверсии, ты посмотрел, не мигая, в скульптурную переносицу Граубе и вымолвил раздельно и четко, как только мог:

— Нет! — сказал ты. — Напрасно! Напрасно Вера Ивановна недооценивает нашу городскую и сельскую торговую сеть. Утка, курица и даже гусь, и даже редчайшая в мире птица — индейка — продается в нужном количестве во всех магазинах, сколько захочешь!

Вздых разочарования и какого-то при том облегчения пронесся по комнате. Граубе покраснел и сказал в полном расстройстве нервного аппарата:

— Судьба — индейка, жизнь — копейка...

Он пытался что-то прибавить, безусловно столь же двусмысленное. Но Лобзиков уже цыкал продырявленным зубом, и это был у них такой знак к отступлению. Гости опустили глаза — кто в блюде, кто прямо на скатерть. А тот всевидящий глаз, который наблюдал за всеми, иронически прищурился над незадачливыми своими разведчиками и растекся желтым пятном под цвет желтых обоев, будто его и не было.

Шел снег и падал мне на ресницы, и на шапку, становившуюся от этого еще пушистее, и на крыши. Стоило прищурить веки, и между ними появлялись игрушечные снежные домики. Сквозь них лучи фонарей просвечивали совсем лучезарно,

создавая какое угодно северное сияние. Оно наполняло небо, потом съезжало вниз и там понемногу оттаивало. Внезапно поле зрения расплзлось слепой распутицей, и желтая слеза, пополам с искристым снегом, вытекала из моего глаза — на нос, на фонари и на крыши, покрытые тем же снегом наподобие хижин.

— Всякий раз, когда, спохватившись, я утирал варежкой очередную слезу, природа вновь удостоверляла меня, что снег еще падает и будет падать еще долго, быть может, целую вечность. Было то блаженное состояние суток, при котором никому не ясно, который теперь час, потому что небо, опадающее снегом на землю, могло спокойно сойти за день благодаря своей светлоте, а также — за ночь по обратной причине. Скорее всего было раннее зимнее утро, затянувшееся до вечера. Хотелось лечь спать, зарывшись с головой в сугроб, и проснуться, и чтобы снег еще шел, преградив течение времени.

Погода меня восхищала. Если бы я был двенадцатилетним ребенком на манер мальчика Женьки, спешащего по улице Кирова с коньками системы «гаги» под мышкой, мне бы казалось, что дома меня поджидает елка, обтянутая золотой канителью, и книжка с картинками «Дети капитана Гранта». Такое же предвкушение тайны вызывала одна брюнетка у Николая Васильевича, бегущего под хмельком по морозцу в твердой уверенности, что она его примет в горячо натопленной комнате, как принимала дважды к обоюдному удовольствию, и почему бы — думал он — в третий раз ему вдруг сплеховать, если коньяк уже действует, а в брюнетке еще много специфической этой таинственности.

Так постепенно, сквозь сугробы и стены, в том числе сквозь спину Николая Васильевича, пронизанную электрическим светом и удаляющуюся по наклонной к брюнетке, мне представилась панорама.

Шел снег. Толстая женщина чистила зубы. Другая, тоже толстая, чистила рыбу. Третья кушала мясо. Два инженера в четыре руки играли на рояле Шопена. В родильных домах четырехста женщин одновременно рожали детей.

Умирала старуха.

Закатился гривенник под кровать. Отец, смеясь, говорил: «Ах, Коля, Коля». Николай Васильевич бежал рысцой по морозцу. Брюнетка ополаскивалась в тазу перед встречей. Шатенка надевала штаны. В пяти километрах отсюда — ее любовник, тоже почему-то Николай Васильевич, крался с чемоданом в руке по залитой кровью квартире.

Умирала старуха — не эта, иная.

Ай-я-яй, что они делали, чем занимались! Варили манную кашу. Выстрелил из ружья, не попал. Отвинчивал гайку и плакал. Женька грел щеки, зажав «гаги» под мышкой. Витрина вдребезги. Шатенка надевала штаны. Дворник сплюнул с омерзением и сказал: «Вот те на! Приехали!»



В тазу перед встречей бежал рысцой с чемоданом. Отвинчивал щеки из ружья, смеясь рожал старуху: «Вот те на! Приехали!» Умирала брюнетка. Умирал Николай Васильевич. Умирал и рождался Женька. Шатенка играла Шопена. Но другая шатенка — семнадцатая по счету — все-таки надевала штаны.

Весь смысл заключался в синхронности этих действий, каждое из которых не имело никакого смысла. Они не ведали своих соучастников. Более того, они не знали, что служат деталями в картине, которую я создавал, глядя на них. Им было невдомек, что каждый шаг их фиксируется и подлежит в любую минуту тщательному изучению.

Правда, кое-кто испытывал угрызения совести. Но чувствовать непрестанно, что я на них смотрю — в упор, не сводя глаз, проникновенно и бдительно, — этого они не умели. В своем заблуждении они поступали, может быть, очень естественно, но в высшей степени недальновидно...

Внезапно мой глаз наткнулся на препятствие и дрогнул, как от толчка. Это был человек, которого нельзя не заметить. На пустой, заснеженной улице он привлекал внимание тем, что то и дело оглядывался. Даже зайдя в помещение, окруженный вином и закуской, обласканный гостеприимным хозяином, он держал себя словно преступник, которого вот-вот схватят и уличат.

Ничто не угрожало ему, и я рассудил здраво, что в нем дает знать предчувствие моего присутствия. Должно быть, он уловил на себе мой острый взгляд и корчился под ним, не понимая, в чем тут загвоздка, приписывая окружающим людям силу, не принадлежащую им. Ему казалось, что за ним кто-то персонально следит, и это был — я, а он думал — они, и это меня рассмешило. Я сосредоточился на нем, я взял его крупным планом в световое пятно зрачка. Он был как бактерия под микроскопом, и я его рассматривал во всех жалких подробностях.

Был он рыжеволос и лицо имел очень белое, нежное, не поддающееся никакому загару, лишь кое-где окрашенное выцветшими веснушками, которые, однако, сотнями усеивали его руки, переходя на фалангах в густую темную сыпь. Одет же — щеголевато, выглажен в свежую складку, в новом галстуке и в чистых носках, что при его возрасте и холостом положении служило признаком затаенной гордости, если не женолюбия.

Впрочем, последнее предположение скоро отпало. На женщин за столом он не реагировал, принимая их за мужчин. Исключение представляла разве что библиотекарша Лида, сидевшая от него справа. Он знал ее по министерству, пользуясь в тамошней библиотеке журналами «Kunststoffe» и детективами в переводах, и мог надеяться, что она не вымышленный агент, а самая что ни на есть настоящая библиотекарша Лида.

Лида была тоже девушка с фантазиями, по молодости

и доброте никому не отказывающая. Генрих Иванович Граубе имел с ней мимолетный роман двухгодичной давности и теперь, из сострадания, пригласил на семейный праздник. Она много и молча пила, безучастная к происходящему.

Это не прошло мимо моего подопечного. Выплеснув под стол вторую рюмку вина, он склонился к Лиде и произнес, так чтобы все услышали:

— Лида, я вас люблю!

---

---

### 3

---

---

Ты никогда не был развратником. В любви ты предпочитал не кривить душою, не давать пустых обещаний и бездоказательных клятв, а скромно платил по таксе и 25, и 30, и, бывало, 50 рублей наличными и получал без греха, по взаимной договоренности, причитающееся тебе возмещение. Зато ни скандалов, ни судебных издержек ты по этой части не знал и, хотя Полянский говаривал, что жена ему обходится дешевле проститутки, примерно по 15-ти рублей за сеанс, ты полагал, что лучше в этом деле переплатить, чем мучиться после всю жизнь.

Если же случались денежные затруднения, ты мог существовать без ничего и месяц, и даже год, не заигрывая с чертежницами и министерскими машинистками. Пригласишь такую в кино, а после не оберешься хлопот за один паршивый щипок чуть повыше колена. С честной женщиной никогда не известно заранее, согласна она или нет, и эта необеспеченность всегда тревожит и душевно расслабляет. Лучше пусть сразу скажет «нет!» — и идет своей дорогой.

Поэтому, когда, наклонясь к Лиде, ты взялся вдруг за ней ухаживать, это было вызвано крайней необходимостью. Достоинство отразив первую атаку Граубе, ты чувствовал все же, что перевес остался на его стороне. Того и гляди вновь последует нападение, и нужно их опередить во что бы то ни стало.

Бывает же так: приходит в гости человек пожилой, серьезный, даже, например, академик, а выпьет рюмку-другую, и — смотришь — он уже хозяйское серебро в карманы укладывает или стишок интимного содержания вслух декламирует и, сидя под столом, не желает выходить на поверхность... К действиям подобного рода относятся у нас снисходительно. Ну, пожурят, посмеются, — что ж ты, Вася, сукин кот, скажут, честь мундира на пол роняешь и своим пьяным рылом на родную академию тень отбрасываешь? Но при всем при том похлопают по плечу, ободрят, поддержат. Потому сразу видно — свой парень, в гимназиях не обучался и в моральном смысле чист, как Иисус Христос. Такой военную тайну не разгласит и родине в решительный момент не изменит. Такой человек в один миг оказывается вне подозрений, и ему хорошо.

Подобная участь вызывала в тебе зависть. Ты домогался ее с помощью библиотекарши Лиды, единственной женщины, способной спасти твою репутацию. Обнаружив Лиду рядом, на расстоянии менее метра, ты воскликнул в нантин:

— Лида, я вас люблю!

Сыщики переглянулись растерянно, а Лида, не веря своим ушам, сидела неподвижно. Ее ключицы сиротливо торчали на декольтированной впалой груди. Острый приподнятый локоток походил на утиное крылышко, обглоданное до основания.

— Лида, я люблю вас! — повторил ты еще громче и обхватил ее вялыми пальцами чуть повыше колена.

— Не надо при всех! — сказала шепотом Лида и благодарно погладила твою руку, сжимающую ее ногу. Так началась ваша любовь — в игре со смертью, на глазах у преследователей, сбитых с толку твоим неожиданным темпераментом.

Ты немедленно организовал кипучую, шумную деятельность. Лучшие куски пищи ты выхватывал у гостей из-под носа и с возгласом «Это для вас!» подносил демонстративно Лиде, громоздя вокруг нее съедобную баррикаду. Параллельно тобой выкрикивались нежные имена и прозвища:

— Лидочка! Лидунчик! Леденчик! Лидястая лидидилька-фургончик!

Скосив глаз, ты видел, что все это производит впечатление.

— А мы не знали, что вы повеса, — признался с деланным смехом сыщик боксерской наружности, изображавший Веру Ивановну. — Мы всегда считали — тихоня, скромник, себе на уме...

Он был сильно оконфужен в своих расчетах и подозрениях, но все еще сохранял видимость хозяйки дома, юбилейной жены Генриха Ивановича Граубе.

— Что вы, что вы, Вера Ивановна! — возразил ты ему с живостью. — Чего скрывать? От кого скрывать? Не скрывая, во всем признаюсь: я — невероятный дон-жуир, в особенности когда захмелею.

В подтверждение этих слов ты, шатаясь как пьяный, подошел к нему вплотную и, поборов врожденную робость, потрогал осторожно одной рукою в бурых и оранжевых крапинках приделанный к его груди выпуклый камуфляж. Так ты и знал: это была всего-навсего резиновая подушка, надутая пустым воздухом.

— Да вы шутник! — пропищал испуганно сыщик и откинулся назад в кресле, должно быть, не желая до конца разоблачать свою фикцию. А ты колесблющейся походкой вернулся к Лиде и, чтобы она не ревновала, укусил ее тихонько за локоть.

— Не надо при всех, — шептала Лида в смущении. — Лучше выйдемте на минуточку, если вы так настаиваете...

Генрих Иванович позеленел от тоски по поводу сорванной провокации. Теперь-то с него непременно взыщут свадебные затраты.

— Я оскорблен как человек! — воскликнул он, обращаясь к Лобзикову и Полянскому с лицемерным возмущением в голосе.

Те беззвучно хохотали, раскачиваясь, как метрономы.

— Какой страстный мальчик! Нет, вы подумайте, какой страстный мальчик! — лепетал освидетельствованный боксер по кличке «Вера Ивановна».

Тут тебя осенила новая блестящая мысль: воспользоваться скандалом и убежать от них вместе с Лидой под видом неудержимых эмоций. Бывает же так. Порыв страсти, зов предков, борьба за женщину, Зигмунд Фрейд и Стефан Цвейг.

Как это делают пьяные, желающие впасть в амбицию, ты сказал, махая руками по всей комнате:

— Лидия, я вас похищаю. Идите вон отсюда. Пусть эти люди без меня ведут свои разговорчики. Им будет удобнее без меня охавать государственных уток. Что — я? Я — ничего, вполне лоялен. А вас, Генрих Иванович, вас я вижу насквозь.

И ты посмотрел ему прямо в глаза его же собственным пронизательным взглядом, будто не ты, а он сам находился у тебя на примете.

— Да! Да! Да! Я вас вижу насквозь!..

Лида покорно собирала пожитки: сумочку, губную помаду. Козью шубейку, облезлую на две трети, ты ей подал сам. Вы ушли, хлопнув дверью перед пустоглазой физиономией Граубе, который стоял с разинутым ртом, видимо, не имея полномочий задерживать тебя силой.

Падал густой снег. Он принял тебя и Лиду в свои бесшумные толпы. Казалось, тысячи, миллионы парашютистов на белых, как снег, парашютах летят с неба и захватывают притихший город сплошным воздушным десантом. Некоторые, прежде чем приземлиться, кружились вокруг да около, выбирая местечко помягче, куда бы сесть...

Снегопад мешал тебе видеть маневры противника, который до того изловчился, что преследовал тебя по пятам, замаскированный снежной завесой. Ты же — в черном пальто — был хорошим ориентиром. У тебя имелось только одно прикрытие — Лида.

Несомненно Генрих Иванович выслал за вами опытных экспертов — проверить, чем вы будете с ней заниматься, оставшись наедине. Он был достаточно догадлив, этот Генрих Иванович, чтобы не принять за чистую монету твой поспешный роман. Поэтому, идя с Лидой по улице, ты продолжал гнуть свое и спотыкался, как пьяный, а также высказывал Лиде и всем, кто мог это слышать, разные фразы и предложения, вплоть до предложения выйти за тебя замуж.

Лида прижималась, доверчиво к твоему боку и говорила себе под ноги, всхлипывая от счастья:

— Почему я раньше с вами не встретила — в семнадцать лет, когда была совсем девушкой, но вполне созревшей?..

Но тебе не было дела ни до прошлого ее, ни до будущего. Ты принимал ее как есть, нетрезвую и влюбленную, с вытертым мехом на груди, служившей тем не менее удобной защитой твоему лицу, похудевшему от пережитых волнений. И говоря ей про любовь, ты думал с вожделием о том сладком моменте, когда ты проводишь Лиду и вернешься преспокойно домой, в изолированную квартиру, и ляжешь с легкой душой в чистую пустую постель.

Время от времени ты останавливался и, повернув Лиду вокруг оси резким, нетерпеливым движением, целовал ее в рот и в блаженно прикрытые веки. И целуя, зорко всматривался поверх ее головы, предупредительно запрокинутой, в мутноватую даль за собою, где мельтешили попеременно — мрак и снег, снег и мрак.

За вами подглядывали. Но хотя ты не мог как следует уловить выражение глаз, отовсюду на тебя устремленных, тебе хотелось гордо сказать перед всем миром:

— Что ж, смотрите, я — не боюсь! Вы же видите — я занят делом, я люблю свою Лиду и с меня взятки гладки...

---

---

4

---

---

Четвертые сутки он находится в поле моего наблюдения. Я кажусь ему питоном, чей хладнокровный взгляд лишает кролика чувств. Его представления обо мне — сущий вздор. Но если даже принять за основу эти нелепые фантазии, я не знаю, кто из нас кого держит на привязи: я его или он — меня? Мы оба попали в плен, не в силах оторвать друг от друга застекленевшие взгляды. И хотя он не видит меня, из-под его белесых ресниц бьет в моем направлении такой сноп страха и ненависти, что мне хочется крикнуть: «Перестань! Не то проглочу! Стоит мне захлопнуть веки — и ты пропадешь, как муха!» Это состязание начинает меня утомлять.

— Глупец! Пойми — ты живешь и дышишь, пока я на тебя смотрю. Ведь ты только потому и есть ты, что это я к тебе обращаюсь. Лишь будучи увиденным Богом, ты сделался человеком... Эх, ты!..

К моим дружеским уговорам он прислушиваться не желал. На все у него имелись свои резоны. Четвертые сутки он не спал, чтобы не дать себя застигнуть врасплох, и по ночам лежал на диване в состоянии боевой готовности, в пиджаке и в брюках, теперь уже изрядно помятых, в ботинках, туго зашнурованных, и тарасился в темноту.

Перед ним от напряженного всматривания возникали круги и пятна разного колера. Они представлялись ему глазами: без носов, без ушей — только одни глаза. Буркалы, зенки, гляделки, лупетки — карие, серые, голубоглазые — летали по комнате, хлопая ресницами, и пристраивались у него на груди для отдыха. Когда он приподымался, они вспархивали и парили над его головой, изредка помаргивая широко раскрытыми крыльями.

Утро не приносило спокойствия: ему казалось, что на свету он еще заметнее! Мне же, право, было без разницы — что день, что ночь. Никакие ширмы, затемнения не могли избавить меня от него...

Особенное неудобство он испытывал в клозете. Понуждаемый своей природой, которую он недолюбливал и смущался выставлять напоказ, он прикрывался газеткой, гримасничал, насвистывал арии или, желая меня заинтриговать, напускал на себя вдруг большую задумчивость — и все это с одной целью: переключить мое внимание в район своего лица и там на некоторое время удержать. Как будто меня интересовали эти его глупости!..

От нервных мыслей, что я все вижу, моча у него не текла и мышца прямой кишки тоже не сокращалась. Мне было совестно за него, и при виде этих мучений я мучился вместе с ним из-за его бестактности.

Ах, если бы то была мания преследования, какой страдают иногда люди, высокоодаренные сознанием своей вины и очевидной ничтожности! Нет, скорее был он одержим другим недугом, именующимся в медицине «*mania grandiosa*». Вселенная имела одну заботу: лично ему досаждать. И выбегая поутру в город за хлебом, за колбасой, он все, что попадалось ему на глаза, беззастенчиво относил на свой счет.

Москва кишела подставными фигурами. Они делали вид, что не глядят в его сторону (а сами нет-нет да посмотрят исподтишка). Одни прикидывались случайными встречными и фланировали по улице с отсутствующим выражением лиц, но были почему-то все одеты единообразно, по форме, в матерчатые темные ботинки. Другие — в белых маскхалатах — имели обличье мороженщиц. Никто у них никогда ничего не покупал.

Но всего отвратительнее были дома — многооконные, глазастые твари...

— Какое приятное совпадение! Здравствуйте! Здравствуйте! Вы — в Москве? Вы еще не уехали? А как же ваша язва?..

Ты обернулся. Это был, конечно, Генрих Иванович, уцепивший тебя за плечо возле самого гастронома. На второй день после так называемой «свадьбы» ты взял отпуск в министерстве под видом неполадок в желудке. Сослуживцам было объявлено, что тебе прописана Ялта, но отпуск ты, разумеется,

проводил у себя взаперти. Какова же была радость этого вездесущего Граубе, когда вместо язвы и Ялты он поймал тебя на улице, с поличным, в момент короткой вылазки за провиантом!..

Пока ты подыскивал доводы затянувшемуся отъезду, Генрих Иванович приобнял тебя бесцеремонно за талию и потащил прочь с тротуара. Через пять шагов вы очутились во дворе — по всем признакам в ловушке, заваленной почему-то кучами пожелтевшего снега. Должно быть, у Граубе были на это санкции.

— Понимаю! Понимаю! Шерше ля фам. Ни о чем не спрашиваю. Бывали и мы рысаками.

Он прыгал вокруг тебя, будто норовил укусить, и грозил указательным пальцем, не выпуская из круглой ладошки тяжелый министерский портфель.

— А мне, родной-дорогой, с глазу бы на глаз. Ах, проказник! Жена до сих пор с удовольствием вспоминает. Здорово мы тогда! Смеху-то было, смеху! А вы и поверили старой дуре? Ей бы уток жарить, гостей угощать, только и всего... Ведь вы пошутили — я сразу понял. «Насквозь, — говорит, — насквозь вижу!» Ха-ха-ха! ах-ах! Ах, вы, проказник! Хотите на колени встану? Шучу-шучу, не сердитесь. Из одного уважения. Может, вы, родной-дорогой, обиделись на меня? Что-нибудь из-за Лиды? Простите старого дурака. Для вас ничего не жалко. С руками, с ногами. Кушайте на здоровье. Дело прошлое. Кто старое помянет. Сами понимаете — вроде отца. Христофор Колумб, первое всех. Раньше Лобзикова и раньше Полянского. Жалко же все-таки. Ну и разыграло ретивое. Бывали и мы рысаками. А вы туда же, принципиальный вы человек: «вижу, вижу, вижу насквозь!» К чему такое? Тихо-мирно. Ну хотите — на колени встану? Только для вас, из одного уважения. Хотите?

И не успел ты понять, что это значит, как Генрих Иванович Граубе — при шляпе и с портфелем в руке, — наскоро оглядевшись, упал в снег на колени. Его массивная физиономия, пожелтевшая под цвет обстановки, была исполнена грусти и благородной просительности.

На одну секунду тебе в голову пришла дикая мысль: быть может, Генрих Иванович сам тебя опасается?..

Но ты отогнал иллюзии. Ты вовремя сообразил, какая высшая стратегия заключена в униженной позе. Снизу, из грязи, виднее, уязвимее душа человека. Снизу ты легче доступен. Упавший перед тобой на колени имеет уже те преимущества, что может в любую минуту схватить тебя за ноги и уронить на спину.

Поэтому, не дожидаясь, ты с криком отпрянул в сторону и, видя, как брови Граубе лезут от удивления вверх, ударил его по лицу, не в бровь, а в глаз... В воротах ты обернулся. Генрих Иванович сидел на снегу, толстый портфель лежал перед

ним плащмя. Одной рукою Граубе закрывал половину лица. Но здоровой половиной он продолжал смотреть на тебя.

— Погодите! Не уходите! Уверю вас — вы ошибаетесь! — говорил он, шмыгая носом и тихонько повизгивая. — Какой же я соперник? Вы зря волнуетесь. Моложе меня. Поберегите здоровье. Лида сама к вам явится, только свистните. Хотите скажу ей — не поехали в Ялту? Сама прибежит. Хотите?

Но ты не поддался на приманку. Со всех ног, забыв о некупленной колбасе, ты бросился домой и там заперся.

---

---

5

---

---

В тот же вечер к нему пришла Лида. Она позвонила два раза — никто не отзывался. В дверную щелку для писем виднелся кусок прихожей, тусклой и захламленной второстепенной домашностью. Наискось, на полу стояли ноги. Лида их узнала по ботинкам и брюкам. Все остальное находилось вне доступа.

— Это я — Лида! Откройте, Николай Васильевич! — крикнула Лида радостно в письменное отверстие.

К ее удивлению, знакомые ноги не сдвинулись с места. Они чуть заметно вздрагивали, но к ней навстречу не шли. Выждав для приличия, Лида позвонила еще раз.

Шумело отопление. Внизу, на первом этаже, играло радио.

— Николай Васильевич! Это же я — Лида. Почему вы молчите? Думаете — я вас не вижу? Вон, вон — в углу стоите, и брючки на вас такие же самые, чехословацкие, полушерсть. Пустите на минуточку.

В прихожей щелкнул выключатель. Светлая полоска погасла. Лида в нерешительности сделала круг перед дверью.

— Или вам обидно, что жениться на мне обещались? Так вы не думайте, я не для того. Мне расписываться не обязательно. Честное слово. Зачем вы свет потушили, Николай Васильевич? Все равно все слышно. Стоите там и вздыхаете. Как не стыдно! Вам, наверно, про меня чего-нибудь рассказали? Не слушайте никого. С Лобзиковым я уже четыре месяца ничего не имею. И с Полянским тоже. Как вы в отпуск ушли — только про вас думаю. Ни с кем ни разу даже не целовалась. Честное слово. Я, Николай Васильевич, если хотите, на всю жизнь вам верной останусь. Вечно вас буду любить. Как мужа. Обед для вас буду варить, если захотите.

Она прижималась к двери то глазами, то губами. В квартире Николая Васильевича господствовала тишина. Но оттуда — сквозь узкую щель — тянуло теплым, немного затхлым воздухом.

— Что же ты, милый, что же ты розочку не сорвал? — шепнула Лида, зардевшись. Потом понюхала в последний раз прорезь и пошла восвояси.



Лишь с ее уходом ты рискнул пошевелиться, размять затекшие члены. Ты был в жару и в поту. Какое мальчишество — выскакать на звонок, под яркий электрический свет! Эта оплошность едва не стоила тебе головы. Хорошо по крайней мере, что ты вовремя спохватился и застыл на месте, как мертвый, будто это и не ты вовсе и тебя нет.

А что оставалось делать? Впустить ее внутрь? Демонстрировать у всех на глазах свою личную жизнь? Да с кем? — с той самой женщиной, которая — теперь ты осознал это вполне — была приставлена к тебе по указке Граубе? Еще тогда, при гостях, она провоцировала тебя на любовь, и ты чуть было не... Бежать! Бежать пока не поздно! Пока она не вернулась, не ворвалась к тебе насильно под маркой бывшей невесты, которая считает своим долгом следовать за тобою повсюду — только потому, что ты имел несчастье однажды ее ущипнуть на какие-нибудь три сантиметра выше общего уровня...

Ты выглянул в окошко, таясь за косяком и не зажигая огня. Путь был отрезан. Внизу дежурила Лида. Она не собиралась тебя покидать и расхаживала перед домом, как часовой.

Твои ноги в нагретых ботинках распухли и болели. Ныла рука, поврежденная мерзавцем Граубе при помощи надбровной дуги. Но хуже всего было не оставлявшее тебя ощущение — едкое, щекотливое чувство собственной кожи. Ты непрестанно морщился, мотал головою и растирал ожесточенно ладонями лоб и щеки.

...Это тяжелое зрелище мозолило мне глаза. Они тоже изрядно болели. Казалось, у меня между век вставлены спички-распорки и оба глазных яблока расцарапаны до крови.

Чтобы дать себе роздых, а также по возможности облегчить его страдания, вызванные моей наблюдательностью, я старался глядеть в другую сторону и честно избирал для прогулок самые отдаленные улицы — Марьину рошу, Большую Оленью, что в районе Сокольников. Но это не помогало. Куда бы я ни двигался — пешком или на троллейбусе, — передо мной маячили злые глаза и веснушчатые рыжеволосые пальцы...

Я хорошо понимал, что все это может плохо кончиться. Когда стало невозможно, я взял такси и выехал на место событий.

Мой расчет состоял в том, чтобы увлечь Лиду с ее поста и тем самым разрядить обстановку. Я думал уменьшить число глаз, которые силой воображения он на себе сконцентрировал. Но был и второй момент: мне хотелось рассеяться. Я нуждался в третьем лице для забвения и защиты от моего преследователя.

Лида самоотверженно мерзла под его темными окнами. Хотя мы были знакомы, так сказать, заочно, ее слабые струны для меня не составляли секрета. Делом пяти минут было завязать разговор и пригласить ее погреться неподалеку в кафе.

Я назвал себя первым попавшимся именем, кажется — Ипполитом. Она согласилась. Ей все равно идти было некуда.

Пока мы ждали сациви и шашлыки по-карски, я высказал ей в утешение несколько комплиментов.

— Зачем вы бороду носите? — спросила она кокетливо. — Для солидности? Но это вас старит. И вообще — рыжим борода не к лицу.

— Что вы говорите?! Какой же я рыжий?! — ужаснулся я ее способности перекрашивать вещи по своему вкусу.

— Нет, вы рыжий! — упрямылась Лида. — С рыжеватым оттенком. Вы немного похожи на одного моего знакомого...

Я не считал нужным муссировать эту тему, опасную для всех нас, но сказал напрямик, что терпеть не могу рыжих. Рыжие вечно думают, что все на них смотрят, и потому они ужасно много мнят о себе и никому не верят. А на самом деле никто на рыжих не смотрит и смотреть не желает, и нет никому до них — до рыжих — никакого дела.

— Зато они — ревнивые, — хвасталась Лида. — И все тонко чувствуют и тонко понимают.

О, я прекрасно видел, куда летят её мысли. Но все это было впустую. К тому времени, как нам подали ужинать, ее рыжеволосый красавец успел далеко зайти в разрушительном изобретательстве. Лежа во мраке и уткнув лицо в подушку, он силился, что есть мочи, ни о чем не думать.

— Ди-ди-ди, ля-ля-ля. Ди-ди-ди, ля-ля-ля, — бормотал он сосредоточенно.

Ему казалось, что, выключив мозг с помощью очевидной бессмыслицы, он избавится от соглядатаев, подсматривающих за ним изнутри. Мало ему было восстанавливать против себя целый свет. В самом себе он заприметил следы моего тайного розыска и решил сразиться со мной на путях своего сознания. «Ди-ди-ди, ля-ля-ля» — попробуй пробейся сквозь эту стену. И не зацепишься. Что значит это тупое, бесталанное дидиликанье?..

Я сказал Лиде, разливая коньяк:

— Пейте, Лидочка. Пейте, Лидидилия. Не будем думать ни о каких рыжих, ни о каких рыжих. Не обращайтесь на рыжих внимания. Вам сразу станет легче. Кушайте сациви и шашлык. Шашлык! Шашлык! Сациви!

— Ди-ди-ди, ля-ля-ля! дядя! дядя! дядя! ди-ди-ди, ли-ди-ди...

— Сациви! Сациви! Кушайте, Лидочка, шашлык. Жирный, жирный, рыжий шашлык. Шаш? — или шиш? -лык! лык! лык! Сациви!

Но мы не могли, сколько ни бились, отвлечься друг от друга, побороть притяжение, влекущее нас к катастрофе. К тому же и мне и ему мешала Лида. Она сказала, разогревшись после третьей рюмки:

— Вы мне нравитесь, Ипполит. Вы очень, очень похожи на одного моего знакомого. Он тоже меня угощал у одних моих знакомых. Только я вас прошу — сбейте бороду. Ну, пожалуйста, милый, для меня. Возьмите бритву и сбейте!

У меня дух захватило от ее предложения.

— Молчите! — крикнул я ей. — Ни слова больше! Ни одного упоминания ни о каких острых предметах! Слышите?!

И в то же мгновение я увидел, что он поднимает голову.

Ты поднял голову, как бы прислушиваясь к нашему разговору, и улыбнулся. Ты сказал себе мысленно: «Надо побриться» и повторил вслух: — Надо побриться! Ля-ля-ля! Надо побриться!

И опять улыбнулся — второй раз за все это время.

Меня била дрожь. Я схватил Лиду за руку, и мы, не допив коньяк, выбрались на улицу. Там — без предисловий — я объявил, что люблю ее, люблю безумно, страстно, и ни на кого не хочу смотреть кроме нее, и ни о ком не желаю думать, и потому она обязана мне сегодня принадлежать — немедленно, тут же, вот сейчас!

Ты встал и включил электричество. Твои глаза сощурились.

Лида сказала:

— Но здесь же холодно и ходят люди. Если вы так настаиваете, поедemте к вам домой, если вы не женаты.

Я тащил ее по улице, пока ты согрел воду и отыскивал свой помазок и эту самую свою бритву. У меня оставались считанные минуты. Не оставалось ничего другого, как зайти в чей-то подъезд. На самой верхней площадке было не так уж холодно, и было маловероятным, чтобы нас увидели.

А если б и увидели? Какое мне дело! Меня одолевали свои заботы. Это я, я сам не должен никого замечать! Я хотел, пока не поздно, выскочить из игры, которая могла плохо кончиться, а других средств спасения, кроме Лиды, не было под руками.

Я встал перед ней на колени. Мне хорошо запомнилось одно правило: «снизу человек доступнее, и стоящий перед ним на коленях может в любую минуту схватить его за ноги и опрокинуть на спину».

Так оно и вышло. Лида дружелюбно трепала мою склоненную голову, а я обхватил ее руками за тонкие ноги и прислонил к стене. Класть Лиду на кафель мне не хотелось: еще простудится.

Я не стыдился своих намерений, достаточно откровенных. В конце концов, не для своего удовольствия я старался. У меня не было иного выхода.

Конечно, было бы лучше, если бы ты оказался на моем месте. Чего тебе не хватало в жизни — так именно откровенности. Все-таки в объятиях женщины всякий мужчина, даже самый скрытный, заносчивый, вынужден волей-неволей дер-

жаться непринужденно. Быть может, и тебе, не отвергни ты Лиду, это бы пригодилось, и — как знать? — будь ты немного доверчивей, может быть, и меня ты сумел бы лучше понять...

Но ты предпочел иной путь и теперь, зажав бритву в цепких веснушчатых лапах, водил ею вдоль щек, будто на самом деле собирался привести их в порядок. Зная твое притворство, я спешил. Скорее, скорее уйти, зарыться в свои занятия, чтобы ты тоже, наконец, перестал обращать на меня внимание, перестал бы бояться, таиться и лелеять в душе мстительные расчеты.

Лида шумно вздыхала и, закрыв глаза, гладила мои волосы:

— Коля! Коленька! Николай Васильевич! Рыженский ты мой! Ненаглядный! — твердила она на все лады.

Я не испытывал ревности. Но меня угнетали эти бесконечные напоминания, эта неуместная близость к тебе в ту минуту, когда я надеялся скрыться от тебя достаточно далеко. Я приближался к тебе с опасной быстротой и уже видел рядом с собою твои глаза, расширенные от бешенства. Назад! Назад! Поздно. Я вошел в твой мозг, в твое воспаленное сознание, и все твои последние тайны, которые я и знать не хотел, открылись передо мной.

Ты вскочил со стула. Все свидетели твоего злодеяния были в сборе. Ага! Попались! Ты замахнулся на меня, на Лиду, на весь мир своей заготовленной бритвой.

— Стой! Не смей! Что ты делаешь?

Я зажмурился. И миг давно не испытанное спокойствие вернулось ко мне. Стало темно и тихо. Я перестал тебя видеть. Тебя больше не было.

---

---

6

Когда я открыл глаза, Лида помадила губы. Она встряхнулась, поправляя шубу и платье. От нее отскочила пуговица и покатила вниз, со ступеньки на ступеньку. Лида сошла по лестнице и подобрала пуговицу. Потом спустилась еще на один этаж.

— Куда же вы, Лида? — сказал я скорее из вежливости, чем по искреннему побуждению. Ответа не было: Лида спешила на свой пост, оставленный час назад. Взглянув в том направлении, я убедился, что она зря торопится. Сторожить ей было некого. Наш общий знакомый валялся под столом с намыленной щекой и перерезанной глоткой. Падая, он ухитрился разбить настольную лампу. Свет в его комнате не горел.

Я присел на ступеньку в ожидании, когда Лида исчезнет. Но окончательно скрыться из моих глаз ей никак не удавалось. Тогда я встал и, покинув гостеприимный подъезд, направился по городу — в свой обычный обход.

Все было по-старому. Шел снег, и было такое же самое состояние суток. Два инженера — его бывшие сослуживцы, Лобзиков и Полянский — играли на рояле Шопена. Четыреста женщин по-прежнему рожали четыреста младенцев в минуту. Вера Ивановна прикладывала примочку к посиневшему глазу Генриха Ивановича. Шатенка надевала штаны. Брюнетка, склонясь над тазом, готовилась к встрече с Николаем Васильевичем, который, как бывало, бежал под хмельком по морозцу. Труп Николая Васильевича лежал в запертой комнате. Лида, как часовой, ходила под его окнами.

Я видел это и неотвязно думал о нем. Мне было немного грустно.

Ты ушел, а я остался. Я не жалею о твоей смерти. Мне жаль, что я не могу тебя забыть.

1959

---

---

### КВАРТИРАНТЫ

---

---

I

---

---

Эх, Сергей Сергеевич, Сергей Сергеевич! Да разве вы сравняетесь с Николаем Николаевичем? Смешно даже. У вас и виду нет никакого, и бицепсы на вас обвисли все равно что, простите за сравнение, сосцы на какой-нибудь исхудалой собачке. И коньяк вы хлещете начиная с утра — откуда только деньги берутся? А Коля, Николай Николаевич, был человек молодежавый, инженер — конструктор электрических двигателей, двадцать девять лет — самый сок. И тот не осилил. Вызывает меня как-то на кухню. «Что ж это, — говорит, — что ж это, — говорит, — Никодим Петрович, происходит?» А сам белый-белый. Как потолок.

Куда вам до него! Певун был! Физкультурник! Бывало, проснется рано утром, всю гимнастику под звуки радио сделает, зубы щеткой почистит и начинает:

Все выше, и выше, и выше  
Стремим мы полет наших птиц,  
И в каждом пропеллере дышит  
Спокойствие наших границ.

Приятно слушать. Хотя он и тенор, а я больше басы люблю. Поверьте старику — уезжайте прочь отсюда. Покуда целы. Чемоданчик в руки — и с Богом. Хотите для вас — по знакомству — записочку сочиню? В горжилотдел, к самому Шестопалову. Неужто не слышали? Шестопалов. Квартирные вопросы решает. Я под его началом тринадцать лет прослужил. Студенческим общежитием и двумя домами заведовал. Комен-

дант, управдом — как хотите зовите. До самой пенсии. На Ордынке. В пять этажей и в шесть. Он в пять минут любую жилплощадь разыщет. Ну что вы, что вы!.. По моему-то ходатайству!..

Обживетесь на новом месте. Библиотеку вашу временно здесь оставим. Я постерегу. Почитаю с вашего разрешения. У вас нет ли случайно: «Юный бур из Трансвааля»? Еще до войны читывал. Автора вот не запомнил. Иностранец какой-то, француз.

Жаль-жаль. Ночи-то длинные, а ноги-то ноют. Суставной ревматизмус. Застарелая, коренная болезнь. Что? Наливайте, наливайте: не повредит.

За ваше здоровье!

И-да... Коньячок у вас, действительно, самый отборный, по рецепту. В пищеводе ощущение ласки. Сопьюсь я с вами. Нет-нет, не беспокойтесь, закусывать я не люблю. Весь привкус теряется. В самом деле, Сергей Сергеевич, переезжайте на другую квартиру. Здесь, говоря по секрету... Вззоете, когда узнаете, да поздно будет. Ну, что вы заладили: не поеду да не поеду. Лениость это одна с вашей стороны и ничего больше. А там, глядишь, и я за вами следом. Вместе поселимся. Не хотите с Шестопаловым связываться — обменять можно. Давайте дадим объявление. Моя комната плюс ваша — тридцать один метр. Вот вам и пожалуйста — изолированная квартира. А?

Я вам, как писателю, условия жизни создам. Тишина чтобы, порядок. Мне тоже нужен покой. Может, вы еще жениться сумеете, внучат разведем, котят. Я при них бы сидел. Вместо дедушки. Про коньяки и думать забудем. Разве что по большим праздникам: Новый год, первое Мая. Хозяйство наладим. Дер тыш, дас шранк, валенки мне новые купим. Эх, и жизнь пойдет! Давайте выпьем, что ли! За ваше здоровье, Сергей Сергеевич.

Я ведь, говоря откровенно, почему с ним подружился — с Колей то есть? Хороший он человек, хозяйственный, домовитый. Как придет с работы — за дело. Этажерку лобзиком выпилил, радиоприемник из чепухи собрал. Своими руками. И Ниночка его тоже мне сначала понравилась. Хлопотливая такая, как птичка. Все в дом, в дом тянет. Полгода не прошло — верите ли? — они уже гардероб новый купили. С зеркалом во всю дверцу. Занавеси из тюля повесили. А все по четвертной, по тридцать рублей в получку, по копеечке, можно сказать, домашний очаг созидали. И все прахом пошло. Эх, Коля! Коля! Где вы теперь, кто вам целует пальцы?.. Да-а-а! В доме душевнобольных. Выражаясь по-старинному — в желтом доме-с. А разве это дом? Так, одна видимость. И дома никакого нет — общежитие для безумцев и ничего более.

Что? С чего началось? С пустяка все началось. Кушает он однажды вечером гороховый суп и вдруг вылавливает из

тарелки — представляете — женский волос. Обыкновенный женский пучок и больше ничего. Говоря по-деревенски — очески. Он, конечно, оборачивается к своей Ниночке и спрашивает ее довольно спокойно, как это понять. Та вспыхнула вся и говорит, тоже довольно спокойно:

— Это, — говорит, — Николаша, Кроваткина свои лохмы к нам в кастрюлю вместо мяса подкладывает.

А волосы, между прочим, седые. Седые...

Тс-с-с! Вот я и спрашиваю: Сергей Сѣргеевич, нет ли у вас такой интересной книги — Фенимор Купер «Последний из моги-кан»? Да! «Последний из моги-кан!» Про индейцев Южной Америки! Так, так, так! Значит, нет! Значит, нет! Погода какая дождливая! Погода — говорю — дождливая!..

Ушла... Это она и есть, она самая — Кроваткина. Сушая ведьма. Ухо к дверям приложит и контролирует, о чем мы с вами беседуем. Уж я ее чувствую, знаю. Раз говорю — значит, знаю! У меня на это дело свое осязание есть. Сами с усами. Спиною их шашни угадываю. За десять метров.

Что вы! Какие тут фокусы! Не верите — могу доказать. Вот сейчас к вам спиной повернусь и ничего видеть не буду, а все буду угадывать. Любое телодвижение.

О-хо-хо! ноги-то, как чужие. Ну! Начинайте.

Тэкс-тэкс. В этот самый моментик вы в носу ковыряете. Мизинцем. Теперь — перестали. За левое ухо схватились. Нижнюю губу оттопыриваете. Что, угадал? Хе-хе. А вы затейник! Какую пантомиму позади меня разыграл! Думает — не узнаю. Язык высунул, лоб сморщил... А глазки-то у вас, Сергей Сѣргеевич, совсем косые. Захмелели вы. Сразило вас это зелье.

Ну, на сегодня хватит. Я и не так еще умею. А теперь — по последней — и спать. Поздно уже. Что соседи подумают?

Нет, нет. И не просите. В другой раз доскажу. Перебила меня эта Кроваткина. Все настроение испортилось. Давайте я лучше на прощание что-нибудь совершу. Вот сейчас — хотите? — не сходя с места, исчезну. Возьму и улечусь. Раз, два, три! Вот я был и вот! — меня! — неттт!

Покойной ночи, Сергей Сѣргеевич!

---

---

2

...Таким образом в скором времени одни русалки остались. Да и те... Сами знаете: индустриализация природных богатств. Дорогу технике! Ручьи, реки, озера химическими веществами пропахли. Метилгидрат, толуол. Рыба — та попросту дохнет и вверх брюхом плавает. А эти, бывало, вынырнут, отфыркаются кое-как, а из глаз — не поверите! — слезы от горя и разочарования. Сам видел. По

всему роскошному бюсту — стригущий лишай, экзема и даже, простите за нескромность, венерические рецидивы.

Куда спрячешься?

Недолго думая — туда же, вслед за лешаками, за ведьмами — в город, в столицу. По каналу Москва—Волга, через эти самые шлюзы — в сеть водоснабжения, где почище да посытнее. Прощай, родимый край, первобытная обстановка!

Сколько их тут погибло! Видимо-невидимо. Конечно, не насовсем. Бессмертные создания все-таки. Ничего не попишешь. Но которые из них помястее — в водопроводных трубах застряли. Да вы сами, вероятно, слышали. На кухне кран отвернете — оттуда вдруг рыдания несутся, бултыханья разные, чертыханья. Думаете — чьи это штучки? — Их голоса — русалок. Застраивает в умывальнике и ну капризничать, ну чихать!

Между прочим, в нашей квартире одна бывшая русалка проживает вполне легко и свободно. По паспорту — Софья Францевна Винтер. Знаете ее, конечно. В бумазейном халатике бегаёт и водные процедуры принимает с утра до вечера. То в ванной комнате плещется по три часа кряду (другим жильцам руки помыть негде), то в тазик частично усядется и стихи про Лорелею поет. На немецком языке:

Их вайс ниht вас золь эс бедойтен

Дас их зо траурих бин...

Генрих Гейне сочинил. Говорю ей вчера: — Софа! Ты бы хоть нового жильца постеснялась. Писатель как-никак. А ты в одном халатике по коридору бегаешь, без пуговиц, без тесемок, и при каждом своем движении на полметра распахиваешься.

А она — бесстыжая девка — только зубы скалит. «Ваш писатель, — говорит, — мне "Белую сирень" подарил. Духи такие. У меня с ним, дедушка, понимание с первого взгляда».

Берегитесь, Сергей Сергеевич. Упаси вас Бог за нею ухаживать. Защекочет до смерти. А насчет чего посуущественнее — я так скажу: рыба кровь у нее и все прочее — рыбе. Одна только наружность дамская, для соблазна...

Вот вы опять смеетесь и ничему не верите. А хотя вы писатель — наблюдательности у вас никакой. Ну, что вы можете сказать, например, про Анчуткера? Ваш сосед. Анчуткер. Вот за этой стенкой. Ничего особенного. Гражданин как гражданин. Разве что еврей. Моисей Иехелевич. Подумаешь! Карл Маркс тоже, небось, из евреев произошел.

А если присмотреться, да повнимательней?.. Шевелюру он какую носит? Вы встречали когда-нибудь в жизни подобную шерсть на мужчине? А цвет лица? Где вы у человека найдете до такой степени синюю кожу? И взгляд у него невеселый, и штиблеты 47-го размера, к тому же всегда перепутаны: правая принадлежность на левой, а левая — на правой. Так и ходит, медведь неучливый, и дома и в министерстве.

Опять же, обратите внимание, какую он литературу по-



читывает. «Лес шумит» Короленко. Новый роман Леонида Леонова «Русский лес». Я не спорю — роман замечательный. Но зачем же, спрошу я вас, непременно на эту тему? И почему он, проклятый Анчуткер, по лесному ведомству служит? Березы да елки логарифмической линейкой считает, на кубометры перекладывает... И не Анчуткер он вовсе, а по-правильному, по-научному — Анчутка. Теперь смекаете? То-то!

Нет, Сергей Сергеевич, не найти вам среди наших квартирантов ни одного живого лица. Хоть и родня они мне. Так сказать, из одной деревни. Да что толку! Мне моя репутация дороже стоит. Это невежды говорят, малограмотные, некультурные бабы — домовой, дескать, заодно с лешим. Ошибаетесь! Совсем другая профессия. Нельзя в этом вопросе не видеть принципиальных различий. Домовой — он к дому, привык, к человеческому запаху, к теплоте. Испокон века. Ему с чертями да с ведьмами не по пути. Может, вы думаете — общая природа? Не скажите! Мало ли что природа! Человек, например, тоже от обезьяны произошел. Однако впоследствии выделился в самостоятельную разновидность. С обезьянами дело имеет лишь в Африке да в зоопарке. Каково же мне — мне! — пожилому, можно сказать, человеку в коммунальных условиях жить?!

Как въехали они в нашу квартиру — Николай Николаевич с Ниночкой, я им сразу сказал: — Коля! — говорю, — Ниночка! держите ухо востро. Не поддавайтесь на провокацию. Живите, как в отдалении. А я возле вас погреюсь на старости лет.

— Нет! — отвечает Ниночка. — С волками жить — по-волчьи выть. Не забуду я этой Кроваткиной истории с гороховым супом. Она у нас мясо ворует, а я ее волосы жуй? К тому же — грязные и седые. От них заразиться можно.

И велит своему Николаше приладить ко всем кастрюлям всякие стальные замки. Чтобы пищу, значит, на ключ запирасть, пока варится без надзора на плите общего пользования. Бывало, прокрадется на цыпочках, отомкнет поскорее кастрюлю, соли-масла добавит и опять на запор.

Только это не помогло. Превратности продолжают. Курицу, скажем, на огонь поставит и замочки повесит. Отпирает —дохлая кошка сварена в курином бульоне. Даже не ободранная, прямо в шкуре, с хвостом.

Ниночка — в амбицию. Ее тем временем другая соседка — Авдотья Васюткина — на свою сторону переманила. Образовался альянс. У Авдотьи с Кроваткиной личные счеты: Анчуткера никак не поделят. От Анчуткера у обеих детишки. Лешанята, значит. Вот и сражаются, врагини, за свою ведьмячью любовь.

Представляете картину? Кухня. Дым коромыслом. В дыму эти ведьмы раскачиваются, ухватив друг друга за космы. В лицо друг другу плюют на близком расстоянии. Нехорошие слова произносят очень отчетливо:

— Ведьма! Потаскуха!

— Сама ты ведьма! Куда сегодня ночью верхом на унитазе каталась?

Под ногами у них ребятишки синепузые вертятся. Норвят укусить за икры противоположную сторону. Маленькие еще, а зубастенькие, с коготками.

И тут же, представляете, Ниночка. Волосики разметались. Глазки горят, как лампочки от карманного фонаря. В руках — скалка, и сквозь разорванную рубашку ребрышки ее цыплячи так ходуном и ходят, так и ходят.

Увидел я эту картину и впервые заплакал. Мне, старику, совладать ли с тремя рассвирепевшими бабами? Бегаю вокруг, умоляю. — Брысь, — кричу, — по своим углам! А то я милицию вызову. — Они и слушать не желают. Стон стоит по всей жилплощади, топот, гром сковородный. Да еще в ванной комнате русалка Софа заливается истерическим смехом...

Вечером говорю Николаю: — Так и так. Уйми ты свою Ниночку. Добром это не кончится. Вот увидишь. Сними ты с нее по-домашнему трикотажные панталоны да всыпь легонько веником, чтобы не совалась в чужую баталию.

Как можно! Обиделся даже. «Я, — говорит, — до Верховного Совета дойду, а дела этого так не оставлю. Кроваткину судить надо. Она — фашистка. Она мою жену оскорбляет и словом и действием. А Ниночка за всю свою молодую жизнь пальцем никого не тронула...»

Любил ее Коля, простая душа, любил без памяти. Вот и пошли у них...

Сергей Сергеевич, сидите тихо. Не шевелитесь. Видите, под кроватью крыса бегаёт? Совлеките незаметно ботинок и бейте. Не промахнитесь только. А то уйдет. Ну! Вот сейчас снова высунется. Ты и кидай. В голову. Наповал. Р-раз!..

Эх, промазал! Бей, Сережа! Хватай! Бутылкой ее! Бутылкой!..

Что ж ты, неловкий ты человек... Говорил тебе — бутылкой. Ух! Даже ноги дрожат. Нервы вконец расшатались...

А знаете, Сергей Сергеевич, — кто это был? Это ведь Ниночка к нам приходила... Скучает она по своему Николаше. Вот и ходит на старое место — наша Ниночка...

---

---

### 3

---

---

Не пугайтесь — я без стука. Дело срочное. Беда, Сергей Сергеевич! Беда! Эта Кроваткина все пронюхала и Анчуткеру рассказала. Что теперь будет с нами?! Что будет?!

Послушайте, в вашей комнате мне находиться нельзя. Тем более — в естественном виде. Квартиранты могут заметить. Я и так уже — через щель явился. Под дверь пролез. В моем-то возрасте...

Одну минуту! Сейчас я немного замаскируюсь, тогда поговорим.

Что у вас тут имеется из подходящих предметов?.. Ага! Давайте-ка я буду — стаканом. А вы садитесь за столик — будто бы выпиваете. Если кто заглянет — разговаривайте сами с собой. Пускай они думают, что вы — пьяный. Так безопаснее.

Ну, идите сюда: я уже на столе. Видите — у вас было три стакана, а стало четыре. Да нет же, не этот! Какой вы ненаблюдательный, право. Вот я, вот! Подле тарелки.

Ой! Не касайтесь меня руками! Еще уроните на пол и разобьете. У меня и без этого кости ноют.

Сергей Сергеевич, соберите внимание и выслушайте меня со всей серьезностью. Положение наше — хуже некуда. Мы — обнаружены. Ведется следствие. Анчуткер со вчерашнего дня здороваться со мной перестал. Я знаю — меня судить хотят. За разглашение ихних секретов. Завтра в двенадцать ночи на кухне соберется Совет. Все бы ничего, да Шестопалов мной доволен. Отдал распоряжение: «Мы, говорит, ему доверяли, а у него с чуждыми элементами периодические знакомства. Инцидент с молодоженами мы, говорит, ему простили, так он теперь снова дружбу налаживает с кем не положено. А друг его новый, писатель — все с его слов на бумагу записывает. Могут выйти неприятности. Наказать болтуна, чтобы другим неповадно было. Писателем же займемся особо. Благо он алкоголик и ему настоящие черти скоро начнут мерещиться».

Понимаете, Сергей Сергеевич, что это означает?! Разлучат они нас. Последнего человека отымут. Дома-кровя меня лишат. Под пол отправят. В сырость, в холод, к микроорганизмам. Или по канализационной системе вниз головою спустят. И буду я вынужден там циркулировать до скончания света. Наподобие Вечного Жида по имени Агасфер. Вы одноименный роман Эжена Сю читали? Вот-вот. Тем же способом. Из клозета — в клозет.

И вам несдобровать. Окружат вас мерзкими харями, кикиморами, упырями. Страшно станет. Запьете пуще прежнего. И чем больше пить будете, тем страшнее будет. Пока не свихнетесь с ума, как бедный Николай Николаевич!

Бежать нам надо. Все предусмотрено. Завтра в половине двенадцатого я за вами явлюсь. Перед самым началом праздника, перед Большим Кухонным Советом. Будьте наготове. Они гостей ждать станут, в туалеты наряжаться. Закуску готовить примутся. Из падали, из тухлых яиц. Глядишь, в суматохе контроль ослабнет. В этот момент вы меня сажаете в карман (уж я сам постараюсь как-нибудь там уместиться), надеваете сверху пальто, чтобы ветром меня не продуло, и быстрым шагом выходите на улицу. Будто выпили немного и решили прогуляться, подышать свежим воздухом.

Первое время в гостинице перебежусь. А после —

дом, квартиру сладим. Без жильцов, без соседей. Сами себе хозяева. «Ни бог, ни царь и ни герой!»

На всякий случай, для профилактики, икону можно повесить. Пусть это вас не смущает: я привык, в деревне воспитывался. Предрассудки эти в народной среде очень распространены.

Не хотите икону, убеждения не позволяют? — обойдемся простой репродукцией. Рафаэля какого-нибудь с младенцем из «Всеобщей истории» вырежем и на видное место приклеим. От нечистой силы, от дурного глаза тоже хорошо помогает. И вполне прилично, прогрессивно. Искусство все-таки. Не придерешься.

Главное, Сергей Сергеевич, вместе надо держаться. Мне без вашей, без человеческой помощи вовеки отсюда не выбраться. По внутреннему помещению расхаживаю сколько угодно. Хочу — по стенам, хочу — по потолку. Но за порог ни ногой. Физиология не позволяет.

Да и вы — не буду скромничать — без меня пропадете. А со мною — Бог даст — всемирную известность получите. Чарльз Диккенс. Майн Рид. Ведь я знаю — все знаю, хитрец вы этакий. Я — в дверь, вы — за перо. Даже когда не совсем в себе и языком плохо владеете...

Так это что, беседы наши! Мизерная частица. У меня этих басен целый декамерон. И все на личном опыте. В пяти томах можно издать. С иллюстрациями. Мы с вами, Сергей Сергеевич, братьев Гримм за пояс заткнем.

Ой-ой-ой! Что же вы делаете? Зачем вы коньяк в меня наливаете? Я захлебнусь, захлебнусь! Ополосните немедленно...

И напугали же вы меня, Сергей Сергеевич. Учтите — завтра чтобы ни-ни! Ни одной капельки! Будьте бдительны, осторожны. И в поступках и в выражениях. От резких фраз с упоминаниями, пожалуйста, воздержитесь. А то знаете, как бывает. Видали вчера Ниночку? Ну да, Ниночку в крысиной форме. Теперь уж так и останется... Не возвратить.

Терпел-терпел Коля, да и скажи однажды: — Ну тебя, Ниночка, к лешему. Надоели мне эти скандалы.

И как только он произнес эти роковые слова, входит к ним в комнату Анчуткер. Вроде бы по делу, за папироской. И смотрит пристально на Ниночку, а Ниночка смотрит на Анчуткера, и очень они друг другу в ту минуту понравились.

Ниночка к тому времени была уже не такой. Волосики поредели, глазки впали, а животик — наоборот — выпучился. От внутренней злобы. И зад у нее тоже, знаете, заметно заматерел. Словом, по вкусу пришлась, и начались промежду ними свидания, щипки, цап-царапки нежные и все такое. Совсем ведьмой сделалась. С Кроваткиной помирились. Даже стала учиться по ночам на унитазе летать. Как ракетный двигатель. С помощью кишечного газа.

А когда Николая Николаевича в сумасшедший приют забрали, бросил ее сожитель. В беременном положении бросил.

И чтоб не платить алименты и Авдотьину ревность унять, в бессловесную тварь ее обратили соответствующего содержания. Она потом в норе крысятами разродилась. Семь штук принесла.

Может, и жалко ее. Но я лично вижу в этом факте настоящую аллегорию. Подтачивала устои морали — туда и дорога! — и даже очень жалко, что вы ей не попали ботинком по голове. Была бы прямая польза и справедливое возмездие. За Николашу. Как в «Анне Карениной». Хороший был человек.

Заболтался я с вами. Правильно, видать, Шестопалов болтуном меня обозвал. Да ведь легко сказать! От людского жилья отрезан. Слово вымолвить не с кем. Молчишь, молчишь целыми днями. И целыми ночами. Валенками по паркету шаркаешь.

Ладно уж. Только бы уйти отсюда. Я про самого Шестопалова такие истории знаю. Со смеху умрете.

Значит — решено! До завтра, значит. Слово даете? Ну-ну.

Я сейчас удалюсь, как пришел — незаметно. Вы, пожалуйста, не волнуйтесь. Никто нас не видал, никто не слышал. Шито-крыто.

---

---

4

Эй!

Сергей Сергеевич!

Пора.

Самое время!

Где вы? Куда подевались?

Ушел? Без меня ушел! Старика на растерзание бросил. Бездомного старика...

Что это? Что это? На полу валяется? Неужто помер? Сергей Сергеевич, родненький... Сердце бьется. Глазки моргают. Проснитесь! Бежимте отсюда. Сроки приспели. Сейчас звонили по телефону: Шестопалова ожидают на праздник. С минуты на минуту. Им теперь не до нас. Суетня, подготовка.

Что ж это вы, Сергей Сергеевич?.. А я-то думал... Как вам не стыдно! Еще слово давали... Нашли время... Не утерпели...

Как же вы в таком виде по улице пойдете? Вас в милицию заберут.

Всё одно — вставайте! У нас в распоряжении четыре минуты. Поднимайтесь, вам говорят!

То есть как это не в силах? Ноги отнялись? Не дурите!

Голубчик, давайте вместе попробуем. Приложите старания. Хватайтесь руками за шею. Ну! Еще раз. И тяжел же ты, братец. Стой-стой, не вались!..

Ш-ш-ш-ш! С ума ты сошел! Грохот по всей квартире. Догадаются — придут за нами. А я куда денусь? Я тебя сирашиваю или нет — мне что делать прикажешь?

Ну, чего ты бормочешь? Плевал я на твои извинения. Слышишь, слышишь?.. Кроваткина ухо к дверям прикладывает. Пропали мы. Сейчас Анчуткера позовет. Шестопалова...

Сергей Сергеевич! Сыночек! Выручай!.. Встань хотя бы на колени. Давай я тебе помогу. Вот так. Вот так. Теперь молись. Я сзади придержу. За плечи. Молись! Молись — тебе говорят, пьяная рожа!

Как это — забыл? Откуда я знаю? Это ты должен знать! Ты — человек, а не я. Тебе и карты в руки. А мне нельзя, не полагается.

Что же ты, Сергей Сергеевич, — с чертями живешь, о чертях рассказы записываешь, а молиться не научился?!

Ладно. Пускай лежа. Повернись на спину. Пойми же наконец, — это последнее средство... Стал бы я в другое время?! Сложи пальцы. Сначала ко лбу. Теперь — сюда... Ты зачем притворяешься? Врешь! Храпи-не храпи — я не поверю. Все ты прекрасно сознаешь, все понимаешь... Дьявол ты что ли на самом деле или кто?..

А это еще кто?! А-а! Ниночка? Здравствуй, Ниночка... Не бойся, не бойся. Не трону. Мне теперь все равно...

Вот! Полюбуйся на красавца. Твой супруг будущий. Третий по счету. В норе вместе поселитесь... Понюхай ему глаза, понюхай. Лизни. Он позволяет... Ему сейчас не до тебя. Мутит его, комната кружится. И чертики уже в глазах прыгают. И крысы.

Ну, вот и дождались. Идут всей гурьбой. Топочут по коридору. Сейчас ворвутся. Это они за мной пришли. И за вами тоже, Сергей Сергеевич. И за вами тоже. И за вами тоже.

1959

---

---

## ГРАФОМАНЫ

---

---

(Из рассказов о моей жизни)

---

---

...По дороге в издательство я встретил поэта Галкина. Мы сдержанно раскланялись. И я думал пройти мимо, как вдруг он, догнав меня, предложил съесть мороженое и выпить бутылку клюквенной за его счет.

Было жарко и душно. Пушкинский бульвар иссыхал. В воздухе чувствовалось дыхание приближающейся грозы. Мне это понравилось. Нужно запомнить, использовать: «В воздухе чувствовалось дыхание приближающейся грозы». Этой фразой я завершу роман «В поисках радости». Непременно вставлю, хоть прямо в гранки. Приближающаяся гроза оживляет пейзаж и звучит в унисон событиям: легкий намек на революцию, на любовь моего Вадима к Татьяне Кречет...

Я знал за Галкиным слабость: свои сочинения он готов читать кому угодно — даже контролеру в автобусе. Так и получилось. Пока я прохладился пломбиром и пил кислую воду, он успел на меня обрушить полтора десятка стихов. В них были «волосатые ноги», «пилястры» и «хризантемы». Больше ничего не запомнилось: обычная галиматья.

Стихи я не люблю. Они скверно действуют на мой ум, направляя его в ненужную сторону. Начинаешь думать в рифму, говорить в рифму, а это ужасно вредит — особенно в создании прозы. Я старался по мере сил не слушать Галкина и, чтобы отвлечь себя от поэзии, начал к нему присматриваться: наблюдения над человеческой внешностью могут всегда пригодиться.

Преодо мною качался на стуле типичный образец неудачника. Из почерневшего воротника торчала небритая шея. Толстые губы и силюснутый нос сообщали ему нечто овечье. Читал он неестественно, растягивая слова как в песне и закатывая от восторга белки. Он впал в состояние транса: его лицо перестало потеть, оно осунулось, приобрело серебристый, металлический отблеск.

Я боялся, что в кафетерии на нас обратят внимание, и предупреждающе кашлянул. Ничего не замечая, Галкин продолжал декламацию. Внезапно он споткнулся посередине строки и весь подался вперед, шлепая пустыми губами, хватая слово, вылетевшее из памяти, как хватают воздух утопающие перед тем, как пойти на дно. Вместо продолжения из него вырвался стон, полный боли и страсти: — М-м-м-ы-ы! — Он не смог застопорить голос и сокрушительно промычал: — М-м-м-ы-ы!

На этом все кончилось... Спустя мгновение Галкин уже говорил с нарочитой небрежностью:

— Как тебе нравится, старик? Как тебе нравится моя графомания?

Он скептически улыбался. Но я-то видел, я-то заметил: грудная клетка у него ходуном ходила и виски сильно пульсировали. На них уже проступили свежие капли пота — следы изнурения.

Я засмеялся и, спокойно посмеявшись сколько было нужно, — сказал:

— Очень странно, Семен, — сказал я. — Очень, очень странно. Ты что же, свои труды, — я нарочно сказал «труды», — считаешь за графоманию?

— Да! Считаю. Считаю, черт побери!

— И ты согласен, чтобы все, все без исключения, называли тебя графоманом? Прямо в глаза: графоман Галкин! здравствуйте, графоман Семен Галкин! Ни за что не поверю.

— И напрасно! — возопил он, чему-то радуясь. От радости он снялся с места и возбужденно приплясывал.

— И напрасно! И напрасно! Потому что нет никакой разницы. Да, да! Не спорь, я лучше знаю. Графомания! Болезнь — говорят психиатры. Неизлечимое, злое влечение производить стихи, пьесы, романы — наперекор всему свету. Какой талант, какой гений, скажи на милость, какой гений не страдал этим благородным недугом? И любой графоман — заметь! — самый паршивый, самый маленький графоманчик в глубине слабого сердца верит в свою гениальность. И кто знает, кто заранее может сказать? Ведь Шекспир или Пушкин какой-нибудь тоже были — графоманами, гениальными графоманами... Просто им повезло. А если бы не повезло, если б не напечатали, что тогда?..

С безотчетным волнением следил я за выкрутасами Галкина. Что-то в них привлекало меня и отталкивало, попеременно. Я не знал — балагурит он, как всегда, или рассуждает всерьез.

Но Галкин уже скис. Галкин водворился за столик и взял мороженое. Оно растаяло к тому времени, перешло в сметану. Он выскребывал, он вылизывал свой картонный, свой промокший насквозь стаканчик и приговаривал между делом:

— Мимикрия, Павел Иванович. Средство самозащиты. Я не лезу в гении. Но мне надоело. Понимаешь — надоело. Повсюду только и слышишь: графомания, графомания. Другим словом — бездарно. А я говорю им — не вслух, конечно, а про себя, в своей сокровенной душе говорю: — Подите вы все к чертовой матери! Есть же, например, пьяницы, есть развратники, садисты, морфинисты... А я, я — графоман! Как Пушкин, как Лев Толстой!.. И оставьте меня в покое!.. Хочешь, старик, я тебе почитаю что-нибудь романтическое? Из второй книги стихов. Ты знаешь мою вторую книгу?

Я прекрасно знал, что за всю жизнь Галкин не выпустил ни одной книги — ни первой, ни второй. Переводы, правда, кое-какие бывали и стишок один в провинциальной газете по случаю годовщины, а более — ничего. И знал я галкинскую привычку — воображать себя настоящим писателем, с путем развития, с хронологией. Вторая книга, пятая книга — по периодам. Тщеславное вранье графомана.

Мне не хотелось в ту минуту ставить его на место. Он выглядел таким несчастным. Я был готов из сострадания терпеть его вирини дальше. Но я спешил в издательство и мягко ему ответил:

— Давай лучше, Сема, в другой раз считаешь. А то мне скоро уходить. Меня ждут в издательстве.

И я рассказал вкратце, не афишируя, как обстоят у меня дела, в ту пору весьма обнадеживающие.

На Галкина моя новость не произвела впечатления. Или, быть может, из зависти он сделал вид, что не произвела.

— Эх! — сказал он, зевая и неприлично потягиваясь. —



Они тебя обещаниями двадцать лет кормят. Двадцать лет сулят напечатать, а ни одной книги не выпустили.

И снова влез на своего конька:

— В замечательной стране мы живем. Все пишут, пишут, и школьницы, и пенсионеры. С одним тут парнем познакомился. Роба — во! Кулаки — во! Говорю ему: «Вы бы, дорогой товарищ, лучше боксом занялись. Большие деньги получите. Слава опять же, поклонницы». А он свое: «Нет, — говорит, — у меня, — говорит, — другое призвание. Я рожден для поэзии». Понимаешь — рожден! Все рождены! Общепринятая склонность к изящной словесности. А знаешь — чему мы обязаны? — Цензуре! Она, матушка, она, родимая, всех нас приголубила. За границей проще, беспощаднее. Опубликует какой-нибудь лорд книжку верлибра, и сразу видно — дерьмо. Никто не читает, никто не покупает, и займется лорд полезным трудом — энергетикой, стоматологией... А мы живем всю жизнь в приятном неведении, льстимся надеждами... И это прекрасно! Само государство, черт побери, дает тебе право — бесценное право! — считать себя непризнанным гением. И ты можешь всю жизнь, всю жизнь...

Я поднялся.

— погоди! Пстой! Одну секунду! Вот мы с тобой здесь разговаривали, друг на друга смотрели, а про себя об одном и том же, все об одном и том же непрерывно думали. Каждый думал: ты — графоман, я — гений. Я — гений, ты — графоман.

— Меня, пожалуйста, графоманом не называй, — ответил я резко. — Себя можешь считать кем угодно, а меня не касайся!..

— Ну еще бы, еще бы...

Его плечи тряслись в бесшумном истерическом смехе.

Мы расстались сухо, без рукопожатий, так же, как встретились.

Молоденькая секретарша подняла точеную бровь.

— Страustin? Павел Иванович? — переспросила она, будто впервые слышала мое имя, и углубилась в ящик стола.

Дверь в кабинет редактора, обитая дерматином, была чуть приотворена. Кастрированный редакторский тенор, мне хорошо знакомый, доносился оттуда под унылую трескотню машинисток.

— ...С точки зрения композиции. Еще сильнее хромает с точки зрения языка. Солнце потело в тучах! Разве так бывает? Разве может солнце потеть? Да еще в тучах. Изучайте Чехова. С точки зрения сюжета — почему ваша Настя выходит замуж за Птицына? И почему был убит лейтенант, этот самый, как его звали?..

Второй голос ворчал, неуверенно сопротивляясь:

— Младший лейтенант Гребень. Под Вязьмой. Так оно и было на самом деле. Полная правда. Погиб ударом в живот. Фамилию немного исправил. Шпилькин звали. И Настя тоже была. Была такая Настя. Зинкой звали. Собрал жизненный опыт. Шестьдесят восемь лет. Полковник в отставке. Три войны, четыре ранения, две контузии в голову. Большой материал. Не пропадать же. На досуге приносить пользу. Композицию можно исправить. Язык переделать. Это вы правильно заметили. Солнце согласен вычеркнуть.

Как свой человек в издательском деле, я подмигнул секретарше:

— Кто это, Зиночка? Очередной графоман? Бедный Севастьян Севастьяныч! Литературу атакуют полковники, отставные кавалеристы...

Но та и бровью не повела, не пожелала войти в положение и даже не улыбнулась нисколько моей дружелюбной шутливости. Зиночка прихлопнула дверь, обтянутую дерматином, и, укладывая канцелярию в стол, официальным тоном ответила, что роман «В поисках радости» у них больше не числится. Якобы, неделю назад, отвергнутый издательством, он был переправлен ко мне домой вместе с критическим отзывом. Под этим фактом стояла подпись в книге курьера, в графе доставок.

— Вот посмотрите. Руку узнали? Ваша фамилия?

Руку я узнал и узнал горечь обмана и черную змею предательства, вписанную зелеными чернилами в графу доставок. «З. Страустина». Зинаида! Моя жена!.. Но сейчас мне было не до нее. Сейчас было важнее дать почувствовать этой вот Зиночке — смазливенькой секретарше — ее место в жизни и мое внутреннее достоинство.

Девчонка, доступная любому корректору, а в дневные часы — редактору, который имел обычай шлепать ее по спине, смеет меня учить! Шлепать по спине... Как человек, до конца отдавшийся высокому делу искусства, я был вполне свободен от этих низменных интересов. Но если бы мне посчастливилось напечатать «В поисках радости», я мог бы шлепать ее сколько угодно и она бы не возразила, и была бы еще польщена. Но я бы так не поступил, я бы придумал другое: я бы пригласил ее поначалу в Художественный театр, потом — в прекрасном светло-сером костюме, под реверансы лакеев расслабил бы ее до потери сознания сухим грузинским вином. Потом, расслабленную, веду ее под руку в гостиницу, где для крупного писателя в любой день и час есть номер «люкс», и там, под балдахином, продельваю над нею все унижительные процедуры, какие только можно представить. Не потому, что очень надо, а для одной справедливости. Тогда она поймет, с кем имеет дело. Тогда она не будет оскорблять человека, который гигантски выше ее, но не имеет пока возможностей доказать свое превосходство...

Дверь, обделанная дерматином, неожиданно распахнулась. Оттуда вылетел полковник в отставке — с белым ежиком на бронзовом черепе и непомерно развитой грудью. На нем были прицеплены различные ордена: орден Боевого Красного Знамени, орден Славы и еще другие. Встретишь такого на улице и ни за что не подумаешь, что он в свободное время приучает себя к романистике. Но теперь он был в поту и отдувался, как бронепоезд, а с тыла его преследовал выхолощенный редакторский тенор:

— Чехова изучайте! Тургенева! Толстого Льва Николаевича!..

Наступил удачный момент.

Я вылез из кресел и, наскоро пригладив затылок, крадучись двинулся к щели, образованной бежавшим полковником. Каких-нибудь пять шагов, немного холодной решительности, и редактор, сидящий в укрытии, был бы у меня в руках. Первая фраза в юмористическом стиле была уже заготовлена. Главное в этих случаях не выказывать робости, держаться непринужденно, с достоинством, на короткой ноге...

Но, видно, тот день проходил под печальной звездой. Цербер, следивший за мной, бросился наперерез. Дерматинный заслон очутился в распоряжении Зиночки раньше, чем я подошел. Статное тело молодой секретарши, годное для позора, преградило мне путь.

— Пустите, пустите! — вскричал я с надеждой, что нас услышит редактор. — Роман «В поисках радости» никем не мог быть отвергнут. Рукопись мне никто не возвращал. Это недоразумение, смешное недоразумение...

Я бы, наверное, в конце концов победил глупую девку. Но надо же было так случиться, чтобы в эту минуту в издательство собственной персоной ввалился писатель Б.

Мы начинали вместе, в одном литературном кружке. Над его лепетом тогда все хохотали. Он писал хуже всех, хуже, чем Галкин. И вот вам пожалуйста: через двадцать лет графман Б. — знаменитость, хотя за этот срок он исписался вконец и у меня не было сравнений, чтобы выразить крайнюю степень его бездарности.

Он был в прекрасном светло-сером костюме, с тростью из слоновой кости, его большая сытая морда, большелобая, толстощекая, излучала спокойствие и прохладу в разогретую атмосферу. Но я-то знал, что это за птица, и не мог сносить равнодушно его присутствие, вытеснявшее меня из комнаты, как солнечный свет вытесняет звезды с утреннего небосвода... Небосклона... Я чувствовал, что я исчезаю вместе с моими смятыми брюками, растворяюсь в пропотевших носках, таю в бледной улыбке, которая трусливо вылезала на мои соленые губы вопреки сознательному намерению.

Еще немного, и Б., чего доброго, снисходительно загово-

рил бы со мною о жене, о детях и предложил бы займы 50 рублей в память о нашем знакомстве. Чтобы совсем не исчезнуть в его глазах, выжидающих терпеливо, когда я первый повернусь к нему поздороваться, мне пришлось ретироваться. Я сказал дипломатично, будто что-то припоминая:

— Вот какое дело, — сказал я. — Передайте, Зиночка, вашему начальнику — у меня нет времени. Нет времени с ним сегодня беседовать.

Но она уже тянулась всем телом в направлении писателя Б. Она кивала ему навстречу всеми своими завивками. Я не стал смотреть в ту сторону, куда она устремлялась, и не поворачивал головы...

На лестнице моих ушей коснулся подозрительный смех. Зиночка взвизгивала так весело, точно ее щекотали. Ей вторило львиное рыканье преуспевающего графомана. Вскоре к их голосам присоединился третий. Должно быть, это редактор выбрался из засады и, шлепая Зиночку по спине, изогнутой в смешливом припадке, сам понемногу стал издавать слабые звуки...

Я надкусил себе левую кисть, мстя за унижение, которое они мне причиняли. Яркий отпечаток зубов проступил на синей коже в виде белого ожерелья. В двух или трех углублениях показалась кровь.

От этой глубокой боли мне сразу сделалось легче. Я вздохнул и подумал, что когда-нибудь я напишу книгу, где выведу это трио в сатирических красках. Тогда они поймут, с кем имели дело, но будет поздно.

Хорошо было классикам XIX столетия. Они жили в тихих усадьбах, имели постоянный доход и, посиживая на стéкланной веранде, промеж балов и дуэлей, писали свои романы, которые немедленно публиковались во всех уголках земного шара. Они от самого рождения знали иностранный язык, обучались в лицеях различным литературным приемам и стилям, путешествовали за границу, где пополняли свои мозги свежим материалом, а детей, детей они сдавали на попечение гувернантки и жен отсылали на танцы или к портнихе или запирали в деревне.

А тут попробуй — возбуди вдохновение, когда организм просит есть и голова забита мыслью, как попасть в необходимую точку, как пробиться сквозь преграды, возведенные на твоём пути проходимцами-графоманами, которые вошли в литературу темным путем и замуrowали за собою все входы и выходы. Где взять трехразовое питание? А еще — за газ, за электричество, и прохудились подметки, и рассчитаться с машинисткой за двести страниц машинописного текста, по рублю за страницу...

О, мизерность существования!..

Гляжу на себя и удивляюсь. Неужели этот гениальный

мозг, это пылкое, неукротимое сердце воспитались на тухлых котлетках? Я не преувеличиваю: тухлые котлетки и ничего больше за целую жизнь. И нет никакой стеклянной веранды, нет элементарного письменного стола для написания хотя бы вот этой фразы, и пока пишу ее, над моим склоненным затылком с верхнего этажа дудит на трубе трубач, репетирующий одну и ту же пустую мелодию по пяти часов кряду, без перерыва.

Когда писался роман «В поисках радости», я затыкал уши ватой и обматывался вокруг полотенцем, я прикрывал глаза ладонью и работал вслепую, чтобы не видеть удручающие следы на стене — следы клопов и маслянистые пятна, и, напрягая силу воли, абстрагировался от кухонного запаха и от трубных звуков, проникавших в мое сознание сквозь вату и сквозь полотенце. Сравните после этого меня с Львом Толстым, сравните с Иваном Тургеневым! Я не знаю, кто из них, из классиков, согласился бы на мое предложение: пусть меня напечатают, а потом пусть я заболею и сразу умру, так и не изведав как следует всей посмертной славы. Издайте одну только книгу (лучше всего, если это будет роман «В поисках радости»), а потом убейте или сделайте со мной что хотите — я приму любой ультиматум, а кто из вас пошел бы на такие условия?

...Жены не было дома, она еще не вернулась с работы, а дома сидел один Павлик, он сидел на кровати, свесив ножки, и рисовал в своем альбомчике. Я предложил Павлику выбрать для рисования другое место и лег на кровать, чтобы передохнуть от жары и привести нервы в порядок. С минуты на минуту могла прийти Зинаида, и я мог хорошо представить, как выскажу ей все что имею, а также меня волновала одна проблема, куда она спрятала пакет, адресованный лично мне и утаенный ею в мое отсутствие вот уже неделю, не говоря ни слова. Тем более, что точной копии я не имел, и это был, можно сказать, единственный экземпляр наиболее полного варианта, и каково было бы его вдруг утратить?

Из состояния задумчивости меня вывел Павлик. Он подлетел к изголовью и молча выложил мне на грудь рисовальный альбомчик, в котором на этот раз было что-то написано.

В прошлом месяце заботами Зинаиды он едва-едва научился писать, и я не думал, что найду в альбомчике готовое сочинение — первый, с позволения выразиться, рассказ моего сына, выполненный карандашом, печатными буквами, по линейке. Во избежание недомолвок я приведу текст целиком, не изменив ни слова и лишь устранив грубые орфографические ошибки.

В один солнечный день. Около лесного болота, где трава росла очень густо, мелькали маленькие пятна. Это были карлики величиной с палец. Они хотели сделать около болота свой город. Первым делом они резали и пилили траву. Карлики были завернуты в листья. Карлики были разделены на бригады. Вторым делом они собирали траву в кучи. Третьим делом они плели из травы. Четвертым делом они утрамбовывали землю. Одним словом, у них было много дела.

— Это ты сам сочинил? — спросил я строго.

Павлик стоял, словно привинченный к железной ножке кровати, с виноватой улыбкой на губах и безмолвствовал. Бледные щечки горели огнем незрелого честолюбия. Мне было нелегко вонзать в юную душу холодный скальпель хирурга, но я хорошо понимал мой долг — произвести операцию тут же, пока не поздно и он еще ребенок и не почувствует.

— Похвально, что ты умеешь писать, — сказал я, осмотрев критически его каракули. — Переписывай, если хочешь, крупный шрифт из газет, заглавия книг, имена птиц и животных. Это не повредит. Но зачем ты записываешь всю чепуху, какая лезет в голову? Дай мне слово, Павлик, никогда больше так не делать, не сочинять никаких сказок ни про каких лилипутов. Это глупо и стыдно, и над тобой все станут смеяться и будут тебя дразнить, если узнают...

Я вырвал из альбомчика листок с рассказом и, демонстративно скомкав, сунул в карман брюк. Личико Павлика оказалось, он молча глотал слюну и норовил зареветь.

— Когда ты вырастешь, Павлик, и прочитаешь толстые книги, которые сочинил твой отец, ты поймешь, что это не простое дело и тут нужен талант, а может быть, даже гений. Подумай — что получится, если все начнут писать? Кто же тогда работать будет, кто будет читать, когда кругом одни писатели? Нет, давай поделим поровну: я буду писателем, а ты — инженером или музыкантом. Папа — писатель, а Павлик — летчик, Павлик — великий полководец, моряк, знаешь, как это весело — «по морям — по волнам, нынче здесь — завтра там»...

Я встал, прогулялся по комнате и снова возлег на кровать. Как объяснить шестилетнему ребенку, еще дошкольнику, всю сложность создавшейся ситуации? Не вводить же его в курс теории вероятности, в курс теории наследственности?

Не скрою: мне было отраднo в первый момент. Все-таки — моя природа, моя литературная кровь. Значит, я что-то стою, если даже семья мое, брошенное на произвол судьбы, прорастает кривыми буквами по детской рисовальной бумаге...

Но я хорошо знал, что писатель не рождает писателя и у гениев не бывает потомства. Дети Льва Толстого не имели

права писать. Дюма — не в счет: оба никуда не годятся, особенно Дюма-сын. А Зинаида имела глупость назвать сына Павлом. Она меня никогда не любила. Павел Страустин — на кошках, на обложках, у всех на устах. Через двести-триста лет поди разберись — кто тут я, а кто тут — он — графоман?

К тому же, если вдуматься: люблю я его, в конце концов, или нет? Во имя любви к сыну я был просто обязан. Порочные наклонности в детстве. «На первой ступени — рюмочка вина, на последней — разбитая жизнь». Предотвратить! Да, да! Только поэтому. Для него же самого будет лучше...

— Ты слышишь, Павел? Я запрещаю! Если ты еще когда-нибудь...

Потом, в утешение, я рассказал, что подарю ему скоро настоящую пишущую машинку. Как только издадут мою книгу и мы ужасно разбогатеем, мы купим такую машинку. Нажмешь кнопку — вылетит буква и сама отпечатается на бумаге. Все буквы подряд и знаки препинания. Почти как в книге. Павлик научится печатать, пройдет грамматику и сможет аккуратно копировать папины рукописи. Полный сундук, что стоит в коридоре, и новые, прямо из-под пера. На машинистку нужны деньги, много денег. А Павлик ее заменит, и у нас в доме появится свой фамильный машинист.

— Ну, поцелуй папу. Развеселись, пожалуйста, и поцелуй папу!

На этом поцелуе пришла Зинаида. Она с порога стала мне выговаривать, что лежу в пыльных ботинках на чистой постели, а дома нет ни хлеба, ни чая, ни сахара, ни чего-то еще. Тогда, не вставая, я спросил ее прямо в лоб, где издательский экземпляр романа «В поисках радости» и почему она об этом ничего не сказала раньше.

Началась перебранка.

Когда я вижу Зинаиду, мне в голову приходит вопрос: неужели эта чужая, немолодая, некрасивая женщина, истощенная женскими болезнями, одетая кое-как и вечно спешащая куда-то, — моя жена и как это могло получиться? А ведь десять лет назад она меня любила и верила в мою звезду, восхищалась каждым словом, созданным мною, и говорила, что редакторы, меня не печатающие, ничего не понимают в искусстве. Ведь это ее образ, исполненный порыва и страсти, с развевающимися волосами цвета спелой ржи, запечатлел я по памяти в образе Татьяны Кречет, переделав только имя, чтобы читатели не догадались, и поместив ее в иную историческую среду. А теперь она готова изорвать роман на клочки, и совсем не интересуется больше моими дальнейшими планами, и говорит, сидя на стуле — нарочно в усталой позе, мотая тощей ногой в обвисшем дырявом чулке:

— Лучше бы ты был алкоголиком. Морфинисты — лучше. По крайней мере — просветы. Любят своих жен, ласкают своих

детей. Никакого внимания. Ты занят одними художествами. Сливочного масла. Четыре месяца без работы. Тащить на себе дом. Не видеть мяса. Если бы жена тебе изменяла, ты бы даже ничего не заметил. Безжалостный кирпич. Сахар кончился. У Павлика малокровие. Поди сюда, Павлик. Папа нас не любит. Поди ко мне.

Павлик, шмыгая носом, оставил мою кровать и направился к стулу, на котором она сидела, а я подумал, что это был бы выход, если бы Зинаида мне с кем-нибудь вдруг изменила и кто-нибудь другой взял бы ее замуж. Но кто ее возьмет — некрасивую, в продранных чулках, с шестилетним ребенком? Она будет висеть у меня на шее до самой смерти. Если бы она умерла, в комнате стало бы тихо, просторно и можно было бы по вечерам спокойно писать. А Павлик пускай живет, он — тихий вежливый мальчик и мешать мне не будет. Когда он вырастет, ему поручат весь мой архив или даже музей, как это делают обычно с детьми знаменитых писателей.

— Павлик, поди сюда. Зачем ты меня покинул? Разве ты папу не любишь?

Он спрыгнул с колен Зинаиды и послушно прибежал на кровать. Лаская его трепещущие остроконечные лопатки, я сказал жене, что Стендаля в свое время тоже травили, что книги мои будут иметь резонанс, может быть, через триста лет, и пусть она сейчас же возвратит рукопись, которую все равно когда-нибудь прочтут и оценят, но будет поздно. Зинаида бесновалась на стуле, всхлипывая и причитая:

— Павел, не смей слушать этого человека! Неужели этот человек тебе дороже матери? Беги скорее ко мне! А ты, Павел, маньяк. Тебя надо лечить. У тебя одно на уме — войти в историю. У тебя нет мужества быть простым смертным. Но ты бездарность, вот ты кто! О, я несчастная!..

Она театрально ударила головой о штукатурку и, вызвав искусственный кровоподтек, заскулила еще звонче. Понятно, что шестилетний малютка не сумел разглядеть симуляцию. Он выскользнул из моих объятий и очутился у нее в руках. Я тоже разволновался, и мы начали кричать друг другу все, что имели, ведя борьбу за сердце сына, переходившего из лагеря в лагерь, из рук и руки.

— Павлик, не смей! Павлик, вернись! Это же я, твоя мама. А я твой отец, я твой отец. Поди сюда, Павел. Нет, иди ко мне. Не ходи к ней. Не ходи к нему! Павлик! Павел!

А он бегал от кровати к стулу и обратно, сгорбленный, молчаливый, невзрачный, и он мелькал по всей комнате так быстро, что казалось — их много, деловито суетящихся карликов, и у них было много дела, как было написано в рассказе, который сочинил Павлик. Наконец Зинаида схватила его в охапку и больше не выпустила. Он порывался уйти



из плена, слыша мои призывы, но с ним началась икота, он громко и часто икал и никак не мог остановиться.

— Вот видишь — до чего ты его довел! — прошипела Зинаида, как будто в этом была не ее вина, и ушла, цепко держа Павлика, чтобы он не сбежал. Но хотя она насильно захватила у меня ребенка, все же победа частично осталась за мной, потому что, уходя, Зинаида нагнулась и вытащила из-под шкафа драгоценную рукопись, которую я уже считал погибшей.

— На! Подавись! — воскликнула она и, размахнувшись, метнула ее одной рукой прямо в меня. Роман «В поисках радости» угодил в спинку кровати и рассыпался на листы. Я кинулся их подбирать.

Вот она и возвратилась к своему создателю, эта книга, испытавшая столько бедствий на пути к славе. Она была облеплена пылью, с перепутанными листами, и некоторых страниц, как я сразу заметил, не доставало, а многие были смяты, разорваны или изуродованы снизу доверху синими редакторскими пометками. Я взял наугад 167-ю страницу и прочитал: «У края обрыва стояла Татьяна Кречет, ее золотистые волосы цвета спелой ржи развевались по ветру». На полях против этой фразы синим карандашом был выведен вопросительный знак.

Я сел на пол и вдруг заплакал и, плача, говорю, обращаясь к Павлику, который, как мне чудилось, все еще здесь присутствует:

— Теперь ты понимаешь, почему я запретил тебе сочинять рассказы? Теперь ты понимаешь?

А еще, тоже плача, я говорил Зинаиде:

— Допустим — я графоман. Но кому до этого дело? Кому это мешает?

Но Зинаида давно ушла, я был один, и никто, по счастью, не мог наблюдать мою минутную слабость.

Когда я пришел к нему в первом часу ночи, пришел в чем был, при одном портфеле, Галкин еще не ложился.

— Давно пора! Либо — семья, либо — искусство. Придется выбирать, — горячо поддержал он мою идею расстаться навсегда с Зинаидой.

Комната его, к удивлению, оказалась просторной и сравнительно чистой, но вещи в ней имели непривычное расположение: чайник стоял на полу, настольная лампа — тоже, а стол был занят прессом и всяким хламом. На электрической плитке в бритвенном тазике грелся столярный клей.

— Вот, Павел Иванович, переплетную мастерскую налаживаем. В качестве отдыха и развлечения. Книжки житья не дают...

Книг у Галкина было до потолка, полки прогибались дугой. Я вытянул машинально одну: Константин Федин «Первые радости» и «Необыкновенное лето».

— Не читал! — сказал сердито Галкин. — И тебе не советую.

Я вообще, откровенно тебе скажу, — книг почти не читаю. Я их пишу. Зачем нам читать, когда мы сами писатели, сами можем в любой момент сочинить все что угодно... Вот посмотри...

Он подвел меня к полке, где одна, лишь одна секция была покрыта стеклом, и вынул из-под стекла книгу в пестрой обложке без заглавия, совсем новенькую по виду. Взглянув на титульный лист, я обмер:

Семен Галкин  
ВО ЧРЕВЕ КИТОВОМ  
Девятнадцатая книга стихов  
Москва — 1959

Мне хотелось взамен поздравления сказать ему колкость. Наверное, дал взятку, подкупил редактора, чтобы протиснуть незаконно в печать свой сивый бред. Но Галкин меня опередил. С нескрываемым торжеством он произнес:

— Посмотри выходные данные. Каков тираж!

На обороте последней страницы мелким шрифтом было набрано: Редактор С. Галкин. Художник-оформитель С. Галкин. Технический редактор С. Галкин. Наборщик С. Галкин. Тираж 1 экземпляр.

Я медленно рассмеялся. Сначала — неуверенно, потом, постигая истину, — громко, дружелюбно, от всей души. Подделка была блестящей. И хотя у меня пальцы прыгали от пережитого чувства, я перелистал ее от корки до корки и даже понюхал бумагу. Я выразил, не таясь, свое восхищение автору. Особенно мне понравились запятые — такие крохотные, аккуратные, ну совсем, совсем настоящие запятые.

— Тебе бы фальшивые деньги печатать! Талант зря пропадает, — сказал я ему шутливо и ткнул под ребро. — Да что у тебя, Сема, своя типография, что ли? Чем это сделано?

— Китайская тушь разбавленная и акварель, — ответил хмуро Семен и с непонятной поспешностью отобрал у меня книгу — единственный экземпляр. — Ну, хватит, старик! Пойдем спать...

...Я пробыл у Галкина три дня. Он кормил меня бутербродами с колбасой и поил досыта сладким чаем. Но его манера жить мешала мне думать и отвлекала от сложной работы по ремонту рукописи. Планомерно, фраза за фразой, я припоминал и восстанавливал текст, изъятый из моего романа стараниями злопыхателей, а Семен, шутя и болтая, пек свои переводы.

— Довольно чесать языком! Еще писатель называется! — не раз возмущался я его способностью вечно плести всякую чушь.

Но у Галкина на этот счет имелись дурацкие доводы. Титанический труд писателя состоял, по его понятиям, в том, чтобы разговориться. Писатель болтает с друзьями, мелет в черновиках, повторяет избитые фразы, спотыкается, несет околесицу. И вдруг — ляпает! Ляпает то, что взбрело в голову, под-

вернулось на язык. И это самое главное: проболтаться нечаянным словом, в котором весь мир увидит отныне, как любил высокопарно говорить Галкин, свой самый верный, самый точный синоним.

По временам он смолкал и, развесив пухлые губы, сидел неподвижно минут пятнадцать с идиотическим видом — форменная копия овцы или, правильнее сказать, барана. Меня зло брало в таких случаях за испорченное вдохновение, за то, что — разговорами ли своими, внезапным ли столбняком — он приковывает мое внимание, не давая сосредоточиться. Тогда я ронял на пол какую-нибудь вещь — карандаш, или ножницы, или один раз, для опыта, тяжеловесную рукопись — роман «В поисках радости». Галкин не реагировал. С оттопыренной нижней губы ему на воротник свисала паутинка слюны.

Особенно жалким он бывал ночью, когда, проснувшись и разбудив меня громким бормотаньем, он без штанов кидался к столу и, почесывая невымытые ноги, строчил за страницей страницу, а потом рвал на мелкие части и, покачнувшись, как пьяный, валился спать. Днем он тоже порядочно изводил бумаги...

— Ты знаешь, старик, — говаривал Галкин, глупо и широко улыбаясь, — чем больше я работаю, тем лучше понимаю: все самое лучшее, что я сочинил, принадлежит не мне и написано, черт побери, вроде бы не мною. А так, пришло в голову со стороны, залетело из воздуха... Вот говорят: «запечатлеть себя», «выразить свою личность». А по-моему, всякий писатель занят одним: са-мо-ус-тра-не-ни-ем! Для того и трудимся в поте лица, вагоны бумаги исписываем — с надеждой: устранить, пересилить себя, дать доступ мыслям из воздуха. Они возникают сами собой, помимо нас. Мы только работаем, только работаем, только идем, идем по дороге и дорогу им время от времени, перебарывая себя, уступаем. И вдруг! — ведь это всегда бывает сразу и вдруг! — становится ясно: вот это ты сам сочинил и потому никуда не годится, а это вот — не твое, и ты уже не смеешь, не имеешь права ничего с этим поделать — ни изменить, ни улучшить. Не твоя собственность! И ты отстраняешься с недоумением. Оторопь берет. Не перед какой-то там красотой совершенного. А просто испуг перед своей непричастностью к тому, что произошло...

Я внимательно слушал откровенные признания Галкина. Они показались мне очень даже интересными. Вот так так! Не считает своей собственностью? Это надо учесть... Кто же тогда сочинитель?.. У кого он все это заимствует?.. События подтвердили мои наихудшие опасения.

В гостях у Галкина часто терлись личности темного вида. Они являлись запросто, усаживались без приглашений, и по всему было заметно, что этот дом служит им штаб-квартирой или перевалочным пунктом на извилистых литературных путях.

В первое же утро пришла особа лет сорока восьми — сорока девяти, стриженная под мальчика и говорившая о себе в мужском роде. Вместо: «я пришла» она говорила «я пришел», «я хотел».

— Я принес новую пьесу. В пяти актах, — процедила она и подала Галкину левую руку в облупившемся маникюре. Нога на ногу, обхватив переплетенными пальцами вздернутое к подбородку колено, она курила непрерывно, шурясь от слезоточивого дыма, и, кривясь, перекаtywала вдоль рта зажеванную папиросу дешевой марки «Прибой».

По ее уходе Галкин дал аттестацию:

— Корректор. Служила в толстом журнале. Уволена за политический ляпсус. Пишет пьесы криминального направления. Очень остро критикует министров, высшую бюрократию. Не печатается исключительно по цензурным условиям. Была первой женой известного скрипача-педераста.

Затем был визит учителя ботаники, лысого, анемичного, при малахитовых запонках, с доброй придурковатой улыбкой всеобщего любимца девочек в пятых и шестых классах средней школы. Он провел у нас четыре часа с лишним: они клеили из картона странную фигуру наподобие морского ежа. Как потом объяснил Галкин, это была книга, тоже книга! но раскрывающаяся по типу гармошки и покрытая изнутри стихами абстрактного содержания. Другие книги — в форме куба, пирамиды и яйца — были выполнены месяцем раньше при содействии того же Галкина, видевшего в этих изделиях новый синтез поэзии, живописи и скульптуры.

Мне хотелось избавиться от незваных гостей и помочь в этом хозяину. Куда ему роль мецената всех графоманов, всех бездарей и неудачников? Сам — графоман, сам — неудачник!

— Ты ничего не понимаешь! — кипятился Галкин. — Ты пишешь длиннющие романы о революции, о гражданской войне... Сколько тебе было в девятнадцатом году?.. А здесь у тебя под носом бушуют страсти, достойные кисти Шекспира... Шейлоки, ягуары! Ах, если бы я был драматургом!

Он гарцевал по комнате, лохматый, похожий на овцу, вздвигнутую на задние ноги, и спотыкался о чайники и стаканы, расставленные на паркете будто на скатерти. С верхних полок от его топанья падали на пол книги, испуская клубы пыли, а он попирал книги ногами и угрожающе восклицал в потолок:

— Подожди, Страustin! Ты увидишь! Мы соберемся вместе... В полном составе... Боже! Какие люди живут в нашей России! И они живут напрасно и бесполезно умирают...

Вскоре я получил возможность наблюдать это зрелище, достойное кисти Шекспира. Народу набилось человек двадцать — двадцать пять — тридцать. Стульев на хватало. Сидели на подоконниках, на энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона...

Здесь были представители всех сект, поколений и направлений: старухи в чеховских пенсне, пишущие о свинофермах, и мальчики-неофиты в пушкинских кудрях, работающие под Есенина. Тут же вертелся мой старый знакомый — полковник в отставке, при всех орденах. У него был контакт с парнем в рваной тельняшке. От парня пахло спиртом, тюрьмой и самоубийством. Он застенчиво косился на чистую публику, полковник его ободрял:

— Брось, Гриша!.. Со мною не пропадешь...

Руководил собранием Галкин. Он чувствовал себя именинником и, едва все расселись, попросил слова для небольшого, как он выразился, приветствия.

— Просим! Просим! — крикнула сочинительница криминальных пьес.

— Просим! — промямлил по ее примеру учитель ботаники, конфузливо зажавший в коленях синтетическое произведение — муляж морского ежа.

— Дорогие коллеги! Товарищи графоманы! — начал громоподобно оратор. По комнате пронесся дружный ропот негодования.

— А сам ты кто? — рявкнул полковник в отставке.

Но Галкину только того и надо было. Он провел аналогию между графоманом и гением и тем успокоил присутствующих. Он назвал графоманию основой основ и началом начал и назвал ее болотистой почвой, откуда берут истоки чистейшие родники поэзии. Эта почва, говорил Галкин, переполнена влагой. У нее нет выхода, говорил Галкин. Придет время, говорил Галкин, и она хлынет из недр и затопит мир. Кто был ничем, говорил Галкин, тот станет всем, и пусть не хватит на всех бумаги, мы покроем стены домов и голые панели улиц текстами в стихах и в прозе, говорил Галкин.

Собрание отвечало сочувственным шумом. Но я видел: среди графоманов обнаруживается нетерпение. Уединялись в углы. Составлялись союзы по два, по три лица, и пока один автор читал вслух какое-нибудь свое сочинение, другие, переминаясь, ждали. Каждому хотелось. Галкина уже никто не слушал...

— ...Над нами небо с улыбкой женщины и фиолетовое как чернослив лейтенанта по имени Гребень покоилось на зеленой траве. Генерал Птицын, не утирая скупых солдатских слез, градом катящихся по его щекам, скомандовал: — Я вас люблю, милая Тоня, — и губы их слились в огненном поцелуе. И он почувствовал в душе такую ватрушку с творогом, да пироги с грибами, да полдюжины крепких, студеных как сосульки огурчиков, пахнувших свежим укропом и засоленных ранней весной, когда хочется плакать от счастья вместе с природой и восклицать: — О, Русь! Куда несешься ты? — благоговая первый, пушистый, нежный, розовый снег на черную,

грязную, скользкую, проезжую дорогу. Румяной зарею покрылся восток, и ты, Вячеслав, полагаешь, что министр не знает об этом? Министр покрывает преступников, но зачем же, Вячеслав; ты крепко ручку мою жмешь, глазами серыми ласкаешь, а на сближенье не идешь?

Всякий теперь выкликал свое. Собрание распалось на группы, группы — на единицы, единицы — на части. Красные, вспотевшие лбы. Хаотические прически. Руки, втыкающие восклицательный знак и выковыривающие из пустоты запятую. Бешеная жестикуляция ртов, слюнявых, пенистых, наполняющих воздух грубыми звуками.

— Комбайн, комбайн, Настя. Липы цвели, золотяпистых не счесть в петухах. Пограничник из хрусталя, горцы на бескозырке. Игорь, свирепая, молчал. Замминистр березовой рощи. Ихоч икотца наждаком фиалки. Ибо поле пашут тракторами. Вызвали секретаря. Секретарь райкома Лыков пухежиллся на рассвете Днепра. Ветчина в грунте, заря впереди. Горит, горит! Недаром! На груди шептунчик. Юбовь, юбовь, ской ты пикасна! Липы цвели. Тюлень жасминовый до горизонта. Линуясь произнесла: Ура! Ребята! Не Москва ль за нами? Рём же по капитану!

Вдруг посреди сумбура сверкнула фраза, заставившая меня вздрогнуть и обернуться. Кто-то сказал:

— В воздухе чувствовалось дыхание приближающейся грозы...

Она сверкнула, как молния, и потонула во мраке слов, клубящихся надо мною, и, стремительно обернувшись, я не мог понять, который из этих лопочущих ртов только что произнес цитату из моего романа «В поисках радости». Но ошибиться я тоже не мог, потому что лишь вчера вписал в текст фразу о приближающейся грозе — именно в том варианте, в каком ее здесь повтори.

И вот опять, в подтверждение ужасной догадки, другой голос в другом конце комнаты негромко, но внятно сказал:

— Возду... чуста... хани... жаю... зы...

Сомнений быть не могло: меня обокрали, у меня похитили мою жемчужинку.

Я не медля протолкался к Семену. Тот в позе Наполеона взирал на вакханалию. Вдавленными своими ноздрями, толстогубыми губами, вытянутыми дудочкой, он жадно впитывал все слова и звуки, летавшие суматошно по воздуху. Он так был поглощен этим делом, что даже не заметил меня. А я в ту минуту, я — прозрел и с ясностью художника, постигшего внезапно всю подлость жизни, я прочитал интуитивно все то, что было написано на жадном лице Галкина.

Именно он, Галкин, и никто другой, был главным виновником моей потери. Недаром он вчера разводил философию, что, дескать, все мы ничего хорошего сами не сочиняем, а луч-

шие мысли приходят на ум из воздуха. Недаром он и сейчас прислушивался ко всему: завтра использует и скажет: «не моя собственность», «случайно пришло в голову, подвернулось на язык». С такою же легкостью он отдал своим друзьям-графоманам мою золотую жемчужину. Наверное, подсмотрел в рукописи, пока я спал или ходил в уборную... И вот она ходит по рукам, как разменная монета, среди шулеров и мошенников...

Я подергал Галкина за рукав и с ехидством спросил:

— А тебе, Семен, не хочется записать? Чтобы не забыть и завтра использовать...

— Хочется! — сказал он, даже не покраснев. — Хочется! Но ведь я не драматург и, к сожалению, не прозаик. У меня не получится... Вот на твоём бы месте, Страустин, я бы сочинил что-нибудь подобное... Рассказ, или ещё лучше — повесть, роман, эпопею! Я бы назвал её «Графоманы»! Эпопею про неудачных писателей. Материал, материал-то какой пропадает!..

Видя, что он уклоняется, я спросил — тоже достаточно иронически:

— А как тебе покажется, Семен, такая фраза?.. Мне сейчас довелось услышать...

И я процитировал финальный аккорд из моего романа: «В воздухе чувствовалось дыхание приближающейся грозы».

Но Галкин опять не покраснел.

— Плохая фраза, — сказал он хладнокровно. — Избитая, старая, как двугривенный... Но разве в этом суть? Дело не в том, как они пишут, а как они жаждут!..

Толковать с ним было бессмысленно. Он прикинулся, что не улавливает моих намеков, и вновь начал ораторствовать:

— Неудачники? Все — неудачники! Всякий человек — неудавшийся гений! Но только мы, мы неудачники, постигшие всю глубину наших гениальных возможностей, только мы знаем... И только в нас, в нас самосознание человечества...

Галкин обращался ко всем. Но графоманы были в азарте. Они вели игру, передергивая слова, перехватывая друг у друга карты, и ничего не замечали. Мое сердце наполнялось презрением. Они украли у меня драгоценность, и назвали её двугривенным, и пустили её в оборот, чтобы повысить шансы. Это им не помогло. Они все проигрывали, отчаянно проигрывали, они буквально разорвались у меня на глазах...

В ту ночь мне не спалось. Я положил под голову мою ограбленную рукопись, чтобы Галкин не произвел новых опустошений. Теперь я мог в течение ночи безотрывно контролировать затылком её нетвердую жесткость. Мне было ясно, что у Галкина оставаться дальше нельзя.

Хозяин преспокойно храпел на письменном столе, соорудив ложе из книг, пальто и единственной в доме подушки. На тахте, где спал обычно Галкин, растянулся учитель ботаники. Ему нужно было в школу к первому уроку, и он не поехал к себе в Фили и остался здесь ночевать. Его присутствие тоже меня не радовало. Я подвинул к дивану лампу и, раз уже мне все равно предстояла бессонница, взял Константина Федина — «Первые радости» и «Необыкновенное лето».

Слог показался мне вялым, а сюжет скучным. Как большинство современных авторов, превративших литературу в неприступную крепость, Федин не обладал ни умом, ни талантом, ни знанием предмета, о котором пишет. Он рассказывал о революции и гражданской войне, ничего в этом не смысля. Но некоторые слова и выражения, если к ним приглядеться внимательнее, выделялись в лучшую сторону и были вроде бы мне хорошо знакомы. Приглядевшись внимательно, я в них обнаружил близкое сходство со мною — с моими книгами разных периодов, все еще не опубликованными.

Например, Федин писал: «Дорога привела на обширную садовую и огородную плантацию». В моей же повести 1935 года «Солнце встает над степью» была — я отлично это помнил — такая фраза: «Дорога привела на обширное поле, засаженное яблонями». Только у меня эти яблони, помнится, цвели и блистали на солнце розовыми лепестками. А Федин, чтобы скрыть плагиат, ликвидировал всю красоту на моих цветущих деревьях и тем неизмеримо ухудшил эту сцену. Но все же мои крупницы, даже в искаженном виде, помогли ему быстро сделать блистательную карьеру, и теперь без зазрения совести он потреблял плоды славы, которые по праву принадлежали мне одному.

Как проклинал я мою доверчивость! Мои рукописи пребывали без движения в издательствах, чтобы через месяц и более вернуться ко мне назад — с выщипанными страницами и неизменным отказом. А пока я страдал в ожиданиях, ловкие руки разных Галкиных, Фединых умело их обрабатывали и пускали в ход под чужими, под фальшивыми именами...

Я встал с постели и, обшарив полки, набрал кучу книг, выпущенных в последние годы. И в какую бы книгу я ни смотрел — открыв на середине — Леонова, Паустовского, Фадеева, Шолохова, — всюду я наткнулся на мои следы, погруженные в массу глупого, ни на что не похожего текста. Даже у Франсуа Мориака — при самой беглой проверке — я нашел четыре детали, заимствованные из одного моего юношеского рассказа под названием «Человек», и я долго ломал голову, как же это произошло, пока не догадался, что похитители могли ведь и через границу переправлять копии с моих произведений...

Я был столь обескровлен всеми этими впечатлениями, что под утро невзначай задремал и мне приснился кошмар. Мне снилось, что я сплю, а в мою черепную коробку, сквозь заты-



лок и мозжечок будто бы врезается бумажный лист, испещренный машинописными знаками. Я смотрю в этот лист перевернутыми к затылку глазами и напрягаюсь прочесть, что там напечатано, и от этого будто бы в моей личной судьбе все зависит. А слепые абзацы то выступают передо мной на мгновение, то померкнут, то выступают, то опять померкнут, и ничего не получается. Я долго мучился, так и не разобрав, что там было написано, и, когда пробудился, голова у меня затекла и шея ныла, и на часах было уже четыре часа дня.

Учителя ботаники и след простыл, а Галкин сидел одетый за столом и что-то быстро писал — все то, вероятно, что успел запомнить из вчерашнего кавардака. Он был неразговорчив и желтолиц, и любоваться на него было противно.

Я знал, что нужно поскорее уходить отсюда, пока графоманы меня полностью не обобрали, но почему-то медлил, волянил, слонялся из угла в угол, бесцельно лежал на диване, потягивался, и все мне как будто чего-то недоставало, чтобы встать и уйти. Нашупав в кармане двугривенный, я подошел к застекленной секции, где Галкин хранил свои книги, сделанные ручным способом, и тихонечко постучал в предохранительное стекло моим двугривенным. Галкин сперва терпел, потом просил пощадить, потом поднял голову и огрызнулся:

— Перестань! Что тебе надо?

На пять минут я оставил его в покое, затем снова включился в игру, и я потешался над ним методично до тех пор, пока он не выскочил из-за стола и не начал ругаться. Тогда я сказал ему — спокойно, как только мог:

— Галкин, Галкин, а ведь ты — графоман. Ты самый настоящий, заурядный графоман...

Нервы во мне зудели и кровь рывками прилиwała к сердцу, но я говорил ровным и почти ласковым голосом, чтобы тем самым сильнее его раздражить, и опечалить, и доказать ему с фактической очевидностью, что он обыкновенный графоман, графоман, графоман, графоман — повторял я надоедливо и стучал по стеклу.

— Что же ты сердишься, Семен? Ты сам называл графоманию почетным титулом... Почему же ты непоследователен, графоман Галкин?..

Когда же он, дойдя до высшей точки, заорал во все горло, чтобы я убирался прочь, меня охватило чувство, близкое удовлетворению. Собрав не спеша портфель, я произнес с полным правом это произнести:

— Ну, вот — ты меня выгоняешь... Сначала ограбил, а теперь выгоняешь...

Но я не стал ему объяснять, в чем была его вина передо мною, потому что он все равно ничего бы не понял. Я только попрекнул его на прощание еще раз графоманом и поскорее

прикрыл дверь, чтобы он не зашиб меня кинутой вдогонку книгой.

...Я пришел к нему ночью, и ушел поздним вечером, и, так как идти мне теперь было абсолютно некуда, я бродил с портфелем под мышкой по затихающим улицам, не имея перед собой никакой определенной задачи. Мой организм просил есть и переставал просить, головная боль то проходила, то возобновлялась с удвоенной силой, денег у меня, если не вспоминать о двугривенном, не было ни копейки, и делать мне тоже было нечего. От нечего делать я засматривал в освещенные окна на первых этажах и в подвалах, и, когда они не были тщательно задернуты занавесками, мне везде открывалась одна и та же картина.

Был поздний вечер — излюбленный час графоманов, и в каждой доступной мне дыре кто-нибудь что-нибудь писал. Создавалось впечатление, что город кишит писателями и все они от мала до велика водили по бумаге автоматическими ручками.

Сколько их, куда и зачем они пишут? Всюду имелись библиотеки, читальни в миллион томов. Да и в частных квартирах шкафы, этажерки, столы были буквально переполнены, книжные запасы скапливались на подоконниках, свешивались с потолка. И всякий день и час выпускались новые, никому не нужные, никем не читаемые фолианты. А эта армия одержимых продолжала работать...

Я не принадлежал к их числу. Моя судьба была горше, но достойнее. Посреди этого пишущего человечества, быть может, я один был настоящим писателем, чьи произведения хотя и не получили признания, но легли в основу литературы и составили в ней наиболее ценные страницы. Слова из моих книг, расхищенные и распроданные удачливыми современниками, украшают отныне лучшие образцы знаменитейших в мире авторов. Им подражают, их переписывают. Не сами пишут, а меня переписывают, ничего не ведая о скромном творце, который бродит у них под окнами. Да! Я не вошел победителем в лавровом венке в парадную дверь, но я проник в их тела и души через пищу и через воздух, как яд проникает в кровь, и теперь им от меня никогда не избавиться...

Ряды освещенных окон заметно редели. Пишущие отходили ко сну. Вскоре в домах остались только одинокие лампы, две-три на целый квартал. Это самые злые, закоренелые графоманы упорствовали в своем безумии.

Меня пошатывало и поташнивало от истощения и усталости. Но я шел и шел, не задерживаясь, по улице Чехова, по улице Горького, через площадь Пушкина... И были еще улицы в честь Льва Толстого, Достоевского, Маяковского и не то Лермонтова, не то Некрасова... Я не шел по ним, но я помнил, что они есть.

Классики — вот кого я ненавижу пуще всех! Еще до моего рождения они захватили вакансии, и мне предстояло конкурировать с ними, не располагая и сотой долей их дутого авторитета. — Читайте Чехова, читайте Чехова, — твердили мне всю жизнь, бестактно намекая, что Чехов писал лучше меня... А как с ними бороться, когда в Ясной Поляне даже ногти Льва Толстого, постриженные тысячу лет назад и собранные дальновидным графом в специальный мешочек, хранятся как святыня?! А в Ялте, говорят, в специальных пакетиках сберегаются засохшие плевки Чехова, да-да! подлинные плевки Антона Павловича Чехова, который, говорят, много страдал кровохарканием и даже умер от чахотки, что, конечно, преувеличено.

Но если быть честными: так ли уж хорошо писали и Толстой и Чехов? То-то же! Взять бы этого Чехова за туберкулезную бороденку да ткнуть носом в его чахоточные плевки, которые, к сожалению, уже засохли: — Не пиши, графоман! Не пиши! Не порть бумагу!

Как можно?! Заступники найдутся... Почитатели, биографы, мемуаристы... А кто обо мне мемуары напишет? Кто меня, я вас спрашиваю, вспомнит и увековечит?..

От усталости и расстройства я выписывал вензеля ногами, спотыкался, покачивался. Мой тяжкий путь по мостовой был причудлив и зигзагообразен. Вдруг мне показалось, что я не сам иду по улице, а чьи-то пальцы водят мною, как водят карандашом по бумаге. Я шел мелким неровным почерком, я торопился изо всех сил за движением руки, которая сочиняла и записывала на асфальт и эти безлюдные улицы, и эти дома с непогашенными кое-где окошками, и меня самого, всю мою длинную-длинную неудачную жизнь.

Тогда я вырвался, круто затормозил, остановясь на полном разгоне, и чуть не упал, и посмотрел исподлобья в темное небо, низко нависшее над моим лбом. Я сказал не громко, но достаточно основательно, обращаясь прямо туда:

— Эй, ты, графоман! Бросай работу! Все, что ты пишешь, — никуда не годится. Как ты все бездарно сочинил. Тебя невозможно читать...

Было семь утра, но Зинаида уже поднялась и кормила Павлика манной кашей. При виде меня она дико обрадовалась и, защемив мою голову обеими руками, пригнула ее к себе и крепко поцеловала. Покачнувшись, я сел.

— Я знала, что ты вернешься... Я знала... Я знала... — твердила она, задыхаясь, и притискивала мое лицо к своему боку. — Ты — добрый, ты — умный, ты — великодушный... Ты понял, понял, наконец... Ах, Павел, Павел!..

Я осторожно высвободил голову из объятий и, чтобы сделать Зинаиде приятное, чмокнул ее в шершавую руку. Она всхлипнула.

— Ты ведь совсем вернулся?.. Ты больше не уйдешь?.. Мы больше не будем ссориться?.. Да? Да?!

У меня не было ни сил, ни желания отвечать отказом, и я ответил: да!

— Да! — сказал я не очень весело, но вполне откровенно. — Я принял решение. Пора оставить. Писателем мне не быть. Ничего. Проживу и так. Поступлю на службу, буду воспитывать Павлика... Ничего.

Она хлопотала вокруг меня, как будто я был знаменитостью. Она подала чистое полотенце, и стакан молока, предназначавшийся обычно ребенку, был торжественно передан мне — на поправку здоровья.

— Ты плохо выглядишь, — сокрушалась Зинаида. — И глаза у тебя какие-то мутные... Но ничего, ничего, теперь все позади.

Она обещала мне новую жизнь с этого дня и говорила, что теперь дом наш будет полон света и радости, и мы будем ходить в театры, в кино, а чтобы у меня остались какие-то мужские причуды, она разрешает мне купить охотничье ружье или еще лучше — если я увлекусь рыбной ловлей. На худой конец она допускала, что я начну выпивать иногда, как это случилось со мною в дни молодости.

— Ладно, ладно. Ты опоздаешь на работу, — напомнил я ей и добродушно хлопнул по заду. Некрасивое лицо Зинаиды сморщилось в улыбке. Мне даже показалось, что Зинаида похорошела.

Когда она ушла на работу, мы с Павликом ополоснули посуду и смели крошки с клеенки.

— Ну, рассказывай, Павел, как живешь, что сочиняешь? — спросил я его в упор, но бодрым тоном.

Павел, потупясь, молчал.

— Не бойся. Я передумал. Пиши теперь, сколько хочешь. Я не отберу. Все, что я тогда говорил, было шуткой. Вот возьми...

Я нашел в кармане бумажный комок и, расправив, подал сыну. Карандаш полинял, но разобрать буквы было еще возможно.

— Перепишешь начисто. Садись сюда и пиши.

Павел живо слазил под кровать за рисовальным альбомчиком. Пробило девять. С верхнего этажа слышались звуки трубы. Это верхний жилец, едва проснувшись, начинал первую трель.

Я тоже достал из портфеля стопку чистой бумаги. Я расположился напротив Павлика, постелив газету поверх клеенки, чтобы страницы не прилипали.

— Смотри, маме не говори!..

Мне не хотелось ее обманывать и нарушать данное слово. Я честно обещал покончить с писательской страстью, от которой

Мы все так долго страдали. И непременно покончу, как только напишу последнюю вещь — свою лебединую песнь. Многие годы этого ждал, к этому приближался. Лебединая песнь о самом себе. Нет, нет, не для печати. Пускай сын хотя бы прочтет. И на этом брошу...

Павел уже копировал стершиеся каракули.

— Пиши, Павел! Пиши! Не бойся. Пусть над тобою смеются, называют графоманом. Сами — графоманы. Кругом — графоманы. Нас много, много, больше, чем надо. И мы напрасно живем и бесполезно умираем. Но кто-нибудь из нас дойдет. Или ты, или я, или кто-нибудь еще. Дойдет, донесет. Пиши, Павел, сочиняй свои сказки про своих смешных карликов. А я буду про своих... Мы с тобою придумаем столько сказок... Не сосчитать. Только ты смотри — маме ничего не говори.

Трубач над моей головой дудел в полную громкость, точно хотел воспрепятствовать. Но мозг мой был проворен, как после долгого сна, и душа полна вдохновения. Я взял чистый лист и большими буквами написал сверху название:

### ГРАФОМАНЫ.

Потом подумал и приписал в скобках: (Из рассказов о моей жизни).

1960

---

---

### ГОЛОЛЕДИЦА

От автора

---

---

Я пишу эту повесть, как потерпевший кораблекрушение сообщает о своей беде. Сидя на уединенном обломке или на безжизненном острове, он кидает в бурное море бутылку с письмом — в надежде, что волны и ветер донесут ее до людей и они прочтут и узнают печальную правду, в то время как бедного автора давно уже нет на свете.

Доплывет ли бутылка? — вот вопрос. Вытащит ли ее за горлышко цепкая рука моряка, и прольет ли моряк на палубу слезы сочувствия и сожаления? Или морская соль постепенно пропитает сургуч и разъест бумагу, и безвестная бутылка, наполненная терпкой влагой или разбившаяся о рифы, останется лежать без движения на дне пучины?

Моя задача еще сложнее. Не обладая ни научной, ни литературной опытностью, я хочу, чтобы труд мой был напечатан и получил бы признание. Лишь таким окольным путем могу я рассчитывать дойти до тебя, Василий. О Василий! Поверь, мне не нужны деньги и почести, мне нужно только твое участие. Я не ищу других читателей кроме тебя, хотя через многие руки, быть может, проплывет моя повесть, прежде чем случайно попадет к тебе на глаза.

Что же делать! Житейское море огромно, а бутылка такая ничтожная, и ей надо покрыть тысячи миль, чтобы найти адреса.

Прости, Василий! У меня нет твоего адреса. Я не знаю даже твоей фамилии, не успел узнать, а когда спохватился — было поздно. Но я знаю: ты живешь, затерянный — подобно мне — в волнах времени и пространства, и я надеюсь — вдруг ты найдешь когда-нибудь в букинистический магазин и вдруг увидишь на прилавке мою ветхую книгу.

Вспомнишь ли ты меня? Дрогнет ли твое сердце, и оживут ли в нем туманные образы прошлого? Протянешь ли ты мне руку дружбы и помощи?

Ах, Василий, я прошу тебя об одном: разыщи Наташу. Понимаешь — она должна жить где-то рядом с тобой. Не удивляйся, ее тоже зовут Наташа, хотя это совсем не та, а другая Наташа, не похожая на ту. Но мне кажется — имена совпадают. Представь себе, она — тоже Наташа, Наташа! И если ты не узнаешь ее по моим описаниям, я все-таки надеюсь — сердце тебе подскажет кого надо...

Так вот, я прошу тебя, Василий, найди Наташу и женись на ней поскорее, пока ты жив, пока не поздно, непременно женись, хотя, быть может, — она старше тебя и у нее дети, а ты, кажется, тоже человек семейный... Все равно, брось жену и живи с Наташей, как я тебе говорю. Понимаешь, это единственный случай встретиться с нею, и если мы его упустим — мы опять потеряем друг друга из виду...

Не хмурься, Василий. Я сейчас все объясню. Я изложу по порядку, как было дело, и постараюсь выполнить это хорошо и художественно. Пусть меня напечатают большим тиражом: так мне будет легче на тебя наткнуться. Ничего, не беспокойся. Я читал много повестей и романов и представляю, как это делается. А главное — у меня есть время. В конце концов, за оставшуюся долгую жизнь почему бы мне не стать известным писателем?

А ты, Василий, следя за ходом рассказа, прислушивайся к себе повнимательней. Быть может, что-то в тебе все-таки шевельнется и ты окажешь помощь страдальцу, потерпевшему крушение... И сидя со своей Наташей в какой-нибудь красивой беседке, ты обнимешь ее меланхолично за талию и скажешь словами поэта:

Не пой, красавица, при мне  
Ты песен Грузии печальной:  
Напоминают мне оне  
Другую жизнь и берег дальный.

Увы! напоминают мне  
Твои жестокие напевы  
И степь, и ночь, и при луне  
Черты далекой, бедной девы.

Я призрак милый, роковой,  
Тебя увидев, забываю;  
Но ты поешь — и предо мной  
Его я вновь воображаю...

Кстати, это сочинил тот самый Пушкин, которого ты хорошо знаешь. Но ты ошибся, когда сказал, что Пушкина расстреляли. Его убили на дуэли, из пистолета. Уж это я твердо знаю, поверь мне.

И еще: стоит ли давать Наташе мою грустную повесть? Читай ей лучше Пушкина и люби ее, как я любил. И будьте счастливы.

Это все, о чем я вас прошу.

---

---

## I

---

---

Мы сидели с Наташей на Цветном бульваре. Мы были одни, была гололедица, и прохожие в этот вечер не решались выходить на бульвар. Мы с Наташей составляли исключение, потому что любили друг друга и не боялись в тот вечер упасть и ушибиться.

— Безобразие, — сказал я. — С ума можно сойти. Если погода не переменится и к завтраму не выпадет снег, я отказываюсь в этом году встречать Новый год. Ты встречала что-нибудь подобное в конце декабря? И я тоже не помню. Это все атомные испытания, гонка вооружений. Летом — холод, зимой — дождь. Достукались.

И я хотел развить мысль насчет радиации воздуха, по вине которой того и гляди начнется ледниковый период. Мы отпустим косматую шерсть и займемся разведением мамонтов. Наташа перебила меня. Она вдруг стала уверять, что в раннем детстве однажды видела снегопад в разгаре июня. Птицы устроили дикий шум, насекомые скрылись, а бабушка всем говорила, что это дурная примета. Это было, уверяла Наташа, под Саратовом, летом, на даче, в 1928 году.

Ее рассказ показался мне в высшей степени фантастическим. Ничего этого не могло быть по той простой причине, что Наташе тогда было два года и запомнить свой снегопад она бы не сумела. Я по себе хорошо знал, что такого не бывает. Объем нашей памяти имеет границы. А тут еще насекомые, бабочки, бабушка...

— Не морочь мне голову, — сказал я сердито. — Или ты раньше меня обманывала и скрывала свой возраст. Ты, наверное, родилась не в 26-м, а в 23-м году.

Это я сказал, конечно, чтобы ее подразнить. Мне было чуточку обидно, потому что я думал, что знаю ее насквозь. Мы были достаточно знакомы и к тому времени успели рассказать друг другу все, что помнили о себе. Не исключая таких момен-

тов, про которые обычно избегаешь вспоминать и рассказывать. Хотя мы не были женаты и жили пока порознь, прошел целый год, как я заставил ее окончательно уйти от Бориса и встречался с нею каждый день или через день. И вдруг выясняется, что Наташина жизнь полнее событиями, чем я полагал. Например, Наташа, еще не умея ходить, играла спичками и подожгла себе волосы, и они горели желтым пламенем, и обо всем этом она хорошо помнит.

Я был старше ее, умнее, начитанней, и я не привык уступать. Поэтому я тогда же вступил с ней в спор по части смутных воспоминаний и делал это тем настойчивее, чем меньше у меня было шансов на выигрыш.

— А я вот помню... — не унималась Наташа.

— А я вот тоже помню... — отвечал я.

И я ворошил свои младенческие впечатления в надежде там отыскать что-то давно забытое. Наверное, это и послужило психологической предпосылкой физиологических изменений, которые произошли со мною в тот вечер и изменили в короткий срок всю нашу жизнь.

Сейчас, по прошествии многих лет, я затрудняюсь сказать в точности, как было дело. Может быть, я заранее был к этому подготовлен всем ходом своего развития и мне, как говорится, на роду было написано испытать все то, что я впоследствии испытал. Не знаю, не знаю... Во всяком случае в ту минуту я ни о чем таком не думал, а просто колотился в барьеры памяти, пытаюсь раздвинуть их и вспомнить, что было раньше. И вот какая-то роковая преграда неожиданно рухнула, и я провалился в пустоту, почти физически пережив неприятное чувство падения. Я падал, и падал, и падал, ничего не понимая, и когда пришел в себя, вся окружающая обстановка была не такой и сам я был не совсем таким.

Я находился в длинном ущелье, стиснутом рядами голых гор и гладких холмов. Дно его покрывала корка льда. По краю льда, перед отвесными скалами, росли деревья, тоже голые. Их было мало, но близость лесного массива давала о себе знать глухим ветренным шумом. Пахло падалью. Во множестве светились гнилушки. Впрочем, то были не гнилушки, а скорее всего это были клочья Луны, растерзанной волками и ожидающей срока, когда ее кости, хрящи, мослы опять обрастут белым светящимся мясом и она поднимется в небо под завистливый вой волков...

Но понять и обдумать все это я не успел: на меня бежал с раскинутой пастью зверь. Он быстро-быстро перебирал невидимыми ногами, и я мог догадаться, что ног у него не четыре и даже не пять, а по крайней мере столько же, сколько у меня пальцев на ногах и на руках, вместе взятых. Вот сколько. Он был пониже мамонта, но зато упитаннее и здоровее самого большого медведя, и, когда он приблизился вплотную, я заме-



тил, что брюхо он имеет прозрачное, как светлый рыбий пузырь, и там ужасно бултыхаются проглоченные живьем человечки. Должно быть, он был так прожорлив, что глотал их не жуя, и жертвы, попавшие к нему в желудок, все еще вертелись и подскакивали.

Конечно, те ощущения я передаю приблизительно, своими словами. Тогда у меня в голове и слов никаких не было, а были, можно сказать, одни условные рефлексы и разные, как их теперь называют, религиозные пережитки, и я, терзаясь страхом, бормотал заклинания, характер которых я сейчас не решусь воспроизвести на бумаге. Но в то мгновение, помнится, эти бессмысленные заклинания возымели определенное действие, и смягчившееся чудовище удалилось вдоль скал, не тронув меня, только выбросило угрожающе вверх сноп электрических искр. И наверно потому, что эти искры в моем затемненном мозгу все-таки отозвались «электрическими», я понял тотчас, что это мимо меня проехал безвредный троллейбус, и утраченное состояние настоящей минуты вновь вернулось ко мне.

Оказалось, что я продолжаю мирно сидеть на бульварной лавочке, а рядом преспокойно сидит Наташа, которая даже ничего не заметила, а большой вечерний неутихающий город гудел и стонал вокруг нас, точно лес в непогоду.

— Если погода не переменится, — сказал я в безотчетной тоске, — и завтра не выпадет снег, я отказываюсь в этом году встречать Новый год.

Но копаться в своем мозгу я больше не рисковал. Этот случай с провалом памяти на меня ужасно подействовал. Стараясь не волноваться и понапрасну не ломать голову, я молча вдыхал родную вонючую мглу, пропитанную парами бензина и гнилым морозящим светом уличных фонарей, который весьма отдаленно напоминал свет луны и безусловно имел вполне реальное, электрическое происхождение. С некоторой опаской посматривал я на дома, на фонари и деревья, и на троллейбусы, то и дело шнырявшие вдоль домов и вдоль деревьев, и все это было таким настоящим, таким похожим на себя и не похожим ни на что больше. И еще я заметил, что по ледяной выгнутой корке Цветного бульвара, покачиваясь как балерина, идет полная женщина.

Она проходила от нас на почтительном расстоянии, и разглядеть ее возраст и черты лица не было никакой возможности. Но ее грузная фигура, весело покачиваясь, почему-то внушала мысль, что старуха и в самом деле когда-то плясала в балете и даже пользовалась в роли Одетты успехом у адмирала Курбатова. Откуда поступила ко мне эта информация, я не мог понять, потому что впервые в жизни видел эту даму и воспринимал ее биографию как результат чистой гипотезы. Проверять свои домыслы я не имел охоты. Но меня не поки-

дало чувство, что стоит моей балерине поровняться с фонарным столбом, вон с тем, с третьим по счету, к которому она приближалась, как с ней случится несчастье. А именно: мне казалось, что старуха должна поскользнуться на том самом месте, которое я предугадывал, и я даже подумал, не дать ли ей об этом сигнал, но из любопытства сдержался и, затаив дыхание, следил за ее движением. И когда она, добредя до предугаданной точки, свалилась как по приказу, взмахнув короткими ручками, я почувствовал в глубине души что-то вроде угрызений совести, как если бы сам подтолкнул ее на скользком месте.

Мы с Наташей кинулись тянуть ее с двух сторон. Перепуганная старуха никак не хотела встать и все садилась промокшим задом на ледяную поверхность, и говорила, что не может ступить правой ногой, потому что там у нее сломалась главная кость. Она уверяла страшным шепотом, будто, падая, слышала какой-то треск и хруст. Из ее беззубого рта пахло хорошим порвейном.

Пока мы возились и мучились с этой пыхтящей кучей, вся ситуация в моем уме окончательно прояснилась. Старуха явно преувеличивала свое печальное положение. Ни о какой правой ноге не могло быть и речи, потому что эту ногу она утратила в катастрофе, лет тридцать тому назад, и взамен ее, по секрету, пользовалась прекрасным протезом, который и был предметом ее истинного беспокойства. Но я мог бы поклясться, что замечательный аппарат, выполненный из алюминия, в Берлине, на средства адмирала Курбатова, ничуть не пострадал при падении и нисколько не поцарапался.

— Вставайте, Сусанна Ивановна, вы получите радикулит, — уговаривал я строго мнительную женщину и даже прикрикнул на нее под конец, чтоб как-то воздействовать...

Зато потом ее восторги превзошли все ожидания. Убедившись в завидной прочности немецкого алюминия, она благодарил меня с чисто французской горячностью. Ей не казалось странным, что я, не будучи с нею знаком, называю ее Сусанной Ивановной. Она воспринимала все как должное и твердила, что счастлива встретить такого любезного молодого человека, который несомненно помнит ее в незабываемой роли Одетты на сцене Санкт-Петербургского Мариинского театра.

— Ах, если б ко мне возвратились мои девятнадцать лет! — вскричала Сусанна Ивановна и, приложив к беззубому рту кончики рваных перчаток, послала мне поцелуй. С большим трудом мы с ней распрощались, пожелав как можно внимательнее передвигать скользкие ноги...

Наташа много смеялась и, конечно, выпытывала — откуда я знаю эту Сусанну Ивановну. Мне пришлось выдумывать туманную версию о каком-то журнале, где будто бы была напечатана старая фотография молодой балерины, поразившая меня

однажды в юношеский период моего увлечения историей русского театра. Наташа сказала, что ужасно меня ревнует, и с милой грацией разыграла ревность на своем лице. Потом она дурачилась и ласкалась ко мне, очень сильно ласкалась в тот вечер. Я, как мог, отвечал ей взаимностью...

Но образ Сусанны Ивановны не выходил из моей головы. Мне продолжало казаться, что старуху подстерегает несчастье. Нет, нет, с ногами у нее все будет в порядке — в этом я был уверен. Но мне вдруг открылись иные возможности ее скорой смерти. Я почему-то представил, что через два месяца она умрет от рака матки. И еще другие предчувствия копошились во мне...

Когда мы замерзли, Наташа спросила, как мы двинемся — пешком или на троллейбусе? Я долго не мог выбрать, какой вариант лучше. Насчет самого себя у меня не было опасений. Но мою Наташу я не вел, а почти нес на весу, как несут из магазина пакет с яйцами. О том, как яйца бьются, я старался не вспоминать.

Мы уехали на троллейбусе: уж очень было скользко.

---

---

2

---

---

Все-таки на другой день пошел мелкий снег и покрыл тонким слоем тротуары и мостовые. К ночи появилась иллюзия какой-никакой зимы, чистоты и порядочности, и я, поборов отвращение, дал Наташе согласие встречать Новый год вместе с ней и Борисом в одной незнакомой компании. Мне было ясно, что Борис на правах бывшего мужа давно выпрашивает у нее эту льготу. Наташа вторую неделю лезла ко мне с уговорами:

— Понимаешь, ему плохо. Нам с тобой хорошо, а ему плохо. У него, может, в жизни одна только радость — иногда видеть меня. Только видеть и ничего больше. Он даже предлагал, чтобы мы приходили вдвоем. И совсем в чужом доме, на нейтральной почве. Никто никого не знает...

Я не мог понять эту готовность Бориса сносить мое присутствие. Я бы на его месте такого себе не позволил. Но мне в конце концов было наплевать на его личные переживания, а Наташе я не хотел ни в чем отказывать, будто чувствовал уже тогда, что все это скоро кончится.

— Ладно! Черт с вами, с твоим Борисом и с твоей филантропией! — сказал я Наташе за час до полуночи. И мы поехали в чужой дом, к незнакомым людям, захватив для приличия пару бутылочек вина.

Как всегда это бывает в случайных компаниях, где народ сходится первый попавшийся, с бору по сосенке, время здесь тянулось медленно и тоскливо. Прокричав первые тосты и

погалдев немного во славу наступившего года, все как-то внезапно ослабли, растерялись и присмирели. Каждый из нас, вероятно, с нетерпением ждал этой минуты и предвкушал ее за неделю, а то и за месяц, а вот собрались мы вместе за праздничным столом и вдруг выясняется, что делать нам абсолютно нечего и лучше бы мы пораньше легли спать. Но поскольку на эту ночь возлагались надежды, никто не уходил, а все сидели и выжидали, и тарасили друг на друга заспанные глаза, точно думали, что кто-то из нас вот сейчас встанет, и что-то такое делает, и сразу осуществит все наши надежды.

Жизнерадостный красавец кавказского происхождения, с лихими усиками над жгучим ртом, в течение получаса пытался внести веселье в нашу скучную обстановку, рассказывая анекдоты из быта сумасшедших. Когда же ему довелось с опозданием убедиться, что ни его сюжеты, всем давно опостылевшие, ни его преувеличенный восточный акцент ни у кого не вызывают даже простой улыбки, он тоже перестал дико скалиться и хохотать и затих в мечтательности, надув малиновые, безвольные, по-женски сладкие губы.

Летчик-испытатель с неестественно деловитым лицом беседовал со своей женой о домашних закупках, как будто у них не было случая поговорить на эту тему в другом месте. Холостяки, не имея иного выхода, бешено курили. Незамужние девицы, одна другой безобразнее, бегали попеременно в уборную, понуждая меня и Наташу всякий раз приподыматься и освобождать им дорогу между столом и диваном.

Пожалуй, один Борис не терял времени даром. Забившись в дальний угол, он не сводил с Наташи влюбленных жалобных глаз, и смотреть на него было тошно. Наташа, опустив ресницы, похожая на покойницу, позировала ему, сидя подле меня. Не вдаваясь в глубину всех этих отношений, я пил рюмку за рюмкой, пил и не закусывал.

Мой пьяный взгляд невольно тянулся к елке, на которой, наконец, зажгли свечи, и я потребовал, чтобы все другое в комнате погасили, предоставив одним свечам свободу действия. Они весело мигали и славно потрескивали, и создавали вокруг себя праздничную атмосферу, недостающую нам, и постепенно все мы, за исключением, может быть, одного Бориса, подпали под их влияние и как-то сгрудились и приютились подле нашего домашнего елочного иконостаса. На несколько минут в доме воцарилась торжественность, наверное, та самая, которую мы искали, придя сюда, и ради которой стоит иногда потерпеть в обществе чужих и противных тебе людей.

Но мало-помалу свечи подходили к концу, и меня вновь охватило недавнее чувство тревоги, рассеянное было спиртными парами и почти полностью исчезнувшее при виде елки. Я с беспокойством наблюдал, как ее огоньки, вспыхнувшие бойко и дружно, теперь выгорают с разной продолжительностью и с

различным, я бы сказал, мимическим сопровождением. Должно быть, это объяснялось величиной фитилей и прочей технологией свечного дела, но меня по понятным причинам занимала и волновала совсем иная сторона этого предприятия.

Я не считаю себя пессимистом, но должен сказать со всей ответственностью, что если вдуматься повнимательней в существо жизни, то станет ясно, что все кончается смертью. В этом нет ничего особенного, и было бы даже недемократично, если б кто-нибудь из нас вдруг уцелел и сохранился. Конечно, всякому жить хочется, но как подумаешь, что Леонардо да Винчи тоже вот умер, так просто руки опускаются.

И все было бы ничего, когда бы в этом вопросе соблюдалось полное равенство, братство и железная закономерность. Если бы мы, например, уходили с лица земли в организованном порядке, большими коллективами, серийно, по возрастным, например, или по национальным признакам. Отжила одна нация положенный срок и кончено, давай следующую. Тогда бы все, конечно, было проще, и неизбежность этой разлуки не имела бы такой волнующей и нервирующей остроты. Но в том-то и состоит главная сложность и вместе с тем пикантная прелесть существования, что ты никогда не знаешь в точности, когда ты перестанешь существовать, и у тебя всегда остается в запасе возможность превзойти соседа и пережить его хотя бы на лишний месяц. Все это сообщает нашей жизни большой интерес, риск, страх, ажиотаж и большое разнообразие.

И вот, взирая на свечные огарки, которые в моем нетрезвом уме как-то сместились и заместили всех нас, собравшихся здесь бездельников, я следил с интересом и душевным содроганием за их неравномерной кончиной.

Одни догорали так же беспечно, как жили, и даже усиливали к финалу расточительную яркость пламени. Другие, с середины пути, пускались в экономию, словно понимали, в чем дело, и рассчитывали оттянуть развязку как можно дальше. Но это им не всегда помогало, и случалось так, что какой-нибудь бережливый фитиль неожиданно потухал от переизбытка собственного парафина, не дотянув до дна подсвечника целых два сантиметра.

Третьи лишь в конце постигали весь ужас своего положения, и тогда они принимались метаться из стороны в сторону на жестяном ложе, бросая на стены и потолок преувеличенные рефлексии, и выпускать до отказа все соки и газы, и, захлебываясь, тонуть в своем заживо разложившемся теле, являя взору все признаки самой непристойной агонии.

Теперь-то мне понятно, что я допустил оплошность, увлекшись этой игрой разгоряченного ума. Но вторая моя ошибка, еще более жестокая и сыгравшая в моей судьбе такую же неотвратимую роль, как вечер на Цветном бульваре, заключалась в том, что я, поддавшись соблазну, выбрал из тех свечей самую,

как мне казалось, подходящую и загадал на ней сроки моей жизни и смерти.

И что же получилось? Пока все свечки вокруг меня постепенно редели, я жил себе и жил в виде скромного огонечка, и уже в комнате сделалось совсем темно, а я в одиночестве не переставал коптеть, пережив, к моему удивлению, всех присутствующих по крайней мере лет на десять.

Кто-то встал, чтобы повернуть выключатель. Но я сказал — пусть будет темно и пусть сначала полностью сгорит последний огарок. И не спуская с него глаз, я мысленно вел счет, чтобы полностью измерить годы, причитавшиеся мне по закону: раз, два, три, четыре, пять, шесть...

В общей сумме, считая с достигнутым возрастом, я насчитал моей жизни восемьдесят девять лет, и, когда я дошел до восьмидесяти девяти, в комнату, едва освещенную, вошла медсестра или, может быть, простая больничная нянечка и, приблизившись к моему изголовью, склонилась над ним.

Искра жизни все еще тлела во мне: я умирал при полном сознании, медленно и спокойно, и никак не мог умереть. Вокруг меня храпели и слабо бредили во сне соседи по палате; пахло карболкой, нечистотами; больничная нянечка, присев на казенную табуретку, с нетерпением поджидала, когда я отпущу ее спать. Ей очень хотелось спать, и она громко зевала, крестилась и почесывалась, и укоризненно поглядывала на меня, проверяя время от времени, умер я или нет, а я, хорошо сознавая правоту ее понуканий и свою бестактность, не имел физических сил сказать словами или дать ей понять каким-нибудь знаком, чтобы она ушла. Я только смотрел на нее с извиняющимся выражением, и только стыд перед этой доброй женщиной, которая одна в целом мире еще имела ко мне слабое отношение, — стыд, что я все еще живой, владел мною и доводил до отчаяния. Мне было так стыдно и скверно, что я поднялся и, торопливо задув огарок, включил в комнате свет...

...Осовелые глаза собутыльников и собутыльниц вопросительно уперлись в меня, точно я перед ними тоже был виноват и на мне лежала обязанность рассеять их пребывание в моем обществе. Кто-то, позевывая, предложил во что-нибудь поиграть — в шарады, например, или в фанты. И опять все понукающе посмотрели на меня, как будто я здесь был распорядителем и от меня все зависело. Тогда я воскликнул, стращивая смешными ужимками паутину стыда и страха с облепленного лица:

— Внимание! Внимание! — воскликнул я и щелкнул пальцами, как выключателем. — Сейчас перед вами выступит знаменитый чтец-хиромант! Прорицатель прошлого и грядущего! Желающих прошу испытать!..

Сперва, конечно, никто не поверил в мой талант, да и мне самому плохо в это верилось. Но когда я начал с матема-

тической быстротой перечислять факты, и даты, и разные редкие детали из жизни летчика-испытателя, а он подтверждал всякий раз, что я опять угадал, все пришли в восхищение и в удивление и принялись наперебой меня просить и теревить...

Я мельком проглядывал диаграмму какого-нибудь лица и сразу называл год рождения, цифру зарплаты, номер паспорта, число аборт... Я предпочитал цифры, цифры, потому что они в наше время убедительнее всего говорят о реальной жизни.

— А будущее вы тоже предсказываете? — спросила одна студентка Института легкой промышленности.

— Кое-что предсказываю, — ответил я уклончиво. — Например, через неделю, на ближайшем экзамене вы получите «пять» по марксизму-ленинизму. Можете не готовиться, я назову билет, который вам достанется: 5-й съезд партии и 4-й закон диалектики.

Она захлопала в ладоши и радостно объявила, что ничего не будет учить, кроме этих вопросов.

— Как вы можете это знать? — допытывался красавец-грузин. — Кто вам поверит?

— Потерпите одну неделю и проверяйте, — возразил я, слегка задетый.

Но они не хотели терпеть, они желали тут же, немедленно удостовериться в моей способности предупреждать события, и тогда меня осенила одна идея:

— Хорошо, — сказал я. — Подождем одну минуту. Через минуту, я обещаю, на стене появится клоп. Вон там — видите литографию? Кажется — Джорджоне. Он опишет полный круг и уползет налево, под соседнюю окантовку...

И вскоре, как я предсказал, на стене появился клоп. Он вылез из-под спящей Венеры и, сделав обещанный круг, перекочевал на другую девушку — с разбитым кувшином. Женщины завизжали. Кто-то высказал мнение, что клопа никакого нет, а это с моей стороны чистый гипноз. Другие перешептывались, что клоп у меня дрессированный и я его сам подпустил незаметно из рукава. А скептически настроенный красавец-грузин сказал:

— Подумаешь — клоп. Клопа предсказать нетрудно. Мелкая вещь. Пускай он лучше предскажет, когда на всей земле наступит коммунизм...

Я пропустил эту фразу мимо ушей: грузин был провокатором.

Присматриваясь к нему краешком глаза, я заметил далее, что у него между животом и ключицами вырастают с большой быстротой настоящие женские груди. Вскоре его молодой, девический, но вполне оформленный бюст сделался совершенно доступен моему зрению. Усы, однако, и остальные черты мужчины он удержал за собою, и все это в сочетании с девичьей грудью сообщало ему вид истинного гермафродита.

Я не знал в первый момент, как это понять, и подумал,

что, может быть, на меня действует мое нетрезвое состояние, и обрадовался такой возможности объяснения, позволяющей надеяться, что прочие странности и намеки последних дней также имеют в своей основе что-то хорошее и простое. Увы! эта надежда недолго меня обольщала: не вино и не водка, выпитые в изрядном объеме, а иные силы владели мною и заставляли видеть окружающий мир в превратном свете.

Вслед за грузином все прочие гости тоже начали как-то меняться. Контуры тел, росчерки лиц пришли в дрожание, напоминающее вибрацию сигнализационных приборов. Каждая линия перестраивалась и расплывалась, порождая десятки дышащих очертаний. У многих женщин выросли бороды, блондины темнели и переходили в брюнетов, а затем лысели до основания и вновь покрывались свежим волосом, и покрывались морщинами, и молодели, до того молодели, что становились похожими на детей, кривоногих, большеголовых, мутноглазых, которые в свой черед принимались расти, закаляться, толстеть и худеть.

При всем том каждый сохранял какое-то подобие первоначального облика, так что я имел возможность с некоторым трудом распознавать их и беседовать с ними, хотя теперь я ни в чем бы не посмел поручиться в их судьбе и жизненном поприще.

Еще недавно я твердо знал, кто из них вор, а кто двоеженец, и кто тут тайная дочь беглого белогвардейца, а сейчас все смешалось и находилось в развитии, и я не мог понять, где кончается один человек и начинается следующий. Когда один молодой инженер по фамилии Бельчиков обратился ко мне учтиво и предложил угадать, в каком году он родился, у меня моментально чуть не вылетела изо рта дикая цифра, нарушающая все законы, установленные природой: 237-й год до нашей эры!

Этот ответ пришел мне на ум помимо воли, автоматически, под воздействием, видимо, тех изменений, какие произошли в Бельчикове. На инженере эфемерно светилась старинная пожарная каска, а под его широким шерстяным костюмом свешивались белые простыни, в которые он весьма неловко завернул рослое тело, оставив небрунными голые ноги в брюках. Но, разумеется, не эти брюки, а пожарная каска и какие-то другие неуловимые элементы вдохновили меня на мысль, что инженер Бельчиков родился в 237-м году. И не просто в 237-м году, а до нашей эры.

К счастью, я не высказал это вслух: каска рассеялась в воздухе, а простыни заволновались и оттуда появилась фигура не слишком юной, но вполне еще дееспособной красавицы — безо всяких простыней. Я, не колеблясь, узнал в ней проститутку, тоже, должно быть, довольно древнего происхождения. Всем своим телом она делала веселые знаки, но мой глаз



не успел насладиться ею, как легкомысленное создание исчезло, оставив вместо себя не то попа, не то просто скопца мужского пола. Этот в свою очередь, подождав две секунды, превратился опять в проститутку, но — другую, показавшуюся мне менее привлекательной, чем та, которая была вначале. И так они менялись и соревновались друг с другом, монахи и проститутки, проститутки и монахи, выступая всякий раз в новом качестве и в разной цене, покуда не достигли опять положения инженера Бельчикова. Он стоял предо мною, учтиво повторяя вопрос:

— Когда я родился, определите, пожалуйста...

Пока он был инженером и не успел стать никем другим, я сказал торопливо, что он родился 1 марта 1922 года в городе Семипалатинске, а чтобы он больше не смел приставать ко мне с глупыми вопросами, я добавил во всеуслышание, что родители у него до революции держали в Семипалатинске мясную лавку с приказчиком, а не были крестьянами-батраками, как он любил писать в своих анкетах. При этих словах инженер Бельчиков покраснел и испугался, и, испугавшись, он сызнова начал мелко дрожать и срочно перестраиваться.

Но раньше мне казалось, что все это совершается в прошлом, в древние века, во всяком случае никак не позднее 1922 года нашей эры. Теперь же его куртизанки развивали деятельность, а суровые аскеты ее погашали и замаливали — на ином, высшем этапе исторического процесса, знаменуя, должно быть, междоусобной борьбой дальнейшую эволюцию инженера Бельчикова. Прикинув возможные границы их мимолетных существований, я убедился, что мы мало-помалу добрались уже до середины двадцать четвертого века. Но они все мельтешили передо мною, намекая своим поведением, что даже в прекрасном будущем мы не освободимся до конца ни от поповского дурмана, ни от женской слабохарактерности, хотя все это, конечно, примет новые социальные формы и будет выглядеть совсем иначе...

Спешу оговориться: я не собираюсь из-этого делать никакой теории и не хочу ни подо что подкапываться. Мне хорошо известно, что всякий человек, будь то хотя бы сам Леонардо да Винчи, есть производный продукт экономических сил, которые все на свете производят и экономят. Я желал бы добавить к этому только одно замечание, что человеческий, так сказать, индивидуум, характер, личность и даже — если угодно — душа — тоже не играют в жизни никакой роли, а есть лишь опечатка нашего зрения, вроде пятен в глазу, возникающих в тех, например, случаях, когда мы тычем в него пальцем или долго, не мигая, смотрим на яркое солнце.

Мы привыкли, что люди ходят в воздухе, который кажется нам пустым и прозрачным, тогда как людские фигуры, овеваемые ветерком, имеют видимость твердости и большой густоты. Вот эту равномерную плотность и законченность си-

луэта, выступающего особенно хорошо на светлом воздушном фоне, мы ошибочно переносим на внутренний мир человека и называем это «характером» или «душой». На самом же деле души — нет, а есть лишь отверстие в воздухе, и сквозь это отверстие пронесится нервный вихрь разобщенных психических состояний, меняющихся от случая к случаю, от эпохи к эпохе.

Когда я выше упомянул, что в судьбе инженера Бельчикова видное место занимали распутницы и попы, я не хотел ничем задеть этого славного человека, а попросту констатировал общее положение дел. Не сам инженер Бельчиков, а тот, кто в настоящий момент жил под его псевдонимом, точнее сказать — та невыразимая дырка, которая в данный отрезок времени была заполнена его инженерским, Бельчиковским состоянием, в другие времена служила пристанищем совсем иным состояниям, регулярно обновлявшимся, — уж я не знаю зачем, может быть, в целях какого-нибудь исторического баланса.

Любой из нас, если будет к себе внимательным, обнаружит без труда самые неожиданные рецидивы прошедших и будущих состояний, вроде, например, желания украсть, убить или продать за хорошие деньги. Я про себя честно скажу, что иногда сильно испытывал в этой самой, с позволения выразиться, душе и не такие еще позы, и вы тоже все это у себя найдете в большом количестве, если не станете хитрить и бесстыдно увильживать. Главное — не лицемерьте, и вы поймете, что нет у вас никакого права говорить — «он — вор», а «я — инженер», потому что никакого «я» и «он», в сущности, не существует, а все мы — воры, и проститутки, и, может быть, еще хуже. Если вы думаете, что вы не такие, значит, вам временно повезло, а в прошлом, хотя бы тысячу лет назад, мы все были такими или в будущем непременно достигнем этого уровня, о чем нам без умолку твердят наши сладостные воспоминания и горькие предчувствия...

Впоследствии я кое-как овладел опасным искусством видеть дальше, чем это установлено нашей природой. Я научился контролировать себя, и регулировать, и иметь дело с людьми, как если бы они взаправду находились в постоянных границах своей личности и биографии. Но в ту минуту мне казалось, что меня окружают не два десятка, а по крайней мере две сотни движущихся физиономий. Я скользил глазами по их поверхности, боясь угодить в полынью — глубиной, быть может, в пятьсот, в тысячу и в десять тысяч лет. Ужас Цветного бульвара, переселивший меня в эпоху ископаемых троллейбусов, стыд и позор моей недавней смерти призывали к осторожности, а я не мог остановить разъезжающиеся глаза, которым ни один предмет не казался достаточно прочным и достоверным.

И тогда, ища поддержки, я обернулся к Наташе, хотя знал заранее, что этого нельзя допускать. Ведь понимал же я, что Наташа тоже была человеком и у нее, следовательно, могли

появиться какие-нибудь усы на лице, не говоря уже о признаках более радикальных. Мне не было вполне ясно, какие события на нас надвигаются, но я на всякий случай избегал на нее смотреть слишком пристально, потому что мог, значит, догадываться, что с такими вещами шутить не следует...

И все-таки, ловя глазами опору, я посмотрел на нее и в первый момент был обнадежен, не найдя там ни усов, ни бороды, ни других безобразий, способных в один миг испортить всю красоту. Но вместе с тем голова Наташи тоже слегка отсутствовала. Я угадывал ее скорее по привычке и, чем больше приглядывался, тем явственнее различал угрожающее отсутствие черепа, доходившее почти до шеи и до краешка подбородка. При этом тело Наташи не падало и не сползало вниз, а выпрямленно покоилось в кресле, и пальцы ее поправляли невидимую прическу, выделявая в пустом пространстве беспочвенные пируэты.

Мне стоило труда, лавируя глазами, восстановить истину в Наташиной внешности, собрав по порядку ее лицо в голову, как поступают реставраторы с разбитыми вазами. Но я не хотел думать, как трескаются и разлетаются в прах эти бьющиеся сосуды, если уронить их на тротуар, или ударить ледышкой, или, предположим, с какой-нибудь высоты сбросить на них нечаянно какую-нибудь твердую тяжесть. Я вообще старался поменьше размышлять о случившемся, потому что Наташа была слишком хрупка для этого и могла опять не выдержать внезапного столкновения с моим шатким сознанием.

— Пойдем домой, Наташа, — сказал я негромко, ощущая в сердце усталость и какое-то безразличие. Чувство непоправимой утраты было так велико, что меня почти не коснулось высказывание Бориса, который вдруг сказал из своего угла:

— Скажи мне, кудесник, любимец богов, — проговорил он с кривой улыбкой. — Угадай попробуй, чем я занимался в прошлое воскресенье с десяти до одиннадцати?!

Это были единственные слова, которые он произнес, и вся зависть, накипевшая в нем, и ревность, и срамота сосредоточились в этом вопросе, выпущенном из угла. Он даже не пощадил Наташу, а так прямо в ее присутствии назвал день и час — «в прошлое воскресенье, с десяти до одиннадцати», чтобы тем сильнее позлорадствовать надо мной изнутри и заодно испытать на практике тонкость моей проницательности.

При других обстоятельствах я избил бы его на месте и натворил бы, наверное, массу других безумств. Быть может, в порыве гнева я отказался бы от Наташи, вернув ее Борису с брезгливым определением. Но тут я знал о ней больше, чем он мог представить. Посреди всех несчастий, свалившихся на меня и готовых свалиться в самое ближайшее время, мне казалось не столь существенным, что Наташа мне

изменяла с десяти до половины одиннадцатого в прошлое воскресенье. Не до одиннадцати, а до половины одиннадцатого, если уж быть пунктуальным...

Не глядя на нее и не отвечая Борису, я сказал мягко и медленно, как если бы ничего не случилось:

— Пойдем, Наташа, домой. Пойдем, пожалуйста.

Она сразу встала и прошлась со мною по комнате, обхватив меня под руку своей теплой рукой. Я был ей признателен за этот знак постоянства. Что ж из того, что Наташа понемногу мне изменяла, уступая мольбам и воздействиям своего бывшего мужа? Она делала это из жалости и по старой привычке. А любила она только меня, любила систематически, как могла и пока могла... Это надо ценить в наше смутное время.

В прихожей меня поймал летчик-испытатель и, притиснув к вешалке, захотел посоветоваться. Он выпытывал шепотом, по секрету от жены, когда ориентировочно ему предписан конец. Его волновало, заводить ли ему ребенка и стоит ли покупать холодильник.

В ту ночь я дал зарок никому не говорить о смертных исходах, дабы не расхолаживать в людях романтическое настроение и сохранять в них бодрость духа и здоровую предприимчивость. Но здесь мне пришлось сделать уступку. Смерть в его профессии летчика-испытателя была регулярным занятием и возбуждала в нем спокойное отношение, а не являлась предметом праздного любопытства. Поэтому я сказал, как мужчина мужчине, что жить ему остается пять с половиной лет, после чего, набирая рекордную скорость, он превратится в пар в районе Тихого океана, не успев понять технической причины столь нечувствительного исчезновения.

При этом известии он страшно развеселился. Пять с половиной лет показались ему немалым сроком. На это он никак не рассчитывал, ожидая, что все произойдет значительно быстрее. Теперь он мог себе позволить покупку холодильника и наслаждение с женою, не омраченное противозачаточными средствами, и радовался, как дитя.

— А признайся, браток, — прохрипел он, трясясь от хохота и колотя меня по плечу. — Признайся — клоп у тебя ученый, дрессированный, вроде собаки? Ловко ты нас разыграл с этим своим клопом. Расскажи, открой военную тайну, я никому не скажу...

Этот летчик легко поверил, когда я предсказал ему смерть в ракете через пять с половиной лет. Но понять, как можно предвидеть переползание клопа по стене, — было свыше его сил.

Глухарь замертво скатился с березы, словно его дернули за веревку. Я спустил курок и, прицелившись, вижу, что он сидит на суку, здоровенный черный петух, и глядит на Диану. Мы слезли с коней и поскакали. «Ни пера, ни пуха», — Катенька в розовом капоте машет ручкой с веранды. Прыгнув в седло, я сбегая с крыльца и натягиваю сапоги. «Пора, барин, вставать, скоро светает», — кричит мне в ухо Никифор. Мои руки обняли его тугие икры: «Не покидай нас, ради Бога, ради сына твоего умоляю...» Он смотрит в сторону, бледный от злости: «Сударыня, нас могут заметить». Я взял скаल्प в зубы и поплыл. На середине реки мне сделалось дурно. Не разжимая рта, я погружаюсь...

— Скажи, Василий, кто такой Пушкин? — спрашивает меня жена за обедом.

— А это, милочка, один такой древнерусский писатель. Пятьсот лет тому назад его расстреляли.

— А кто такой Болдырев?

— Это, милочка, тоже один великий писатель. Автор пьесы «Впотьмах» и многих стихотворений. Двести лет назад его расстреляли.

— И все-то ты знаешь, Василий, — говорит жена и вздыхает.

Я стреляю из пушки, я стреляю из арбалета, я стреляю из катапульты. Они бегут. Мы бежим, бежим и вбегаем в город.

— Пойдем в подвал, — говорит Бернардо. — Есть одна девушка. К сожалению, уже умерла, но еще не закоченела.

Мы спускаемся. Девушка лежит на камнях — животом вверх. Ее лицо прикрыто задранной юбкой.

— Не годится, — говорю я. — Что скажет Дева Мария?

— Ей теперь все равно, — возражает Бернардо.

Он берет доску и подкладывает ей под крестец. Перекрестившись, я ложусь первым. Бернардо жмет ногой на рычаг. Девушка покачивается подо мной, точно живая.

— Поторапливайся, — говорит Бернардо.

— Молчи, не мешай мне, — отвечаю я и зажмуриваюсь...

— Я люблю тебя, Сильвия!

— Я люблю тебя, Грета!

— Я люблю тебя, Христофор!

— Я люблю тебя, Степан Алексеевич!

— Я люблю тебя, Василий!

— Я люблю тебя, мой котеночек, моя пуговка, моя устрица, мой бутербродик!..

— говорят он они мне и целуют в губы.

Тьфу!

Слепень бьется в стекло. Снег сверкает на солнце. В графине стынет молоко. Митя чихает.

Раз чихнул — обвал в Гималаях, обломки неба погребают нас вместе с носилками.

Два чихнул — молния ударяет в храм Пресвятой Троицы, гремит гром, горит крыша сарая, горят стога с сеном.

Три чихнул — наводнение, пастор Зиновий Шварц верхом на корове переправляет стулья в чехлах.

— Митя! — говорит мне дядя Савелий, откладывая «Московские ведомости». — Если ты не перестанешь чихать, я тебя высеку...

Несколько дней я провел дома, предаваясь этим видениям. Они были отрывочны, бессистемны, и мне никак не удалось отделить одну мою жизнь от другой и расположить их в должном порядке, по восходящей линии. С другой стороны, отсутствие промежуточных звеньев, соединяющих смерть с рождением, также интриговало меня с научной точки зрения. Но, видно, подземные перегоны мне не дано было постичь, и потому логика всех этих превращений от меня ускользала и я не понимал, кому понадобилось делать из меня посмешище. То индеец, то, видите ли, итальянец, а то попросту невинный ребенок Митя Дятлов, скончавшийся неизвестно зачем восьми лет от роду где-то на рубеже 30-х годов 19-го столетия...

Лишь один раз предо мной приоткрылась завеса, опускающаяся в антрактах, и я увидел себя лежащим на столе, в чепчике, в кисейном платье, в позе трупа, вполне сформировавшегося и приуроченного к захоронению. Подле стола, не стесняясь, плакал навзрыд мой муж, а мои дети приподымались на цыпочки, с ужасом и любопытством взглядывая в лицо, уже начинавшее видоизменяться. Но сам я, живой человек, смотрел на эту сцену откуда-то сбоку и свысока, и я тоже плакал и кричал во весь голос, чтобы они подождали со мною проститься, потому что, может быть, я соберусь еще с силами и встану. А также я просил, чтобы они убрали цветы, потому что меня мучило от этого запаха кондитерской. Но они не обращали на меня никакого внимания и скопом вынесли мое тело в дверь, как заведено, ногами вперед, и я бежал за ними по нашей мраморной лестнице, крича, чтобы меня подождали, и потерял сознание...

Иногда в этом потоке нахлынувших воспоминаний я утрачивал ясность мысли, кто я такой и где нахожусь. Мне начинало казаться, что меня нет, а есть лишь бесконечный ряд разрозненных эпизодов, случавшихся с другими людьми — до меня и после меня. Чтобы как-то восстановить и засвидетельствовать мою подлинность, я крался к зеркалу и сосредоточенно туда смотрелся. Но это мне помогало очень ненадолго.

Человек уж так устроен, что его наружность всегда кажется ему недостаточно убедительной. Глядя в зеркало, мы не перестаем удивляться: неужели вон то мерзкое отражение принадлежит лично мне? не может быть! В этой невозможности

отделить себя от себя есть что-то фатальное в нашей жизни, и мне, наблюдавшему однажды свои похороны и только что описавшему это явление, позволительно будет заметить, что чувство, которое я испытал тогда, лишь повторило в удесятенных размерах наши общие переживания перед зеркалом. Это — чувство несогласия с тем, что тебя выносят куда-то вовне, в то время как ты находишься вот здесь, внутри. Кто-то, я полагаю, сидит в нас и всякий раз горячо протестует, когда его хотят уверить, будто он и есть та самая личность, которую он видит перед собой. Поднесите ему к носу сколько угодно зеркал самой лучшей конструкции, он, сидящий в нас безвыходно и безвыездно, — глянет и замашет руками:

— Что вы, с ума сошли?! Разве это я?

— А кто же тогда?

— Нет-нет, это не я, не я! — запищит он вопреки очевидности.

Лишь хорошенькие женщины способны часами бесстрашно на себя любоваться. Но это объясняется тем, что они мало думают и смотрят на себя не своими глазами, а посторонним взглядом своих оценщиков и потребителей. Все же прочие, нормальные и умные люди, не выдерживают испытания зеркалом. Потому что зеркало, как смерть, противоположно нашей природе и вызывает в нас тот же страх, недоверие и любопытство.

Сомнительно, чтобы кусок стекла, обмазанный какой-то пакостью, был способен правильно передать всю глубину человека. И мы начинаем хвастаться, кривляться и гримасничать, точно хотим этим выразить свое сомнение в призраке, который с независимым видом маячит перед нами. Дескать — ну тебя! пошел прочь! сгинь! рассыпья!

Ужасает, однако, то, что вопреки здравому смыслу он также начинает кривляться вслед за тобою, и дует на тебя, и бормочет прямо в глаза: «Рассыпья, дурак, рассыпья!»

Вот и не знаешь, кому верить — ему или себе? — и мучаешься над мировыми загадками, и сомневаешься, и строишь глупые рожи, пока не плюнешь на него в сердцах и не пойдешь прочь, довольный уже тем, что он тоже очищает позицию и вопрос о твоем бессмертии остается пока открытым.

Попробуйте часок-другой провести перед зеркалом, и вы поймете меня.

Но мои сомнения были еще мучительнее. Через несколько минут задумчивого противостояния передо мной возникали портреты тех самых существ, которые когда-то здесь обитали и глядели на себя в различные зеркала. Своей непривлекательной внешностью они оттесняли на задний план мое собственное исконное изображение — какое я всегда знал за собой и мог бы подтвердить это десятками фотокарточек. Теперь оно подергивалось ухмылками и прищурками, оно закатывало глаза, и

финтило носом, и намыливалось для бритья, и слезилось, и пузырило щеки, и выдавливало из себя угри и прыщи, хотя сам я при этом ничего такого не делал, но сохранял изо всех сил спокойствие и серьезность. Мне приходилось сдерживаться из боязни, что мое лицо по старому обычаю захочет прийти в соответствие со своим отражением. Тогда бы, передразнивая чужие гримасы, я бы окончательно свихнулся как самостоятельная единица. Поэтому, подходя к зеркалу, я всякий раз принимал каменное выражение.

Не знаю, чем бы кончились эти опыты, если бы одна встреча не показала мне тогда всю рискованность этой игры с призраками памяти, грозившими прогнать меня с насиженного места.

Это был коричневый человек, маленький, пожилой, угловатый, похожий на летучую мышь со свернутыми перепонками. В качестве отражателя он пользовался какой-то стекляшкой, многогранно дробившей его фигурку, и без того достаточно ломаную. Но вот крупным планом показалась его голова, лысая, костистая, туго обтянутая темной, пропеченной кожей, и злобное изможденное личико глянуло на меня с такой пронзительностью, что я понял — он здесь, он видит меня. Да, я видел его, а он видел меня, и мы замерли друг перед другом в испуганном изумлении, потому что он тоже вдруг заметил, что я смотрю на него, и был не меньше меня поражен и перепуган. «Боже мой, неужто я был когда-то таким?!» — мелькнуло у меня в голове, и далекое жгучее воспоминание коснулось моего мокрого, моего похолодевшего лба...

Пустыня. Кварц. Солнце. У меня в пальцах кристалл. Что-то будет со мною через семьдесят пять обновлений? Спрошу?.. Нельзя спрашивать! Спрошу! Никто не узнает. ...Вижу себя. Мудрая, красивая, кожаная голова... Кто — это? Кто — это? Белое, скользкое, в поту. Похож на улитку. До чего отвратителен! Какое-то мясо в тряпье. Веревка на шее. Удушенник. Выродок. Меня заметил. Глядит! Оттуда глядит!! Неужто видит? Видит, видит... Губы трясутся. И это — я, я! — таким буду?!

И почти одновременно с ним, на его темно-коричневом фоне, я увидел в зеркале себя — таким, каким он меня увидел тогда в своем кристалле, — и память о моем тогдашнем впечатлении от моего теперешнего состояния мигом нарисовала мне его: в немыслимом пиджачке, в галстучке, обвязанном вокруг его белой, ублюдочной головенки... Я, кожаный, задохнулся от ненависти к тому, пиджачному и студенистому. И я бросился прочь от кристалла (от зеркала?) — по пустыне (по комнате?) и, упав на кровать (на песок?), закрыл лицо руками. Мне показалось, что он сделал то же самое со своим — я не знаю уже с каким — кожаным или студенистым? — лицом...



Так они встретились и разошлись —  
— вспомнивший о том,  
КТО увидал,  
как он вспоминает,  
и увидавший того.  
КТО вспомнил,  
как он увидал.

Между ними лежал промежуток в 5000 лет. Их было двое. А меня среди них не было...

Из этого отсутствующего состояния меня вывела Наташа. Она спросила удивленно:

— Ты спишь? Среди дня? Ты чем-нибудь заболел?

Это нежное «ты», сказанное Наташей, относилось лично ко мне, потому что в комнате никого не было, кроме нее и меня.

— Да, — ответил я, радостно вставая с кровати. — Я спал. Я здоров. Я отлично себя чувствую. Я рад твоему приходу. Я так рад. Я так, я так тебя люблю.

И мы крепко расцеловались...

Визиты Наташи в эти дни были для меня просветлением. Она вносила в мой дом недостающую дозу реальности. Рядом с нею я чувствовал себя крепче и уверенней в жизни, не казавшейся мне такой уж непостоянной, если здесь была Наташа, про которую я твердо знал, что любил ее и люблю. Мне нравилось слушать ее рассказы о профессорах, экзаменах и дипломных работах (она писала диплом о Тургеневе и собиралась кончать в этом году). И то, как она в пять минут приготавливала яичницу из трех яиц и создавала на салфетке иллюзию чистоты и уюта, и то, как она устраивала из какого-нибудь полотенца изящный фартучек на груди и сразу принимала вид молодой хозяйки, или то, как она перекусывала нитку возле самой иглы, — все это также нравилось мне и укрепляло в сознании, что все в этом мире стоит на своих местах.

Однако смотреть на нее слишком пристально я по-прежнему избегал. Не то чтобы я боялся сигналов об опасности, которая все равно не смогла бы от этого исчезнуть. А просто мне не хотелось лишний раз производить разрушения на ее лице, регулярно случавшиеся при слишком сильном всматривании. Поэтому я предпочитал целовать ее на ощупь, не глядя, а в разговорах с нею по преимуществу смотрел на пол или в окно.

Она, конечно, заметила эту мою перемену и думала, что я догадываюсь о ее связи с Борисом, но мы теперь не касались никаких скользких тем, на что у каждого из нас были свои причины. Новогодний успех в роли предсказателя я ей коротко объяснил давним знакомством с популярной системой научных опытов и развлечений Тома Тита. Наташа не стала меня спрашивать. Она только допытывалась чаще обычного, не раз-

любил ли я ее из-за каких-нибудь пустяков, и на этот вопрос я говорил, что ничего в отношении к ней у меня не изменилось, и обнимал ее в доказательство, поглядывая на пол или в окно.

На дворе, несмотря на январь, стояла слякоть, и на соседних крышах висели сосульки, и, хотя дворники их скалывали почти ежедневно, они вновь вырастали, как грибы. И поглядев из окна на эту картину, удручавшую меня своей неизбежностью, я принимался торопить Наташу с отъездом.

Разумеется, я не обмолвился ни о 19 января, которое приближалось, ни об угрозе, нависшей над нами из Гнездииковского переулка, с высоты большого, десятиэтажного дома, вполне достаточного, чтобы убить слабую женщину. Но я обдумал все, и все взвесил, и объявил Наташе про свое намерение провести вместе с нею отпуск вдаль от города, на лоне природы. За пять суток, 14 января, я сказал, что нельзя медлить и сегодня мы уезжаем — поезд отходит ночью, билеты куплены. Однако никаких билетов у меня не было и денег тоже не было, и когда Наташа ушла складывать чемоданы, я решил прибегнуть к Борису за неимением лучшего выхода. Мне представлялось, что он не посмеет отказать в одолжении, если явиться к нему внезапно и без объяснений попросить взаймы, под расписку, полторы тысячи.

В самом деле, Борис сперва отнекивался и приbedнялся, но вскоре пошел на попятный, стоило намекнуть, в каком потайном отделении письменного стола хранятся у него деньги и в каких купюрах.

— Ты что же — насквозь видишь? Тебе бы сыщиком быть, — заявил он, некрасиво кривясь в закоченевшей улыбке. — Кстати, могу поздравить. Студентка — помнишь — на вечере? Получила «пять» по марксизму. Все в точности, как ты предсказал. 5-й съезд партии и 4-й закон диалектики. А Бельчикова исключили из партии. Я проверял. Лавка в Семипалатинске полностью подтвердилась...

Мне было жаль Бельчикова. Я не хотел ему наносить жизненного ущерба, я просто тогда не подумал о возможных последствиях. Но с Борисом следовало держаться настороже. Борис был способен причинить крупные гадости. Вот и сейчас вокруг него витало хмурое облачко зеленовато-бурой окраски — верный признак злобы в сочетании с душевной подавленностью. Оно обволакивало его впалые щеки и завихрялось над теменем. Это было похоже на табачный дым, но Борис не курил.

— Послушай, — сказал он вкрадчиво и перестал улыбаться. — Бери полторы тысячи. Пожалуйста. Но зачем тебе Наташа? Куда тебе с ней? На твоём месте, с твоими феноменальными данными — женщины, автомобили. Дипломат высшего ранга, следовательно в международном разряде. Ни один преступник не денется. А Наташа тебе помеха. Вся карьера

насмарку. Она будет спать с кем придется. Я ее знаю. Направо-налево. Она со мною живет. Хотя ты ясновидящий, а у себя под носом не видишь. Она ко мне бегаёт каждое воскресенье. Можешь себе представить. На этой самой тахте...

И он пустился со мною в такую глубину откровенности, что я попросил его замолчать. В противном случае я пригрозил рассказать ему всю подноготную обо всех болезнях, от которых он сохнет, если не перестанет.

Это не привело его в разум. Он захлебывался от страсти. Он силился опозорить Наташу, чтобы вернуть ее в жены. При этом он ужасно хвастал и безбожно преувеличивал, расписывая в ярких цветах, что было и чего не бывало.

Честно скажу, в этот раз мне было не до отгадок. Я нимало не заботился о правдивости моего предсказания, а городил все, что попало, и врал без зазрения совести — лишь бы его заглушить. Мне хотелось побольнее задеть это хилое тело, посмеявшее у меня на глазах любить Наташу с такой мстительностью и бесстыдством. Наши речи скрестились наподобие шпаг или, образно говоря, пистолетных выстрелов, которыми мы обменивались с большой скоростью на малой дистанции:

— Вот на этой тахте. Двенадцать способов. Во-первых, мы ложимся...

— ...Откроется туберкулез. За четыре месяца — пятнадцать килограмм чистого веса. Ты будешь трястись от кашля и надеяться, что это бронхит.

— В-третьих, она лежит, а я ложусь сбоку и — на боку...

— Резекция ребер. Правое легкое сгнило. В левом — каверна. Не считая язвы желудка. Ни сесть, ни встать...

— Я встаю, она тоже встает, и мы приступаем...

— Кашель в сочетании с рвотой...

— Поцелуи переходят в укусы...

— Испарина!

— Бедро!

— Желудок!!

— Грудь!

— Скелет!!

— Задницей!

— Задница!!

— Вот на этой тахте...

— На этой самой тахте...

— Под себя!

— Под себя...

— Но больше всего мне нравится, когда...

— Кожа да кости!..

— Когда в шестом способе мы ложимся...

— Пролежни!..

— Шестой способ...

— Пролежни! пролежни!

На шестом способе я его доконал. Позабыв о мужской силе, которой он только что козырял, Борис заткнул уши пальцами и завизжал, как женщина:

— И-и-и-и-и-и-и-и! И-и-и-и-и-и-и-и!

Я поговорил еще немного об отеках, но он вел себя по-свински — кричал и топал ногами, не желая слушать мои продолжения про обещанные ему неприятности. Тогда, без лишних слов, я выдвинул из его стола потайной ящичек, отсчитал себе взаймы полторы тысячи и написал расписку.

Борис утих. Не вынимая пальцы из раковин, он с ужасом следил за моими губами. Ему казалось, что я снова буду высказываться. Вид у него был совсем больной.

Я поднес расписку к самому его носу. В ней было сказано, что полторы тысячи я верну через месяц. Он молча кивнул головой в знак согласия. Разговаривать и спорить со мною он больше не решался. Я сказал ему «до свидания» и поспешил уйти: мне тоже было мерзко и тяжело...

В перепалке с Борисом меня контузило. Конечно, я был подготовлен к его сообщению и мог учитьвать, где тут правда, а где голый обман. И все же мне было больно еще и еще узнавать, что он проделывает с Наташей по воскресеньям то же самое, что мы с нею проделывали наедине в будние дни. У меня даже мелькнула идея, не уехать ли мне одному, предоставив событиям развиваться, как им захочется. Но сознание, что жизнь Наташи висит на волоске, меня удерживало и охлаждало.

Дав крюку, я завернул в Гнездниковский. Место опасности было оцеплено. С крыши дома № 10 скидывали подтаявший снег. Ледяные снаряды врезались в асфальт, взметая кучи воды и грязи. Мостовая стонала под ударами, по воздуху разносилась пальба. Ротозей, рискуя забрызгаться, восхищались героизмом дворников...

Однако меры предосторожности ничем не увенчались. Сосулька была вне досягаемости. Она находилась в зачаточной форме — величиной с пуговицу, и, угнездившись за карнизом, накапливала убойные силы. Ее никто не замечал. Она созревала.

Единственный способ — уехать подальше от этой адской машины. Я поехал на вокзал и взял два билета.

Понимал ли я тогда всю безвыходность положения? Что наши усилия не ушли далеко от хлопот обыкновенного дворника? Что мы расчищаем путь событиям и помогаем им соблюдать аккуратность?...

Нет, я гнал от себя эти мысли. Должно быть, инстинкт самосохранения понуждал меня к бесплодной борьбе, потому что только так мы еще можем жить.

Я говорил себе, что бояться смешно и глупо. Не война, не эпидемия, а пустяковая сосулька, миллионная доля случайности в совпадении попадания. Сделай два шага, перейди на другую сторону — и дело в шляпе. А ведь мы уедем отсюда

за тысячу километров, отсидимся за Уральским хребтом и вернемся домой через месяц, когда сосулька растает или обрушится на случайно подоспевшего проходимца. Только бы, думал я, не спохватился Борис, только бы меня по его навету не сцапали на вокзале и силой не помешали нашему бегству из города, от этой не ко времени затянувшейся гололедицы.

Казалось, мы с места никак не съедем. Лишь когда поезд тронулся, а вагон дернулся и поплыл, у меня отлегло от сердца. Я спросил две постели, и, пока Наташа раскладывалась, я покуривал, примостившись в сторонке, и поглядывал на нее.

Вагон мотало и подбрасывало, а Наташа легко и проворно, будто всегда этим занималась, вправляла подушки в наволочки с линялыми штемпелями. В ее приготовлениях сквозило такое спокойствие, что я сказал, нагибаясь к ее склоненной фигуре:

— Наташа, — сказал я, — Наташа, давай поженимся.

Она хозяйственно подоткнула уголки покрывала и уселась напротив меня, поджав одну ножку.

— Ты же знаешь, — сказала она, — Борис не дает развода.

— Все равно, — настаивал я, — все равно с этой минуты мы поселимся вместе. Мы начнем крепкую, здоровую семейную жизнь. Давай считать нашу поездку свадебным путешествием. Согласна?..

Наташа ничего не ответила, но, рассеивая подозрения, провела по моим глазам своей легкой рукой.

---

---

4

---

---

Эх, поезд, птица-поезд! кто тебя выдумал? знать у бойкого народа мог ты только родиться! И хоть выдумал тебя не тульский и не ярославский расторопный мужик, а изобрел, говорят, для пользы дела мудрец-англичанин Стефенсон, уж больно пришелся ты впору по нашей русской равнине и несешься вскачь по кочкам, по пригоркам, по телеграфным столбам, и замедляешь, и убыстряешь движение, пока не зарябит тебе в очи. А приглядеться — печь на колесах, деревенский самовар с прицепом. Сердитый на взгляд, но добрый, великодушный, кудрявый. Пыхтит себе, отдувается и прет на рожон, куда ни попросишь, только ухнет для острастки, да как свистнет в два пальца, заломив шапку на затылок, таким фертом, таким чертом, таким черт-те каким, сам не знает, гоголем: дескать, помни наших, не то раздавлю! чем мы хуже других?!

Вот и станция. Ошалелые бабы, увешанные детишками и сундуками, лезут под колеса. Пужливые торговки, дуя в кулаки, продают картофель, укутанный в тряпки, вкусный, еще тепленький, огурцы, курятину и стреляют глазами, опасаясь гонений, властей, облавы, поборов. Безногий калека, отталкиваясь руками, в морской тельняшке, с кепкой в зубах,

скачкообразно передвигается по вагону. Кипяток. Буфет с пряниками. Надпись «1-е Мая», сохраненная с прошлогодней весны, выцветшая за сезон. Осталась одна минута. Начальник станции в багряном околыше рассказывает по платформе, такой всегда строгий, зоркий, поджарый, высушенный на транспорте, в угаре, в передрягах с товарняком.

Не успели заметить, как поехали. Замелькали бабы, детишки, лозунги, сундуки, последний домишко с последним тряпьем, прохлаждающимся на заборе, и вот мы вновь мчимся одни по ледяной пустыне, в грохоте, в треске, в пороховом дыму, огибая окрестность, обскакивая на полном ходу другие народы и государства.

Я проснулся от холода, за Ярославлем. Вагон мелко дрожал доброй хорошей рысью. Наташа еще спала, свернувшись калачиком, а я протер стекло и, удобно подперев подбородок, уставился с верхней полки на проезжий пейзаж.

Мы сходили белым лесом, без единого пятнышка, и если вчера в Москве нас одолевала распутица, то здесь царила крепкая правильная зима и было чисто, как в церкви накануне большого праздника. Деревья, покрытые инеем и облепленные снегом, были прекрасны. Они имели видимость фиговых и кокосовых пальм и бананов, какие растут, наверное, только в Индии или в Бразилии и уж никак не подходят к нашей скудоумной природе. И то, что она, природа, вдруг расщедрилась на эти богатства, неизвестно откуда взявшиеся, заставило меня вспомнить о каменноугольном периоде, когда и у нас в России, как доказывает наука, имелась своя — не хуже бразильской — тропическая растительность, которую мы теперь под видом антрацита сжигаем и пускаем в трубу.

Но раздумье об этой утрате древовидных папоротников и хвощей не ввергало меня в уныние и безысходный пессимизм. Трубчатые стволы, и перистые опахала, и веера, и звезды, и вензеля, и перстни, сгорая дотла в паровозе, возвращались к нам обратно — выполненные из снега — по обеим сторонам железнодорожного полотна. Они возникали, не успев исчезнуть, и хотя они были немного не такими, было в их основе что-то такое, такое хрустальное и божественно-твердое, что сообщало всем этим жиденьким березкам да елкам неизгладимый папоротниковый отпечаток.

Значит, рассуждая логически, ничто не гибнет в природе, но все укореняется одно в другом, отпечатывается, затвердевает. Значит, и мы, люди, сохраняем в подвижном лице, в разных привычках, капризах и в капризных улыбках — затвердевшие признаки всех тех, кто жил когда-то в наших трубчатых душах, как в катакомбах, как в норах, и оставил нам на память останки своих заселений.

Эта мысль еще недавно бросала меня в дрожь. Мое миниатюрное «я» эгоистически сопротивлялось пришельцам, кото-

рые, подобно вшам, неожиданно-негаданно завелись у меня в голове и грозили полным расстройством всей моей центральной системы. Но сейчас — перед лицом природы, обнаруживающей порядок и стройность, — это присутствие посторонних существ только тешило и забавляло меня и приводило к сознанию моей глубины, силы и внутренней полноценности. Все, что ни лезло в голову, я обдумывал на ходу, лежа на верхней полке животом вниз, и прикидывал так и эдак мои наблюдения над жизнью, и подкладывал под них прочный философский фундамент.

Удивительно, как это так наука до сих пор не открыла и не доказала вполне научно и логично — переселение душ. А примеры — на каждом шагу. Возьмем, чтоб далеко не идти, шестипалых младенцев. Родится ребенок, а у него взамен пятерни — шестерня. Спрашивается: откуда взялся лишний мизинец? Медицина — бессильна. А если вдуматься, пораскинуть мозгами? Ведь ясно же — это тот, посторонний, запрятанный, кто давно уже умер, решил заявить о себе и, воспользовавшись удачным моментом, просунул в чужую ладонь дополнительный палец. Дескать, здесь я, здесь! сижу и скучаю, и хочется мне хотя бы одним пальчиком на Божьем свете вильнуть.

Опять же — сумасшедшие. Какая дальновидность прозрений! Ходит — надменный — и всем говорит: «Я — Юлий Цезарь». И никто ему не верит. Никто не верит, а я — верю. Верю, потому что знаю: был он Юлием Цезарем. Ну, может, не самим Цезарем, но каким-нибудь другим, тоже выдающимся полководцем бывать ему приходилось. Просто немного запомнил — кем, когда, какого рода войск...

Но к чему непременно брать сумасшедшие крайности? Разве любой из нас — самый смиренный, застенчивый, напуганный жизнью товарищ — не чувствовал иногда прилив храбрости, вдохновения, государственного ума? То-то и оно! Быть может, это Хлодвиг или Байрон пробудился в нас на секунду. А мы живем и не знаем...

А может, это был сам Леонардо да Винчи?!

Я не настаиваю на Леонардо. Я делаю допущение. Мне принцип важен, а не Леонардо да Винчи. И совсем не о себе я пекусь. Мне лично — хватает: Грета, Степан Алексеевич — тот самый, что подстрелил глухаря... Или невинный ребенок Митя Дятлов, умерший восьми лет от роду на рубеже 30-х годов... Всех не перечить... А все ж таки было б недурственно в дополнение к Мите и Грете заполучить какого-нибудь, ну, на худой конец, Байрона, что ли... Приятно это — черт побери! — пройтись по Цветному бульвару этаким чертом, этаким лордом Байроном, раскидывая по сторонам этакий, не совсем обычный, байронический взгляд!

Затем, вслед за историей, мне припомнились другие предметы, какие мы изучали в школе: география, зоология... Человеческий эмбрион, говорят, претерпевает — стадии. Сперва —

рыба, потом, кажется, земноводное, потом постепенно дорастает до обезьяньего сходства... Так вон оно что! И рыбам и даже лягушкам дана в моем теле некоторая возможность попрыгать, побегать, себя показать, людей посмотреть. Только — видеть по всему — не досказал до конца наш старенький школьный учитель, что не какие-то отвлеченные стадии проходил мой организм в бытность глупым зародышем, по частям формируясь в родной материнской утробе. А совершенно конкретный, живой, неповторимый карась был моим близнецом и, так сказать, совместителем в эти золотые часы — тот самый, верно, карась, что плавал в реке Амазонке 18 миллионов лет тому назад. Остальные же рыбки — каждая в отдельности — разместились в других моих современниках. Вот оно как все получилось и образовалось.

Так по ходу поезда выростала моя теория, единственно, быть может, способная насытить образованный ум. Подперев себя изнутри каркасом железных выводов, я лежал на верхней полке и грезил о бесконечности, о бессмертии и равноправии. Потому что теперь я твердо знал: никто из нас не исчезнет и, как сказано в одной песне, — «никогда и нигде не пропадет». Просто мы переедем в другую, возможно, еще более комфортабельную квартиру. Всем скопом переедем. Вместе с Митей Дятловым, и Гретой, и Степаном Алексеевичем, и рыбкой. Байрона бы только не забыть!

Мы разместимся внутри какого-нибудь просторного будущего гражданина. И, мне думается, гражданин не останется к нам безразличным. Он будет чутким, вежливым, передовым человеком, да и наука в те прогрессивные времена обо всем ему подробно расскажет. И вот, сидя у окна, в тихий летний вечер, он почувствует вдруг в душе беспокойное копошение. Какие-то внезапные настроения прольются из его сердца, и фантастические идеи осенят его усталую голову. Сначала он удивится, смутится, а потом вспомнит о переселенцах и скажет:

— А, это ты, дружище?! Узнаю тебя. Как поживаешь? Передавай привет Хлодвигу и Леонардо да Винчи!

О вы, человек будущего! обратите на меня внимание! Не забудьте вспомнить обо мне в тот тихий летний вечер. Смотрите — я улыбаюсь вам, я улыбаюсь в вас, я улыбаюсь вами. Разве умер я, а не дышу еще в каждом трепете вашей руки?!

Вот он я! Вы думаете — меня нет? Вы думаете — я исчез навеки? Остановитесь! Умершие люди поют в вашем теле, умершие души гудят в ваших нервах. Прислушайтесь! Так жужжат пчелы в улье, так звучат телеграфные провода, разнося вести по свету. Мы тоже были людьми, тоже плакали и смеялись. Так оглянитесь же на нас!

Не по злобе, не из зависти, а только из чувства дружбы



и солидарности мне хочется предупредить вас: вы тоже умрете. И вы придете к нам, как равный к равным, и мы полетим дальше, дальше, в неведомые времена и пространства!.. Я обещаю вам это.

...За такими рассуждениями я совсем позабыл о Наташе. То есть не то чтобы позабыл, а я перестал о ней много думать и беспокоиться и только бессознательно помнил, что она едет рядом, оставаясь неизменно той, какой она всегда была для меня, — моей прекрасной Наташей и никем больше. И хотя я мог допустить чисто умозрительно, что у нее внутри тоже кто-нибудь есть, мне почему-то не хотелось ничего знать об этом и я не допускал мысли о такой вероятности. Моя разнузданная фантазия сохраняла ее нетронутой, вечной, единственной и неделимой Наташей, суеверно обходя стороною это деликатное место. Даже строя планы нашей счастливой жизни, я не слишком их уточнял и детализировал и старался не забегать дальше той минуты, когда Наташа проснется и позовет меня завтракать.

До чего же это приятно — ты завтракаешь, а тебя везут! И что бы ты ни делал — ты едешь! Смотришь в окно — и едешь, отвернешься — все равно едешь. Читаешь, куришь, ковыряешь в зубах — и тем не менее продолжаешь ехать все дальше, дальше, и ни одна минута твоей жизни не пропадает.

А эти милые паровозные чудеса в решетке! Плевательницы, привинченные к полу; загнутые ручки у двери (нажмешь — она открывается!); зябкий, немного волнующий ветерок из уборной; слабенький, но уваристый, слегка прогорклый чаек!..

Чтобы согреться и приподнять еще выше свое счастливое настроение, я выпил стакан вина и закусил. Наташа не могла надивиться моему аппетиту. Я кушал за семерых.

Нет, я не был так уж голоден, но испытывал — впервые в жизни — странную потребность — глотать. Не столько есть, сколько — глотать, проглатывать. Будто вместе со мною кормилась группа детей разного возраста. И я мысленно приговаривал, опуская в горло куски: «Это — тебе, это — мне, это — тебе. А вот это — мне...»

Мне хотелось быть со всеми одинаково справедливым. Даже тому темнокожему, сморщенному старикашке, который за что-то невзлюбил меня с первого взгляда, я бросил сухой колбасный огрызок, говоря: «Ешь да помалкивай!»

Но особенное расположение, если не сказать — любовь, я чувствовал к Мите Дятлову. Еще бы — совсем дитя, сирота, шустренький такой, игривый. Все просил у меня винца попробовать. Я, конечно, отказывал: еще маленький. Тогда он что, безобразник, выкинул! Разложила Наташа конфетки к чаю, а он подсмотрел, да как закричит:

— Дай мне! дай мне! мне! мне! — закричал я не своим,

каким-то детским, писклявым голосом и схватил со столика сразу три штуки.

Наташа неуверенно засмеялась. Но я взял себя в руки и все обратил в шутку. А Митька за свое безобразие был наказан. Конфетки я отдал другому, уж не скажу точно какому выкормышу — быть может, моему первенцу, тихому первобытному увальню, что перед самым Новым годом перетрусил встречи с троллейбусом. Он высосал их с благодарностью, урча как медвежонок...

— Наташа, — сказал я, немного подумав. — Ты во мне не замечаешь ничего особенного?

— Что ты имеешь в виду? — спросила Наташа и посмотрела так, как если бы это я что-нибудь в ней обнаружил.

— Нет, ничего... Но тебе не кажется, что я какой-то более толстый?.. Толще, чем всегда...

И я обвел руками воображаемую фигуру, стремясь лучше выразить мою внутреннюю полноту...

— Ты все всегда придумываешь, когда выпьешь, — сказала Наташа обеспокоенным тоном, и я понял, что сейчас она спросит о моем отношении...

— А ты меня не разлюбил? — спросила Наташа.

— Нет-нет! В отношениях к тебе у меня ничего не изменилось.

— Как ты сказал?

— Я говорю — в отношениях к тебе у меня все в порядке, — повторил я раздраженно и пожалел, что затеял с нею этот разговор.

Ведь стоит заговорить или подумать о чем-нибудь, как сразу все начинается. Я давно это заметил. Быть может, мои предсказания только потому сбываются, что когда все известно — деваться некуда, и если бы мы не знали заранее, что должно с нами случиться, ничего бы не случилось...

— Наташа! — воскликнул я умоляющим голосом. — Я люблю тебя, Наташа! Я люблю тебя больше, чем прежде! Я никогда, никогда тебя не покину!

И я намеревался обнять ее и прервать весь разговор долгими поцелуями, потому что в нашем купе мы ехали одни и могли целоваться сколько угодно, ни о чем не волнуясь.

— погоди! — сказала Наташа и вытерла губы. — Ах, если б ты знал!.. Я должна тебе рассказать одну вещь...

— Ничего не надо рассказывать... Я сам все знаю. Посмотри лучше туда — какой домик мы проезжаем. Дивный домик. С крышей, с трубой, а из трубы — дым. Вот бы нам с тобой жить в таком домике. Ходить на лыжах — за хлебом, за керосином. Пока дети не подрастут. Сын или дочь — кого захочется. Лично я, например, вполне созрел для отцовства. Во мне пробудилось то самое, что бывает, наверное, у беременной женщины...

Но она не поняла меня и даже не посмотрела на домик,

который мы уже проехали. Ей не терпелось облегчить душу и рассказать по совести все то, что мне без ее признаний было отлично известно и о чем нам следовало молчать, чтобы не накликать беды. Уж если сам я ни разу не попрекнул ее ничем и сдержал ревнивые чувства и даже, в какой-то мере, ограничил свои способности — лишь бы сохранить в целости ее жизнь и здоровье, — то она-то могла бы тоже сколько-нибудь подождать с этим делом и не говорить мне ничего о своей связи с Борисом.

Да и что нового могла она мне сообщить? Она сказала только, приуменьшая размеры, что однажды, под влиянием настроения, зашла с Борисом немного дальше, чем он того заслуживал, и теперь жестоко раскаивается в этом поступке. Но сказанных ею, робких, со слезами в голосе, слов было достаточно, чтобы раздражить мои мысли и направить их внимание в эту сторону. Едва лишь было произнесено имя Бориса, как я подумал, что он, конечно, не оставил нас без последствий и в любую минуту надо ждать погони. Со вчерашнего вечера он успел развить скорость и заявить на меня в какое-нибудь государственное учреждение, которое не преминет вмешаться и все испортить. И как только я подумал об этом, мне стало ясно, что беды не миновать и она уже где-то здесь, по соседству, приготовила нам сюрприз, и что сам я об этом давно знаю, но храбрюсь, и делаю вид, что все в порядке.

— Пожалуйста, ничего не думай, — говорила Наташа, трясясь у меня на груди. — Я люблю тебя и ненавижу Бориса. Но кажется — я беременна, не знаю от кого. Поступай, как знаешь...

Господи! Этого еще не хватало! Ну какое мне дело до ее пачкотни с Борисом! Не все ли равно — от меня, от него ли? Да разве не собирался, я сам намекнуть ей в облегчение, что готов взять на себя любую беременность? — только бы она ничего не говорила мне о Борисе и не привлекала внимание тех четырех военных, что ходят из вагона в вагон и просматривают документы.

Видать, они сели в поезд уже за Ярославлем и, обсле- дуя проезжую публику, медленно двигались к нам. Теперь нас отделяло всего три вагона, и хотя на таком расстоянии я ничего не мог разобрать, мне было понятно и так, кого они разыскивают и какого рода инструкция лежит в нагрудном кармане самого главного из них — по фамилии почему-то Сысоев.

А с другого конца, по ходу поезда — я только что это заметил — двигалась вторая четверка, навстречу первой, про- чесывая пассажиров. Мы были в центре. Они приближались к нам с двух концов.

— Ах, Наташа! Да перестань ты плакать! Все это сущие

пустяки. Скажи лучше — зачем ты позвонила Борису перед самым нашим отъездом? Ты сказала ему номер вагона? Нет? Ну, и то хорошо.

Объясниться с нею не было времени. Я был как-то растерян, рассеян. Все мои противоречивые чувства — все дармоеды, ехавшие со мною по одному билету, — вдруг всполошились и потащили в разные стороны. Одни — вероятно, бывшие женщины — убеждали расстаться с Наташей, да поскорее, чего путаться с этой дрянью, сам спасайся, пока не поздно. Другие больше всего жалели зря потраченных денег, которые надо вернуть через месяц. А кто-то посоветовал оказать вооруженное сопротивление.

Кто это был — я так и не понял. Степан Алексеевич со своими дворянскими замашками? индеец, ушедший под воду, не выпустив скальп изо рта? или какой-нибудь еще неопознанный неизвестный солдат, похороненный во мне рядом с трусостью и крохоборством? Милый, милый, наивный неизвестный солдат!..

Но заручившись его моральной и физической помощью, я мигом усмирил вшивую толпу подстрекателей. «Цыц, сволочи! всех перевешаю!» — пробормотал я сквозь зубы. И когда они смолкли и пришипелись, — стало слышно, как стучат колеса и скрипят деревянные перегородки, заглушая скрип сапог и отдаленный говор тех, кто искал меня по всему поезду.

Тогда я сказал Наташе, что пора вылезать, и она не спросила, как мы вылезем — ведь мы мчались по снежной равнине, а только спросила — а как чемоданы? И я схватил ее за руку и потянул по вагону. В тамбуре, на наше счастье, не было ни души, и дверь на волю, как я предвидел, не была заперта, хотя обычно ее запирают, чтобы никто не выпрыгнул и не расшибся. Холодный ветер, сдобренный снегом, ударил нам в глаза.

— Прыгай, прыгай! — кричал я Наташе, перекрикивая грохот колес. — Сугробы — не разобьешься. Я ручаюсь. Прыгай, тебе говорят!..

Но она боялась прыгать с такой высоты и на такой сильной скорости, потому что не знала, что бояться ей нечего и тут она застрахована и может прыгать сколько угодно — все равно ничего не будет. Я бы соскочил первым, чтобы подать ей пример, но опасался, что соскочу, а она уедет и я уж ничем не смогу ей помочь.

Четверо военных шарили в нашем вагоне и приближались к тамбуре. Я начал выгалкивать Наташу и бить ее по рукам, говоря, чтобы она прыгала, не задерживаясь, а Наташа не верила, и цеплялась руками, и зачем-то твердила, чтобы я не выбрасывал ее на ходу и что у нее с Борисом нет ничего общего.

Может быть, мне удалось бы вытолкнуть ее и самому спрыгнуть в последний момент, но те, что ловили меня по доносу Бориса, уже ворвались к нам и окружили нас в одну се-

кунду. Посыпались приказы, вопросы: кто такие, что здесь делаем и почему отворена дверь? Я отвечал, что мы вышли подышать воздухом, потому что моей жене сделалось нехорошо.

Наташа вся дрожала. Она никак не могла отделаться от странного впечатления, что я собирался — будто бы — столкнуть ее под колеса. Но все же она подтвердила, что мы дышали воздухом, и я оценил еще раз ее благородство... Впрочем, сейчас все это не имело значения. Меня опознали.

— Вы задержаны, прошу вас проследовать за мной, — сказал тот, кого звали Сысоевым. Он сунул мой паспорт в свой нагрудный карман и протянул бумагу, которую я не стал читать. Мне чудилось, что все это уже бывало со мною, и даже бурки Сысоева, отличные офицерские бурки, мне где-то раньше попадались. Никогда не видал я ни Сысоева, ни его беленьких бурок, а просто мог бы про все сказать: так я и знал! так оно все и представлялось мне с самого начала!

Самое грустное было то, что Наташу не арестовали. Ее отпускали без меня на все четыре стороны, и она, намереваясь вернуться в Москву, плакала третьими или четвертыми за сегодняшнее утро слезами.

— Ты не думай, — говорила Наташа, — я не вернусь к Борису. Я буду ждать тебя. Тебя скоро выпустят. Это ошибка. Я уверена, ты не думай...

Потом нас высадили на первой же станции. Утро было сухим и морозным. Полпоезда сбежалось смотреть, кого поймали. Баба в тулупе крестилась на меня, будто на мертвеца. Восемь военных гордо и почтительно меня сопровождали, словно знатного иностранца. Из них по крайней мере четверо сжимали незаметно в карманах рубчатые рукоятки наганов.

— Можете попрощаться с вашей подругой, — сказал Сысоев. — А вам, гражданочка, рекомендую отдохнуть на вокзале. Обратный поезд пойдет только вечером.

Я обнял Наташу и произнес внятно и тихо — последнее, что мог произнести в эту решительную минуту:

— Наташа! — сказал я. — Ты можешь думать про меня все, что хочешь. Считаю меня, если хочешь, безумцем, но помни одно: когда вернешься домой — не вздумай ходить в Гнездиковский. Такой переулочек, возле площади Пушкина, улицы Горького. Не заглядывай туда ни под каким видом. Особенно воздержись — в воскресенье, девятнадцатого января. Запомни: девятнадцатого! через четыре дня. В десять утра. Сиди дома. В крайнем случае, если пойдешь к Борису... Не качай головой, я знаю. Девятнадцатого — воскресенье, и тебе может случайно захотеться пойти к Борису. Что ж тут такого! Ничего особенного. Я не возражаю. Но только не ходи по Гнездиковскому переулку. Совсем не по пути. К тому же ты опоздаешь, если пойдешь в Гнездиковский. Вы же привыкли — с десяти. До половины одиннадцатого. Вот и хорошо. Найдется занятие.

Не заметите, как время пройдет. Хоть до двенадцати. Сейчас — неважно. Главное — запомни: Гнездниковский... девятнадцатого... в десять утра...

И как только я высказал эту мысль, точившую меня непрерывно все это время, я понял, что не должен был ее говорить. Не скажи я Наташе — ей бы, может, никогда и в голову не пришло туда ходить, а теперь я первый все подготовил и обозначил, и уже ничего нельзя отменить и переделать.

— Какой Гнездниковский? — сказала Наташа. — Чего ты от меня хочешь? Не бывала я ни в каком Гнездниковском...

Я только махнул рукой и, сощурившись от злости и боли, крикнул своей охране:

— Пошли!

Пройдя шагов пятьдесят, я обернулся. Наташа стояла на том же месте, но выражение ее лица я не сумел разглядеть. Ее голова была от меня отрезана железнодорожным мостом... Зато вся остальная, нижняя часть Наташи, начиная от груди, была на виду. Ее талия сохраняла былую стройность и ничуть не потолстела. Лишь в самой сердцевине, крепкой и чистой, как хрусталь, виднелось темное пятнышко.

«Что бы это могло означать? — размышлял я про себя. — Почему гнилое пятнышко, занесенное Борисом, не растет и не развивается по законам природы? Ведь я согласен усыновить будущее дитя, я на все согласен... Почему же оно не покажется хотя бы в образе рыбки и не помашет мне на прощанье своей будущей ручкой?..»

Но сколько я ни старался — пятно не выросло в размере и не принимало желанного образа. Оно оставалось таким же темным, пока у меня от усилия не помутилось в глазах.

— Где же ваш вертолет? — сказал я Сысоеву, почтительно переживавшему мое горе. — Вечно вы запаздываете, капитан Сысоев...

— Через полчаса прибудет! — отвечал Сысоев и вдруг, щелкнув бурками, сделал под козырек.

---

5

---

Я попал в руки полковнику Тарасову. Знакомство с этим чудесным и простым человеком началось с того, что он повертел в воздухе запертым портсигаром с «Тремя богатырями» на крышке и весело гаркнул:

— А ну! Быстро! Считать умеешь? Сколько штук?

Полагая, что его занимают русские богатыри Васнецова, я рассеянно отвечал, что здесь выдавлено ровным счетом три человека, сидящих на трех лошадях.

— Сколько сигарет — я спрашиваю! — взревел полковник Тарасов, и тогда я догадался, какие проблемы его волнуют, и

назвал — теперь уже точно не помню — число сигарет, наполняющих его богатырский давленный портсигар.

Проверив мое умение ориентироваться в пространстве и видеть предметы сквозь покрытие толщиной в 5 миллиметров, полковник перешел к измерениям во времени. Он прицелился мне в лицо из хорошего браунинга и спросил, через сколько секунд я ожидаю выстрела.

Эта шутка рассмешила меня, и, раскачиваясь на стуле, я смеялся до тех пор, пока его рука, утяжеленная браунингом, не затекла, а глаз полковника не подернулся кровеносной пленкой — от непрерывных стараний удержать на прицеле мое качающееся лицо. Затем я сказал:

— Во-первых, дорогой полковник, браунинг у вас не заряжен. Во-вторых, за мою персону вы отвечаете головой и не захотите ею пожертвовать ради чистого опыта. А в-третьих, — добавил я, — вы немедленно спрячете ваше оружие в стол и будете со мной разговаривать другим языком. Иначе я отказываюсь поддерживать деловое сотрудничество, которое, насколько мне известно, вы имеете предложить...

Полковник обиженно хмыкнул, убрал револьвер в стол и перешел со мною на «вы». Так мы стали друзьями.

У меня не было причин скрывать от полковника мою психическую организацию, превышающую лимиты среднего человека. К тому же имелась полная опись всех отгадок и предсказаний, произведенных мною публично в новогоднюю ночь и собранных воедино Борисом в пространное донесение. Этот документ, проверенный путем опроса свидетелей и послуживший основанием к задержанию моей личности — «годной приносить пользу в обороне государства», — поступил по инстанциям к полковнику Тарасову для дальнейшего с его стороны разбирательства и применения.

Я не хотел заниматься рекламой и строить из себя какого-то чудотворца, но помочь полковнику в его стратегии считал своим гражданским долгом. И могу отметить без ложной скромности, что за краткое время моей работы я кое-что сделал для пользы народа и всего миролюбивого человечества. Так, например, мною были расшифрованы несколько тайнственных телеграмм, посланных заезжим корреспондентом в одну официозную газетенку. А также я за сутки до срока предсказал падение одного кабинета в одной незначительной иностранной державе, чем помог нашей дипломатии произвести заблаговременные авансы... Касаться подробнее моих изысканий я не нахожу возможным по причине их полной и совершенной секретности. Скажу только: да! были дела! и мой труд не потрачен даром! и моя есть доля в нашем общем деле!..

В первое время мой шеф был очень доволен таким успехом и, чувствуя ко мне душевное расположение, говаривал:

— Вы далеко пойдете. Через недельку-другую — глядишь —

мы с вами откроем какой-нибудь крупный заговор. Что-то давно не бывало заговоров... И следствие — при вашем участии — не затянется... Сразу всех выудим!..

Меня эти планы мало прельщали — не потому, что я сочувствовал заговорщикам, а просто по интеллигентской привычке считал не вполне для себя удобным вылавливать людей и проводить дознание с помощью телепатии и ясновидения. Мне всегда казалось, что в поимке преступника должен присутствовать элемент романтики и спортивного, я бы сказал, состязания. В противном случае разведка и розыск превратятся в заготовительное предприятие и потеряют весь блеск и притягательность для нашего юношества. Кроме того, мне было памятно, как меня самого недавно ловили, и я не спешил обнадеживать шефа в его дальних замыслах.

— Подождите, полковник. Моя осведомленность тоже имеет предел. Боюсь, шпионы не подойдут... Уж очень раскиданы, трудно учесть... Их, шпионов, среди населения, небось, один на целую сотню. И того хуже, и того меньше. Совсем слабый процент.

— А ты напрягись! Все силы! Ведь родина-мать смотрит. Требует! С надеждой. Одевает, кормит... Бесплатное обучение. Детские сады, ясли. Изба-читальня. Для родной матери, не для кого-нибудь. Если прикажет родина-мать, мать твою родину! Всех вас! Ведь, эх! себя не пожалею!..

Глаза полковника увлажнились. Он рвал крюки на груди и скрежетал зубами. А я, слушая эти речи, чувствовал себя пристыженным.

В самом деле, мне были созданы все условия, о каких только можно мечтать в тюремной практике. Мягкая мебель. Абажур с кистями. Персональная ванна. Четыре молодых человека — в чине лейтенанта, не меньше, — стерегли мой покой и выполняли попутно обязанности горничной, секретаря, судомойки и парикмахера. Курьеры, дежурившие круглосуточно, были готовы по первому знаку устремиться в архивы, библиотеки, фототеки и доставить любой раритет, имеющий для меня хоть какое-то небольшое вспомогательное значение.

А кормили меня, как в ресторане. Обед всегда из трех блюд. Кофе с ликером. Правда, в коньяке была ограниченность: не больше бутылки на день. Но когда полковник Тарасов захаживал ко мне поболтать — не допрашивать или выпытывать, а просто так, после трудов, посидеть вдвоем, по-домашнему, — порцию увеличивали. Полковник справедливо считал, что коньяк повышает чувствительность и способствует моему развитию в сильную сторону.

Помню, в первый же вечер мы засиделись с ним допоздна за «Араратом». В полночь он приказал подать географический атлас и просил меня погадать на картах. И хотя я говорил, что это не моя компетенция, полковник настаивал на своем



и сам попытался внести ясность в международную обстановку.

Он с легкостью форсировал реки, переваливал через хребты и размечал ногтем по карте пути всемирной истории — на много десятилетий вперед. Сначала все шло хорошо. Европу мы обезвредили. Но его почему-то тянуло к югу, в горы, за Арарат и Гибралтар. Я едва поспевал за ним и, запутавшись в дислокациях, перестал понимать, кто с кем воюет... На миг мне удалось, подтолкнув полковничий локоть, выравнять положение: стремительным марш-броском мы вышли к морю.

Это было уже за экватором, пятьдесят лет спустя, и полковник, полагаясь на негритянские подкрепления, намеревался высадить десант — прямо в Австралию.

— Да вы с ума сошли! Во-первых, мы не здесь, а вот здесь. Уберите палец. Потом, полковник, вы забываете Мадагаскар. Там японцы. Куда вы тычете? Сюда нельзя. Проиграем кампанию! Нельзя, вам говорят. В конце концов, мне лучше знать, как это будет...

Он кинул на меня слезящийся взгляд и прохрипел:

— А как же Австралия?..

— При чем тут Австралия?!

— Что ж мы Австралию — псу под хвост?

— Ну, знаете, не все сразу. Когда-нибудь при другой вакансии дойдет черед Австралии. На более высоком этапе исторического развития...

Полковник на локтях пополз ко мне через стол:

— Голубчик, нельзя ли ускорить? Хоть немного...

— Что ускорить?

— Ну, развитие это самое... Чего с ним долго возиться! Напрягись! Ну, для меня, не в службу, а в дружбу. Прошу тебя по-товарищески — будь ты человеком, посодействуй Австралии...

Он, кажется, пугал меня с Господом Богом. Но если был я в малой мере всезнающим, то уж всемогущества мне за это нисколько не полагалось. Да и что я могу? Все знаю и ничего не могу. И чем больше знаю, тем хуже, тем меньше у меня законных оснований что-то делать и на кого-то надеяться...

Конечно, попадись мне вместо полковника какой-нибудь либеральный доцентик (бывают такие доцентики, дотошные, из евреев), уж он бы жилы из меня повытягивал: где тут свобода воли и какую особую роль играет личность в истории? Но я говорил давеча и еще раз подчеркну: никакой особой роли ваша личность не играет. И какая может быть самостоятельность у человека, когда все учтено? Встать! — встаю. Ляг! — ложусь. Не хочется ложиться, а ложусь. Потому закон, историческая неизбежность. Как ни вертись, все равно

в конечном счете лечь придется. И даже если взамен предназначенного мне лежания я попытаюсь потихоньку от всех приподняться и встать, значит — на это тоже было получено разъяснение и я поступил, как велит мне всемогущая воля.

Не властен я над собой, безволен и равнодушен, как камень. И в светлые минуты жизни прошу об одном: «Господи! поддержи! не оставь! Господи! Я — камень в Твоей руке... Напрягись, соберись с силами и кинь этот камень со всей силой в кого захочешь!..»

Ладно, — сказал полковник, когда я открылся в полной невозможности управлять ходом событий. — Не хочешь Австралию, — давай Новую Зеландию. Небольшие два островка. Раз плюнуть.

Я повторил, сославшись на диалектику, что историю мы не вправе ни улучшать, ни ухудшать: а то выйдет беспорядок и субъективный идеализм.

— Да ведь мы совсем немножко улучшим, — хныкал полковник. — Никто не заметит. Ну чего тебе стоит?.. Подружески... Новую-то Зеландию... Голландию освободили, а Зеландию — псу под хвост?

Он не был силен в диалектике, мой полковник Тарасов, но в нем обитала великая, алчущая душа. Быть может, душа Тамерлана, Петра Первого, Фридриха Ницше, — перебирал я тогда в уме различные варианты...

Но при ближайшем рассмотрении все вышло немного иначе. Полицейские разных званий, стражники, надзиратели выстроились в затылок за спиной моего шефа, когда я заглянул повнимательней в глубину его большого, отяжелевшего тела.

Они уходили объемами во мглу древнейших культур и вылуплялись из мрака в такой строгой последовательности, что вначале мне показались все на одно лицо. Но потом я заметил разницу: каждый позднейший был рангом крупнее своего предшественника. Точно они рождались специально для того, чтобы подняться в течение жизни еще на одну ступень. Последний по времени сослуживец замер в подполковниках при Александре-Освободителе. Ближе его по чину никто не стоял. Вершиной всей эволюции был полковник Тарасов.

Но и самому Тарасову и каждому, кто его подготавливал, приходилось, вступая в историю, начинать сначала и выслуживаться из простейшего дворника, повторяя в своем генезисе все предыдущие стадии многовекового иерархического развития. И не загадывая наперед, можно было предположить, что звание полковника тоже не было венцом их поступательных усилий, а служило лишь передышкой на пути к новым подъемам...

Перед этой неодолимой потребностью в самосовершенствовании, перед этой слитностью всех действий в один еди-

нодушный прогресс не устоит — почувствовал я — никакая, в конечном счете, Австралия, никакая Новая Зеландия, не говоря уже о более мелких задачах. И когда полковник Тарасов, прощаясь со мной перед сном, во второй раз и в третий попросил о поддержке в грядущей новозеландской борьбе, моя неуступчивость поколебалась:

Я обещал подумать и поискать какой-нибудь выход, позволяющий — не в обиду материалистической диалектике — ускорить созревание и приобщение к жизни этих оторванных от действительности островов.

— Однако, — сказал я, — мне тоже нужна поддержка в одном тонком деле, касающемся моей незаконной жены, с которой, впрочем, в любую минуту я готов оформить законные отношения.

— Хоть десять жен бери и живи! — закричал Тарасов с таким неподдельным жаром, что мне стало как-то неловко за мою небольшую хитрость. Но дело с Наташей я отложил, чтобы дать полковнику время выспаться и оценить положение более трезво. Сам я тоже порядочно страдал головою от его могучего «Арарата», и, пока не заснул, меня качало, как в колыбели...

...В эту ночь мне приснился сон — из тех, наверное, снов, что имеют для нашей жизни какой-нибудь смысл. Мне привиделось, что я иду по дороге и натываюсь в темноте на военный патруль. Должно быть, мною руководили предосудительные моменты (возможно, я от кого скрывался или сбежал откуда), потому что меня пронзила одна мысль: ну вот, Пушкина расстреляли, и Болдырева расстреляли, и меня, видимо, ждет такая же судьба. Но я не дал себя задержать и проверить документы, а пустился в темноте наутек, хотя они кричали, чтобы я не двигался с места, и даже, кажется, стреляли наугад в моем направлении, лентясь, однако, меня далеко преследовать по плохой дороге.

Пару раз я споткнулся и крепко приложился о землю, но ничего — встал и пошел себе дальше, радуясь, что так удачно избежал объяснений с военным трибуналом. Мое тело легко и плавно перемещалось вдоль изгородей, которые намекали, что скоро я вернусь домой и увижусь со всеми, кого давно не видал. Но я не пошел домой, а решил заглянуть сначала к одной своей знакомой и быстро очутился у ее окна, взобравшись на балкончик без шума, даже не потревожив спящей внизу собаки.

Наташа была одна и при свете настольной лампы читала книгу, и — помню — во сне я подумал, что мои опасения, значит, были напрасны, раз она приснилась мне в таком чудном виде. А также мне сделалось вдруг интересно, какую книгу она читает, потому что в свое время, еще до войны, я направлял ее вкусы и дарил — к неудовольствию моей жены — стихи

Пушкина и Болдырева. Но теперь у нее на коленях лежал мой собственный — сильно потрепанный — экземпляр одной старинной повести — «Распутица» или, кажется, «Сумятица», приобретенный мною еще до войны для полноты собрания и принадлежащий перу какого-то древнего автора — пушкинских примерно времен. Надо бы перечесть, плохо помню... может быть, что-то полезное или занятное... но неужто Наташа все еще пользуется моей домашней библиотекой? — подумал я и еле слышно торкнулся в раму.

Окно было затворено — для того, вероятно, чтобы бабочки, жуки и разные мошки не набивались в комнату из темного сада. Но они в небольшом числе все же проникли, и вертелись у лампы, и ударялись в стеклянный колпак, оставляя на нем слабое белесое опыление. По временам Наташа, отрываясь от книги, стряхивала страницы и смотрела в окно, ничего, конечно, не различая в такой темноте. Ее взгляд выражал ожидание и пустоту неустроенной женщины, а меня тоже томило чувство невыполненных по отношению к ней обязательств, которым, наконец, пришел срок исполниться. Но барабания по стеклу, я видел, что Наташа не трогалась с места, принимая, должно быть, мои призывы за надоедливую суету насекомых. Тогда, бессильный побороть трескотню их потрепанных крыльев, я решил, что, наверное, это потому, что все происходит во сне и мой лепет и сонное царпанье по стеклу не достигают Наташи. И отложив наше свиданье, я спустился с балкона и пошел к себе домой — прямо через сад, по траве, кишашей кузнечиками, на другой край поселка...

Собака, которую мы с женой обычно держали в конуре, опять не залаяла при моем приближении, и я подумал, уж не сдохла ли без меня собака, да и цел ли мой дом и здоровы ли дети. Но вроде все было по-старому и в нижнем этаже, на кухне, служившей одновременно столовой, горел свет. За длинным пустым столом сидели мама, папа, дядя Гриша и тетя Соня и другие родственники и знакомые, которых я никак не думал встретить в своем доме. Все они точно ждали моего появления и сидели в молчании, выпростав на обеденный стол пустые тяжелые руки, и, едва я вошел, подняли головы и кто-то, кажется, дядя Гриша, сказал:

— А вот и Василий...

При чем здесь Василий? за кого меня принимают? — пронеслось в моем уме и тут же улеглось: ну, конечно, правильно, Василий! как же иначе?

Но что-то недоброе чуялось мне в этом семейном совете, и я спросил, почему не видно моих детей и жены.

— Только ты, пожалуйста, не волнуйся, — сказала мама.

— Умерли, заболели? Их увезли?

— Нет, нет, все живы, на свободе и хорошо себя чувствуют... А Женечка стала совсем большая, совсем большая...

Она спешила унять мое волнение, которое только возрастало в результате маминой спешки.

— Куда они делись? почему не с вами? Отвечайте же наконец!..

— Они здесь... Неподалеку... Поехали в город... скоро вернутся...

— Перестань, Лизавета! — сказал отец и встал из-за стола. — Василий не маленький. Нечего с ним нянчиться. Ему надо знать!

— Нет-нет, погоди, пускай немного привыкнет, — суежилась мама.

Но отец грубо отстранил ее и, не глядя на меня, буркнул:

— Пойми, Василий, ты же — умер...

Все потупились. Тут только я заметил, что стою и говорю с одними умершими, и вспомнил — ах, да! ведь и папы, и мамы, и дяди Гриши давно уже нет на свете, и хотел уйти, пока не поздно, — попрощаться с Наташей и объяснить ей... Но отец больно стиснул меня за локоть и отвел в сторону.

— Кури! — приказал он, сунув мне под нос истерзанную папиросную пачку.

И тихо, чтобы никто не слышал, добавил:

— Пожалей маму и успокойся. Разве ты не знаешь, что тебя застрелили? Ну да, только что застрелили. Возле поселка. На дороге... Что уставился? Не надо было бегать сломя голову. Сам виноват.

— Но как же Наташа, когда же я встречаюсь с Наташей?! — воскликнул я и проснулся от огорчения.

...До сих пор я не знаю, что означал этот сон, и нужно ли его понимать в каком-нибудь возвышенном, аллегорическом смысле или мне в самом деле еще предстоит пережить под именем Василия и этот ночной побег, и эту безрезультатную встречу с недоступной Наташей, которая так и не услышит моего запоздалого стука, потому что меня к тому времени успеют застрелить... И при чем тут Пушкин? И кто такой Болдырев? И что за старинную книгу позаимствует Наташа из моей библиотеки, и впрямь ли эта книга называется «Сумятица» или «Распутица», и уж не та ли это самая повесть, которую я пишу сейчас под немного другим заглавием — в надежде, что все мы когда-нибудь все ж таки еще повстречаемся?..

Но с другой стороны, в этом сне было много такого, что вполне объяснимо тогдашним состоянием моего духа и впечатлениями от жизни в темнице. Очень может быть, что просто я — спящий — попытался вырваться на свободу, но мое желание приняло запутанное направление. А может быть — и то и другое, и будущее смешалось с прошедшим, и надо до всего этого сначала дожить, чтобы проверить на практике мои сонные грезы.

Но тогда, под свежим воздействием, я об этом не рассуждал. Мысль, что Наташа опять и опять ускользает из моих

протянутых рук, меня подхлестывала. Наутро я возобновил переговоры с полковником, умоляя его изъять Наташу — хотя бы на сутки — и поместить для безопасности под арест, всего лучше — в мою же камеру, на семейном, так сказать, положении. Понятно, что мне пришлось также ему разъяснить все, что касалось места и времени подготавливаемого на мою жену покушения, предотвратить каковое — прямой долг и заслуга государственной власти.

Однако, словно стесняясь наших действий за «Араратом», полковник был настроен не в меру рассудительно.

— На каком основании, — сказал он, — вы придаете значение маловажной сосульке? Почему она — второстепенная, случайная в жизни ледяшка — непременно должна поразить вашу Наташу в голову? И непременно послезавтра, да еще в 10 часов... Так не бывает. Я не вижу в этом никакой логики, никакой закономерности. К тому же вы сами говорите — успели предупредить. Зачем вашей Наташе ходить в Гнездниковский? Да еще непременно в тот момент, когда эта сосулька станет на нее падать...

— Ах, подковник, вы не знаете женщин. Ведь пойдет, как пить дать — пойдет. Из одного упрямства. Знает, что нельзя — и пойдет. А потом, какая разница: сосулька или бомба? Бактерия, например, еще меньше по виду. Любая случайность — поймите — неизбежна, неотвратима, чуть стоит ее предсказать. Ведь это же все равно, что вынесение приговора. Сами знаете — трибунал — отмене не подлежит. Одних расстреляют бактериями, других — сосульками. Третьих — при попытке к бегству. Каждому — свое. Между нами говоря, мы все — приговоренные. Только не знаем ни дня, ни часа, ни подробностей исполнения. А я вот — знаю, знаю и беспокоюсь. Ах, если бы не знать!..

Целый час мы с ним спорили и торговались, покуда я уломал его подать рапорт. Полковник никак не хотел без ведома высшей инстанции наложить арест на мою жену и ждал указаний. Зато последние два дня он не расставался со мною и даже распорядился поставить в моей камере свою походную раскладушку.

Я, со своей стороны, тоже принял меры: решетчатое окно запечатали дополнительной изоляцией. Все часы по моему настоянию тоже удалили. Мне казалось, что так будет лучше.

Мы пили и работали при одном электричестве и, спутав дневной распорядок, завтракали не то в восемь, не то в одиннадцать вечера. К сожалению, полностью избавиться от ощущения времени я все-таки не сумел и чувствовал, как оно увеличивается от завтрака до обеда, съедая по частям отпущенный мне срок. Также любая сосиска, поданная на закуску, напоминала своим звучанием — сосульку. Я не видел ее отсюда, но живо представлял, какого веса достигли ледяные полипы, образующие эту улитку с вытянутым книзу клювом.

Всего отвратительнее было то, что она имела несерьезный размер и форму, внушающую беспечность. Будь она хоть немного потолще, да поклыкастее, ее бы давно распознали и уничтожили. Полковник дважды по моей просьбе высылал в Гнездииковский команду бойцов противовоздушной защиты. Они облазили весь переулочек, но ничего не нашли. А сосулька тем временем продолжала незаметно висеть и давить на мою психику, а Наташа вдали от меня разгуливала на свободе, а рапорт полковника Тарасова тащился по инстанциям безо всякой видимой пользы. Короче говоря, во всем царила наша обычная неразбериха..

Впоследствии я часто задавался вопросом, что было бы, если бы полковник, в нарушение субординации, быстрым единоличным решением приказал поместить Наташу под надежную кровлю? Куда бы в таком случае девалась сосулька? В конце концов, все это выглядело чистой нелепицей. Стечение анекдотических обстоятельств, каждое из которых в принципе легко устранимо. Да и моя способность все на свете предвидеть и предугадывать, послужившая первопричиной всех наших несчастий, не была ли она тоже какой-то ошибкой? Если бы я тогда, на Цветном бульваре, не повздорил с Наташей из-за снега, если бы просто в тот вечер была иная погода, — ведь ничего бы не было. А между тем все выходило именно так, а не иначе, и, сидя взаперти, я ждал конца почти с нетерпением: скорей бы уж что ли! ну, падай же, падай! и отпусти...

Меня терзала мысль, что безжалостная природа в довершение казни покажет мне на прощание эту сцену, которую я сам напрозорил и подстроил своими увертками. Дескать, на! — удостоверься, насколько точна и хороша твоя догадливость, и вдруг, расположившись в камере, как в теплом кинематографё, я увижу Наташу, вбитую в снег мелькнувшей стекловидной стрелой, и вот уже дворничиха посыпает песком мокрое место, и толпа неохотно расходится, поглядывая с уважением вверх...

Но все произошло по-другому.. Однажды мы сидели и напряженно трудились, когда полковник Тарасов, будто бы в шутку, спросил:

— Как вы полагаете — меня произведут в генералы? Или так и помру в старом звании?..

Впервые за все это время полковник показал интерес к своей индивидуальной судьбе, и я, конечно, ответил в ободряющем тоне, что с годами он безусловно достигнет генеральского уровня, а может быть, чего-то послаще и покрупнее. Но отвечая машинально, лишь бы отделаться, я всерьез задумался над этой проблемой и сам не заметил, как перед моим умственным взором встала туманная панорама...

Верно, меня занесло уж очень далеко вперед и, минуя

ряд промежуточных ступеней, я увидел землю, которую и землей-то не назовешь, настолько она была заполнена ледяными наслоениями. Впрочем, понятие «льда» мною употребляется с оговоркой и скорее иносказательно, ибо еще неизвестно, из чего состояли эти сталактиты и сталагмиты, торчащие отовсюду наподобие гигантских сосуллек. Быть может, они возникли из какого-нибудь окаменевшего газа или духа, спрессованного под высоким давлением, и, сидя перед этой картиной, я даже не был уверен, что нахожусь на нашей планете, а не где-нибудь еще в мировом пространстве.

Но каким-то неуловимым чутьем мне было дано постичь со всей определенностью, что это отнюдь не мертвая и не бесформенная природа, а вполне живые, разумные, искусственные существа высочайшей организации. Больше того, ближняя ко мне и как бы руководящая всем ландшафтом сосулька и была не чем иным, как полковником Тарасовым, с той, конечно, разницей, что теперь он имел другой чин и; наверное, другую фамилию и мало чем походил на свою прошлую внешность. Однако в самой структуре и в образе жизни этого ледяного полипа, который то покрывался влагой, словно пропотевающая, то вновь застывал в скользкие полированные спирали, а главное — непрерывно рос и развивался, и, развиваясь, налезал могучими зубьями на соседние образования, — во всем этом, говорю я, чувствовались бывшее упорство и государственный интеллект полковника Тарасова и какая-то даже внутренняя прямота и задушевность.

Прошу не понять меня превратно и не превратить эти слова в какой-нибудь намек с моей стороны, или обман, или, если хотите, фальсификацию исторического процесса, имеющую задней целью бросить косую тень на наше светлое будущее. «Но позвольте! — воскликнет иной недоверчивый читатель. — Слыханное ли дело, чтобы здоровый человек, да еще в некотором роде государственный деятель выступал на высшей ступени под видом какой-то сосульки? И как же тогда все это следует понимать, и не есть ли это умаление и очернительство?» Нет, не есть, — отвечаю я решительно, — и понимать тут ничего не требуется, потому что мне самому пока не вполне понятно, каким образом энергия, управлявшая Тарасовым в его полковничьей жизни, приняла затем такую странную и самобытную форму.

В крайнем случае, во избежание кривотолков, я готов все свои слова взять обратно и рассматривать это диковинное явление как следствие моей личной душевной травмы. Но с другой стороны — с того времени истек достаточный срок, чтобы подойти к вопросу более спокойно и объективно, и я не вижу ничего плохого в том сталактитовом создании, которое, по моему глубокому убеждению, продолжало на новом этапе великую миссию моего шефа и покровителя. И хотя



полковник Тарасов давно уволен в запас, так и не получив повышения, обещанный мною титул не был пустозвонством, поскольку я имел в виду более длительную перспективу, превышающую рамки одной человеческой жизни.

Явленная мне тогда титаническая сосулька обладала, я уверен, не менее прогрессивным значением, чем генерал, и даже маршал, и даже если бы у нас был император, она бы, вероятно, и императора превзошла своим умом и развитием, несмотря на отсутствие ярко выраженных знаков воинского достоинства, по которым мы привыкли узнавать наших начальников. Но ведь нужно принять в расчет, что она росла и воспитывалась в совершенно иных, как было сказано, исторических условиях, на другом, можно думать, планетном шаре, и то, что нам кажется отсюда маловажной сосулькой, там, быть может, и есть самый настоящий венец творения. Во всяком случае, будущее полковника Тарасова мне представлялось тогда в высшей степени светлыми и перспективным, и я не мог отвести взгляда от его гладкой льдистой поверхности, покрываемой ежесекундно новыми напластованиями...

— Ты чего глаза вылупил? — сказал полковник со своим всегдашним народным юмором.

И как только он произнес эту фразу, сосулька исчезла, будто растаяла или провалилась под стол, и на ее месте, за чернильным прибором, отчетливо выступила грузная мужская фигура, сидящая напротив меня в своем обычном виде. Нет, не в обычном! В том-то и дело, что полковник как-то сразу выцвел, осунулся, словно он, выказав в сосульке все свои силовые возможности, внезапно иссяк и постарел на несколько лет. Я бы даже сказал, что он сделался неузнаваем: пожилой измученный человек в засаленном кителе с вытертыми обшлагами, кое-где оборванными и подправленными неумелой иглой.

Да ведь у него, наверное, где-нибудь есть жена и дети, — подумал я с изумлением, потому что раньше мне никогда в голову не приходило подумать о семейной жизни полковника Тарасова, целиком, казалось, поглощенного общественными заботами. Но мое изумление еще более выросло, когда, попытавшись решить этот простой вопрос, я не смог представить явственно ни жены, ни детей Тарасова, ставшего для меня в один миг какой-то неразрешимой загадкой, хотя она так и лезла наружу всеми своими морщинками, обдряблостями, обшлагами.

— Чего ты на меня все смотришь и смотришь? — сказал полковник недовольным голосом, поеживаясь, как от озноба.

— Скажите, полковник, у вас были когда-нибудь — жена, дети? — спросил я его, чтобы что-нибудь спросить.

Он не успел ответить. Влетевший лейтенант доложил, что полковника срочно просят подойти к телефону. Они быстро

ушли, оба чем-то взволнованные, даже позабыв запереть за собою стальную дверь.

При других обстоятельствах я бы мысленно устремился за ними и раньше них был бы в курсе всех секретов. Но сейчас моя голова работала вяло и была как-то пуста, просторна, и мне решительно ничего не хотелось делать. Перегруженный информацией, которая непрерывно поступала ко мне с разных сторон, я слишком много думал все это время и думал достаточно густо и напряженно, чтобы теперь хошь чуточку посидеть в тишине.

И я сидел и оглядывал служебное помещение, наполненное, еще недавно казалось, таким дорогим убранством, а теперь тоже заметно потускневшее и поскучевшее. Всюду вылезли дырки, соринки, следы сапог, реквизиций, утлая тумбочка из фанеры, диванчик на курьих ножках, под красное дерево, драный, просаленный, с отпечатками пальцев на спинке, с отломанным наполовину, латунным изображением какой-то барышни со стершимся носом — вся та микроскопическая грязнота и мерзость людского быта, которая говорит лишь о долговременном человеческом запустении...

И сейчас все эти выступившие детали ничего мне особенного не говорили, а, глядя на какую-нибудь соринку, из которой прежде извлеклось бы столько страшных историй, я попросту думал: «А вот и соринка, ну и Бог с ней, лети себе дальше, соринка...»

Когда полковник вернулся и, путаясь в выражениях, объявил о смерти Наташи, я спросил только, давно ли это случилось.

— Четверть часа назад, — сказал полковник и передал вкратце все, что сумел узнать по телефону от своего дежурного контролера. Он, контролер этот, говоря попросту, — сыщик, сопровождал Наташу на некоторой дистанции и зарегистрировал по хронометру прямое попадание, ровно в 10 утра, минута в минуту.

Полковник был явно чем-то обескуражен и, словно желая загладить свою вину, громко бранил высокие инстанции, которые были предупреждены, но почему-то не сработали вовремя, как это им надлежало сделать. Я плохо его слушал. Мне хотелось вернуться назад, к сосульке, не к той, что убила Наташу, а к другой, которая обещала вырасти, может быть, через миллион лет после нас. Не знаю, что мною руководило — скорее всего запоздалое желание выяснить скрытую природу этого человека, такого жалкого, несчастного и загадочного в своем несчастье. Я помнил еще, что он умеет быть грозным и твердым, как та сосулька, но не мог представить себе, как это бывает, и что вообще бывало и будет в жизни этого престарелого мешковатого военного с морщинистым лицом и вытертыми обшлагами. Он весь не вытанцовывался у меня, он рассыпался на мелочи — какие-то пуговицы, морщинки...

— Что вы на меня смотрите?! — заорал Тарасов и хватил кулаком по столу. — Вы думаете — я вру?.. Вы же сами лучше меня знаете — я не мог, не мог ничего сделать... Можете сами убедиться. Я не виноват. Завтра мы займемся...

— Нет, полковник, завтра мы ничем не займемся, — сказал я, отводя глаза от его неуловимых морщинок. — К сожалению, я больше не смогу быть вам полезен. Примерно четверть часа назад все мои ясновидческие качества куда-то провалились. Я даже не знаю, была ли у вас когда-нибудь жена, полковник. Я ничего не знаю теперь. Все кончилось...

---

### Заключение

---

Вот и кончена моя повесть, и мне остается в конце лишь прибавить некоторые разъяснения, не уместившиеся в начале и в середине, но полезные, быть может, моим читателям, которые бы захотели все правильно осознать и хорошо почувствовать. Однако — кто такие мои читатели? и к кому я, собственно говоря, обращаюсь и на кого уповаю в своем художественном изыскании? Мне кажется: главным образом — это я сам. Во-первых, когда пишешь, то ведь невольно читаешь и перечитываешь написанное, и вот, слава Богу, один читатель уже нашелся.

— Но помилуйте, — возразят мне другие, — не для себя же вы так стараетесь, и сидите по ночам, и не спите, и тратите последние силы?

— Для себя, — скажу я им честно и откровенно. — Но только — не для такого, какой я есть в настоящий момент, а для такого, каким я буду когда-нибудь. Значит, и все прочие, временные читатели, если пожелают, могут ко мне с легкостью присоединиться. Ибо никому неизвестно — кто из нас кем был и будет. Может, вот вы, именно вы и есть — я? Поэтому пока приходится иметь дело со всеми, а там посмотрим.

Ведь что же происходит? Живет человек, живет и вдруг — бац! — и нет его больше, а вместо него по тому же месту ходят другие люди и в свою очередь предаются бессмысленному уничтожению. Только и слышно кругом: бац! бац! бац!

Что делать? Как с этим бороться? Вот тут и приходит на помощь — всемирная литература. Я уверен: большая часть книг — это письма, брошенные в будущее с напоминанием о случившемся. Письма до востребования, за неимением точного адреса. Попытки задним числом восстановить отношения с самим собой и со своими бывшими родственниками и друзьями, которые живут и не помнят, что они — пропавшие без вести.

Пропал человек, ищи-свищи. Распался на составные части, потерялся в толчее и не видно его нисколько. Собрать

всех надо, созвать. Ау! Василий! Ау! ау! Наташа! Где вы — Грета? Степан Алексеевич? — куда вы все подевались? Эй! Хлодвиг! Леонадро да Винчи! — отзовитесь!

Никто не отзывается... Пусто вокруг, словно все вымерло, словно и не было никогда тех удивительных трех недель, вместивших больше, чем смог выдержать мой слабый мозг.

...Выпустили меня из тюрьмы через год и четыре месяца. Полковник Тарасов долго бился, пытаясь вернуть мою утраченную чувствительность. Он даже стрелял в меня холостыми патронами, предполагая саботаж. Но это не помогало.

Тогда меня свезли в пансион закрытого типа и восемь месяцев лечили. Я начал ходить.

Причина моей болезни коренилась в неуверенности. Я боялся передвигать ноги: вдруг поскользнусь. Мне, приученному все знать заранее, было нелегко вернуться к нормальной жизни, полной неожиданностей. Подойдет, бывало, доктор в колпаке, а у меня пульс подскакивает при одном приближении. Ведь ничего же неизвестно: вдруг этот доктор вместо пульса даст по морде? Кто знает, что у него на уме?

Затем — снова полковник. Но драться он перестал и был мрачен. Ему за меня влетело: слишком долго возился с явным шарлатаном и поддался антинаучной гипотезе. Коньяки, выпитые со мною за казенный счет, ему тоже припомнили. Всюду есть свои завистники. Да и времена изменились. Шел 1953-й год: всеобщее ослабление. На его служебной карьере стоял крест.

Однако расстались мы друзьями. Полковник просил известить в случае возобновления моей провидческой силы. Также мне было предложено дать письменное обязательство не заниматься частным образом магией и волшебством. Я охотно согласился на все условия.

В столице мне жить возбранялось. Устроился в провинции, за Ярославлем, ананасом, в должности гидротехника. В два года сколотил нужную сумму — полторы тысячи — и отослал Борису.

Перевод пришел обратно. Навел справки. Оказалось, за это время Борис успел заболеть и в феврале 54-го года умер с туберкулезным диагнозом. Кто бы мог подумать! При нашей последней беседе я не подозревал, что выступаю оракулом. Но даже это вранье из моих уст — сбылось...

Теперь я оплакивал издали его раннюю смерть. Все-таки старый знакомый. Могли бы когда-нибудь встретиться, поговорить о Наташе... Конечно, он был причастен и косвенно повинен... Если бы он не донес тогда, все вышло бы по-другому. Но кто из нас не причастен и не повинен?..

Пару раз я побывал в Москве: искал Андрюшу. Безуспешно. Должно быть, с тех пор он сильно вырос. Сейчас, наверное, я бы в Андрюше не узнал родного отца. Не того отца,

который появится позднее, во сне, в связи с Василием, а настоящего, здешнего, моего основного папу. Он умер, когда мне было пять лет. Его тоже звали Андреем... Ах да, я забыл сказать, как это случилось. Это было еще тогда, при Наташе, когда мы жили в Москве. Я шел к Борису за деньгами, и по дороге мне попался двухгодовалый мальчик под охраной няньки. Что-то в нем меня задержало, и, присев на корточки, я спросил, как его звать.

— Андрюша! — ответил он с детской непосредственностью.

Но его голубые глаза говорили о большем. Та же самая голубая насмешливая глубина, что склонялась надо мной во дни младенчества. Мудрый взгляд старшего друга, знающего цену вещам. Мне даже показалось, что он подмигивает.

— Папочка! — зашептал я, чтобы нянька не слышала. — Милый папочка! Как ты поживаешь? Хорошо ли тебе в твоих новых условиях?..

Андрюша не успел ответить: нянька — темная баба — схватила его на руки и поспешно унесла от меня свое сокровище. Все же по костюмчику и здоровой упитанности я мог догадаться, что ему живется неплохо. Безусловно — он попал к состоятельным, культурным родителям. Но больше мы с ним так и не видались.

А еще, совсем недавно, в Ярославле, в привокзальном буфете, мне встретился тот самый летчик, с которым я познакомился за Новым годом.

— Сволочь ты, а не предсказатель! Шпион! Жулик! — говорил он, обливаясь пьяными слезами. — Какое ты право имел в чужую жизнь залезать? Ограбил ты меня. Всю молодость искалечил. Не знал бы я ничего — и делу конец. А теперь что? Шестьдесят два денечка мне гулять осталось... Правильно я сосчитал? А?! Правильно?..

Я холодно ответил, что тогда, в новогодие, соврал ему о ракете, которая должна взорваться через пять с половиной лет в районе Тихого океана. На самом деле никому ничего не известно: может, он завтра взорвется, а может, — никогда.

— А ты сейчас не врешь? Честное слово? — спрашивал он меня с надеждою в голосе. — Или успокоить хочешь? Так ты лучше меня не успокаивай. Ты мне всю правду скажи!..

Он был непоследователен, этот летчик-испытатель, но мне понятны его душевные колебания. Я сам в том далеком, достопамятном январе три недели подряд увиливал от правды, пока она меня не настигла и не доконала. А теперь, избавленный от нее, я мучился неизвестностью и хотел бы узнать всю правду, какой не успел доискаться, и молил Бога о возвращении прекрасного дара, которым я в свое время так плохо распорядился.

Мне бы радоваться тогда своему счастью и узнать точнее, кѐм я был и буду в следующие разы, встретимся ли

мы с Наташей и поженимся ли мы с нею когда-нибудь и как связать воедино разбросанную по кусочкам жизнь? Но я вместо этого глупо бегал от смерти и боялся ее, как ребенок, и вот она пришла и разделила нас. Нет Наташи, нет Сусанны Ивановны, и Боря тоже умер, и летчику-испытателю осталось совсем немного...

Не помню, чей афоризм: «Мертвые — воскреснут!» Что ж, я не спорю. Воскреснут-то они воскреснут. Уже сейчас каждый день в родильных домах воскресает масса народу. Но помнят ли они о себе, о нас — когда воскресают? — вот вопрос! Узнаем ли мы в них, в наших беспечных детях, тех, что в прошлые времена приходились нам женами и отцами? А ведь если никто никого не вспомнит и не узнает, значит, — все остается по-прежнему, и смерть разделяет нас перегородками забвения, и допустима ли такая с нашей стороны забывчивость?

Нет! Вы как хотите, а я — куда все не улучшится и не изменится — я остаюсь с мертвыми. Нельзя браться человека в такой нищете, в таком последнем и окончательном унижении. А что может быть униженнее мертвого человека?..

Я теперь все больше живу воспоминаниями. Цветной бульвар. Наташа. Мои разногласия с Борей. Чудак-человек. Ну чего он со мной не поладил? Полковник Тарасов. Славный, простой человек — полковник Тарасов. Как мы с ним хорошо выпивали. После Наташи я в рот не беру спиртного...

Но чаще другого мне приходят на память два эпизода. Оба они — из будущего. Первый — в больнице, ночью, все спят, и сиделка на табурете, подремывая, поджидает, когда же, в конце концов, я отпущу ее спать. Мне еще долго ждать, и меня мучают угрызения, что я все еще живой, тогда как другие умерли. Бессовестно жить — когда другие умерли. Нечестно, несправедливо. Но у меня не получается...

А потом — наоборот — я стою на балконе и колочусь вместе с бабочками в освещенное окно. Но снова мне никак не удастся проникнуть туда, за прозрачную перегородку, в светлую комнату. Живая Наташа сидит и читает книгу — ту самую, быть может, которую я написал. И я пишу отсюда, пишу, колотясь туда, и не знаю — услышу ли когда-нибудь это тягостное постукивание...

А ты, Наташа, услышишь? Дочитаешь ли ты до конца или бросишь мою повесть где-то на середине, так и не догадавшись, что я был поблизости? Если бы знать! Не знаю, не помню. Надо бы все объяснить. Уточнить. С самого начала. Нет, не сумею. Того и гляди захлопнет. Говорю тебе, Наташа, перед тем, как наступит конец. Подожди одну секунду. Повесть еще не кончена. Я хочу тебе что-то сказать. Последнее, что еще в

силах... Наташа, я люблю тебя. Я люблю тебя, Наташа. Я так, я так тебя люблю...

1961

---

---

ПХЕНЦ

---

---

1

---

---

Сегодня снова встретил его в прачечной. Он сделал вид, что не замечает меня, всецело занятый своим грязным бельем.

Сперва шли простыни, которыми здесь пользуются по соображениям гигиены. На одной стороне такой простыни крохотными буквами вышивают слово «ноги». Это придумано для того, чтобы предостеречь: человек не должен касаться губами зараженного места, о которое еще вчера терлись его ступни.

Удар ногою тоже почитается более оскорбительным действием, чем удар рукою, и не только потому, что нога бьет сильнее. Вероятно, в этом неравенстве дает себя знать неизжитое христианство. Нога должна быть греховнее всего остального тела по той простой причине, что она дальше от неба. Лишь к половым частям наблюдается худшее отношение, и тут что-то скрыто.

Потом шли наволочки с темными пролежнями в середине. Потом полотенца, которые в отличие от наволочек быстрее пачкаются по краям, и, наконец, разноцветные комья нательного белья.

В эту минуту он принялся метать свои вещи с такой скоростью, что я не успел их как следует разглядеть. Быть может, он желал соблюсти какой-то секрет, а может, как все люди, стыдился демонстрировать предметы, непосредственно прилегающие к ногам.

Но мне показалось подозрительным то обстоятельство, что он сдает в стирку заношенное белье. Обыкновенные горбуны чистоплотны. Они опасаются своей одеждой вызвать дополнительное отвращение. А этот, вопреки ожиданию, был неряшлив, как будто он — не горбун.

Даже приемщица белья, ко всему привыкшая баба, для которой не в диковинку следы самых редкостных соков, не выдержала и сказала ему довольно-таки громко:

— Что это вы, гражданин, мне в морду тычете? Не умеете спать аккуратно — сами стирайте!

Он молча расплатился и убежал. Я не последовал за ним, чтобы не привлекать чужое внимание.

Дома было обычно. Едва я вошел к себе, появилась Вероника. Она, потупив глаза, предложила вместе поужинать. Мне

было не с руки отказывать этой девушке. Она единственная из всей квартиры относится ко мне сносно. Жаль, что ее сочувствие зиждется на сексуальной основе. Сегодня я окончательно мог в том убедиться.

— Как поживает Кострицкая? — спросил я Веронику, стараясь направить беседу в сторону общих врагов.

— Ах, Андрей Казимирович, она опять угрожала.

— В чем дело?

— Да все то же. Свет в ванной комнате и забрызган пол. Кострицкая заявила, что пожалуется управляющему.

Это известие вывело меня из себя. Я меньше других пользуюсь канализацией. В кухню почти не вхожу. Могу я компенсировать кухню за счет ванной комнаты?

— Ну и пусть, — ответил я резко. — Она сама жжет свет киловаттами. А ее дети разбили мою бутылку. Пусть придет управдом.

Но я понимал, что призыв к вмешательству власти был бы с моей стороны чистой воды авантюрой. К чему лишний раз обращать на себя внимание?

— Успокойтесь, Андрей Казимирович, — сказала Вероника. — Все нелады с соседями я беру на себя. Успокойтесь, прошу вас.

Она протянула руку, чтобы потрогать мне лоб. Я успел отшатнуться.

— Нет-нет, здоров и никакой температуры. Давайте ужинать.

На столе дымилась и скверно пахла еда. Меня всегда поражал садизм кулинарии. Будущих цыплят поедают в жидком виде. Свиные внутренности набиваются собственным мясом. Кишка, проглотившая себя и облитая куриными выкидышами, — вот что такое на самом деле яичница с колбасой.

Еще безжалостней поступают с пшеницей: режут, бьют, растирают в пыль. Не потому ли мука и мука разнятся лишь ударением?

— Да вы кушайте, Андрей Казимирович, — уговаривает Вероника. — Не расстраивайтесь, пожалуйста. Всю вину я беру на себя.

А что если человека приготовить тем же порядком? Взять какого-нибудь инженера или писателя, нашпиговать его его же мозгом, а в поджаренную ноздрю вставить фиалку — и подать сослуживцам к обеду? Нет, муки Христа, Яна Гуса и Стеньки Разина — сущая безделица рядом с терзаньями рыбы, выдернутой на крючке из воды. Те по крайней мере ведали — за что.

— Скажите, Андрей Казимирович, вы очень одиноки? — спросила Вероника, внося в комнату чайник.

Пока она ходила за чайником, я вывалил свое блюдо в газетку.



— У вас были друзья, —  
она положила сахар,  
— дети, —  
еще ложка сахара,  
— любимая женщина?.. —  
и ну размешивать, размешивать.

По всему было заметно, что Вероника волнуется.

— Друзей мне заменяете вы, — начал я осторожно. — А что касается женщин, то вы же видите: я стар и горбат. Стар и горбат, — повторил я с неумолимой настойчивостью.

Я честно желал предотвратить признание: зачем оно мне, когда и без этого трудно? Стоит ли портить наш военный союз против злых соседей, возбуждать к себе повышенный интерес не нашей девушки?

Чтобы избежать беды, я был готов прикинуться алкоголиком. Или преступником. А, может, лучше умалишенным, педерастом наконец? Но я боялся: каждое из этих качеств могло придать моей особе опасный, интригующий блеск.

Мне оставалось акцентировать мой горб, возраст и мизерную зарплату, мою тихую профессию счетовода, отнимающую массу времени, и что такому, как я, горбуну под стать соответствующая горбунья, а нормальной красивой женщине нужен симметричный мужчина.

— Нет, вы — слишком благородны, — решила Вероника. — Вы считаете себя калекой и боитесь быть в тягость. Не подумайте, что это жалость с моей стороны. Просто мне нравятся кактусы, а вы похожи на кактус. Вон их сколько расплодилось на вашем подоконнике!

К моей руке притронулись ее горячие пальцы. Я дернулся, как от ожога.

— Вы замерзли, вы больны? — участливо спросила Вероника, озадаченная температурой моего тела.

Это было слишком. Я сослался на мигрень и просил ее покинуть меня.

— До завтра, — сказала Вероника и помахала ручкой, как маленькая. — А завтра вы мне подарите кактус. Непременно.

Эта смиренная девушка говорила со мной тоном главного бухгалтера. Она призналась в любви и требовала воздаяния.

Где это я читал, что влюбленные люди уподобляются покорным рабам? Ничего подобного. Стоит человеку полюбить, и он уже чувствует себя господином, имеющим право распоряжаться теми, кто его недостаточно любит. Как бы мне хотелось, чтобы меня никто не любил!

Оставшись один, взялся поливать кактусы. Я кормил их понемногу из эмалированной кружки — моих горбатеньких деток — и отдыхал.

Было два часа ночи, когда, изнемогая от голода, я

прокрался на цыпочках по темному коридору в ванную комнату. Уж там я поужинал на славу!

Очень это трудно кушать один раз в сутки.

---

---

2

---

---

После того вечера прошло две недели. Вероника мне объявила, что за нею ухаживают: один лейтенант и один артист из театра Станиславского. Это ей не мешало оказывать мне предпочтение. Она грозила постричься наголо, с тем чтобы я не смел говорить больше о ее красоте, которой глупо жертвовать ради старика и уроды. Наконец, ей вздумалось шпионить за мной, подстерегая по пути в ванную.

— Опрятность украшает горбунов, — таков был мой стереотипный ответ на ее расспросы, почему я часто купаюсь.

На всякий случай я стал закладывать фанеркой матовое стекло между ванной и уборной. Прежде чем раздеться, я всегда проверял запоры. Мне было не по себе при мысли, что меня наблюдают.

Вчера утром я постучался к ней в комнату, чтобы набрать чернил в самописку и продолжить мой нерегулярный дневник. Вероника еще не вставала и, лежа в постели, читала «Четырех мушкетеров».

— Вы опоздаете на лекцию, — сказал я, вежливо поздоровавшись.

Она закрыла книгу и сказала:

— А вы знаете, вся квартира считает меня вашей любовницей.

Я же ничего не сказал, и тогда случилось ужасное. Вероника сверкнула глазами и, откинув одеяло, гневно уставилась на меня всем своим неприкрытым телом:

— Гляньте, Андрей Казимирович, — от чего вы отказались!

Лет пятнадцать назад мне довелось познакомиться с учебником по анатомии. Желая быть в курсе дел, я внимательно изучил все картинки и диаграммы. Затем в Парке культуры и отдыха имени Горького я имел возможность наблюдать купающихся в реке мальчишек. Но видеть живьем раздетую женщину, да еще на близком расстоянии, мне раньше не приходилось.

Повторяю, это — ужасно. Она вся оказалась такого же неестественно-белого цвета, как ее шея, лицо и руки. Спереди болталась пара белых грудей. Я принял их вначале за вторичные руки, ампутированные выше локтя. Но каждая заканчивалась круглой присоской, похожей на кнопку звонка.

А дальше — до самых ног — все свободное место занимал шаровидный живот. Здесь собирается в одну кучу проглочен-

ная за день еда. Нижняя его половина, будто голова, поросла кудрявыми волосами.

Меня издавна волновала проблема пола, играющая первостепенную роль в их умственной и нравственной жизни. Должно быть, в целях безопасности она окутана с древних времен покровом непроницаемой тайны. Даже в учебнике по анатомии об этом предмете ничего не говорится или сказано туманно и вскользь, так, чтобы не догадались.

И теперь, поборов оторопь, я решил воспользоваться моментом и заглянул туда, где — как написано в учебнике — помещается детородный аппарат, выстреливающий наподобие катапульты уже готовых младенцев.

Там я мельком увидел что-то похожее на лицо человека. Только это, как мне показалось, было не женское, а мужское лицо, пожилое, небритое, с оскаленными зубами.

Голодный злой мужчина обитал у нее между ног. Вероятно, он храпел по ночам и сквернословил от скуки. Должно быть, отсюда происходит двуличие женской природы, про которое метко сказал поэт Лермонтов: «прекрасна, как ангел небесный, как демон, коварна и зла».

Я не успел разобраться в этом предмете, потому что Вероника вдруг встрепенулась и сказала:

— Ну!

Она закрывала глаза и открывала рот, напоминая рыбу, вытянутую из воды. Она билась на постели — большая белая рыба — беспомощно и безрезультатно, а ее тело тем временем покрывалось голубыми пупырышками.

— Простите, Вероника Григорьевна, — сказал я, робея. — Простите, — сказал я. — Но мне пора на службу.

И стараясь не топтать и не оглядываться, я удалился.

На улице шел дождь, а я не спешил: в нашем учреждении был санитарный день. А я, освобожденный от Вероники, под видом государственной службы (сметы, никотин, главный бухгалтер Зыков, обезумевшие машинистки — за все 650 рублей в месяц), я мог позволить себе такую роскошь, как прогулка по свежему воздуху в сырую погоду.

Я выбрал дырявый водосток и подставил себя под струю. Она текла прямо за воротник — прохладная и вкусная, — и через какие-нибудь три минуты я был достаточно мокрым.

Но прохожие, спешащие мимо, сплошь в зонтиках и в микропористых подметках, искоса поглядывали на меня, заинтересованные этим поступком. Мне пришлось изменить позицию и прогуливаться по лужам. Мои ботинки хорошо промокали. Хотя бы снизу я имел удовольствие.

— Ах, Вероника, Вероника, — повторял я, негодуя. — Зачем вы были так жестоки, что полюбили меня? Зачем выточку не постыдились своего внешнего вида и вели себя столь откровенно, столь беспардонно?

Ведь стыд у человека основное достоинство. Это смутная догадка о собственной неисправимой наружности, инстинктивный страх перед тем, что скрыто у него под сукном. Только стыд и еще раз стыд может их несколько облагородить и сделать если не прекраснее, то скромнее.

Конечно, попав сюда, я следовал общей моде. Блюда законы той страны, в которой вынужден жить. К тому же постоянная опасность быть пойманным и уличенным заставляла меня натягивать поверх тела все эти маскарадные тряпки.

Но будь я на их месте, я не только бы из костюма, я бы из шубы не вылезал ни днем, ни ночью. Я бы сделал себе пластическую операцию, чтобы ноги покороче и хоть горб на спине. Горбуны здесь все-таки приличнее остальных, хотя тоже уроды.

В грустном настроении пошел я на улицу Герцена. Против консерватории снимал комнату в полуподвале тот самый горбун. Уже полтора месяца он был у меня на примете — грациозный, изогнутый, непохожий на человека и чем-то напоминающий мне мою невозвратимую юность.

Три раза подряд я видел его в прачечной и один раз в цветочном магазине, когда покупал кактус. По бельевой квитанции, которую он предъявлял, мне посчастливилось узнать его домашний адрес.

Наступило время поставить точку над i.

Я говорил себе, что этого быть не может, что все погибли и лишь я один уцелел наподобие Робинзона Крузо. Я же сам, своими руками ликвидировал все, что осталось после аварии, и других кроме меня здесь нет.

А вдруг он послан за мной? И под видом горбуна, скрываясь... Проявили заботу! Спыхватились, пустились на розыски!

Откуда им знать? Через тридцать-два года? Даром что по местному времени. Живой и здоровый. Не фунт изюма.

Но почему же сюда? Вот именно. Никто не собирался. Совсем с другой стороны. Так не бывает. Сбились с пути. Куды Макар не гонял. Семь с половиной. Вот и влопались.

Ну, а если случайно? Такой же в точности ляпсус. Уклоняюсь от курса и зимнего расписания. Первое что попало. Бывают же совпадения? Тютелька в тютельку. Нога не ступала. Ну, мало ли? Под видом горбуна. Одинаковый. Хотя бы один — одинаковый.

Дверь открыла дама, похожая на Кострицкую. Но его Кострицкая была крупнее и старше. От нее исходил удешевленный запах сирени. Это были духи.

— Леопольд скоро вернется. Проходите, пожалуйста. Из глубины коридора лаяла невидимая собака. Но бро-

ситься на меня не решалась. Но я уже имел неприятности с этим видом животных.

— Что вы! Она не кушается. Никса — тубо, силианс!

Пока мы вежливо препирались, а животное все свирепело, из боковых дверей возникло три головы. Они разглядывали меня с интересом и поносили собаку. Получился ужасный шум.

В комнате, куда я с большим риском проник, имелся один малолетний ребенок, вооруженный саблей. При виде нас он потребовал клюкву в сахаре и громко заревел, гримасничая и вертя поясницей.

— Сладстена. Весь в меня, — пояснила Кострицкая. — Будешь канючить — дядя тебя съест.

Чтобы сделать хозяйке приятное, я сказал шутливо, что пью вместо супа подогретую детскую кровь. Ребенок моментально стих, бросил саблю и забился в дальний угол, не сводя с меня глаз, полных звериного страха.

— Похож на Леопольда? — спросила Кострицкая как бы невзначай, но с хриплой нежностью в голосе.

Я сделал вид, что верю ее намекам.

Меня качало от спертго воздуха, приправленного парами сирени. Кожа, раздраженная запахом, в нескольких местах воспалилась. Была опасность, что у меня на лице проступят зеленые пятна.

А в коридоре злобная Никса гремела по паркету когтями и принималась к моим следам, звонко щелкая носом. Возбужденные жилички переговаривались между собой полупотом, не подозревая о моей повышенной акустической восприимчивости.

— Видать, брат Леопольду Сергеичу...

— Нет, вы напрасно, наш горбунчик рядом с этим просто вылитый Пушкин.

— Не приведи Господи, приснится такое ночью...

— На него даже смотреть неудобно...

Все это было прервано появлением Леопольда. Помню, мне понравилось, как он — с места в карьер — повел свою роль, классическую роль горбуна, встретившего в присутствии посторонних лиц себе подобного монстра.

— А! Коллега по несчастью! С кем имею честь? Чему обязан?..

То была имитация тончайшей психологической паутины — гордости, защищенной глумлением, и стыда, прикрытого балаганом. Он садился на стулья, как всадник, обхватив донце ногами, вскакивал, снова садился — задом наперед, и положив голову на спинку стула, корчил дикие рожи и беспрерывно двигал плечами, будто щупал свой горб, возвышавшийся над ним, как рюкзак.

— Так-так, Андрей Казимирович, значит. А меня, как

это ни смешно, зовут Леопольдом Сергеевичем. И я, как видите, тоже слегка горбюват.

Меня восхищала его игра в утрированного человека, это искусство, тем более похожее на правду, чем оно было нелепее, и я с тихой грустью сознавал его жизненное превосходство и свое неумение войти, подобно ему, в единственно возможную для нас на земле форму — форму горбюватых уродов и уязвленных самолюбцев.

Но дело делом, и я дал понять, что желаю беседовать конфиденциально.

— Мне нетрудно уйти, — обиженно сказала Кострицкая и вышла, обдав меня на прощанье жгучим своим ароматом.

Я же подумал ей в отместку, что она пропитана этим запахом до самого позвоночника. Даже экскременты у нее пахнут духами, а не вареным картофелем и домашним уютом, как это обыкновенно бывает. А мочится она чистейшим одеколоном, и в такой обстановке бедный Леопольд скоро завянет.

— Вы давно оттуда? — спросил я напрямик, когда мы остались одни и только оцепенелый ребенок сидел в дальнем углу с тупым загадочным взором, изображающим ужас.

— Откуда — оттуда? — уклонился он от ответа.

Вместе с уходом хозяйки его наигранную веселость как рукой сняло. Исчезла вся эта шутовская амбиция, присущая большинству горбунов, которые достаточно умны, чтобы прятать свою спину, и достаточно горды, чтобы от нее не страдать. Но мне казалось, что он еще не пришел в себя и по инерции, с усталым видом продолжает притворяться не тем, кем он был на самом деле.

— Бросьте! — сказал я тихо. — Я узнал вас с первого взгляда. Мы же с вами из одних мест. Так сказать, родственники. ПХЕНЦ! ПХЕНЦ! — напомнил я шепотом священное для нас обоих имя.

— Как вы сказали?.. Знаете, вы мне тоже показались немало знакомы. Где же я мог вас видеть?

Он тер лоб, морщился, кривил губы. Его лицо имело почти человеческую подвижность, и я вновь позавидовал этой поразительной тренировочной технике, хотя осторожные повадки его начинали меня раздражать.

— Ба! — вскричал он, продолжая валять дурака, — вы в системе Главбумсбыта не служили? Там директором — в сорок четвертом — Яков Соломонович Зак. Симпатичный такой еврейчик...

— Никакого Зака я не знаю, — ответил я сухо. — Но я хорошо знаю, что вы, Леопольд Сергеевич, вовсе не Леопольд Сергеевич, и никакой вы не горбун, хоть тычете всюду свой горб. И вообще, довольно кривляний. В конце концов я ничуть не меньше рискую, чем рискуете вы.

Он буквально осатанел:

— Как вы смеете, — говорит, — мне указывать, кто я такой? Испортить мои отношения с хозяйкой, да еще грубить! Да вы найдите, — говорит, — сначала такую роскошную женщину, а потом рассуждайте о моем физическом недостатке. Вы — горбатеe меня. Слышите? Вы — еще гнуснее. Урод! Горбун! Калека несчастный!

Вдруг он рассмеялся и хлопнул себя по макушке:

— Вспомнил! Я вас видал в прачечной. Мы с вами только тем и похожи, что сдаем белье в одну общую стирку.

На этот раз я поверил в его искренность. Нет, он действительно мнил себя Леопольдом Сергеевичем. Он слишком вошел в роль, одичал, очеловечился, чересчур уподобился окружающей обстановке и поддался чужому влиянию. Он забыл свое прежнее имя, предал далекую родину и, если ему не помочь, он в два счета погибнет.

Я схватил его за плечи и осторожно потряс. Я тряс его и уговаривал дружески, по-хорошему — вспомнить, понатужиться и вспомнить, вернуться к себе самому. И зачем ему эта источающая ядовитый запах Кострицкая? Даже среди людей скотоложство не пользуется авторитетом. Тем более — измена родине, хоть не по злему умыслу, а по обыкновенной забывчивости...

— ПХЕНЦ! ПХЕНЦ! — твердил я ему и повторял другие слова, какие сам еще помнил.

Вдруг сквозь его бостоновый пиджак до меня донеслась — неизвестно откуда взявшаяся — теплота. Все жарче и жарче делались его плечи, такие же горячие, как рука Вероники, как тысячи других горячих рук, с которыми я предпочитал не здороваться за руку.

— Простите, — сказал я и разжал пальцы. — Мне кажется, вышла ошибка. Досадное недоразумение. Я, видите ли, — как бы вам это объяснить? — подвержен нервным припадкам...

Тут я услышал страшный грохот и обернулся. Позади, на почтительном расстоянии, скакал ребенок, угрожая саблей.

— Пусти Леопольда! — кричал он. — Эй ты! Пусти Леопольда! Его моя мама любит. Он — мой папа, мой, а не твой Леопольд!

Сомнений быть не могло. Я обознался. Это был человек, самый нормальный человек, хоть и горбатый.

---

3

---

С каждым днем мне становится хуже. Наступила зима — холоднейшее время года в этой части света. Не вылезая из дома.

Все-таки грех жаловаться. После ноябрьских праздников

я вышел на пенсию. Маловато, но так спокойнее. А то — что бы я делал во время последней болезни? Бегать на службу у меня не хватило бы сил, а доставать бюллетень — хлопотно и опасно. Не подвергаться же на старости лет медицинскому освидетельствованию? Это бы меня погубило.

Иногда задаю себе один коварный вопрос: почему бы мне в конце концов не легализовать свое положение? Зачем тридцать лет, как преступник, я выдавал себя за другого? Андрей Казимирович Сушинский. Полуполяк, полурусский. 61 год. Инвалид. Беспартийный. Холост. Родственников и детей не имеет. За границей никогда не бывал. Родился в Иркутске. Отец — мелкий служащий. Мать — домохозяйка. Умерли от холеры в 1901 году. Все!

А что если пойти в милицию, извиниться, рассказать попросту и по порядку, объяснить?

Так, мол, и так. Сами видите — существо из другого мира. Не из Африки, не из Индии и даже не с Марса или какой-нибудь вашей Венеры, а еще дальше, еще недоступнее. У вас даже названий таких нет, да и я сам — разложите передо мною все имеющиеся в наличии звездные карты и планы — не найду, честное слово, не найду, куда же задевалась та великолепная точка, из которой я родом.

Во-первых, не специалист я в астрономическом деле. Ехал — пока везли. Во-вторых, совсем иная картина, и не узнать мне родимого неба по вашим книгам-бумагам. Я и сейчас — выйду ночью на улицу, подыму голову и вижу: опять не то! И в каком направлении мне надо грустить, тоже неизвестно. Может, отсюда не видать не только моей земли, но и моего солнца. Может, оно по ту сторону Галактики числится. Не разобрать!

Не подумайте, пожалуйста, что я прибыл сюда с какой-нибудь задней целью. Переселение народов, борьба миров, пятое-десятое. Я вообще не военный, не ученый, не путешественник, и профессия моя — счетовод, здешняя, разумеется, о старой лучше не поминать — все равно ничего не пойдем.

И лететь мы ни в какие пространства не собирались, а просто ехали, выражаясь примитивно, на курорт. А по дороге — происшествие, ну, скажем, метеорит, чтобы было доступнее, ну, падаем, лишены поддержки, неизвестно куда, падаем семь с половиной месяцев — только не ваших месяцев, а наших — и в силу чистой случайности попадаем сюда.

Очнулся, гляжу — попутчики мои погибли. Похоронил их, как положено, и начал приспособляться.

А вокруг — экзотика, невнятица. В небе луна горит, большая, желтая, но зато в единственном числе. Воздух — не тот, свет — не тот, тяготение всякое, давление тоже не очень соответствуют. Да что говорить! Какая-нибудь элементарная



елка в моем нездешнем восприятии — все равно что для вас — дикобраз.

Куда деваться? Пить-есть надо. Конечно — не человек, не зверь, и, пожалуй, склонен скорее всего — из того, что у вас имеется, — к растительному царству, но тоже обладаю своими первичными потребностями. Мне, в первую очередь, вода нужна, за неимением лучшей влаги, и желательно — определенной температуры, да чтоб к воде — время от времени — недостающие соли. К тому же чувствую в окружающей атмосфере возрастающее похолодание. А вы сами знаете, какие в Сибири морозы.

Делать нечего, пришлось мне леса покинуть. Я уже к людям из кустиков несколько дней присматривался. Сразу понял, что разумные твари, но боялся в первый момент, что съедят. Задрапировался кое-какими тряпками (тогда и состоялась моя первая кража, извинительная в создавшейся ситуации) и выхожу из кустиков с приветливым видом.

Якуты — народ гостеприимный, доверчивый. У них я и освоил простейшие человеческие навыки, а потом перебрался в более цивилизованные края. Изучил язык, постиг науки, преподавал арифметику в средней школе города Иркутска. Одно время в Крыму обитал, но вскоре уехал оттуда по климатическим причинам: летом припекает излишне, а зимой — недостаточно, и все равно нужна квартира с паровым отоплением. А эти удобства в 20-е годы были там в редкость и стоили большие деньги — не по карману. Вот и поселился в Москве... Вот и живу...

Кому угодно рассказывай эту печальную повесть, в самой что ни на есть популярной форме — ведь не поверят, ни за что не поверят. Если б я хоть плакать мог по мере своего рассказа, а то смеяться кое-как научился, а плакать — не умею. Сочтут безумцем, фантазером, да еще к судебной ответственности могут привлечь: фальшивый паспорт, подделка подписей и печатей и прочие незаконные действия.

А если даже — вопреки рассудку — поверят, — будет еще хуже.

Съедутся со всех концов академии всех академий — астрономы, агрономы, физики, экономисты, геологи, филологи, психологи, биологи, микробиологи, химики и биохимики, изучат до последнего пятнышка, ничего не забудут. И все только спрашивают, выпытывают, рассматривают, извлекают.

В миллионных тиражах разойдутся обо мне диссертации, кинофильмы и поэмы. Дамы станут красить губы зеленой помадой и заказывать шляпки в виде кактуса или по крайней мере фикуса. И все горбуны — несколько лет — будут пользоваться у женщин колоссальным успехом.

Названием моей родины назовут автомобильные марки, а моим именем — сотни новорожденных младенцев, не говоря

уже об улицах и собаках. Я стану известен, как Лев Толстой, как Гулливер и Геркулес. И Галилео Галилей.

Но при всем этом общенародном внимании к моей скромной особе никто ничего не поймет. Как же понять меня им, если сам я на их языке никак не могу выразить свою бесчеловечную сущность. Все верчусь вокруг да около и метафорами пробавляюсь, а как дойдет дело до главного — смолкаю. И только вижу плотное, низкое — ГОГРЫ, слышу быстрое — ВЗГЛЯГУ и неопишимо прекрасное ПХЕНЦ осеняет мой ствол. Все меньше и меньше этих слов остается в увядающей памяти. Звуками человеческой речи лишь приблизительно можно передать их конструкцию. И если обступят лингвисты и спросят, что это такое, я скажу только: ГОГРЫ ТУЖЕРОСКИП и разведу руками.

Нет, уж лучше буду влачить одинокое инкогнито. Раз появился такой специфический, так и существуй незаметно. И незаметно умри.

А то, когда я умру, — а я скоро умру, — они заспиртуют меня в большую стеклянную банку и выставят на обозрение в зоологическом музее. И проходя вереницами, начнут содрогаться от страха и, чтоб подбодрить себя, станут смеяться нахально, оттопыривать брезгливые губы: "Ах, какой ненормальный, какой некрасивый ублюдок!"

А я не ублюдок! Если просто другой, так уж сразу ругаться? Нечего своими уродствами измерять мою красоту. Я красивее вас и нормальнее. И всякий раз как гляжу на себя, наглядно в том убеждаюсь.

Перед тем, как мне заболеть, сломалась ванна. Я узнал о несчастье поздно вечером и понял, что это Кострицкая, чтобы мне досадить. От бедной Вероники помощи не ожидалось. Вероника обиделась на меня после того инцидента, когда она предложила самое лучшее, с человеческой точки зрения, что у нее в запасе имелось, а я вместо этого пошел гулять.

Теперь — сквозь стенку — до меня иногда долетали ее воздушные поцелуи с одним актером из театра Станиславского, с которым они поженились. Я был искренне рад за нее и даже послал к свадьбе анонимный торт за 16 рублей с ее инициалами и вензелями, выполненными шоколадом.

Но есть мне хотелось невероятно, а ванну повредила Кострицкая, чтобы меня погубить, и дырку, из которой струится вода, — в ожидании починки — забила деревянной пробкой, и вода не текла. Поэтому, когда все улеглись, и с этажа, что надо мной, и с этажа, что подо мной, а также с боков донесся умеренный храп, я снял с гвоздя Вероникино корыто, которое висит в нашей уборной среди других соседских корыт. Оно гремело, как гром, пока я волок его по коридору, и в нижнем этаже, под полом, кто-то перестал храпеть. Но я довел свой труд до конца, вскипятил чайник на кухне, набрал ведро холод-

ной воды и все это снес к себе в комнату, и заперся на задвижку. А в замочную скважину сунул ключ.

Как приятно скинуть одежды, снять парик, оторвать ушные раковины из настоящей гуттаперчи и отстегнуть ремни, стягивающие спину и грудь. Мое тело раскрылось, точно пальма, принесенная в свернутом виде из магазина. Все члены, затекшие за день, ожили и заиграли.

Я установился в корыте, одной рукою схватил губку, чтобы размазывать воду по всем сухим местам, другой — чайник. А в третью руку взял кружку с холодной водой и, добавив туда кипятку, попробовал оставшейся четвертой рукой, не слишком ли горячо получилось. До чего удобно!

Кожа хорошо всасывала драгоценную жидкость, льющуюся на меня с высоты из эмалированной кружки, и, утолив первый голод, я решил осмотреть себя повнимательнее, чтобы смыть нездоровую слизь, выступившую из пор и застывшую кое-где сухими лиловыми сгустками. Правда, мои глаза на руках и ногах, на темени и на затылке начали заметно слабеть, скрытые в дневное время жесткой одеждой и накладной шевелюрой. Один глаз ослеп еще в 34 году, натертый правым ботинком. Было трудно с должной тщательностью произвести осмотр.

Но я вертел головой, не ограничиваясь полукружием — жалкой ставосьмидесятиградусной нормой, отпущенной человеческой шее, я заморгал всеми глазами, какие были в сохранности, разгоняя усталость и мрак, и мне удалось увидеть себя со всех сторон — сразу в нескольких ракурсах. Какое это увлекательное зрелище, к сожалению, теперь доступное мне лишь в редкие ночные часы. Стоит вздеть руку, и видишь себя с потолка, так сказать, возвышаясь и свешиваясь над собою. И в то же самое время — остальными глазами — не упускать из виду низ, тыл и перед — все свое ветвистое и раскидистое тело.

Может быть, не живи я на чужбине тридцать два года, мне бы и в голову не пришло любоваться своею внешностью. Но здесь я единственный образчик той утраченной гармонической красоты, что зовется моею родиной. Что же мне делать еще на земле, если не восхищаться собой?

Пусть моя задняя рука скрючилась от постоянной необходимости изображать человеческий горб! Пусть на моей передней руке, искалеченной ремнями, уже отсохло два пальца, а мое старое тело потеряло прежнюю гибкость! Все равно, я красив! пропорционален! изящен! вопреки утверждениям всех завистников и критиканов.

Так рассуждал я, поливая себя из кружки, — в ту ночь, когда Кострицкая задумала меня убить посредством сломанной ванны. А наутро я заболел, должно быть, простудившись в корыте, и началось самое трудное время в моей жизни.

Я лежал полторы недели на своем жестком диване и чув-

ствовал, как высыхаю. У меня не было сил сходить за водой на кухню. Мое тело, туго спеленутое в человекоподобный кулек, онемело и затекло. Засохшая кожа потрескалась. А я не мог приподняться и ослабить путы, острые, будто из проволоки.

Так прошло полторы недели, и никто ко мне не входил.

Я представлял себе, как после моей смерти обрадованные соседи позвонят в поликлинику. Приедет участковый врач констатировать летальный исход, наклонится над диваном, разрежет хирургическими ножницами одежды, бинты и ремни и отпрянет в ужасе от дивана, и велит поскорее доставить мой труп в самый лучший, в самый большой анатомический театр.

Вот она — банка со спиртом, жгучим, как духи Кострицкой! В ядовитую ванну, в стеклянный склеп, в историю, в назидание потомкам — на вечные времена — погружают меня — уroda, наиглавнейшего урода Земли.

Тогда я застонал, сначала тихо, потом громче, ненавистным и неизбежным человеческим языком. «Мама, мама, мама», — стонал я, подражая интонации плачущего ребенка — в расчете пробудить жалость в том, кто бы меня услышал. И призывая на помощь в течение двух часов, я поклялся, если только выживу, сохранить до конца свою тайну и не дать в руки врагам на растерзание и глумление последний клочок моей родины — мое прекрасное тело.

Вошла Вероника. Она заметно похудела, и взгляд ее, очищенный от любви и обиды, был ясен и равнодушен.

— Воды! — прохрипел я.

— Если вы больны, — сказала Вероника, — вам надо раздеться и смирить температуру. Я вызову врача. Вам поставят банки.

Врач! Банка! Раздеться! Не хватало еще, чтобы она трогала мой лоб, прохладный, как комнатный воздух, и щупала раскаленными пальцами несуществующий пульс! Но, поправляя подушку, Вероника брезгливо отдернула руку, прикоснувшуюся к моему парику. Должно быть, мое тело возбуждало в ней, как в прочих людях, лишь одно отвращение.

— Воды! Христа-ради воды!

— Вам сырой или кипяченой?

Наконец она ушла и вернулась с графином. И протирая запыленный стакан с той задумчивой медлительностью, которую я принял бы за месть с ее стороны, если бы не знал, что она ничего не знает, Вероника сказала:

— Я ведь на самом деле любила вас, Андрей Казимирович. Мне понятно: это была любовь — как бы вам объяснить? — любовь из жалости... Жалость к одинокому искалеченному человеку, простите за откровенность. Но я пожалела вас настолько... не замечать... физические изъяны... Вы мне казались, Андрей Казимирович, самым красивым человеком на земле... самого... человека. И когда вы так жестоко посмеялись... Покончить с собой... Любила... не скрывая, скажу... достойный человек..

Опять полюбила... А теперь даже благодарна... Полюбила... Человека... Человеческим... человечность... как человек человеку...

— Вероника Григорьевна, — перебил я ее, не в силах терпеть более. — Прошу вас. Поскорее. Воды.

— Человек... векочел... чекелов... кеволеч... человек...

— Воды! Воды!

Вероника наполнила стакан и вдруг поднесла его к самому моему рту. Мои вставные зубы стучали о стекло, но я не решился принять эту жидкость внутрь: меня поливать требуется, как цветок или яблоню — сверху, а не через рот.

— Пейте же, пейте! — настаивала Вероника. — Вы же просили воды...

Отбросил, рванулся и, чувствуя, что пропадаю, сел. Вода текла изо рта на диван. Мне удалось поймать несколько капель в подставленную сухую ладонь.

— Дайте графин и уходите, — приказал я со всей твердостью, на какую был способен. — Оставьте меня в покое! Я сам напьюсь.

Из глаз Вероники ползли длинные слезы.

— За что вы меня ненавидите? — спросила она. — Что я вам сделала? Вы сами не приняли моей любви, отказались от жалости... Вы просто злой, нехороший, вы очень плохой человек, Андрей Казимирович.

— Вероника! Если еще осталось у вас хоть несколько капель жалости, уйдите, прошу вас, умоляю, уйдите, оставьте меня одного.

Она вышла, согнувшись. Тогда я расстегнул рубашку и сунул графин за пазуху — горлышком вниз.

---

---

#### 4

---

Беготня и суматоха в природе. Все в нервозе. Торопливо лезут листья. Отрывисто поют воробьи. Дети спешат на экзамены в школы и в техникумы. Голоса няnek на дворе визгливы, истеричны. И воздух — с душком. Повсюду — в небольшой дозировке — растворен запах Кострицкой. Даже кактусы на подоконнике по утрам пахнут лимоном. Не забыть — перед отъездом кактусы подарить Веронике.

Боюсь, последняя болезнь меня доконала. Она не только сломила тело, но искалечила душу. Странные желания порой посещают меня. То тянет в кино. То хочется сыграть в шашки с мужем Вероники Григорьевны. Говорят, он отлично играет в шашки и в шахматы.

Перечел свои записки и остался недоволен. Здесь в каждой фразе — влияние чужеродной среды. Кому нужна эта болтовня на местном диалекте? Не забыть и сжечь перед отъездом. Ведь

людям я не собираюсь показывать. А наши все равно не прочтут и ничего обо мне не узнают. Наши и не залетят никогда в такую несусветную даль, в такую дичь.

Мне все труднее становится припоминать прошлое. От родного языка уцелело только несколько слов. Я даже думать разучился по-своему, а не только писать и говорить. Что-то прекрасное — помню, а что именно — сам не знаю.

Иногда мне кажется, что у меня на родине остались дети. Этакие пышные кактусята. Не забыть отдать Веронике. Теперь они, должно быть, большеенькие. Вася ходит в школу. Почему в школу? Он — уже взрослый, солидный. Стал инженером. А Маша вышла замуж.

Господи! Господи! Я, кажется, становлюсь человеком!

Нет! Не для того я мучился тридцать два года, не для того страдал зимою без воды на жестком диване. Зачем было выздоровливать, если не с единственной целью: как станет тепло — укрыться в тихое место и умереть без скандала? Только так и можно сберечь, что еще осталось.

Все готово к отъезду: плацкартный билет до Иркутска, бидон для воды, изрядная сумма денег. Почти вся зимняя пенсия на сберкнижке хранится. Не тратился ни на шубу, ни на трамвай-троллейбусы. За все время в кино не был ни разу. А за квартиру бросил платить уже третий месяц. Всего — 1657 рублей.

Послезавтра, когда улягутся, уйду незаметно из дому — в такси — и на вокзал. А там ту-ту! и поминай, как звали. Леса, леса, зеленые, как тело матери, примут и укроют меня.

Уж как-нибудь доберусь. Частично лодку нанять. Примерно 350 километров. А все по реке. Вода под боком. Хоть три раза в день обливайся.

Яма была. Разыщу. Мы яму пробили, когда упали. Обложить дровами. Можжевельник — что порох. Усядусь в яму, развяжусь, распояшусь и стану ждать. И чтоб ни одной человеческой мысли, ни одного слова на чужом наречии.

А как начнутся заморозки и пойму, что время пришло, — одной спички хватит. Ничего не останется.

Но до этого будет долго. Будет много теплых, много добрых ночей. И в летнем небе — много звезд. Какая из них? — неизвестно. Буду на все смотреть. — вместе и поочередно — смотреть во все глаза. Какая-нибудь да моя.

О Родина! ПХЕНЦ! ГОГРЫ ТУЖЕРОСКИП! Я иду к тебе. ГОГРЫ! ГОГРЫ! ГОГРЫ! ТУЖЕРОСКИП! ТУЖЕРОСКИП! БОНЖУР! ГУТЕНАБЕНД! ТУЖЕРОСКИП!

БУ-БУ-БУ!

МЯУ-МЯУ!

ПХЕНЦ!

Когда не хватало сил, я влезал на подоконник, высовывал голову в узкую форточку. Внизу шлепали калоши, детскими голосами кричали кошки. Несколько минут я висел над городом, глотая сырой воздух. Потом спрыгивал на пол и закурировал новую папиросу. Так создавалась эта повесть.

Стука я не расслышал. Двое в штатском стояли на пороге. Скромные и задумчивые, они были похожи друг на друга, как близнецы.

Один осмотрел мои карманы. Листочки, разбросанные по столу, он собрал аккуратно в стопку и, послунявив пальцы, насчитал семь бумажек. Должно быть, для цензуры он провел ладонью по первой странице, сгребая буквы и знаки препинания. Взмах руки — и на голый бумаге сиротливо копошилась лиловая кучка. Молодой человек ссыпал ее в карман пиджака.

Одна буква — кажется, «з», — шевеля хвостиком, быстро поползла прочь. Но ловкий молодой человек поймал ее, оторвал лапки и придавил ногтем.

Второй тем временем заносил в протокол все детали моей интимной жизни. Он выстукивал стены, рылся в белье и даже носки выворачивал наизнанку. Мне было стыдно, как на медицинском осмотре.

— Вы меня арестуете?

Двое в штатском застенчиво потупились и не отвечали. Я не чувствовал за собою вины, но понимал, что сверху виднее, и покорно ждал своей участи.

Когда все было кончено, один из них взглянул на часы:

— Вам оказано доверие.

Стена моей комнаты стала светлеть и светлеть. Вот она сделалась совсем прозрачной. Как стекло. И я увидел Город.

Подобно коралловым рифам возвышались здания Храмов и Министерств. На шпилях многоэтажных строений росли ордена и бляхи, гербы и позументы. Лепные, литые, резные украшения, сплошь из настоящего золота, покрывали каменные громады. Это был гранит, одетый в кружево, железобетон, разрисованный букетами и вензелями, нержавеющая сталь, обмазанная для красоты кремом. Все говорило о богатстве людей, населяющих Великий Город.

А над домами, среди разодранных облаков, в красных лучах восходящего солнца, я увидел воздетую руку. В этом застывшем над землей кулаке, в этих толстых, налитых кровью пальцах была такая могучая, несокрушимая сила, что меня охватил сладкий трепет восторга. Зажмурив глаза, я упал на колени и услышал голос Хозяина. Он шел прямо с небес и

звучал то как гневные раскаты артиллерийских орудий, то как нежное мурлыканье аэропланов. Двое в штатском замерли, вытянув руки по швам.

— Встань, смертный. Не отвращай взора от Божьей десницы. Куда бы ты ни скрылся, куда бы ни запрятался, всюду настигнет она тебя, милосердная и карающая. Смотри!

От парящей в небе руки упала громадная тень. В том направлении, где она пролегла, дома и улицы раздвинулись. Город открылся, как пирог, разрезанный надвое. Виднелась его начинка: комфортабельные квартиры с людьми, спящими попарно и в одиночку. По-младенчески чмокали губами большие волосатые мужчины. Загадочно улыбались во сне их упитанные жены. Равномерное дыхание подымалось к розовеющему небу.

Только один человек не спал в этот утренний час. Он стоял у окна и смотрел на Город.

— Ты узнал его, сочинитель? Это он — твой герой, возлюбленный сын мой и верный слуга — Владимир.

Божественный баритон гудел у моего уха.

— Следуй за ним по пятам, не отходи ни на шаг. В минуту опасности телом своим защити. И возвеличь!

Будь пророком моим! Да воссияет свет, и содрогнутся враги от слова, сказанного тобой!

Голос умолк. Но стена моей комнаты оставалась прозрачной, как стекло. И кулак, застывший в небе, висел надо мною. Еще иступленней был его взмах, толстые пальцы побелели от напряжения. А человек все стоял у окна, глядя на спящий Город. Вот он застегнул мундир и поднял руку. Она казалась маленькой и слабой рядом с Божьей десницей. Но жест ее был столь же грозен и столь же прекрасен.

---

---

## Глава I

---

Гражданин Рабинович С.Я., врач-гинеколог, произвел незаконный аборт. Перелистывая следственные материалы, Владимир Петрович Глобов брезгливо морщился. Работа была закончена, давно рассвело, и вдруг, напоследок, вылезает этот неприличный субъект — в потрепанной папке без номера, с фамилией из анекдота. Для должности городского прокурора — дело незаслуженно мелкое.

Ему уже приходилось как-то обвинять одного Рабиновича, а может быть — двух или трех. Разве их упомнишь? Что по своей мелкобуржуазной природе они враждебны социализму, — понимал теперь каждый школьник. Разумеется, бывали исключения. Илья Эренбург, например. Но зато с другой стороны — Троцкий, Радек, Зиновьев, Каменев, критики-космополиты... Какая-то врожденная склонность к предательству.

В сердце покалывало. Владимир Петрович растегнул



мундир и, скосив глаз, посмотрел на грудь — под левый сосок. Там, рядом с рубцом от кулацкой пули, виднелось синее сердце, пронзенное стрелой. Он погладил давнюю, с юных лет, татуировку. Сердце, проколотое стрелой, истекало бледно-голубой кровью. А другое — приятно ныло от усталости и забот.

Прежде чем отойти ко сну, прокурор постоял у окна, озирая город. Улицы были еще пусты. Но милиционер на перекрестке, как это заведено, точным взмахом руки управлял всем движением. По знаку дирижерской палочки невидимые толпы то застывали, как вкопанные, то стремительно бросались вперед.

Прокурор застегнулся на все пуговицы и поднял руку. Он чувствовал: «С нами Бог!» И думал: «Победа будет за нами».

Дождь тек по лицу. Носки прилипали. Жду не больше пяти минут, — решил Карлинский и, не выдержав, пошел прочь. — Куда же вы, Юрий Михайлович?

Посреди мокрого сквера Марина была неправдоподобно суха.

— Вот они каковы — современные рыцари, — говорила Марина, властно и ласково улыбаясь. — Идите же скорее сюда!

И очертила рядом, под зонтиком, уютное сухое местечко — Добрый день, Марина Павловна. Я думал — вы не придете. Уже милиционер стал беспокоиться: не собираюсь ли я взорвать памятник Пушкину, пользуясь ненастной погодой  
Марина смеялась:

— Во-первых, мне надо позвонить по телефону.

Дождь бил в асфальт и отскакивал. Площадь пузырилась и текла. Они бросились через нее, пересекая воду и ветер. Телефонная будка была островом в океане. Юрий незаметно вытер руки о талию своей спутницы.

— От вас пахнет мокрой тряпкой, — возразила Марина. Он не успел обидеться — она уже набрала номер и произнесла: — Хэлло!

— Хэлло, — решительно повторила она певучее заграничное слово. На верхней ноте ее голос капризно затрепетал.

— Володя, это ты? Я плохо тебя слышу.

Чтобы лучше слышать, она придвинулась к Юрию. Он чувствовал душистую теплоту ее щеки.

— Говори громче! Что, что? Обедайте без меня. Я вернусь нескоро, поем у подруги.

Трубка беспомощно булькала. Это муж на том конце провода пытался протестовать. Тогда Юрий взял руку Марины и поцеловал. Он прощал ей все обиды — и размякшие от воды штилеты, и то, что недотрога. Ее голос извивался, как змея.

— Вечером изволь идти на концерт. Без меня. Очень

тебя прошу... Объясню после... Что ты говоришь? А-а-а...  
Я тебя — тоже.

Она предавала его — глупого наивного мужа. Эй ты, прокурор! — издевался Карлинский. — Слышишь? Она говорит «тоже», чтобы не сказать «целую». Это потому, что я! я! стою рядом и трогаю ее ладонь.

— Чему вы так радуетесь? — удивилась Марина, повесив трубку.

А Карлинский, казалось, и в самом деле собирался оправдать ее прогнозы:

— Марина Павловна, я давно хотел задать вам один нескромный вопрос...

— Да, пожалуйста, хоть два, — разрешила она заранее усталым голосом.

Ты — дьявол, но я тебя перехитрю, — успел подумать Юрий. И вкрадчивым тоном спросил:

— Марина Павловна, вы верите в коммунизм?.. И еще второй, с вашего разрешения: вы любите мужа?

— Черт, уже прервали! — Владимир Петрович подышал немного в искусственную телефонную тишину. Марина не отзывалась. За стеной Сережа спрягал немецкие глаголы.

— Сергей, поди сюда.

— Ты меня звал, отец?

— Прежде всего, здравствуй.

— Здравствуй, отец.

— Учишься? А я уже наработался. Всю ночь, до утра, как проклятый, сидел... Слушай, составь мне компанию. Выходной день как-никак. Поболтаем, потом на машине прокатимся. Вечером — на концерт махнем. Согласен?

— А Марина Павловна?

— Мать — у подруги. По рукам, что ли?

Сережа не возражал.

— Хочу я спросить, Сергей... В среду, на родительском собрании, много про тебя говорили. Хвалили, как полагается. Ну, а после учитель истории — как его? — Валериан...

— Валериан Валерианович.

— Вот-вот, он самый. Отозвал меня в сторонку и шепчет: «Обратите внимание, уважаемый Владимир Петрович. Ваш сын, знаете ли, задает разные неуместные вопросы и вообще — проявляет нездоровый интерес».

Прокурор помолчал и, не дождавшись ответа, как бы между прочим — сказал:

— Ты это, Сергей, насчет баб, что ли, интересуешься?

Нестерпимый розовый свет ослепил Сережу. Будто девушка, — залюбовался Владимир Петрович. Он знал, что Сережа повинен в иного рода грехах, но в воспита-

тельных целях — пусть сам признается — продолжал пытку:  
— Да! О женщинах подумать иногда невредно. Я в твои годы был хоть куда. Можно сказать — первый парень на деревне... Только зачем! с преподавателем на такие темы дискутировать? Ты бы меня спросил...

— Да я не об этом вовсе, — взмолился Сережа. — Я совсем про другое спрашивал.

— Про другое?

— Ну, конечно же. По истории — вопросы. По философии тоже. Например, о войнах справедливых и несправедливых.

— О войнах? — удивился Владимир Петрович, все еще делая вид, что ничего не понимает. — Разве ты в будущем году на военную службу собираешься? А институт?

Сережа заторопился. О разных стыдных вещах он и не думал никогда. Учение про войны справедливые и несправедливые создано еще Марксом. Потом его развивал Ленин применительно к новой исторической обстановке. Подтверждая это, Сережа сбегал к себе и принес какие-то тетрадки, исписанные мелким почерком.

— А Валериан Валерианович говорит — Ермак вел справедливое покорение Сибири. И восстание Шамиля тоже правильно подавили...

— Да, — размышлял Владимир Петрович. — Без Сибири нам нельзя. И без Кавказа — нельзя. Нефть. Марганец. Народ-то что поет? «На тихом берегу Иртыша сидел Ермак, объятый думой». Слыхал?

— Когда англичане Индию, они тоже...

— Ты эти сравнения брось, — заволиновался Владимир Петрович. — Англичане нам не указ. Где мы живем? В Англии, что ли?

Он задумался на секунду: Англия, действительно, была ни к чему. Какая Англия?

— Но исторически...

— Исторически, исторически! Ты историю изучай, да о сегодняшнем дне помни. Мы что строим и уже построили? То-то. Значит, в конечном счете, понимаешь — в конечном! — правильно делали наши предки. Справедливо.

Отец был прав. Но и Шамиля жалко. Ведь он не знал, что в России революция произойдет. Хотел свой народ освободить, а после выяснилось — зря старался и даже для социализма вредно.

— А вот Юрий Михайлович по-другому мне объяснял. Все дело, говорит, в том, на чью точку зрения стать. Для одних — справедливо, для других — наоборот. Где же тогда настоящая справедливость?

Опять этот Карлинский! — хотел выругаться Владимир Петрович, но сдержался.

— Ты, Сергей, поменьше этой софистикой увлекайся

Конечно, Юрий Михайлович — человек эрудированный и с Мариной Павловной хорошо знаком... Но все же он тебе не товарищ... Давай-ка выкладывай по порядку — какими еще вопросами ты учителей донимаешь?

— Все дело в том, дорогая Марина Павловна, на чью точку зрения статья. Попробуем статью на вашу.

Покуривая вкусную сигаретку, Карлинский смотрел, как Марина кушает. Маленькая бесстыдная родинка, похожая на мушку, придавала ее лицу ослепительную белизну. Но вот уже обвисли складки щек, набрякла промежность у шеи и подбородка. Марина кусает пирожное, обнажив десны, так чтобы не запачкать на губах ярко накрашенную кожу.

— Марина Павловна!

Она медленно поворачивает голое лицо, показывая его со всех сторон.

— Мы же друзья, не правда ли? Потому я и позволяю себе говорить начистоту. Ведь не по любви... — Карлинский понизил голос, за соседним столиком двое молодых людей сосредоточенно лакали коньяк... — то есть не из любви к родине и коммунизму вы пошли замуж? Вы, такая умная и такая красивая... Ведь вы красивая?

— Красивая, — слегка посмеиваясь, подтвердила Марина.

— И умная.

— И умная.

— Люблю беседовать с вами. Как будто ешь перец в томате. И кафе располагает к откровенности. Колорит!..

Юрий повел подбородком, приглашая оглядеться по сторонам. Молодой человек за соседним столиком упрямо твердил:

— Обожаю звон бокалов.

А его товарищ перекрестился куском ветчины, вздетым на вилку, проглотил и внушительным тоном добавил:

— Тело женщины — это амфора, наполненная вином.

— Не пора ли наполнить и наши амфоры? — спохватился Карлинский. — Только за что же нам выпить? За идеалы, о которых вы так старательно умалчиваете?

Марина пожала плечами:

— Не умею разговаривать на отвлеченные темы, Юрий Михайлович.

— А на интимные?

— Тем более.

— Да-а-а. Вы склонны к загадкам. Каждая красивая женщина, между прочим, хочет казаться таинственной. Однако с вами, Марина Павловна, опасно откровенничать. Вы все слушаете...

— Слушаю.

— Смотрите, запомните, а потом...

- Нет, я не все запоминаю, но понимаю я все.
- А я вот многого не понимаю.
- Например?
- Взять хотя бы вашу красоту. Как вы можете...
- Как я могу, умная и красивая, жить с моим мужем?

Вы это хотели сказать?

Карлинский замер. Мягко ступая, оскалив мордочку, зверь шел прямо на него. Черно-бурая лиса, песец, куница, о мой долгожданный серебристый соболь! Молодые люди за соседним столиком уже объяснялись в любви:

— А я, Витя, честно тебе признаюсь — за всю свою жизнь лягушки не обидел.

— Спасибо, Толя, что я встретил в тебе человека.

— Так ты, Сергей, по юридической части собираешься? Дельно задумал. На смену отцу, значит? Молодец! А вопросы и сомнения твои, по правде сказать, гроша ломаного не стоят. Праздные, незрелые разговоры ведешь со своим Валерьянычем. Каша у тебя в голове. Зелен ты еще в большой политике разбираться.

Ты, к примеру, за бывших пленных вступаешься. А мне лучше тебя известно: трусы они и предатели. Или насчет зарплаты. Что же ты министра к уборщице приравниваешь? Триста рублей в зубы — и шагай вертеть государством?

Ты думаешь, глупее нас с тобою наверху сидят? Пока ты немецкие глаголы спрягаешь да философии конспектируешь, там уже все известно, вычислено, рассчитано. И зачем глаголы твои нужны, и куда конспекты потребуются.

Ты одно пойми: главное — великая цель наша. Ею все и мерь — от Шамиля до Кореи. Этой целью любые средства освящены, все жертвы оправданы. Миллионы, подумай, миллионы ради нее погибли, последняя война чего стоит. А ты со всякими поправками лезешь — это несправедливо, то неправильно.

Я вот случай тебе расскажу, на всю жизнь его запомнил. Пришел приказ одному капитану: взять такую-то высоту и точка. Бойцы устали, разболтались, в смерть соваться никому неохота. А тут как раз дезертира приводят. Так, мол, и так, хотел улизнуть с поля боя. Капитан, не говоря худого слова, на глазах у всех, хлопнул его из пистолета, послал рапорт по начальству и — в атаку.

Получили мы рапорт, выясняем: как и что? Оказалось — вовсе и не дезертир это был, а просто другой офицер направил его куда-то по делу, а капитан не знал или запомнил в горячке.

Подать сюда капитана! Самоуправство? Расстрел без суда и следствия? За такое — не поздоровится. Штрафная рота, как часы.

Докладывают: капитана больше нет, пал смертью храбрых. Что же, перед солдатами мертвого командира позорить? Офицерские погоны сомнению подвергать? Может, не пристрели он этого дезертира, не поднял бы в атаку бойцов и приказа бы не выполнил?

Высоту-то, высоту взяли все-таки!

Я, признаться, тогда на случившееся с высоты той самой посмотрел. А теперь ты попробуй посмотри. Ну, будущий прокурор, выноси свое справедливое решение.

— Я не хочу быть прокурором.

— В защитники метишь, по стопам Карлинского, в блистательную адвокатуру?

— Нет, я буду судьей.

— Сдаюсь, сдаюсь без боя, Марина Павловна. Я полностью согласен с вами — цель оправдывает средства. И это тем более правильно, чем выше желанная цель.

Как это вы замечательно выразились? — «мало родиться красивой, красоту нужно завоевывать». Bravo! Я не подозревал, что за такой ренуарёвской внешностью скрывается опытный полководец.

Знаете что, возьмите меня в свой арсенал. Красота требует поклонения, цель нуждается в средствах. Так пусть я буду недостойным средством вашей всеоправдывающей красоты. Вы не пожалеете.

А теперь выпьем — за цель, за ваше прекрасное лицо, за необходимый союз целей и средств!

Карлинский и Марина чокнулись.

— Вы воспользуетесь моим предложением?

— Не знаю. Может быть. Хватит об этом.

Марина была рассеянна. А Юрию все вспоминалось далекое, детское. Мудрый змий-искуситель вручал яблоко светловолосой Еве, нерасторопный Адам дремал под райским кустом. И для полноты картины он подвинул ей вазу.

— Попробуйте персик, Марина Павловна. Сладкое вино обычно закусывают фруктами.

Толстый человек по-ребячьи подпрыгивал, суетился, даже прихрамывал из вежливости. Он был гораздо старше и толще отца, но когда тот сбросил на пол калоши, человек вдруг нагнулся, прижал их к золотым галунам и забегал вокруг, приговаривая уменьшительными именами: «Калошки... номерочек... шляпочку-то пожалуйста...»

Сергея и Владимир Петрович прошли в зал.

Ноты и смычки зашевелились. На сцену выплыл конферансье — неудавшийся вундеркинд, облысевший от музыки

кальных занятий. Он почти пропел, старательно выводя каждое слово, длинный титул знаменитого дирижера, и концерт начался.

Сережа увидел, как надул щеки рыжий, похожий на боксера трубач. Скрипачи остервенело замахали руками.

Музыка потекла.

Она была с цветными разводами — как вода на улице, когда прольют керосин. Она шумела и рвалась со сцены — в зал. Сережа вспомнил, что снаружи тоже хлещет ливень, и поежился от удовольствия. Именно такой представлялась ему революция.

Буржуи тонули самым естественным образом. Пожилая дама в вечернем туалете, барахтаясь, ползла на колонну. Смело. Ее муж-генерал плывал саженками, но тоже вскоре утоп. Уже самим музыкантам было по шейку. Вытаращив глаза и сплевывая набегавшую волну, они судорожно пилили под водой, наугад.

Еще напор. Одиноко, верхом на стуле, промелькнул капельщик. Волны бились о стены, лизали портреты великих композиторов. На поверхности плавали дамские сумочки и билеты. Время от времени из звонко-зеленой глубины, не спеша, как белый, незрелый арбуз, всплывала чья-то лысина и пропадала.

— Это тебе не Прокофьев с Хачатуряном. Классика. Какая музыка! — воскликнул Владимир Петрович.

Его тоже весьма занимало происшедшее наводнение. Но видел и понимал он больше, чем Сережа: музыка не текла сама по себе — ею управлял дирижер.

Он возводил дамбы, прочерчивал каналы и акведуки, укладывал взбалмошную стихию в геометрически точные русла. Дирижер руководил: по взмаху его руки одни потоки останавливались и замерзали, другие устремлялись вперед и крутили турбины.

Владимир Петрович незаметно перешел в первый ряд. Никогда раньше не сидел он так близко от дирижера и никогда не думал, что эта работа требует стольких усилий. Еще бы! Уследить и за флейтой и за барабаном и заставить всех играть одно и то же!

Пот бежал с него ручьями, щеки тряслись. И спина хрипло вздрагивала при всякой паузе. Издали он казался легким танцором, который пляшет не ногами, а руками. Но здесь, вблизи, это был мясник, что рубит туши и колет лед, выхаркивая с каждым ударом отрывистое густое дыхание.

А музыка становилась все шумнее и шумнее. Уже не водопады и реки — они давно замерзли — ледяные глыбы пришли в движение, словно в ледниковый период. Один выступ с грохотом наезжал на другой. Перемещались миры и пространства. Новый век из гранита и льда наступил.

— Антракт! — объявил звонким голосом молодежавый конферансье.

Раздетая донага, Марина делала гимнастику. В трюмо бесшумно прыгали розовые овалы. Ей было занятно следить за их веселой игрой.

Марина придвинулась. Ее отражение росло в размерах, оглядывая себя по частям. В целом — оно напоминало пропеллер. От узкой талии вверх и вниз разбежались упругие лопасти. Бедра и плечи уравнивали друг друга. А сбоку — от груди к ягодицам — изгибалась буква S: синусоида торса.

Зыскательно, по-деловому, Марина выверяла пропорции. Не отвисает ли зад, нет ли морщин на шее? Она бесцеремонно мяла груди, вертела голову, массировала живот. Зеркало служило ей верстаком, чертежной доской, мольбертом — рабочее место женщины, возмечтавшей о красоте. Она не прихорашивалась, не кокетничала. Она трудилась решительно и вдохновенно.

Сегодня, восемнадцатого сентября, Марине Павловне исполняется тридцать лет. Другие в столь бальзаковском возрасте кончают свою карьеру. Свадебная красотка, невзначай угодившая на обложку иллюстрированного журнала, к тридцати годам расплывается, как подогретый пломбир.

Женщины, похожие на кастрированных мужчин, гуляют по улицам и бульварам. Коротконогие, словно беременная такса, или голенастые, как страус, они прячут под платьем опухоли и кровоподтеки, затягиваются в корсет, подшивают вату взамен грудей.

Марине к маскарадным костюмам прибегать незачем. Она сумеет быть изящной в любом положении — хоть на четвереньках, с высунутым языком. А вы попробуйте в таком виде сохранить достоинство и обаяние!

Она замерла перед зеркалом. Непрстойная поза еще лучше подчеркивала изгибы ее спины. Стоять на четвереньках, с открытым ртом было как-то неловко. Но Марина удостоверилась: красоту ее тела и лица ничто не может нарушить.

У прочих женщин красота служит подсобным средством. Красивым легче выйти замуж, найти любовника. Одни хотят метать икру, оправдываясь материнскими чувствами. (Как вовремя ей удалось увернуться от этой безвкусной развязки!) Другие находят непонятное удовольствие в ночной слякотной возне. (Бедный Володечка, мне его просто жаль!) И никто не знает, что прекрасная женщина сама достойна быть целью. А все остальное — мужчины, деньги, наряды, квартиры, автомашины — это лишь средства, любые средства, служащие красоте.

Марина делает шаг в сторону — ее отражение ползет по стеклу и пропадает. На месте живота просвечивает ваза с цве-



тами, а выше — груды коробок и гипсовый бюст. Марина догадывается, что это муж, покуда она спала, прокрался к ней в комнату и воздвиг дворец из разных сюрпризов. Это уж его правило, он всегда покупает много и беспорядочно. Вон даже бюст Хозяина, не считая конфет, духов и прочих средств, нужных ее красоте.

— Зачем вы здесь, уважаемый? — спрашивает Марина, не оборачиваясь. — Великим людям не полагается подсматривать за голыми дамами.

Она хочет закрепиться на скользкой зеркальной поверхности. Вопреки законам физики — навечно. Чтоб даже в ее отсутствие прекрасное отражение так и оставалось нетронутым. Добиться этого ей нелегко.

А в коридоре уже давно скрипят половицы. Это супруг вздыхает под дверью, подглядывая в замочную скважину, как мальчишка, за утренним туалетом жены.

Марина Павловна стоит перед зеркалом, нагая, надменная. Не стыдясь и не радуясь, она поворачивается в разные стороны, чтобы мужу за дверью было удобней смотреть. Она не возражает — пусть полюбуется ради праздника. Но ребенка от нее пусть лучше не ждет.

Потом неторопливо надевает халат и говорит:

— Кто там? Войдите.

— Поздравляю тебя, Мариночка, с днем рождения.

Она целует его в щеку.

— Спасибо за подарки, Володя. Они все мне очень нравятся. Только вот эту вещь давай поставим в твоем кабинете. К моей комнате она чуточку не подходит: не тот стиль.

После первого тоста за здоровье дорогой новорожденной все накинудись на еду, и Карлинский смог наконец вплотную заняться Мариной. Примостившись подле нее слева (по правую руку, как полагается, сидел Владимир Петрович), он бросал колкие замечания в адрес гостей, чем весьма забавлял прекрасную хозяйку, вызывая зависть остальных мужчин.

— Политическая лояльность нашего собрания обеспечена, — кивнул Юрий в сторону следователя Скромных, давнего друга семьи Глобовых.

Марина была в ударе. Она смеялась островам Карлинского, угощала ближайших соседей, подкладывала себе в тарелку наиболее лакомые куски, изучала туалеты дам, не пренебрегала и Владимиром Петровичем, время от времени касаясь коленом его ноги под стулом, и легким движением ресниц управляла домработницей, следя за непрерывным конвейером вин, салатов и соусов. Потому все неослабно чувствовали праздничное присутствие Марины, кушали, пили, говорили ради нее одной. И это было всем приятно, а ей — тоже.

— Обратите внимание, — нагнулся к ней Юрий, — с каким пылом этот хранитель госбезопасности расхваливает своего отпрыска. Все профессиональные тюремщики, по моим наблюдениям, нежно любят детей. Добро и зло уравновешены в природе...

Марина Павловна сочла нужным ответить:

— Вероятно, поэтому, Юрий Михайлович, адвокаты в домашнем кругу так жестоки и злы?

— Камешек в мой огород? Но какого гуманиста не выведет из себя это родительское сюсюканье? Можно подумать, здесь одни садисты и заплечных дел мастера.

Разговор, действительно, шел о детях.

— А где Сережа? — спросила жена следователя. И не успела Марина ответить, что ее пасынок вместе со школой уехал на уборку картофеля, как супруг Скромных уже затянул свою обычную арию: «А вот мой Боренька...» Все восхищались умом десятилетнего мальчика.

— Я пью за день рождения вашей будущей дочери, Марина Павловна. За невесту моему Борису! — неожиданно заключил следователь.

Неужели она беременна? — подумал Юрий, но, взглянув на бесстрастное лицо Марины, успокоился: этот следователь готов спаривать еще незачатых младенцев.

Владимир Петрович тоже был изумлен: ну и нюх у Аркадия Скромных — уже все знает! И чтобы не выдавать приятной тайны раньше срока, прокурор, позвонив ложечкой о бокал, взял слово:

— Хоть ты и старый следователь, Аркадий Гаврилыч, однако улик у тебя нет и дело временно прекратим за отсутствием состава преступления. Выпьем лучше за всех наших детей, за прочную семейную жизнь!

Гости повиновались.

— Что такое человек семейный? Это — серьезный человек, и в дружбе, и в работе, и в государственном смысле — надежный. Кто детьми обзаводится, тот хороший гражданин. Он о семье думает, о будущем, о потомках, на земле укорениться желает. Он весь на виду.

Глобов раскрыл ладонь, широкою, как тарелка, и, сжав ее в кулак, продолжал:

— Я лично сторонник многодетной семьи. Сам из такой вышел. Нас, Глобовых, по всему миру — как в лесу грибов. И стреляли нас, и резали, а вот не перевелось, не изничтожилось глобовское племя. Младший брат — на Дальнем Востоке полковник, другой — на Каспии рыбным комбинатом орудует, сестра, в Ленинграде, в прошлом году диссертацию защитила...

Пальцы прокурора разгибались, начиная с мизинца. Вот и указательный. Это, по всей вероятности, был сам прокурор — прямой, крепкий, с отполированным ногтем на конце.

— И есть же люди — за бездетность агитируют! Вчера читали в газете? Неомальтузианство. Целый подвал. Очень оно распространено на Западе — это нео. И у нас кое-что в этом роде можно еще встретить. Мне в руки одно дело попало...

Перегибаясь через бутылки, Глобов зашептал следователю. Гости отвели глаза к еде, догадываясь — аборт.

Карлинский подавил внезапный приступ тошноты. Чтобы рассеяться, стал думать о Мальтусе. В каждой теории есть своя правда. Нельзя же размножаться до бесконечности? Заселим Сахару, Антарктику, а дальше куда? Вот тут и следует изобрести нечто универсальное.

Известно же — человеческий зародыш на какой-то ранней стадии уподобляется рыбе. Зачем же попусту гибнуть рыбным богатствам страны? В прекрасном будущем этих милых рыбок утилизируют. Осторожно изымут из материнского, чрева и станут разводить в особых прудах, приучая к самостоятельности. Пускай себе обрастают чешуйками и плавниками под государственной охраной какого-нибудь глобовского собрата. Тут же, при абортарии — рыбозавод, консервы в огромном количестве. Кого в шпроты, кого в килечки — по национальному признаку. И все произойдет в согласии с марксизмом. Мы снова вернемся к людоедской закуске. Но не вспять, не к первобытному пожиранию себе подобных товарищей, а, так сказать, на более высокой и деликатной основе. Развиваясь по спирали...

Юрия уже не тошнило. Он был в восторге: не познакомить ли Марину Павловну с этой оригинальной идеей? Но покуда он сомневался — все-таки дама, — Марина сказала:

— Володя, что за секреты в обществе? Это нетактично. Кушай свою рыбу.

Зашипела пластинка. Простуженный тенор повел старинное, двадцатых годов, танго.

Был день осенний, с деревьев листья опадали,  
В хрустальных астрах печаль усталая цвела.

Русский эмигрант из парижского бардака пел о неразделенной любви. И хотя хрустальных астр не бывает, всем стало не по себе, когда тенор с горестным изумлением воскликнул:

Ах, эти черные глаза!

— Ах, эти черные глаза, — подхватил на низкой ноте невидимый хор.

Меня пленили

— сокрушался белоэмигрант, и хор глухо роптал:

— Меня пленили.

Их позабыть не в силах я,

Они горят передо мной.

Владимир Петрович бережно передвигал Марину меж

танцующих пар. Автоматически, под гипнозом, она выбивала такт. Блаженное безволие колыхало ее. Озноб, словно минеральная вода, выпускал пузырьки. Они взбегали вдоль позвоночника — к шее — по изыбшей коже затылка — до кончиков наэлектризованных волос.

Ах, эти черные глаза!

Кто вас полюбит,

Тот потеряет навсегда и счастье и покой.

— Ах, эти черные глаза, — простонала Марина.

Не глядя по сторонам, она знала, что все смотрят на нее и ею одной любуются. Каждый мужчина здесь мечтал танцевать только с Мариной. И ей хотелось идти и идти без конца под эту песню о неразделенной любви, идти по всей земле, меняя страны, времена, партнеров, и, никого не любя, изнемогать от счастья, что все тебя любит и что тебе лучше всех.

— Сегодня я выбираю музыку и кавалеров! — объявила Марина, пуская пластинку еще раз. Она отплыла с Карлинским, лишь зацвели астры, каких не бывает на свете.

Их позабыть не в силах я,

Они горят передо мной

— подпевал Юрий в теплое ухо Марины.

Он сам не ждал, что его искушенную душу так растрогает бульварный романс. Но сколько ни зубоскалил Юрий над этой мещанской экзотикой, он не мог развеять ее утонченно-пошло-го очарования.

В ананасовых рощах цветут хрустальные астры. У фешенебельных отелей, на фоне сплошных пейзажей планируют взад и вперед прилично одетые мужчины при тросточках и золотых зубах. Симпатичные дамы в будуарах и — как это? — кулуарах строят куры. А вокруг саксофоны, чичисбеи, неглиже. Гондолы и гондоны. Гривуазно ныряя. В рюмке от сервиза пламенеет ликер. Петя + Тося = Любовь. Лю-эс.

А Марина прильнула к нему, покорная и доверчивая. Будто она поняла наконец, кто ее избранник. Будто не нужно ей никого-никого, кроме Юрия. И возможна в жизни — если не любовь, то хоть обыкновенная нежность.

Вот тут, посередине, Марина сменила партнера. По ее знаку подскочил следователь Скромных, заранее вихляя задом. Он увлек Марину в новый круговорот.

Владимир Петрович проводил насмешливым взглядом одинокую фигуру Карлинского и опять, делая вид, что курит, повернулся к танцующим.

На выгнутой шее — лицо. Оно застыло. А тело пульсирует в такт музыке, перебирает ногами. И спящее лицо покачивается. Будто лунатик, Марина идет по комнате. Вот она придвинулась к своему кавалеру, отступила, снова придвинулась. Лицо покачивается. Белое, строгое, как от другого туловища, оно не принимает участия в окружающей суете. Переплетаются ноги,

пыхтит очередной счастливец, нетерпеливо ждут своей минуты следующие мужчины. Но лицо Марины спокойно, точно она отсутствует, точно ей все равно, кому и когда достаться.

И эта мертвая неподвижность ее лица и эта длинная очередь к жертве, впавшей в беспамятство, вызывают уже не ревность, а ужас — перед насилием, что совершается в его доме, у всех на глазах, под музыку. Чтобы как-то остановить их — потерявших стыд и совесть людей, — прокурор подходит к извертывшемуся вконец патефону и будто бы ненароком, споткнувшись, опрокидывает его на пол.

Юрий не мог заснуть. Последнее время, по ночам, с ним бывало такое: вдруг он вспоминал, что должен умереть, и начинал бояться. Особенно часто это случалось, когда он лежал на спине.

Жизни его не угрожала опасность, и можно было надеяться, что он проживет еще лет двадцать пять, а то и все тридцать пять, если будет беречь свое здоровье и бросит курить. Но самая мысль о том, что через двадцать пять или даже через сорок лет ему предстоит умереть, была нестерпима. Это очень страшно, когда тебя нет, а другие еще существуют.

Гроб и могила его не пугали. Главное — что ничего не будет после смерти, ничего и никогда, на веки вечные. Если бы спровадили в ад, и то — лучше: пусть поджаривают на сковородке — все-таки какое-то самосознание остается.

Ему вспомнилось, как в детстве он завидовал слонам, которые живут сто пятьдесят лет. А шуки, говорят, — двести. А когда умер отец, Юрий бился в истерике и все думал, что ему жаль бедного папу, а он себя жалел, догадываясь о своей смерти, и потом долго расспрашивал всех про загробную жизнь в надежде, что она есть.

Зачем они отняли веру? Личное бессмертие заменили коммунизмом! Разве может быть какая-то цель у мыслящего человека, кроме себя самого?

Чувствуя, что он умирает и вот-вот совсем исчезнет, Юрий сел на кровати и зажег лампу. Он кашлянул и подумал, что тогда и кашлять уж не придется. Потом увлажненными пальцами потрогал стул, который останется (и ножки стула останутся!), в то время как Юрия уже не будет.

Рассказать об этой беде — некому. Всякий станет смеяться над тобой, а про себя думать: «Я ведь тоже умру». Сочувствия не дождешься.

Был только один выход — самообман. К нему прибегают люди, отвлекая себя чем угодно от этой — сводящей с ума — пустоты. Кто занят политикой, как медведь Глобов, кто, вроде Марины... Марина! Вот где нужно искать спасение! В этой женщине, самой красивой из всех женщин, каких он знал.

Юрий привстал, вынул сигареты и закурил, чтобы лучше схватить скользящее из головы решение. И выпуская дым изо рта, чувствовал, что он жив, и курит, как полагается, и затягивается по-настоящему, и выпускает дым изо рта, как мертвые не могут. И радуясь этому, выпускал изо рта дым, и курил, и опять радовался.

Марина и впрямь была достойным занятием. Он сам, задолго до этой ночи, интуитивно, как лошадь в буран, выбрал верный путь. Он объявил себя средством, всего лишь средством, ее красоты. Он восхищался и потакал, желал и раболепствовал. И не раз был унижен и брошен, как сегодня — во время танцев. Но только теперь Юрий мог, положила руку на сердце, сказать, что сделал открытие, может быть, позначительней Архимеда.

Пусть точкой опоры послужит ему Марина! Эта недоtroга, возмнившая себя целью мироздания, станет средством от бессонницы. А целью, целью будет он сам и его победа над нею. Он поразит Марину тем же оружием, применит любые средства, чтоб доказать свое превосходство.

— Боже, как унизительно будет ваше паденье! Я уж позабочусь, поверьте моему скромному опыту!

Юрий свернулся калачиком и, предчувствуя, что сладко заснет, улыбнулся себе широко и умиротворенно, как давно никому не улыбался. Ему казалось, что он будет жить долго-долго, что он всех переживет и, может быть, даже никогда не умрет. Но лампу он все же не выключал.

Пластинка была разбита, и вечер испорчен. Муж перешел границы ее терпения. Как только откланялись последние гости, Марина объявила войну.

Владимир Петрович довольно успешно парировал первые удары, отметив, что порядочная женщина, танцующая танго, не позволит Карлинскому гладить себя по спине. Тогда она припомнила ему гипсовый бюст, и вульгарную речь за столом, и следователя, с которым он шушукался чуть ли не весь вечер, и, не дожидаясь ответа, с ходу, повела развернутое наступление.

Ее лицо светилось от гнева. Раскаленное добела, оно было острием, готовым вонзиться, а тело, обтекаемое, как торпеда, — целясь наверняка — нетерпеливо подрагивало.

Крутые меры не пугали Марину. Она понимала, что на войне сострадание так же опасно, как измена. Ей казалось бестактным — пули дум-дум и ядовитые газы считать негуманным оружием. Марина была достаточно умна, чтобы догадываться о том, как больно умирать обожженному обыкновенным термитом.

— Ах так? — сказала она, услышав какую-то резкость. — Знай же — ребенка у нас не будет: я сделала аборт.

Это было подобно взрыву атомной бомбы. Число жертв и разрушений в первый момент установить невозможно. Все стерто с лица земли, и сражаться больше не с кем. Но где-то, на окраине, хоть один человек, да уцелеет.

Он встает, и встряхивается, и крутит в пальцах чайную ложечку, залетевшую к нему в рукав с витрины какого-нибудь (тоже взорванного) ювелирного магазина. И видит, что кроме этой ложечки ничего у него нет — ни дома, ни семьи. Потом вспоминает дальше и видит, что долгожданная дочка погибла при катастрофе, и, сворачивая ложечку в задумчивый узелок, замечает еще, что вдвойне опозорен — как муж и как прокурор. И не понимает, что же делать ему с исковерканной ложечкой, а также — при чем здесь гражданин Рабинович, когда его собственная жена... И говорит:

— Что ты наделала! Что ты наделала!

И чтобы не убить, дает пощечину.

Чтобы он ее не убил, Марина скрылась у себя в комнате. Она не плакала. Сидя перед зеркалом, она гладила пуховкой оскорбленную щеку и подбирала перекошенный от боли рот, казавшийся слишком большим для ее лица.

---

### Глава III

---

«Спартак» наступал. Центр нападения — заслуженный мастер спорта Скарлыгин — пробивался к воротам противника. Счет был 0:0. У всех занялся дух.

Тысячи зрителей, в том числе прокурор Глобов, впившись глазами в тело прославленного спортсмена, объединенным усилием толкали его вперед. Но тысячи других воль, что боролись на стороне «Динамо», воздвигали на пути Скарлыгина бесчисленные преграды, желали ему споткнуться, упасть, сломать шею. И потому мяч, ринутый могучею ногою, не летел по прямой, как можно было от него ожидать, а метался растерянно, путаясь в бутсах и приводя в замешательство игроков.

Владимир Петрович изо всех сил старался помочь «Спартаку». Напрягая мускулы, он видел, что оборона противника начинает слабеть. Удвоил натиск — она поддалась. И тогда, очертя голову, он ударил, и еще раз ударил, и еще, и еще...

Футбольный матч — в острейшие секунды игры — все равно что обладание женщиной. Ничего не замечаешь вокруг. Одна лишь цель, яростно влекущая: туда! Любой ценой. Пусть смерть, пускай что угодно. Только б прорваться, достичь. Только б заслать в ворота самой судьбою предназначенный гол. Ближе, ближе, скорее... И уже нельзя ждать, нельзя отложить до другого раза... — Ну, я прошу тебя, Марина, поднимайся, прошу!..

Центр нападения, Скарлыгин, подобрался к воротам «Динамо». Вратарь Пономаренко, по-мальчишески юркий,

пританцовывал от нетерпения, готовясь к прыжку: А сзади уже наседали запыхавшиеся защитники. — Бей, Саша! Бей! — стонал стадион.

Пономаренко покатился кубарем, прижимая мяч к животу. Скарлыгин тоже упал, но сейчас же вскочил на ноги, подброшенный ревом толпы. Он уже не мог остановиться, потому что цель, ради которой ему пришлось столько выстрадать, была рядом, и тысячи людей требовали победы, и до конца игры оставалось полминуты. Скарлыгин нанес удар. И еще раз ударил, и еще...

...Когда объявили ничью, Владимир Петрович обиделся:

— Гнать надо судью. Непорядок — забитый гол отменять.

— А твоего Скарлыгина — судить за грубое нарушение правил, — подсмеивался следователь Скромных, известный своими симпатиями к «Динамо». — Разве это допустимо? Живот у человека — самое деликатное место. Простым кулаком убить можно.

— Но мяч все-таки в воротах?! Так или не так?

Обе команды уже уходили с поля — в пыли, тяжело дыша, под звуки спортивного марша. Плелся маленький Пономаренко, согнувшись в три погибели. Хромал исполин Скарлыгин. Ему свистели, улюлюкали со всех трибун стадиона. И он еще жалобнее волочил здоровую ногу, чтобы чем-нибудь оправдать свою проигранную победу.

— А я понимаю Скарлыгина, — рассуждал Владимир Петрович, дожидаясь, пока схлынет народ. — В горячке не разбираешь. Бьешь — и все тут. Когда ворота рядом — миндальничать не приходится. Все способы допустимы...

И он принялся проводить какие-то аналогии, затронул политику и еще что-то. Аркадий Гаврилович плохо его слушал.

— Антисемитизм во имя интернационализма или интернационализм во имя антисемитизма? — переспросил он, явно не улавливая, о чем идет речь.

Глобов начал объяснять, но тот перебил с полуслова. Видать, ни за что не желал уступить первенство «Спартаку»:

— Все это верно... Однако футбол — не политика. И вообще, знаешь, не люблю я в высокие материи забираться. Это уж твое прокурорское дело теории подводить. А я — практик. Растолкуй мне лучше историю с твоим Рабиновичем.

Сережа с вокзала проехал прямо к бабушке:

— Ты вырос и загорел.

Не вставая, она протянула руку.

— Ну, куда целоваться лезешь? Погоди — допечатаю страницу.

И застучала в машинку:

— Как дела с картошкой? Дождей испугались? Тоже мне —



детки! Мы в твои-то годы по тюрьмам сидели. Есть хочешь? Возьми за окном, разогрей. Да рассказывай ты, рассказывай побыстрее. После успеешь поесть.

Бабушка удивительная. Если б все такими были, коммунизм давно наступил бы. Ее бы — в колхоз. Она — им покажет!

Но выслушав Сережу, Екатерина Петровна молчала. Потом еще свирепее забила в клавиши. Пишущая машинка трещала, как пулемет. Бабушка, попригнувшись на стуле, расстреливала в упор, не целясь.

— Так и знала — опечатка. Придется переписать. Это все ты виноват: под руку разговариваешь.

Она вложила новую обойму. Сережа терся щекой о спинку стула, заглядывал через плечо.

— Целую страницу? Заново? Из-за одной опечатки? Все равно книга твоего писателя никому не нужна.

— То есть как это, не нужна? — изумилась Екатерина Петровна. — Ты сам говоришь — в отдельных колхозах еще есть недостатки. А здесь, — она ткнула в рукопись, — дан образец. Электродоилки, электроплуги. Пусть берут пример. Язык, правда, плох и любви слишком много.

— Я читал, — отмахнулся Сережа. — Все это одно сплошное образцово-показательное вранье.

— Тише! Опомнись!

Но Сережа будто катился с горы: — Я знаю... Я сам видел...

Тогда она поднялась. Если б не морщины, — девочка, ну просто — девочка. Стриженная, стройная, в белом воротничке.

— Это, это... Ты отдаешь себе отчет, что ты говоришь?

— Знаю... видел... — не унимался Сережа.

— Ничего ты не знаешь. Это враги говорят. Те, кто против... Как ты можешь? Нет, как ты можешь?

Бабушка задыхалась. Сухие, как сено, космы лезли в разные стороны.

— Вовсе я не против... Я и жизнь, и что хотите. Ты, бабушка, вроде отца. С вами и поговорить невозможно. Вот если бы мама была жива...

Он всхлипнул и сразу стал маленьким. Милый, глупый ребенок, сиротинушка ты моя. Ей хотелось поплакать вместе с Сережей. Но она понимала — нельзя — надо пресечь — надо быть строгой.

— Не реви. Ты же взрослый. Мы в твои годы по тюрьмам сидели. Революцию делали.

А он уже ревел, уткнувшись в ее колени. Светлый пушок вился на затылке.

— Сегодня же пойдешь в парикмахерскую. Успокойся, врагом народа никто тебя не считает. А вот самоуверенность у тебя отцовская. Ну что ты в жизни видел? Не реви.

Сережа слушал, как вздрагивают его лопатки, и, удивляясь этому, плакал еще сильнее.

— И с отцом меня, пожалуйста, не сравнивай. Мы с ним — разные люди.

— А мы с тобой? — спросил Сережа, не подымая лица.

Он знал, что об этом спрашивать стыдно, но раз уж он плачет, как маленький, — все равно.

— Домой тебе лучше пока не ходить. У них там семейные дразги. Поживешь у меня.

— А мы уживемся, бабушка? Я своими принципами не поступлюсь!

— Какие у тебя принципы! Ты думаешь, я старая, ничего не вижу, не замечаю. Я, может быть, побольше тебя плохого знаю. Но, Сережа, ведь ты сам понимаешь — надо верить, обязательно надо верить. Ведь этому вся жизнь отдана, это — цель наша...

Сережа лег на спину и открыл глаза.

— Знаешь что, бабушка, — сказал он счастливым, сырым голосом, — я пришел к выводу: нам только одно теперь может помочь — мировая революция. Ты как считаешь — мировая революция будет?

— Ну разве можно в этом сомневаться? Конечно, будет! Давай-ка я тебе поесть разогрею, — сказала бабушка.

Не зная, куда деваться, они забрели в планетарий. По крайней мере здесь дешевле и темнее, чем в ресторане, — смекнул Юрий. А домой к нему Марина идти пока что упрямылась: должно быть, не подошло еще время.

Над ними — по всему куполу — разожгли мироздание. Оно повисло миллиардами звезд и тихонько крутилось, поскрипывая на поворотах, будто настоящее небо. Оно раскрывало мохнатые недра и, вывалив содержимое, позволяло удостовериться, что Бога — нет.

Вселенная была пуста. И эта пустота была до того огромна, что невозможно представить, и до того бесцельна в своей бесконечности, что Юрию снова, как тогда, в постели, стало не по себе.

К счастью, на этот раз рядом сидела Марина. В темноте от нее духами пахло сильнее, чем на свету. Ее присутствие убеждало, что ты тоже существуешь. Больше того, оно вносило какой-то смысл в эту звездную бессмыслицу, распахнувшуюся над головой. Оно напоминало про цель, за которую надо бороться. И Юрий, как было намечено, принялся объясняться в любви.

Он говорил все те милые глупости, какие употребляют влюбленные, дескать, не в силах жить без нее, и мучается, и не спит. Марина не отвечала, но ее дыхание стало настороженным, и он решил полностью провести задуманный план.

Суть его состояла в том, чтобы притвориться несчастным. Нет, на ее жалость Юрий и не рассчитывал, он делал ставку на лесть — это гораздо вернее. Всякой женщине лестно, что из-за нее страдают, а если она честная женщина, она захочет отблагодарить. И Юрий рассказывал ей на ухо, какой он слабый и маленький, и, унижая себя, потакал ее самолюбию, ибо она должна была думать, что ничтожен он по ее вине.

А в небе тем временем стало светлее, потому что взошло солнце. Оно было большое, как дыня, и заставляло бегать за собой мизерные планеты. Всем этим устройством управлял астроном-профессор, притаившийся в углу. Он твердил, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот, как утверждают невежды и мракобесы.

Это рассмешило Юрия: Земля, вероятно, думает, что она — Солнце. Пусть — думает. Но ему-то хорошо известно, кто из них цель, кто средство и где настоящее Солнце. Оно вращается только вокруг себя, единственного, любимого. У Солнца других целей, кроме себя, — нет.

А сам говорил:

— Марина Павловна, будьте моим Солнцем. Ведь ваше лицо — это центр орбиты, по которой я верчусь. Все мои лучшие качества — лишь отраженный свет вашего великолепия...

И так далее, и тому подобное — все про то, как жалок и мал по сравнению с ней — он, он! — бесценный и первый.

— Сейчас наступит затмение, — объявил профессор загробным голосом.

И затмение началось — да какое! Таких затмений — сам профессор признался — в жизни не встретишь, а если и бывает когда, то — раз в сто лет. Солнце скрылось, точно его проглотили. Под юбкой у вселенной стало совсем темно. Темнее, чем ночью, потому что ночью светит Луна, а здесь Луна только и делала, что затмевала Солнце. Лишь электрические звезды чуть заметно мерцали. Тогда он понял — пора!

Марина целовала, не разжимая зубов. И вдруг, на одно мгновение, острый язык высунулся, дважды ужалил и отскочил. И снова сжатые зубы. И уже оттолкнула. Но сомнения быть не могло: здесь, в небесной пустыне, под угасшим солнцем, Марина платила за лесть.

...Когда зажгли свет, ее лицо сохраняло надменное спокойствие и ехать к нему на квартиру она опять отказалась.

— Чем вы заняты? Куда торопитесь? — допрашивал Юрий.

— Важное дело, — улыбнулась Марина с таинственным видом. — А вы, Юрий Михайлович, превышаете свои права. Уже забыли, что Земля вращается вокруг Солнца, а не Солнце вокруг Земли?

Купол при полном освещении оказался низким и грязным. Было непонятно, как туда вмещается столько неба. Народ толпился у выхода. Там какой-то ничему не верящий

старичок под общий смех доказывал, что Бог все-таки есть. А малыш лет шести приставал к отцу:

- Папа, Земля — круглая?
- Круглая.
- Совсем круглая?
- Да, как глобус.
- А она вертится?
- Вертится, Миша, вертится, тебе ж сейчас показывали.
- А солнце больше земли?
- Во много раз больше.
- Значит, все — неправда! — сказал мальчик и горько заплакал.

Над головою там и сям порхали ножницы. Перелетая от уха к уху, они щебетали. Сережа сидел в кресле, стараясь не шелохнуться, чтобы тому, за спиною, было удобнее стричь.

Это очень неловко, когда взрослый мужчина копается в твоих волосах. Ему бы полезное дело делать, а он все свои способности тратит на парикмахерскую. А ты сидишь перед ним, как буржуй, и боишьсядохнуть.

Никелированная машина щипала шею. Было больно. В угол между глазом и носом вылезла слеза. А утереться нельзя: еще что подумает.

Великие революционеры тоже приучались заранее. Рахметов спал на гвоздях...

— Голову ниже, — скомандовал парикмахер.

Сережа согнулся, как только мог. Ему хотелось, чтобы еще больнее. Сдирайте кожу — он не уступит. Надо воспитывать волю: вдруг его когда-нибудь будут пытаться.

В руках палача сверкнула бритва. Навалившись грудью на Сережу, он подчищал виски. Потом встрепенулся и сорвал салфетку.

— Прикажете освежить?

— Не стоит, благодарю вас, — попросил Сережа, краснея.

— Всего шестьдесят копеек, — настаивал мучитель, всем своим гордым видом выражая презрение к Сережиной бедности.

— Я не поэтому. А просто я не люблю, если пахнет одеколоном.

И чтобы откупиться, он сунул ему пятерку — отец всегда давал чаевые швейцарам и шоферам...

Холодея свежим затылком, Сережа двинулся к выходу — сквозь строй одетых в белое мастеров. Каждый сжимал в руке никелированный инструмент, методично и сухо терзал своего клиента.

Чик-чик-чик,

Чик-чик-чик...

А в зеркалах подбородки, щеки, лысые и кудрявые головы. Склоненные, задранные, перекошенные, с мыльной пеной у рта.

Чик-чик-чик,

Чик-чик-чик...

Все было спокойно, гигиенично, никто не кричал и не плакал. Но даже лампочки в люстре нестерпимо благоухали.

...В передней небритые люди напряженно ждали своего часа. Заглядевшись на них, Сережа открыл не ту дверь и обомлел.

Здесь был дамский зал. Здесь красили и завивали. Над запахом неживого душистого мяса плавал чад паленых волос.

Впереди, связанная простыней, покоилась женщина. Ее лицо было густо обмазано бледно-фиолетовой кашей. Оно растекалось, когда массажистка погружала в него свои холеные руки. А потом лицо закопошилось и разлепило веки.

— Как ты сюда попал, Сережа? Не бойся. Ты не узнал меня? Это же я — Марина.

Поздно вечером Глобов приехал в суд. Вахтер отпер без колебаний: он уважал причуды прокурора и был ему предан.

— Иди, старина, спать, — сказал Владимир Петрович и обласкал папиросой. А сам прошел по коридору, всюду включая свет.

Зал был пуст, и стол был пуст, и пусты судейские кресла с государственными гербами на спинках. Но вся эта деловая, знакомая до мелочей обстановка казалась еще торжественней, чем в дневные часы.

Прокурор любил приезжать сюда в нерабочее время и готовить обвинительные речи прямо на месте. Как будто не репетиция, а самая настоящая процедура шла обычным порядком — при полном составе суда, в строгой ночной тишине.

...Напрасно подсудимый пытался все запутать, отрицал свою виновность и просил прощения.

— Нет, гражданин Рабинович, не вам взывать к милосердию! Помните лучше о матерях, которых вы калечили. Подумайте о несчастных отцах — они так и не дождались ребенка! О детях, наших детях, уничтоженных вами.

И молчал уличенный преступник, и молчал судья, и молчал вертлявый адвокат, похожий на Карлинского. Все соглашались с тем, что говорил прокурор.

Он обвинял Рабиновича, но помнил обо всех врагах, которые нас окружают. И потому слова его попадали прямо в цель. От незаконного аборта — один шаг до убийства, а отсюда — недалеко и до более серьезных диверсий.

И враги забеспокоились. В тишине, глубокой ночью, они строили козни. Они искали место, куда бы побольнее кольнуть.

И вот встает адвокат, похожий на Карлинского, и публично объявляет: жена самого прокурора сделала недавно аборт.

Марину выводят под руки на общее обозрение. Ее лицо — и в позоре — прекрасно, как всегда. Она смотрит сквозь тебя, так что хочется обернуться, смотрит — словно за твоей спиной — большое зеркало и она не с тобой разговаривает, а глядится в себя.

А глаза обещают, манят. Но попробуй — придвинься — опустятся пушистые веки, и с каким-то страстным презрением, всегда одной и той же, заранее заготовленной гримасой, она скривит обжигающий рот: — Ах, оставь!

— Что же, судите ее, граждане судьи! Судите, если это потребуется. Но помните, помните о врагах, которые нас окружают!

И молчит зал, и молчит судья, и такая гробовая тишина кругом, будто нет здесь ни единой души.

И снова встает адвокат, науськанный врагами, заявляя, что у прокурорского сына вредный образ мыслей. А Сережа сам подходит к столу и во всеуслышанье подтверждает:

— Для прекрасной цели, — говорит, — нужны прекрасные средства.

— Глупый мальчишка! — кричит ему Владимир Петрович. — Я же объяснял тебе, куда эта доброта приводит. С твоими прекрасными средствами можно только погибнуть, а мы должны победить, победить во что бы то ни стало. Судите его, граждане судьи, если считаете необходимым! Судите и меня вместе с ним за проявленную мягкотелость! Пусть лучше пострадают десятки и даже сотни невинных, чем спасется один враг...

Когда прокурор Глобов представил себе эту картину и на суде собственной совести взвесил все аргументы, обвинительная речь была уже готова. Не написанная на бумаге и даже не произнесенная вслух, она звучала в ушах исполненным приговором и просилась наружу — в слово. Тогда Владимир Петрович выпрямился и, пристально глядя в круглоголовый герб, украшающий судейскую спинку, громко, так чтобы слышно было во всех концах зала, отчеканил:

— Мы не позволим никаким Рабиновичам подрывать наше общество в самой его основе! Мы не дадим врагам уничтожить нас, мы сами их уничтожим!

Потом он обошел пустое здание, медленно, по всем коридорам. Каждый закоулок осматривал — нет ли кого? Взобрался на второй этаж и тщательно, по-хозяйски проверил все двери, все запоры. В этом доме он — хозяин, потому что обвиняет здесь — он.

И слышит Владимир Петрович, как внизу, в оставленном зале, продолжается церемония, пущенная им в ход.

— Суд идет!

— Суд идет!

— разносится повсюду: по его обвинениям ведут дела, выносят решения, кого-то привозят и кого-то увозят.

А кто обнаружил Рабиновича, открыл эту цепь процессов? — Прокурор Глобов. Кто в трудную минуту заменил и судью и присяжных? — Опять же — он и никто другой. Первый, когда другие молчали, он встал и обвинил. Все думали: Рабинович — пустяк, анекдот, жалкий смешной человечек, а он обвинял, не слушая ни свидетелей, ни адвокатов. Еще ничего, ничего не было. А он уже обвинил. С этого все и началось.

Когда Владимир Петрович обходил второй этаж, он заглянул между прочим в дамскую комнату, какая бывает в любом учреждении — есть она и в горсуде. Зашел он туда не из любопытства, а для проверки — нет ли кого? Там было пусто, и только надписи на стенах задержали его внимание. Он прочел, усмехнулся, подумал, что надо сказать вахтеру, чтоб завтра же стерли, и забыл про них. Но я эти надписи помню.

В общей уборной, запершись в маленькой тихой кабинке, ты, наконец, остаешься один на один с самим собой. Здесь ты можешь делать, что хочешь. Никто не увидит, не помешает. Мужчины обычно в таких случаях пишут одни непристойности. Женщины оказались лучше нас, они пишут слова любви и негодования.

Коля, береги себя.

Твоя мама.

Петр! Ненавижу тебя!

Твоей не буду.

Милый Федя, я Вас люблю.

Вспомни, где будешь.

И десятки других фраз, все про любовь и разлуку. Тот, к кому обращены эти слова, никогда о них не узнает. Да и написано все это не для читателя. А просто брошено в пространство, на ветер, в самые дальние дали. Только Бог или случайный чудак-любитель может подобрать эти молитвы и заклинания.

Я хотел бы так же верить в слово, как верят эти женщины. И сидя в своей комнате, похожей на туалетную кабинку, глубокой ночью, когда все спят, писать слова, короткие и прямые, без задних мыслей и адресов.

В начале было слово. Если это правда, то первое слово было таким же прекрасным, как надписи в женской уборной городского суда. Когда оно произнеслось, мир начал жить наподобие преискуранта. Всюду висели дощечки с названиями — «елка», «гора», «инфузория». Из бессловесной пустоты вылуплялись планеты и звезды. И каждая вещь была вызвана своим словом, и слово было делом.

— Судебным делом, — поправляет меня Хозяин. — Ты слышишь, сочинитель! Уж если слово — так обвинительное слово. Уж если дело — судебное дело. Слово и дело!

Я слышу.

— Суд идет, суд идет по всему миру. И уже не Рабиновича, уличенного городским прокурором, а всех нас, сколько есть вместе взятых, ежедневно, еженочно ведут на суд и допрос. И это зовется историей.

Звенит колокольчик. — Ваша фамилия? Имя? Год рождения?

Вот тогда и начинаешь писать.

---

#### Глава IV

---

На собрание у зоопарка явилась одна Катя.

— А где остальные? — спросил Сережа. — Неужели трусили? Ведь мы еще в колхозе обо всем договорились.

— Парамонов не придет, у него сегодня в институте семинар по марксизму.

Катя прятала в рукава озябшие пальчики.

— Квалифицирую это как заурядную трусость. Вот вы, Катя, вы же пришли. У вас в школе тоже, небось, утреннее расписание. А вы не испугались.

— И вы, Сережа, вы.

Она задохнулась от этого «вы», интимного и почтительного. Ей все говорили «ты» — учителя, подруги, кондуктора троллейбусов и трамваев. И вдруг, точно они влюбленные, — «Вы, Катя», «Вы, Сережа». А Сережа все нажимал: вы, вы. Дело предстояло опасное, от детских привычек пора отвыкнуть.

— Вы посмотрите, Катя, — он показал в сторону зоопарка. — Это похоже на планету Марс. Там, говорят, вся растительность красная, а не зеленая.

Осень была в самом разгаре. Деревья в парке переменили расцветку. Они покачивали фантастической, не по-земному красной листвой. И хотя Катя ничего не знала о других планетах, она радостно закивала своими большими очками.

— Да, вы правы, совсем как на Марсе.

В кассе зоопарка они купили билеты по два рубля — для взрослых — и вошли.

Все бежали смотреть зверей, а здесь, в начале марсианской аллеи, у пруда, где уже перевелись слишком южные пеликаны, почти никого не было. Только пара молодых людей в одинаковых демисезонных пальто и одинаковых шляпах. Один из них совал прутик сквозь решетку, стараясь привлечь внимание диких уток, дремавших на берегу. Время от времени он даже кричал по-утиному. Но, видно, его криканье было недостаточно натуральным, потому что умные птицы не откликались.



— Присаживайтесь — сказал Сережа. — Здесь вполне безопасно. Предлагаю обсудить программу нашего общества.

— А как будет называться это общество, — спросила Катя и тут же предложила: — Давайте ему придумаем красивое, звучное имя, вроде «Молодой гвардии». Например, «Свободная Россия».

— Видите ли, Катя, из достоверных источников нам известно: за границей уже есть такая шпионская радиостанция — «Свободная Европа». Могут решить — мы с ними заодно. Необходимо отделить себя от всех врагов. А то империалисты воспользуются.

Сережа воодушевился. Он снял кепку, не боясь простудиться, и размахивал ею в такт словам. Перед Катей открылся мир, коммунистический и лучезарный.

Самую большую зарплату получали уборщицы. Министры же для пущего бескорыстия находились на скудном пайке. Денежную систему, пытки, воровство — отменили. Наступила полная свобода, и уж так хорошо получалось, что никто никого не сажал, а каждый имел по потребностям. На улицах были расклеены плакаты Маяковского. И еще другие, сочиненные Сережей: «Остерегайся! Ты можешь оскорбить человека!» Это на всякий случай, чтоб не забывались. А кто забудет — расстрел.

Впрочем, в Сережином изложении все выходило куда более стройно и Кате оставалась неясной только одна деталь: сейчас же силой оружия свергнуть правительство или, может, повременить, пока другие страны не покончат с капитализмом? Сережа советовал подождать мировой революции, но признавал, что потом, как это ни печально, придется все-таки свергнуть.

Катя попросила внести в программу еще один пункт: о совместном обучении юношей и девушек в старших классах средней школы. И, тронув Сережину кепку, робко добавила:

— Раз уж мы все равно в зоопарке, давайте посмотрим тигра.

Сережа недовольно нахмурился.

— Это для пользы дела, для конспирации, — пояснила Катя.

— Ну что ж, — разрешил он, подумав. — Для конспирации — можно.

— Старики-фламандцы писали нагое тело, как грудку всяческой снеди. Вы посмотрите, в этих фламандских дамах есть и сливочное мало, и свежие булки, и свой дамский изюм.

Карлинский скосил глаз на Марину. Та слушала его с независимым видом. Будто все, что он говорил, было ей хорошо известно. Она делала одолжение, позволяя водить себя по музею.

Вокруг висели женщины и натюрморты. На пышных за-  
дах морщинилась чуть заметная рябь. Так бывает с чаем на блюде,  
если легонько подуть, чтобы он простыл побыстрее. Или —  
когда потрогаешь слишком спелое яблоко. Сквозь бледно-жел-  
тую кожуру проступят теплые пятна — следы прикосновений.

Среди этой разнузданной плоти Марина была самой оде-  
той. Карлинский начал издалека.

— Почему мы так говорим: «познать женщину»? Что обще-  
го между познанием и любовью? По какой такой причине пер-  
вородный грех случился не где-нибудь в кустах малины, а  
под яблоней познания?

Марина лизнула кожу над верхней губой. Кожа была нежна  
и сладковата на вкус. От этой заграничной мастики лицо ста-  
новится гладким, как паркет.

— Всякое познание состоит из двух, я бы сказал, элемен-  
тов: связь и различие. • Не правда ли, познавая любую вещь,  
мы, во-первых, связываем ее с другими, во-вторых, отличаем  
от других вещей, как нечто оригинальное. В половом акте, —  
извините меня за вульгарное выражение, — и заключены пер-  
возлементы познания. Адам и Ева слились в любовных объ-  
ятьях и тут же поняли разницу: где мужчина, а где женщина.  
Связавшись, они различились, а различившись, связались. И  
таким образом, познав себя, принялись познавать остальное.

Марина уселась перед «Вакханалией» Рубенса, открыла су-  
мочку и еще раз, на всякий случай, осмотрела себя. Ее лицо  
не умещалось в круглом зеркальце. Нужно долго крутить  
головой, чтобы проверить все.

— Продолжайте, Юрий Михайлович. Итак, мы остано-  
вились на первородном грехе. Дальше что?

— С первородного греха и началось познание мира. Муж-  
чина и женщина, свет и тьма, добро и зло, пока Гегель не назвал  
все это единством противоречий. Но в основе человеческой  
мысли, дорогая Марина Павловна, в самой последней основе, —  
сокрыт половой акт, два сопряженных органа, столь не похо-  
жих друг на друга. Головной мозг — всего лишь познающий  
придаток наших сексуальных частей.

— Это — остроумно, — заметила Марина, не улыбаясь.  
Она отдавала должное изобретательности Юрия, но понимала,  
что красивая женщина обязана не удивляться, хотя бы перед  
ней демонстрировал свои теории сам Гегель.

— А как же звери, Юрий Михайлович? Они ведь тоже,  
так сказать, размножаются. Однако философское мышление  
почему-то им не под силу.

У Карлинского звери были уже учтены: звери не имеют  
стыда, в стыде же вся суть и любви, и познания.

— Пройдемте в Древний Египет и там доберемся до су-  
ти, — сказал он, вытирая пот со лба.

Их разговор приобретал почти научный характер.

В зимних помещениях было тепло и мокро, как в оранжее: зверей подогревали. Но лишь одни змеи, уютно свернувшись под стеклом, чувствовали себя дома. Остальные жили здесь будто на вокзале. Слонялись из угла в угол, беспричинно почесывались, ждали.

— Они ждут свободы, — определила Катя. — Они мечтают вырваться из этой вонючей тюрьмы.

В тесных простенках, скудно посыпанных сеном, подсакивают на своих костылях австралийские кенгуру. Обезьяны торопливо разучивают жесты интеллигентного неврастеника. Как пишущие машинки, стрекочут попугайчики, собранные в общей камере. Непоправимо одинок слон.

На осеннем холодке мало кто остался: волки, неотличимые от собак, рыси, похожие на увеличенных кошек. Всеобщее любопытство возбуждала овца. Должно быть, ее посадили в клетку за недостатком настоящих зверей или для полной научности. Раз уж сидит за решеткой, значит — не зря.

Катя от всего сердца жалела и волков и медведей. Она склонялась к тому, что зоопарки вместе с тюрьмами следует упразднить. Сережа резонно ей возражал: наука требует жертв. Во имя мирового прогресса. Но в будущем обществе зверинцы сплошь перестроят. Вместо этих конур — просторные, светлые клетки. Колючая проволока в виде древесных ветвей, чтобы не так заметно. Звери будут чувствовать себя почти на свободе.

Слушая его речи, Катя всплакнула.

— А вдруг они не поверят, что это для ихней же пользы? Сережа, милый, я не могу, не хочу, если тебя арестуют. Куда же я денусь?

Сняв закапанные очки, она стала беспомощной, как все женщины. Ее утешать было досадно и сладко. Ну вот, связался с девчонкой! А еще собиралась тигра смотреть для конспирации. Если бы не борьба впереди, он бы ее полюбил. Рахметов тоже подавлял в себе всякие личные чувства. И Павел Корчагин.

Ему было жалко себя — такого хорошего, такого честного, готового погибнуть за всех.

В хищном отделе им снова встретилась пара демисезонных пальто. Одно из них говорило, обращаясь к леопарду:

— Что ты можешь, зебра, по сравнению с человеком? Гляди-ка, Толя, хвостом вильнула, облизывается. А шкура вся в родимках. Такую бы зебру дома над кроватью повесить!

Леопард смотрел на него круглыми, детскими от изумления глазами. Он удивлялся этой живой пище, завернутой в пальто и в брюки, точно конфетка — в бумажку. Леопард, вероятно, был из вновь прибывших и еще плохо разбирался — что к чему.

Тигр спал на правом боку, прислонившись к решетке.

Его спина была совсем полосатой. Казалось — на ней отпечата- таны прутья, к которым он привалился.

Когда отворяли дверь на улицу, звери воинственно ози- рались и вскакивали. Они суетились, словно пассажиры на про- винциальной станции перед приходом поезда. Близилось время обеда.

Только тигр не шевелился. Он спал как убитый.

Прокурор повернулся на левый бок. Он любил спать днем, после ночной работы. Тело отдыхает, но ум бодрствует, когда вокруг светло. И спится как-то спокойнее.

- Засыпая, мы словно садимся за телевизор, который забыли настроить. Вещи расплываются, дали гаснут, люди ватными ногами вышагивают по ватной земле. Ты не различаешь черты приснившихся родных и знакомых. Все видишь не в фокусе. Но всему заранее веришь, как малолетний ребенок. Вот это — Марина, а это — Карлинский, и он ей говорит:

— У богов и животных нет стыда. Стыд — наша монополия. Когда Адам и Ева превратились из обезьян в человека, они усты- дились. Грехопадение — познание — стыд. Не разорвать!

Лицо Марины струилось в разные стороны. Карлинский тоже имел довольно прозрачный вид. Его ладони плавали в темном воздухе, как две медузы — поднимаясь и опускаясь. Он таял в улыбках и недомолвках.

— Стыд — это табу, которое мы нарушаем. Потому и нару- шаем, что стыдно. Совершать недозволенное — что может быть человеку приятнее? Тут — все наше отличие от богов и живот- ных тварей...

— Это ты — тварь, — хотел ответить Глобов и онемел. Телевизионный экран вырос, будто в него вставили линзу. На переднем плане вспухло звероподобное существо с кошачь- ими лапами и женской мордой.

— Предпочитаю сфинксов, — объявила Марина. — Они гораздо красивее ваших стыдящихся обезьян.

— Сами вы египетский сфинкс! — возопил Карлинский, радостно ужасаясь. — Вас бы сюда в музей, в качестве экспо- ната!

Его тощая фигура расплывалась в туман. Владимир Пет- рович стоял в Египте имени А.С.Пушкина. Музейные залы походили на зоопарк. Разные древние народы до того были забиты и суеверны, что поклонялись даже львам и баранам. Но рисовать они умели еще очень плохо: к человеческим ногам прилаживали звериные головы, или наоборот.

Разглядеть все эти подробности на хватило времени. Перед ним, на мраморном пьедестале, вытянув передние лапы, гордо возлежала Марина.

— Кис-кис-кис, — поманил ее Глобов.

Она подползла ближе. Жаль, что я сплю, и хорошо, что испарился Карлинский, — успел он вспомнить, когда Марина, мякнув, положила ему на плечи свои когтистые лапы. Ее лицо дымилось, как чашка черного кофе. И он пригубил душистый напиток, засыпая все глубже и глубже.

Карлинский долго стоял над базальтовым зверем. С трудом выдавил очередной афоризм:

— Скотоложество наказуемо по уголовному кодексу, дабы не было столь привлекательно для человека.

— Это вы про кого? — очнулась Марина.

Они смотрели еще французов, но Юрий не реагировал даже на Ренуара. С этой проклятой Изидой хоть беседуй об акушерстве: ни стыда, ни любопытства. Точно животное. Или в самом деле — богиня...

— Меня, Марина Павловна, тоже прельщают сфинксы. Тому, кто познает вашу хвостатую даму, быть может, откроются тайники мироздания!

— Может быть, — ответила Марина, придавая лицу загадочное выражение, как это и подобает сфинксу.

Не успел Глобов открыть глаза, как откуда ни возьмись появился гражданин Рабинович. Он отбывал наказание при Музее изобразительных искусств имени А.С.Пушкина, работая в должности экскурсовода. Что за преступное ротозейство — определить его сюда!

Наглый и навязчивый, как все евреи, он дал понять: ему дe свыше поручено сопровождать прокурора. После сфинксовых ласк (подглядел, сволочь!) тот, мол, обязан *volens nolens* познакомиться с кое-каким секретным материалом.

— Только смотри — чтоб мистики ни-ни!

— Ладно, — обещал Рабинович.

Над пневматической дверью светилась цитата из сочинений Хозяина:

**ВЕЛИКАЯ ЦЕЛЬ РОЖДАЕТ ВЕЛИКУЮ ЭНЕРГИЮ.**

За цитатой — пространство, стеклянная банка — в центре, а в банке — заспиртованный мозг, извилистый, как земная кора. Его полушария медленно колыхались. Вокруг, по тонким трубкам, сквозь реторты и колбы, через перегонные кубы, бежал зеленоватый раствор.

Рабинович хихикнул:

— Всякий раз, попадая сюда, я немножко пугаюсь.

Дрогнувшим пальцем он ткнул студенистый комок. Тот продолжал пульсировать как ни в чем не бывало.

— Не слышит. Все думает и думает, идеи изобретает. Может,

у него на родине была любимая девушка. А чтоб на свиданье сходить — ног нету. На его извилинах разве далеко уползешь?..

Я волнуясь, гражданин прокурор, как бы от этих непрерывных раздумий он с ума не спятил. Ведь вся мировая цивилизация насмарку пойдет! Мы какой-то дурацкий атом расщепили и уже беспокоимся. А тут, в этой банке, представляете, — цепная реакция мозга. Взрывы идей, самумы рассеянных мыслей. Чуть недоглядел — куда там водородная бомба! Не только наша скромная планета, галактика на куски разлетится. Я, по правде сказать, опасаюсь за Бога...

— Не развалится твоя галактика, не допустим, — ободрил его Глобов. — А про Бога ты забудь, Бога идеалисты придумали... Признайся-ка, Рабинович, что это за идеи производятся тут? Уж не реакционный ли какой вздор лезет из мозговой реакции?

— Что вы, гражданин прокурор! — обиделся Рабинович. — Одни только высокие цели, великие идеалы. От них — все остальное, по закону диалектики. Культуры там разные, ренессансы. У нас без обмана. Желаете лично убедиться?

— Ну, давай, действуй! Да побыстрее. А то некогда мне: просыпаться пора.

— Заявляю вам откровенно, как на страшном суде. Не мне, старому иудею, защищать дело Христа. Но ради объективности должен отметить: у Него имелась, гражданин прокурор, тоже благородная цель.

Бывший врач-гинеколог вперил глаза в потолок. На его иссохших щеках заиграл лиловый румянец.

— Сына Человеческого посадить на Божий престол, ближнего возлюбить больше, чем себя самого, — очень все это прогрессивно, говоря между нами, для того исторического этапа, конечно. Ну, а что получилось? Нет, вы только послушайте, что из этого получилось!

С верхнего этажа доносился стук молотков. Это отбивали ручки у какой-то Милосской Венеры. Запахло пережаренным мясом — горели еретики.

— Сейчас гугенотов будут резать! — радовался Рабинович. А прокурор недовольно ворчал:

— Экое варварство! Я еще понимаю — идолопоклонники, мусульмане, крупные идейные разногласия. А здесь и различия почти никакой — единоверцы.

— Для вас никакой различия. А по их непросвещенному мнению, гугеноты, может, дьяволу продались! Ведь нельзя допустить, чтобы два христианства сразу! Это такой же нонсенс, как два социализма. Взять хотя бы нашего Тито...

— Тито — фашист, шпион, американский прислужник!

— Ну да, я и говорю: дьяволу продались.

Их спор был прерван праздничным ликованием. Над осатанелой толпой, лихо раскинув кровоточащие руки, кокетливо изогнувшись на золотом кресте, отплясывал победный танец Иисус Христос.

А вокруг уже шептались средневековые паникеры и нытики. Дескать, за что боролись? Измена! Перерождение! Дескать, от великой цели остались одни средства, она их оправдала, они же ее скомпрометировали.

— А я про что говорю? — суетился Рабинович. — Каждая порядочная цель сама себя поедает. Из кожи вылезаешь, чтоб до нее добраться, а чуть добрался — глядь — все наоборот.

— Просчитались твои иезуиты, допустили ошибку.

— Ни малейшей ошибочки. Законно. Что цель оправдывает средства — это всякий культурный человек понимает. Открыто ли, тайком, но без этого с места не сдвинешься. Если враг не сдастся, его уничтожают. Скажете — нет?

А раз хороши все средства, значит, действуй решительно. Во имя Господа Бога самого Бога не пожалей. Тут ей конец, следующая цель выползает на авансцену истории. Смотрите, глядите, гражданин прокурор, — новенькая, как из магазина.

Опять, словно книжка с картинками, распахнулись стены музея. Нарисованные ангелы забили нарисованными крыльями.

— Снова ты мне поповские агитки подсовываешь, — нахмурился Глобов.

— Как можно, гражданин прокурор. Сплошной Леонардо да Винчи. Индивидуализм. Просвещение. Свободная мыслящая личность. Та самая личность, что взамен Христа утвердилась и постепенно буржуазные порядки кругом себя развела. Но пока — взгляните — разве такая цель не достойна любых средств? Грация, эрудиция, марципан!

— Я не желаю больше смотреть, — отвернулся Глобов, предчувствуя какой-то подвох.

Но Рабинович будто не слышал:

— Во имя этой свободы одна личность другой личности начинает кишки выжимать. Видите, как конкурируют? Теперь и до новой цели недалеко. Во имя коммунизма...

— Замолчи! Останови эту машину!

Но было уже поздно.

«Весь мир насилья мы разрушим  
До основанья, а затем...»

Пли!

Владимир Петрович достал Сереже гостевой билет, и военным парадом они любовались вместе.

Площадь в танках и в пехоте была видна хорошо. Но главная трибуна осталась далеко сбоку, и что творилось там, Сережа не мог разглядеть.

— Улыбается! — заметил отец, ухитрившийся каким-то чудом быть в курсе всего. Сережа приподнялся на цыпочки и опять ничего не увидел, кроме голубых пятен с золотой каймою. Ему казалось, что отец выдумывает, но сзади кто-то солидный констатировал откормленным басом:

— Да, улыбается и сделал вот так.

— Не так, а вот эдак, — поправила костистая дама, вооруженная театральным биноклем. И тут же заскулила:

— На небо смотрит, сокол ясноглазый! На своих соколят!

Бомбовозы шли сомкнутым строем. В их прямом, тяжелом полете заключалось столько достоинства, что хотелось по-щенячьи опрокинуться на спину в знак покорности и восхищения. Но, прижимая тебя к земле, они были слишком серьезны, слишком заняты своим возвышенным, всепоглощающим делом, чтобы размениваться на мелочи и злорадствовать над тобой. Они, тараня воздух, двигались дальше, к цели, расположенной Бог знает где и по сравнению с которой Сережа — как он сразу понял это — был попросту не нужен. Даже вся эта площадь служила им в лучшем случае временным ориентиром.

Отец уже тормозил его за плечо:

— Куда ты глядишь, Сергей? Левее, левее! Видишь? рукою машет, приветствует демонстрантов.

— Родной! Любимый! — стонала костистая дама, извиваясь в левую сторону. Казалось, у нее с губ вот-вот забрызжет пена, и Сереже стало неловко за свое равнодушие. К собственному стыду, он до сих пор не сумел отыскать в пятнистой кучке, шевелящейся на трибуне, того, чье гордое имя возбуждало всех, как вино.

Про него шушукались в публике. О нем чревовещали репродукторы. Его портреты разных размеров, очень похожие друг на друга, проплывали через площадь, словно парусные корабли. Демонстранты, проходя мимо, не смотрели себе под ноги, а кривились всем телом назад, чтобы еще раз обернуться к нему.

Но сам он, как это представлялось Сереже, странным образом отсутствовал. Все говорило, что он здесь, а его вроде и не было.

— Увидел, наконец? — допытывался Владимир Петрович. — Что ты — слепой, близорукий?



Сережа из последних сил вгляделся и к одному голубому пятну, стоявшему чуть в сторонке, добавил мысленно недостающее лицо.

— Теперь вижу.

И, набравшись храбрости, спросил:

— Он кивает, и улыбается, и машет рукой?

— Да, это — он, это Хозяин, — подтвердил отец.

На демонстрацию Юрий не пошел. Он сказался больным и все утро ловил джазы. Приемник — немецкий. Слушай хоть Би-Би-Си. Было весело прыгать вверх-вниз по всемирной шкале.

Парижскую рекламу сменяло нытье арабов. А вот сцепились хвостами две передачи. Какая-то скандинавская кирха транслировала молитвы. Тут же, невпопад, украинское контрольно, промытое борным раствором, рассказывало про успехи знатного токаря Наливайки, который выполнил к празднику годовой план.

Пальцы вибрировали. В них тоже бился эфир. Радиоволны — петля за петлей — оббивали шею. В ответ, из живота, из пустой впалой груди, гудело и вздрагивало черное магнитное небо, кое-где прошитое трассирующим писком морзянки.

Юрий был антенной. А хотелось быть передатчиком. Излучать могучие волны какой угодно длины. «Внимание! Внимание! Карлинский у микрофона. Слушайте только меня, меня одного!»

Станции наперебой голосили, каждая про свои интересы. Они обступили его, как торговки на рынке. Юрий крутился, теребя ручку приемника, едва успевая настраиваться то на одну, то на другую.

Его губы напевали псалмы, штилеты под столом выстукивали бразильскую самбу. А что он мог предложить миру от своего имени? Какое еще попури из Фрейда и гавайской гитары? Кто я и где я, оригинальный, единственный, если всем сразу пришел срок говорить?

Наконец Юрий нащупал волну «Свободной Европы». Диктор конфиденциальным тоном (должно, сам побаивался) обещал что-то пикантное — в честь октябрьской годовщины, специально. Слово предоставили бывшему подполковнику авиации, поседевшему от многих обид на тяжелой советской службе. Но только потусторонний голос бывшего подполковника произнес «Дорогие братья и сес...», — как послышалось гневное заградительное рокотанье. Это вступили в бой наши глушители.

От ружейного и пулеметного треска ныли барабанные перепонки. По «Свободной Европе», по американским джазам и французской рекламе шпарил ураганный огонь. На бескрайних электронных полях началось сражение.

Юрий проскочил мертвую зону и перевел дух. Выстрелы

затихали вдали. А навстречу неслись бравурные марши и клики «ура». Первые демонстранты проходили перед трибуной.

Этого перенести Юрий уже не мог. Резко, обрывая трансляцию, он вертанул выключатель. Так сворачивают головку пойманной птицы. Ему даже показалось, что хрустнули шейные позвонки.

Екатерину Петровну по привычке прокурор звал мамашей. А какая она мамаша? — уже и не теща. После второй женитьбы Глобова они почти не встречались. Но по праздникам — 7 Ноября и 1 Мая — он ее навещал.

Мамаша смеялась:

— Что, прокурор, дела другого нет? Вспомнил о революции? — И поила густым, как красное вино, чаем...

На стене — карта Кореи, утыканная флажками. Когда Сережа только родился, на том же месте висела страна Испания. Красные тряпочки, приколотые булавками, бежали по линии фронта. Старуха была консервативна в своих вкусах. Аккуратно, каждое утро, она переставляла флажки.

Он зевнул, скрипя стулом, выгибая тугую грудь, обвешанную орденами.

— Ну и пузо у тебя отросло — скоро произведут в министры. Куда только новая твоя супруга смотрит? Да ты не обижайся, я шучу. Как живешь, выкладывай. Все с женой воюешь?

Обманывать ее было нельзя.

— Дома — плохо.

Под толстым слоем лица проступили скулы, желваки, челюсть — злая мужицкая худоба.

— Сами знаете, мамаша, родился и вырос я в морально и физически здоровой среде. А тут разные фигли-мигли, интеллигентские штучки. По неделям в молчанки играем, даже обедаем порознь. Точно я — не муж, а вспомогательное средство какое-то... Я — человек простой, снизу поднялся, большого положения достиг...

— Ты только не хвастай, хвастаться тебе нечем.

— Вот этими вот руками и землю пахал, и смертные приговоры подписывал...

Его кулаки, как два танка, выползли на середину стола. Не доезжая сахарницы, они стали и, царапая скатерть, гремя посудой, опрокинулись навзничь, мясистым брюхом наружу. Владимир Петрович пожаловался на слабое сердце.

При таком высоком давлении необходим полный покой. А как тут не волноваться, когда дома — бардак, на службе — сплошные нервы, на международной арене — тоже не Кисловодск.

Под большим секретом он рассказал, что в ...гари и

..вакии раскрыты диверсионные центры. В Н-ском обкоме группа злоумышленников готовила переворот. Враги, окончательно обнаглев, пытаются посеять панику, и самые невероятные слухи, один сногшибательнее другого, носятся по городу. То в спичках найдены бактерии рака, засланные иностранной разведкой (поковыряешь этойкой спичкой в зубах — и концы!). То женщины под влиянием космических лучей вместо младенцев мужского пола рожают одних только девочек (в ущерб нашей армии!).

Уши прокурора наполнились кровью, темной и маслянистой, как нефть. Распухшая шея свисла за воротник. Нужно, ох как нужно, доброе кровопускание, громкий публичный процесс, очищающий атмосферу!

Старуха зябко куталась в шаль, объединенную молью, вспоминала каких-то знакомых из допотопных времен:

— Да, бывает... Плужников Константин — кто бы мог подумать? — японский шпион. Мне уже потом пришло в голову: ведь этот Плужников еще в Женеве якшался с меньшевиками... Но случается и понапрасну, невинных...

— Вам известно, мамаша, как танки идут в атаку? — хрипло спросил Глобов и встал. — Они давят все на пути. Случается — своих же бойцов, раненых. Танку объезжать нельзя. Если он будет сворачивать перед каждым раненым, его расстреляют в упор из противотанковых пушек. Он должен давить и давить!

Больное лицо прокурора было скорбно и торжественно. Екатерина Петровна невольно встала вслед за ним.

— Что ты мне, Володя, азбуку объясняешь? Наша цель многих жертв стоит. Но только ради нее, понимаешь, ради нее одной.

И едва дотянувшись, по-старушечьи, чмокнула его в почерневшую, надутую кровью щеку. Словно и впрямь была мамой, той позабытой, неграмотной, настоящей, что перекрестила его в путь-дорогу, когда уходил из деревни...

Уже в калошах, прокурор подошел к карте. Красные тряпочки обвисли на булавах, покрылись чистой комнатной пылью. Видать, их давно никто не трогал: на корейском фронте было без перемен.

Троцкизм, чистейшей воды троцкизм! — восхитился Юрий Михайлович. Открытие превзошло самые лучшие ожидания. Да у них уже целое общество, у этих ребятишек. Мальчики и девочки занялись мировой революцией!

Катя, пока он читал программу, озиралась по сторонам. Ее подавляло это изобилие мебели, втиснутой в одну комнату вперемешку с книгами и картинками, густо облепившими стены. Здесь даже настоящая икона имелась. Не в переднем

углу, а по-культурному — над радиоприемником, рядом с японской гравюрой.

— Я рад возможности ближе познакомиться с вами, Екатерина... Извините — не знаю по батюшке.

Катя с трудом вспомнила свое отчество, стеснительное, как новое платье, на которое все обращают внимание.

— Поговорим откровенно, Екатерина Григорьевна. Наш друг выбрал скользкий путь. Так и передайте ему вместе с этим трактатом.

— Сережа? Сергей Владимирович?

О, эти очкастые барышни-подростки с непомерно большими кистями в цыпках и недоразвитой грудью! И эта первая тайная любовь на идейной основе! Самый подходящий материал для психологического эксперимента. Что-нибудь в духе старинной драмы — столкновение чувства и долга.

Он залюбовался фарфоровой группой, приютившейся на этажерке. Козлоногий сатир протер объятия ускользящей нимфе. Та, прикрыв руками фасад, оставила без внимания свой не менее соблазнительный тыл. Карлинский погладил сигареткой ее голубоватую спинку.

— Революция, партмаксимум, демократическая косоворотка покроя двадцатых годов, — он помахал тетрадь, что принесла ему Катя. — Примерно в том же духе рассуждали троцкисты...

Катя была шокирована: при чем тут эти враги народа, диверсанты, вредители? Таких надо уничтожать беспощадно, как делает Берия. А Сережина организация, покамест безымянная, борется за свободу, за настоящую советскую власть. Она гадливо вздрогнула, вспомнив карикатуру в газете, где Троцкий, или Тито, или еще какой продажный убийца в виде хвостатой крысы восседал со своими прихвостнями на горе из человеческих костей.

Но Юрий не стал уточнять, кто такие троцкисты. Гораздо забавнее было амплу ортодокса. Ему, всю жизнь защищавшему мошенников да спекулянтов, выступить вдруг адвокатом первого в мире государства!

Бодро вскочив с дивана, он принял меланхоличную позу, какую обычно употреблял на защите трудных клиентов. Отцеубийцы, казнокрады, растлители малолетних нуждаются в патетике, в риторической жестикуляции. Другое дело — мелкое воровство или пьяный дебош. Там не вредно и пошутить, и подпустить перцу. Но крупное преступление требует сочувствия. Адвокат — это совесть преступников, оскорбленная правосудием.

— Если б я лично не знал дорогого Сергея Владимировича, не был другом его отца, наконец, не познакомился с вами, Екатерина Григорьевна, я бы, я бы...

Длинная тень Карлинского прыгала среди японских гра-

вюр. Всплескивая руками, карабкалась на потолок. Опровергала.

— Нельзя допустить, чтобы... Всеми миру известно. Либо — либо. Пусть. Марксизм, нигилизм, наплевиизм. Фракция, акция. Левацкий загиб, правый уклон. Сугубо. Требуется жертв. Великой цели. Во имя. Цель, цель, цель.

— Для хорошей цели и средства нужны хорошие, — слабо сопротивлялась Катя.

Карлинский ожесточился: эта тихоня толком не знает, откуда дети рождаются, а туда же, рассуждает, мнит себя Софьей Перовской.

— Средства хорошие? Мокрого места не останется ни от вас, ни от ваших средств... Да вы сами, дайте вам власть... Если я, например, захочу быть императором... Или, по крайней мере, взорву памятник Пушкину у Тверского бульвара... По головке погладите? Так не все ли мне равно, в какой кутузке сидеть? Реформаторы! Хорошего социализма желаете, свободного рабства?..

Вовремя спохватившись, он снова перешел на общедоступный язык:

— Объективно. Логика борьбы. Колесо истории. Агенты империализма. Вспять. Кто не с нами. Окружение. В одной стране. Поистине. Объективно.

Она подавленно молчала.

— Рьянцы, контр, ксизм-сизм-сизм.

— Мация-кация-зация-нация.

Нцип-нцип.

Бектив.

Гуманюция, Pferd!

Катя была сражена. Еще Сережа предупреждал: «а то империалисты воспользуются». И вот они воспользовались — акулы капитала. Акулы и агенты, гангстеры и самураи. Изогнутые словно драконы, раздутые будто лягушки, со всех карикатур и плакатов, с японских злых картинок протянули руки, заманили в сети, окружили кольцом — враги. Кто их привел? Карлинский, все доказавший, как дважды два четыре (нация-мация, логия-могия), Сережа ли Владимирович, что заслал ее к этому типу со своей мелкобуржуазной программой? Или, может, она сама — объективно, не хотела, но, понимаете, объективно, предоставила платформу, проявила и допустила?

— Тетрадочку-то советую ликвидировать, — крикнул ей вдогонку Юрий Михайлович. — А еще поразмыслите на досуге, что вам дороже... Во имя... Требуется жертв... Эй! Екатерина Григорьевна!..

Он вышел на площадку и слушал, как стучат ее каблучки в гулком мраке подъезда. Девушка — с норовом. Но по крайней мере прокурорский сыночек станет теперь осторожнее.

Пускай не впутывает в азартные игры тех, кто сохраняет свободу. Свободу оригинального мышления.

Он свесился через перила и плюнул в пролет лестницы, похожей на колодец. Ответа не было долго. У него закружилась голова от этой чернеющей под ногами каменной глубины. Зато потом влажный отзвук донесся так отчетливо, что Юрий плюнул еще раз.

От спиртного Глобов наотрез отказался — болело сердце. Ему, как почетному гостю, можно было не пить. Среди всей этой развеселой, сугубо мужской компании он один сохранял ясность взгляда, похлебывая для приличия шипучую минеральную воду.

Следователь Аркадий Гаврилыч увлек его в уголок. Под звяканье ножей и рюмок разговорец вышел интимный, любопытным ушам, если б таковые имелись, недоступный.

— Рабинович-то твой у нас теперь обитает. Переселили. Ну и глаз у тебя, прокурор!.. Снайпер! Робин Гуд! Тиль Уленшпигель!

Воровато оглядевшись, он почти уткнулся губами в прокурорскую шею.

— Помнишь, намекал ты... еще в сентябре? Я сразу догадался... Копнули мы поглубже, и, говоря между нами, дельце получилось — пальчики оближешь.

— Неужели политика?

— Шутник ты, Владимир Петрович. Будто сам не знаешь... По твоим же зарубкам все начинали... Да если б он один!.. Тут, брат, масштаб государственный... Медицина!.. Чуешь? Все из этих... носатых... которые космополиты... Сплошняком!..

Он отскочил к столу, причитая по-бабьи:

— Насыщайтесь, ребята, не стесняйтесь! На то и мальчишник, чтоб самим угощаться!

Владимир Петрович решил досидеть до конца. Ему нравились эти ребята, сослуживцы Аркадия Гаврилыча, — с открытыми, как ладонь, лицами, с чистыми, как стеклышко, биографиями, с незапятнанной совестью. Добродушные мужчины, наводящие ужас, может быть, на полмира.

Среди них имелись таланты: рекордсмен по прыжкам в воду, другой поет, как в опере, третий художественно свистит. Все были в штатском (только Глобов в мундире), а он хорошо знал — здесь есть капитаны, майоры, даже два подполковника. Невидимая грозная армия сидела за праздничной трапезой.

Говорили о детях, о футболе. О летнем отпуске тоже. Кто хвалил Кисловодск, кто решительно предпочитал крымское побережье. Один из двух подполковников (тот, что художественно свистит) объявил о покупке «победы»:

— Послезавтра деньги вносить, а я все цвет выбираю: бежевая или серая.

Разгорелся спор. «Бежевая машина — элегантнее», — настаивал Аркадий Гаврилыч. Ему возражали, что бежевая «победа» — это слишком банально.

Владимира Петровича радовала непринужденность, царящая на вечеринке. Обычные сослуживцы говорят в основном о работе, выставляют друг перед другом свой идейно-политический уровень. А эти, наоборот, снаружи — самые домашние люди, политика же скрыта внутри, в глубине души, втайне — там, где у прочих смертных одни пороки и недостатки.

Как заблуждаются писаки из продажной западной прессы, представляющие этих людей в виде каких-то мрачных злодеев! Да это же милейший народ — остроумные собеседники, отличные семьянины. Многие из них, как рассказывал Скромных, любят в нерабочее время тихо удить рыбу, варят сами обед, мастерят детям игрушки. Один старший следователь по особо важным делам в часы отдыха вяжет перчатки, вышивает подушки, скатерки, утверждая, что рукоделие развивает нервную сеть. Но если потребуется!..

За окном ахнул салют. Будто вылетела пробка из очень большой бутылки. Пришлось и Владимиру Петровичу отведать шампанского. Он позволил себе всего один бокал.

— Я предлагаю тост! Чей вдохновляющий гений! Неуклонно вперед! На борьбу! От победы к победе!

Стол был похож на поле битвы. Вина кровоточили. Паштеты — изъезжены вдрызг, подобно военным дорогам в мокрую осеннюю пору. Сломанные скелеты селедочек, окурки. Махровые и рыжие пятна.

Галдеж утихал по мере того, как пили. Другие во хмелю начинают кричать, буйнить, а эти — от рюмки к рюмке, от бутылки к бутылке — смолкали и цепенели. Глобову даже казалось, что с каждым глотком они постепенно трезвеют. Осовелым, сосредоточенным взглядом озирают свои ряды, прислушиваются.

Какой-то юнец, должно быть, простой лейтенантик, не выдержал: «А я вчера в "Метрополе" смотрел "Падение Берлина"...»

К нему, как к магниту, со всех концов потянулись шеи и уши. Выжидательно замерли.

— Очень понравилось! — взвизгнул оратор, напуганный общим вниманием. — Всем советую. Очень, очень...

И торопливо заткнул рот первой попавшейся семгой.

Наступила тишина. Даже чокаться перестали. Молча пили, молча закусывали. Так же молча они умрут, если будет нужно.

Следователь Аркадий Гаврилыч едва держался на стуле.

— Ты о ком спрашиваешь, прокурор? Какой такой Рабинович? Знать не знаю, ведать не ведаю никаких Рабиновичей. Что? Сам рассказывал? Тебе приснилось.

В глазах, иссеченных красными жилками, застыло искреннее недоумение.

— Молодцы, ребята! Бдительно пьете, — подмигнул ему Глобов.

Он ждал, что при этих словах вся команда встанет на вытяжку и звонким шепотом рывкнет: «Рады стараться!» Но все были пьяны, все были немые, как рыба, которую они ели среди других закусок.

Чтобы запутать следы, Катя шла пешком. Тетрадку несла в рукаве. Рвала листок за листочком. Бумажные крошки перетирала в ладонях и незаметно, по частям ссыпала на мостовую.

За нею следили. Кто именно — установить она не могла, сколько ни оглядывалась. Уж оченьлюдно было вокруг. Народ валил, не разбирая дороги, на вечернее гулянье, на праздничную иллюминацию.

Город сегодня походил на препарат кровеносной системы. В школе, на уроке анатомии, показывали, как это устроено. Человек, перепиленный пополам, облупленный до последнего капилляра, состоит из множества ветвистых сосудов различной толщины и окраски.

Еще больше их было здесь освежено для вечерней потехи. По стекленеющим жилам домов, во все концы, пунктиром, струилась охлажденная кровь. Она горела преувеличенным, сверхэлектрическим светом.

Перед домом Сережи Катя остановилась. Перешла на другую сторону. Его окна темнели, как две могилы. Катя сложила пальцы крест-накрест, чтобы сдуру не накликать беды.

Но было поздно. Беда уже приключилась. Снял Юрий Михайлович трубку, позвонил куда надо, пока она бежала по лестнице, и в окнах стало темно. А, может, еще не звонил и Сережа спокойно спит, забыв про несчастную Катю. Или гуляет с другими, обсуждая троцкистские планы. Все равно — ничем не поможешь. И она сама виновата: разбросала бумажки. По ним, как по следу, найдут его дом и квартиру.

Далеко, сзади уже началась погоня. Уже шарили по мостовой, искали под калошами, в лужах. Нагибались.

К завтраму все клочки будут собраны вместе, разглажены утюгом, склеены синтетиконом. И все двадцать четыре листка, неистребимых, как гидра, у которой головы отрастают, в синей обертке, разграфленные в косую линейку, и вся расписанная мелким почерком мелкобуржуазная программа Сережи. На виду. На суде. На справедливом, страшном суде.

Земля подпрыгнула. В небо, откинутые назад, взмыли чугунные трубы. Это прорвалась аорта, где-то за универмагом. Нужен жгут. Но перевязать не успели: лопнули дру-



гие сосуды. И разноцветная кровь брызнула фонтаном в зенит.

Под гром салюта Катя возвращалась домой. Она не зади-рала голову вверх, не считала залпы орудий. Каждый новый удар ей казался последним. Вот сейчас иссякнут артерии, выте-кут дырявые вены и огромное рваное сердце задохнется в сер-дечном припадке. А оно все стучало и стучало, содрогая асфальт под ногами, озаряя лица прохожих то розовым, то зеленым сияньем.

Катя загадала: если стукнет пять раз, она пойдет к дирек-тору школы, или в райком, или куда-нибудь дальше. Завтра же. Тайком от Сережи спасет его, распутает шпионские сети, объяс-нит, что вышла ошибка, что Юрий Михайлович все врет и общая польза главнее.

На четвертом ударе Катя еще надеялась — недотянет. Но сердце остановилось только на пятом. И сразу стало так тихо, что захотелось лечь в постель и наплакаться вволю. В конце концов, она имела на это право. Уж это-то право у нее никто не отнимет.

Глубокой ночью, когда погаснут огни и люди, утомленные праздником, заснут непробудно и сладко, на опустелые улицы города выходят двое в штатском. Прогуливаясь по участку, им отведенному свыше, они мечтают о чем-то или ведут впол-голоса задушевный разговор. Одного зовут Витя, другого — Толя. Большого знать — нам не дано.

Толя говорит Вите:

— Послушай, Витя. Пора бы и канализацию приспособить к настоящему делу. Ведь столько тайного материала бесконтрольно уплывает по трубам! Проекты, конспекты, любовные письма, черновики художественных произведений и даже беловики.

Рассказывают, писатель Гоголь, живший в девятнадцатом веке, сунул в печку свою поэму под названием «Мертвые ду-шат». До сих пор никому не известно, про что он там сочинял.

А теперь жечь — негде: центральное отопление. Теперь всякий норовит свои секреты разорвать на мелкие части и спустить в унитаз, чтоб полное инкогнито соблюсти. Это надо учесть.

Поставить, к примеру, под каждым домом особую драгу или сито и дворникам строго-настрога — изымать исписанную бумагу. Ну, а неподдельные нечистоты, пипифакс, газеты пускай уж плывут, куда им хочется, на свободу. «Плыви, мой челн, по воле волн...» Как ты считаешь, Витя, подойдет?

Витя задумчиво молчал, оглядывая пустую окрестность. Потом сказал мягко:

— Это не научный подход во всяком дерьме копать.

Меня, откровенно говоря, Гоголь не занимает. А вот есть такой писатель по фамилии Герберт Уэллс. Ты «Борьбу миров» и «Человека-невидимку» читал?

— Нет, не читал, — грустно признался Толя.

— А я его «Машину времени» почти наизусть выучил. Однако в данный момент лично меня другое изобретение волнует. Тоже научно-фантастическое. Аппарат-мыслескоп. Вроде твоей драги, только еще доскональнее. Мысли и разные переживания угадывать. Чтобы даже тех, которые устно молчат и письменно не высказываются, контролировать автоматически. В любой час и на любом расстоянии. Здорово?

— Как ты его называешь, Витя?

— Аппарат-мыслескоп.

— Да, мыслескоп — это вещь.

Оба смолкли и погрузились в мечты. Но мечтали они согласованно, об одном. Вот о чем.

В наш век — век телевидения и радиолокации, в эпоху атомной энергии, направляемой к мирной цели, — хорошо бы в каждом районе завести свой мыслескоп. Сижу, например, я, вредоносный элемент, в своей малонаселенной квартире и заранее знаю, что все мои безыдейные мысли и преступные планы в районном мыслескопическом пункте будут видны, как в кино. И стараюсь я не думать ничего такого. Все о невинных вещах размышляю, насчет баб, да чтобы выпить или даже про то, как честно трудиться на благо народа. А самого так и подмывает о чем-нибудь недоступном подумать. Корчусь в своем кресле, арифметические задачки решаю, чтобы отвлечься.

Не тут-то было. Просочилась в голову гнилая идея: как бы мне, думаю, научиться думать невидимо? Я ее — геометрией, дифференциалами, спряжением глагольных форм из церковнославянского языка. Стихотворение Лермонтова «Выхожу один я на дорогу» четыре раза подряд декламировал. А она, гадюка, так и лезет, развивается: как бы, думаю, еще одну революцию сделать? На этом самом месте меня цап-царап:

— Здравствуйте, гражданин. Вы это о чем четыре минуты семнадцать секунд тому назад рассуждали? Нам все известно. Если не верите, можем пленочку предъявить.

— Не отрекаюсь — виноват. Я — презренный наймит одной иностранной державы. С детских лет озабочен реставрацией капитализма и подпиливанием железнодорожных мостов...

Тишина! Двое в штатском ходят по городу. Двое в штатском. Медленно, степенно шествуют они по заснувшим улицам, заглядывают в помертвевшие окна, подворотни, подъезды. Ни души.

Одного зовут Витя, а другого Толя. И мне боязно.

Несмотря на морозы, Екатерина Петровна каждый день — в подшитых валенках и в шапке-ушанке — наведывалась в прокуратуру. Ее частые визиты были неуместны. Но прямо сказать об этом Глобов не решался. После ареста Сережи старуха совсем очумела. Придиралась пуце прежнего. И секретарь, почтительно посмеиваясь, всякий раз докладывал:

— К вам, Владимир Петрович, опять эта пожилая особа — в валенках. Прикажете пропустить?

Бывшая теща, расхаживая по кабинету, бубнила:

— Не может быть. Не верю. Ни в шпионаж, ни в диверсию.

А Глобов — в который раз — допытывался:

— При обыске в его вещах нашли что-нибудь криминальное?

— Ничего, ничего...

От валенок по паркету расплзались грязные лужи. После ее ухода Владимир Петрович, заперев дверь на ключ, собственноручно вытирал пол тряпкой, принесенной из дому и спрятанной под шкафом. А потом набирал номер и спрашивал:

— Это ты, Аркадий Гаврилыч? Говорит Глобов. Что-нибудь новое есть?

Тот сухо отвечал:

— Пока ничего.

И вешал трубку. И теперь так бывало каждый день.

Каждый день, возвращаясь с работы, Юрий умывался и радовался. Видеть мыльную грязь было почему-то приятно. Это всегда так: чем грязнее вода стекает с тебя в умывальник, тем оно и приятнее. Вероятно, подобное чувство испытывают в минуту исповеди.

Если Марина придет, он сможет чистыми пальцами трогать ее лицо. Около самых губ. Надо еще намазать: вдруг сегодня придет.

Последние месяцы он все делал с расчетом. Отдаленная цель, приближаясь, поглощала его без остатка. Он жил, чтобы овладеть Мариной. Даже спал и ел с умыслом — подкрепиться для встречи. Чистил зубы, будто готовился к поцелуям. И день проходил за днем, чтобы дать ей время соскучиться и, помедлив для приличия, капитулировать.

Постучали. Он выждал, пока уймется дрожь в коленках, и распахнул дверь.

То была не Марина. Соседка, стараясь поглубже втиснуться в комнату, протягивала конверт и сладострастно шептала:

— Это вам девушка оставила. Молоденькая, словно бутончик.

А Марине будет лестно прослыть молоденькой девушкой, это надо ей передать, — соображал он, вскрывая письмо.

«Тов. Карлинский! Вы предательски донесли на Сергея Владимировича, а он все равно не троцкист, а честный революционер, а Вы — трус и подлец».

Юрий повертел письмецо, заглянул в конверт еще раз и, ничего не найдя больше, отложил для коллекции. При случае он расскажет Марине об этом эксперименте. Она будет очень смеяться.

Потом, как Понтий Пилат, Юрий вымыл руки. О Сереже, о Кате вспоминать ему не хотелось. Понтий, наверное, мало думал про Иисуса Христа, когда ходил умываться. У Понтия, может быть, тоже имелась своя цель, неизвестная евангелистам.

Насухо обтерев полотенцем каждый палец в отдельности, он повернулся к двери и топнул ногой:

— Где же вы, Марина Павловна? Я жду вас. Я — готов.

Следователь вышивал по канве. Узор для скатерки был выбран самый изысканный: по черному полю прихотливо извивались тюльпаны.

Когда приводили Сережу, он сворачивал шитье, подбирал разбросанное по всему столу мулине и, заперев рукоделие в сейф, начинал дружескую беседу. Все пока шло начистоту.

— Да, это вы тонко заметили. Ничего не скажешь. Такими мнениями наверху очень интересуются... А вот колхозы, с ними как быть? Здесь ведь тоже... Сами знаете...

Слушая про колхозы, он сокрушенно вздыхал. Иногда спорил, иногда соглашался, и они двигались дальше.

— Печать тоже, знаете, откровенно говоря...

Сережа и в область печати вносил свои предложения, удивляясь тому, что его до сих пор не выпускают.

— Ну-с, молодой человек, — сказал наконец следователь, — взгляды ваши мы обсудили подробно. Хотелось бы еще уточнить — как вам удалось войти в контакт с иностранной разведкой.

Всем сочувственным видом он словно поощрял: не стесняйтесь. Чего уж скрывать? Все там будем. Экая важность!

— Оставьте глупые шутки, — побледнел Сережа. — Я еще не осужденный, я — подсудимый.

Следователь усмехнулся и раздвинул шторы. Дневной свет был так чист и прозрачен, что хотелось вдохнуть его всей грудью.

— Подойди сюда. Слышишь? Тебе говорю.

Сейчас ударит, — подумал Сережа, деревенея лицом.

— Глянь в окно!

Сережа увидел площадь, на которой бывал раньше, увидел вход в метро с нырявшими туда человечками, маленькие

троллейбусы и автомобили, в которых тоже ехали люди, и каждый ехал, куда хотел. А сверху падал снег, живой настоящий снег.

— Вон они где — подсудимые. Видал — сколько?

Следователь показал на снующую под ними толпу. Потом погладил Сережу по стриженной голове и ласково пояснил:

— А ты, брат, уже не подсудимый. Ты — осужденный.

Хлопоты были бесполезны. Ему уже намекнули в одной высокой инстанции:

— Лучше не суйся. Тебе доверяют — можешь быть спокоен. А вступаться за него не советуем. Только себя запачкаешь. Забудь и рожай другого, пока способен. А этот — этот тебе не сын.

Но бабушка не унималась:

— Хлопчи! Добивайся! Или ты — не отец?

Отец! У других дети — как дети. Институты кончают. Аспирантуру. Даже у Скромных мальчишка — попался, так, по крайней мере, на краже. Отец его выпорол для острастки — и концы в воду. А это — надо же? Из десятилетки — в тюрьму — отцовское имя позорить. Да еще в такое время!

— Нет, мамаша, — ответил Глобов, глядя на ее мокрые валенки. — Идут большие аресты. Не могу.

— Что вы сказали? Боюсь? Не то слово. Разве я когда боялся? Меня все боялись... Я же — прокурор, поймите. Мне совесть не позволяет. Я — людей, может быть, менее виновных ежедневно...

— Чье это будущее? Мое? Обойдусь как-нибудь без будущего. Предатель — мне не сын.

— Оставьте. При чем здесь честное слово революционерки? Старомодно звучит, Екатерина Петровна. А мне достоверно известно...

— Э, нет. Это вы напрасно. Сына терять нелегко...

— Довольно попреков! Вы сами... А брата, брата забыли? Удрал за границу, так вы, небось...

— Я и раньше догадывался. Но если бы я знал, до какой степени...

— Да ты рехнулась, старуха! Не выдавал я его. Слышишь? Не выдавал.

— Отойди. Не хватайся руками. Руки, руки убери!

— Рассказывал я тебе — кто донес. Девочка из его же компании. Мне учитель шепнул. Историк. Пришла к директору... Вроде для совета... Тот хотел замять, но...

— Девочка, девочка, говорят тебе русским языком.

— Ну, знаешь. Это слишком. Ни девочек, ни мальчиков я еще не душил. А вот врагов...

— Замолчи, старая ведьма, пока тебя не посадили! После таких слов я не желаю больше...

— Вот и прекрасно. Двадцать пять лет опекала. Хватит с меня твоего контроля.

— И не надо. Не приходи.

Когда старуха ушла, Владимир Петрович передохнул несколько минут и вызвал секретаря. Небрежным тоном, каким обычно говорят о посторонних лицах, он распорядился:

— Пришлите уборщицу. Пусть оботрет паркет после этой гражданки. Наследила, как в конюшне, своими валенками.

Зазвонил телефон. Марина оставила карты, раскиданные в замысловатом пасьянсе, но трубку не сняла. Склонившись над аппаратом, она с любопытством слушала протяжные звонки.

Ей вдруг почудилось, что трубка легонько подпрыгивает. Вот-вот она сама собою соскочит с кривых рогулек, и раздраженный голос Карлинского загнусавит на столике: «Прячетесь? Подойти не желаете? Считаете наши отношения порванными?»

Возможность разоблачения была так близка, что Марина перешла в соседнюю комнату и оттуда, невидимая, в полной безопасности, внимала телефонным звонкам.

— Как он мучается, бедный, как он хочет меня! — думала она, торжествуя и вздрагивая при каждом новом трезвоне.

Уже третий месяц Юрий грозил уйти. Или она уступит — или они расстанутся. «Не желаю ни того, ни другого», — отнекивалась Марина. Тогда он дал ей две недели «на женские капризы» и удалился, донимая любовью, пугая одиночеством. Срок подходил к концу.

Телефон, прозвонив ее до мигрени, обиженно смолк, и Марина вернулась на кушетку — к своим картам и сомнениям. Они — совпадали. Были слезы, были письма, были дальние дороги и казенные дома, пара неизвестных валетов обещала приятные хлопоты, но короли от нее уходили один за другим.

Марина не верила в карты, но была вынуждена признать, что с мужем в последнее время — и впрямь — все разладилось. Он перестал ей докучать своими беседами о крепкой семье и взаимопонимании между супругами. Целыми вечерами пропадал где-то и, казалось, забыл, что они — хоть и в ссоре — живут под одной крышей.

Тут еще Сережу посадили нехстати, и всех знакомых мужчин точно ветром сдуло. Даже Скромных носа не кажет.

Только пиковый король еще оставался при ней. Отпустить его так просто она не могла. Кто, если не он, щедро, по-королевски оценит ее красоту, и какая это красота без признаний и домогательств?

— Вы моя цель, мой бог, — любил повторять Юрий, доказывая, с присущей ему эрудицией, что высокая цель нуждается

в средствах, хотя бы ее не достойных, и что Бог, которого, к сожалению, нет, очень страдал бы от одиночества, если б не придумал человека для поклонения себе и прочих услуг.

Да, это — верно. Разве женщина не самое одинокое существо в мире, разве есть что-нибудь горше ее одиночества?

Хлопнула парадная дверь, шаги мужа загромыхали в передней.

— Ты — дома? — удивился он через стенку, когда Марина откликнулась. — А мне деньги были нужны, хотел уж курьера послать. Так секретарь минут десять — подряд — сюда колотился. Никто не подошел к телефону.

— Я спала, — солгала она машинально и не слишком удачно, потому что муж хорошо знал, как чуток ее сон. Гораздо правдоподобнее было бы вернуться недавно с прогулки или из магазина. Но Владимир Петрович не возразил и не остановился у входа в ее комнату, как это бывало раньше, а промаршировал мимо. Щелкнул замок в кабинете — муж заперся.

Только тут она поняла, что Карлинский ей не позвонит ни сегодня, ни завтра. Быть может, он уж не ждет ее больше. И даже не требует от нее никаких мерзких уступок.

Подойдя к зеркалу и увидав свое огорченное, стареющее с каждым днем лицо, она хотела было заплакать, но вовремя вспомнила, что этого делать нельзя: от слез морщинится кожа.

В ту ночь Глобов запил. Впрочем, после коньяка и водки он даже не опьянел нисколько, а лишь почувствовал в сердце такую нежность, что принялся шагать из угла в угол, бормоча колыбельную песенку:

Баю-баюшки-баю,  
А я песенку спою.

Вот и все слова. Он мог себе это позволить. Его никто не видел, никто не слышал. Он был один.

Руки, сплетенные на груди, сами обняли его и понесли. Владимир Петрович любил и баюкал свое большое, несуразное туловище. Ему было уютно рядом с ним, таким родным и давно не мытым. Оно прижималось, благодарно сопело, уткнувшись в сорочку, покачиваясь в такт колыбельной.

Баю-баюшки-баю,  
А я песенку спою.  
А я песенку спою.  
Баю-баюшки-баю.

Долго-долго, до бесконечности.

А на руках — будто девочка. Маленькая, неродившаяся дочка.

— Спи, милая, спи, моя умница, — уговаривал он, хлопая по тепленькой спинке. — Все спят. Играть тебе не с кем, Се-

режки нет дома, Сережка обманул нас, покинул. Он чужой нам, Сережка. Он — бяка.

Чтобы она быстрее заснула, Глобов на мотив колыбельной начал переключать песни, какие знал. Все они были почему-то про войну, и он часто сбивался с напева, баюкая слишком размашисто, по-боевому.

Его прервали. Визгливый голос Марины доносился из коридора и мешал петь. Тогда он уложил девочку на диван, прикрыл кителем и, спрятав бутылки под стол, отпер кабинет.

Но его виду Марина все поняла. Но оставаться одной в спальне казалось еще страшнее.

— Пусти, Володя. Я не могу заснуть. Мне страшно без тебя, — говорила она, дрожа от холода и унижения. А он стоял перед нею, лохматый, в нижнем белье, и загораживал проход своим огромным, разросшимся телом.

Марина его называла пупсиком и киской (а какая он — киска? он — не киска, а прокурор), просилась к нему на диван (ишь ты! уже пронюхала) и обещала не сердиться за шум, поднятый по всей квартире. Она брала его руки, тяжелые, как весла, и, распахнув халат, клала себе на грудь, прижимала к бедрам. Поборов отвращение, Марина гладила себя его руками, но они безучастно падали, как только их отпускали. А когда она попробовала столкнуть его с порога и силой войти в кабинет, Владимир Петрович просто шагнул в то место, где она суетилась и, отодвинув назад, запер дверь.

...Бутылки были целы. Но девочки под кителем не оказалось. Должно быть, он, убаюкивая слишком нежно, стиснул животик и раздавил ненароком. Или, что вероятней, ее похитили, пока он возился с Мариной.

Ну, конечно! Как он сразу не догадался? Это Марина все и подстроила. Она уже один раз убила его дочку и теперь снова к тому же вела, шлюха. Недаром ластилась, на диван просилась. Диван ей, видите ли, понадобился!

А когда он разгадал ее уловки, Марина подослала врачей-убийц во главе с самим Рабиновичем. Своими красотами она отвлекла внимание, а убийцы в белых халатах, растоптав священное знамя науки, тем временем, за его спиной, свершали черное дело.

В гардеробе кто-то сидел и не шевелился. Тогда Владимир Петрович снял со стены шашку — именное оружие настоящей кавказской закалки, поднесенное в знак уважения 4-м конногвардейским полком.

Гардероб поддался с двух ударов. Только стекла звенели, да щепки летели, да сыпалась со стен штукатурка. А враги, ускользнув обманным путем, попрятались в щели, окопались по всем углам.

Напрасно Марина кричала под дверь, чтоб он прекратил безобразия, грозила, что уйдет из дому, будет изменять, покон-



чит с собой, донесет в парторганизацию про то, что он — алкоголик. Нет, не проведешь! Теперь твои приемы всему миру известны! И в радостном остервенении он рубил, колот, кромсал все, что попадалось под руку.

Ему не было жаль ни карельской березы, ни хрусталя, ни пуховых подушек. К чему эта жалкая утварь? Когда враги проникли в твой дом, нужно все истребить вокруг и самый дом стереть с лица земли с засевшими там врагами.

Отскочив от стены, шашка крепко ударила его по голове, разбила люстру. Но и во мраке, обливаясь кровью, он продолжал наносить удары в воздух, в пустоту — всюду, где они притаились.

Закончив труд, прокурор подошел к письменному столу, изрубленному вдоль и поперек. Там, у окна, белел в темноте чудом уцелевший бюст. Прокурор вложил шашку в ножны и отрапортовал:

— Хозяин! Враги бегут! Они убили мою дочь, украли сына. Жена предала меня, и мать отреклась. Но я стою перед тобою, израненный, оставленный всеми, и говорю: «Цель достигнута! Мы победили! Ты слышишь, Хозяин, — мы победили. Ты слышишь меня?»

---

## Глава VII

---

Хозяин умер.

Сразу стало пустынно. Хотелось сесть и, подняв лицо к небу, завывать, как воют бездомные псы.

Они бродят по всей земле, потерявшие хозяев собаки, и нюхают воздух: тоскуют. Никогда не лают, а только рычат. С поджатым хвостом. А если виляют, то так — словно плачут.

Завидя человека, они отбегают в сторону и долго смотрят — не он ли? — но не подходят.

Они ждут, они всегда ждут и просят кого-то протяжным взглядом: О приди! Накорми! Ударь! Бей, сколько хочешь (не слишком сильно, пожалуйста). Но только приди!

И я верю: он придет, справедливый и строгий. Он заставит визжать от боли и прыгать на цепи. И ты подползешь к нему на брюхе, заглянешь в глаза и положишь ему на колени лохматую голову. А он будет хлопать по ней ладонью, и смеяться, и ворчать что-то успокоительное на мудреном хозяйском наречье. А когда он заснет, ты будешь стеречь его дом и брехать на всех проходящих...

Кое-где уже слышен скулеж:

— Давайте жить на свободе и резвиться, как волки.

Но я знаю, я слишком хорошо знаю, что они жрали раньше, эти продажные твари — пуделя, болонки и мопсы. И я не хочу свободы. Мне нужен Хозяин.

Ах, какая собачья тоска! Где утолю мой пронзительный, долгий, годами не кормленный голод?

Сколько их затеряно в мире, бездомных бродячих собак!

О, суки с продолговатыми глазами итальянских красавиц и тонкими кусачими мордами! О, злые, выдавшие виды, одинокие кобели!

Его обмыли, набальзамировали, положили на постамент.

Несметные толпы бежали к нему — проститься и посмотреть. Они вливались со всех улиц в сжатое домами пространство и там застревали.

Выход был один — туда, где в цветах, под караулом покоилось мертвое тело.

Но туда — не пускали: ждали распоряжений. А распоряжений все не было. Потому что тот, кто распоряжался, теперь лежал мертвый.

Площадь, утоптанная ногами, стала тесна. Она не вмещала столько желающих проститься и посмотреть. А люди все прибывали, их становилось больше и больше с каждой минутой. И когда открыли узкий проход, было уже поздно. Кто-то гаркнул, радуясь случаю продрать звонкую глотку:

— Ребята! Нас предали! Мы — в жопе!

И тут началась давка.

Окна завесили ковром и свет потушили, как требовала Марина. Зрение перешло в кончики пальцев. Юрию казалось, что они у него моргают.

Раздевая Марину, он мог созерцать всю сложность ее устройства: арки, абсиды, купола. Луковицы православных соборов, похожие на груди, и стрельчатые ворота, как заостренный книзу живот.

Но всюду преобладала гитара: плечи — талия — таз. Недаром гитару и скрипку так любил Пикассо: это женское тело в разрезе.

А желанья — не было.

Юрий напомнил себе, с каким нетерпением влекся он к этой цели, на какие средства пускался ради нее... Желанья — не было.

А вдруг совсем не получится? — встревожился он, понимая, что нельзя ему нервничать, что мужчина в таких случаях должен быть спокоен, как фокусник, от которого ожидают чудес. И пугаясь все больше и больше своего волнения, он хватался руками за абсиды, купола, арки, расположенные перед ним. Если не страсть, то хоть чуточку вожделения пытался он выклянчить у своей немощной плоти, предавшей его так позорно, так глупо в самый последний момент.

Пружины кровати звенели семиструнной гитарой.

Юрий стиснул зубы и поднапрягся, будто выжимал гири по три пуда каждая. Наконец он вызвал в памяти пачку порнографических открыток, что с давних времен хранил в укромном местечке, и, перебирая мысленно самые непристойные, молился Богу: «Господи! Помогите!»

А женщина идеальной конструкции недвижно лежала рядом, предоставив ему как угодно мучиться над ней. Всей опустелой душой, всем изнывающим от бесплодной работы телом Юрий ненавидел ее — достигнутую и недоступную, — мечтая лишь о том, с каким наслаждением он выгонит ее вон, как только это будет возможно.

— Что, Юрий Михайлович, вы добились цели? — насмешливо спросила Марина. — Почему же вы медлите?

Юрий, не отвечая, зажмурился, хотя в полной темноте закрывать глаза было бесполезно.

Как это могло случиться, прокурор плохо понимал. Он стоял чинно, вместе со всеми, ожидая, когда будут пускать, и вдруг увидел, что толпа несет его, вращая по спирали — через площадку, к узкому, точно траншея, проходу.

Стоило добраться туда, и открывался прямой путь к центру города, где в цветах, на постаменте покоился усопший Хозяин. И прокурор по мере сил помогал тащить себя в этом направлении, хотя перебирать ногами в тесноте было так же затруднительно, как говорить с набитым ртом.

Но чем ближе и быстрее придвигался он к цели, тем больше его относило в сторону. А спираль, закручиваясь до предела, валила с ног.

Люди лезли друг через друга и, спотыкаясь, падали. На место одного опрокинутого вставало пятеро свежих, и борьба не затухала. Каждый стремился проникнуть в узкий, точно траншея, проход.

Прокурор был слишком солиден, чтобы принимать участие в свалке. Он не лез, не толкался, не произносил бранных слов. Но чья-то могучая рука, шириною во всю эту площадку, схватила его поперек тела, стиснула в кулаке, так что он едва не задохся, и, чуть приподняв над землей, пошла гвоздить направо и налево.

— Пусти! Мне больно! — стонал прокурор. — Здесь все свои. Они ни в чем не виноваты. Здесь много женщин, детей, есть даже инвалиды войны, что принесли тебе славу.

Но рука не выпускала его из цепких, намертво сжатых пальцев. Скорбя и ожесточаясь, она била и била им, как дубиной, воющую от боли толпу.

Спешить было некуда. Марина постояла у киоска, где продавались газеты, траурные, будто женщины с подведен-

ными тушью ресницами. Потом, повернувшись спиной к надоедливой улице, разглядывала незажженную витрину косметического магазина.

Там, как в плохом зеркале, она увидела себя. По ней шагали люди, ехали троллейбусы, пронизанные флаконами духов и пирамидами разноцветного мыла.

— От всех этих средств красота портится, — думала она, поглядывая исподлобья на свое отражение. Но лицо ее, затуманенное стыдом и злобой, истоптанное тенями прохожих, было еще достаточно красиво.

— Завтра же испробую аргентинскую губную помаду, — решила Марина.

Ему удалось уйти. Под грузовую машину, через ограду бульвара, ободрав ноги, без шапки... Бульвар был пуст и просторен.

— Девочку, девочку задавили! — донеслось сзади.

Там, в полутемном проулке, собрались успевшие выскользнуть. Они радовались, что легко отделались, поминали какую-то девочку:

— Задавили! Задавили!

— Это — не про мою. Моя — сама упала. Никто ее не давил. И стекла ей в очках раньше меня выбили, и возрастом она уж не девочка, а совершеннолѣтняя.

— Девочка, девочка, — упрямо твердили в толпе. — Задержат надо виновного... Под машину уполз... Чего рты разинули? Виновного, виноватого...

— Моя — сама виновата. Пускай не суется под ноги. Я сам упал. А виновных здесь нет. Без жертв не обойтись. Зато — во имя цели.

Идти дальше не было сил. Он прилег отдохнуть в теплый, как парное молоко, снег. По соседству, за сугробом, все еще искали виновного, толковали про неизвестную девочку:

— Может, это вредитель какой, диверсант, враг народа? Давку-то кто устроил? Милицию бы сюда! Следователя, прокурора! Судить таких надо! Судить!

---

### Эпилог

---

Возле реки Колымы, за пригорком, мы копали канаву — Сережа, Рабинович и я.

Я прибыл в тот лагерь позже других, летом пятьдесят шестого. Повесть, для завершения которой не хватало лишь эпилога, стала известна в одной высокой инстанции. Подвела меня, как и следовало ожидать, упомянутая ранее драга, поставленная в канализационной трубе нашего дома. Черновики,

что всякое утро я добросовестно пускал в унитаз, непосредственно поступали на стол к следователю Скромных. И хотя важное лицо, чей приказ я выполнил, может быть, недостаточно точно, к этому времени уже умерло и даже подвергалось переоценке со стороны широкой общественности, меня все-таки привлекли к дознанию за клевету, порнографию и разглашение государственной тайны.

Я не отпирался: улики были налицо. К тому же Владимир Петрович Глобов, вызванный в качестве свидетеля, представил документы, неопровержимо доказывающие полную мою виновность. Все, что я написал, как это установило следствие, являлось плодом злого умысла, праздного вымысла и большого воображения.

Особое нарекание вызвал тот факт, что положительные герои (прокурор Глобов, адвокат Карлинский, домохозяйка Марина, двое в штатском и т. д.) не обрисованы здесь многогранно в их трудовой практике, а злопыхательски выставлены перед читателем нетипичными сторонами. Отрицательные же персонажи (детоубийца Рабинович, диверсант Сережа и его соучастница Катя, слишком поздно осознавшая свои ошибки и за это растоптанная ногами возмущенного народа), хоть и были наказаны по заслугам в моем клеветническом произведении, но не разоблачены до конца в своей реакционной основе.

Не рассчитывая на снисхождение, я просил только о том, чтобы мне разрешили, учтя критику, хотя б в эпилоге произвести некоторые коррективы, проливающие должный свет на моих персонажей. Мне позволили это сделать, но в процессе собственного перевоспитания, без отрыва от земляных работ, предусмотренных на Колыме.

Попав сюда, я вскоре пристроился к Сереже и Рабиновичу. Добиться, чтобы нас поселили в одной землянке и стерегли совместно, было нетрудно. После амнистии лагерь опустел. Нас, крупных преступников, здесь осталось каких-нибудь тысяч десять. Начальство смягчилось и разрешило создать ударную бригаду в составе трех человек, выделив нам персонального конвоира с хорошим автоматом.

Впрочем, в нашей бригаде по-ударному трудился один Сережа, полагавший, что необходимо способствовать приближению прекрасного будущего. Мы с Рабиновичем по старости лет от него отставали.

Сережа рьяно насаждал среди нас принципы новой морали. Пайку хлеба в 400 грамм, что я получал ежедневно, складывали с аналогичными пайками моих друзей. Всем этим хлебом заведовал у нас Рабинович, и, когда наступало время обеда, мы 1 кг 200 г делили на три части.

— Какая в этом польза? — удивлялся я. — Все равно каждый съедает свои 400 грамм и даже меньше, потому что Рабинович тайком откусывает по кусочку от чужих паек.

— Ничего, ничего! — подбадривал меня Сережа. — Недорога пайка, дорог принцип равного распределения продуктов. Однажды, выгребая лопатой мерзлую землю, я улучил момент:

— Скажите, Сережа, что пишет из столицы ваш уважаемый папа?

Тот с напускным равнодушием передернул плечами:

— Мы не переписываемся, Сочинитель (меня за былую профессию прозвали здесь сочинителем). Бабушка сообщала как-то, что его повысили в должности.

— Вот видите, Сережа! — воскликнул я, радуясь поводу поговорить на волнующую меня тему. — Видите, каких высот достиг этот государственный деятель! Можете не сомневаться в моей искренности, я люблю вашего отца давней, неразделенной любовью. Мне дороги Емельян Пугачев, обернувшийся Александром Суворовым, грохот танков по булыжнику, бешеный рев радиорепродукторов — вся изысканная аляповатость героической нашей эпохи, что гордо шествует по земле, звеня орденами и медалями.

И если я, вопреки указаниям свыше, не защитил вашего папу своим щуплым телом, то, поверьте, я искал только случая свершить этот подвиг, а случай спасти вашего папу так и не вышел. Он сам всех спасал, сам всех преследовал. О, когда б его побивали камнями! С какой радостью я умер бы за него и вместо него! Но его не побивали...

Наверное, мои излияния были неприятны Сереже, и он переменял разговор:

— Да, Сочинитель. Отец считает меня вероотступником. А вот мачеха, Марина Павловна, кто бы мог подумать! Вчера от нее получил посылку.

— Узнаю вас, русские женщины! — восхитился я, глотая слюнки. — Со времен декабристок! Княгиня Волконская, Трубецкая. Помните — у Некрасова: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». А в посылке-то что?

— Коробка шоколадных конфет с ликером.

— И все?

— Все.

Делать было нечего. Хорошо хоть с ликером. Мы подарили нашему конвоиру половину посылки, а сами, не вылезая из канавы, устроили роскошный пикник.

Как всегда в минуты отдыха, нас развлекал Рабинович. С ним последнее время творилось что-то странное. Может быть, он помешался из-за врачей-убийц, которых признали невиновными. По их делу его осудили, но реабилитировать почему-то забыли. А скорее всего он просто-напросто с обычной еврейской хитростью прикидывался ненормальным, памятуя, что к душевнобольным относятся у нас снисходительно и частенько выпускают в сумасшедший дом.

Во всяком случае речи его с некоторых пор стали темны и невразумительны. Он все рассуждал о Боге, об истории, о каких-то целях и средствах. Иногда получалось очень смешно.

Вот и сейчас, доев последнюю шоколадку, он вытащил из-под ватника забавную железку, покрытую ржавчиной и землей.

— Нет, гражданин Сочинитель, как вам это нравится? — обратился он ко мне, бессмысленно улыбаясь.

— Археологическая находка! — обрадовался Сережа и тут же зафантазировал: — Здесь путешествовал в каком-нибудь шестнадцатом веке или даже раньше никому не известный Ермак. Быть может, — до самой Америки! опередил Христофора Колумба! Надо — в музей, под стекло, для поддержания приоритета!

— Приоритет несомненен, однако начальству сдать придется, — соображал я. — Все-таки холодное оружие.

Это был меч, наполовину изъеденный сыростью, с массивной рукояткой в виде распятия.

— Как вам нравится? — вопрошал Рабинович. — Бога, обратите внимание, куда присобачили. К оружию смертоубийства — держалка! Скажете — нет? Был целью, а сделался средством. Чтобы хвататься сподручнее. А меч — в обратную сторону: был средством, стал целью. Переменялись местами. Ай-я-яй! Где теперь Бог, где меч? В извечной мерзлоте и меч, и Бог.

— Оставьте в покое ваши религиозные пережитки, — сказал я и опасливо отодвинулся (видно, недаром попал сюда этот гражданин Рабинович). — Всему миру известно — никакого Бога нет. Не в Бога нужно верить, а в диалектику.

Как он тут всполошился, этот хилый еврей, обстриженный под машинку, в рваных опорках, замазанных грязью, с ржавым мечом под мышкой.

— Да я что? Разве ж я спорю? Никогда в жизни!

Схватив меч в обе руки, он поднял его, как зонтик, и затыкал прямо в небо, нависшее над нашей канавой.

— Во имя Бога! С помощью Бога! Взамен Бога! Против Бога! — приговаривал он, будто натуральный безумец. — И вот Бога нет. Осталась одна диалектика. Скорее для новой цели куйте новый меч!

Я хотел ему возразить, как вдруг солдат, что предохранял нас от побега, проснулся на своем пригорке и закричал:

— Эй, вы, в канаве! Довольно чесать языком! Работать пора!

Мы дружно взялись за лопаты.

---

---

## ЛЮБИМОВ

---

---

### Предисловие

---

---

Расскажу я вам, товарищи, о городе Любимове, который древнее, быть может, самой Москвы и только по ошибке не сделался крупным центром. Может, проведи сюда вовремя железнодорожную ветвь или просверли подходящую нефтеносную скважину, и жизнь бы в городе Любимове забила фонтаном, и вырос бы на его месте целый Магнитогорск. Но обошли нашу местность пути развития, и состоит она из простых равнин, поросших невысокой растительностью, да болот, да болотистых лесочаствок, где водятся одни дикие зайцы и разная несъедобная птица.

Правда, подальше, за Мокрой Горой, сосредоточена знаменитая утка, годная для стрельбы, и говорят, в старину эту утку возами возили и за еду не считали. Но чтобы в нашем краю водились бизоны, или тапиры, или какие-нибудь жирафы со змеевидными шеями, так это уже и старики не помнят. И хотя доктор Линде продолжает всем доказывать, что однажды на вечерней заре повстречался ему вместо тетерева доисторический птеродактиль, все это вымысел, брехня и нету у нас ничего похожего. Это в Африке, действительно, живет еще в озере один птеродактиль — читал я в одном журнальчике. А доктор Линде если и встретил кого у Мокрой Горы, то это, наверное, была обыкновенная болотная выпь. Страшно она кричит и стонет из темноты, выпь.

Зато сам по себе город Любимов — ничего, веселый, и жители в нем развитые, интересующиеся, много комсомольцев и довольно густая интеллигентская прослойка. А в позапрошлый сезон — еще до событий — прислали из Ленинграда учительницу, Серафиму Петровну Козлову — преподавать иностранный язык в старших классах. Ее появление просто всех удивило. Во всяких скетчах, пикниках — ей первая скрипка. Бывало, на именинах хлопнет рюмку шипучки, взвизгнет, побледнеет и сейчас же — нож в зубы, прямо за лезвие, и пошла по всем правилам выбивать лезгинку, только локти летают.

Но ничего такого себе не позволяла: уж очень была гордая. По ее недоступности доктор Линде чуть с ума не сошел. «Спору, — говорит, — на две дюжины пива, что я с этой феей в течение двух вечеров войду в интимное положение». И проиграл. Выпили мы пиво, посмеялись. Самое большее, чего он достиг, так это ручку потрогать. И то — один кончик, полтора ноготка.

Я один раз тоже ее зондировал, из спортивного интереса. Приходит Серафима Петровна в городскую библиотеку и спрашивает скучающим голосом чего-нибудь почитать. Поглядел я на нее проницательно и отвечаю:



— Не хотите ли интересный роман Ги де Мопассана «Милый друг»? Очень развратный роман из французской жизни... Она зевнула, потянулась, так что все груди выпятились, и говорит:

— Нет, спасибо, что-то не хочется. Мне бы, — говорит, — Фейхтвангера, либо Хемингуэя...

Я даже крикнул.

— Что вы! — шепчу, — у нас такого не водится. Мы с этой гнилью покончили в сорок седьмом. Инструкция была из центра, насчет Фейхтвангера.

— Разве? а я не знала. Дайте тогда, пожалуйста, «Спартак» Джованьоли. Люблю перед сном погрузиться в приключенческую тематику.

— Вот это можно, — говорю. — Этого сколько угодно. «Спартак» в нашем городе целых два экземпляра...

И злюсь на себя ужасно, прямо до иступления. Ведь я Серафиме этой в отцы гожусь. Читал я ее Фейхтвангера, и Хемингуэя читал. Ничего особенного. И женщин таких, как она, я за жизнь свою перепробовал, может, человек пятьдесят. Даже таких случалось, которые шляпки носят. А вот с ней говорю и теряюсь, и глаза вниз опускаются. А все потому, что — ленинградка, с законченным образованием. Эх, провинция, провинция!..

Между прочим, также имеются памятники архитектуры. Бывший монастырь эпохи средневековья. После революции, в 1926 году, когда святых отцов выслали в Соловки исправительным трудом заниматься, прикатил к нам профессор для научного обследования, как все это было на самом деле. Целое лето мерили и в земле ковырялись, мумию хотели найти. Мумия служила у них для отвода глаз. Золото — вот чего они докапывались под церковными плитами, титулованный металл. Берешь в руки — имеешь вещь. Но разгадать им тайну клада не посчастливилось. Отрыли голый скелет одного монаха с кабаньими клыками вместо зубов, с тем и уехали.

Много у нас народу тогда интересовалось про те клыки у скелета и того профессора и лекцию бесплатно прослушать — как образовалась земля из солнца и откуда возник животный, растительный мир. Я тоже в эту сторону сделал небольшую прогулку. Повязал, помню, шелковый пояс с кистями, соломенную шляпу надел. Не торопясь, подхожу, здороваюсь. Приподнял вежливо соломенную шляпу: «Здравствуйте, — говорю. — Ну как идут вперед ваши научные розыски?»

А профессор — обыкновенный такой, простенький, в резиновых тапочках, сразу не догадаешься, что профессор, — ласково на меня смотрит и серебристую бородку почесывает, а на старческой ручке у него обручальное кольцо. Эге, думаю, — царский режим! Снял из уважения соломенную

шляпу, стою, обмахиваюсь, как веером, улыбаюсь. Вдруг сам делает ко мне шаг:

— Скажите, молодой человек (мне в ту пору еще тридцати не было), — где тут у вас в старое время историческая часовня стояла и куда она исчезла, не могу понять?

И когда я, указав на чистое место, разъяснил ему подробно, как часовенку нашу взорвали на воздух в период борьбы с безграмотностью, потому что уж очень ее чтили и скапливались народные массы, в основном женщины, даже имелись факты случайного совпадения, когда чудесным способом исцелился один слепец еще до революции, да не хватило динамиту, пришлось вручную доламывать, думали пекарню поставить, к Рождеству сгорел председатель, у Марьямова Егора Тихоновича отсохла одна рука, а двух других взрывателей случайно убило в момент взрыва динамитной волной, и через год Андриюшу Пасечника, который всех подговаривал, настигло бревном по голове на лесозаготовке, привезли его домой, к утру помер, — поглядел еще более ласково и говорит:

— Вам, молодой человек, надлежит все это записывать в хронологическом порядке в отдельную тетрадь. Получится правдивая летопись из жизни вашего города, и войдет город Любимов в историю человечества. Это может пригодиться для пользы дела, и ты прославишься навеки, словно какой-нибудь Пушкин...

Поговорили мы так с профессором и разошлись. Я тогда по малолетству не придавал его словам буквального значения: все барышни на уме, голые задницы и всякий флирт, самоучитель игры на гитаре в двадцать пять уроков. Велосипед. Оглянуться не успел, смотрю — из-под волос лысина показалась, вдовец, дочка Ниночка замуж выскочила, и нет уже в душе прежней любви к велосипедному спорту.

Начал я понемногу задумываться. К чему, думаю, вся эта суета? Для чего живет и борется бессознательный человек, если — возьми любую книгу, и с первой же страницы ты можешь завести себе и новую жену и детей, уехать в другой город, испытать массу ярких впечатлений, не подвергая притом свое здоровье непосредственной опасности? Ведь чем хороша книга? Пока ты ее читаешь и твоя душа витает где-то там, плавает на корабле под парусами, фехтует на шпагах, страдает и облагораживается, в это время тело твое сидит на месте и отдыхает, и даже может незаметно покуривать папироску и прихлебывать из стакана прохладительные напитки. Мы забываем себя, мы превращаемся в Спартака, в короля Ричарда Львиное Сердце из романа Вальтера Скотта, но в то же самое мгновение ничем, ну ничем не рискуем за эти самовольные отлучки и политические шаги. И, вспомнив про свою обеспеченность, мы сладко потягиваемся...

Одно лишь бывает горько — когда писатель пускается

вдруг в фантазию. Ты тут сидишь, переживаешь, и у тебя, может быть, мурашки по хребту бегают, а он, оказывается, все это из головы придумал. Нет, уж если взялся писать, так пиши про то, что сам видел или хотя бы слышал из проверенных источников. Чтобы читательская душа, путешествуя по страницам, не портила понапрасну драгоценное зрение, но получала бы надежные и полезные сведения для внутреннего развития. Она жить хочет, душа-то, жить и богатеть, высасывая глазами из книги чужую теплую кровь, а не пустой воздух.

К чтению я пристрастился, когда начал заведовать городской читальней. Сперва — от нечего делать, потом — втянулся. Потом сам попробовал, стихами. Вижу: получается, даже в рифму. Но все мне как будто чего-то недостает, а чего — и сам не пойму. Тут и припомнился мне профессор, приехавший в Любимов в 1926 году. Эх, думаю, случись в нашем городе какая-нибудь история — ну пожар хотя бы или судебное следствие, — я бы сейчас же ее на бумаге увековечил для будущего потомства. Посетителей у меня не так уж много, разве что доктор Линде заглянет поговорить о ходе науки, да припрется инструктор из райкома посмотреть, что нынче делается в газетах для увеличения поголовья скота, да — бывало — придет и сядет тихо в сторонке еще один посетитель, про которого я пока говорить не буду, потому что не подospel еще срок о нем говорить... Здесь он с ней и подружился, с Серафимой Петровной Козловой, здесь, в моем присутствии, все и началось... Но помолчим!

Прихожу я однажды в читальню...

Нет, не так!

Однажды выхожу я из дому...

Нет, не так!

До чего же трудно бывает написать первую фразу, после которой все должно начаться. Потом будет легче. Потом, я уже знаю, дело пойдет, как по маслу, поспевай только переворачивать исписанные листы да проставлять на свежей страничке порядковый номер. Пишешь и не понимаешь, что с тобой происходит и откуда берутся все эти слова, которых ты и не слышал никогда и не думал их написать, а они сами вдруг вынырнули из-под пера и поплыли, поплыли гуськом по бумаге, как какие-нибудь утки, как какие-нибудь гуси, как какие-нибудь чернокрылые австралийские лебеди...

Порой такое напишешь, что страх охватывает и выпадает из пальцев самопишущее перо. Не я это! Честное слово, не я! Но перечтешь, и видишь: все правильно, все так и было... Господи! Да что же это такое? Нету в этом деле моего прямого участия! Может, как и весь этот милый заколдованный город, я только пушен в ход чьей-то незримой рукой?..

Если призовут меня к ответу грозные судьи, закуют мои ручки и ножки в железные кандалы, — заранее предупреждаю:

я от всего отрекусь, как пить дать, отрекусь! Эх! — скажу — граждане судьи! Оплели вы меня, запутали. Стреляйте, если хотите, но я не виновен!

Может, я потому и медлю, что мне жить хочется? Может, первая фраза уже давно сидит в моей запутанной голове, а я просто притворяюсь, дурака валяю и время тяну? Пожить бы еще немножко. Покурить, попить бы пиво. Книжечку почитать в тишине, в безопасности. Читать — это вам не писать. Сходить бы на рыбалку. В бане попариться. Поговорить с доктором Линде насчет птеродактилей...

Ну вот опять! Откуда залетело сюда чуждое нам слово? Я его и произносить-то не умею, птеродактиля этого, и говорил ведь — не водится в наших краях ничего такого. Кыш, ты! Кыш! Лети прочь, гадина!

...Выхожу я однажды на крылечко и вижу...

Нет, погодите. Еще рано. Во-первых, почему — «я»? и почему — «выхожу»? Что это за дурная привычка во все самому соваться! И не я это выходил тогда на крылечко, а он, он, Леня Тихомиров — главный наш механик по перетягиванию велосипедов. Во-вторых, все эти подробности, ужасно они мешают. Если появилось крылечко, то, значит, надо описывать — каким оно было, крылечко, — высоким или низеньким, и не с резными ли столбиками, а уж если с резными, — то пошло и пошло, и сам не заметишь, как совсем про другое рассказываешь.

Чтобы не расплыться, в исторических книгах и летописях (так уж заведено) устраиваются особые сноски, расположенные внизу, под страницей. Зыркаешь туда глазами время от времени и все воспринимаешь. И я тоже снизу приделаю эти сноски, для читательского облегчения. Каждый читатель может туда спуститься и, немного передохнув, узнать о подробностях или еще о чем. А кто не желает, или некогда, или ему надо побыстрее понять главное содержание, тот пусть эти второстепенные сносочки спокойненько пропускает и шпарит дальше, без пердышки, сколько влезет.

Итак, приступим<sup>1</sup>.

Ох, и страшно, голова кругом идет<sup>2</sup>.

Тянет меня, понимаете, тянет, словно горького пьяницу, и подкатываются к самому сердцу безответственные слова.

Ну, поехали. Вперед! Начинаю...<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Это было 1 Мая 1958 г.

<sup>2</sup> Семь бед — один ответ.

<sup>3</sup> Господи, благослови!

Однажды утром Леня Тихомиров в костюме стального цвета, в сандалиях на босу ногу вышел на свое приземистое крыльцо. Постояв немного, будто в нерешительности, он вынул из кармана самодельный блокнот<sup>1</sup> и погрузился в какие-то математические вычисления.

Погода была чудесная. В лазурном небе таяли сахарные облака, и солнце сверкало с таким интегральным блеском, что в глазах всё играло и прыгало, и сквозь плетень фигура Лени представлялась как бы в золотом ореоле. Но стоило приглядеться внимательнее, и всякий бы заметил, что Леня Тихомиров не просто изучает блокнот, а что есть силы туда вглядывается, и все его длинное, узкогрудое тело ритмически извивалось, а рот тяжело дышал и на лбу вздулись две жилы. Неподготовленный зритель мог бы испугаться за его здоровье, потому что эти жилы совсем уже напряглись, образуя на лбу синий остроугольник, наподобие римской цифры V<sup>2</sup>.

Тут донеслись звуки из громкоговорителя, подвешенного на главной площади на столбе, напоминая о приближении первомайского праздника, и эта боевая музыка возвратила Леню к действительности. Он сунул блокнот в карман и сказал: «Ага!» Что это значило, было пока неясно. Он сказал: «Ага!» и весь обвис, и жилы у него на лбу тоже утихомирились.

Мать-старушка, звякая ведрами, выползла на крылечко и спросила, не подать ли своему единственному сыну творог со сметаной.

— Нет, мамаша, я не желаю, вы сами кушайте, — отвечал Леня Тихомиров как-то очень спокойно. — Я лучше пойду на тощак слегка прогуляюсь...

В его голосе сквозила неподдельная интонация.

Больше в то утро на том крылечке его никто не видал.

Но перенесемся теперь на главную площадь и посмотрим, что там. А там уже всю гремит боевая музыка, и возвышается посередине большой фанерный ящик, обтянутый красной материей, и на тот огромный-преогромный красный фанерный ящик вылезло все начальство со светлыми лицами. Ждут, когда взойдет секретарь горкома товарищ Тищенко Семен Гаврилович, возвестив своим появлением начало праздника.

Все пространство очищено, мокрые места посыпаны и не видно ни одной коровы или хотя бы овцы, щиплющей раннюю травку. На каланче гордо реет алый стяг, а внизу шеренга милиционеров из пяти единиц — весь гарнизон — зорко смотрит

<sup>1</sup> Испещренный мелкими письмнами.

<sup>2</sup> От этого часто бывают кровоизлияния в мозг.

по сторонам, чтобы не просочились на площадь преждевременные пьянчуги и не испортили бы своим расхлябанным видом международную демонстрацию.

Но вот уже вдали весело клубится дорожная пыль, и народ по проспекту Володарского передвигается к центру. Впереди идут дети в белых рубашечках, и кто держит флажок, кто бумажный фонарик, а кто ничего не держит, а идет себе, не потая, и грызет леденец или пряник, размазывая по щекам розовые счастливые сопли. За детьми покачиваются кое-какие трудящиеся — леспромхоз, райпотребсоюз, работники телеграфа и почты, да еще пригнали из деревни два грузовика, набитые колхозными девками. При взгляде на эту картину, в особенности на детишек, шагающих нам на смену своими бодрими ножками, товарищ Тищенко Семен Гаврилович чуть-чуть не прослезился от радости. Весь улыбается, сияет, точно он с утра блинов наелся, и делает народу приветственные знаки. То руку приложит к козырьку фуражки, то просто так порожняком стоит и головой кивает. Дескать, проходите, граждане, мимо, не толпитесь и дайте нам тоже немного отдохнуть от исполнения служебных обязанностей. И народ — очень довольный — пылит со всех ног под музыку, восклицая: «Ура! ура нашим доблестным воинам!»

Вдруг — стоп! — что такое? Никто не проходит мимо, а все толпятся у центра и смотрят с интересом на товарища Тищенко, который вытянул вдали растопыренную правую руку и приоткрыл рот, будто бы собираясь что-то произнести, и на лице у него написана внутренняя борьба. И даже радио на столбе поубавило звуки, как бы предоставляя ему свободу слова.

Сначала думали — он хочет поговорить о внешней политике, поздравить с днем солидарности и все такое. Хотя не полагается нарушать порядок и держать речи под солнцем, когда давно пора по домам, к праздничному столу, но это уже не наше дело, где чего говорить и почему у них вышла небольшая задержка. Наше дело — выслушать речь, а после и выпить можно. Выпить всегда успеется, были бы деньги. Не алкоголики — погодим, а погода — выпьем. Послушаем сперва внимательно, что нам хочет изложить товарищ Тищенко, а потом уж и выпьем без помехи, эх! и выпьем же мы сегодня! эх! и погуляем!..

Но вместо этого товарищ Тищенко сказал совсем не то. Как топор, ударил по площади его надтреснутый голос. Скажет слово и замолчит, еще скажет и опять замолчит, и потом еще скажет два слова. Будто его сию секунду дернуло за язык сделать народу экстренное сообщение, а он даже с мыслями собраться не успел и сам не понимает, куда его черт заносит.

— Дорогие сограждане! — произнес Тищенко и умолк, и стало заметно, что он волнуется. — Дорогие сограждане... я хочу... мы хотим... объявить... с этого дня...

Он дернулся, побагровел и что есть мочи, на одной струне, выкрикнул:

— ...с этого дня в Любимове начинается новая эра. Все руководство, во главе со мной, добровольно — я подчеркиваю! — добровольно снимает себя всецело с занимаемых постов. На освободившееся место я приказываю, сейчас же, немедленно, всенародным голосованием утвердить одно лицо, которое поведет нас... нашу гордость!.. нашу славу!.. приказываю... прошу...

Тут он запнулся, подпрыгнул и схватил себя за горло — в объёмку — обеими руками, словно хотел удержать льющуюся оттуда речь. Глаза его странно выпучились. Казалось, еще миг, и он рухнет, задушенный, на помост, который звенел и колыхался под ударами его тугого, крупного тела. Но, видно, власть повыше его — разомкнула оцепеневшие пальцы и отвела назад скрюченные руки, освободив от мертвой хватки помятое, в кровоподтеках горло. Он стал похож на краба с разведенными по сторонам клешнями и в этой обезвреженной позе закончил свое выступление:

— ...избрать верховным правителем, судьей, главнокомандующим, — прошептал он, свистя бронхами, — товарища Тихомирова Леонида Ивановича, ура!

Народ безмолвствовал. Было тихо. Было так тихо, что слышалось, как стучат зубы у начальника особого отдела и секретной службы товарища Марьямова Егора Тихоновича, что стоял на охране, с краю трибуны, бледный, как однорукая статуя<sup>1</sup>. Да еще на задворках, далеко-далеко, мычала не ко времени отелившаяся корова<sup>2</sup>.

Спустя полминуты, однако, то здесь, то там раздались голоса, и скоро вся толпа задвигалась, зарокотала, выражая одобрение вынесенной резолюции:

— Да здравствует Тихомиров! Слава Леониду Ивановичу!..

Правда, один мужик сунулся было с расспросами: кто такой Тихомиров и за что ему такая почеть? Но этого грубого мужика со всех сторон затолкали:

— Как? Ты не знаешь нашего Леонида Ивановича? ничего не слыхал никогда про Леню Тихомирова?! Да ведь это же наш главный механик по перетягиванию велосипедов! Стыдись! Сразу видать — из деревни, туда тебя растуда, сволочь необразованная!..

Никому не казалось странным, что вчера еще безвестный

---

<sup>1</sup> Это был тот Марьямов, у которого в борьбе с суевериями отсохла одна рука.

<sup>2</sup> Это была та корова, которая имела привычку с заднего хода проникать на площадь и незаметно пастись.

юноша, велосипедный мастер Ленья, в один момент взлетел так высоко. Напротив, все удивлялись, почему до сих пор в Любимове не предоставили Леониду Ивановичу какую-нибудь руководящую должность и как посмело наше безмозглое городское начальство не оценить по достоинству его организаторский ум?!

— Это все Тищенко виноват, — говорили в толпе. — Он первый не давал проходу нашему бедному Лене. За то и поплатился... Видите? Видите? Стоит, парализованный, и ручищи свести не может. Сгорбился весь, растопырился, ровно печной ухват. Растопыр! вурдалак! поганка гнилая!

Услыхал эти слова один спящий младенец, сосунок еще двухмесячный, головку еще не держит — одна молодуха прямо в пеленках его с собой прихватила демонстрацию поглядеть. Так вот он проснулся, выпростался из пеленок, ощерил до ушей свои беззубые десны, да как запищит:

— Хочу, — говорит, — требую, чтобы Ленья Тихомиров был в нашем городе царем!

Гром аплодисментов заглушил его детский лепет. Народ, обезумев, дружно хлопал в ладони, повторяя хором, по складам, дорогое русское имя:

— Ле-ня Ти-хо-ми-ров! Ле-ня Ти-хо-ми-ров!

И тогда, делать нечего, — из толпы выступила фигура Лени. Он был в своем костюме стального цвета<sup>1</sup>, но вид имел застенчивый и как бы немного сконфуженный. Выйдя на середину поля, он поклонился по-старинному на все четыре стороны и сказал:

— Извините, братцы-товарищи, я просто не понимаю, кого вы тут выкликаете в мой адрес. Я просто недостоин такой вашей ласки. Но если вы так желаете и даже требуете, то мне остается дать вынужденное согласие. Буду вашим слугой по воле народа, и, пожалуйста, — никаких последствий культа личности. Должность министра юстиции, обороны и внутренних дел я тоже попросил бы оставить пока за мною. Конечно, государство — понятие отмирающее, но без контроля, братцы, нам тоже не обойтись — как вы считаете, Семен Гаврилович Тищенко, бывший наш начальник и отставной секретарь?..

Наступила пауза.

— Ленья, пусти, — простонал с высоты Тищенко. — Пусти, тебе говорю, — повторил он с угрозой, не в силах пошевелить ни одним суставом.

Ничего не ответил Ленья, только стиснул покрепче худощавые челюсти, так что на лбу выступили две жилки. Дескать, проси не проси, Семен Гаврилович, все равно я тебя никуда не пущу.

— Пусти, Ленья! — просипел Тищенко в третий раз, но уже слабее.

---

<sup>1</sup> Вот он, оказывается, для чего с утра нарядился.



Казалось, вся власть ушла из его тела. И вдруг — сказывали потом городские старухи — и вдруг — такова легенда, родившаяся в народном сознании, — Тищенко сделал переворот и упал с трибуны, как поверженный идол. Упал он с трибуны, ударился оземь башкой, и нет его, а из выемки, образовавшейся на месте падения, взвилась с громким карканьем черная птица-ворона, вся в перьях!..

— Ружье, дайте мне поскорее какое-нибудь ружье! — воскликнул Леня Тихомиров не своим голосом.

Ружья, как водится, поблизости не оказалось. Тогда Леонид Иванович, не будь дураком, разбежался и грянул в то же место всюю расстегнутой грудью, и тотчас его руки обнаружили строение крыльев, ноги укоротились и упрятались под живот, а новенький костюм стального цвета, почти не меняя окраски, пошел на верхнее оперенье. Клюв у Лени загнул, окостенел, глаза округлились, мигнули, и вот вам вполне готовый боевой ястреб рванулся в погоню за каркающим Семеном Гавриловичем. Вьются они над площадью, показывают чудеса пилотажа, народ снизу дивуется, новую власть подбодряет:

— Бей его, Леня, в темя! дай ему прикурить!..

Прижал его Леня к земной поверхности и уж когти ястребиные в черное сердце наставил — чтобы терзать, так нет, товарищ Тищенко — хлоп! — и на тебе: обернулся в лисицу, в настоящую живую лису с хвостом. Лучше бы он, сатана, зайцем обернулся — тут бы ему и крышка в когтях у нашего сокола. А против лисы, говорят, даже орел безвреден, настолько она хитра и коварна.

Видали вы когда-нибудь, как лисы бегают? Они так скачут, так петляют, что голыми руками их поймать нет никакой возможности. Но в городе товарищу Тищенко скрыться некуда: кругом дома, заборы, ноги, девки юбки задрали, чтобы нашему Лене было легче видеть всю перспективу. Чувствуя моральную помощь, Леня не растерялся и тоже — хлоп! — и взял на себя временно облик густопсовой собаки, из породы борзых. Она хоть и собака, но до того резвая, что не хуже антилопы. Рыло узкое, лапы длинные, а тело изогнуто напоподобие вензеля и, когда бежит по земле, складываясь и раскладываясь, то пишет по воздуху китайские иероглифы.

...Он схватил его за хвост, оставшийся в зубах у собаки, а лиса, не теряя скорости, перестроилась на колеса и поехала велосипедом без участия всадника, лишь пустые педали крутились автоматически. Народ попадал друг на дружку, очистив дорогу. Недолго думая, Леня принял внешний вид мотоцикла и газанул следом за... пустые педали... по мостовой... лисий хвост... лаяла... между ног... дуй до горы!.. по спицам... вся в перьях!.. автоматически! автоматически! с нами крестная сила... затрещат под мотоциклом велосипедные хрящики..

Однако мы не будем продолжать эту погоню, потому

что она, как сказано выше, не подкреплялась фактами, а была результатом народного вымысла и может рассматриваться наравне с мифом об Илье Муромце, олицетворяющем борьбу человека с природой. На самом же деле события развивались тогда по-иному, и следует возвратиться к тому месту рассказа, когда товарищ Тищенко попросил у Леонида Ивановича освободить его из-под гнета, который он испытывал.

— Пусти, Леня, — простонал он в третий раз, не в силах пошевелить ни одним суставом.

Казалось, вся власть ушла из его тела. И вдруг, словно почуввав некое послабление, он приказал отряду, расположенному под каланчой:

— Приказываю арестовать гражданина Тихомирова, и пусть смеется тот, кто смеется последний!

Лицо его, оживевшее на неподвижном туловище, изобразило здораство...

Группа милиционеров, поскрипывая амуницией, приблизилась к Леониду Ивановичу. Двое извлекли револьверы, болтавшиеся в кобурах, и, как по команде, начали громко палить, целя в радиорупор, подвешенный на столбе. После четвертой пули тот вновь заиграл, а после шестой — хрюкнул и перестал. Так была сломлена незаконная власть бывшего секретаря Тищенко.

Опустошенные револьверы были развинчены на составные части и в кумачовом платке вручены Леониду Ивановичу. Разоружение происходило в боевом порядке, в торжественном молчании, но с акробатической ловкостью. Подманив меня пальцем, Леня Тихомиров передоверил груз<sup>1</sup>.

Тем временем остальной гарнизон соорудил из еловых ветвей и флагов небольшой переносный плацдарм для триумфального шествия. Поднятый на квадратные плечи своей дюжей дружины, Леонид Иванович стал похож на бронзовое изваяние. Он мог бы процитировать вслух пророческие строки поэта, которые мы приведем здесь в исправленном и подновленном виде:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,  
К нему не зарастет народная тропа,  
Вознесся выше он главою непокорной,  
Чем бывший секретарь, товарищ Тищенко, мечтал когда.

---

<sup>1</sup> Я стоял в толпе, шагах в двадцати от Лени и, когда побежал к нему по мановению пальца и взялся руками за узел с револьверной мелочью, то почувствовал как бы легкое электрическое сотрясение. И в тот же миг у меня в мозгу прозвучал внутренний голос: «Брось этот узел в реку!» что и было исполнено в присутствии старшины Михайлова, который и теперь может подтвердить мою полную тогда душевную неменьяемость.

И буду тем любезен я народу,  
Что чувства добрые повсюду возбуждал,  
Что я в Любимове навек провозгласил свободу,  
И дум высокое стремленье всяк из вас через меня узнал<sup>1</sup>.

Проплывая мимо трибуны, где все еще торчал пригвожденный Тищенко, а прочие власти попрятались кто куда, Леня Тихомиров притормозил бравых носильщиков и наставительно произнес:

— Глядите сюда — такой удар настигнет всякого, кто осмелится посягнуть на независимость нашего города.

— Да здравствует вольный город Любимов!

Да здравствует мировой прогресс науки и техники!

Да здравствует мир во всем мире! —

Его косые глаза блуждали, волосы развевались. На лбу сиял багровый знак — римская цифра V. Через два часа городской телеграф отстукал текст:

*Всем. Всем. Всем.*

*Город Любимов объявлен вольным городом. Свобода и автономия граждан охраняются законом. Без пролития капли крови власть перешла к Верховному Командующему Лицу — Леониду Тихомирову. Слушай мою команду.*

*Леонид Тихомиров.*

---

## Глава вторая

---

### ОБЪЯСНЯЮЩАЯ ПРИЧИНЫ ПЕРВОЙ ГЛАВЫ

---

До сих пор в глубине народа не затихают споры: кем был прислан сюда этот Леонид Тихомиров и какой таинственной властью сумел он зачаровать в один день целый город? Иные видели в нем посланца Божия. С другой стороны, есть мнение, что в могуществе Леонида Ивановича замешана более бесовская, чем ангельская, сила. Но я лично твердо стою за то, что в происхождении Лени не было ничего чудесного или сверхъестественного, а все легко объясняется с научной точки зрения.

Леонид Иванович Тихомиров родился в простой рабочей семье. Родитель его служил в артели по ремонту обуви и погиб на войне от пули фашистских извергов. Мать была простой, скромной домохозяйкой. Но, говорят, в ее роду, в девятнадцатом веке, имелся один знатный барин, дворянин Проферансов, женившийся после отмены крепостного права на крестьяночке. От него-то, говорят, Леня унаследовал страсть к науке и с детских лет мастерил разные механизмы. Один раз он склепал из консервных банок подводную лодку размером в человека, на четырех винтах, если их вертеть руками и ногами, лежа в этой лодке на животе. Закономерно, что жизненный путь Леонида Ивановича привел его в семнадцать лет в велосипедную

---

<sup>1</sup> Стихотворение «Памятник» А.С.Пушкина. Обработка наша.

мастерскую. Проклеить дырявую камеру, ниппель сменить, соскочившую цепь поставить на свои зубцы — было ему все равно, как нам с вами выпить стакан пива. Да что там ниппель! Он весь аппарат мог перетягивать заново: железный пустотелый каркас взять от кровати, колеса поменять местами, а заднюю втулку состряпать из пары окурков... И на все про все максимум четыре гвоздя!..

Но главной его заботой был вечный двигатель, снабжаемый от вращения Земного Шара вокруг оси. Предварительный план машины в запечатанном письме был послан в столицу, в Академию наук. Своего ответа, как водится, изобретатель не получил: рутинеры мешали приближению будущего. Что им бессонные ночи провинциального мастера! Все эти трудности и потери Леня встретил спокойно и тосковал лишь об одном: как бы американцы не похитили вечный двигатель, что могло бы потом замедлить нашу победу.

— Зря ты стараешься, Леня, — убеждал его доктор Линде, сидя за пивом. — Вот я в прошлом году своими глазами видел доисторического птеродактиля, обитающего на Мокрой Горе. Мое описание этого вымершего экземпляра до сих пор валяется без движения где-то в центральной редакции газеты «Медицинский работник». Научные открытия мало кого задевают. Каждый думает, чем бы набить карман. Человечество, в сущности говоря, все еще находится на очень низкой стадии своего сознания.

Усы доктора Линде, пепельные от пива, имели, по его уверению, солоноватый привкус. Он облизывал их, как гурман, по-кошачьи, ярко-розовым языком и высказывал о вещах цинические парадоксы. Например, он утверждал, что человек — это бесхвостая обезьяна.

— Неправда, — возражал ему Леня твердым голосом. — Человека тоже можно улучшить...

И уходил в себя. Единственная кружка пива, которую он себе позволял, всегда оставалась недопитой...

В этих беседах я занимал промежуточное положение. От человечества у меня был опыт посильнее, чем у доктора Линде. Однако упрямство Лени мне нравилось и состояние прогресса тоже не казалось безвыходным. Уж скоро, скоро, верил я, мы завоем космос!..<sup>1</sup>

Когда-нибудь наука и не такого еще достигнет, а будет нас подстерегать на каждом шагу. Когда-нибудь простой человек простым нажатием кнопки сумеет снабдить себя всем необходимым, о чем лишь можно мечтать в наше переходное время. Нажал кнопку, и тут же, в отдельном кабинете, где ты сидишь и подпрыгиваешь на пружинном диване, — не сходя с места, как призрак, возникает столик, уставленный продуктами и

---

<sup>1</sup> История потом показала мою прозорливость.

бутылками с десертным вином<sup>1</sup>. Ты кушаешь все это подряд, кушаешь так, что лопнуть хочется, и видишь, что единственно, чего недостает тебе в жизни, так это недостает на столике кокосовых орехов, и так тебе становится обидно и одиноко из-за этого невнимания к твоей потребности, что хоть удавись... Нажимаешь кнопку, и вот, без человеческого участия, подъезжает к тебе на колесиках самоходная вагонетка, заваленная доверху кокосовыми плодами всех сортов. Но ты уже расхотел и говоришь, кривясь:

— Уберите эту падаль, не нужно мне вашего одолжения! — и вновь нажимаешь кнопку, чтобы сменить кокосы на что-нибудь поинтереснее.

В ответ на твой вызов, из люка, замаскированного под паркетом, выскакивает на шарнирах белокурая дева чудной красоты. Нажимаешь кнопку, — и все в порядке. Нажимаешь вторично кнопку — и опять все в порядке. Нажимаешь ту же кнопку в третий раз... И хотя все в порядке, но ты чувствуешь в душе какую-то тяжесть и говоришь:

— Катись ты, Люська, обратно в люк, а мне пора в путешествие подальше от цивилизации!

Нажал — Венеция. Нажал дальше — Венесуэла. Нажал совсем далеко — Венера, Меркурий или какой-нибудь Плутоний. И пока черт тебя носит по свету со скоростью ультразвука, ты сочиняешь стихи и песни про победу над космосом, пропущенные сквозь твою мозговую сетчатку специальным таким кибернатором. И говоришь, кривясь:

— Ну что, допрыгались? Достигли вершины? Начинать с паровоза, а чем дело кончилось? Лучше б мне во вшах истлеть, лучше б мне в первобытном виде вниз головой, зацепясь хвостом, на эвкалиптовой ветке качаться. Темноты хочу! Тени жажду! Ключок тени, куда бы укрыть обесчещенное лицо!..

А какая тогда может быть тень, когда повсюду, со всех сторон — свет?

И запыет человек, с тоски, в знак протеста. Регулированные государством спирты, водку, марафет воровать станет. Хулиганом станет. Кнопочки отверткой вывинчивать, провода ножиком резать, лампочки в небе из рогатки вышибать...

Чтобы этого не случилось, надо его переделать: старое сознание вытеснить, новое — вместить. И переделанный человек добровольно двинется по пути к совершенству, да еще за всю науку будет вам благодарен, и Леня Тихомиров это понял и рассчитал<sup>2</sup>. Он, Леня, догадывался, что голая буржуазная техника ни к чему не приведет, если ее не подкрепить изнутри переделкой сознания<sup>3</sup>. То есть, как это — слабо до-

<sup>1</sup> Крепкие спиртные напитки, я полагаю, даже тогда будут регулироваться с помощью государства.

<sup>2</sup> Плохо он рассчитал.

<sup>3</sup> Слабо он догадывался.

гадывался, когда он в один день мог всех переделать по собственному вкусу, и кто тут мне под руку посторонними словами мешает?..<sup>1</sup> Да кто вы такие важные, чтобы еще командовать?..<sup>2</sup>

... Так вот я и пишу, что Леня ей говорит:

— Вы мне очень нравитесь, будьте моей подружкой!

Серафима Петровна посмотрела на него иронически и отвечает:

— Я сама вижу, что вам я очень нравлюсь, но придумайте чего-нибудь более оригинальное.

А сама ленивым движением поправляет прическу, отставляя локоток так, чтобы ярче оттенить свою грудную клетку, и от этого наш Леня горит пожаром и кричит, ломая свои золотые руки:

— Я вас буду на руках носить! Я вам своими руками сломанные часики почию, и, если вы не возражаете, я так устрою все двери в нашем будущем шалаше, что они сами начнут открываться и закрываться при одном появлении...

И кричит еще:

— Я человек простой, без высшего образования, но не думайте, Серафима Петровна, я тоже разбираюсь в науке и технике, но только в нашем городе нет пока института, где бы можно было выучиться и получить инженерский диплом. Но вопреки насмешкам судьбы я тоже могу прославиться каким-нибудь подвигом, и вы тогда заскучаете, что не решились ответить взаимностью, когда все начнут вокруг меня удивляться. Да если я только сделаюсь знаменитым героем, я вам всю спальню обклею трехрублевыми бумажками, вместо зеленых обоев зелененькие трехрублевки, за один ваш поцелуй, а то повешусь...

— Вы говорите пустяки, — перебила его Серафима Петровна, притворно морщась. — При чем здесь поцелуй! Поцелуй — это банально. Трехрублевки — дешево, дурной тон. Уж если оклеивать квартиру такими смешными бумажками, то лучше — сотенными. И вообще учтите: богатство, деньги я презираю, а честолубие в человеке ценю. «Безумство храбрых — вот мудрость жизни», как сказал Максим Горький. Но смотря какой подвиг вы думаете совершить, чтобы мне было не стыдно протягивать руку дружбы и шагать с вами в ногу в жизни и в обществе. Учтите: мелкий подвиг мне не улыбается. Я не согласна с Юлием Цезарем, который сказал: «Лучше быть первым в деревне, чем последним в городе». Лучше быть сразу первым в городе. Во всяком случае, для начала город Любимов должен лежать у моих, то есть у наших с вами общих ног.

Вся ее политика сразу переменялась: на влажных губах

<sup>1</sup> А вы поменьше рассуждайте и пишите, как было дело.

<sup>2</sup> Пишите, пишите дальше, я нажимаю кнопку!

играла интригующая улыбка, в глазах был пьяный дурман, и в шлифованном аппетитном носике заключался какой-то утонченный, невыразимый намек...

— Я еще не знаю, чего бы мне совершить, — сказал Леня понуро. — В нашем городе еще не бывало таких великих людей, про которых вы рассказываете. Но я постараюсь!..

— Вот когда вы придете ко мне на щите, как Спартак, увенчанный листвою винограда, вот тогда мы поговорим более детально. Пока!.. — отрезала она категорическим тоном и, не подарив ему на прощание даже рукопожатием, исчезла, вихляясь.

Тогда я вылез из-за шкафа, где сидел и читал журнал «Новый мир», чтобы не мешать их молодому делу (а больше в нашей читальне никого не было), и сказал ему как старший товарищ:

— Эх, Леня, Леня, не связывайся ты с этой изнурительной бабой. Высосет она из тебя весь твой талант, помни мое слово. Я таких, как она, за жизнь свою перепробовал, может, человек пятьдесят. Ничего особенного. Даже еще хуже, чем безо всякого образования. Ведь у тебя, Леня, золотые руки, и за тебя любая девушка без разговоров пойдет, а Серафима Петровна, я полагаю, уже и не девушка, и, кто знает, — может, у нее уже и дети были. Она старше тебя и еще ко всему еврейка, хотя скрывает, а с еврейками, Леня, русскому человеку лучше не связываться...

Ну, он — на дыбы и пошел слюнями брызгать:

— Все это клевета, — заявляет, — клевета и невежество. Для меня все нации равны, и потом за Серафимой Петровной не замечалось еврейских повадок, и фамилия у нее самая обыкновенная, русская — Козлова, от простого русского слова «козел». А вот ваша фамилия, Проферансов, имеет иностранную форму, и еще неизвестно, кто вы такой на самом деле по национальному признаку...

Но я на него за это не обиделся.

— Дурак ты, — говорю, — и больше ничего. Проферансовы в нашем городе коренная фамилия, и в ней, если хочешь знать, затаена чистопородная музыка, старинная игра. Ты вслушайся в эту игру гармонических созвучий: ПРО-ФЕ-РАН-СОВ!! — Это тебе не какой-нибудь Чижиков или Кукушкин, а полный музыкальный пасьянс. Твоя родная бабушка по материнской линии, если хочешь знать, тоже имела счастье носить в девичестве эту редкостную фамилию, и происходит она от одного ученого филантропа, женившегося потом на крестьяночке, у которого и ты, может быть, на одну восьмушку позаимствовал культурную кровь. Мы с тобою, Леня, может быть, от общего корня пошли, но только у тебя получилось научное разветвление, а во мне сосредоточилась вся сила искусства, главный исторический ствол.

— Что же мне делать теперь, Савелий Кузьмич? — спрашивает Леня упавшим голосом. — Ведь я из-за ее красоты человека могу зарезать. Мне теперь одна дорога — в разбойники и бандиты: либо грудь в крестах, либо голова в кустах!

— А ты вместо этого книжки читай, — посоветовал я ему. — Смотри, сколько тут разных переплетов. И в каждом переплете знаменитые умы человечества делятся своим жизненным опытом. Книга — все равно, что бутылка пятизвездного коньяку: одну прочитал — вторую хочется. Всю жизнь можно читать и не соскучишься, и сам не заметишь, как время пройдет.

С того дня Леня сделался злейшим читателем. Он и раньше кое-что читывал для общего уровня. Теперь же его от книжки трактором не оттащишь, все свои механизмы в небрежении бросил и знай сидит в углу, как дикий схимник, и губами шевелит. А потом и шевелить перестал, только зрачками работает с бешеной скоростью и, бывало, за один присест усиживал по пятьсот страниц кряду, что в переводе на другое измерение означает пол-литра. А литературу он брал у меня все на тему великих людей: Коперника, Наполеона, Чапаева, Дон Кихота... Роман из римской жизни «Спартак» перечитывал раза четыре и начал постепенно зачитываться в уме и требовать уже сочинения про нервную психику и магнитную физику. Вижу: пропал человек, сдвинулся от сильной любви в противоположную крайность, так что теперь на него даже Серафима Петровна не могла оказать влияния. Прилетит в библиотеку менять приключения, а Леня из-под лампы и носа не кажет. Она тотчас к нему, будто ей интересно, про что он в книжке читает, и заглядывает, и свешивается то с одного края, то с другого, едва не задевая его грудями на какой-нибудь миллиметр. Я за своей конторкой верчусь, знаки ему показываю. Дескать, сожми пальцы в кулак — и поймана птичка. Да что толку? Сидит, как железный гвоздь в стуле, и глазами по страницам ездит взад-вперед, а на ее танцы-реверансы ноль внимания. Ну, она повьется, повьется вокруг, почирикает и прочь улетит в досаде. Мне даже неловко за него становилось, тем более, как вспомню, что он сам недавно в пылких чувствах клялся, а нынче такую женщину на сухую бумагу променял.

Эх, напрасно, думаю, я тогда занижал ее в национальном вопросе. Да ведь и занижал-то лишь ради его спасения. Потому что по себе знаю, какая сила скрыта в еврейском племени, рассыпанном по лицу земли словно изюм в пироге или перец в супе. Я бы их еще с солью сравнил, но соль растворяется, а эти сохраняют изначальное свойство, какое им Богом дано. Может, для того они и рассыпаны по Божьему миру, чтобы свою крепость явить и терпкое упрямство, чтобы мы, наткнувшись на еврея в нашей русской каше, вспоминали бы, что не сегодня история началась, и еще неизвестно, чем она может кончиться...



Ах, была у меня в жизни одна евреечка, век не забуду той евреечки! Волосы черные, мелким бесом завитые, брови тоже черные, мохнатые, как два червяка, а кожа смуглая, в желтизну, и на ощупь — сафьян. По-русскому болтала — не отличишь, а по-еврейскому знала одно слово «цорес», что значит по-ихнему горе, неприятность, тоскливый сор какой-то, колющий сердце, и от этого сердечного сору получается «цорес». И была в ней крупинка цореса, изюминка такая невыковыренная, но всажена, вмуравлена та изюминка в состав души. Бывало, смеется, ластится, а глаза печальные-печальные и от них пустыней веет аравийской или, может, Сахарой, по которой они бежали тогда с детишками, с рухлядью на спинах, на верблюдах, и всю мировую скорбь вынесли на себе и на тех верблюдах горбоносых, надменных и тоже похожих на евреев, с тяжелыми, круглыми веками.

— О чем, — спрашиваю, — ты, крошка, тоскуешь? На что жалуешься?

— А я не жалею, — отвечает крошка, — и не тоскую. С чего вы взяли? Мою четвертную вы мне все равно уплатите, да с прошлой недели за вами оставалась десятка.

То есть она говорила по правде, не разумея своим женским мозгом, что из-под черных ее ресниц, из-под верблюжьих век глядит в печальном остеклении высохшая пустыня и будто ждет чего-то, и будто зовет куда-то, хоть садись на песок и плачь безутешно от исторических воспоминаний...

По такому верному признаку всегда распознаются евреи, что они в глазах пустыню носят, и у Серафимы Петровны мелькало в лице это пустынное выражение, по которому я давно заметил ее породу. Для того и Леня Тихомиров был мною уведомлен, чтобы не иссох он раньше времени, как травинка в поле, от жгучего еврейского взгляда. Но у Лени на уме было теперь иное...

Прихожу я однажды в читальню после обеденного перерыва и вижу, он уже сидит на своем стуле и страдает с карандашом над произведением Фридриха Энгельса «Диалектика природы». А слева от диалектики покоится неизвестная книга средней толщины, в кожаном облачении такой на вид твердой прочности, что если бы этой книжной кожей подшить сапоги, то двести лет не было бы тем сапогам сносу. Спрашиваю, где взял и как называется.

— Эта книга, — отвечает Леня, прикрывая ее ладонью, — упала на меня в пятницу с потолка. Хорошо, что не в висок.

И рассказывает, как в прошлую пятницу приколачивал он в сенях рукомойник, а у них на потолке для теплоты жилища всякая древность свалена в несколько слоев: старые подметки, валенки, прохудившиеся на обе ноги, битые горшки, полушубки, хомуты гнилые, эт цетера, эт цетера. Должно быть, доски на потолке тоже порасползлись, — и вот вам результат.

Как сказала Ленина матушка, покопавшись в рыхлой памяти, неизвестная книга могла перейти на чердак по наследству от дедушки, либо отец Лени, потомственный пролетарий, заполучил ее в годы революционной борьбы, когда по всей округе разоряли гадючьи гнезда и давили в зародыше феодальный выводок.

— А ведь эта книга, — добавил я, пораскинув умом, — могла принадлежать самому барину Проферансову, который в девятнадцатом веке производил научные опыты и даже, говорят, потратил все свое состояние, чтобы поехать в Индию...

Тут, слово за слово, он и признался: книга называется «Психический магнит» и писана рукою с индийского языка красивым почерком. А написано в ней про то, как иметь влияние в жизни, пользуясь мозговой силою, именуемой «магнетизм».

— Ох, Леня, смотри, — забеспокоился я, услышав это нерусское слово. — Смотри-ка ты сам не попади под влияние чуждой идеологии. Не содержит ли эта книжица какого-нибудь колдовства, противного законам природы и научным достижениям?

Но Леня меня тотчас разуверил, сказав, что у Фридриха Энгельса в «Диалектике природы» имеются на этот счет веские подтверждения и, между прочим, написано, что сознание есть высший продукт материи, а в жизни все течет, все изменяется. Значит, сознание тоже должно изменяться и производить какой-нибудь материальный продукт...

— Так-то это так, — согласился я, подумав, — но все же на всякий случай не мешаю книжечку сжечь, покуда на нее кто-нибудь не заявил. А кожу от книги можно оставить и пустить на подшивку сапог, потому что эта кожа царского производства и ей не будет сносу двести лет.

С этими словами я хотел ее пощупать, но едва лишь прикоснулся, был отброшен в грудь электрическим током на середину читальни.

— Что же ты не предупреждаешь, что книга заряжена током? — рассердился я не на шутку, трясаясь и отплевываясь.

А Леня блеет от смеха и говорит:

— Это, Савелий Кузьмич, не она заряжена, это я заряжен волевой энергией, и сейчас я буду делать над вами научный опыт.

И вот я вижу, что комната опрокинулась, а я стою на руках вниз головою, из меня летят с грохотом ключи, медяки, спички, а пиджак свесился и трет губы. Но, удивительное дело, попав в такую позицию, я не почувствовал ни боли, ни кровяного прилива, ни даже опасения за свои стариковские немощи, точно привык всю жизнь, как чемпион, стоять вверх ногами. И в то же время у меня в сознании ничего не изменилось: я не спал и не грезил, а находился в твердой памяти и в ясном уме, испытывая в душе восторг перед способностью Лени так легко

и просто переверачивать человека. И, пританцовывая на руках (так они были сильны и пружинисты), я сказал Лене, что он молодец и что ему не надо больше уговаривать Серафиму Петровну выйти замуж, потому что теперь он может получить от нее даром какую угодно любовь. А еще он может нажимом волевой энергии вытребовать у директора велосипедной мастерской повышние зарплаты.

— Нет, мне этого мало! — возразил Тихомиров и принялся развивать идею, по которой выходило, что его прямая обязанность позаботиться о человечестве.

— Поймите, Савелий Кузьмич, ведь почему нам плохо, вернее — почему нам недостаточно хорошо? Потому что каждый думает, чем бы набить карман. Потому что не перевелись еще, к сожалению, в нашем прекрасном обществе рутинеры и бюрократы, очковтиратели, воры, стилиаги, многоженцы и декаденты. А теперь даже тюрем не надо, чтобы всех исправить и превратить нашу землю в один цветник. Я каждому внушу правильный образ мыслей, я научу их уважать труд и любить родину. Я научу их безгранично повышать свой материальный и культурный уровень...

Я стоял перед ним вверх ногами, развесив уши, и кряхтел от удовольствия. Стоять так и слушать его речи было наслаждением. Он казался мне высоким-высоким, запрокинутым куда-то назад, в правый верхний угол, и лишь одно я не совсем понимал: зачем он безумно рискует, балансируя на двух ногах, если гораздо проще и приятнее ходить на руках, которые лучше чувствуют точку опоры? Но, наверное, так надо, думал я, наверное, он жертвует своей жизнью ради нас, простых людей, и ему поневоле приходится держать голову на высоте, чтобы смотреть вперед и озирать горизонт... Но, видно, во мне оставалось какое-то сомнение, или его внушающий аппарат был еще не вполне разработан, потому что я оторвал одну руку от пола и, по старой привычке погрозив ему пальцем, сказал:

— Только ты, Леня, со своей магнетической книжкой не впади в идеализм!

— Что вы, Савелий Кузьмич! — воскликнул он с живостью. — Да я еще раньше, до всякой книжки, пришел к этим выводам, имеющим строгое научное подкрепление. Теперь мне надо только подкрепить этот магнит таким карманным волновиком-усилителем, который бы посылал мою волю и мысли на далекие расстояния...

И Леня начал толковать о взаимодействии энергий, о том, что в нашей природе существует ритмическое колебание всех частиц — начиная от вращения Земного Шара и кончая вращением мозговых полушарий. Об этом писали Дарвин, Жюль Верн и граф Калиостро. Оставалось лишь разыскать математический знаменатель этим ритмам и, собрав всю волю в пучок, излучать ее со знанием дела по одной волне. Я уже не помню

технической стороны вопроса, но помню, что примеры, приводимые Ленею, звучали весьма убедительно.

Наконец он упрятал книгу в облезлый чемоданчик и сказал:

— Теперь, Савелий Кузьмич, примите свое вертикальное положение и подберите свои вещи, вылетевшие из кармана.

Я встал на обе ноги, слегка оглушенный, растерянный, но даже не поскользнувшись, и подобрал поспешно ключи, медяки, спички.

— А теперь, старик, забудь все, что ты видел и слышал, чтобы не разболтать преждевременно тайну открытия!..

...И я забыл. И про книгу его забыл, и про то, что на руках по полу бегал, тоже забыл. Это уже потом, спустя два месяца, начали у меня восстанавливаться кое-какие штрихи и краски из той картины, которую я тут нарисовал. Да и то, может быть, еще не все во мне восстановилось: как сейчас узнаешь, проверишь? А тогда, в первый момент, мне показалось, что я только-только припелся в читальню после обеденного перерыва, а Ленья уже сидит на своем стуле. Правда, я удивился, почему у меня руки грязные, липкие и болят, а в животе ощущаются слабость и тошнота. Пиджак тоже сидел на мне как-то косо. Но в мозгу был полный порядок, и я подумал, помнится, что вот и старость подходит, помирать пора.

Подпрыгнул к Лене и вижу, что он тоже сидит какой-то квелый, зеленый и пот со лба носовым платочком утирает. Видать, заучился совсем.

— Что ты, Ленья, читаешь? — говорю.

— Да вот, — говорит Ленья, — читаю «Диалектику природы» Фридриха Энгельса.

— Ну и что же, — говорю, — Фридрих Энгельс говорит в своей «Диалектике»?

— Он, — говорит Ленья, тыча в Энгельса, — говорит, что все в жизни течет, все изменяется, а сознание, говорит, есть высший продукт материи.

— Это он правильно говорит, — говорю я Ленею. — Это он хорошо говорит. Ты, Ленья, запомни это или запиши на бумажку, что сознание есть высший продукт...

И брак — в обморок... Очнулся, смотрю — все тот же Ленья с испуганным лицом на меня изо рта прыскает. Заботлив он к людям был, наш Ленья Тихомиров, уж так заботлив...<sup>1</sup> Он понимал...<sup>2</sup> Тыфу ты пропасть, опять этот голос из подземелья!..<sup>3</sup> Может, и с потолка, откуда мне знать, где вы

---

<sup>1</sup> Не вижу тут никакой заботы.

<sup>2</sup> Ничего он не понимал.

<sup>3</sup> А может быть, — с потолка?

тут скрываетесь, и вот уже второй раз...<sup>1</sup> Эй, не слышу! Громче, громче! Как вы сказали?..

— Я говорю — мы с вами знакомы, Савелий Кузьмич.

— Зна-ко-мы? Но я никого не вижу, лишь рука по бумаге выписывает какие-то каракули...

— А помните, мы беседовали на раскопках в монастыре? Помните встречу с профессором?..

— Так вы тот самый профессор?

— Да.

— Ой! профессор! здравствуйте! как поживаете? А я вас не узнал... ведь столько лет... Пойдите, вы уже тогда, в 26-м году, стариком были... Ведь вы, извините, по времени уже помереть должны... Как же так?!

— Всякое бывает, сударь...

— Господи, спаси и помилуй! Владычица!.. А перо-то окаянное так и строчит, так и строчит — пальцы не расцепишь... Извините, профессор, вы, случайно, не хвостатым ли будете?..

— Ну зачем же?

— Мало ли зачем... на всякий случай... И не с рогами?..

— Нет-нет, смею уверить — вы заблуждаетесь.

— Как же вас величать-то прикажете?

— Зовите меня по-прежнему — профессором. Не стоит запутывать рукопись посторонними именами, событиями. И так мы с вами уже несколько отвлеклись<sup>2</sup>.

— Тогда знаете что, профессор, покажитесь мне на минутку в натуральную величину. Чтоб я не сомневался, что это — вы, чтоб я вас опознал, увидел... Надо же повидаться...

— Нет, это излишне.

— А вы меня видите?

— Зачем мне вас видеть, когда я вами пишу?

— Вы мною пишете?! А что же я делаю?

— Ах, Савелий Кузьмич, какой вы, право, несносный...

Ну хорошо, хорошо, мы с вами пишем совместно, слоями.

— Слаями?!

— Да, слоями. Фокусы русской истории требуют гибкости, многослойного письма. Помните — на раскопках, в монастыре, один исторический пласт обнажается за другим: подметки от 18-го века, битые горшки от 16-го? Так и тут. Нельзя же все копать на одном уровне... Вот вы сами то и дело прибегаете к сноскам, к отступлениям, роете норы, погреба для сохранения фактов. Я вам помогу и часть описаний охотно возьму на себя. То есть писать-то, конечно, будете вы, но мысли через вас потекут совсем из другого бассейна. Не спорьте, мне уже при-

---

<sup>1</sup> .....

<sup>2</sup> При этих словах я почувствовал, как перо будто дернулось в моей руке, но я его удержал и продолжал гнуть свою линию.

ходилось поправлять и направлять вашу руку, иначе бы вы сбились и заехали Бог знает куда. Ну как вы, например, представили этого Тихомирова? Мудрецом каким-то, волшебником, в то время как ему выпала роль исполнителя, пускай талантливого, я согласен, но всего лишь исполнителя. Ведь не свою же власть он захватил город!

— Чьей же еще?

— Моей.

— Это вы бросьте! Так я вам и поверил! Может, вас-то и нет совсем. Может, у меня от всех переживаний раздвоение в голове началось, и я тут не с вами, не с профессором, а с самим собой разговариваю. Где уж вам над Леной, над русским Геркулесом, командовать!..

— Почему же непременно — командовать? Не лучше ли — одалживать? Нас всех наделеляет силами кто-то постарше нас. Вот вы же сейчас пишете при моем участии, во многом индивидуально, однако, с моею помощью.

— Не нуждаюсь я в вашей помощи! Я и без вас могу! Стисну перо покрепче и начну-ну-ну сам сын сон, сам-сон, Самсон Самсонович, отпустите, пусть, капуста японская, геркулябия, кулебяка, сколько стоит, без пяти двенадцать сказала королева и самолет с жутким ревом вычирнул из-за леса, из-за леса — леса темного, калинка-малинка моя, в саду ягода-малинка моя...

— Довольно, Савелий Кузьмич, вы же пожилой человек... Вот к чему приводит людская самонадеянность. Так что не будем ссориться и повторять рискованный опыт Лени Тихомирова. Это же смешно — в вашем положении, когда город Любимов почти...

— А ты кто такой, что все критикуешь?.. Ты что — ангел? Господь Бог?

— Ну зачем же?.. Вы сгоряча не понимаете, о чем говорите... Просто мне жаль этот милый город, я тоже здесь обитал, здесь прошли годы моей...

— Одно лето, профессор, одно лето!

— Не только. Мне случалось и раньше бывать в Любимове...

— Что-то не припомню.

— Вас тогда, сударь, на свете не было. Впрочем, чтобы не задавать загадок, моя фамилия — Проферансов.

— Нет, уж позвольте!.. Моя фамилия — Проферансов! Ведь говорил я, говорил — не с вами я, а с самим собой разговариваю... Нахал какой! Не отдам! Все забрали. И город уже чужой, и Леня Тихомиров, и я уже пишу не сам, а под диктовку... Но фамилия остается моей! Моей и ничьей больше. Один здесь Проферансов, один во всем городе... Стойте, прошу прощения, совсем забыл... Может быть, вы тот самый Проферансов?

— Да, тот самый Самсон Самсонович Проферансов.

И прежде чем перо выпало из моих пальцев, я услышал в воздухе короткий сухой смешок и написал:

— Хе-хе...

---

### Глава третья

---

## ДЕНЬ ПОБЕДЫ

---

Я прихожу в этот город на ранней, ранней заре. Когда солнце еще не встало над монастырской стеной и все покрыто серым воздушным слоем, пеленой, туманом, — правильнее сказать, когда любой предмет источает последнее ночное тепло и мерцание, окутывающее его грубый темный костяк наподобие мохнатого кокона.

Мохнатые дома и заборы кажутся выросшими в полтора раза, мохнатые потоки воздуха стелются по земле, и все становится большим и добрым, как в сказке, и все шевелится, и ползет, и расползается перед глазами, точно нет уже у вещей опоры и власти.

В этот час у людей сон крепок, потому что во сне вещи твердеют по мере того, как снаружи в них убывает сила. С вытянутыми босыми ногами, на спине и на брюхе, люди неподвижны, словно покойники. Но это они лишь с виду такие тихие, а что с ними делается там, внутри, под прикрытием надбровий, куда они удалились спозаранку, вереницами, затаив дыхание?.. Там теперь праздник, беготня, толкотня, кипят страсти, звенят бокалы и какой-нибудь малокровный бедняк верхом на губернаторской дочке совершает в который раз мировую революцию.

Вот он вздрогнул, пожевал губами приснившееся пирожное и задышал часто-часто, с надрывом. При взгляде на его бледное трепещущее лицо, на воспаленные жилы, прорезавшие испитой чахоточный лоб, чудится, что сию секунду он вскинется с отсыревшего ложа и, не размыкая век, шагнет на улицу. Нет, на шагнет. Они не сдвинутся со своих мест, эти босые мертвецы, присосавшиеся к снам. Посмотрите, как бледны, как бескровны их тела. Кровь отлила туда, где сейчас праздник, где справляются свадьбы, поминки, гремят залпы салюта и губернаторская дочка, только шепни ей на ушко заветную просьбу, сама при всех гостях поспешит подставить под тебя фарфоровую вазу.

Спешите, спешите спать! У вас мало времени. Уже крыши на бывшей Дворянской возымели грозный металлический отблеск, уже прогремел вдали первый залп Авроры и красные лихие знамена взмыли над монастырской стеной. Не пройдет и часа, как вы проснетесь нищими, обворованными, в одном белье, и, протерев глаза, удивитесь, куда девались все сказки, все твои сладкие грезы и состязания, город Любимов, никогда, даже в свои лучшие времена, не подымавшийся до губернского

чина. Заштатный город, уездный город, районного значения город, потерявшийся в оврагах, в болотах, в низкорослых лесах, да и значись ли ты еще на географической карте или тебя давно вымарали и перекроили на новый лад, по имени какого-нибудь безвестного горюна, выскочившего из болота и пустившегося наутек, в лаптях, через всю Россию, чтобы никогда в жизни не возвращаться назад, в раскулаченную деревню, и, заслужив честным трудом звание генерал-майора, сложить боевые кости где-то под Будапештом?..

Да нет, никто отсюда еще не высказывал, и, может быть, потому так завистливы и затейливы их предрассветные сны. Вы думаете, Любимов иссяк, замер до окончания света, вы думаете, если вы изобрели часы, пулемет и прорубили окно в Европу, то ему уже больше ничего не надо и он не мечтает сам выкинуть фортель и удивить мир небывалой утопией?.. Его бы подкормить, ему бы дать волю, да подать сигнал, да подговорить и поставить на видное место надежного человечка, и вы узнаете, что тогда будет... А в самом деле — что тогда будет? Чем удивит, чем порадует этот город, если ему сказать:

— Вставай, довольно спать! День твоей славы настал! Вот тебе сила, которой достаточно, чтобы сны твои сделались явью. На, утоли свою тоску о добром и могучем царе. Я дам тебе полководца, наделенного нечувствительной властью, о которой ты грезишь вот уже триста лет...

Никто не встал при этом возгласе, который почти невольно вырвался у меня, когда я увидел скопище полуодетых, простоволосых домишек — в низине, под ногами, в летаргическом напряжении — и похолодел от внезапности моего замысла. Горожане спали, не ведая о переменах, однако дыхание в легких заметно сгустилось, поздоровело, на висках проступила испарина, на щеках зацвел маслянистый румянец. Из отверстых ртов воздух хлестал с ревом, с шипеньем, с присвистом. Казалось, повсюду расставлены большие насосы, перекачивающие запас крови из просторных ночных убежищ на мутную зеркальную поверхность дня. Но отражение было крепче подлинника, и краски, пропадавшие там, зажигались тут с удесятеренной силой. Сны ослабевали, как девушка в объятиях незнакомца. Они теряли достоинство, не понимая, что происходит, и таяли от смущения перед дерзостью соблазнителя. А попутно, вровень с расцветающими затылками, щеками, пятками, выпячивались затвердевшие бугры подушек, уступы сундуков, и вдруг весь город выпростался из тряпья и полез на сторону, кичась объемами самоваров, благородной кожурой фикусов, драчливым переругиванием дерева и булыжника.

Юноша с испитым лбом выглянул в оконце, улыбнулся своим несуразным мыслям и сказал чуть слышным ломким голосом человека, не вполне уверенного, что он не спит:



— С добрым утром, мой голубь, мой город Любимов!

.....

На вторые сутки после переворота, совершенного Леней Тихомировым, весть о катастрофе достигла города Нска<sup>1</sup>. Принес ее одорукий беглец, поднявший чуть свет заспанного, продрогшего до мозга костей дежурного лейтенанта, который немедленно, на собственный страх и риск, позвонил на квартиру подполковнику Алмазову и внятными шепотом, как принято, доложил обстановку:

— Говорит дежурный лейтенант «Б-восемь-дробь-четыре». В Любимове началось токование медведей!

— Что началось? Какое токование? — переспросил подполковник, не улавливая спросонок телефонного шифра, который он сам выдумал и ввел в служебное пользование, для соблюдения условий максимальной секретности<sup>2</sup>.

— Медведь чирикает по-калмыцки. Пора резать горло. Прибыл утопленник на саях, требуется вспрыскивание... — рапортовал дежурный с трагическим бесстрашием, и Алмазов понял.

— Задержите утопленника. Сейчас приеду и разберусь лично, — крикнул он в трубку. — Софи, где мой водолазный костюм? Pardou! Я хотел сказать: где мой револьвер?..

...В тесном кругу, в четырех стенах, облицованных дубовой панелью, состоялось строго секретное, коллегиальное совещание: товарищ О., товарищ У. и подполковник Алмазов. Запыленный Марьямов, одорукий беглец, унесший ноги из города, зараженного безумием, молот чужь. Из его сообщения следовало, что в Любимове разразилось восстание, которое, однако, избрало законный и мирный путь. Сам городской секретарь, железный Тищенко, передал власть проходимцу. Автономия в районном масштабе угодвила Любимов старорусскому удельному княжеству типа «Люксембург». Отложившаяся провинция ничего не желала кроме как подать пример скорейшего достижения будущего, ради которого вся страна выбивалась из сил.

— Ну а политические выступления были: что-нибудь насчет крупы, колбасы? — выпрашивал подполковник незадачливого очевидца.

Марьямов развел рукой.

— Насчет колбасы ничего не замечено. Тихомиров все больше хлопочет о поднятии мирового прогресса...

Тогда товарищ О. (вышитая рубашка, лысина во всю

---

<sup>1</sup> Областной центр. Находится в ста километрах от Любимова, на скрещении Энской железной дороги с Энским шоссе.

<sup>2</sup> А на весеннюю тягу он давно собирался съездить, да вот опять не привелось!

голову, улыбчивые голубые глаза, его побаивался сам подполковник Алмазов) проникновенно сказал:

— Елки-палки, тебя послушать, любимовские подонки заслужили фотографию на доске почета. А главаря следует наградить орденом, елки-палки. Но вот передо мною воззвание, отправленное по телеграфу вражеской агентурой и доставленное мне с опозданием на 24 часа, потому что нашему подполковнику было недосуг заниматься расследованием, да и праздники подошли, охота на перепелок, спиннинг, елки-палки, мы тоже понять можем, хотя иностранному языку с детства не обучались<sup>1</sup>.

Товарищ О. развернул телеграмму, завалывшуюся на почтамте, и прочитал:

— «*Всем. Всем. Всем*».

Кожа по его голове перекатывалась волнами. Морщины одна за другой убегали от переносицы к темени и там собирались в тяжелые толстогубые складки.

— Что значит «*всем*»? Если они обращаются ко «*всем*», то значит — им любы-дороги *все* помещики и капиталисты, *все* недобитые князья-бароны и поджигатели холодной войны, включая римского папу, который только ждет удобного момента, чтобы упиться кровью трудящихся масс... Читаем далее: «*Свобода граждан охраняется законом*». Как это понимать — «*свобода*? Кому «*свобода*? Куда, зачем, какая требуется «*свобода*» в свободном государстве?! Значит, им нужна *свобода* продавать родину, торговать людьми оптом и в розницу, как при рабовладельческом строе, *свобода* закрывать школы, больницы и открывать церкви по указке Ватикана и жечь на кострах инквизиции представителей науки, как они уже сожгли однажды Джордано Бруно... Не выйдет! Не позволим! Слышите, гражданин Марьямов, не позволим!! Слишком много захотели, елки-палки!..<sup>2</sup>

По мере того, как товарищ О. проникал в тайные замыслы любимовских изуверов, его волнение возрастало. С ним случилось такое: начнет говорить вяло, через пень-колоду, с усилием припоминая слова из последней брошюры на международную тему, но стоит этим словам прозвучать, — товарищ О. под их впечатлением возбуждался, вскипал и порой до того договари-

---

<sup>1</sup> Diable! — воскликнул мысленно подполковник при этом намеке на его дворянских предков и близкое знакомство с французским языком. — Опять осечка! Опять эта лысая черепаха обскакала меня на два дуплета. А я-то думал его подсесть известием о попустительстве Тищенко. Его ведь ставленник, черепаший питомец, провалившийся секретарь. Снял с себя полномочия и выдал ключи от города. Тихомиров — Тищенко — товарищ О. — о! какая цепь заговора! какая охота начедасть бы в старое доброе время с подсадными утками, hélas!

<sup>2</sup> Придется Марьямову вклеить строгий выговор за проявленное ротозейство, — подумал подполковник Алмазов. — Сам виноват, прошлапил заговор, à la guette comme à la guette.

вался, что принимался стучать кулаком, визжать и топтать ногами, сам не понимая по какому поводу.

— Ужасно я подверженный красноречию человек, — сетовал он, бывало, по прошествии кризиса. — Скажу несколько слов о происках Ватикана или о борьбе за мир во всем мире, и меня от этих слов как бы ярость охватывает. Всех бы, кажется, растерзал...

Так и теперь: не успел оратор дойти до намерений инквизиции открыть в Любимове церкви, как слушатели подняли плечи и опустили головы. Даже товарищ У., утвердительно кивавший после каждой фразы, кивал, не глядя ему в лицо. Следить за этой мимикой ни у кого не хватало духу. Нет, оно не было свирепым, это лицо, сохранявшее черты природного добросердечия и того безобидного детского самодовольства, какое свойственно простоялдину, располневшему на кабинетной работе. Но лицевая сторона у товарища О., откуда он говорил, постепенно переезжала на лысину и, не найдя места среди кишащих складок, поползла дальше по черепу, захватив бровями верхнюю часть затылка. Порвиев какая-нибудь последняя связка, удерживающая на голове оболочку, и свежий комок морщинистой ткани шмякнулся бы к ногам подчиненных. Они ждали и страшились этого мига, чувствуя, что судьба их висит на ниточке и стоит выступающему дернуться сильнее, — все полетит прахом...

Однако и на сей раз состояние напряженности не привело к роковому исходу. Разрядил обстановку однорукий Марьямов, сумрачно сидевший в углу, пока товарищ О. разбирал по складам телеграмму и его, Марьямова, шальные сведения о вожде мятежного города. Грязный, оборванный, заросший щетиной (полдня он провел в болоте, хоронясь от погони, а после без передышки пробежал сто километров и был возле Нска подобран попутным самосвалом), этот злополучный свидетель районного переворота неожиданно подал голос:

— Не откроет он церквей, — пробормотал Марьямов, пользуясь ораторской паузой. — Насчет капитализма или свободы — это как вам желательно, а вот христианскую религию, будьте спокойны, Леня возобновить не захочет. Уж это я твердо знаю — не захочет...

— Что ты мелешь? почему не захочет? — удивился товарищ О. дерзости низового работника, посмеявшего перебить его выступление грубой репликой с места.

Но в душе он был доволен помехой, потому что успел вернуть лицу нормальное расположение и, ощупывая себя, сожалел, что поддался припадку речи, которая вредно отразилась на его сосудистой деятельности.

— Не будет Леня церквей открывать, — повторил Марьямов, тупо глядя в пол.

— Ну-ну, говори, не бойся! Что ж, по-твоему, этот Леня Бога не признает?

Обычное, насмешливое, миролюбивое выражение промелькнуло в глазах областного руководителя. Товарищ У. и Алмазов с облегчением расправили спины.

— Да говори же ты, не бойся, — подтвердил товарищ У. и тоже пошутил: — Почему ваш Тихомиров в Бога не верует?

— А потому...

Марьямов встал, сделал шаг, споткнулся, выпрямился, и они увидали, как он стар, измучен и однорук.

— А потому, что Леня Тихомиров — колдун! Антихрист! Ему бесы помогают...

И воздев свою единственную руку, Марьямов широко, истоиво перекрестился.

...Когда его увели, подполковник сказал дежурному:

— Поместить в изолятор. Никого к нему не пускать до особых распоряжений. Старик немного свихнулся, но это пройдет...

И чтобы как-то смягчить бестактность своего подчиненного, он добавил, обращаясь к высоким гостям:

— По моим данным, Марьямов потерял левую руку в юности, на антирелигиозной работе. Возможно, эта травма произвела теперь обратную психическую реакцию. Что поделывать! Нервы, нервы! Таков бич нашей опасной профессии...

Алмазов двумя пальцами погладил седую прядь, искусно оттенявшую глубокий бархатный тон его прически и маленьких мушкетерских усов. По счастью, товарищ О. не обратил на это внимания. Но товарищ У., у которого были все условия для шевелюры и который мог бы иметь еще более тесный контакт с женским населением Н-ска, если бы не брился наголо из сочувствия к товарищу О., вздохнул и отвернулся.

— Елки-палки!

Голосу О. окончательно вернулись спокойная деловитость и демократическая простота.

— Вражеская пропаганда заразила ваших сотрудников. Вам надлежит, подполковник, лично понюхать эту задницу. Поедете в Любимов с отрядом. Десяток-другой молодежи можно признать у милиции. Снаружи никаких менструаций. Культурненько. Шляпы, галстуки, как в ресторане. Прогулки по свежему воздуху. Деткам захотелось на травку. Пукать из пистолетов не трэба, пока не подопрет. Пару пулеметов все ж таки прихватите, могут пригодиться. Тихомирова и других крикунов без шума вывезти. Восстановить тюрьму. Восстановить телефонную связь с Н-ском. Однако — без репрессий. Не наломайте дров. Дисциплинка. Законность. Девочек за сиськи трогать разрешаю, но больше ни-ни. Чтоб никаких последствий культа личности. Даю на всю дезинфекцию 24 часа и желаю успеха. Товарищ У. — ваше мнение?

— Я, товарищ О., совершенно с вами согласен. Могу от себя добавить по вопросу, как вы остроумно выразились — хи-хи, — менструаций. Не взять ли им в дорогу рюкзаки, удочки, щипковые инструменты, баян?.. Ведь мероприятие сугубо гражданское, по сектору спортивных, культурно-массовых развлечений. Вылазка на природу. Пикничок. Песни и пляски. И чтоб никаких последствий культа личности!

...В полдень к автобусной станции протопала рота парней — в черных, застегнутых наглухо, несмотря на погоду, пальто и в черных же, низко надвинутых, покоробленных шляпах. Из-под шляп оттопыривались здоровенные крестьянские уши. Каждый сжимал в одной руке чемодан, в другой — балалайку или рыболовную снасть. Сбоку, по тротуару маршировал Алмазов — в гетрах, с рюкзаком, в пробковом охотничьем шлеме.

— За-певай!

Красноухий тенор из первой шеренги запел:

Солдатушки, бравы ребятушки,  
Где же ваши жены?..

— Наши жены — ружья заряжены! — подхватил, было, хор и осекся.

— Ты что, Соловьев, забыл команду?! — процедил сквозь зубы Алмазов. — Запевай лирическую!..

Соловьев неуверенно запел:

Не шей ты мне, ма-а-а-тушка,  
Красный сарафа-а-ан...

Сбиваясь с ноги, рота подошла к станции. В сторонке уже ожидали три городских автобуса.

— Стой! Смирно! Справа по одному — за-гружайсь!

Стуча чемоданами, роняя шляпы, певцы полезли в машины и, как боги, разместились на мягких пассажирских подушках.

За углом свора старух обменивалась новостями:

— ...А в чемоданах — у них, девушка, ружья заряжённые, пистолеты... Два пулемета, два пулемета — мне точно известно!.. Баб ниже пояса касаться не велено... В Любимове чудотворная явилась... Епископ Леонид... Не епископ он, а блаженный, юродивый — Лентя... Церкви открывает! церкви открывает! церкви открывает!.. Помогите ему, Господи! Даруйте ему, Господи, победу над войском сатанинским, над войском антихристовым!..

В Любимове тем часом не прекращалось гулянье в честь Леонида Ивановича и его молодой супруги. С утра они распались, и эта свадьба упала, как манна небесная, на вольный город, лишь ожидавший сигнала продолжать праздник и закрепить победу веселым пиром. По правде сказать, и 1-го и 2-го

мая тоже не сидели без дела и начали-таки закреплять, как смогли, красную дату и новую эру. Да за всеми переворотами не успели распробовать, и потом — кто считает? Уж раз Леонидом Ивановичем установлена свобода в Любимове, то как же ее не отметить наилучшим образом, и зачем нужна свобода русскому человеку, если нет ему воли погулять да повеселиться всласть, на погибель души, на страх врагам, так, чтобы перед смертью, которая никого не минует, было что вспомнить?

Не любят русские люди мелочничать по углам, в одиночку, кустарным способом, в час по чайной ложке. Пускай так пьют алкоголики: американцы в Америке, французы во Франции. Они пьют, чтобы напиться — для затуманивания мозгов. Напьются, как свиньи, и — спать. А мы употребляем вино для усиления жизни и душевного разогрева, мы только жить начинаем, когда выпьем, и рвемся душою ввысь и возвышаемся над неподвижной материей, и нам для этих движений улица необходима, корявая провинциальная улица, загорающаяся черным горбом к белому небу.

И потому Леонид Иванович с Серафимой Петровной, выйдя из загса на улицу, ее не узнали. По проспекту Володарского, насколько хватал глаз, тянулись столы, убранные скатертями и заставленные чем Бог послал, не очень уж богато. Все же кое-чего поднаобирали: и пироги, и капуста, и студень, и злодейка с наклежкой там имелась, потому что хозяева ради такого случая пустили на угощение все, что было за пазухой, следуя старинному правилу, про которое сказано в одной пословице: «раз пошла такая пьянка — режь последний огурец».

Однако никто не пил, не ел, а все сидели наготове под открытым небом, на чистом воздухе, ожидаючи, когда молодые соблаговолят зарегистрироваться. Едва они появились на пороге загса, их встретила депутация городской общности, подносящая в знак изобилия каравай на салфетке и две граненые рюмки для затравки. Поздравили, пожелали успеха в совместном жизнеустройстве. И никаких выкриков с мест или пошлых намеков на их супружеские естественные потребности, или глупых прибауток языческого происхождения — было не слышать. Все носило, как предписано, вполне культурную форму: скромно, просто, но с достоинством.

Да и виндвники торжества держались так просто, как если бы они были обыкновенными людьми. Леонид Иванович ограничился перчатками мышшиного цвета и бумажной хризантемой в петлице. А Серафима Петровна даже не потрудилась осуществить к свадьбе подвенечное платье, обозначающее целомудрие, и воспользовалась светленькой шерстистой кофточкой, да захватила для приличия расписной зонтик, который придавал ей сходство с королевой на прогулке. Она, как принцесса, выступала под руку со своим принцем и поминутно оборачивала к нему влюбленный профиль.

— Леонид, смотри: каравай! И на подносе две рюмки. Bravo! Bravo! Это так по-русски! Ты должен со мною публично чокнуться и поцеловаться на брудершафт...

В предвкушении поцелуя она страстно расхохоталась. Но Леонид Иванович рукою в перчатке поднял рюмку, понюхал, критически поморщился и поставил обратно.

— Дикари! — сказал он грозно. — Что вы туда нацедили? и почему я не вижу вокруг плодов изобилия? Водка и огурцы! Позор! Что скажет Европа? Позвать ко мне завмага, завсклада и завресторана!..

Те уже стояли, подобрав животы, и тотчас подали рапорт о случившейся недостатке. Недоставало хмельного. Не было крупы, колбасы, кондитерских и консервных изделий, масла и мяса. Рыбы тоже не было. Комбиджир подходил к концу. В балансе пишестреста образовался дебет.

Хотя, пронзенный взглядом Леонида Ивановича, заведующий магазином тут же повинился в слезах, что утаил от народа ящик туалетного мыла и два ведра тянучек «Пограничник в дозоре», эта капля росы все равно бы всех не спасла: на складе сохранилось нетронутыми лишь запасы минеральной воды харьковского посола да третий год лежал без движения импортный перец в банках, такой на вид краснокожий, что взять его голым ртом ни у кого не хватало смелости. А еще оставались спички, зубная паста, деготь и полезный от малокровия витамин «Це»...

— Все раздать населению! бесплатно! за мой счет! — приказал Леонид Иванович оробевшим снабженцам. — Ну, что стоите? Народ праздновать хочет. У народа проявилась потребность выпить за Серафиму Петровну, которая нынче сделалась моей законной женой. Прошу любить и жаловать... Сегодня — я угощаю! Я накормлю город...

По его лицу пробежала мысль, похожая на судорогу.

— Подать бутылку харьковского напитка, застрявшего на складе без внимания публики. Доктор Линде, снимите пробу, чтобы все убедились в ее химическом вкусе!

Доктор Линде отделился от свиты, сопровождавшей Леонида Ивановича, и накапал столовую ложку харьковской минеральной воды, которая, как всем известно, размягчает стенки желудка, но не дает утоления уму и сердцу. Сотни глаз внимательно следили за тем, как доктор, вытянув шею и растопырив усы, глотает пробу. Он глотнул, поперхнулся, облизнул ложку, подумал и воскликнул изменившимся голосом, не допускающим фальсификации:

— Это — не вода для желудка... Не минеральный напиток... Это — самый чистый медицинский спирт!..

Да! случилось чудо: вода превратилась в спирт. То есть на самом деле, где-то в глубине существа, она как была водою

харьковского производства, так и осталась ею по своему фабричному качеству. Но изменились ее роль и место в жизни общества, ее воздействие на чувство выпивающего человека. Под воздействием Леонида Ивановича каждый выпивающий испытывал в душе полноценное ощущение жгучести и сотрясение в организме и, потрясенный, продранный до нижнего позвонка, говорил, выдувая воздух: — Ф-ф-ф-у! Вот так штука капитана Кука. Жгется, словно огонь, а во рту такое чувство, что расцвели розы. Такую красоту просто жаль заедать гнилым огурцом. Ей подобает семга, балык, поросятина. А еще было бы слаще, еще впечатлительней пустить ей вдогонку ломтик мелкокалиберной краковской колбасы довоенного образца, от которой — при одном воспоминании — слюна слипается, как сметана, и внутри все скользит, язык съешь!..

И вот не успели стихнуть пожелания трудящихся, как столы покрылись роскошью сказочной сервировки. Неизвестно откуда ниспосланная перемена блюд произошла так внезапно, что человек с огурцом в зубах вдруг чувствовал всеми фибрами непреодолимый колбасный привкус и, не веря себе, выплевывал огуречный огрызок на скатерть и вопил, как зарезанный:

— Батюшки — колбаса! Родимые — колбаса!

Люди ели и плакали, и гудели набитыми ртами похвалу доброте и щедрости Леонида Ивановича. Рубленая капуста походила на буженину, картофель в мундире не уступал бархатистому персику. Но особенную аппетитность имел краснокожий перец в банках, прѣвосходящий цветом и сочностью жареную говядину. Эта мясная новинка появилась в таком избытке, что, иные кутили на радостях ее уже и собакам под стол метали, да только зря пыжились и переводили продукт. При виде красных обрезков городские псы отворачивались и поджимали хвосты — волчья порода...

— Ешьте, друзья, пейте и ничего не бойтесь, — приговаривал Леонид Иванович, делая рукою в перчатке широкий жест. — У меня провианта на десять лет заготовлено. Каждому по потребности...

В паре с Серафимой Петровной, в окружении доверенных лиц, он двигался вдоль трапезы церемонной походкой и всюду вносил бодрое, жизнерадостное настроение. Там подбросит в тарелку порцию баклажанной икры, здесь создаст условия к танцам под звуки вальса, этого приструнит, того подтянет, — и все это едва заметным кивком головы, движением бровей, не прикасаясь руками.

Ему для управления городом не было необходимости самому следить за порядком и разрываться на части. Службу связи несли дети, наученные патрулировать стаями и врассыпную по улицам, что сообщало делу контроля дух игры, пробуждавшей детскую ловкость и любознательность. Два десятка юных разведчиков, рассаженных по чердакам, вели наблюдение



за городскими окрестностями. Другие в роли гонцов доставляли факты, вызванные трением общественного колеса.

— Дядя Леня, дядя Леня, на Гурьевом огороде тетю Дашу Голикову чужой мужик лапает! — доносил с разбегу резвоногий связист.

И тотчас получал в награду конфету «Пограничник в дозоре», либо питательный шарик витамина «Це». А в направлении дальнего Гурьева огорода летел укоризненный взгляд Леонида Ивановича, и одного молниеносного взгляда, посланного туда, было довольно, чтобы остановить безобразие. Чужой мужик, спяну напавший на беззащитную Дашу, выпускал из лап ее слабое тело и говорил, отступя:

— Извините, мадам, мое некрасивое поведение. Больше это никогда не повторится, клянусь вам своею честью!..

А вырванная из пасти у льва девушка, вместо того чтобы устраивать базар, отвечала со скромностью:

— Ничего, ничего, пожалуйста... Я даже не успела заметить... Вот, если хотите, мой адрес и фотокарточка.

И могущий получить скандал кончался ничем.

— ...Леня, прикажи для старушки подать астраханскую воблу, давно я не ела воблы! — прокричала одна старушка, выпрыгнув на середину гульбища.

Она была нетрезва, эта боевая старушка, в подоткнутом сарафане и громоздких, искривленных, как вспаханная земля, сапогах, которые удерживали ее за ноги, не позволяя взлететь, и она в сапогах раскачивалась, как деревцо на ветру, и, хныча, просила воблу, без которой и жизнь ей была немила и смерть не манила.

— Ладно, Матрена, будет тебе вобла, — пообещал Леонид Иванович и хотел было ткнуть взамен какую-нибудь хлебную корку.

Но вобла в наших местах такая редкая птица, что требует заменителя, который бы выделялся на общем фоне, словно купчиха на паперти. Он достал из кармана тюбик зубной пасты.

— Где ж у ней голова, пузырь? — изумилась старуха.

— Дура, это — паста! Говоря простым языком, вобловое тесто. Без костей, без пузыря, одна мякоть. Видишь, написано: «Зубная паста». Для беззубых. Для таких, как ты!

Он сам отвинтил тюбик и выдавил густую спираль, сам размазал: на, старая, жри, соси, наслаждайся и помни Леонида Ивановича!..

В его глазницах пролегли палевые тени усталости. Чело, увитое струйками пота, жестко поблескивало. И чем разгульнее становилось вокруг и ширилось людское довольство, тем крепче сдвигались брови у властелина города и, как ножницы, вперялись в толпу серые косые глаза<sup>1</sup>. Он один посреди пира

---

<sup>1</sup> Еще бы! За нашим народом нужен глаз да глаз.

был угрюм не ко времени, все посматривал на часы и все подавал жару, точно спешил сыграть свадьбу до наступления сумерек.

— Объявляю: в течение тридцати минут по реке Любимовке потечет шампанское. Высшей марки. «Советское шампанское». Кто никогда не пробовал — про вкусноту и аромат спроси у соседа. Не пугайтесь, это — новое достижение техники. Я перекрою русло, и вино польется рекой. Запомните: удовольствие — ровно 30 минут. Засаекаю время. Идите и пейте! Стойте! Не все скопом! Вы передавите друг друга, скоты! Детей пить запрещаю. Инвалидам — вне очереди. Черпать стаканами. С ногами в речку не лазить, а то потонете. А ты куда, Савелий Кузьмич? Назад! Воротись немедленно! Твое место здесь, подле меня, рядом с доктором Линде.

— Да я, Леонид Иванович, думал хлебнуть разочек, испытать, какое счастье в нашей тухлой речонке, и бежать обратно к вам, как вы велели, — отвечал Савелий Кузьмич, подавшийся, было, вслед за темной массой, забыв о долге и титуле главного историографа.

— Что ж, я хуже других? — продолжал он, кивая на берег, откуда уже доносились веселый плеск и гогот и летели под облака оранжевые брызги шампанского. — Разрешите отлучиться на две минуты. Товарищ Тихомиров! Государыня, Серафима Петровна!.. Все пьют, все пьяные. А разве ж я — не человек?<sup>1</sup>

— Человек, человек... — пробормотал Леонид Иванович и прикрыл веки.

На мгновение ему показалось, что все перед ним крутится, словно на карусели. Должно быть, подумал он, торопливое опьянение этих слабых, наивных и невежественных людей заразило меня. Или я один попал под свой гипноз, а все они здоровые, трезвые, и только мне, захмелевшему от безумной мечты, представляются вереницы столов по городу, и возгласы на реке, и эта свадебная прогулка, и легкая победа над сердцем женщины, еще недавно такой равнодушной к моим искренним уверениям...

— На тебе лица нет! — ужаснулась Серафима Петровна, не сводившая нежного взгляда с молодого мужа. — Выпей что-нибудь. Мы подкрепимся вместе. Я сама приготовлю пастеризованные бутерброды...

И она взяла с лавки трубочку зубной пасты, недоеденную старой Матреной.

— Не смей! — закричал Тихомиров и — пришел в себя. — Мы поедим дома, — добавил он спокойнее, окидывая косым

---

<sup>1</sup> Враки! Не было этого! Я сам не захотел. И потом — почему обо мне, на моем же месте говорится неуважительно — «он»? Разве я не человек?..

глазом поредевшую свиту. — А теперь, товарищи, пройдемся к монастырским руинам и посмотрим на панораму сверху вниз. Тут слишком пахнет. Шампанское выделяет пары... Но нас, руководящих и доверенных лиц, нас не тянет, нам не хочется, не должно хотеться, понятно?!. Тем более тебе, Проферансов, не пристало бегать, как маленькому, за вином и за водкой. Пора отвыкать<sup>1</sup>. Твоя задача писателя, городского историографа — неустанно изучать действительность в ее неуклонном развитии и давать каждому факту правдивое отражение. Будь нашим зеркалом, нашим Львом Толстым, которого ведь недаром прозвали в народе «зеркалом революции». Взгляни вокруг себя, проникнись окружающей жизнью и потом отрази ее выпукло в исторических мемуарах...

Город лежал перед ними, как лоскутное одеяло, перебуторенное и брошенное в вакхическом беспорядке. Красные флаги и скатерти, малиновые сарафаны, подбитые ветерком, спорили с озимой зеленой сельского хлебопашца, которая с вышины небес вклинивалась в ложбину, рассекая надвое железную голизну кустарника. А если еще учесть излучины и рукава реки бутылочного цвета, облепленные там и сям роями горожан, да прибавить к ним искривление улочек, тупиков, задворков и съехавшую набок церквушку с провалившимся куполом и ворохом воронья, полинялое кладбище в мелких крестиках и желтый гроб больницы по соседству с кряжистой темно-бурой тюрьмой, пустырь в мусоре и безлюдный проезжий тракт, блистающий на раздолье серебристыми змейками непросохшей грязцы, плюс каланча на выгоне, заборы, возня собак, плюс гармоника с придурью, кудлатый дым из трубы и над дымом — мчащиеся, будто кони, круглогривые облака, — если, повторяю, все это сложить вместе и как следует стасовать, то мы получим картину, открывшуюся взорам нашей изумленной публики.

— Картина, достойная кисти живописца! — объявил Проферансов и перевел дух. — Сбылась, исполнилась вековая мечта народа. Вот они — молочные реки и кисельные берега! Вот оно — Царство Небесное, которое по-научному правильнее называть скачком в светлое будущее. Никогда еще в истории человечества не было такой заботы о живом человеке. Никогда еще...

— Благодарю, достаточно, — прервал его Тихомиров и потрепал по плечу. — У тебя, старина, неплохой слог. Запиши на бумажку, потом покажешь.

Он сделал знак приближенным удалиться на сорок шагов и оставить его вдвоем с прекрасной Серафимой Петровной.

— Видишь ли, дорогая, было бы нежелательно, чтобы Савелий выбалтывал запросто мои мысли. Но то, что он говорил тут по внушению свыше, недалеко от истины. Помнишь, я

---

<sup>1</sup>С тех пор я пью только пиво.

тебе обещал подарить, — ни много ни мало — город Любимов? Нет-нет, ты не можешь отказываться от свадебного подарка... Вот он лежит покорный у наших ног. Покорный и одновременно — представь! — свободный, вольный город и в придачу — счастливый город, потому что я, я! регулирую все его помыслы и желания. Эти люди бесплатно пользуются редкой пищей и вином, которое к тому же безвредно для их здоровья, и не испытывают чувства зависимости, угнетения, а полны доверия к нам и детской любви. Я мог бы их заставить таскать на спине кули и рыть каналы орошения, но — не хочу. Я снисходителен даже к слабостям моих сограждан. Отныне у нас в городе не должно быть голодных, больных, печальных. И первым долгом ты скажи мне — ты довольна, ты счастлива?

— Да! — прошептала она, склонив личико, миловидно порозовевшее, к нему на грудь, которая высоко вздымалась.

— Я так счастлива и благодарна, что мы наконец соединились, дружочек, и ты назвал меня своею перед целым городом<sup>1</sup>. Но к чему мне город и весь мир, если тебя нет? И как могла я — не понимаю — быть когда-то такой жестокой и так долго недооценивать твою гениальность, ум, доброту и внешнюю привлекательность?! Ах, Леонид, ах, я просто вся таю...

И она хотела обвить его шею своими гибкими ручками.

— Подожди! — Леонид Иванович порывисто отстранился. — Смотри: бегут связные... Сразу двое... Что-то случилось!.. Ну, что там у вас опять стряслось — говорите скорее!

— Дядя Леня, дядя Леня, на Дятловом поле, тут недалечко, чужой человек помер...

Тихомиров нахмурился:

— То есть как — помер? Это что за новости? Кто позволил? Или... может быть... ваш человек болел чем-нибудь неизлечимым... Стар был?..

— Нет, не старый, — докладывал разгоряченный подросток. — Мужики говорят — с перепою. Наглотался спирту. Даже, говорят, не размещивал, прямо так пил...

Кольцо любопытных разжалось, пропуская начальство. Доктор Линде, стоя на одном колене, спрятал дудочку в карман и развел руками.

— Финис, — сказал он, — финис. Медицина бессильна. От парня разит, как из бутылки, которую я дегустировал, и могу подтвердить: довольно двух литров этой замечательной жидкости, и вы получите самый чистый, моментальный финис. Клапаны не выдерживают.

— Брось трепаться, — хотел возразить Леня. — Мне-то известно, сколько градусов в харьковской минеральной водичке. Спирта в городе не сыщешь даже по рецепту...

---

<sup>1</sup> А ведь мог бы, кажись, не делать этого шага и получить от нее даром какие угодно услуги!

Однако не возразил, лишь осведомился:

— Чей это человек? Кто его знал прежде?

Никто не знал.

Человек лежал на земле, расставив ладошки, будто Иисус Христос. Видать, его пытались откачивать, да так и бросили, перевернув для опознания на спину, кверху носом, и черты его, не успевшие помутнеть, а в особенности голубая, неугасимая майка-футболка и брючки в елочку (одна брючина вздернулась, и были видны тесемки нехитрых пролетарских кальсон) — вызывали чувство обидного нищенского равноправия перед хозяйственной расторопностью скорой на руку смерти. Но вмешаться и проверить, правда ли от покойника, как заявил доктор, пахнет спиртом, Леня почему-то не смел и все разглядывал брючки в елочку и парусиновые ботинки, обутые на босые грязноватые ноги.

— Ведь это, Леонид Иванович, вчерашний вор из тюрьмы, — догадался Проферансов. — Вы же ему вчера сами даровали амнистию вместе с тремя другими вредными паразитами. Не наш он, не городской, и к нам в тюрьму затесался, может, по дороге в Сибирь. Зря его выпускали! стрелять таких надо, вешать!..

— Так вот ты кто? — вырвалось невольно у Лени, и арестант в голубенькой маечке ожил в памяти.

Сперва он вяло поплеывал и тянул: «Начальничек, дай закурить... Начальничек, вели выдать харчи за праздник... Причитается, начальничек...» А затем громко и внятно, словно читая статью в газете, поведал, как в Мелитополе посчастливилось ему у буфетчицы подцепить золотые часы с браслетом, о чем он сожалеет и готов исправить свой необдуманный поступок и закоренелый характер...

— Будьте людьми! Не воруйте, не убивайте, не подделывайте документов и не совершайте других преступлений, роняющих ваше высокое человеческое достоинство, — уговаривал их Леонид Иванович у распахнутых тюремных ворот. — Помните: человек — это звучит гордо!..

— ...Что ж ты, чудак-человек? — мысленно продолжал он беседу с оплошавшим воспитанником. — Выпустили тебя из тюрьмы, подарили жизнь и свободу, пригласили за общий стол, сделали человеком, а ты вместо этого напился, как свинья, и умер, испортив всем нам хорошее настроение. Выходит — было бы лучше сидеть тебе под замком, на парах, да играть в картишки с товарищами, да пить из-под полы покупную горькую водку, втридорога переплачивая неговорчивому тюремщику, и дни бы твои, чудак-человек, текли без труда и заботы? Так получается? Что ж ты теперь прикажешь всех посадить за решетку и следить в глазок, чтоб не откололи новый номер? Нет, погоди, не возражай... Свободы тебе захотелось? Какой же еще свободы, коли ты получил ее больше, чем

вдоволь? Свободы от собственной жизни, от своего ума и гибельной человеческой плоти, которая, когда выпьешь, становится легка и воздушна, так что кажется, будто ты выскакиваешь из себя и витаешь вокруг тела, словно какой-нибудь дух. Ну, что — выскочил? Свободен ты теперь?..

Он присел на корточки и, поборов отвращение, наклонился низко ко рту мертвеца. Оттуда ничем не пахло.

— Да, — вымолвил Леня в некоторой задумчивости. — Да. Может быть, ты и прав. Я что-то недоучел...

— Леонид, — послышалось сзади воркование Серафимы Петровны, — я тебя прошу... Эту смерть могут принять за дурную примету. Пожалуйста, воскреси его...

Тихомиров вскочил, лязгнув зубами, черный, ощерившийся:

— С ума вы все посходили! Я вам не чудотворец!

— Но для меня, для моего спокойствия, ты мог бы что-то сделать?..

Что он мог бы сделать — осталось неизвестным. Сигнал боевой тревоги возвестил, что пришла беда, вблизи которой выходка дорвавшегося до жизни пропойцы мигом была забыта. Часовые на чердаках с четырех сторон света рвали уши горожан горластыми пионерскими горнами.

— Тревога? Наконец-то! — воскликнул Леонид Иванович, взбежав на вершину холма и пожирая очами окрестность. — О завистники-рутинеры! Я давно ждал нападения. Хорошо, что не ночью. По крайней мере сейчас противник отлично виден.

По дороге, выющейся среди полей, медленно пробирались к Любимову подозрительные автобусы. Не отнимая бинокля, Тихомиров вполголоса посылал населению отрывистые приказы:

— Прекратить гуляние! Всем протрезветь, подтянуться, оправиться, убрать с улиц столы, посуду, снять флаги. Возможно, город начнут обстреливать. У кого слабые нервы — ложитесь спать. Разведчикам вести с чердаков круговой обзор. При появлении новых машин, конницы или пехоты докладывать лично мне.

Савелий Кузьмич Проферансов, припадая к земной поверхности, короткими перебежками добрался до командира и укрылся у него за спиной.

— Эх, Леонид Иванович, — прошептал он задыхаясь, — напрасно вы давеча велели утопить револьверы в глубине реки. Из чего мы будем стрелять? Из чего дадим достойный отпор агрессору, посмевшему сунуть свое рыло в наш огород? Говорил ведь вам: рано вы затеяли всеобщее разоружение. Вот увидите — проиграем баталию.

Автобусы один за другим скатывались в ложбину, огибая полосу темного, как мокрое железо, кустарника. От города их отделяло не более трех километров сравнительно ровного

тракта. Тихомиров, прильнув к биноклю, не шевелился. Лишь подрагивала спина, да взбрыкивались в голосе истерические ноты восторга:

— Без паники, Савелий, без паники. Мы не хотим проливать кровь. Довольно трупов! Пусть внезапная смерть опьяненного тунеядца в истории нашей борьбы послужит единственной жертвой навсегда минувшей эпохи. Что ты дергаешься, как фигляр, у меня за спиной? Уйди, старик. Не нервируй. Ступай к себе на квартиру. Все ступайте. Заприте двери, заложите окна подушками и сидите. Представьте, что вас — для вашей пользы — временно поместили в тюрьму. Скажите Серафиме Петровне: пусть приляжет и ни о чем не волнуется. Марш по домам! Слышали? Оставьте меня одного, дайте сосредоточиться. Я не нуждаюсь в помощи...

У подножья холма Савелий Кузьмич обернулся. Тихомиров стоял, прижавшись спиной к выщербленной монастырской стене. Глаза его, устремленные вдаль, за городскую черту, казалось, посылали в пространство грозные синеватые вспышки. Если бы было темно, они бы, верно, горели, как горят зрачки диких зверей во мраке ночи. Но солнце, нырившее посреди белых облаков, еще не думало заходить и бросало на одинокую фигуру Главнокомандующего порывистые лучи.

.....

— Эй, водитель! Почему не едем, водитель? Тебе ж говорили русским языком: дуй полным ходом до райцентра, застопоришь перед почтой, возле монастыря.

— Мотор заглох, товарищ подполковник. Карбюратор барахлит.

Алмазов, чертыхнувшись, выпрыгнул из автобуса. До Любимова было рукой подать. Но задние машины тоже стали, и шоферы, закатав рукава, что-то подтягивали и колотили гаечными ключами. У второго автобуса дьявол-водитель за чем-то взялся отвинчивать переднее колесо. Алмазов повертелся, пообещал шоферам по пятнадцати суток ареста и махнул рукой.

— Вылезай, ребята! Дотопаем. Учтите: мы — отдыхающие, приехали развлечься, а к стати познакомиться с отечественной архитектурой. Соловьев, надень шляпу, как положено, и застегни пальто. Пулеметы не позабудьте.

Дорога, петляя меж кустов, своротила в лес, низкорослый, заболоченный и по-зимнему необжитой. Прошлогодня ржавая травка, не успевшая сгнить, хрустела и хлопала под ногами. Повсюду, точно надолбы, торчали пни да коряги. Черные деревья возникали внезапно перед самым носом, похоже на фонтаны грязи, поднятые артобстрелом.

— Стойте, черти! Где дорога? Куда вы прете? Вертай назад в поле!

Отряд пустился в обратный путь, и не прошло четверти часа, когда подполковник понял, что они заблудились. Как это могло случиться — в дрянном лесочке, почти на краю города, который только что приветливо мелькал сквозь заросли кустарника? Чудилось, сделай в сторону сотню-другую шагов, и за стволами откроются крыши, дома, заборы и гремевший когда-то в губернии любимовский монастырь. Город прятался под боком, в оврагах и буераках, и Алмазов то явственно слышал, как перекликаются петухи на задворках и лают собаки, то улавливал ноздрями охотника дымный запах жилья и всякий раз, чертыхаясь, кидался по следу, вконец измотав команду, одетую не по сезону тепло и не по-солдатски шикарно.

— Товарищ подполковник, разрешите обратиться, — сержант Кравцов воткнул ладонь в тулью фетровой шляпы. — Ведь это нас Леша водит, товарищ подполковник...

— Какой еще Леша?

— Леша, Леня — главный руководящий волшебник здешних болотных мест. Он-то нам глаза и отвел от своей берлоги...

— Не мели чепухи, Кравцов... Отряд! привести оружие в боевую готовность!

Но едва распаковали чемоданы с автоматами и начали собирать пулемет, как в чаще что-то ухнуло, крикнуло, поднялось с пронзительным тоскующим воплем и прокатилось мелким смехом по затрепетавшим вершинам.

— Стой! Куда? Пристрелю! Перестреляю, как цыплят! — кричал подполковник, не замечая, что и сам уже бежит сломя голову за перепуганной командой. Бросив оружие, теряя шляпы, балалайки, удочки, они неслись по дикому лесу неведомо куда.

Спроси любого из них: что заставило его удариться в бегство, рискуя провалиться в трясину или глаз просадить сучком? — и никто бы не нашелся ответить, как это вышло и почему. Разве что под старость, лет через семьдесят, одноглазый мудрец на печи растолкует внукам и правнукам таинственную историю, в которую нежданно-негаданно попал батальон в лесу, и добавит дуракам в назидание, что не было еще человека, который бы разгадал и разведал, как действует нечистая сила. Зачем она гудит в трубе зимними вечерами, зачем скребется под полом и стонет в болоте осипшим нечеловеческим голосом, когда и без того на душе тоскливо?

— Это ветер гудит, мышшь скребется, лесная птица скучает о мертвом своем птенце, — скажут внуки и правнуки, полагающие, что каждая вещь имеет объяснение. Но неужто вы так считаете, любезные внуки и правнуки, что столетний дед на печи глупее вас? Что он, переживший и третью и четвертую мировую войну, и все-таки оставшийся цел, и потерявший за все это время только один глаз на военной службе, да и то налетев с разбега на еловый сук, это он-то не знает про ветер и про мышшь? Да он в мышшах разбирается лучше, чем вы в логарифмах, и



говорит с пониманием тонких различий, что мышь — мышью и болотная птица, если хотите знать, зовется выпью, а без нечистой силы все же не обойтись. Потому-то нас душит порою неизъяснимый страх, и это не страх, а черт нас схватил в охапку и несет по ельничку и заносит невесть куда, пока не натешится над нами и не наиграется вдосталь.

Нет, судари мои! Ваши деды и прадеды были не так наивны, как вам бы того хотелось. И если вам не привелось еще испытать лесной жути и оторопи, то просто потому, что по молодой беспечности вы ничего не успели в жизни понять и распознать. Но уже спутались за вами дорожки и затянулись тропинки, и вместо ожидаемых приятных домиков повсюду видны почернелые пни да коряги, и раскидистые деревья выбрасываются из-под земли, словно поднятые в небо каскады грязи. И скоро-скоро кто-то крикнет из темноты незнакомым голосом, и вы пуститесь бежать без оглядки, и дай вам Бог тогда не угодить в трясиноу...

Подполковник Алмазов присел на поваленную ольху. Размаривало. Подремывалось. Гнилые пни пахли. Пюда одевка, обувка, пропотевшая, изодранная. Накрапывал и подсыхал на припеке редкий-редкий дождичек. Подогретый, «грибной» дождик — сказали бы в июле и в августе: Но не прошла еще пора весенней тяги и ранней глухаринной любви, и не странно ли, подумал Алмазов, что в этакую славную пору не слышать птичьего щелбета и шумливого перепархивания? И едва он подумал об этой странности здешнего густолесья, подумал отрешенно, безвольно, сквозь туманную полудрему, как тотчас заметил на ветке головастую птицу грязновато-зеленистой окраски, похожую на большую раскормленную жабу.

— Вот так птица. Не птица, а целый крокодил, — сказал он безо всякого, впрочем, охотничьего азарта, почти машинально фиксируя сам факт ее появления вблизи себя и уже смутно догадываясь, что именно ей, этой птице, принадлежал тот сиплый крик на болоте, навсегда покрывший его карьеру несмываемым позором. Однако ни стыда, ни боязни, ни сожаления о минувшем он теперь не испытывал, погруженный в ленивое, истомное созерцание мерзкой твари, которая сидела, пришипившись, и грелась на солнышке, и смотрела на подполковника змеиным взглядом.

— Интересно, что сказали бы ученые-натуралисты, если б я приволок им это пугало? — размышлял Алмазов, отлично вместе с тем сознавая всю отвлеченность подобных замыслов. Не то чтобы он сомневался в своей способности встать и пойти на розыски пропавшей дороги, а попросту ему не хотелось прилагать усилий и возвращаться ценою стольких затрат к тягостной свободе живого существования. Не лучше ли, думал он, покорно отдаться на волю хотя бы вот этой гадины, чей ядовитый взгляд вливает в сердце апатию и лижет усталый

мозг блаженной лаской успокоения? Мы славно пожили и хорошо поработали, и заслужили законный отдых. «Спи спокойно, дорогой товарищ», — как принято говорить в этих случаях.

И скорее для регистрации, по врожденной дворянской порядочности, чем по тщеславному побуждению, он принялся, не торопясь, перебирать в уме свои труды и заслуги — все эти несколько мешавшиеся в его памяти банды, гнезда, центры, скиты, секты, заговоры, раскрытые и уничтоженные им за долгую кропотливую жизнь. А еще он вспоминал с благодарностью многих чудесных женщин, которые его любили и которых он любил счастливо, коротко, бурно и никогда не оскорблял безучастием к их прелестям и капризам. Почему-то все они, разве что кроме простоватых пейзажисток, милых деревенских прыскалок-хохотуш, легко перенимали галантные манеры Алмазова и называли его «поп amour» или «mon colonel», не всегда, правда, справляясь с трудным французским выговором. Теперь эти баюкающие райские голоса не волновали кровь подполковника. Без надобности и воодушевления, а только по долгу памятной мужской чести, он вызывал на последний смотр наиболее интересные лица и тела красавиц, встречавшиеся ему в жизни, и сбивался в расчете и в построении, соединяя грудь Вавы с косами Зины и все это — с королевскими бедрами Женечки Лукашевич, особенно ему примелькавшимся за последний год.

Птица начала обнаруживать признаки нетерпения. Она пружинисто размяла перепончатые голые крылья и, вытянув тяжелую голову на рахитической шее, немного прошлась по ветке, не спуская, однако, с Алмазова неподвижного змеиного взгляда. В ее ослабленном клюве виднелся ряд рыбьих зубов.

— Разве бывают зубастые птицы? — спросил себя подполковник и не стал напрягать память. Он прекрасно понимал, что спасительный порошок, принятый час назад, уже тихо и безболезненно бродит по его охлаждающим жилам, и, возможно, эта птица, внушавшая ему все большее уважение, только ждала момента, чтобы насытиться падалью. Он мог бы снять ее с дерева одним револьверным выстрелом, но ему не хотелось возиться с висевшим на спине рюкзаком, куда заботливая Софи уложила его браунинг вместе с душистым полотенцем и серебряной мильницей. В конце концов, эта птица проявляла лояльность и вежливо дожидалась развязки, не впадая в ажиотаж дурного тона и даже, вероятно, испытывая к подполковнику невысказанную симпатию. Не в силах шевелить языком, он заговорил с нею мысленно по-французски и наделял ее интимными, ласкательными именами, какими щедро дарил когда-то милых прелестниц. И ему показалось, хотя он несколько не сомневался, что это вступает в действие усыпительный порошок,

что птица понимает его и кивает с ветки увесистой головой. Затем, раскрыв зубастую пасть, она сказала не без некоторой сипловатости, но на чистом парижском наречии:

— Bonne nuit, mon amour. Vous m'avez fait un grand plaisir, mon brave colonel.

---

#### Глава четвертая

---

### ПРИЕМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

---

С того момента Любимов как сквозь землю провалился. Откуда ни наезжали начальники, сколько ни шастали по кустам, ни вымеряли циркулем карту местности, — ничего не могли найти. Одни поросшие ельником непролазные топи да размытые по весне котлованы наполняли одичавшую пустошь, где полагалось цвести городу. «Видно, расселся подземный геологический пласт, — решили, посоветовавшись, начальники, — и выступила из трещины влага — следствие ледниковой эпохи — и засосала районный центр с прилегающими угожьями и полдюжиной незначительных обезлюдивших деревень»<sup>1</sup>.

— Кабы нам годик этой мирной передышки, — говзривал Леонид Иванович, разгуливая по кабинету, — и мы бы по всем статьям государственного бюджета перещеголяли Бельгию и обогнали Голландию. А там постепенно можно подумать о расширении территории и внедрении наших идей в поголовном масштабе. Не насилием и обманом, а только живым примером и воздействием на умы прогрессивного человечества завоюет Любимов симпатию и мировое признание. Запиши, Проферансов, эту мысль в протокол нашей борьбы и достижений.

И пока Савелий Кузьмич переписывал в тетрадь исторические афоризмы, Тихомиров выбегал на балкон и напутствовал колонны, уходившие на рытье осушительного канала:

— Выше голову! Шире шаг! Веселее улыбки! Запомните: никто вас не принуждает работать! Вам самим хочется пере-выполнить норму на двести процентов. Да-да, никак не меньше! Вы чувствуете в груди подъем, в мускулах — неутомимость. Вы жаждете поскорее вонзить заступы в глину...

---

<sup>1</sup> Не ведали, не подозревали начальники, что в радиусе тридцати километров опоясан город Любимов электросигнализацией. Стоило незваным гостям переступить границу, и в штабе у Леонида Ивановича зажигались лампочки и звонил звонок, и тотчас Главнокомандующий на своем посту излучал волевую энергию в назначенный квадрат, отклоняя глаза гостей от прямого курса. Город погружался в невидимое состояние. Но куда не протянули сигнальный шнур по болоту, два лазутчика успели-таки прошмыгнуть в городскую зону. С двух сторон вкрались они в Любимов и, никем не опознанные, до времени затаились...

Когда же землекопы почти бегом устремлялись на штурм твердыни, Леня в изнеможении падал в кресло и восклицал:

— А все-таки главное для меня — не выполнение плана, не поднятие экономики, а забота о человеке! И даже этот тяжкий труд, благодаря моему руководству, рождает в них не пришибленность, но сознание титанической мощи и творческую страсть к соревнованию с подвигами Геракла. Один, один я несу бремя заботы, беспокойства, сомнений, неудовлетворенных потребностей. К тому же... сколько можно действовать мне на психику кошачьими концертами?..

Последние слова относились к бурной игре на рояле, которую затевала Серафима Петровна, затворясь в гостиной. Хотя стены барского особняка плохо пропускали звуки, они долетали порой до резиденции Леонида Ивановича, особенно ежели женщина в мечтательном уединении тешилась ариями из оперы «Кармен».

Любовь свободна. Мир чаруя,

Законов всех она сильнее!..

— пела Серафима Петровна, вкладывая в голос и в клавиши всю силу молодого, необузданного темперамента.

Любовь? лю-бовь!

Любовь? лю-бовь!

Любовь! любовьлюбовьлюбовь лю-бовь!..

— разучивала она так и эдак волнующую мелодию и доходила в ней до высшей точки, когда Кармен говорит неустойчивому возлюбленному:

Меня не любишь, но люблю я,

Так берегись любви моей!

Не прекрати Леонид Иванович эту музыку своевременно — дело кончалось руладами затяжного хохота. В штабе слышалось, как падает крышка и гудит расстроенный инструмент, и беспричинно в пустом доме смеется женщина... Старик Проферансов вздыхал и поглядывал на Леню, который, поморщившись, отрывался от руководства и посылал жене через стенку мысленное позволение войти и поздороваться. Она появлялась, бледная, подтянутая, убранная с утра в дорогой туалет, и спрашивала, устремив на своего повелителя преданный, сияющий взгляд:

— Ты звал меня, Леонид?.. Прости, пожалуйста. Я, кажется, опять помешала тебе работать, музицируя эту гамму из оперы Бизе... Не сердись, не сердись: я очень счастлива. но немного по тебе соскучилась. Ты опять ночевал здесь, в кабинете, не попрощавшись со мной... Извини, я не к тому, а просто — позволь мне тебя слегка поцеловать...

Он обнимал ее успокоительно и, выражая нежность, брал сухими губами маленькое, детское ухо и, подержав недолго во рту, выпускал. Куда мне такая роскошь? — думал он с тос-

кой, мягко сдерживая ее настойчивость. У меня на руках город, забота о человеке, денежная реформа, посевная кампания... Что ни ночь — вскакивай по звонку, налаживай кольцо обороны. Там, быть может, лесной сыч или крот задел проволоку, а я тут не сплю, потею. Ни минуты покоя. Да еще прохлаждайся с этой куклой, трать на нее часы, энергию. Могла бы подождать. Влюбилась на мою голову — теперь цацкайся...

Но унять в Серафиме Петровне жгучие чувства, которые он сам напряжением воли вызвал к жизни, было ему жаль, и он говорил, отстраняя бережно ее фигуру, как если бы она состояла из хрусталя:

— Пошла бы ты, Симочка, развлеклась каким-нибудь женским делом. Например, вопросы культуры, морали, семьи, брака входятся на твоём попечении. И не вздумай грустить. Мы встретимся за обедом. А теперь ступай, ступай. Видишь — меня ждет аудиенция посетителей...

И она весело исчезала<sup>1</sup>.

Посетители с утра выстраивались на заднем дворе в очередь, так что Леонид Иванович подумывал: не отменить ли эту древнюю русскую привычку тащиться за всякой дрянью к самому царю? Но при некотором размышлении сохранял традицию, памятуя, что сподручнее управлять королевством, когда народные нужды и чаяния находятся на виду. Впрочем, о нуждах не могло быть и речи, потому что Леня лучше самих просителей знал, чего им не хватает для полноты счастья. Приплетется вдовица просить соломы на поправку хлевушка, а он усадит ее в кресло, будто графиню, и делает перед нею удивленные глаза:

— Соломы? Для хлевушка? Кто же в XX веке кроет хлевушки соломой? А не желаете — толь, не хотите — шифер, или еще лучше — оцинкованное железо? Пожалуйста, не стесняйтесь. Но так ли я вас понял, уважаемая гражданка? Все ли

---

<sup>1</sup> Городские дамы сгорали от любопытства, сиюсья разузнать, насколько это чувствительно — жить с гением.

— Ах, сладчайшая, на вашем месте я бы не выдержала, я бы умерла от страха в первую же секунду, — признавалась жена директора любимовской средней школы, где когда-то Серафима Петровна числилась заурядной учительницей. — Гениальный мужчина требует к себе внимания, какое не всякая женщина способна оказать. Страсть и капризы гения — воображаю! — это почти как в сказке, как в клетке с тигром! Уж на что мое твердое замужнее положение, пятеро детей, возраст, опыт, но — откровенно скажу — при виде Леонида Ивановича мне кажется, у меня в груди сердце лопается. Представляю! С его запросами, с его ищущей душой, вам нужно быть балериной на сцене Большого театра... Ни о чем не хочу расспрашивать, но мой вам совет: не подпускайте к нему молоденьких девушек. Великие люди падки на красоту. Да и какая девушка сможет в чем-нибудь отказать нашему герою?

В ответ Серафима Петровна лишь загадочно улыбалась.

разобрал? Может быть, у вас имеются какие-нибудь другие претензии? Требуйте, предъявляйте! Может быть, вам опостылело содержать вашу телку и двух рослых овец, прожорливых, точно крысы, и вы мечтаете покончить с мелким хозяйством, передав весь инвентарь на общественное питание? А время, освободившееся от сушки сена и чистки навоза, вам хотелось бы посвятить изучению техники внутреннего сгорания, которая вскоре забегает по нашим равнинам, направляемая рукой раскрепощенной женщины? Правильно я угадал ваши желания, гражданинка? — говорит!

— Уж куда как правильно, в самую точку попал, всю мою внутреннюю механику выразил, — пела вдовица, помолодевшая лет на пятнадцать и растерянная от множества открывшихся перспектив, — поросенка-то у меня тоже заберите и курочек четыре штуки. Ну их к бесу. Замучилась я с ними. Лишают меня условий культурного развития. Эх, пойду я в комбайнерши, надену штаны, сяду за руль! где мой трактор?

— Не увлекайтесь, гражданочка, — регулировал Леня пробудившиеся в отсталой женщине новые интересы. — Всему свое время. И курочек ваших временно при себе оставьте. Чем сирот-то кормить будете, пока мы придумаем для каждого человека трехразовый рацион? А поросенка, Савелий Кузьмич, занеси в графу добровольного комплектования. Как звать-то его? Борька? Вот и отлично. Распишитесь за вашего Борьку рядом с телкой. У нас каждый винтик должен быть на учете, тем более в обстановке международного окружения<sup>1</sup>...

— Кто следующий? Войдите! — крикнул Леонид Иванович и присел от неожиданности. В дверях стоял подбоченясь типичный иностранный турист, каких мы никогда не видали в нашем захолустье, но зато много слышали про их методы и замашки. В кожаной подпруге на молниях, с фотографическим аппаратом на брюхе и в желтых обвислых трусиках, из которых бесстыже торчали врозь непокрытые ноги в штиблетах на каучуковом ходу, он глядел на Лению и скалился искусственной американской улыбкой.

— Имею честь познакомиться, хер Тихомиров, — произнес он, безбожно коверкая чудесный русский язык. — Их бин Гарри Джексон, по кличке «Старый Гангстер», корреспондент буржуазной газеты «Пердит интриган врот ох Америка». Моя заокеанский хозяев хошет иметь от вас маленький интер-фью.

---

<sup>1</sup> Не знал тогда Тихомиров, что два неучтенных винтика, или, вернее сказать, две залетные птички расхаживают по городу и ко всему принимают. На десятую ночь после разгрома Алмазовской экспедиции втерлись они в Любимов с двух сторон и растворились во мрак. Один из них был знаменитый сыщик-универсал Виталий Кочетов, спущенный к нам из Москвы распоряжением свыше. Второй оказался персоной другого ранга... Однако не вернее ли будет, если он сам вынырнет на поверхность и появится в дверях штаба?..

С присущей этой породе бесцеремонностью он развалился в кресле, ровно жеребец в конюшне, запалил толстую, черную, как высохшее дерьмо, сигару и начал задавать провокационные вопросы. Перво-наперво ему не терпелось выяснить, когда в Любимове утвердится прогнивший строй магнатов капитализма.

— Когда рак на горе свистнет! — отвечал Леонид Иванович коротко, но ясно.

Репортер заикнулся было насчет разногласий, которые, по слухам, привели отпавшую провинцию к военному столкновению с центром.

— Собака лает — ветер носит! — подсек Тихомиров под корень эту попытку вмешаться в наши семейные дела.

А на вопрос, не намерен ли вольный город Любимов вступить в Атлантический пакт и завязать с Вашингтоном шуры-муры, Леня со спокойным достоинством показал иностранцу фигу. У того моментально вся дипломатия из головы выветрилась, и он повел речь напрямки, без дураков, позабыв о скверной манере портить русский язык нецензурным произношением<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Тем временем столичный сыщик-универсал Виталий Кочетов, в дореволюционных лаптях и в онучах, какие нынче носят у нас лишь оторванные от жизни туняядцы, шел по соседней улице, то и дело припадая на правую ступню. Гиперболическая фуражка, затенявшая лицо разведчика, служила ему антенной, а прихрамывал он для того, чтобы по ходу пьесы посылать пяткой в эфир секретные донесения. Мы не станем оглашать позывные его передатчика и всю вибрацию изобразим обыкновенными буквами:

«Передает Виталий Кочетов. По моим данным, диктатор Тихомиров располагает сильнейшим оружием психического образца. Седьмые сутки я нахожусь на подпольном положении и почти не ем, не сплю и стараюсь, как мне советовали, поменьше думать о сексе, чтобы не поддаться окружающей идейной деградации. Мать твою за ногу! Снова выбоина посреди дороги! Эти ревизионисты успели заминировать пути сообщения. Бей пархатых, спасай Россию! Виноват. Я опять оступился на правый лапоть. Когда мое донесение пойдет на визу к начальству, прошу исправить мелкие стилевые шероховатости, извинительные в полевых условиях. Дополнительно сообщаю: город имеет свойство периодически исчезать из глаз высшего мира. Способ маскировки пока не ясен. Точное расположение может быть обнаружено с помощью авиации. Целесообразен вылет тяжелых бомбардировщиков дальнего действия. Операцию отложите до моего прибытия. Запеленгуйте меня. Спелсайте меня и лечите, если я вернусь отсюда немного не таким. Вижу пацана. Иду на сближение. Передачу кончаю. Шлю фронтовой привет любимой жене Кате и товарищу по работе Анатолию Софронову».

— Леня, ради Христа, продай нам свое открытие, — взмолился американец, позабыв о заграничном кривлянии. — Даем два миллиона! Честное американское слово — за такие большие деньги ты сможешь себе построить дворец из мрамора с золотой инкрустацией, а все подъездные пути в радиусе тридцати километров покрыть каучуковыми прокладками в метр толщиной, чтобы никакая подземная грязь снизу не просочилась. А то у нас в России такие дороги, что пока я до Любимова добирался окольными путями, меня два раза чуть-чуть полностью не засодало, и я вынужден сейчас разговаривать на государственные предметы, сидя непочтительно в одних трусах. Хорошо, по крайней мере, что прихватил я с собой из Нью-Йорка мыло «Белый клык» и ваксу «Хижина дяди Тома», благодаря которым сумел кое-как отчиститься и прийти к тебе на прием как джентльмен к джентльмену. Нам же без твоего оборудования, чью сказочную силу я наблюдаю вот уже неделю, — хоть помирай. Сам понимаешь, Ленчик, кризис не тетка, и растущая безработица тоже поджигает. Атомным ядром всех не перещел-

---

Затем Виталий Кочетов выключил рацию и гнусавым голосом затянул:

— Подайте копеечку убогому страннику...

Мальчуган школьного возраста, тащивший на веревке разбитного поросенка, отозвался не сразу:

— Тише, Борька! Ничего не слышать. Вот сдам тебя на мясо — тогда ори. Что вам, гражданин? У меня нет копейки. Или вы не знаете — всю валюту отменили. Леня Тихомиров сказал: «Деньги — это обуза, и чем быстрее мы вырвем их из нашего сознания, тем нам будет легче развивать промышленность»

— Ничего-то я не знаю, сынок. Из деревни я. Из самой дальней, сермяжной. О-хо-хо, блохи заели, спасу нет. А скажи-ка, сынок, — что это у вас в городе все копают, ломают? Эвон — у монастыря-то полстены разворотили. Уж не завод ли какой строить собрались, стратегического значения? Не зенитную ли какую воздушную батарею?

— Там стадион будет.

— Чего это?

— Футбольный стадион. Леня Тихомиров сказал: «Каждый человек имеет право развивать свои мышцы»

— Да где он прячется, Тихомиров-то ваш? Разъясни. Темный я, деревенский. Фу, как противно поросенок твой верещит!..

— Товарищ Тихомиров не прячется. Товарищ Тихомиров работает днем и ночью вон в том светлом здании. Верхние окна слева как раз генеральный штаб. Сходите к нему, папаша, просветитесь. «Каждый гражданин имеет право получить моральную помощь или разумный совет»

Когда мальчуган с поросенком удалились восвояси, Виталий Кочетов, крадучись, перебежал пустовавшую улицу и, стараясь не греметь лаптями, полез по водосточной трубе генерального штаба. Ни Леня Тихомиров, ни зарубежный репортер, ни тем более хилый старичок Проферансов, прикорнувший в уголке, не заметили, как взметнулась темная драпировка у открытого окна.



каешь, и надежнее будет взять человека за жабры — изнутри, за самый стержень души схватить обездоленного человека, да и поворотить его вспять исторического прогресса. Так что бери с меня три миллиона и ставь на стол магарыч за мои же деньги!..

Хотел ему Леня съездить по гладкой роже за такие резкие слова против прогресса, да подумал, как бы в результате личной вспышки не получился внешний конфликт и мировое потрясение. И потому он личность Гарри Джексона сохранил в неприкосновенности, но что он сделал с буржуазной психологией этого заядлого туриста! Он в ней живого места не оставил. Он схватил ее за жабры, за стержень души и повернул так, чтобы она сама себя опровергла по всем пунктам и доказала бы свою неспособность тягаться с русским человеком в критике чистого разума.

Молча, будто это не от него исходит, смотрел Леонид Иванович на преобразованного американца, который, как попка, повторял все, что ему негласно диктовалось. Некоторые тезисы этого доклада Савелий Кузьмич Профферансов успел тогда же записать, и теперь они могут служить пособием для изучающих законы исторического развития.

### § 1. О роли дорог в истории России

Некоторые горе-критики охаивают наши дороги и пытаются утверждать, что в России весной и осенью даже грузовые машины тонут, как черви, в потоках жидкой магмы. Но если мы полистаем страницы истории, то мы увидим, что кислая грязь на дорогах не однажды спасала Россию от нашествия французов, немцев, поляков и других иноземных полчищ, застрявших со своим Бонапартом в русской почве. И надо думать, со временем кто-то еще застрянет.

### § 2. О значении денег в мировой экономике

Некоторые псевдоученые ошибочно полагают, что деньги служат приманкой в развитии экономики и планомерно согласовывают алчные потребности со способностью человека гнуть спину. Но если мы сами научимся управлять потребностями, то зачем человеку деньги? — Только лишний соблазн. У человека, например, появилась потребность быть героем труда, а завалившаяся в кармане десятка шепчет ему: «Не спеши! зайдем-ка сперва дерябнем 150 с прицепом!» Когда же мы отменим денежную обузу, тогда, во-первых, не останется повода к обжорству, пьянству, воровству и другим пережиткам прошлого; во-вторых, наступит всеобщее мировое блаженство, ибо у каждого гражданина внутренние потребности будут возникать и развиваться не как-нибудь, не стихийно, а в согласованном порядке, по мере нашей способности их немедленно отovarить...

— В-третьих! — уже вслух подсказывал Леонид Иванович, горя нетерпением выразить свою идею.

— В-третьих, — подхватил американец заплетавшимся языком, — никто не сможет, в-третьих, продать родину и купить свободу ни за какие миллионы...

— А в-четвертых, — выпалил Леня, поднявшись во весь рост, — мы вот что сделаем, в-четвертых, с накопленными деньгами!..

И он повел небрежно кистью царской руки, предлагая Гарри Джексону оглядеться вокруг себя.

— ...накопленными деньгами! — договорил тот, повертел ошумелой башкой и слабо ахнул...<sup>1</sup>

Все помещение штаба было оклеено денежными купюрами сторублевой величины. Издали получались веселенькие обои, выдержанные в приятном пятнистом колорите. Но присмотревшись, вы начинали постигать, что каждое пятнышко в этой коллекции стоит ровно сотню одной бумажкой. Лишь в области печки, за нехваткой казначейских билетов одинакового достоинства, цена снижалась и глянцевого, словно только что выигранные четвертные перемежались потертыми трешниками и залапанными пятерками. Общая сумма оклейки была громадна, и прибыль непрерывно росла, потому что процесс постепенного перехода на безвалютные рельсы еще не завершился.

— Не вздумайте отковыривать, приклеено капитально, — предостерег Леонид Иванович заморского гостя, который при виде сокровищ норовил на стенку полезть.

Затем посрамленному Гарри Джексону вежливо дали понять, что визит окончен и он без помех и проволочек может чапать в свою Америку, навсегда зарекшись выведывать чужие тайны.

— Передайте от меня привет миролюбивым народам Западного полушария и скажите, что в случае чего мы их поддержим! — добавил на прощанье Леня Тихомиров и велел Савелию Кузьмичу, выпроводив иностранца, крикнуть на заднем дворе, что прием очередных посетителей переносится на четверг.

После дискуссии ему хотелось побыть в тишине со своими мыслями, которые, как муравьи в растревоженном муравейнике, роились в его мозгу и поспешно возводили многоярусные постройки. То ему представлялось, как правительства крупнейших держав складывают оружие, открывают границы и благодарные народы, сами, без принуждения, падают в его объятия. То Леня мечтал и мучился, какое новое имя подарить Любимову, когда тот будет объявлен столицей Земного Шара, и колебался в выборе между «Городом Солнца» и «Тихомиргородом». Но тут же ему вспомнилось, что волевая энергия пока что по дальности действия не превышает тридцати километров,

---

<sup>1</sup> Ахнул за драпировкой и сыщик Виталий Кочетов, созерцавший эту сцену в потайное отверстие...

и проблема универсального электромагнитного усилителя вновь и вновь вставала перед его пытливым умом.

Как бы добиться такой энергичной мощности волевого попадания, — размышлял Леонид Иванович, кусая губы, — чтобы прямо отсюда, сидя за пультом, сдвинуть все человечество с мертвой точки, а потом постепенно заняться покорением Антарктиды, промышленной обработкой иных планет?!. Человечество ему рисовалось в виде гиганта, с цветущим торсом борца, на котором изваяна гордая, вполоборота, голова мыслителя, — не его ли, Тихомирова, министерская голова? — и он был раздосадован, когда, поворотив подбородок, нашел подле себя немощную старуху со знакомой бородавкой на сплюсненном первобытном личике.

— Ленюшка! — вздохнула она. И заморгала, зашамкала в радостном испуге: — Ленюшка, я творожку со сметанкой принесла. Изголодался небось... Вот ты какой прозрачный, худущий... почернел весь...

У нее не хватало духу его обнять, и она только бегала по нему умильным, прытким взором, как будто торопливо ощупывала эту суровую худобу.

— Сама прорвалась, по задней лестнице... — ворчал Савелий Кузьмич виноватым тоном. — У меня, говорит, передача для родного сына. Передача! Что здесь, каземат, что ли — передачу носить. Ох, уж эти матери!..

Ох, уж эти матери, вечно у них на уме одна идея: как бы покормить да попотчевать родимое детище! А детище, может быть, за это время министром сделалось, властелином вселенной?! Что ей до того? Приползет в рваных калошах в царские-то хоромы и подаст узелок с нищенским гостинцем, точно ты не царь, не великий мыслитель, а всеми затравленный, неприютный звереныш...

— Располагайтесь, мамаша. Какая у вас имеется нужда-потребность?

Леня подвинул старухе роскошное барское кресло, куда обычно усаживал оторопевших просителей. Но толку добиться не смог, сколько ни выпытывал. Все у нее пустяки на языке вертелись, домашние подробности: творожок со сметанкой поешь, рукомойник в сенях опять отлетел, а приколотить некому. Неужто она не слыхала от добрых людей, какую роль он играет в современной политике? Значит, кое-что слышала и разумела по-своему, раз невзначай обмолвилась на сыновние расспросы:

— А монастырь ты, Ленюшка, куда нарушаешь? Не тобою ставлено — не тебе бы ломать...

Он даже засмеялся:

— Ваш единственный сын, мамаша, скоро начнет светилками управлять, а вы про Бога вспомнили. Мне в вашем лице сталкиваться с этими баснями — смешно и обидно. Вы же для меня все-таки не посторонний человек, а родная мать, и должны пом-

нить об этом, уважать мое высокое служебное положение и тоже понемногу расти и тянуться к свету.

Ее глаза-паучата мигом попрытались в темное сплетение морщинок и бородавок. Жалкая сидела, дряхлая, и, не зная, что возразить, вздыхала, покуда Леня объяснял ей популярно устройство небесных тел, говорил про гром и про молнию, которую дикие предки приписали Илье-пророку, тогда как на самом деле это гремит в тучах обыкновенное электричество<sup>1</sup>.

— Пойми: Бога — нет! — прошептал он мысленно, стараясь, однако, смягчить остроту удара плавной, неслышной подачей магнетического внушения. Не приказ он ей диктовал, не грозный декрет вдалбливал в засоренное сознание, а лишь незаметно повеял легким, как летний воздух, внятным любому ребенку пониманием истины...

Старуха взмокла. Она скинула платок с головы и утерла испарину.

— Нет-нет, не вздумай плакать! Не терзай свое слабое сердце! — обдувал ее Леня беззвучным, обезболивающим шепотом. — Тебе хорошо. Ты испытываешь сладкую, незнакомую легкость. Ты свободна от темных страхов, которыми тебя оплетали с детства, бедная мамочка. Не бойся, ничего не бойся: Бога — нет! И ты сама, сама, своими старческими устами вымолвишь сейчас эту благодатную, освобождающую весть: Бога — нет!

— Бога нет, — проговорила она, выкатив глаза и сопровождая речь внятными, как икота, глотательными паузами. — Нет Бога. Пророка Илью застрелили. Электричество. Гром гремит из электричества. Ленишка, поешь творожок со сметанкой. Худущий ты, прозрачный... Бога нет. И ангелов небесных тоже нетути. Херувимов. Покушай, сыночек, подкрепи свои силушки. Похудел ты, Леня, почернел... Бога нет. Творожок-то, творожок со сметанкой...

Была в ее просьбе покушать такая навязчивость, такая жалость к его изглоданной худобе, что ему вдруг показалось — убивай он мамашу медленной и мучительной казнью, она и тогда не позабудет сказать перед смертью: «Творожок-то, творожок, Ленишка, пожалуйста, поешь...» А когда на земле погаснет последняя вера в Бога и мы всем кагалом попадем во власть Сатаны, только вот это противоземное, материнское заклинание останется нам на память о горькой утрате.

---

<sup>1</sup> Что ты делаешь? — сверкнул у него в уме трепетный, точно зарница, и такой же отдаленный вопрос. Сверкнул и погас. Леонид Иванович прошелся по вечернему кабинету, собираясь с мыслями. — Нет! — подумал он так решительно, как если бы с кем-то спорил. — Прочь сомнения! Я не могу, не имею права, спасая человечество, исправляя его искривленную психику, оставить без внимания мою одинокую мать, попавшую в тиски суеверий. Нелегко нам, конечно. Трудно, товарищи. Но уж крушить — так крушить! спасти — так спасти!

Постой! — спохватился он, — где утрата? откуда утрата? что за нелепые мысли мне лезут в голову! При чем тут «всем кагалом», какой еще «Сатана», какой-то такой творожок со сметанкой?..

— Бога нет, — квакала старуха мертвенными губами, монотонно, тягостно, точно молилась. — Бога нет. Бога нет...

Уже Леонид Иванович оставил ее в покое, занятый неожиданным казусом в собственных мыслях, которые, как ему почудилось, наткнулись на препятствие и выскочили из орбиты, а она все вертела, как заводная, свою пластинку.

— Странно, очень странно, — бормотал Леонид Иванович и встряхивал головой. — Чрезвычайно странно...

— Товарищ Тихомиров, — проямлил Савелий Кузьмич, появляясь из полумрака, — позвольте я выйду покурю, покуда вы с мамашей по идеологическим вопросам беседуете. Сил моих нету: десятый час, курить охота...

В самом деле, в комнате порядочно потемнело. Тихомиров нагнулся к матери и помог ей прийти в себя. Старуха сморкалась, охала, поминала святых угодников и шаркала калошами, возвращаясь в свое нормальное, первобытное состояние. Всю науку с нее как рукой скинуло. А Ляня, будто ушибленный, в смутном расположении, торопливой скороговоркой инструктировал Проферансова: проводить мамашу до дому, приколотить умывальник в сенях, попутно — не в службу, а в дружбу — организовать для старушки два ведерка воды из колодца и тут же лететь на всех парусах обратно в штаб, потому что Леонид Иванович желал эту ночь работать. При этом он упирал на досрочное выполнение плана и торопил, собирал, провожал, путал слова, рассеивал и, видать, был не в себе.

— Может, к вам на полчаса супруга прикрепить? — осведомился Проферансов, медля покидать командира в таком сумбуре.

Однако от женского общества Тихомиров наотрез отказался. Велел, чтоб даже обедать Серафима Петровна его нынче не беспокоила: нам не до обеда!..

Смеркалось, летний день уходил, не спеша, вразвалку, и поминутно спохватывался. Возвращался и начинал сызнова собирать пожитки, слепо спотыкаясь о мебель, роняя свертки. Клубки ниток, обрывки тканей разбазаренным ворохом летают в доме, наводя на подозрение, что воздух, в дневные часы неуловимый, в потемках заселяется смутной фауной. Вот что-то свесилось, вильнуло хвостиком и, медленно разрастаясь в крупную инфузорию, дефилирует с угла на угол...

У людей с тонкими нервами сии флюиды вызывают длительный звон в ушах, похожий на струны лютни, а персты испытывают покалывание и слабо мерцают, соприкасаясь с прозрачной мимолетной материей. Но допустимо ль ее свечение принимать за игру живых созданий или, утерев равновесие, вооб-

ражать в клубящемся сумраке бледные копии астральных организмов, известные у профанов под именем привидений? Нет, подобный вздор противен опыту зрелого наблюдателя. Перед нами не призраки, а лишь вечерние отсветы обыкновенных мыслей, коими все вещи обмениваются между собою, наполняя комнату меланхолическим трепетом.

О, эти медитации и вопли вещей в пространстве! Сколь многими утешениями обязаны мы вашей мелодии. Сколь часто посреди житейских бурь и волнений вы приводили нас неприметно в надежную гавань. Потоки протяжных мыслей, источаемые каждым предметом в неповторимой музыкальной тональности, ему одному приличной, позволяют нам без труда, по волшебному наитию, постигать его назначение и место в природе.

Почему бы в противном случае мы догадывались о смысле обступивших наше сознание бесчисленных феноменов? Да мы бы сбились и спутались, не успев ступить за порог. Мы бы смешали кресло, раскоряченное посреди помещения, с грудой камней и щебня, с останками башен и пагод, что обозначились в разрезе окна фиолетовым силуэтом и манят наше внимание в иную сторону.

Но кресло, обтянутое стареньким драдедамом, в глубине души исполнено деликатной чувствительности. Оно всем существом, от спинки до изогнутых ножек, бормочет — «я — кресло» и мурлыкает, чтобы мы прилепились у него на мягких коленях и вкусили покой, забыв о катаклизмах истории. И вот мы, как бабочка на цветок, летим и садимся в кресло...

А монастырская руина, напротив, воспламеняется жестокой фантазией и способна с угрюмой твердостью сносить увечья. Она еще издали машет и голосит: «Путник, помысли подле меня над загадками мироздания!» И вот мы из кресла перелетаем к руине...

Как же после этого дерзает слепой человек нарушать необдуманном шумом гармонию бытия? Как он смеет менять русла великих потоков и крушить вековые деревья, взлелеянные для высших надобностей? Да меняйте вы на здоровье ваше собственное сознание, превращайтесь всем кагалом в винтики и колесики. Но деревья! но камни! но старух — матерей ваших убогих — слышите? матерей! не смейте трогать...

— Кто здесь? — спросил Тихомиров, опасливо озираясь<sup>1</sup>. — Кто здесь? — повторил он раздельно и четко, стремясь придать тембру подгулявших связок спокойную деловитую строгость.

<sup>1</sup> При этом возгласе Виталий Кочетов, сидевший в разведке, стремительно зажал рот фуражкой, чтобы нечаянным ответом не выдать свое убежище. Спустя минуту, однако, взглянув из-за шторы, он с удивлением обнаружил, что Тихомиров, будто фантом, маячит в отдалении и тщательно, как слепой, перебирает воздух, где плавала обыкновенная вечерняя мгла...

В штабе стояла гробовая тишина, говорящая о присутствии авторитетного посетителя, даже если он лишен очертаний и не намерен показываться в телесном виде.

— Кто тут ходит? Кто мне морочит голову? Приказываю, прошу отозваться!..

Тогда, не желая испытывать ярость его истерии, я произнес вполголоса:

— Извините, сударь, мое вторжение. Но я уже давненько слежу за вашей карьерой и должен сказать: вы злоупотребляете властью, которую в любой час могут у вас отнять так же внезапно, как вы ее получили. Не в моих правилах препятствовать человеку в его одержимости добрыми и дурными идеями, однако за ваши проделки, милостивый государь, я нахожусь в ответе, ибо так называемой магнитной силой вы располагаете с моего временного одолжения. Меня зовут Проферансов, Самсон Проферансов, и вы кое-что знаете обо мне от моего однофамильца, который почему-то считает меня своим дальним родственником, хотя для этого нет решительно никаких оснований. Он вам наплетет обо мне лабиринт небылиц, и в этих рассказах важна не фактическая канва, которую наш историограф заимствует из анекдотов, а лишь окутывающая атмосфера моей привязанности к земле, где все мы родились и куда нас погребают. Прошу не путать меня с вампирами, упырями, кликунами и другими отпрысками нечистой совести. Я...

— Руки вверх! — скомандовал он резким свистящим шепотом и послал прямой наводкой, по моему голосу, весь волевой заряд, на какой был способен. — Руки вверх! Сложить оружие! Прекратить сопротивление! Признавайся: ты — шпион? Ты — сыщик, проникший сюда в специальном скафандре по указанию центра?.. Снять скафандр, немедленно снять взглагоотталкивающую покрывку!..

Его военная бдительность меня насмешила. Он крутился передо мною, тощий, косоглазый сопляк, метящий в императоры, и, пытаясь рассмотреть впотьмах нечто, не поддающееся оптическому измерению, отчаянно храбрился. У меня было искушение дернуть его за нос или потехи ради приложить спиной к потолку, но я уже давно оставил эти, по правде сказать, довольно плоские шутки. Я только ему посоветовал хорониться шпионов и сыщиков, которые пробираются в душу и оглашают ее безмолвие разнузданным улюлюканьем. А те, что откровенно слоняются следом за вами или, притаясь за пустяковой занавеской, подслушивают вашу беседу с поздним гостем, — эти скромные статисты мирового спектакля могут несколько сдобрить пикантность положения, в которое попал человек, но бессильны заполнить пропасть постигших его превратностей. С этими словами я легонько встряхнул занавеску у открытого окна, давая понять нашему присмирившему согла-

датаю, что его роль в истории тоже не прошла незамеченной<sup>1</sup>.

— Сгинь! Сгинь! Пропади! — вымолвил Леонид Иванович в иступлении духа, и едва кто-то с треском выкатился из окна, он с бьющимся сердцем бухнулся в кресло.

Сорванная штора седым трофеем свисала на пол. Распахнутая луна озаряла сцену пустынным светом. И, по мере ее водворения в знакомой домашней раме, переполох становился простительным результатом бессонницы, размагниченных нервов, усталости и захожего ветерка, который хлопает ставнями и вскидывает занавески. Но Лёню сосало сознание, что справиться с замешательством помогла ему детская суеверная поговорка, слетевшая с языка помимо воли. Нашел чему печалиться. Не лучше ли улыбнуться этой родимой путанице, царящей в твоей голове и позволившей тебе отклониться от слишком опасной близости к тому, чье пришествие ты напрасно торопишь...

Неужто город Любимов послужит колыбелью Дракону? Неужели русскому мозгу, закрученному, как пружина, суждено в назначенный час сдернуться со шпенька и пустить к чертям свинячим наш золоченый шарик? Или нам поможет колдовское белое зелье, на девять десятых разъевшее душу нации? Или упасет нас придурковатая поговорка, произнесенная впопыхах, в нарушение вражьих планов? Или я, твой добрый гений, брошу это гиблое место и уйду от греха подальше, без огласки, как меркнет день, оставив тебя в уверенности, что ничего не потеряно и завтра, со свежими силами, ты сможешь все наверстать?

— Трус в карты не играет, — пробормотал ни к селу ни к городу Леонид Иванович и, слегка пошатываясь, выбрался на балкон.

Кругом, насколько хватало сил, было светло и пусто.

---

<sup>1</sup> Сыщик Виталий Кочетов с перепугу не мог разобрать, кто ведет перебранку в глубине резиденции, и сперва ему представлялось, что это Тихомиров с самим собой разговаривает на разные голоса. Казалось, он ворожил на смесях темного воздуха, последних закатных отблесков и ранней лунной изморози, которая там и сям выпала по кабинету, усугубляя невнятицу этой сумрачной обстановки. Денежная пестрядь, облепившая стены, весело завозилась. Китайские богдыханы, наострив шустрье мордочки, проказливо перемигивались и одобрительно шелестели замусоленными бородачками — должно быть, в знак солидарности с косоглазым владельцем, который все пуше кружился и бесновался, подбадривая себя крепкими окриками. Вообразим ужас разведчика, когда, напрягая уши, он уловил речь; касавшуюся его заточения посреди разгневанной сволочи, и взвихренная занавеска с налету вцепилась ему в космы...

— Сгинь! Сгинь! Пропади! — раздался приглушенный, точно с того света, возглас Тихомирова, и, безотчетно повинуясь ему, сыщик Виталий Кочетов кубарем скатился по водосточной трубе...



На горизонте рассеивалась розовая дымка заката. Ее забивало чистейшее, лишенное примесей, блистание ночной стражницы, вступившей в пору искристого максимального излучения. Ломило глаза. Равномерно сифонил ветер. Белесая, космогоническая пыль облаков свистала мимо луны, сообщая ей сходство с пустотелой камерой, пущенной по орбите с предустановленной скоростью.

Вот так же несется в будущее наш золоченый шарик, — прокатилось у Лени в памяти запоздалое эхо, и тотчас в унисон заговорили неподалеку мягкие аккорды рояля. Это жена-красавица, изнемогая от блеска, развивала перед сном прощальную увертюру. И на сей раз никто ей не препятствовал тренироваться: Савелий Кузьмич, воротясь, нашел Главнокомандующего в состоянии просветленной прострации.

— Зажечь, что ли, молнию с остатками керосина? А не то — включу-ка я для подъема энтузиазма лампочку Ильича...

Тихомиров промолчал, и без его указаний старик не посмел расходовать аккумулятор, питавший сеть пограничной службы, пока не наладили в городе захирелый движок<sup>1</sup>.

— Интересно узнать, Леонид Иванович, правда ли где-нибудь, на другом конце созвездия Гончих Псов, уже достигнуто будущее, к которому все еще приближается наша боевая планета?..

Начальник не реагировал. Расслабленно привалясь к косяку балконной двери, он следил как прикованный за полетом вещеносного диска. Если б не биение синих сосудов на художочном виске, можно было подумать, что у Леонида Ивановича отлетела душа.

Проферансов осторожно потянул его за рукав:

— Товарищ начальник! не будет ли вашей команды мне спать ложиться?..

Леня как ни в чем не бывало повернулся к секретарю:

— А, это ты, Савелий? Я все хочу, все забываю спросить тебя — знаешь о ком? — О твоём однофамильце. Помнится, в дальних родственниках ты числил ученого барина... Извини, я слишком рассеян, чтобы сейчас работать. И голова немного звенит. Стели постель живенько, тащи перину, подушки. Переночуем вместе. И расскажи мне, пожалуйста, друг Савелий, все, что о нем знаешь. Быть может, твои анекдоты скрасят мою бессонницу.

На восковом лице Тихомирова запечатлелась улыбка. Никогда он так бледно, так кисло не улыбался. Да и улыбался ли он когда-нибудь раньше? Этого Савелий Кузьмич не мог припомнить.

— Почему же анекдоты? Мне биография Самсон Самсоно-

---

<sup>1</sup> А добывать керосин из подсолнечного масла мы тогда еще не научились.

веча доподлинно известна. Я, если понадобится, могу про них жизнеописание составить. Из точных фактов. Только ведь вы, Леонид Иванович, все равно не поверите...

Старик от усталости с ног валился. Но ему уже не терпелось выступить этой ночью в роли историографа, оттесненной в другое время заботами секретаря, денщика, адъютанта и рассыльного на побегушках. На сияющем паркете они расстелили перину, и Тихомиров, не раздеваясь, улегся, одним глазом в окошко, где лунное пламя светило почище лампочки, вторым — на возбужденного Савелия Кузьмича. Тот как визирь в нижнем белье восседал на подушке и, приготавливаясь рассказывать, затягивался папироской<sup>1</sup>. Мелодичные звуки рояля, струясь в ночной тишине, аккомпанировали настроению.

— Только уж вы не перебивайте, — предупредил Савелий Кузьмич и хорошо прокашлялся.

— Не пророню ни слова, — отозвался Леонид Иванович с непонятной уступчивостью. — Ври, что хочешь: я должен знать правду.

---

#### Глава пятая

---

#### ЗЕМНАЯ И ЗАГРОБНАЯ ЖИЗНЬ С.С.ПРОФЕРАНСОВА

---

Давным-давно, в девятнадцатом веке, жил в родовом поместье один знатный барин — Самсон Самсонович Проферансов. Был он большой филантроп, теософ, диоген и отчасти библиоман. Производил научные опыты по отысканию камня, посредством которого дураки хотят раздобыть золото, а мудрые — докопаться, в чем же все-таки скрыт смысл жизни. В часы досуга Самсон Самсонович, сидя в драдедамовом кресле, почитывал романы Тургенева и Гончарова в подлинниках, сочинял едкий трактат «О судьбе двуногих», писал дневник и вел интимную переписку с химиком Лавуазье, который тоже был ужасный филантроп и большой оригинал, хотя поменьше нашего — по причине старческой слабости к цыганкам и ресторанам.

Наш ученый барин ненавидел шумиху и жил, затворясь в деревне, с немкой-экономкой и милой русской няней Ариной Родионовной. Уже в зрелом возрасте Самсон Самсонович сватался к дочери губернатора и поначалу был обнадежен светской кралей, которая, раздражив сердце поклонника, укатила из-под венца с красивым гусаром. С тех пор он беспрепятственно погрузился в науку, и, бывало, съедутся к нему в имение любопытствующие дворянчики — Проферансов и вылезает на свет, как медведь из берлоги, небритый, в раскисших валенках, в растерзанном казакине, и тотчас каждому гостю руку сует здороваться, испачканную по локоть свежеполученным веществом. Те жмутся, мнутя, но отказать не смеют, и, глядишь,

---

<sup>1</sup> Обычно Леонид Иванович не разрешал мне при нем курить.

от их манишек одна мишура болтается. А приезжих барышек за бока хватает — теми же крючковатыми пальцами, которыми только что, может быть, человеческую глисту изучал. Они визжат, бегают от него по всему замку, а он как наступит валенком на шлейф, так и оборвет к черту. Эдак он постепенно гостей от себя отвадил...

Или, как Лев Толстой, с которым он тоже поддерживал дружескую переписку, брал Проферансов в дом обыкновенную дворовую девку, обучал ее между делом кое-какой пунктуации, а после, под видом племянницы, сплавлял в Петербург замуж, формируя тем самым кадры тогдашних интеллигентов. Но все эти вольнодумства ему с рук сходили, потому что Самсон Самсонович пользовался почетом у самого Государя. Царь Николай Павлович не раз его агитировал перебраться на постоянное жительство в нашу Северную Пальмиру, суля денежный пост придворного звездочета. Таким шахматным шагом душитель декабризма рассчитывал замедлить растущее в стране возмездие, на что неподкупный ученый категорически ему возражал:

— Нет, Ваше Величество, эта карта бита. Завтра с попутным ветром я уплываю в мои Пенаты. Мне на роду написано помереть в провинции, вблизи забытого Богом города Любимова, который — вот увидите — еще себя проявит. Вы же, Ваше Величество, и вы, господа-комиссары, сенаторы и губернаторы со своими завлекательными дочками, — вы все плохо кончите.

При этом Самсон Самсонович звонко щелкал пальцами, издавая треск спущенного курка. Они думали — он шутит, и натянуто улыбались, и дивились ребусам знаменитого филантропа. То-то старик, небось, пощекотал амбицию, когда в один чудный день 1917 года прочитал в газете, что вся эта гоп-компания угодила под трибунал...

— Что ты! помилуй, братец!.. Как так — прочитал в газете? Какие могут быть газеты, когда твоего барина о ту пору наверняка и в живых-то не было?!

— Ах, товарищ Тихомиров, а еще обещали!.. Неужели ж я не вижу, не учитываю некоторой необычности в биографии Самсона Самсоновича? Да я... да он... Ну вот, я и сбился, и забыл о чем речь...

— Ладно, Савелий, — молчу. Плети дальше. Ты говорил, каким большевиком показал себя Проферансов в споре с царем Николаем...

— Ничего он не показал. Это вы сами показали. Самсон Самсонович вел невинный образ жизни, как Робинзон Крузо на своем заброшенном острове. Баррикады не строил, в барабаны не бил и лишь барабанил пальцами по стеклу, поглядывая с интересом на занесенные снегом кусты и сучья. Окна у них в усадьбе прямо в сад глядели и были заказаны в Далмации из бемского стекла. Вот он и созерцал в переплете вымыслы

мироздания, покуда немка-экономка не скажет ему, повздыхав за дубовой дверью:

— Барин, кушать подано. Пожалуйте к столу.

А он — совсем как вы давеча подкрепиться по-человечески не нашли свободной секунды — с горечью отвечает:

— Эх, — отвечает, — Глаша, нам не до обеда! Как вернуть на землю потерянную любовь? Я над этой тайной голову ломаю, а ты ко мне с вермишелью суешься. Куда бежать?

Отобедает и опять за мучительные раздумья, и долго ли, скоро ли барабанил он, музыканил по бемскому-то стеклу, но только вдруг говорит своей немке:

— Слушай, Фрося...

— Она же — Глаша!..

— Стало быть, за тот срок успел сменить экономок. Чего придираетесь? Итак: — Слушай, Фрося. Собери мне к завтраму саквояж с теплым бельем. С попутным ветром я ушываю в Индию.

Сказано — сделано. Раскидав по морям, по волнам свои доходы, Самсон Самсонович Проферансов на русском фрегате «Витязь» отбыл в Индию.

...Индия! Где взять слова и краски, чтобы нарисовать твою гравюру, манящую мечты путешественника? Возьмем ли мы нашу робкую весну в бутонах, или выберем пышный полдень в разгаре лета, обратимся ли к россыпям осени, соперничающей с палитрой Тициана и Левитана, — нам все равно не достанет дерзости вообразить великолепие Индии. Истинное представление о чудесах той страны способна составить лишь русская зима — с морозами свирепыми, как тропический зной, с лианами по стеклу, с козерогами по льду и волшебной кристаллографией каждой Божьей снежинки, порхающей, словно птичка, миниатюрная птичка-колибри. Под пальмами, на студеном безветрии, гнездятся слоны в сугробах, сверкают бизоны, тапиры и возвышенные жирафы тянут из ветвей заиндевелые шеи. Приедете в лес по зиме на лыжах, разинете рот и не знаете, где вы находитесь — в Индии или в России. Господи, значит все-таки — Ты любишь нашу нищую землю, если одел-нарядил ее в этукую красоту?..

Через четыре года Самсон Самсонович подрулил к родному берегу.

— Ты жива еще, моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет! — обратился он ласково к няне Арине Родионовне, сидевшей у ворот, пригорюнившись, с фельдьегерем в зажатых руках.

— Проснись, Михенч. Никак барин причалил, — сказала няня и, воткнув с размаху в сугроб захмелевшего усача, пошла светить дорогу жестяным фонарем на палке.

Целый месяц Проферансов не показывался из мрака: переписывал манускрипт, полученный в Индии у тамошних

атаманов. Потом слег в малярии и уж больше не вставал, лишь одно повторял обветренными губами:

— Передайте Лавуазье, сообщите Льву Толстому, мы крупно просчитались в своих расчетах. Смысл бытия состоит не в том, чтобы... а в том, что...

Тут он умолк, не сумев досказать самого главного.

Всегда так бывает. Живет человек, лелеет планы, подмигивает себе изнутри со шпионским видом: держись, Володя, еще чуть-чуть осталось! А как дойдет до выяснения, в чем главный секрет, кожу со спины обдирает о вылезавшие прутья матраса, а выразить слов нету. Заколачивай!

Ну, прекрасно, заколотили, погребли по всем правилам, — стал являться. То ли его душа неустанного следопыта так соскучилась по отчизне, что не смогла одолеть притяжения, то ли ему приспичило довести до закругления найденную идею, — уж я сам не знаю, чем объяснить такой непонятный казус. Но едва наступает вечер и все садятся ужинать, Самсон Самсонович тут как тут и ворчит, и слоняется по галерсе в бестелесном составе, а потом что-то пишет в запертом кабинете. Вся родня к его появлениям уже настолько привыкла, что даже пугались, ежели барин почему-то запаздывал, почитая его за доброго вестника и хранителя семейных традиций, в наш сволочной век невозвратно утраченных.

Вы спросите, конечно, — откуда взялась родня? Предвижу недоуменный вопрос и спешу рассеять. Во-первых, существует предание, что обольстительная дочь губернатора подкинула-таки жениху анонимного недоноска и Проферансов по-благородному покрыл женский грех. Во-вторых, у меня родилась дополнительная гипотеза, по которой Самсон Самсонович перед кончиной успел-таки жениться на родной кухарке и старой подруге детства — Арине Родионовне. Получается по этой гипотезе, как я уже толковал, что мы с вами, Леонид Иванович, имеем большие шансы принадлежать к древнему корню Российского Любомудрия. Но вернемся в наши Пенаты.

Прошло сколько-то лет, и вот однажды папа с мамой вечеряют в старинном доме, а дедушка и носа не кажет. Они, коротая часы, тревожно переговариваются, вспоминают былые дни, когда дочка Танюша гостила на каникулах и все боялась, глупышка, что призрак ее слопает.

— Что ты, Танюша, — забыла? Ведь это же наш дедушка, наше доброе привидение, и было б дурным знаком, если б оно рассердилось и перестало охранять наследственное гнездо...

Беседуют они час-два, грустят о прошлом и все прислушиваются — не заскрипят ли дощечки на галерее, по которым кроме дедушки никто уж не смел ступать. Или, сойдя с антресолей, приглядываются в надежде, не зажглась ли в пустом кабинете несгораемая свеча. Но нет, всюду темно. Тихо. Лишь могучие дубы в парке тревожно шумят.

Один вечер миновал, второй, третий... безрезультатно! Не выдержало сердце родительское: верно, с Танюшей несчастье! Сорвались в Москву, к дочке, которая уже успела кончить консерваторию и, сделав хорошую партию, имела детей. Что за притча! В Москве тоже все спокойно, дети здоровы, Танюша весела, потолстела, и между нею и зятем все как будто течет нормально. Зять скалит зубы:

— Просто дедушка решил навеститься в Индию...

А спустя еще сутки прискакал на поезде управляющий, весь в копоти, и сообщил, что в первый же вечер, как папа с мамой уехали, вспыхнуло родовое поместье, точно факел, и когда бы кто ночевал в опустевшем доме, не уйти бы тому из пламени, вас чудо спасло.

Начиналась революция. От богатейшей в уезде фактории вился по ветру дым.

— Вот видите! — сказала мама, складывая чемоданы во Францию. — Я так и думала. Вы не верили в дедушку, а он потому три вечера подряд не являлся, что чуял беду и сигнализировал нам по-семейному, что в усадьбе неладно и пахнет керосином. Спасибо старому другу за последнее предупреждение. Что ж, спалили пристань, выкурили хозяина, прощай, изгнанный призрак, прощай навек!

Однако эмигранты ошиблись. Имение их дотла сгорело, это правильно, но Самсон Самсонович остался с нами и даже расширил поле своих вылазок.

Рассказывал мне, по пьянке, один пожилой чекист. Зашел он в начале нэпа с группой красноармейцев в чайную погреться, а кстате составить бумагу об изъятии змеевика. Вдруг у чекиста в ухе пискнуло, затарахтело, забарабанило в перепонку, как если б ему дунули в трубку, сказав:

— Але, але, позвоните Лавуазье, спросите Троцкого — кто воротит сердцу потерянную любовь? Кто охватит глазом выдумки мироздания?..

Смотрят — поодаль, возле титана, старик с интеллигентным лицом, не говоря ни звука, прихлебывает чай и читает газету. Пока сообразили потребовать документы — встал, застегнулся на все пуговицы, приладил поплотнее картуз и, выпустив струю сивого пара, исчез в чаду и гудении клокочущих кипятильников. Кинулись к месту взлета — медный пятак тускнеет перевернутым двуглавым орлом, да мокнет газета «Известия», свежий номер, вечерний выпуск. А поверху, по потолку, сырые следы валенок удаляются в направлении тархтящего вентилятора, и чудный голос вплетается в грохот змеевиков: «Мы опять просчитались в своих расчетах. Но город Любимов себя проявит!»

За дверь — ни души, тишина, снег от луны искрится, поскрипывают полозья на другом конце России: «чекист-проспись-приснись...» Ну и мороз!

Этот чекист, между прочим, одну зиму нес караульную вахту на даче Валина в Норках, а рядом, за бревенчатой стеной, Иван Петрович лечился и сочинял по ночам первый план пятилетки. Попишет Иван Сергеевич, на счетах пощелкает и во втором часу на цыпочках выскальзывает проветриться — в простом пиджаке, без шапки, ручки в брючки. На дворе, на скрипучем снегу переминается, озирается, нет ли кого поблизости, и, закинув лысоватую голову, — начинает...

Выл на луну Галин вдумчиво и методично, выл Николай перед смертью. Всякую ночь, как была луна. Повоет, немного послушает — все ли тихо, и снова залется и до тех пор кукует, пока вконец не иззябнет, и тогда бежит, зеленоглазый, со всех ног — на счетах щелкать и дальше писать, как нам двигаться по намеченному пути. И долго-долго не тухнет в светелке таллиннская лампада...

Вы спросите — какая внутренняя связь между этими фактами? Абсолютно никакой внутренней связи. Но коли даже у Лялина, у Петра Кузьмича — хотел бы я подчеркнуть, — бывали свои настроения, то почему бы их не иметь хорошему русскому барину, который и вреда никому не сделал, и в запредельные высоты проник более надежным путем. Просто феноменально, как это люди, верящие любой чепухе, не хотят понять серьезных вещей. Вот вы, Леонид Иванович... А ведь и в вашей биографии не все гладко. Нынче-то вечером вас так на луну потянуло, что я уж думал — как Нелин начнете\*. Вы — святой человек, выдающийся полководец, каких не знала... Да вы никак уснули под мою песню? Вот те раз! А я еще до середины не дошел... Дрыхнет проклятый. Умаялся на генеральском посту. Ишь, бельма-то закатил, косою черт, прости, Господи!..

Эх, Леня, Леня, дурная твоя башка! Думаешь, заполучил по наследству проферансовский манускрипт, выучил барскую азбуку — и все в ажуре? Шалишь, брат. Ослабло твое влияние. По себе чувствую. Еще неизвестно, куда повернет колесо фортуны. Ну, что вздыхаешь? Спи, укрепляй здоровье. Вот путешествует твоя матушка к попу Игнату, и, Бог даст, поправишься, испарится твое безумие. Потому что все это одна чара и более ничего. Потому что уже ходят слухи о твоём чернокнижии. И скоро заговорят, все заговорят: «Что с ним связываться, с Косоглазым? Еще отвечать за него придется перед военным судом!»

Да подвинься ты, кобель. Уж и во сне толкаешься. Ладно. Лягу в ногах. Можешь не волноваться. Не продам. Я тебе и сторож, и советчик, и нянька. Арина Родионовна. «Руслан и Людмила». Индия. Мне твою биографию еще хочется сочинить. А все некогда. Кипятильники. Змеевики. Самсон Самсонович. Владимир Ильич. Россия. Спи.

---

\* Редакция 28 июня 1989 г.

Голубь набрал высоту, описал круг и, недолго думая, взял курс на Москву. Ему было без надобности вычерчивать план полета. Он шел наобум, по прямой, повинаясь голосу крови. Родимая голубятня влекла его — как финал неоконченной повести, восстав перед взором Автора, вытягивает в струну склизкий моток сюжета. Пусть неистовствуют герои и мечутся по жизненной сцене в бесплодных попытках продлить время существования. Развязка уже известна вдохновенному Мастеру, и он потирает руки, предвкушая конец работы, и мчится к цели, как голубь, выпущенный из корзины.

Зачем же в груди летуна заговорил рассудок? Зачем через крутое плечо он глянул с тревогой назад и заболтался в воздухе, будто наново выбирал скорость и направление? Не выбирай! Не обдумывай предначертанного маршрута. Доверься вечности. Не подсчитывай километры. Выключи будильник и закрой календарь. Лети напрямик, по вдохновению... Куда ты? опомнись! Ты же — не человек, ты — голубь! О, как часто мы гибнем, не рассчитав своего мастерства...

Секунда сомнения, миг борьбы — птица, забыв о долге, уже повернула вспять, с удвоенным рвением ворочая отяжелевшими крыльями. Но измена врожденным принципам у птиц не проходит даром. Опозоренное создание, казалось, потеряло устойчивость и, снизившись, петляло, словно заяц, среди улиц чуждого города. Колокольню с грехом пополам голубю удалось миновать. Двойным прыжком он проскочил сеть проводов над крышей, и стеклянная дверь балкона ослепила предателя. Не заметив ладоней, протянутых к нему в ожидании, прыгун с налету врезался в стену и скатился окровавленным комом под ноги Леонида Ивановича.

— Что, голубчик, уйти захотел? — в другой раз не захочешь! — сказал Тихомиров, склоняясь над трупом репатрианта. — Раскусил я твою повадку, и вправду — почтовый голубь. Посмотрим, какие вести посылают через кордон внутренние враги...

Аккуратно, чтоб не испачкаться, Леня отделил от птичьей лапки латунную гильзу и вытянул тугую бумажку, перевязанную ниткой. На одной стороне квадратными буквами был обозначен адрес: МОСКВА. ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК Ном. 100001. АНАТОЛИЮ СОФРОНОВУ. Почему-то составитель послания отказался от конспирации, и Тихомиров без труда разобрал ясный убогий почерк.

Здравствуй, Толя!

Пишет тебе из Любимова твой закадычный друг и бывший сослуживец Виталий Кочетов. Помнишь, Толя, как мы гуляли по



притихшей Москве и, рассуждая о прочитанных книгах, обменивались новостями по технике безопасности? Что мы тогда понимали, желторотые топтуны? Я считаю, все это был один чудный сон. Однако, Толя, мы живем в такое время, когда сны сбываются. Тогда мы, как дети, мечтали об аппарате мозгового обслуживания, который бы фотографировал мысли в голове человека. Теперь могу тебя порадовать, такой аппарат существует, и даже более техничный по сравнению с нашей утопией. Чем записывать чужие мысли на пленку, лучше их сразу направлять по хорошей дороге. Верно, Толя? Мне в результате розыска стало известно, что Тихомирова оболгали завистники и догматики-рутинеры, и надо еще разобраться, не происки ли это какой-нибудь иностранной разведки? Я своими глазами видел, как он справляется с американскими шпионами, с привидениями в скафандрах и другими пережитками прошлого, и решил здесь задержаться. Но у меня, Толя, сломалась рация, когда я в заблуждении выпрыгивал из генеральского штаба, еще не полностью овладев своими новыми мыслями. Теперь я все осознал и прошу доложить начальнику существо дела. Посылаю с этой депешей служебного голубка. Уверен в его успехе. Ему случилось переваливать и через горные хребты. А самолеты на город Любимов, скажи начальнику, посылать не надо. С вызовом авиации я допустил ошибку. Не воевать с Тихомировым, а приветствовать его новаторский почин и повсюду внедрять его методы воспитания — вот задача нынешнего политического момента. Толя! Ты меня знаешь и сможешь объяснить в верхах, что я свой парень, а не какой-нибудь абстракционист. Передай моей жене Кате, что я ее скоро выпишу. А с евреями, Толя, мы тогда проявили недооценку. Евреи — тоже люди. Как ты считаешь? До свидания, Толя. Когда все наладится, я считаю, ты тоже переедешь в Любимов и мы еще чокнемся с тобою красивыми рюмками за мир во всем мире.

Твой Витя.

Прочитав правдивую исповедь, Тихомиров пожалел о судьбе загубленного почтальона. Долети он до столичных высот — и, быть может, слова прозревшего очевидца возымели бы действие и ускорили бы наше признание в прогрессивных кругах. Но, с другой стороны, этот минус имел тот плюс, что Леня теперь знал о появлении в городе настоящего, верного друга, которого в последнее время ему так не хватало. Едва попав в нашу здоровую атмосферу, чуткий разведчик понял, на чьей стороне правда.

— Где ты бродишь, где пропадаешь, мой неизвестный брат? Не скрывайся! Услышь этот голос, тоскующий в одиночестве, и приди ко мне!.. Витя, приди...

И словно в ответ на зов, посланный в городские пределы, с неба донеслось отдаленное механическое жужжание. Вскоре оно перешло в мерзкий стальной скрежет, от которого стонала

земля, звенело дерево и, как припадочные, тряслись кривобокие домишки, рассыпанные по косогору. В двух шагах от базарной площади, немного не добежав, Тихомиров упал, оглушенный, на спину, на булыжную мостовую...

Самолет с жутким ревом вынырнул из-за леса. Прямо скажем, то не было чудо искусства новейшей ракетной формации, а всего лишь — самый нормальный, средней руки бомбардировщик, дошедший до наших дней еще со времен Сталинграда. Распластавшись, как кошка с нацеленной мордой и прижатыми ушами, он мчался по воздуху, виляя телом, весь обтекаемый, капризный, полный неудержимых намерений. Такого красавца с добрым грузом на нашу дощатую ветхость хватило бы за глаза, а тут позади, за флагманом, гудела на подхвате целая эскадрилья. Видать, пришла резолюция оставить от Любимова одно мокрое место.

Леня лежал, глядя, как падает, метя ему в лицо, неприятельский самолет. Что было делать? Его лицо, растянутое по булыжнику, во всю ширину базарной площади, служило отличной мишенью, и летчик знал, что прикончить лежащего на спине человека так же просто, как взрыть фугасом лесную пустошь. Вот именно, знал и видел, что впалые щеки Леонида Ивановича поддаются ожогу не хуже, чем склоны оврагов, заросшие сухим молочаем. Что его губы, усеянные бугорками болотистой сыпи, бессильны отвратить занесенный над ними удар. Что глаза... Подождите! Какое сравнение нам следует срочно придумать для человеческих глаз, не имеющих иного оружия, чем это отчаяние, устремленное ввысь, в стальную, с каждым мгновением, нет, с каждой тысячной долей мгновения падающую громадину?

Вы, может быть, скажете: до сравнений ли тут, и к чему нести околесицу, когда дело ясное, и стоит ли прикрывать нескладной, старомодной метафорой поверженного героя? Не вернее ли все представить, как Фейхтвангер с Хемингуэем, в спокойном, цивилизованном тоне: «Авиатор нажал рычаг. Точка. Потекли мозги. Точка. Застегиваясь, он слушал, как в унитазах шумит вода...»

Не согласны?! Когда б у нас была хотя б одна батарея, хоть какой-никакой плохонький карабин, мы бы не стали потрясать небосвод грубыми воплями. Но где справедливость?! У них — аэропланы, газеты, журналы, радио, сумасшедшие дома, телефон, а у нас — ничего, ну понимаете, ничего нет под руками. Оголенное воображение. Так неужто же мы, придавленные к земле и ждущие смертного часа, не кинемся навстречу и не ткнем в урчащую морду первой пришедшей на ум чудовищной кровотокающей гиперболой?!

Итак, начнем сначала и попробуем восстановить сцену битвы в ее натуральном виде, учитывая, однако, что ведь и у нашего Лени была голова на плечах с кое-какой начинкой.

Представьте сперва — высоко-высоко в небе — пикирующий бомбардировщик...<sup>1</sup>

Бомбардировщик, представьте, пикирует с ужасающей скоростью...<sup>2</sup>  
...с убийцы.

Тот, все еще пикируя, с удивлением замечает...<sup>3</sup>

...в морду зверю, готовому впиться когтями...<sup>4</sup>

...и воткнулись в небо копьями остроконечных вершин.

Как будто...<sup>5</sup>

...рычащему аэроплану...<sup>6</sup>

...вверх:

— Уйди, блядь, уйди, сука, а то напорешься!..

Когда машина ушла в зенит и послушными виражами отвалила за городские пределы, увлекая своим примером остальную джаз-банду, Тихомирову показалось, что у него на лбу лопнула ветвистая жила. Ему стоило напряжения приподняться на локте и послать врагам в догонку внушительное напутствие. Те не оборачивались. Километрах в семи от города они власть отбомбились в болото, сочтя, должно быть, что гнилые кочки подозрительны по камуфляжу и тут расположен главный любимовский арсенал. А горы лежалого хвороста померещились им с высоты бастионами монастыря...

С каким удовольствием Леня подорвал бы окаянную стаю на ее собственных бомбах. Но дальний расчет стратсга возобладал в нем над жаждой мщения, и он, едва в лесах утихло эхо, утвердил в сознании летчиков приятную уверенность, что город Любимов, как сами видите, смешан с грязью и зарево пожаров, застилая картину, танцует над обугленными телами ревизионистов. В сложившейся обстановке нам было выгоднее на время притвориться погибшими и накапливать силы для сокрушительного удара.

— Товарищ Главнокомандующий, разрешите перейти в ваше распоряжение, — прозвучал над Леонидом Ивановичем негромкий тенор.

Преодолевая ломоту в спине, Главнокомандующий повернулся на другой бок. Первое, что он увидел, были ноги в лаптях и в онучах, заправленных, однако, ловким тугим вин-

---

<sup>1</sup> ...а здесь, внизу, — поверженного, лежащего на спине человека.

<sup>2</sup> ...вниз, прямо в лицо, не спускающее напряженного взгляда...

<sup>3</sup> ...что под ним располагаются не городские строения с искаженным от страха лицом, а глухие лесные уголья, кое-где пропотевшие болотцами и овражками. Это в предсмертном отчаянии Леня напряжинил зрачки и метнул их...

<sup>4</sup> ...ему в очи, которые, как стволы гигантских лиственниц, поднялись...

<sup>5</sup> ...сама зсмля, усаженная дрекольем, всколыхнулась и враскорячку, в изуверстве, пошла напролом, навстречу...

<sup>6</sup> ...крича ему снизу...

том, на манер солдатских обмоток. Лапти тоже были расставлены по-военному: пятки вместе, носки врозь.

— Я отставной сыщик-универсал Виталий Кочетов. Арестуйте меня. По вине моей портативной радиостанции противник получил наши координаты. За этот налет я несу политическую ответственность...

Молодой оборванец стоял навтыяжку. Большепалые, тяжелые руки говорили о застарелой любви к слесарному инструменту. Курносая физиономия смотрела на командира прямым, честным взглядом. Именно таким Леонид Иванович рисовал себе недавно этот загадочный образ.

— Здравствуй, Витя. Я рад с тобой познакомиться, — сказал он, поднимаясь с земли. — Пока не попер народ изо всех щелей, давай поговорим. Хочу поручить тебе одно задание: ты должен мне помочь построить волновик-усилитель, который бы на больших расстояниях...

— Извините, начальник, — перебил парень вежливым тенорком. — Сперва, я считаю, меня следует наказать. Я должен нести ответственность за допущенные ошибки.

— Да! — воскликнул Леня, все более радуясь редкой находке. — Ты будешь нести ответственность. Отныне, Витя, ты станешь моим другом и первым заместителем!

И подойдя к неопиту, он поцеловал его в тугие, по-мальчишески надутые губы...

.....  
Вторую неделю горели болотистые леса, подпорченные зажигалками. Пожар на болоте потушить не так просто. Загасишь в одном месте, пройдет день-другой, и вот уж новый участок начинает дымить, хотя, кажется, и дымить-то нечему: одна вода с гнилью, и вот эта гниль дымит. Бог его ведает, какими путями распространяется по лесу огонь-змееносец. Под землю он что ли просачивается от участка к участку, потому что настоящего пламени сроду не увидишь, а вся земля в куреве, ну, и деревья тоже постоят-постоят в дыму и незаметно превратятся в готовые головешки.

Большого вреда для человека от этих пожаров нету. Уж очень они медлительные, затяжные. Бывалые люди говорят: «Пушай тлеть, к жиме шамо погашнечь». Однако воздух в городе приправлен дымком, и от этого, как потянешь ноздри, на душе становится беспокойно и сладко: все как будто чего-то ждешь. А чего нам ждать?..

Проводка сигнальной службы тоже частенько портилась и давала осечку. Леонид Иванович каждое утро гнал трудовые дружины в дальние лесные районы — где тушить, где починять, а где досматривать, не истлел ли за ночь какой-нибудь новый кабель. И был один случай, когда два старика не вернулись с босвого задания: ушли за границу к сродникам и там остались...

С июня дожди зрядили и гари поубавилось. Но хотя

поубавилось гари, подпочвенный враг продолжал тихой сапой поджигательскую работу. Чуть ветерок подует, и, смотришь, опять донесло до Любимова прогорклый, шальной запах, а то и хлопья сажи. Вдобавок в этом году от переизбытка влаги обещали не уродиться хлеба.

Частые бури и грозы мешали подъему земледелия и скотоводства. В колдобинском колхозе молнией убило быка. Гигантские стрелы, чиркая над сырыми полями, пугали промокших баб. У одной девки под влиянием грома получился выкидыш: сам величиною с котенка, но, между прочим, с хорошо развитым членом, а личность при бороде и усах. Ладно — дохлый! закопали. Из деревень потянулись в город конопатые ходоки.

— Что вам надо? Хотите — подыдем у вас в деревне металлический громоотвод? — предлагал Тихомиров крестьянам достижение техники. Но хитрые мужички, сгрудясь на заднем дворе, шумели, что эту дуру они и сами подымут, а ты вот лучше дождик заворижи, чтобы, значит, того-сего, вызывать осадки по точному расписанию. Когда же Леня указывал, что передовая наука на ворожбе и чудесах давно поставила крест, ходоки, как сговорившись, вспоминали попа Игната. Дскаать, по дошедшим сведениям, проживает этот исключительный поп за Мокрой Горой, отсюда верстах в семидесяти, и уж коли отслужит молебен, устанавливается в той глухомани — хошь ведро, хошь ненастье, прямо по заказу. А как-то раз делегаты намекнули, почесываясь, что ежели Тихомиров чудесами заниматься уже более не способен, то на кой он ляд тогда нужен со своим чернокнижием. И кто-то засмеялся...

Безыдейные выступления Леня глушил на месте, но, вправляя мозги, замечал: в государстве появилась утечка, и почему она появилась — решить трудно. Может, в борьбе с неприятелем надорвал он свою кишку, а может, еще раньше пошла на убыль его волевая сила.

Кто скажет: где коренится падение великих династий? Когда начался закат Европы, упадок Рима? Возможно, в самый полдень, в самый что ни на есть запал славы, некий предусмотрительный гений уже отчаливает незримо от наскучивших берегов. Возможно, какая-нибудь историческая держава только-только показалась на свет и не успела еще развить свою промышленность и воздвигнуть себе на земле памятник архитектуры, а в таинственной книге уже написано заключение, что через зное число часов ее сметет иная историческая держава, которая, в свой черед, кончит тем же смятением. Вот мы с вами сидим, лясы точим и ноги чешем, а там, за окном, быть может, по неизвестным причинам Древний Рим закатывается или, того хуже, — всему свету наступает конец и пора нам, как говорил Сергей Есенин, собирать манатки...

Леонид Иванович целыми днями пропадал на хозяйствен-

ном фронте. Либо сам следил за тишиной в городе и в сумрачном одиночестве делал обходы по улицам, истощенный, с провалившимся взглядом, с опухшими сосудами, оплетавшими его чело синим жгутом молний. У него завелась привычка появляться в публичных местах, окутав свою персону покровом неузнаваемости. Под видом простого учетчика или колхозного бригадира, не внушавшего опасений, он заглядывал в пивные, где околачивался народ и выдавали по талонам дневную порцию водки. После печального эпизода с упившимся арестантом — ввели строгий лимит: 150 грамм на брата. Полностью упразднить эту моду — на такую затею даже Тихомиров не решался: попробуй отмени вино в России, — революция вспыхнет...

— Скажи-ка, братец, что ты думаешь о нашей внешней политике? — подсел Леонид Иванович к безногому инвалиду войны, который уже осушил свой законный стаканчик и прицеливался ко второму, добытому, видать, нелегально, по краденому талону.

— Чего о ней думать, добрый человек? Политика у нас прямая, справедливая. Мирлюбивая, можно сказать, у нас политика... Будь здоров!

И, спровадив другой стаканчик, скроил вкусную рожу.

— Только винцо-то у нас, сам знаешь, — поддельное...

— Это почему же поддельное?! — изумился Леня столь откровенной наглости. Приняв двойную порцию, мерзавец покраснелся, распарился, глаза у него тоже достаточно посоловели, язык заплетался — чего еще? Но, заплетаясь, настаивал, что винцо все равно поддельное, получаемое из обыкновенной воды — путем гипноза...

— Да откуда все это известно? Ведь ты же сейчас — пьян, ведь пьян ты, а? Ты же чувствуешь внутри физическое наслаждение?..

— Сейчас-то я чувствую, — отвечал инвалид, облизываясь, — но сам посуди: пьешь-пьешь эту фашистку, а голова с похмелья все равно не болит. Разве ж это винцо?

Калека всхлипнул. Непритворные, пьяные слезы градом покатались по промасленной гимнастерке. Напрасно Леонид Иванович пытался его ободрить:

— Ну чего ты, братец, плачешь? чего расстраиваешься?

— Да как же нам, брат, не плакать? — простонал герой войны и перешел на шепот: — Ведь царь-то у нас колдун... А царица — жидовка...

В тот же вечер между супругами произошло объяснение. Забжевав перед сном поцеловать у жены ручку, Леня мимоходом затронул национальный вопрос:

— Ах, Симочка, повремени со своими нежностями. Право же, в тебе есть что-то испанское...

— По матери и по паспорту я — русская, — пояснила Се-

рафима Петровна со всегдашней готовностью. — А папа — наполовину грек, наполовину еврей.

— *Еврей?* Не может быть! Ведь ты же — *Козлова!*

— Моя девичья фамилия — Фишер. Козловой я стала недавно, после первого брака...

— Здрасьте! Ты была *замужем?* Отчего же я раньше не знал? Может быть, у тебя и *дети* были?

— Почему — были? У меня и теперь в Ленинграде, у родителей мужа, с которым я давно состою в разводе, воспитывается ребенок. Девочка... О, Леонид, не смотри так ужасно! Ты сам никогда ни о чем не спрашивал. Я не утаивала, поверь...

Но Леня уже не верил. Иллюзии разлетелись, как шпильки, сорванные с туалетного столика заодно с салфеткой. Хрустнул флакон. Спальня наполнилась парами пролитых духов. И тогда, собирая хозяйство, женщина огрызнулась:

— Ты сам виноват... Супруг — называется... Много я от тебя выдала за медовый месяц!

Из фарфоровой обложки вдруг высунулась на минуту прежняя Серафима Петровна и, смерив Леонида Ивановича бойким, уничижительным взглядом, ретировалась. Ресницы поднялись и упали. Запылавшие ланиты погасли. Уста, готовые усмехнуться, свернулись бантиком.

— Прости, милый, прости. Я тебя безумно люблю. Я перед тобой безумно, трагически виновата, — проговорила она протяжным, немного сонным голосом. — Мои чувства к тебе нельзя передать словами...

Хлопнув дверью, Леня оставил эту куклу одну разбираться в чувствах. У себя, на штабной половине, он сменил костюм и поспешно ополоснулся. Его преследовал въедливый запах нечистых женских духов.

С тех пор Серафима Петровна не могла пожаловаться, что муж не уделяет ей времени. Он часами расхаживал перед ее тахтою, как волк в клетке, а она, поджав ножки и наморщив лобик, старательно припоминала:

— Еще на моем горизонте вращался директор клуба. Твой тезка. Леонид Григорьевич. Очень оригинальный и образованный человек. С большим чувством юмора. Мы с ним увлеклись Генделем. На прощанье он подарил мне книгу японской лирики с надписью «Ты не Серафима, а Хиросима — я все в тебе имел, я все в тебе потерял». Вот видишь: потерял. Потом за мною полгода ухаживал Тевосян. Армянин. Ревнивец. Ревнивец тебя. Моряк душой и телом. Встретив меня случайно под руку с Изей, он чуть не зарубил Изю тесаком. Изя — это не в счет. Почти подросток. Ярко выраженный семит. Хилое растение. Бледно-голубой цветок Новалиса. Но если б ты мог представить, до чего живучи эти хилые стебельки. Я даже не знаю, рассказывать ли о нем. Вдруг это опять как-то тебя заденет, хотя...

— Рассказывай! Все рассказывай! Всю подноготную! —

бурчал Леонид Иванович и грозно притоптывал, пробегая мимо тахты, на которой Серафима Петровна без утайки, с аккуратностью автомата, воспроизводила историю своих сердечных приключений.

— Однажды мы трое суток провели в Озерках на даче и ни разу даже не встали, чтобы полюбоваться природой. Бисквиты и крепкий бульон Изя собственноручно сервировал подле нашей худенькой раскладушки. Такую деликатность я встречала в мужчине еще только раз, у подполковника Алмазова. С ним мы познакомились по дороге сюда, в поезде, в отдельном купе. Старик, но еще очень живой. Я называла его «*mon colonel*», хотя между нами почти ничего не было. Это был почти платонический роман, еще более мимолетный, чем с доктором Линде. Представь, мой милый Леонид, пока судьба не свела меня с тобою, я от скуки немного вскружила голову нашему доктору. Но только дважды имела глупость...

— Замолчи! Забудь! — гаркал Леня, не выдерживая этой пытки. — Всех забудь! Слышишь? Я один был у тебя в мужьях. Со мною ты должна похоронить навеки свое мещанское прошлое...

А назавтра, когда Серафима Петровна все позабывала и была чиста от дурного прошлого, как шестилетняя девочка, он требовал сызнова кое-что вспомнить, дополнить и уточнить.

— С кем ты путалась до встречи с Чингис-Ханом?

— Каким Чингис-Ханом?

— Ну, этот армянин, который чуть не зарезал... И еще конкретизируй: спала ты с Генделем или не спала? Опять ты хочешь скрыть?... Отвечай: спала или не спала? Чего смеешься? Смех — смехом, а кверху мехом. Я тебе — посмеюсь!

Нет, не такой уж распушенной была Серафима Петровна, как это ему казалось. С чистыми помыслами, угождая его желанию, она обыскивала себя и собирала с миру по нитке все, что имела в жизни и что могло бы засвидетельствовать ее полную откровенность. А что греха таить — какая женщина, тем более живущая в самой гуще прогресса, образованная, интересная, окидывая мысленным оком свое прошлое, не сумеет сколотить приличную группировку? Мы все хотим, имея с ними дело, чтобы они оставались невинными, непорочными, ну а у них это не всегда получается...

Но он-то ведь знал, что играет с огнем, что, распаяя мужскую ревность, он изнуряет себя как общественный деятель, как глава государства. И тем не менее с упорством геолога продолжал исследовать сердце несчастной Серафимы Петровны. Ибо нету пределов дерзости, проникающей и в тайну белка, и в загадку атома, и в глубокие рудники любвеобильной женской души. Так уж устроен человек, что не может он остановиться на путях познания и удержать свой ревнивый разум, которому сколько ни подкладывай дров — все мало...



Леня до того увлекся научной работой, что даже пробовал снимать психическую блокаду и наблюдал за развитием женщины в естественной обстановке. Затаив дыхание, с ужасом и восхищением смотрел он, как оживает в фарфоровом теле куклы образ прежней, недоступной ему Серафимы Петровны. Ее движения приобретали внезапную угловатость. Она переставала следить за собою и слонялась неприбранная, разбрасывая по комнатам детали своего туалета. Она швыряла вещи, как солдат на постое, и грубила, и покрикивала, будто не он, не Леонид Иванович, а она здесь хозяйничает:

— Поддай мне чулки! Вон висят на рояле. На рояле — тебе говорят! Ты что — оглох?

И лезла в политику.

Когда-то он сам, желая избавиться от ее докучливых ласк, рекомендовал Серафиме Петровне возглавить министерство культуры. Теперь она схватилась за народное просвещение. Она немедленно потребовала расширить школьные планы, утвердив для старших классов два романа Фейхтвангера и один Хемингуэя: «Фиеста», «Еврей Зюсс» и «Безобразная герцогиня»<sup>1</sup>.

Леня без волевого нажима, а только с помощью логики и простых примеров из жизни пытался ей втолковать, почему мы не можем ввести в учебные курсы ни Фейхтвангера с Хемингуэем, ни Хемингуэя с Фейхтвангером. Получится мирное сосуществование двух разных идеологий. Что скажет Мао Цзэдун, о чем подумает Пальмиро Тольятти, когда их известят, что в Любимове, в средней школе, Фейхтвангер сосуществует рядом с Хемингуэем и они между собою не борются и не вытесняют друг друга?..

— Много ты понимаешь в западной культуре! — парировала Серафима Петровна разумные доводы мужа. — И потом — подарил ты мне на свадьбу город Любимов или не подарил? Чьи тут владения? Кто здесь царица?..

Как он любил ее в эти роковые минуты! Как жаждал ответной любви, участия и одобрения этой надменной красавицы, именно *этой*, а не той, что в другом состоянии допекала его покорным, по-собачьи преданным взглядом. Но чтобы ее взвинтить и вывести из себя и все-таки добиться слияния *той* и *этой*, Леня напоминал, какая она царица, ежели стоит ему пошевелить бровями, и она поползет по паркету, как последняя сволочь. И он прищипоривал еще и еще молодую скакунью, дразня ее и подхлестывая, пока в бешенстве она не взлетала на дыбы и, разъяренная, прекрасная, не бросалась к нему с оскорбительными угрозами. Вот тогда, выждав, он включал передачу, и женщина, застигнутая врасплох, вертелась волчком посреди

---

<sup>1</sup>Своевременно изъяты, эти книги по недосмотру завалились под шкафом в публичной библиотеке.

гостиной, и валилась на пол, и стонала от внезапных унижительных приступов страсти, и, как животное, ползла, извиваясь по полу, и молила о поцелуях, а он сидел неподвижно, как истукан, и до себя не допускал.

Но порою бывали сюрпризы, и чем далее шло изыскание, тем они повторялись чаще. Повалившись на пол, Серафима Петровна вместо заданной программы начинала биться и причитать, изливая душу в бессмысленном бабьем кликушестве:

— Ай-ай косою черт приласкай косою черт пожалей заморыш горит сладко родить щенят с клыками фейхтвангера не могу раздавить портки танки идут вышу кисту танки идут откусить хочу хохлатый бежим в ленинград!..

И сколько бы Леонид Иванович ни включал и ни выключал передачу, он уже ничего не мог изменить в самочувствии Серафимы Петровны. Знать, кто-то другой включался на это время в работу и бесчинствовал на полу, завладев ее разболтанной нервной системой. И тогда, чтобы женщина окончательно не лишилась рассудка, Леня погружал ее в сон, и такое средство пока что действовало безотказно. А спустя пару дней в доме опять воцарялся этот, вошедший в привычку, тихий, семейный ад... Одно было прибежище у Леонида Ивановича — верный друг и помощник Витя Кочетов. Для Вити в подвале штаба нашлась келья не келья, чуланчик не чуланчик, а подсобную мастерскую он сам разгрузил от хлама и технически оснастил. Спустишься в подвал — сердце радуется: кругом в образцовом порядке лежат на верстаках, стоят на шикарнях полках, висят на гвоздиках — ободья, сверла, буравы, молотки разных фасонов, пластикаты, банки с соляжкой, ванночки с гальваникой, паяльная аппаратура. С краю примостились тисочки небольших габаритов и компактная наковальня. Глянешь на те тисочки — подмывает пройтись по воздуху рашпилем и надфилем. Посмотришь на ту наковальню — так бы сейчас, кажись, и фуганул кувалдой.

А посреди инструментария, когда ни зайдешь проведать, горбится при свете копилки фигура друга. В разговоры не вступает, вопросов не задает, лишь насвистывает изредка вальсик из кинофильма «Юность Максима». А скажешь ему:

— Витя, — болтик!

— Есть болтик! — откликнется Витя и мгновенно шлоскогубцами успокаивает анархиста, не желющего смиренно сидеть в своем гнезде.

— Витя, — шпандырь!

— Есть шпандырь!

Схватил, подкинул, деряб-деряб-срдык, и будь спок: пришпандорит и захендюпит по самую фитяску.

— Витя, — втулка!

Берет дрель и дрищет во втулку, покуда не просквозит из отверстия ответный ветер... Так незаметно, играючи, в по-

рядке разминки, приятели отгрохали фартовый велосипед.

В передаточных механизмах, в сцеплении шестеренок Лень, тряхнув стариною, показал класс. У Вити были иные навыки: он понимал в электричестве и разбирался в теплотехнике. По его инициативе в городе починили движок. Ему же принадлежало смелое начинание по части жидкого топлива, заменяющего бензин. Движок, сколько ни жисься, без горячего не запустишь. Что же делать? — научились делать горячее из растительных масел.

Но в строительстве магнетического волновика-усилителя темпы по-прежнему отставали от жизни. Ведь строить-то выпало на пустом месте, безо всяких там арифмометров и конденсаторов. С одним сопротивлением натерпелись: козни врагов, измена друзей...

Однажды, едва на крепком велосипеде Леонид Иванович замесил по проселку налаживать урожай, в мастерскую сошла хозяйка.

— Спасибо, я — уже, — отказался вежливо Витя от приглашения завтракать. С озабоченным лицом он вмонтировал поскорее в тисочки необработанный брусок и зашваркал напильником. Дескать, прошу извинить, но неотложное производство отвлекает меня от вашего приятного аппетита. Смотреть на Серафиму Петровну у него не поднимались глаза. Она ослепляла улыбкой, говорящей всегда одно и то же: «Будь ты хоть сам Гарибальди, а от меня, голубчик, тебе никуда не деться».

— Правда, Витюша, — Серафима Петровна поправила прическу безукоризненно точным жестом, от которого у мужчины внутри все холодеет, — правда, Витюша, вам довелось участвовать в разоружении банды Берия? Расскажите... Ах! не рассказывайте! я совсем забыла, какую высокую меру применяют к разведчикам за их несдержанность... Знаете, я тоже когда-то мечтала стать разведчицей. Это так интересно! Опасные связи... Тайные встречи... Трагедия женщины, вынужденной, рискуя жизнью, пить шампанское с каким-нибудь дипломатом, хотя как человек он ей не импонирует, но надо — значит надо, и вот она, хохоча, кладет молодое тело ему на эшафот...

— Неясно мне, хозяйка, на кого вы намекаете, — отвечал Витя сконфуженно. — Вам же известно: я оставил эту треклятую работенку...

Не отходя от станка, он покосился на коленную чашечку, выступавшую из-под пеньюара вполне благопристойно, но слишком уж как-то выпукло, мочи нету смотреть.

— Витюша, бросьте рубанок! хватит маскироваться! Я вас не выдам. Поймите наконец, — я тоже пленница, а не жена этому деспоту. Какой он муж? Я даже не жила с ним ни разу... Бежим вместе! Я помогу вам похитить бумаги у него из сейфа. Воспные чертежи. Без них тиран потеряет всякую власть над

нами. Он уже потерял. Я вся в вашей власти... Витюша, вы слышите? Я вся в вашей власти!..

Ручейки пота, сплетаясь на животе, опоясывали атлета. Железо жгло кожу. Раскаленный напильник, как скрипка, пел и плакал в руках. Но заглушить речь соблазнительницы — насечка была мелковата.

— ...В Ленинграде по чертежам мы сами построим двигатель. Взметнем новое знамя. Поведем войска на Любимов... Я рожу вам сына. Вы станете принцем-консортом. Вице-королем. Фаворитом. Уверяю вас, Мао Цзэдун протянет нам руку дружбы. В крайнем случае временно пожертвуем Средней Азией. Отдадим Кавказ. Перекинем пожар в Европу. Не шутите со мной, Витюша! Я не какой-то районный центр имею в виду. Я обещаю вам...

Каких только цукатов не наобещает взбалмошная, потерявшая управление женщина? Но чего хорошенького для нашей родины она сможет предложить? Анархию. Одну анархию И сплошную междоусобицу. Засады на дорогах, поезда под откосами. С черными знаменами. В розовом пеньюаре. *Поезда, оголив колени, падают под откос.* Чашечка. Шестеренка. У нее, у заразы, небось буфера под платьем. Сперва кружева, опосля буфера. *Поезда, гремя буферами, падают под откос.* Тисочки б не свихнуть. До чего раскалились. Пожар. Взметнув штанами. Не отдам Кавказа. Фаворитом бы, да по Европам. Встань ко мне Европой, милка, а я к тебе передом. Пожертвовать? Россией пожертвовать? Опять анархия. В кружевах, *в поездах, падающих...* Куда, анафема?

С напильником наперевес Витя расправил плечи и преградил дорогу твердыми, непреклонными, как плоскогубцы, губами:

— Не подходи, хозяйка, я ведь и пришибить могу. За Россию, за город Любимов, за сердечного друга Леню я жизни не пожалею...

Долго после этого насвистывал Витя вальсик и думал, насвистывая, говорить или нет начальнику, что у него жена скурвилась. И решил покуда не говорить, не расстраивать Леонида Ивановича, которому и без того расстройств хватало.

Что верно — то верно. Не по дням, а по часам таяла у нашего Лени молодецкая сила, и он уж редко-редко когда прибегал к магнетизму, а больше донимал чистым энтузиазмом. Вот и я по стариковству принес ему заявление об уходе с государственной службы, а он даже спорить не стал и лишь спросил с укором:

— Что, Савелий Кузьмич, и ты бежишь, как крыса с тонущего корабля? Все смотрят по сторонам, и ты туда же?

— Нет, не туда же, — говорю и подхожу к пульта, за которым он сидел, изучая карту местности, — а пора мне, в спокойной домашней обстановке приниматься за мемуары про твои, Леня,

подвиги, потому что при штабе да при лампочках сигнализации много не сочинишь. К тому же самое время за грядками присмотреть, морковка прополку любит, и народ что-то сделался очень уж вороватым, вчера гусенка уперли, которого ты сам разрешил мне иметь в единоличном пользовании. Так что приступаю вплотную к написанию нашей хроники, о чем по твоему же приказу давно хожу и раздумываю...

— Да ты, я смотрю, зафасонил, — оглядел он меня придиричиво. — В рубашенцию нарядился, галстук завел, запонки, просто стилияга. Уж не хочешь ли за границу смотаться? Опоздал: нынешней ночью уже ушла из города партия перебежчиков...

— Говорю вам — писать собрался. Куда мне бежать от художественного объекта? Вы мне, Леонид Иванович, еще обязаны паек определить по высшей категории, поскольку я теперь творческий работник и деятель искусств...

Пригорюнился он, вспомнив, должно быть, о пайках, трудовых и трудностях с урожаем, и поинтересовался рассеянно, какими словами намерен я описать нашу прекрасную жизнь. Вот тут-то я и вытянул из-за спины букет, приготовленный к этому случаю для торжественного прощания с Леонидом Ивановичем. И, водрузив на видное место, поправил галстук, подкрутил запонки и, жонглируя тетрадкой с конспектом, произнес такой монолог:

— Как он красив! Как он свеж! Как он дышит всеми красками и запахами природы, этот роскошный букет полевых цветов, растущих в избытке на нашей влажной почве! Приглядитесь — сколько тут хитрости, изящества и приятной пестроты. Сухопарая кашка рельефно оттеняет мясистую сочность мальвы, и шаловливый лютик целует головку застенчивой маргаритки. Пусть и в нашей повести слова, как цветы в букете, мельтешат и лепечут на все лады. Пусть одно слово будет смеющимся васильком, а другое — гордо бордовым, чванным помпоном клевера, а третье — изысканно-бледным и мечтательно-ароматным, наподобие гирлянды распустившегося жасмина. Пускай слова растут и выгибаются на тоненьких ножках, мечутся в глаза, пыhtят и режутся в дружеском хороводе, соперничая в устройстве, красоте и отделке лепестков, бубенчиков, фестончиков и гребешочков. Ибо такая пестрота и пышность слога отвечает нашим природным потребностям и знаменует расцвет города Любимова с его красочной биографией и ярким руководством...

— Хорошо-хорошо, — говорит Леня и даже сморкается в носовой платок под впечатлением этой речи. — Пишешь ты цветисто. Но нету в тебе, Проферансов, настоящей идейной ясности и задушевной простоты. И слова у тебя, обрати внимание на этот художественный недостаток, все с какими-то ужимками, с каверзами какими-то, и весь ты какой-то вертлявый и ненадежный футурист. Скомороха ты, что ли, из себя

изобразишь? Юродивым прикидываешься? Ехидство в тебе, что ли, неизжитое сидит?

Такую навел критику на мое искусство, что не захотел я с ним толковать, где да почему скрыты во мне гнильца и злорадство над человеком. Но что во мне кроме того стыд и совесть имеются, это я показал ему весьма прозрачно.

— А я, как скромная девушка, которая не желает целомудрие потерять! — объявил я и зачем-то выставил одну ногу. И стоя в этой позиции, нарисовал в деталях, как спасались наши девушки от фашистских поработителей. Чтобы отбить у немца охоту к своему белому телу, мазались они дегтем и коровьим пометом, разводили на себе насекомых, пускали слюни при каждом слове и в грязнухах да в дурах отсиживались, поджидая, когда вернутся с победой краснозвездные женихи. Мало ли примеров... В России умные люди издавна дураками сльвут, а честные — жуликами, и это не от чего иного, как от совести нашей русской, подсаживающей, что непотребно человеку открывать стыдливую душу, не замавав ее предварительно какой-нибудь пакостью. Иной раз и выругаешься, и соврешь, и даже украдешь немножко или, бывало, на сеновале к соседской жене сделаешь безответственный шаг, и все с единственной целью — сохранить под панцирем невредимую душу, которая, как драгоценность в шкатулке, нуждается в надежном замке...

— А скажи, Савелий Кузьмич, — перебил меня Тихомиров, занятый своими печальями, — тебе не попадалась книга из нашего сейфа? та самая... старинная, в толстой коже...

Выясняется: хранил он ее запечатанную в кабинете, в железном ящике, и как выучил наизусть, больше туда не заглядывал, а ключ носил на шнурке, вместо креста нательного, будучи за все спокоен и в себе уверен. На днях загорелось ему освежить в памяти один параграф об излучении психической силы — хват, в ящике пусто, хотя замки целы и печати не тронуты. Тут уж меня осенило, что, кроме Самсона Самсоновича, эту реквиизицию произвести некому. Покойный барин подкинул нам письменное пособие, и он же, по истечении сроков, забрал свое добро.

— Опять ты с этими сказками! — отмахнулся он устало и, немного помедлив, спросил, не припомню ли поточнее, в каком именно омуте нашей мелководной реки утопили мы по весне милицейскую амуницию. Я так и обмер: ну, братцы, догавкались — кранты мозговому делу. Но вслух сказал командиру в последнее утешение:

— Ничего, не робей, начальничек. Не все потоплено. По избам поискать — еще десяток-другой берданок насобираешь... Гляди-ка — небеса посветлели. Даст Бог, разведрится, урожай съедем. Поправимся, поднатужимся, до осени дотянем. Тогда уж никакой супостат в наши леса не пролезет. Нам бы только, Леня, до осени дотянуть...

А внутри, под панцирем, душа у меня скулила: недотянем, недотянем...

Расставшись с Леонидом Ивановичем, Проферансов в глубокой задумчивости не заметил, как пересек заставу, плетни, огороды и очутился у крайней халупы, приютившейся в ивнячке, на расквашенном берегу неширокой реки Любимовки. Солнышко нежарко покачивалось в темной, тяжелой воде, склоняясь часам к шести. Попискивали комарики. Из лесу слабо несло кислым дымком. У рябоватой молодки, полозавшей в речке белье, Савелий Кузьмич разузнал об ее сожителе. Тот вдали от шума, в увольнении от государственных тягот, отдыхал, словно дачник, посвятив себя рыболовству. Заслонясь мыльной ладошью, молодка визгливо кликнула на варварском диалекте:

— Сямен! Семка! кудаи тый, пес, ухлюпал? тутось ынты-лехент тебе шуканть.

— Э-ге-гей, мы здесь, — послышалось неподалеку, из прибрежного тростника.

— Доброго здорьвица, Семен Гаврилович, — поклонился Проферансов удильщику и присел рядышком, на опрокинутое ведерко.

— Здорово, — отозвался не глядя Семен Гаврилович Тищенко, всецело погруженный в созерцание поплавка.

Помолчали. Потом закурили. Угощая самосадом, Савелий Кузьмич посочувствовал:

— В экую даль, товарищ Тищенко, вас уклонисты сослали!

— Никто не ссылал, сам переехал, — возразил бывший правитель и городской секретарь. — Отсюда на рыбалку ходить способнее и воздух для здоровья чище. С чем пожаловал?

— А что? Чай первый... Учтите, Семен Гаврилович, самый первый в городе, — подпрыгнул старик на ведерке, — прибыл я заявить мою верность генеральной линии и сказать, что мы не потерпим...

Ну, положим, не первый... Намедни доктор Линде тоже подкатывался как потерпевший от царизма. И что его угораздило?..

Савелий Кузьмич засмеялся и рассказал новость, в которую влипла наша придворная медицина. Как вскрылись прошлогодние шашни доктора с Серафимой Петровной, — его из главных врачей разжаловали в фельдшера. А хранил он свою интригу в таком строжайшем забвении, что уж на что Проферансов в друзьях у Линде числится и всегда находится в курсе его амурных занятий, так и тот об этом событии только сейчас узнал. И еще разнохал, что ночью на квартиру к доктору Линде являлась недавно сама царица и уговаривала бежать... Он ее даже на порог не пустил. Выставил в форточку усатую морду и шепчет:

— Идите, идите, гражданочка. Вы — невменяемая. Какой я вам к черту любовник? У меня с вами и не было ничего...

Тищенко сокрушенно вздохнул и сплюнул в воду.

— А ведь удалая была бабенка...

— Что вы, Семен Гаврилович, — кожа да кости, смотреть противно. Мне лично жирненькие больше по душе... Так вы уж не забудьте: я тоже пострадавший, меня за мои убеждения Тихомиров со службы уволил. Когда вы вернетесь из своего изгнания и встанете у кормила...

По флегматичной физиономии опального вождя скользнула тень недовольства:

— Какое еще кормило? Мне и тут пречудесно. Вот выйду на пенсию, усядусь на бережочке... Знаешь, приятель, — сейчас клев начнется. Бери запасную удочку. Или не мешай.

Проферансов повиновался. Он взял второе удилище и расположился в сторонке. Рыба помаленьку клевала. Река небыстро катила тинистые волны. Покусывали комары. Солнышко пригревало, ветерок обдувал. В Любимове устанавливалась нормальная погода...

.....  
С кем ушла из города Серафима Петровна — так и не дознались. В тот день ушло больше двадцати человек, среди них директор школы, бежавший на школьной лошади с казенным тарантасом. В штабе Леонид Иванович также обнаружил потери: денежные обои попорчены утюгом, бритвой, шпильками. В общей сложности беглянка сумела наковырять оклейки тыснонок на пять. Куда только, вопрос, удастся ей сбагрить свои лохмотья?

Тихомиров никого не преследовал. С равнодушным погорельца обходил он родные кварталы, всюду читая знаки несбывшихся начинаний. Вот здесь начинали строить спортивный стадион: успели вырыть канаву и разломать полстены монастырского кирпича. А вон там предполагался Дворец Брака с фонтаном Любви, основанным в честь нынешней изменницы и казнокрадки. Далее, в тумане грядущего, проектировались Дворцы: Науки, Труда, Пионеров, Реалистического Искусства и совсем небольшой Дворец Монтажа и Ремонта Велосипедных Механизмов...

Посреди недостроенных памятников, нерассаженных цветников, в щебне, в известковой пыли дети играли в салочки. Мужик с угрюмым спокойствием, откровенно, у всех на виду, мочился в котлован с незаполненным бетонным фундаментом. И никто не подумал его одернуть, да и сам Главнокомандующий лишь брезгливо поморщился и прошел стороной, не сделав замечания.

Местами, вдоль перекопанного расхристанного проспекта, лежали пьяные. Увы, не путем гипноза, а под влиянием подпольной сивухи, которую начали гнать из гнилого картофеля, довели они себя до этого разложения. И никто не поднимал и не убирал их с дороги Леонида Ивановича. Народ праздными группами



скапливался на улицах, галдел, смеялся, любезничал, дулся в очко, в орлянку, резался в подкидного и рассасывался по дворам при появлении Главногокомандующего. Его побаивались. У поваленного забора Леня слышал, как ведьма урезонивает сорванца:

— Будешь фулиганить — сдадим тебя Косоглазому на мясозаготовку...

Что он им сделал? Чем не угодил? Ради них пожертвовал жизнью, надорвал здоровье, а стоило иссякнуть энергии, и сиволопые дикари спешат надругаться над обессиленным командиром. По доброму согласию и для собственной пользы приучались они к дисциплине, освобождались от недостатков, закалялись в труде, участвовали в заготовках, которые проводились с такой заботой, что у жителей, помимо государственных перспектив, сохранялась в резерве кое-какая скотинка. Ведь эта же чертовка, что сейчас внушает своему бесенку недоверие к руководству, умоляла Леонида Ивановича забрать у нее курят. Ведь она была счастлива культурно расти, технически развиваться и, как молоденькая, рвалась в комбайнерши, хотя этой ведьме не за рулем агрегата ездить, а верхом на метле...

Паническое кудахтанье заставило его обернуться. По проспекту Володарского улепетывала курица. За нею с подоткнутой юбкой, верхом на метле гналась та самая, немолодых уже лет гражданка. Громоздкий снаряд не мешал вдове так работать ногами, что казалось — еще мгновение, и она взлетит. Неужели взлетит? — подумал Тихомиров с тревогой, и тотчас наездница, поровнявшись с начальником, оттолкнулась метлой от земли и взвилась метров на шесть. Мелькнули босые пятки, разнужданные ягодицы и с высоты рекорда баба шлепнулась на соломенную крышу сарайчика, перевела дух и разразилась в адрес курицы потоками отвратительной ругани.

— Что она, спятила? на такой скандал того и гляди народ сбежится! — произнес мысленно Леня, и едва он себе представил эту возможность, как со всех сторон побежали зеваки. — Форменное безобразие! — возмутился он при виде взбудораженной толпы, все еще не догадываясь, что начавшаяся эпидемия всецело зависит от его скачущих мыслей.

Да, на исходе власти, на закате славы — былая сила внушения вернулась к нему сторицей. Никогда еще Тихомиров не обладал такими способностями распоряжаться массами и заряжать их неслыханными запасами энергии. Лишь на свои помыслы не нашлось у него управы, и малейшая мыслишка, незаметный мозговой завиток, глупость какая-нибудь, взбрендившая в голову, принимались окружающими к немедленному исполнению.

Разве дан человеку контроль над своей душой? Может ли он учесть все прихоти фантазии, кипящей в его уме? Он приказывает населению: «Товарищи, без паники!» — а сам в это время

смекает, поглядев на громадного парня: «Экий бык!» И вот уже верзила роет землю подковками пудовых башмаков, и, насупясь, мычит, как бык, и бодает прохожих, которые спокойно переносят его удары (ведь сказано — «без паники!»), что еще более запутывает и осложняет положение...

По-деловому, бригадами, или кто во что горазд, они честно выполняли задания Леонида Ивановича, в том числе и такие, о наличии которых он даже не подозревал. Одни, по преимуществу женщины, неумеренно обнажались. Другие, в основном мужчины, сойдясь в небольшие кучки, затевали драки, похожие на дружную коллективную работу: без криков, без лишних стонов. Третьи, главным образом несмышленные ребятишки, уподоблялись домашним животным, которые и в собственном облике, не отставая от человека, влились в собрание и приняли участие в этом альянсе верховной власти и народной свободы.

Куры пели петухами, козы пытались лаять. Корова, мяукнув, перемахнула через плетень. Гигант, возомнивший себя быком, воспрянул духом и устремился к подруге...

— Чтоб ты содох, проклятый! — хотел осадить Леонид Иванович потерявшего стыд сластолюбца и немного переборщил: парень шумно взревел, опалил своего губителя ненавидящими глазами и рухнул на оба локтя с разрывом сердца.

Слишком буйных и самых последовательных Леня старался свалить с ног легким обмороком. Но все чаще помимо воли у него вместо «усни» вырывалось — «умри! умри!» И тогда усмиренные уже больше не просыпались.

На какой-то момент, собравшись с мыслями, ему удалось заставить толпу оцепенеть и не двигаться. Все замерли в позах борьбы, распутства и одичания. Перед этим лесом вздетых и перекрученных сочленений у самого режиссера не выдержали нервы. Какой-то голос шептал ему: «А вон тот старичок, изображающий собачку, сейчас все равно твякнет...» И от этой невольной мысли старичок, действительно, твякнул, и Леня смешался, и тишина взорвалась новым приступом бешенства...

Бойтесь рассеянных мыслей... Не доведут они до добра... Учитесь думать внимательно, по прямой, идущей оттуда, где покоится желанный финал, по внезапной, чистой и ровной, как стрела, — прямой. Не разбрасывайтесь на мелочи. Не загрязняйте воздух вздорными помыслами. Они опасны. Вы сами не знаете, к каким последствиям они способны привести...

Тихомиров, оттесненный к сарайчику, боялся пошевелиться. Скажи он лишнее слово, сделай непреднамеренный жест, и, казалось, город Любимов сорвется с места и пустится вприсядку по лесам и болотам. Однако события уже развивались без участия Леонида Ивановича. Уже пролетела по воздуху вестница на метле, открывшая этот митинг и успевшая поднатопить в своей гимнастике. Она парила над крышами, строила фигуры и крутилась мельницей, бессвязно ораторствуя:

— Ай ай косо́й черт приласка́й косо́й черт пожалей замо́рыш горит сладко родить щенят с клыками фейхтвангера не могу раздавить портки танки идут выну кисту танки идут откусить хочу хохлатый бежим в ленинград!..

С последним восклицанием она исчезла. И мигом обстановка разрядилась, волнение стихло. Бабы торопливо расхватывали немудрящее барахлишко и, кое-как прикрывшись, убежали на огороды. Оттуда, не появляясь, скликали детей по домам. Мужики утирали кровь, загоняли скот, уволакивали мертвых. Все тяжело дышали и были понуры, точно с похмелья. Друг на друга никто не смотрел. Но понимали они или нет, что с ними было и что теперь происходит? Тихомиров не понимал.

— Эй, что случилось? куда вы все уходите?

Никто не отзывался. Затворяли ставни, надевали засовы, захлопывали ворота. Вскоре на дороге осталась одна курица, ковырявшая мусор. «Цып-цып-цып», — поманил ее Леня и повторил громче:

— Цып-цып-цып!

Та не обратила внимания на призыв Леонида Ивановича и невозмутимо продолжала заниматься своим мусорным промыслом. Нет, она не боялась и никуда не убегала, но повиноваться ему она тоже отказывалась. И, поглядывая на курицу, Главнокомандующий увидал, что земля вздрагивает. Опустился на дорогу, приложил ухо и понял: где-то далеко-далеко, еле-еле слышно погромыхивало и подпрыгивало...

До самого генерального штаба ему не встретилось ни души. Город вымер. И хотя недавнее буйство, как показывал беглый осмотр, коснулось лишь нескольких улиц, все прочие горожане тоже сидели по норам и не высовывали носа. Верно, их распугал этот дальний грохот, теперь хорошо различимый.

За два дома он услышал, как трезвонят звонки в кабинете, и припустил рысью. Двери — настезь. Ветер гуляет. Обои — рваными ранами. Но техника связи не подвела и работала нормально. По всему пульту вспыхивали и гасли лампочки сигнализации, окружая город тревожными огоньками. Кольцо сжималось. Леня попробовал перочинным ножом отодрать струблевку. Лезвие соскользнуло. Звонки умолк. Лампочки не загорались. Значит — уже порвали провод на ближних подступах.

— Витя! Витя! — прокричал Тихомиров, выводя велосипед. Витя не откликнулся.

Мастерская была пуста. На дворе под подошвами почва уже ходуном ходила.

— Витя! — позвал он еще раз и нажал на педали...

...А грохот надвигался. Танки-амфибии с трех сторон шли на Любимов. Они переваливали через овраги, проплывали болота, сминали низенький ельник, слабенький березняк и вылезали, оплетенные сучьями, грязью, тиной, кувшинками, — ископаемые бронтозавры, притом самой новой,

сверхпроходимой конструкции. Тяжеловесные увальни, они топтали посевы, валили заборы, хибары, когда на них наталкивались, и в этом не было ни злого умысла, ни тактического расчета. Управляемые по радио, на большом расстоянии, они, несмотря на всевозможные фото- и звукоулавливатели, не могли разобрать в точности, где тут домик, а где деревцо, и шли бронированными стадами, напролом, без людей, пустотельные, не стреляя, только вытаптывая и вырубая проходы для будущего.

Из палисадника навстречу амфибии выскочил человек с берданкой и приложился пару раз крупной охотничьей дробью. Это был Витя Кочетов, не пожелавший, чтобы город сдался без единого выстрела. Чудовище, по которому он палил, остановилось, словно не зная, что ему делать с таким противником. Оно напрягло все свои звуко- и фотоулавливатели и ничего не уловило. Помолчало, подумало, постояло, а потом, на всякий случай, хлестнуло вдоль улицы короткой очередью. Бывший сыщик и последний защитник города Любимова упал, перерезанный пополам, даже не вскрикнув.

---

#### Глава седьмая и последняя

---

#### ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ АККОРДЫ

---

В конце лета к попу Игнату приплелась убогая странница — из дальних, из городских, из самого, говорит, города Любимова, откуда по непроезжим дорогам будет, почитай, ни много ни мало, семьдесят семь верст, и как она прошла по тем лесным дорогам — уму непостижимо. Принесла творожок в тряпице и три рубля деньгами: отслужить молебен о здравии раба Божия Леонида да панихиду по усопшему рабу Божию Самсону.

— Новопреставленный? — уточнил поп Игнат, любивший все делать с толком, по чину, и добавил уважительно — насчет Самсона: Древнее имя!..

— Древний, батюшка, древний, древнее некуда, — обрадовалась старушка. — Какой там новопреставленный!..

— А что, матушка, — полюбопытствовал отец Игнат, — взаправду сказывают, будто в Любимове стряслись великие мятежи, кричание, стрельяние, злосмрадное пребеззаконие и были приняты муки за веру Христову и святую церковь?

— Было, батюшка, было, все было, — отвечала старушка как-то неопределенно, а потолковее рассказать, что же у них стряслось, так и не сумела.

Приход у отца Игната — самый захудалый. На краю света, можно сказать, висит и держится ветхая церковка, но, может, потому и висит и держится, что — на краю света и мало к себе гостей привлекает, и одних глупых старух, которым помирать пора, пытается обнадеежить. Но служил поп истово, неторопливо и управлялся один, без помощников, и на всякую

службу, глядишь, три-четыре старушки обязательно набежит, а по праздникам и много более того. Вот и нынче сошлись и расползлись по храму, ровно грибы лесные, большие, трухлявые грибы, распростерлись, распластались на полу — замаливать грехи отцов и сыновей, живущих и усопших.

Отслужил поп — сперва за здравие, а после за упокой, за Леонида и за Самсона, и читал, и кадил, и пел, и возжигал свечи — все сам. И хотя всего-ничего сунула ему дальняя бабка — творожок в тряпице, да три рубля деньгами, — захотелось попу в укрепление, а может, и в нарушение чина спеть еще один заупокойный акафист, принесенный в русскую землю не откуда-нибудь, а со святой горы, с самого Афона. Уж очень любил отец Игнат тот заупокойный акафист и знал, что не повредит крепкая святая молитва ни рабу Божию Самсону, ни тому богоспасаемому граду Любимову, где нынешним летом, сказывают, стряслось, ох! и стряслось!..

«Отче наш, возвесели души ранее удрученных до конца бурями житейскими. Отче наш, да забудут они все скорби и вздыхания земные. Отче наш, утеши их в лоне Твоем, яко же мать утешает чады своя».

Земля отпускала медленно, тяжело, неохотно, но все-таки отпускала. Душа возносилась, забывая все скорби и вздыхания земные, все быстрее и быстрее, смеясь и трепеща от этой скорости и света, пронзающего ее легкий, невесомый состав, и ничего уже не ведая, ни о чем не помня, кроме этого долгожданного отпуска...

«...Спаси, Господи, скончавшихся в тяжких мучениях, убиенных, погребенных живыми, поглощенных землею, волнами, огнем, растерзанных зверями, умерших от глада, мраза, с высоты падением, и за скорби кончины их даруй им вечную радость Твою... Отче наш, даруй вожделенный покой умершим под бременем тяжких трудов. Отче наш, утоли скорби родителей об утрате чад. Отче наш, упокой всех одиноких, сирых, нищих, немущих ближнего, молящегося за них...»

Поп Игнат пел, возглашал и трубил толстым голосом. Там, в Любимове, сказывают, содеяно большое смятение, беснование и гонение, много крови и много греха. И он старался перекрыть панихидой все, что там накопилось, и умолить Господа спасти грешных рабов Своих, какой бы смертью и с каким бы грузом ни привелось им закончить свой скоротечный век. Он был не шибко учен, этот сельский поп, и мало смыслил в тонкостях богословия, но вызубрил, что, останься на всей земле одна его церквушка, он отсюда, с краю света, продолжал бы, как обычно, вызволять из беды нечестивое человечество, умершее и живущее, денно и ночью, как вол, как царь, как батрак, как Сам Господь Бог, Чьи милости неисчерпаемы, а труды непомерны. И эта полезная работа и почетная должность сделали попа важным и великодушным.

«...Отче наш, — возопил он с грозной торжественностью, — скорбим об ожесточении беззаконных хулителей Твоего Имени и Святыни. Отче наш, да будет над ними спасительная воля Твоя. Отче наш, умиلسердися над уязвленными гибельным неверием. Отче наш, тяжки их грехи, но сильнее милость Твоя. Отче наш, прости скончавшихся без покаяния. Отче наш, спаси погубивших себя в помрачении ума. Отче наш, очисти их ради верных, вопиющих Тебе день и ночь. Отче наш, ради незлобивых младенцев прости их родителей. Отче наш, слезами матерей искупи грехи их чад...»

Матери были тут же, под рукою. Они ползали по полу, похожие на грибы, сыроежки, сморчки, синюшки, трухлявые, червивые, горбуны и развалюхи. Как они живут еще? Чем дышат? Откуда черпают силы сползаться сюда? Зачем они и кому они еще нужны?..

.....  
В карманах — пусто, за душой — ни черта, позади — петля, впереди — неизвестность. Что ему посоветовать в этом сложном положении? Лишь одно: сунуть руки в карманы и вечером, попозже, прошнырнуть по поселку на незнакомую станцию и в стороне от вокзала, чтобы ночью не встретился нежелательный милиционер, дожидаться, не пройдет ли товарный состав, а покедова погулять, засунув руки в карманы.

Эх! кармашки, интимные уголки, последнее, что осталось одинокому человеку! Кажется, что в них проку, в пустых-то карманах, а вот засунешь руку в штанину, и на сердце становится покойнее и теплее. Какой-никакой, а домик построен, конура найдена и, пожалуйста, располагайся тут со всеми удобствами. Сквозь протертую реденькую ткань подкладки доходит до тебя встречная нежность твоей ноги. Засунуть бы туда же голову, забраться бы в карман целиком и сидеть, подремывая, понохивая коверкот, смешанный с наивным, всегда удивительным запахом собственной кожи и воздушной сухостью хлебных крошек.

Поджав к животу останное тепло, ты ходишь, озираясь, возле железного полотна и прячешься от облавы в нательные гнезда, ведущие потаенное, незримое существование. Куда скроешься глубже? Где лучше выплачешься? С кем поговоришь задушевнее, как не со своими карманами? Эх, кармашки, приютите, братишки, окажите гостеприимство обездоленному человеку!

Выпить бы. Пройтись по перрону. Кум королю. Заложив руки в карманы. Кому до нас дело? А наше дело сторона. Но вот, если остановят — «руки вверх» — вывернут карманы, лязгнут затвором — «руки вверх!» — и с вывернутыми карманами... нет, с вывернутыми карманами человеку лучше не гулять по земле.

...Товарный поезд у станции, по счастью, затормозил,

подхватил его и укрыл в своих могучих сцеплениях. Прикорнув на платформе, среди высоких ящиков, Леня подремывал, поплеывал и ни о чем не думал. Никогда в жизни ему не было так свободно и уютно. Бремя власти, муки любви, заботы о будущем, память о прошлом, — все отваливалось, отпадало и оставалось на шпалах. Леня знал, что ему предстоит добывать себе деньги и документы, и какую-то одежонку, и какую-то работенку, подалее, в Донбассе, в Челябинске, в Караганде... Но его судьба — он был уверен — сложится и образуется сама собою, без усилий, и подарит ему чужой паспорт, новый угол и велосипедную мастерскую. Оттуда, из мастерской, он вызовет Витю, и тот придет, и все опять образуется, как нельзя лучше, без усилий, по шпалам — в Донбассе, отскакивало — в Челябинске, отдавало — в Караганде. Поезд присвистнул тоненько, усыпительно, как умеет насвистывать только Витя, орудуя зубилом и напильником, и унес Лению в своих объятиях.

.....

Профессор! Что ж вы помалкиваете, профессор, и не появляетесь больше направлять и подзуживать мое перо, подошедшее к финалу? Куда вы исчезли? Почему я не вижу никаких ваших отпечатков и дворянских гербов на моей серой бумаге? Может быть, вы полагаете, что я тоже умер, что город Любимов полностью уничтожен и больше нет здесь ничего достойного внимания? Напрасно, напрасно. Ситуация не такая уж мрачная, хотя скоро год, как мы перестали числиться самостоятельным королевством и возвратились к своему районному значению. Кое-кого, естественно, похватали, кое-кто пропал без вести. Что ж поделаешь? Лес рубят — щепки летят. Но многие дома и даже целые улицы сохранились нетронутыми, а многие — уже восстановлены и заселены пришлым народом. И монастырь все еще стоит. И я, как видите, жив-здоров, цел-невредим, чего и вам желаю. Ну, конечно, потаскали, помытарили немного. Как же без этого? Да вот Семен Гаврилович Тищенко, спаси его Христос, подтвердил на следствии мою непричастность. Хоть его понизили на вторые роли — это из первых-то секретарей, — все же к мнению такой выдающейся личности у нас прислушиваются. Так что можете не опасаться и по-прежнему заглядывайте к старику на огонек. И потом учтите, когда я сажусь писать, дверь всегда на запоре, никто посторонний не войдет, не помешает... Что ж вы таитесь, профессор? Ну дайте какой-нибудь условный знак, впишите одну только букровку между строк, и я все пойму и во все поверю... Эх, вы! А я-то вам ничего не жалел. Жизнеописание составил. Матушке Леонида Ивановича строго-настрого наказал для вас панихидку справить и три рубля пожертвовал на ваши удовольствия. А вы не можете товарищу помочь, когда он просит. Самсон Самсонович, не о себе я прошу и не для этой повести, которая все равно закончена и без ваших

консультаций. О городе Любимове, о родной земле пекусь, о вашей земле, господин Проферансов, которой вы предательски изменили. Не сердитесь: я пошутил. Давайте совместными усилиями, как когда-то бывало, подналяжем и попробуем еще разок крутануть колесо истории. Вы только верните нам Лению Тихомирова, царя, волю, как ее? — энергию эту самую дайте, и мы вам снова в два счета построим коммунизм...

Говоря строго между нами, только уж ты, профессор, об этом никому ни гу-гу, — я соврал тебе давеча про наше хорошее положение. Положение у нас хуже некуда. Следствие продолжается. Вот-вот снова в городе начнутся аресты. Я сижу и трясусь, что обыщут и обнаружат под половицей эту рукопись, и тогда уж по ней нас всех до одного выловят. Слушай, профессор. Ты же мой соавтор. Припрячь временно где-нибудь там у себя нашу повестушку. Пускай полежит пока в каком-нибудь твоём недоступном сейфе. Взял же ты манускрипт у Лени. Есть же у тебя укромное место. Тайничок какой-нибудь. Приюти до срока. Разве это не твое добро?

*1962—1963*



---

---

## ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ

---

### 1.

Что такое социалистический реализм? Что означает это странное, режущее ухо сочетание? Разве бывает реализм социалистическим, капиталистическим, христианским, магометанским? Да и существует ли в природе это иррациональное понятие? Может быть, его нет? Может быть, это всего лишь сон, пригрезившийся испуганному интеллигенту в темную, волшебную ночь сталинской диктатуры? Грубая демагогия Жданова или старческая причуда Горького? Фикция, миф, пропаганда?

Подобные вопросы, как мы слышали, возникают частенько на Западе, горячо обсуждаются в Польше, имеют хождение и в нашей среде, возбуждая ретивые умы, впадающие в ересь сомнения и критиканства.

А в это самое время советская литература, живопись, театр, кинематография надрываются от усилий доказать свое существование. А в это самое время миллиардами печатных листов, километрами полотна и пленки, столетиями часов исчисляется продукция социалистического реализма. Тысячи критиков, теоретиков, искусствоведов, педагогов ломают голову и напрягают голос, чтобы обосновать, разъяснить и втолковать его материалистическую сущность и диалектическое бытие. И сам глава государства, Первый секретарь ЦК, отрывает себя от неотложных хозяйственных дел, чтобы высказать веское слово по эстетическим проблемам страны.

Наиболее точное определение социалистического реализма дано в уставе Союза советских писателей: «Социалистический реализм, являясь основным методом советской художественной литературы и литературной критики, требует от художника правдивого, исторически-конкретного изображения действительности в ее революционном развитии. При этом правдивость и историческая конкретность художественного изображения действительности должны сочетаться с задачей идейной переработки и воспитания трудящихся в духе социализма<sup>1</sup>».

Эта невинная формула служит тем фундаментом, на котором воздвигнуто все здание социалистического реализма. В ней заключены и связь социалистического реализма с реализмом прошлого, и его отличие, новое качество. Связь состоит в *правдивости* изображения: отличие — в умении улавливать *революционное развитие* жизни и воспитывать читателей и зрителей в соответствии с этим развитием — в *духе социализма*.

---

<sup>1</sup>Первый Всесоюзный съезд советских писателей, 1934. Стеногр. отчет. М., 1934. С. 716.

Старые, или, как их часто называют, критические реалисты (за то, что они критиковали буржуазное общество) — Бальзак, Лев Толстой, Чехов — правдиво изображали жизнь, как она есть. Но они не знали гениального учения Маркса, не могли предвидеть грядущих побед социализма и уж во всяком случае не имели понятия о реальных и конкретных путях к этим победам.

Социалистический же реалист вооружен учением Маркса, обогащен опытом борьбы и побед, вдохновлен неослабным вниманием своего друга и наставника — коммунистической партии. Изображая настоящее, он слышит ход истории, заглядывает в будущее. Он видит недоступные обыкновенному глазу «зримые черты коммунизма». Его творчество — это шаг вперед по сравнению с искусством прошлого, самая высокая вершина в художественном развитии человечества, наиреалистичнейший реализм.

Такова в нескольких словах общая схема нашего искусства — удивительно простая и вместе с тем достаточно эластичная, чтобы вместить и Горького, и Маяковского, и Фадеева, и Арагона, и Эренбурга, и сотни других больших и маленьких социалистических реалистов. Но мы ничего не поймем в этой концепции, если будем скользить по поверхности сухой формулы и не задумаемся в ее глубокий сокровенный смысл.

В основе этой формулы — «правдивое, исторически-конкретное изображение действительности в ее революционном развитии» — лежит понятие цели, того всеохватывающего идеала, по направлению к которому неуклонно и революционно развивается правдиво изображаемая действительность. Запечатлеть движение к цели и способствовать приближению цели, переделывая сознание читателя в соответствии с этой целью, — такова цель социалистического реализма — самого целенаправленного искусства современности.

Цель — коммунизм, известный в юном возрасте под именем социализма. Поэт не просто пишет стихи, а помогает своими стихами строительству коммунизма. Это так же естественно, как и то, что рядом с ним аналогичным делом занимаются скульптор, музыкант, агроном, инженер, чернорабочий, милиционер, адвокат и прочие люди, машины, театры, пушки, газеты.

Как вся наша культура, как все наше общество, искусство наше — насквозь телеологично. Оно подчинено высшему назначению и этим облагорожено. Все мы живем в конечном счете лишь для того, чтобы побыстрее наступил Коммунизм.

Человеческой природе присуще влечение к цели. Я протягиваю руку с целью получить деньги. Я иду в кино с целью провести время в обществе хорошенькой девушки. Я пишу роман с целью прославиться и снискать благодарность потомков. Каждое сознательное движение мое целесообразно.

Животным не свойственны столь отдаленные замыслы. Их выручают инстинкты, опережающие наши мечты и расчеты.

Животные кусают, потому что кусают, а не с целью укусить. Они не думают о завтрашнем дне, о богатстве, о Боге. Они живут, не выдвигая перед собой никаких сложных задач. Человеку же непременно нужно что-то такое, чего у него нет.

Это свойство нашей природы находит выход в кипучей трудовой деятельности. Мы переделываем мир по своему подобию, создаем из природы вещь. Бесцельные реки превратились в пути сообщения. Бесцельное дерево — стало бумагой, исполненной предназначений.

Не менее телологично наше отвлеченное мышление. Человек познает мир, наделяя его собственной целесообразностью. Он спрашивает: «Для чего нужно солнце?» и отвечает: «Для того, чтобы светить и греть». Анимизм первобытных народов — это первая попытка снабдить бессмысленный хаос множеством целевых установок, заинтересовать равнодушную вселенную корыстной человеческой жизнью.

Наука не освободила нас от детского вопроса «зачем?». Сквозь причинные связи, проведенные ею, видна скрытая, искаженная целесообразность явлений. Наука говорит: «человек произошел от обезьяны», вместо того, чтобы сказать: «назначение обезьяны — походить на человека».

Но независимо от того, как произошел человек, его появление и судьба неотделимы от Бога. Это высшее понятие цели, доступное если не нашему пониманию, то хотя бы нашему желанию, чтобы такая цель была. Это конечная цель всего, что есть и чего нет, и бесконечная (и, вероятно, бесцельная) цель в себе. Ибо какие могут быть цели у Цели?

В истории есть периоды, когда присутствие Цели становится очевидным, когда мелкие страсти поглощаются стремлением к Богу, и Он начинает в открытую призывать к себе человечество. Так возникла культура христианства, уловившая Цель, быть может, в ее наиболее недоступном значении. Затем эпоха индивидуализма провозгласила Свободную личность и принялась поклоняться ей как Цели, с помощью ренессанса, гуманизма, сверхчеловека, демократии, Робеспьера, сервиса и многих других молитв. Теперь мы вступили в эру новой всемирной системы — социалистической целесообразности.

С ее мыслимой вершины льется ослепительный свет. «Воображаемый мир, более материальный и соответствующий человеческим потребностям, чем христианский рай...» — так однажды назвал коммунизм советский писатель Леонид Леонов.

У нас не хватает слов, чтобы рассказать о коммунизме. Мы захлебываемся от восторга и, чтобы передать ожидающее нас великолепие, пользуемся в основном отрицательными сравнениями. Там, в коммунизме, не будет богатых и бедных, не будет денег, войн, тюрем, границ, не будет болезней, и может быть, даже смерти. Там каждый будет есть, сколько захочет, и работать, сколько захочет, и труд вместо страданий принесет одну

радость. Как обещал Ленин, мы сделаем клозеты из чистого золота... Да что тут говорить:

Какие краски и слова нужны,  
Чтоб те высоты увидеть смогли вы? —  
Там проститутки девственно-стыдливы  
И палачи, как матери, нежны.

Современный ум бессилён представить что либо прекрасное и возвышеннее коммунистического идеала. Самое большее, на что он способен, это пустить в ход старые идеалы в виде христианской любви или свободной личности. Но выдвинуть какую-то цель посвежее он пока что не в состоянии.

Западный либерал-индивидуалист или русский интеллигент-скептик в отношении социализма находятся примерно в той же позиции, какую занимал римский патриций, умный и культурный, в отношении побеждающего христианства. Он называл новую веру в распятого Бога варварской и наивной, смеялся над сумасшедшими, что поклоняются кресту — этой римской гильотине, и считал бессмыслицей учение о Троице, непорочном зачатии, воскресении и т. п. Но высказать скольнибудь серьёзные аргументы против *идеала* Христа как такового было свыше его сил. Правда, он мог еще утверждать, что лучшее в нравственном кодексе христианства заимствовано у Платона (современные христиане тоже иногда говорят, что свою благородную цель коммунисты прочитали в евангелии). Но разве мог он заявить, что Бог, понятый как Любовь и Добро, — это плохо, низко, безобразно. И разве можем мы сказать, что всеобщее счастье, обещанное в коммунистическом будущем, — это плохо?

Иль я не знаю, что в потемки тычась,  
Вовек не вышла б к свету темнота,  
И я — урод, и счастье сотен тысяч  
Не ближе мне пустого счастья ста?

*Борис Пастернак*

Мы бессильны устоять перед чарующей красотой коммунизма. Мы живем слишком рано, чтобы выдумать новую цель, чтобы выскочить из себя — в закоммунистические дали.

Гениальное открытие Маркса состояло в том, что он сумел доказать, что земной рай, о котором мечтали многие и до него, — это цель, предназначенная человечеству самой судьбой. Из сферы нравственных устремлений отдельных лиц («где ты, золотой век?») коммунизм с помощью Маркса перешел в область всеобщей истории, которая приобрела с этих пор небывалую целесообразность и превратилась в историю прихода человечества к коммунизму.

Все сразу стало на свои места. Железная необходимость, строгий иерархический порядок сковали поток столетий. Обезьяна, встав на задние лапы, начала свое триумфальное

шествие к коммунизму. Первобытнообщинный строй нужен для того, чтобы из него вышел рабовладельческий строй; рабовладельческий строй нужен для того, чтобы появился феодализм; феодализм нам необходим, чтобы начался капитализм; капитализм же необходим, чтобы возник коммунизм. Все! Прекрасная цель достигнута, пирамида увенчана, история кончилась.

Истинно религиозный человек все многообразие жизни сводит к своему божеству. Он не способен понять чужую веру. На то он и верит в свою Цель, чтобы пренебречь остальными. Такой же фанатизм, или, если хотите, принципиальность, проявляет он в отношении истории. Последовательный христианин, если он хочет быть последовательным, всю мировую жизнь до Рождества Христова должен считать предысторией Иисуса Христа. Язычники, с точки зрения монотеиста, для того и существовали, чтобы испытать на себе волю единого Бога и в конце концов, пройдя известную подготовку, принять единобожие.

Можно ли после этого удивляться, что в иной религиозной системе Древний Рим стал необходимым этапом на пути к коммунизму, а крестовые походы объясняются не «из себя», не пламенными устремлениями христианства, а развитием торговли и промышленности, действием вездесущих производительных сил, обеспечивающих ныне крах капитализма и торжество социалистического строя? Истинная вера не совместима с веротерпимостью. Так же не совместима она с историзмом, т. е. веротерпимостью по отношению к прошлому. И хотя марксисты именуют себя историческими материалистами, их историчность сводится лишь к стремлению рассматривать жизнь в движении к коммунизму. Другие движения их мало интересуют. Правы они или нет — вопрос спорный. Но бесспорно то, что они последовательны.

Стоит спросить западного человека, зачем была нужна Великая французская революция, как мы получим массу разнообразных ответов. Мне кажется (может быть, это только кажется?), один ответит, что она была нужна, чтобы спасти Францию, другой — чтобы ввергнуть нацию в путину нравственных испытаний, третий скажет, что ею утверждены в мире замечательные принципы свободы, равенства и братства, четвертый возразит, что французская революция вообще была не нужна. Но спросите любого советского школьника, не говоря уже о более образованных людях, и каждый даст вам точный и исчерпывающий ответ: Великая французская революция была нужна для того, чтобы расчистить путь и тем самым приблизить коммунизм.

Человек, воспитанный по-марксистски, знает, в чем смысл прошлого и настоящего, зачем потребовались те или иные идеи, события, цари, полководцы. Столь точным знанием о назначении

мира люди не обладали давно — может быть, со времен средневековья. В том, что мы вновь получили его, — наше великое преимущество.

Телеологическая сущность марксизма наиболее очевидна в статьях, выступлениях и трудах его позднейших теоретиков, внесших в марксову телеологию четкость, ясность и прямоту военных приказов и хозяйственных распоряжений. В качестве образца можно привести рассуждения Сталина о назначении идей и теорий — из четвертой главы Краткого курса истории ВКП (б):

«Общественные идеи и теории бывают различные. Есть старые идеи и теории, отжившие свой век и служащие интересам отживающих сил общества. Их значение состоит в том, что они тормозят развитие общества, его продвижение вперед. Бывают новые, передовые идеи и теории, служащие интересам передовых сил общества. Их значение состоит в том, что они облегчают развитие общества, его передвижение вперед...»<sup>1</sup>

Здесь каждое слово проникнуто духом целесообразности. Даже идеи, не способствующие продвижению к цели, имеют свое назначение — препятствовать продвижению к цели (вероятно, подобное назначение когда-то имел Сатана). «Идея», «надстройка», «базис», «закономерность», «экономика», «производительные силы» — все эти отвлеченные, безличинные категории вдруг ожили, приобрели плоть и кровь, уподобились богам и героям, ангелам и демонам. Они возымили цели, и вот со страниц философских трактатов и научных исследований зазвучали голоса великой религиозной Мистерии: «Надстройка для того и создается базисом, чтобы она служила ему...»<sup>2</sup>

Здесь дело не только в специфическом обороте языка Сталина, которому мог бы позавидовать автор Библии. Телеологи-

---

<sup>1</sup> История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс/ Под ред. Комиссии ЦК ВКП (б). Одобрен ЦК ВКП (б). М., 1938. С. 111.

«Краткий курс» долгое время, пока был жив его великий создатель, являлся настольной книгой каждого советского человека. Все грамотное население страны было призвано неустанно изучать эту книгу, в особенности ее четвертую главу, содержащую квинтэссенцию марксистского вероучения и написанную лично Сталиным. Чтобы наглядно представить, какой универсальный смысл в нее вкладывался, приведу один эпизод из романа В. Ильенкова «Большая дорога»: «Дегтярев-отец принес небольшую книгу и сказал: «Здесь все сказано, в четвертой главе» Викентий Иванович взял книгу, подумав: «Нет на земле таких книг, в которых было бы сказано все, что нужно человеку...» Вскоре Викентий Иванович (тип интеллигента-скептика) убеждается в своей неправоте и присоединяется к мнению Дегтярева, выражающему взгляд всех передовых людей: «в этой книге сказано все, что нужно человеку»

<sup>2</sup> Сталин И. Марксизм и вопросы языкознания.

ческая специфика марксистского образа мысли толкает к тому, чтобы все без исключения понятия и предметы подвести к Цели, соотносить с Целью, определить через Цель. И если история всех времен и народов есть лишь история прихода человечества к коммунизму, то и всемирная история человеческой мысли, собственно говоря, для того и существовала, чтобы возник «научный материализм», то есть марксизм, т. е. философия коммунизма. История философии, провозгласил Жданов, «является историей зарождения, возникновения и развития научного материалистического мировоззрения и его законов. Поскольку материализм вырос и развился в борьбе с идеалистическими течениями, история философии есть также история борьбы материализма с идеализмом»<sup>1</sup>. Разве не слышится в этих гордых словах возглас самого Бога: «Вся история мира есть история Меня, а поскольку Я утвердился в борьбе с Сатаной, история мира есть также история Моей борьбы с Сатаной!»

И вот она встала перед нами — единственная Цель мироздания, прекрасная, как вечная жизнь, и обязательная, как смерть. И мы кинулись к ней, ломая преграды и бросая по пути все, что могло замедлить наш стремительный бег. Мы освободились без сожаления от веры в загробный мир, от любви к ближнему, от свободы личности и других предрассудков, достаточно подмоченных к тому времени и еще более жалких в сравнении с открывавшимся нам идеалом. Во имя новой религии отдали жизнь тысячи великомучеников революции, затмивших своими страданиями, стойкостью, святостью подвиги первых христиан.

Пятиконечные звезды  
выжигали на наших спинах  
панские воеводы.

Живьем,  
по голову в землю,  
закапывали нас банды  
Мамонтова.

В паровозных топках  
сжигали нас японцы,  
рот заливали свинцом и оловом,  
отрекитесь! — ревели,  
но из  
горящих глоток  
лишь три слова:  
— Да здравствует коммунизм!  
*В. Маяковский*

---

<sup>1</sup> Жданов А.А. Выступление на дискуссии по книге Г.Ф.Александрова «История западноевропейской философии» 24 июня 1947 г.

Но не только нашу жизнь, кровь, тело отдавали мы новому богу. Мы принесли ему в жертву нашу белоснежную душу и забрызгали ее всеми нечистотами мира.

Хорошо быть добрым, пить чай с вареньем, разводить цветы, любовь, смирение, непротивление злу насилием и прочую филантропию. Кого они спасли? что изменили в мире? — эти девственные старички и старушки, эти эгоисты от гуманизма, по грошам сколотившие спокойную совесть и заблаговременно обеспечившие себе местечко в посмертной богадельне.

А мы не себе желали спасения — всему человечеству. И вместо сентиментальных вздохов, личного усовершенствования и любительских спектаклей в пользу голодающих мы взяли за исправление вселенной по самому лучшему образцу, какой только имелся, по образцу сияющей и близящейся к нам цели.

Чтобы навсегда исчезли тюрьмы, мы понастроили новые тюрьмы. Чтобы пали границы между государствами, мы окружили себя китайской стеной. Чтобы труд в будущем стал отдыхом и удовольствием, мы ввели каторжные работы. Чтобы не пролилось больше ни единой капли крови, мы убивали, убивали и убивали.

Во имя цели приходилось жертвовать всем, что у нас было в запасе, и прибегать к тем же средствам, какими пользовались наши враги, — прославлять великодержавную Русь, писать ложь в «Правде», сажать царя на опустевший престол, вводить погоны и пытки... порою казалось, что для полного торжества коммунизма не хватает лишь последней жертвы — отречься от коммунизма.

Господи, Господи! Прости нам наши грехи!

Наконец он создан, наш мир, по образу и подобию Божьему. Еще не коммунизм, но уже совсем близко к коммунизму. И мы встаем, пошатываясь от усталости, и обводим землю налитыми кровью глазами, и не находим вокруг себя то, что ожидали найти.

Что вы сместесь, сволочи? Что вы тычете своими холеными ногтями в комья крови и грязи, облепившие наши пиджаки и мундиры? Вы говорите, что это не коммунизм, что мы ушли в сторону и находимся дальше от коммунизма, чем были в начале? Ну, а где ваше Царство Божие? Покажите его! Где свободная личность обещанного вами сверхчеловека?

Достижения никогда не тождественны цели в ее первоначальном значении. Средства и усилия, затраченные ради цели, меняют ее реальный облик до неузнаваемости. Костры инквизиции помогли утвердить Евангелие, но что осталось после них от Евангелия? И все же — и костры инквизиции, и Евангелие, и ночь св. Варфоломея, и сам св. Варфоломей — это одна великая христианская культура.

Да, мы живем в коммунизме. Он так же похож на то,



к чему мы стремились, как средневековые на Христа, современный западный человек — на свободного сверхчеловека, а челок — на Бога. Какое-то сходство все-таки есть, не правда ли?

Это сходство — в подчиненности всех наших действий, мыслей и поползновений той единственной цели, которая, может быть, давно уже стала ничего не значащим словом, но продолжает оказывать гипнотическое воздействие и толкать нас вперед и вперед — неизвестно куда. И, разумеется, искусство, литература не могли не оказаться в тисках этой системы и не превратиться, как предсказывал Ленин, в «колесико и винтик» огромной государственной машины.

«Наши журналы, являются ли они научными или художественными, не могут быть аполитичными... Сила советской литературы, самой передовой литературы в мире, состоит в том, что она является литературой, у которой нет и не может быть других интересов, кроме интересов народа, интересов государства»<sup>1</sup>.

Читая этот тезис из постановления ЦК, необходимо помнить, что под интересами народа и интересами государства (полностью совпадающими с точки зрения государства) имеется в виду не что иное, как все тот же всепроникающий и всепоглощающий коммунизм: «Литература и искусство являются составной частью общенародной борьбы за коммунизм... Высшее общественное назначение литературы и искусства — поднимать народ на борьбу за новые успехи в строительстве коммунизма»<sup>2</sup>.

Когда западные писатели упрекают нас в отсутствии свободы творчества, свободы слова и т. д., они исходят из своей собственной веры в свободу личности, которая лежит в основе их культуры, но органически чужда культуре коммунистической. Истинно советский писатель — настоящий марксист — не только не примет эти упреки, но попросту не поймет, о чем тут может идти речь. Какую, с позволения сказать, свободу может требовать религиозный человек от своего Бога? Свободу еще усерднее славословить Ему?

Современные христиане, оскормившись духом индивидуализма с его свободными выборами, свободной конкуренцией, свободной печатью, порой злоупотребляют выражением «свобода выбора», которую нам якобы предоставил Христос. Это звучит как незаконное заимствование из парламентарной системы, с которой они свыклись, но которая не похожа на царство Божие, хотя бы потому, что в раю не выбирают ни премьера, ни президента.

---

<sup>1</sup> Постановление ЦК ВКП (б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» от 14 августа 1946 г.

<sup>2</sup> Хрущев Н. За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа// Коммунист. 1957. № 12.

Даже самый либеральный бог дает лишь одну свободу выбора: верить или не верить, быть с ним или с Сатаной, идти в рай или в ад. Примерно такое же право предоставляет коммунизм. Тот, кто не хочет верить, может сидеть в тюрьме, котая ничем не хуже ада. А для того, кто верит, для советского писателя, видящего в коммунизме цель своего и всеобщего существования (если он не видит этого, то ему не место в нашей литературе и в нашем обществе), подобной дилеммы не может быть. Для верующего в коммунизм, как справедливо заметил Н.С.Хрущев в одном из последних своих выступлений по вопросам искусства, «для художника, который верно служит своему народу, не существует вопроса о том, свободен или не свободен он в своем творчестве. Для такого художника вопрос о подходе к явлениям действительности ясен, ему не нужно приспособляться, принуждать себя, правдивое освещение жизни с позиций коммунистической партийности является потребностью его души, он прочно стоит на этих позициях, отстаивает и защищает их в своем творчестве»<sup>1</sup>. С такой же радостной легкостью принимает этот художник руководящие указания со стороны партии и правительства, со стороны ЦК и первого секретаря ЦК. Кому, как не партии и не ее вождю, лучше всего известно, какое искусство нам нужно? Ведь это партия ведет нас к Цели по всем правилам марксизма-ленинизма, ведь это она живет и работает в постоянном соприкосновении с богом. Следовательно, в ее лице и в лице ее ведущего лица мы имеем наиболее опытного и мудрого наставника, компетентного во всех вопросах промышленности, лингвистики, музыки, философии, живописи, биологии и т. д. Это и Полководец наш, и Правитель, и Верховный Жрец, в чьих словах сомневаться так же грешно, как подвергать сомнению волю Создателя.

Таковы некоторые эстетические и психологические предпосылки, необходимые для всякого, кто желает постичь тайну соцреализма.

---

---

## 2

---

---

Произведения социалистического реализма весьма разнообразны по стилю и содержанию. Но в каждом из них присутствует понятие Цели в прямом или косвенном значении, в открытом или завуалированном выражении. Это либо панегирик коммунизму и всему, что с ним связано, либо сатира на его многочисленных врагов, либо, наконец, — всякого рода описания жизни, «в ее революционном развитии», т. е. опять-таки в движении к коммунизму.

---

<sup>1</sup> Там же.

Советский писатель, избрав объектом творчества какое-либо явление, стремится повернуть его в определенном ракурсе, вскрыть заключенные в нем потенции, указывающие на прекрасную цель и наше приближение к цели. Поэтому большинству сюжетов, бытующих в советской литературе, свойственна удивительная целеустремленность. Они развиваются в одном, заранее известном направлении, которое имеет разные вариации и оттенки в зависимости от места, времени, жизненных обстоятельств и проч., но неизменно в своем основном русле и в своем итоговом назначении — еще и еще раз напомнить о торжестве коммунизма.

В этом смысле каждое произведение социалистического реализма еще до своего появления обеспечено счастливым финалом, по пути к которому обыкновенно движется действие. Этот финал может быть печальным для героя, подвергающегося в борьбе за коммунизм всевозможным опасностям. Тем не менее он всегда радостен с точки зрения сверхличной цели, и автор от своего имени или устами умирающего героя не забывает высказать твердую уверенность в нашей конечной победе. Утраченные иллюзии, разбитые надежды, неисполненные мечты, столь характерные для литературы иных времен и систем, противопоказаны социалистическому реализму. Даже если это трагедия, это «Оптимистическая трагедия», как назвал Вс. Вишневский свою пьесу с гибнущей центральной героиней и с торжествующим коммунизмом в финале.

Стоит сравнить некоторые названия западной и советской литературы, чтобы убедиться в мажорном тоне последней: «Путешествие на край ночи» (Селин), «Смерть после полудня», «По ком звонит колокол» (Хемингуэй), «Каждый умирает в одиночку» (Фаллада), «Время жить и время умирать» (Ремарк), «Смерть героя» (Олдингтон), — «Счастье» (Павленко), «Первые радости» (Федин), «Хорошо!» (Маяковский), «Исполненные желаний» (Каверин), «Свет над землей» (Бабаевский), «Победители» (Багрицкий), «Победитель» (Симонов), «Победители» (Чирсков), «Весна в Победе» (Грибачев) и т. д.

Прекрасная цель, по направлению к которой разворачивается действие, иногда непосредственно выносится в конец произведения, как это блестяще делал Маяковский, все свои крупные вещи, созданные после революции, заканчивая словами о коммунизме или фантастическими сценами из жизни будущего коммунистического государства («Мистерия-Буфф», «150.000.000», «Про это», «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!», «Во весь голос»). Горький, писавший в советские годы в основном о дореволюционном времени, большинство своих романов и драм («Дело Артамоновых», «Жизнь Клима Самгина», «Егор Булычев и другие», «Достигаев и другие») заканчивал картинками победоносной революции, которая была великой

промежуточной целью на пути к коммунизму и конечной целью для старого мира.

Но даже в тех случаях, когда произведения социалистического реализма не имеют столь великолепной развязки, она содержится в них сокровенно, иносказательно, притягивая к себе развитие характеров и событий. Например, многие наши романы и повести посвящены работе какого-нибудь завода, строительству электростанции, проведению сельскохозяйственных мероприятий и т. п. При этом хозяйственная задача, выполняемая по ходу сюжета (начали что-то строить — завязка, кончили что-то строить — развязка), изображается как необходимый этап на пути к высшей цели. В таком целенаправленном виде даже чисто технические процессы приобретают напряженный драматизм и могут восприниматься с большим интересом. Читатель постепенно узнает, как, несмотря на все поломки, станок был пущен в дело, или как колхоз «Победа», вопреки дождливой погоде, собрал богатый урожай кукурузы, и, закрыв книгу, он с облегчением вздыхает, понимая, что нами сделан еще один шаг к коммунизму.

Поскольку коммунизм осознается нами как неизбежный итог исторического развития, во многих романах основой сюжетного движения является стремительный ход времени, которое работает на нас, течет к цели. Не «Поиски утраченного времени», а «Время, вперед!» — вот о чем думает советский писатель. Он торопит жизнь, утверждая, что каждый прожитый день — не потеря, а приобретение для человека, приближающее его хотя бы на один миллиметр к желанному идеалу.

С этой же целесообразностью исторических процессов связано широкое обращение нашей литературы к современной и прошлой истории, события которой (гражданская война, коллективизация и т. д.) суть вехи на избранном нами пути. Что касается далеких времен, то там, к сожалению, движение к коммунизму обнаружить несколько труднее. Но и в самых отдаленных веках вдумчивый писатель находит такие явления, которые считаются прогрессивными, потому что способствовали в конечном счете нашим сегодняшним победам. Они заменяют и предвеляют недостающую цель. При этом передовые люди прошлого (Петр Великий, Иван Грозный, Пушкин, Стенька Разин), хотя и не знают слова «коммунизм», но хорошо понимают, что в будущем всех нас ожидает что-то светлое, и не уставая говорить об этом со страниц исторических произведений, постоянно радуют читателя своей поразительной дальновидностью.

Наконец, широчайший простор писательскому воображению предоставляет внутренний мир, психология человека, который изнутри тоже движется к цели, борясь с «пережитками буржуазного прошлого в своем сознании», перевоспитываясь под влиянием партии или под воздействием окружающей

жизни. В значительной своей части советская литература — это воспитательный роман, в котором показана коммунистическая метаморфоза отдельных личностей и целых коллективов. Многие наши книги связаны с изображением именно этих нравственно-психологических процессов, направленных к созданию будущего идеального человека. Тут и «Мать» Горького — о превращении темной, забитой женщины в сознательную революционерку (написанная в 1906 году, эта книга считается первым образцом социалистического реализма), и «Педагогическая поэма» Макаренко — о преступниках, вступивших на путь честного труда, и роман Н.Островского, рассказывающий «Как закалялась сталь» нашей молодежи в огне гражданской войны и в холоде первых строек.

Как только персонаж достаточно перевоспитается, чтобы стать вполне целесообразным и сознавать свою целесообразность, он имеет возможность войти в ту привилегированную касту, которая окружена всеобщим почетом и носит название «положительного героя». Это святая святых социалистического реализма, его краеугольный камень и главное достижение.

Положительный герой — это не просто хороший человек, это герой, озаренный светом самого идеального идеала, образец, достойный всяческого подражания, «человеко-гора, с вершины которой видно будущее» (так называл своего положительного героя Леонид Леонов). Он лишен недостатков, либо наделен ими в небольшом количестве (например, иногда не удержится и вспылит), для того чтобы сохранить кое-какое человеческое подобие, а также иметь перспективу что-то в себе изживать и развиваться, повышая все выше и выше свой морально-политический уровень. Однако эти недостатки не могут быть слишком значительными и, главное, не должны идти вразрез с его основными достоинствами. А достоинства положительного героя трудно перечислить: идейность, смелость, ум, сила воли, патриотизм, уважение к женщине, готовность к самопожертвованию и т. д., и т. п. Важнейшие из них, пожалуй, — это ясность и прямота, с какими он видит цель и к ней устремляется. Отсюда такая удивительная определенность во всех его действиях, вкусах, мыслях, чувствах и оценках. Он твердо знает, что хорошо и что плохо, говорит только «да» или «нет», не смешивает черное с белым, для него не существует внутренних сомнений и колебаний, неразрешимых вопросов и неразгаданных тайн, и в самом запутанном деле он легко находит выход — по кратчайшему пути к цели, по прямой.

Когда он появился впервые в некоторых произведениях Горького 900-х годов и заявил во всеуслышание: «Нужно всегда твердо говорить и да и нет!» — многие были поражены самоуверенностью и прямолинейностью его формулировок, его способностью поучать окружающих и произносить пышные монологи по поводу собственной добродетели. Чехов, успев-

ший прочитать «Мещан», стыдливо морщился и советовал Горькому как-то смягчить крикливые декларации его героя. Чехов пуше огня боялся претенциозности и считал все эти красивые фразы хвастовством, не свойственным русскому человеку.

Но Горький в то время не внял этим советам, не побоялся упреков и насмешек шокированной интеллигенции, твердившей на разные лады о тупости и ограниченности нового героя. Он понимал, что за этим героем — будущее, что «только люди безжалостно прямые и твердые, как мечи, — только они пробьют» («Мещане», 1901 г.).

С тех пор прошло много времени, и многое менялось, и в разных обликах выступал положительный герой, развивая так или иначе присущие ему положительные признаки, пока не повзрослел, не окреп и не выпрямился во весь свой гигантский рост. Это было уже в 30-е годы, когда все советские писатели покинули свои группировки и литературные течения и единогласно приняли самое передовое, самое лучшее течение — социалистический реализм.

Читая книги за последние двадцать-тридцать лет, особенно хорошо ощущаешь могучую силу положительного героя. Прежде всего он распространился вширь, заполонив литературу. Можно встретить произведения, в которых все герои — положительные. Это естественно: мы приближаемся к цели, и если книга о современности посвящена не борьбе с врагами, а, скажем, передовому колхозу, то в ней все персонажи могут и должны быть передовыми, и выводить в такой ситуации каких-то отрицательных типов было бы по меньшей мере странно. Вот почему в нашей литературе появились романы и драмы, где все течет мирно и гладко, где если и есть конфликт между героями, то только — между передовыми и самыми передовыми, хорошими и наилучшими. Когда эти произведения выходили в свет, их авторов (Бабаевский, Суров, Софронов, Вирта, Грибачев и другие) очень хвалили и ставили в пример остальным. Правда, после XX съезда отношение к ним почему-то несколько переменялось, и подобные книги стали презрительно называть у нас «бесконфликтными». И хотя выступление Н.С.Хрущева в защиту этих авторов ослабило упреки, они еще звучат иногда в высказываниях некоторых интеллигентов. Это несправедливо.

Не желая уронить себя перед Западом, мы порой перестаем быть последовательными и начинаем рассуждать о разнообразии индивидуальностей в нашем обществе, о богатстве интересов и, соответственно, — о разнообразии разногласий, конфликтов, противоречий, которые якобы должна отражать литература. Разумеется, мы отличаемся друг от друга возрастными, половыми, национальными и даже умственными особенностями. Но всякому, кто придерживается линии партии, должно быть ясно, что все это — разнообразие в пределах единообразия, разногласия в рамках единогласия, конфликты

в бесконфликтности. У нас одна цель — коммунизм, одна философия — марксизм, одно искусство — социалистический реализм. Как замечательно выразился один советский писатель, не очень крупный по своему дарованию, но зато безупречный в политическом отношении, — «Россия пошла по своему пути — всеобщего единомыслия»: «Люди тысячи лет страдали от разномыслия. И мы, советские люди, впервые договорились между собой, говорим на одном, понятном для всех нас языке, мыслим одинаково о главном в жизни. И этим единомыслием мы сильны, и в нем наше преимущество перед всеми людьми мира, разорванными, разобщенными разномыслием...» (В.Ильенков. «Большая дорога», 1949 г. Роман удостоен Сталинской премии).

Прекрасно сказано! Да, мы действительно превосходим другие времена и народы по части единомыслия, мы похожи друг на друга и не стыдимся этого сходства, а тех, кто страдает излишним инакомыслием, мы сурово наказываем, изымая из жизни и литературы. В стране, где даже антипартийные элементы признают свои ошибки и желают поскорее исправиться, где даже неисправимые враги народа просят, чтобы их расстреляли, не может быть существенных разногласий, тем более — между честными советскими людьми и еще тем более — среди положительных героев, которые только и думают о том, как бы распространить повсеместно свои добродетели и перевоспитать последних инакомыслящих в духе единомыслия.

Конечно, остаются еще разногласия между передовыми и отстающими, существует и не дает спать спокойно острый конфликт с капиталистическим миром. Но ведь мы не сомневаемся, что все эти противоречия разрешатся в нашу пользу, что мир станет единым, коммунистическим, а отстающие, соревнуясь друг с другом, превратятся в передовых. Великая гармония — вот конечная цель мироздания! прекрасная бесконфликтность — вот будущее социалистического реализма! Можно ли в таком случае упрекать слишком гармонических писателей, которые если и отошли от современных конфликтов, то единственно ради того, чтобы заглянуть в будущее, т. е. как можно аккуратнее выполнить свой писательский, свой соцреалистический долг? Бабаевский и Суворов — не отклонение от священных принципов нашего искусства, а их логическое и органическое развитие. Это высшая ступень социалистического реализма, начатки грядущего коммунистического реализма.

Но возросшая сила положительного героя сказалась не только в том, что он невероятно размножился и намного превзошел количественно других литературных персонажей, оттеснив их и кое-где полностью заменив. Необычайно развились также его качества. По мере приближения к цели он становится все более положительным, прекрасным, великим.

И соответственно усиливается в нем чувство собственного достоинства, которое всего определеннее проявляется в тех случаях, когда он сравнивает себя с современным западным человеком и убеждается в своем неизмеримом превосходстве. «А советский человек от ихнего далеко ушел. Он, почитай, к самой вершине подходит, а тот еще у подножия топчется». Так говорят в наших романах простые крестьяне. А у поэта уже не хватает слов, чтобы передать это превосходство, эту превзошедшую все сравнения положительность положительного героя:

Никто в таком величье  
Вовеки не вставал.  
Ты — выше всякой славы,  
Достойней всех похвал!  
*М.Исаковский*

В лучшем произведении социалистического реализма за последние пять лет — в романе Л.Леонова «Русский лес», который первым в нашей литературе получил Ленинскую премию (введенную недавно правительством вместо Сталинских премий), есть одна замечательная сцена. Отважная девушка Поля с опасным заданием пробирается в тыл врага — дело происходит в Отечественную войну. В целях маскировки ей предписано выдавать себя за сторонницу немцев. В разговоре с гитлеровским офицером Поля некоторое время разыгрывает эту роль, но с большим трудом: ей морально тяжело говорить по-вражески, а не по-советски. Наконец она не выдерживает и открывает свое истинное лицо, свое превосходство над немецким офицером: «Я девушка моей эпохи... пусть самая рядовая из них, но я завтрашний день мира... и вам бы стоя, стоя следовало со мной разговаривать, если бы вы хоть капельку себя уважали! А вы сидите предо мной, потому что ничто вы, а только лошадь дрессированная под главным палатом... Ну, нечего сидеть теперь, работай... веди, показывай, где у вас тут советских девчат стреляют?»

Тот факт, что своей пышной тирадой Поля губит себя и по сути дела идет вразрез с порученным ей военным заданием, не смущает автора. Он довольно просто выпутывается из создавшейся ситуации: благородное чистосердечие Поля перевоспитывает случайного старосту, который сотрудничал с немцами и присутствовал при этом разговоре. В нем внезапно пробуждается совесть, и он стреляет в немца и, погубив себя, спасает Полю.

Дело, однако, не в этом просветлении старосты, во мгновение ока превратившегося из отсталого в передового. Гораздо важнее другое: возведенная в квадрат неизменяемость, определенность, прямолинейность положительного героя. С точки зрения здравого смысла поведение Поля может показаться



глупостью. Но оно исполнено огромного религиозного и эстетического значения. Ни при каких условиях, даже для пользы дела, положительный герой не смеет казаться отрицательным. Даже перед врагом, которого нужно перехитрить, обмануть, он обязан продемонстрировать свои положительные свойства. Их нельзя скрыть, замаскировать: они написаны у него на лбу и звучат в каждом слове. И вот он уже побеждает врага не ловкостью, не умом, не физической силой, а одним своим гордым видом.

Поступок Поли расшифровывает многое из того, что кажется иноверам явной натяжкой, глупостью, фальшью, в частности, — склонность положительных героев беседовать на возвышенные темы. Они твердят о коммунизме на работе и дома, в гостях и на прогулке, на смертном одре и на ложе любви. В этом нет ничего противоестественного. Они для того и созданы, чтобы при всяком удобном и неудобном случае являть миру образец целесообразности.

Работая,  
   мелочь соразмеряй  
с великой  
   поставленной целью.  
*В. Маяковский*

Только люди безжалостно прямые и твердые, как мечи, — только они пробьют...

*М. Горький*

Такого героя, как этот, еще не было. Хотя советские писатели гордятся великими традициями русской литературы XIX века, которым они всячески желают следовать и отчасти следуют, и хотя их постоянно упрекают на Западе за это рабское подражание старым литературным канонам, в данном случае — в положительном герое социалистического реализма — мы имеем обрыв, а не продолжение традиций.

Там, в прошлом столетии, господствовал совершенно иной тип героя, и вся русская культура жила и мыслила по-другому. По сравнению с фанатической религиозностью нашего времени XIX век представляется атеистическим, веротерпимым, нецелесообразным. Он мягок и дрябл, женствен и меланхоличен, полон сомнения, внутренних противоречий, угрызений нечистой совести. Может быть, за все сто лет понастоящему верили в Бога лишь Чернышевский и Победоносцев. Да еще крепко верили неизвестное число мужиков и баб. Но эти еще не творили ни истории, ни культуры. Культуру творила кучка грустных скептиков, которые жаждали Бога, но лишь потому, что Бога у них не было.

Ну а Достоевский, а Лев Толстой, а тысячи других богоскисателей — от народников до Мережковского, затянувшего свои поиски чуть не до середины следующего столетия? По-

лагаю, искать — это значит не иметь. Тот, кто имеет, тот, кто по-настоящему верует, — не ищет. Чего ему искать, когда все ясно и нужно только следовать за Богом? Бога не находят, Бог сам нас — и на нас — находит, и, когда Он на нас нашел, мы перестаем искать, мы начинаем действовать — по Его Воле.

XIX столетие — все в поисках, в метаниях, в блужданиях с огнем и без огня, в неумении или нежелании найти себе постоянное место под солнцем, в неуверенности, в раздвоенности. Достоевский, сожалевший о том, что русский человек слишком широк — надо бы сузить! — сам был настолько широким, что православие совмещал с нигилизмом и мог бы найти в своей душе всех Карамазовых сразу — Алешу, Митю, Ивана, Федора (некоторые говорят, что и Смердякова), и еще неизвестно, кого там было больше. Широта исключает веру (недаром мы сузили себя до марксизма, исполнив завет Достоевского), и кощунственность широты Достоевский хорошо понимал, вечно споря с самим собою и страстно желая прекратить этот спор, оскорбительный для единого Бога.

Но жажда Бога, желание верить — подобно поискам — возникают на пустом месте. Это еще не сама вера, и если желание предваряет веру (блаженны алчущие!), то примерно так же, как голод предваряет обед. Голодный всегда кушает с аппетитом, но всегда ли голодного ожидает дома обед? Голод XIX века, быть может, подготовил нас, русских, к тому, что мы с такой жадностью накинулись на пищу, приготовленную Марксом, и проглотили ее раньше, чем успели разобраться в ее вкусе, запахе и последствиях. Но сам по себе этот столетний голод был вызван катастрофическим отсутствием съестного, был голодом безбожия. Поэтому он был столь изнурительным и казался нестерпимым, заставляя ходить в народ, переходить из радикалов в ренегаты и обратно, спохватившись, вспоминать, что мы тоже как-никак христиане... И нигде не было утоления.

Хочу я с небом примириться,  
Хочу любить, хочу молиться.  
Хочу я веровать добру.

Кто это плачет, тоскуя о вере? Ба! Да ведь это лермонтовский Демон — «дух сомнения», терзавший нас так долго и так больно. Он подтверждает, что не святые жаждут верить, а безбожники и богоотступники.

Это очень русский Демон, слишком непостоянный в своем пристрастии к злу, чтобы быть полноценным Дьяволом, и слишком непостоянный в своем раскаянье, чтобы примириться с Богом и возвратиться в полноценные Ангелы. Даже окраска у него какая-то беспринципная, двусмысленная: «Ни день, ни ночь — ни мрак, ни свет!..» Одни полутона, таинственное сверканье сумерек, подсмотренное впоследствии Блоком и Врубелем.

Последовательный атеизм, крайнее и неизменное отрица-

ние больше напоминает религию, чем такая неопределенность. А здесь вся суть в том, что веры нет никакой и без веры плохо. Вечное движение вверх-вниз, взад-вперед — между небом и адом.

Помните, что произошло с Демоном? Он полюбил Тамару — эту божественную красоту, воплощенную в прекрасную женщину, — и вознамерился уверовать в Бога. Но как только он поцеловал ее, она умерла, убитая его прикосновением, и была отнята у него, и Демон вновь остался один в своем тоскливом неверии.

То, что случилось с Демоном, переживала в течение века вся русская культура, в которую он вселился еще до появления Лермонтова. С таким же неистовством бросалась она на поиски идеала, но стоило ей взлететь к небу, как она падала вниз. Самое слабое соприкосновение с Богом влекло отрицание, а отрицание Его вызывало тоску по неосуществленной вере.

Универсальный Пушкин наметил эту коллизию в «Кавказском пленнике» и других ранних поэмах, затем развернул ее во всю ширь в «Евгении Онегине». Схема «Евгения Онегина» проста и анекдотична: пока она любит его и готова ему принадлежать, он равнодушен к ней; когда же она вышла замуж за другого, он полюбил ее страстно и безнадежно. Но в эту банальную историю вложены противоречия, о которых с тех пор твердила русская литература вплоть до Чехова и Блока, — противоречия безбожного духа, утраченной и невозвратимой цели.

Центрального героя этой литературы — Онегина, Печорина, Бельтова, Рудина, Лаврецкого и многих других — называют обычно «лишним человеком», за то, что он — при всех заключенных в нем благородных порывах — не способен найти себе назначение, являя плачевный пример никому не нужной бессельности. Это, как правило, характер рефлектирующий, склонный к самоанализу и самобичеванию. Его жизнь полна неосуществленных намерений, а судьба печальна и немного смешна. Сыграть в ней роковую роль обычно предоставлено женщине.

Русская литература знает великое множество любовных историй, в которых встречаются и безрезультатно расстаются неполноценный мужчина и прекрасная женщина. При этом вся вина, разумеется, ложится на мужчину, который не умеет любить свою даму, как она того заслуживает, т. е. деятельно и целеустремленно, а зевает от скуки, как Печорин Лермонтова, пугается предстоящих трудностей, как Рудин Тургенева, или даже убивает свою возлюбленную, как пушкинский Алеко и лермонтовский Арбенин. Был бы он хоть низким человеком, неспособным к возвышенным чувствам! Так нет! Это достойный человек, и самая прекрасная женщина отдает ему

свое сердце и свою руку. А он, вместо того, чтобы радоваться и жить припеваючи, начинает совершать какие-то опрометчивые поступки и вопреки собственному желанию делает все, чтобы женщина, его полюбившая, ему не досталась.

Если верить литературе, в XIX веке все сердца были разбиты этой странной любовью и деторождение временно прекратилось. Но в том-то и дело, что не быт и нравы русского дворянства изображали эти писатели, а глубинную метафизику бесцельно мятущегося духа. Женщина была в литературе пробным камнем для мужчины. Через отношения с ней обнаруживал он свою слабость и, скомпрометированный ее силой и красотой, слезал с подмостков, на которых собирался разыграть что-то героическое, и уходил, согнувшись, в небытие с позорной кличкой ненужного, никчемного, лишнего человека.

А женщины — все эти бесчисленные Татьяны, Лизы, Натальи, Бэлы, Нины — сияли подобно идеалу, непорочному и недосягаемому, над Онегинскими и Печориными, любившими их так неумело и всегда невпопад. Они и послужили в русской литературе синонимом идеала, обозначением высшей Цели. Их эфемерная природа была очень удобна для такого дела.

Ведь женщина с известной точки зрения — это что-то туманное, чистое и прекрасное. Ей не нужно быть конкретнее и определеннее, ей достаточно (много ли с женщины спрашивается?) быть чистой и прекрасной, чтобы спастись. И занимая, подобно всякой цели, пассивно-ожидательную позицию, она способна своей красотой, своим манящим, загадочным и не слишком конкретным содержанием изображать нечто в высшей степени идеальное, заменяя собою отсутствующую и желанную Цель.

И женщина больше чем что-либо другое подходила XIX веку. Она импонировала ему своей неопределенностью, таинственностью и мягкосердечием. Мечтательная Татьяна Пушкина открыла эпоху, Прекрасная Дама Блока ее завершила. Татьяна была необходима, чтобы было *без кого* страдать Евгению Онегину. И заканчивая любовный роман столетней давности, Блок выбрал себе в невесты Прекрасную Даму, чтобы немедленно изменить Ей и потерять Ее и всю жизнь мучиться в бесцельности существования.

В поэме Блока «Двенадцать», созданной на стыке двух враждебных, исключаящих друг друга культур, есть один эпизод, который ставит точку в развитии любовной темы XIX столетия. Красногвардеец Петька, сам не желая того, сгоряча, убивает свою возлюбленную — проститутку Катьку. Это нечаянное убийство и муки утраченной любви воссоздают старую драму, известную нам со времен Лермонтова («Маскарад», «Демон») и во многих вариантах представленную в творчестве самого Блока (не от блоковских ли Пьеро и Коломбины пошли бестолковый Петька и толстоморденькая Катька со своим новым кавалером, франтоватым Арлекином-Ванькой?).

Но если прежние герои — все эти Арбенины и Демоны, — вывернув наизнанку свою опустошенную душу, застывали в безысходной тоске, то Петьке, пошедшему по их стопам, этого сделать не удастся. Более сознательные товарищи его одергивают, воспитывают:

- Ишь, стервец, завел шарманку,  
Что ты, Петька, баба что ль?
- Верно, душу наизнанку  
Вздумал вывернуть? Изволь!
- Поддержи свою осанку!
- Над собой держи контроль!

.....

И Петруха замедляет  
Торопливые шаги...  
Он головку вскидывает,  
Он опять повеселел...

Так рождается новый, еще невиданный герой. В кровавой борьбе с врагом — «выпью кровушку за зазнобушку, чернобровушку», в делах и страданиях новой эпохи — «Не такое нынче время, чтобы нянчиться с тобой!» — он исцеляется от бесплодной рефлексии и ненужных угрызений совести. Гордо вскинув голову и заметно повеселев, под знамением нового бога, которого Блок по старой памяти назвал Иисусом Христом, он вошел в советскую литературу.

Вперед, вперед,  
Рабочий народ!

Лишний человек девятнадцатого столетия, перейдя в двадцатое еще более лишним, был чужд и непонятен положительному герою новой эпохи. Больше того, он казался ему гораздо опаснее отрицательного героя — врага, потому что враг подобен положительному герою — ясен, прямолинеен и по-своему целесообразен, только назначение у него отрицательное — тормозить движение к Цели. А лишний человек — какое-то сплошное недоразумение, существо иных психологических измерений, не поддающихся учету и регламентации. Он не за Цель и не против Цели, он — вне Цели, а этого быть не может, это фикция, кощунство. В то время как весь мир, определив себя по отношению к Цели, четко разделился на две враждебные силы, он прикидывался непонимающим и продолжал смешивать краски в двусмысленно-неопределенную гамму, заявляя, что нет ни красных, ни белых, а есть просто люди, бедные, несчастные, лишние люди.

Все рядком лежат, —  
Не развесть межой.  
Поглядеть: солдат!  
Где свой, где чужой?

Белый был – красным стал,  
Кровь обагрила.  
Красным был – белым стал,  
Смерть побелила.

*М. Цветаева*

В борьбе религиозных партий он объявил себя нейтральным и выражал соболезнование и тем и другим:

И там, и здесь между рядами  
Звучит один и тот же глас:  
«Кто не за нас – тот против нас.  
Нет безразличных – правда с нами»

А я стою один меж них  
В ревушем пламени и дыме  
И всеми силами своими  
Молюсь за тех и за других.

*М. Волошин*

Этих слов, таких же святотатственных, как одновременная молитва Богу и Дьяволу, нельзя было допустить. Всего правильнее было объявить их молитвой Дьяволу: «Кто не за нас – тот против нас». Так и поступила новая культура. Она вновь обратилась к типу лишнего человека, но лишь для того, чтобы доказать, что он вовсе не лишний, а вредный, опасный, отрицательный персонаж.

Начал этот священный поход, естественно, Горький. В 1901 году (в первом году XX века!) он набросал первую схему положительного героя и тут же обрушился на тех, кто «родился без веры в сердце», кому «ничто, никогда не казалось достоверным» и кто всю жизнь путался между «да» и «нет»: «Когда я говорю – да или – нет... я это говорю не по убеждению... а как-то так... я просто отвечаю, и – только. Право! Иногда скажешь – нет! и тотчас же подумаешь про себя – разве? а может быть, – да?» («Мещане»).

Этим лишним людям, вызывавшим его раздражение уже своей неопределенностью, Горький крикнул «Нет!» и назвал их «мещанами». В дальнейшем он до предела расширил понятие «мещанства», свалив туда всех, кто не принадлежал к новой религии: мелких и крупных собственников, либералов, консерваторов, хулиганов, гуманистов, декадентов, христиан, Достоевского, Толстого... Горький был принципиальным человеком, единственно верующим писателем современности, как назвал его в свое время Г.Чулков. Горький знал, что все отличное от Бога есть Дьявол.

В советской литературе переоценка лишнего человека и быстрое превращение его в отрицательного персонажа получили большой размах в 20-е годы – в годы формирования положительного героя. Когда их поставили рядом, всем стало ясно,

что бесцельных героев нет, а есть лица целевые и антицелевые, что лишний человек — всего-навсего умело замаскированный враг, подлый предатель, требующий немедленного разоблачения и наказания. Об этом писали Горький в «Жизни Клима Самгина», Фадеев в «Разгроме» и многие другие. К.Федин в «Городах и годах» вытравливал из своего сердца последние капли жалости к этому, некогда обаятельному герою. Диссонансом прозвучал, пожалуй, лишь «Тихий Дон», в котором Шолохов, показав гибельную судьбу лишнего человека Григория Мелехова, послал ему свое прощальное сочувствие. Поскольку Мелехов принадлежал к простому народу, а не к интеллигенции, на этот поступок Шолохова посмотрели сквозь пальцы. Ныне роман считается образцом социалистического реализма. Этот образец, конечно, не имеет подражателей.

Вместе с тем другие лишние люди, желавшие сохранить жизнь, отреклись от своего прошлого и срочно перевоспитывались в положительных героев. Один из них недавно сказал: «На свете нет ничего омерзительнее межеумков... Да, да, я красный! Красный — черт вас поberi!» (К.Федин. «Необыкновенное лето», 1949 г.). Последнее проклятие относится, разумеется, уже не к красным, а к белым.

Так бесславно скончался герой русской литературы XIX века.

---

---

### 3

---

---

По своему герою, содержанию, духу социалистический реализм гораздо ближе к русскому XVIII веку, чем к XIX. Сами того не подозревая, мы перепрыгиваем через голову отцов и развиваем традиции дедов. «Осьмнадцатое столетие» родственно нам идеей государственной целесообразности, чувством собственного превосходства, ясным сознанием того, что «с нами Бог!».

Услышь, услышь, о ты, вселенна!  
Победу смертных выше сил;  
Внимай Европа удивленна,  
Каков сей Россов подвиг был,  
Языки, знайте, вразумляйтесь,  
В надменных мыслях содрогайтесь;  
Уверьтесь сим, что с нами Бог;  
Уверьтесь, что его рукою  
Один попрет вас Росс войною,  
Коль встать из бездны зол возмог!  
Знайте, языки, страна колосса:  
С нами Бог, с нами; чтите все Росса!

Эти строки Г.Р.Державина — стоит чуточку подновить язык — звучат в высшей степени современно. Подобно социалистической системе, восемнадцатый век мнил себя центром мироздания и, вдохновляясь полнотой своих достоинств, «себя собою составляя, собою из себя сияя», предлагал себя в наилучшие образцы всем временам и народам. Его религиозное самомнение было столь велико, что он не допускал и мысли о возможности иных, чем у него, норм и идеалов. В «Изображении Фелицы», восхваляя идеальное царствование Екатерины II, Державин высказывает желание,

Чтоб дики люди, отдаленны,  
Покрыты шерстью, чешуей,  
Пернатых перьем испещренны,  
Одеты листьем и корой,  
Сошедшиися к ее престолу  
И кротких вняв законов глас,  
По желтосмуглым лицам долу  
Струили токи слез из глаз.  
Струили б слезы, — и блаженство  
Своих проразумяя дней,  
Забыли бы свое равенство  
И были все подвластны ей...

Державин не может себе представить, чтобы «дики люди» — и Гуин, и Финн, и все прочие народы, окружившие российский престол наподобие интернационала, — отвергли это лестное предложение и не пожелали немедленно стать подвластными Екатерине, которая являет собой «небесну благодать во плоти». Для него, как и для наших писателей, всякий, кто не хочет уподобиться предлагаемому образцу, кто не собирается забыть свое дикое «равенство» и принять даруемое «блаженство», — либо неразумен, не сознает собственной пользы и потому нуждается в перевоспитании, либо не добродетелен (выражаясь современным слогом — реакционен) и подлежит уничтожению. Ибо не было и нет в мире ничего прекраснее этого государства, этой веры, этой жизни, этой Царицы. Так полагал Державин, точно так же мыслит современный пиит, славословящий новое царствование почти державинским языком:

Нет в мире подобных России раздольной,  
Цветов наших ярче и крепче пород,  
Бессмертен народ наш, великий и вольный,  
Наш русский, наш вечный, наш гордый народ!  
Он вынес нашествие полчищ Батяя,  
Разбил до единого звенья оков,  
Он создал Россию, он поднял Россию  
До звезд до высоких, на гребни веков!  
*А.Прокофьев*



Литература XVIII столетия создала положительного героя, во многом похожего на героя нашей литературы: «Друг он общего добра», «Душой всех превзойти он тщится», т. е. неустанно повышает свой морально-политический уровень, он обладает всеми добродетелями, всех поучает. Эта литература не знала лишних людей. И она не ведала того разрушительного смеха, который был хронической болезнью культуры Пушкина — Блока и, окрасив в иронический тон весь XIX век, достиг предела в декадентстве. «Самые живые, самые чуткие дети нашего века поражены болезнью, незнакомой телесным и духовным врачам. Это болезнь — сродни душевным недугам и может быть названа «иронией». Ее проявления — приступы изнурительного смеха, который начинается с дьявольски-издевательской, провокаторской улыбки, кончается — буйством и кощунством» (А. Блок. «Ирония», 1908 г.).

Ирония в таком понимании — это смех лишнего человека над самим собой и надо всем, что есть в мире святого. «Я знаю людей, которые готовы задохнуться от смеха, сообщая, что умирает их мать, что они погибают с голоду, что изменила невеста... Перед лицом проклятой иронии — все равно для них: добро и зло, ясное небо и вонючая яма, Беатриче Данте и Недотыкомка Сологуба. Все смешано, как в кабаке и мгле». (Там же).

Ирония — неизменный спутник безверия и сомнения, она исчезает, как только появляется вера, не допускающая кощунство. Иронии не было в Державине, ее не было в Горьком — за исключением некоторых ранних рассказов. В Маяковском она захватила лишь редкие вещи в основном дореволюционного времени. Маяковский вскоре узнал, над чем нельзя смеяться. Он не мог позволить себе смеяться над Лениным, которого воспевал, так же как Державин не мог иронизировать над Императрицей. А Пушкин даже в адрес непорочно-стыдливой Татьяны строчил стишки непристойного содержания. И Пушкин первым отведал горькую сладость самоотрицания, хотя был весел и уравновешен. Лермонтов же чуть ли не с младенческих лет отравился этим ядом. В Блоке, Андрееве, Сологубе — в последних представителях великой иронической культуры — разлагающий смех стал всеохватывающей стихией...

Вернувшись к восемнадцатому веку, мы сделались серьезны и строги. Это не значит, что мы разучились смеяться, но смех наш перестал быть порочным, вседозволенным и приобрел целенаправленный характер: он искореняет недостатки, исправляет нравы, поддерживает бодрый дух в молодежи. Это смех с серьезным лицом и с указующим перстом: вот так делать нельзя! Это смех, лишенный иронической кислоты.

На смену иронии явилась патетика — эмоциональная стихия положительного героя. Мы перестали бояться высоких слов и громких фраз, мы больше не стыдимся быть добро-

детельными. Нам стала по душе торжественная велеречивость оды. Мы пришли к классицизму.

К заглавию своей оды «Великому Боярину и воеводе Решемыслу» старик Державин однажды приписал: «Или изображение, каковым быть вельможе должно». Такой же подзаголовок следует прибавить к искусству социалистического реализма: оно изображает, каковым быть миру и человеку должно.

Социалистический реализм исходит из идеального образа, которому он уподобляет реальную действительность. Наше требование — «правдиво изображать жизнь в ее *революционном развитии*» — ничего другого не означает, как призыв изображать правду в идеальном освещении, давать идеальную интерпретацию реальному, писать должное как действительное. Ведь под «революционным развитием» мы имеем в виду неизбежное движение к коммунизму, к нашему идеалу, в преображающем свете которого и предстает перед нами реальность. Мы изображаем жизнь такой, какой нам хочется ее видеть и какой она обязана стать, повинувшись логике марксизма. Поэтому социалистический реализм, пожалуй, имело бы смысл назвать социалистическим классицизмом.

В теоретических работах и статьях советских писателей и критиков иногда встречается термин «романтизм», «революционная романтика». О слиянии в социалистическом реализме реализма с романтизмом много писал Горький, который всегда тосковал по «возвышающему обману» и защищал право художника приукрашивать жизнь, изображая ее лучше, чем она есть. Эти призывы не остались втуне, хотя многие горьковские формулировки стыдливо замалчиваются теперь и подвергаются фарисейскому толкованию: нельзя же открыто признать, что нам нужна прекрасная ложь. Нет, нет, Боже упаси, мы против обмана, против лакировки, мы пишем одну лишь правду, но при этом рисуем жизнь в революционном развитии... Зачем приукрашивать жизнь — она и без того прекрасна, мы не собираемся ее приукрашивать, а желаем выявить заключенные в ней ростки будущего... Романтизм, конечно, имеет право на существование, но наш романтизм вовсе не противоречит реализму... Революционная романтика (то же, что «ростки будущего», «революционное развитие») присуща самой жизни, которую мы правдиво изображаем, будучи самыми отъявленными романтиками...

Все эти разговоры — обычная литературная политика, а на деле романтизм — и это чувствовал Горький — хорошо отвечает нашим вкусам: он тяготеет к идеальному, желаемое выдает за действительное, любит красивые побрякушки, не боится громких фраз. Поэтому он пользовался у нас известным успехом. Но несмотря на свою — соответствующую нам — природу и несмотря на предоставленные ему права, романтизм занял в нашем искусстве меньше места, чем можно было от него ожидать. Он охватил главным образом предысторию и начало

социалистического реализма, который в свой зрелый период — последние двадцать-тридцать лет — имеет сравнительно слабую романтическую окраску:

Романтизм прочнее всего связан с Sturm und Drang-ом советской литературы, с первым пятилетием революции, когда в жизни и в искусстве господствовала стихия чувств, когда пламенный порыв к счастливому будущему и мировой размах еще не были полностью регламентированы строгим государственным порядком. Романтизм — это наше прошлое, наша молодость, о которой мы тоскуем. Это восторг вздетых знамен, взрыв страсти и гнева, это сверканье сабель и конское ржанье, расстрелы без суда и следствия, «Даешь Варшаву!», жизнь, сон и смерть под открытым небом, озаренным кострами кочующих, как древние орды, полков.

Нас водила молодость  
В сабельный поход.  
Нас бросала молодость  
На Кронштадтский лед.  
Босвые лошади  
Уносили нас.  
На широкой площади  
Убивали нас.

*Э. Багрицкий*

— Это не только сантименты уцелевших революционеров и растолстевших кавалеристов. И для участников революции и для тех, кто родился после нее, память о ней так же священна, как образ умершей матери. Нам легче согласиться, что все последовавшее за ней — измена делу революции, чем оскорбить ее словами упрека и подозрения. В отличие от партии, государства, МГБ, коллективизации, Сталина — революция не нуждается в оправдании коммунистическим раем, который нас ожидает. Она оправдана собою, эмоционально оправдана — как любовь, как вдохновение. И хотя революция совершалась во имя коммунизма, ее собственное имя звучит для нас не менее сладко. Может быть, даже более...

Мы живем между прошлым и будущим, между революцией и коммунизмом. И если коммунизм, суля золотые горы и представляясь логически неизбежным итогом всечеловеческого существования, властно влечет нас вперед, не позволяя сойти с этого пути, каким бы страшным он ни был, то прошлое подталкивает нас в спину. Ведь мы совершили революцию, как же мы смеем после этого отречься и кощунствовать?! Мы психологически зажаты в этом промежутке. Сам по себе он может нравиться или не нравиться. Но позади и впереди нас высятся святыни слишком великолепные, чтобы у нас хватило духу на них посягнуть. И если представить, что нас победят враги и вернут нас к дореволюционному образу жизни (или

приобщат к западной демократии — все равно), то, я уверен, мы начнем с того же, с чего начинали когда-то. Мы начнем с революции.

В работе над этой статьей мне приходилось не раз ловить себя на том, что, пользуясь кое-где недостойным приемом иронии, я стараюсь избегать при этом выражения «советская власть». Я предпочитал заменять его синонимами — «наше государство», «социалистическая система» и другими. Вероятно, это объясняется тем, что с юности мне запали в душу слова одной песни времен гражданской войны:

Смело мы в бой пойдем  
За власть Советов  
И как один умрем  
В борьбе за это.

Стоит мне произнести «советская власть», как я тут же представляю себе революцию — взятие Зимнего, таракхенье пулеметных тачанок, осьмушку хлеба, оборону красного Питера — и мне становится противно говорить о ней непочтительно. Рассуждая строго логически, «советская власть» и «социалистическое государство» — это одно и то же. Но эмоционально — это совсем разные вещи. Если против социалистического государства у меня что-то есть (самые пустяки!), то против советской власти я абсолютно ничего не имею. Это смешно? Может быть. Но это и есть романтизм.

Да, все мы романтики в отношении к нашему прошлому. Однако, чем дальше мы уходим от него и приближаемся к коммунизму, тем слабее заметен романтический блеск, сообщенный искусству революцией. Это понятно: романтизм хотя и отвечает нашей природе, но далеко не полностью, а в ряде случаев даже противоречит ей.

Он слишком анархичен и эмоционален, в то время как мы все больше становимся дисциплинированными рационалистами. Он находится во власти бурных чувств и расплывчатых настроений, забывая о логике, о рассудке, о законе. «Безумство храбрых — вот мудрость жизни!» — уверял молодой Горький, и это было уместно, когда делалась революция: безумцы были нужны. Но разве можно назвать пятилетний план «безумством храбрых»? Или руководство партии? Или, наконец, сам коммунизм, необходимо подготовленный логическим ходом истории? Тут каждый пункт продуман, разумно предусмотрен и разделен на соответствующие параграфы, какое же это безумство? Да вы не читали Маркса, товарищ Горький!

Романтизм бессилён выразить нашу ясность, определенность. Ему чужды четкие жесты и размеренно-торжественная речь. Он машет руками, и восторгается, и мечтает о чем-то далеком, тогда как коммунизм почти построен и нужно его лишь увидеть.

В утверждении идеала романтизму не хватает обязательности. Он желаемое выдает за реальное. Это неплохо, но пахнет своволием, субъективизмом. Желаемое — реально, ибо оно должное. Наша жизнь прекрасна — не только потому, что мы этого хотим, но и потому что она должна быть прекрасной: у нее нет других выходов.

Все эти аргументы, негласные и бессознательные, привели к тому, что горячий романтический поток мало-помалу иссяк. Река искусства покрылась льдом классицизма. Как искусство более определенное, рациональное, телеологическое — он вытеснил романтизм.

Его холодное дыхание и многопудовую тяжесть мы почувствовали давно, но мало кто решался прямо сказать об этом. «Дух классики овеивает нас уже со всех сторон. Им дышат все, но не то не умеют его различить, не то не знают как назвать, не то просто боятся сделать это» (А.Эфрос. «Вестник у порога», 1922 г.).

Наиболее смелым был Н.Пунин — тонкий знаток искусства, в свое время связанный с футуристами, а теперь всеми забытый. Еще в 1918 году он заметил «намечающийся классицизм стихов Маяковского». Он заявил, что в «Мистерии-Буфф» — в первом крупном советском произведении — Маяковский «перестал быть романтиком и стал классиком». Он предсказал, что «в дальнейшем, сколько бы ни хотел Маяковский, больше он так, как раньше, безудержно бунтовать не будет»<sup>1</sup>.

Хотя эти прогнозы оказались очень точными (и не только в отношении Маяковского), в советской литературе, все более явственно переходившей на классицистический путь, сам термин «классицизм» не утвердился. Должно быть, он смущал своей простотой и вызывал в памяти нежелательные аналогии, которые, как нам почему-то казалось, унижали наше достоинство. Мы предпочли скромно назваться соц. реалистами, скрыв под этим псевдонимом свое настоящее имя. Но печать классицизма, яркая или мутная, заметна на подавляющем большинстве наших произведений, независимо от того плохи они или хороши. Эту печать несут и положительный герой, о котором уже шла речь, и строго иерархическое распределение других ролей, и сюжетная логика, и язык.

Начиная с 30-х годов окончательно берет верх пристрастие к высокому слогу и в моду входит та напыщенная простота стиля, которая свойственна классицизму. Все чаще наше государство именуется «державой», русский мужик — «хлеборобом», винтовка — «мечом». Многие слова стали писаться с большой буквы, аллегорические фигуры, олицетворенные

---

<sup>1</sup> Искусство Коммуны. 1918. 15 дск.

абстракции сошли в литературу, и мы заговорили с медлительной важностью и величественной жестикуляцией.

Да, верить можно, верить нужно,  
Что правда есть, — на том стоим;  
И что добро не безоружно:  
Зло на коленях перед ним.

*А. Твардовский*

Да, срок настал!.. Напрасно лютой карой  
Грозил Москве фашистский властелин. —  
Нет, не Москва поникла под ударом, —  
Поник Москвой поверженный Берлин.

*М. Исаковский*

Первые герои советской литературы шли на штурм капиталистических твердынь в драных лаптях и с матерщиной на языке. Они были грубы и непринужденны: «Ванька! Керенок подсунь-ка в лапоть! Босому что ли на митинг ляпать?» (Маяковский). Теперь они приобрели благообразие, изысканность в манерах и костюмах. Если они бывают порой безвкусны, то в этом сказывается национальная и социальная особенность нашего классицизма, рожденного российской демократией. Но ни автор, ни его герои не подозревают об этой безвкусице, они тщатся изо всех сил быть красивыми, культурными и каждую мелочь подают «как должно», «в наилучшем виде».

«Под белым потолком искрилась нарядная люстра, словно льдинками, прозрачными стеклянными подвесками... Высокие серебристые колонны подпирали ослепительно белый купол, унизанный монистами электрических лампочек».

— Что это? Царские палаты? — Обыкновенный клуб в провинциальном городке.

«На сцене у глянцевого крыла рояля стоял в сером костюме Ракитин — голубой струей стекал на его грудь галстук».

Вы думаете, это певец, какой-нибудь модный тенор? — Нет, это партийный работник.

А вот и сам народ. Он не ругается, не дерется, не пьет, как это было свойственно русскому народу раньше, а если и выпьет за свадебным столом, уставленным редкостными кушаньями, то лишь затем, чтобы произнести тост:

«Обведя подобранными глазами гостей, Терентий гулко кашлянул в кулак, провел дрожащей рукой по серебристому ковылю бороды:

— Перво-наперво поздравим молодых и выпьем за то, чтобы жили они счастливо и землю красили!

Гости отозвались дружно, под мелодичный перезвон рюмок:

— И родителей почитали!

— И детей поздоровше рожали!

— И колхозной славы не роняли».

Это выдержки из романа Е.Мальцева «От всего сердца» (1949), похожего на десятки и сотни других произведений. Это образчик классицистической прозы среднего художественного достоинства. Они давно стали общим местом нашей литературы, переходя от автора к автору без существенных изменений.

Всякий стиль имеет свой штамп. Но классицизм, по-видимому, более других склонен к штампу, к педантичному соблюдению определенных норм и канонов, к консервативности формы. Это один из самых устойчивых стилей. Новшества он переносит и принимает главным образом в момент своего возникновения, а в дальнейшем стремится верно следовать установленным образцам, чуждаясь формальных исканий, экспериментаторства, оригинальности. Вот почему он отверг дары многих приближавшихся к нему, но достаточно своеобразных поэтов (В.Хлебников, О.Мандельштам, Н.Заболоцкий); и даже Маяковский, названный Сталиным «лучшим талантливейшим поэтом нашей советской эпохи», остался в нем до жути одинокой фигурой.

Маяковский слишком революционен, чтобы стать традиционным. До сих пор он принят не столько поэтически, сколько политически. Несмотря на славословия в честь Маяковского, его ритмы, образы, язык большинству поэтов кажутся чересчур смелыми. А желающие идти за ним лишь переписывают отдельные буквы из его книг, бессильные уловить главное — дерзость, изобретательность, страсть. Они подражают его стихам, а не следуют его примеру.

Потому ли, что Маяковский был первым, начинающим классицистом и притом не имел предшественников и строил на голом месте, потому ли, что он уловил голоса не только российской, но мировой современности и, будучи романтиком, писал как экспрессионист, а в классицизме сближался с конструктивизмом, потому ли, наконец, что он был гением — его поэзия насквозь пронизана духом новизны. Этот дух покинул нашу литературу вместе с его смертью.

Известно, что гении не рождаются каждый день, что состояние искусства редко удовлетворяет современников. Тем не менее, вслед за другими современниками, приходится с грустью признать прогрессирующую бедность нашей литературы за последние два-три десятилетия. По мере своего развития и творческого возмужания все хуже писали К.Федин, А.Фадеев, И.Эренбург, Вс.Иванов и еще многие. Двадцатые годы, о которых Маяковский сказал: «Только вот поэтов, к сожалению, нету», — теперь представляются годами поэтического расцвета. Начиная со времени массового приобщения писателей к социалистическому реализму (начало 30-х гг.) литература пошла

на убыль. Небольшие просветы в виде Отечественной войны ее не спасли.

В этом противоречии между победившим соцреализмом и низким качеством литературной продукции многие винят соцреализм, утверждая, что в его пределах невозможно большое искусство и что он губителен для всякого искусства вообще. Маяковский — первое тому опровержение. При всей оригинальности своего дарования он оставался правоверным советским писателем, может быть, самым правоверным, и это не мешало ему писать хорошие вещи. Он был исключением из общих правил, но главным образом потому, что придерживался их более строго, чем другие, и осуществлял на практике требования соцреализма наиболее радикально, наиболее последовательно. В противоречии между соцреализмом и качеством литературы следует винить литературу, то есть писателей, которые приняли его правила, но не обладали достаточной художественной последовательностью, чтобы воплотить их в бессмертные образы. Маяковский такой последовательностью обладал.

Искусство не боится ни диктатуры, ни строгости, ни репрессий, ни даже консерватизма и штампа. Когда это требуется, искусство бывает узкорелигиозным, тугогосударственным, безындивидуальным, и тем не менее великим. Мы восхищаемся штампами Древнего Египта, русской иконописи, фольклора. Искусство достаточно текуче, чтобы улечься в любое прокрустово ложе, которое ему предлагает история. Оно не терпит одного — эклектики.

Наша беда в том, что мы недостаточно убежденные соцреалисты и, подчинившись его жестоким законам, боимся идти до конца по проложенному нами самими пути. Вероятно, будь мы менее образованными людьми, нам бы легче удалось достичь необходимой для художника цельности. А мы учились в школе, читали разные книги и слишком хорошо усвоили, что существовали до нас знаменитые писатели — Бальзак, Мопассан, Лев Толстой. И был еще такой — как его? Че-че-че-Чехов. Это нас погубило. Нам тут же захотелось стать знаменитыми, писать, как Чехов. От этого противоестественного сожительства родились уроды.

Нельзя, не впадая в пародию, создать положительного героя (в полном соцреалистическом качестве) и наделить его при этом человеческой психологией. Ни психологии настоящей не получится, ни героя. Маяковский это знал и, ненавидя психологическую мелочность и дробность, писал утрированными пропорциями и преувеличенными размерами, писал крупно, плакатно, гомерически. Он уходил от бытописания, от сельской природы, он рвал с «великими традициями великой русской литературы» и, хотя любил и Пушкина, и Чехова, он не пытался им следовать.



Все это помогло Маяковскому встать вровень с эпохой и выразить её дух полно и чисто — без чужеродных примесей. Творчество же многих других писателей переживает кризис именно в силу того, что они вопреки классицистической природе нашего искусства все еще считают его реализмом, ориентируясь при этом на литературные образцы XIX века, наиболее далекие от нас и наиболее нам враждебные. Вместо того, чтобы идти путем условных форм, чистого вымысла, фантазии, которыми всегда шли великие религиозные культуры, они стремятся к компромиссу, гнут, изворачиваются, пытаются соединить несоединимое: положительный герой, закономерно тяготеющий к схеме, к аллегории, — и психологическая разработка характера; высокий слог, декламация — и прозаическое бытописание; возвышенный идеал — и жизненное правдоподобие. Это приводит к самой безобразной мешанине. Персонажи мучаются почти по Достоевскому, грустят почти по Чехову, строят семейное счастье почти по Льву Толстому и в то же время, спохватившись, гаркают зычными голосами прописные истины, вычитанные из советских газет: «Да здравствует мир во всем мире!», «Долой поджигателей войны!» Это не классицизм и не реализм. Это полуклассицистическое полуискусство не слишком социалистического совсем не реализма.

По-видимому, в самом названии «социалистический реализм» содержится непреодолимое противоречие. Социалистическое, т. е. целенаправленное, религиозное искусство не может быть создано средствами литературы XIX века, именуемыми «реализмом». А совершенно правдоподобная картина жизни (с подробностями быта, психологии, пейзажа, портрета и т.д.) не поддается описанию на языке телеологических устроений. Для социалистического реализма, если он действительно хочет подняться до уровня больших мировых культур и создать свою «Коммуниаду», есть только один выход — покончить с «реализмом», отказаться от жалких и все равно бесплодных попыток создать социалистическую «Анну Каренину» и социалистический «Вишневый сад». Когда он потеряет несущественное для него правдоподобие, он сумеет передать величественный и неправдоподобный смысл нашей эпохи.

К сожалению, этот выход маловероятен. События последних лет влекут наше искусство по пути полумер и полуправд. Смерть Сталина нанесла непоправимый урон нашей религиозно-эстетической системе, и возрожденным ныне культом Ленина трудно его восполнить. Ленин слишком человекоподобен, слишком реалистичен по самой своей природе, маленького роста, штатский. Сталин же был специально создан для гиперболы, его поджидавшей. Загадочный, всевидящий, всемогущий, он был живым монументом нашей эпохи, и ему недоставало только одного свойства, чтобы стать богом, — бессмертия.

Ах, если бы мы были умнее и окружили его смерть чудесами! Сообщили бы по радио, что он не умер, а вознесся на небо и смотрит на нас оттуда, помалкивая в мистические усы. От его нетленных мощей исцелялись бы паралитики и бесноватые. И дети, ложась спать, молились бы в окошко на сияющие зимние звезды Небесного Кремля...

Но мы не вняли голосу совести и вместо благочестивой молитвы занялись развенчанием «культы личности», нами ранее созданного. Мы сами взорвали фундамент того классицистического шедевра, который мог бы (ждать оставалось так немного!) войти наравне с пирамидой Хеопса и Аполлоном Бельведерским в сокровищницу мирового искусства.

Любая телеологическая система сильна своим постоянством, стройностью, порядком. Стоит один раз допустить, что бог нечаянно согрешил с Евой и, приревновав ее к Адаму, отправил несчастных супругов на исправительно-земные работы, как вся концепция мироздания пойдет прахом и возобновить веру в прежнем виде невозможно.

После смерти Сталина мы вступили в полосу разрушений и переоценок. Они медленны, непоследовательны, бесперспективны, а инерция прошлого и будущего достаточно велика. Сегодняшние дети вряд ли сумеют создать нового бога, способного вдохновить человечество на следующий исторический цикл. Может быть, для этого потребуются дополнительные костры инквизиции, дальнейшие «культы личности», новые земные работы, и лишь через много столетий взойдет над миром Цель, имени которой сейчас никто не знает.

А пока что наше искусство топчется на одном месте — между недостаточным реализмом и недостаточным классицизмом. После понесенной утраты оно бессильно взлететь к идеалу и с прежней искренней высокопарностью славословить нашу счастливую жизнь, выдавая должное за реальное. В славословящих произведениях все более откровенно звучат подлость и ханжество, а успехом теперь пользуются писатели, способные по возможности правдоподобно представить наши достижения и по возможности мягко, деликатно, неправдоподобно — наши недостатки. Тот, кто сбивается в сторону излишнего правдоподобия, «реализма», терпит фиаско, как это случилось с нашумевшим романом Дудинцева «Не хлебом единым», который был публично предан анафеме за очернение нашей светлой социалистической действительности.

Но неужели мечты о старом, добром, честном «реализме» — единственная тайная ёресь, на которую только и способна русская литература? Неужели все уроки, преподанные нам, пропали даром и мы в лучшем случае желаем лишь одного — вернуться к натуральной школе и критическому направлению? Будем надеяться, что это не совсем так и что наша потребность в правде не помешает работе мысли и воображения.

В данном случае я возлагаю надежду на искусство фантазмагорическое, с гипотезами вместо цели и гротеском взамен бытописания. Оно наиболее полно отвечает духу современности. Пусть утрированные образы Гофмана, Достоевского, Гойи, Шагала и самого социалистического реалиста Маяковского и многих других реалистов и не реалистов научат нас, как быть правдивыми с помощью нелепой фантазии.

Утрачивая веру, мы не потеряли восторга перед происходящими на наших глазах метаморфозами бога, перед чудовищной перистальтикой его кишок — мозговых извилин. Мы не знаем, куда идти, но, поняв, что делать нечего, начинаем думать, строить догадки, предполагать. Может быть, мы придумаем что-нибудь удивительное. Но это уже не будет социалистическим реализмом.

1957

Познакомившись в последнее время с сочинениями Абрама Терца, на основании которых обвиняется А.Д.Синявский, я утверждаю, что в них не содержится ничего, что могло бы дать повод для уголовного преследования.

Большинство произведений А.Терца написано в традиционной для нашей литературы сказовой форме (имеется в виду "сказ" в терминологическом смысле). Особенностью сказа является то, что повествование ведется от лица героя, который отнюдь не совпадает с автором. Поэтому, например, все высказывания, сделанные в повести от первого лица ("Любимов"), следует отнести к совершенно конкретному рассказчику—персонажу этой повести, а вовсе не к автору повести. Автор относится весьма критически к этому условному персонажу, что видно в особенности из заключительной главы повести. Как это принято в сказовой прозе, некоторые высказывания рассказчика введены намеренно, с целью показать читателю уровень этого рассказчика, существенно отличный от реального авторского. Несовпадение условного автора (т.е. того рассказчика, от лица которого ведется повествование и вставляются лирические куски) и настоящего автора характерно и для повести "Суд идет" (в этом отношении особенно показателен эпилог этой повести). Поэтому отдельные цитаты (хотя бы и сказанные от первого лица в обеих повестях) не могут быть приписаны Абраму Терцу и тем более служить для уголовного преследования автора. Непонимание этого может проистекать только от неумения (или нежелания) разобраться в специфике художественной литературы (в особенности ее сказовой формы, характерной для русской прозаической традиции), решительно ее отличающей от других видов литературы. Такая форма сказа с условным рассказчиком, существенно отличным от реального автора, была намечена еще в прозе Пушкина — в "Повестях Белкина" и в "Истории села Горюхина", где все повествование ведется от имени вымышленного действующего лица.

Далее этот прием сказа был развит Гоголем и его продолжателями, прежде всего Достоевским, отмечавшим в своих письмах, что в его повести говорит не автор, а герой, и Лесковым. Позднее именно эта форма повествования получила особое развитие в советской прозе двадцатых годов<sup>4</sup> и тогда же нашла теоретическое осмысление в трудах Б.М.Эйхенбаума,

---

\*Текст написан в ответ на запрос юридической консультации Бауманского района г. Москвы.

М.М.Бахтина и других наших исследователей структуры художественной речи. Относительно связи этих теоретических структурных работ с практическим использованием сказа в советской литературе мне уже приходилось писать (см. комментарий к кн. Выгодского "Психология искусства". М., 1965, с.362). После структурных работ указанных советских ученых в отечественной и мировой литературе о языке художественной литературы можно считать установленным, что в художественной прозе, принадлежащей к сказовой традиции, сознательно выдвигается на первый план "чужое слово" (термин Бахтина), отличное от авторского. Этот бесспорный вывод современной науки следует постоянно учитывать при анализе произведений А.Терца, талантливо продолжающего и развивающего указанную традицию русской литературы. С собственно лингвистической точки зрения особенно интересно то, что в сказовой прозе (в частности, в произведениях А.Терца) личное местоимение первого лица единственного числа и глагольные формы, имеющие эти грамматические значения, заведомо относятся не к реальному автору. Если для наглядности воспользоваться примером из классической русской прозы, можно сослаться на нелепость предположения, что Пушкин говорит о самом себе в таких строках "Истории села Горюхина", как, например: "Звание литератора всегда казалось мне самым завидным. Родители мои, люди почтенные, но простые и воспитанные по-старинному, никогда ничего не читывали, и во всем доме, кроме азбуки, купленной для меня, календарей и новейшего письмовника, никаких других книг не находилось". Или: "Таким образом, уважение мое к русской литературе стоило мне тридцать копеек потерянной сдачи, выговора по службе и чуть-чуть не ареста, а все даром". Столь же нелепым было бы предположение, что, например, в эпилоге повести "Суд идет" речь идет об аресте реального автора повести, что в повести "Любимов" или в рассказе "Графоманы" можно найти в прямой речи выражение мыслей реального автора.

Эти несомненные положения, вытекающие из анализа художественных приемов сказовой прозы, делают бесспорным то, что цитаты из этой прозы не могут приводиться в качестве доводов для уголовного обвинения автора. Более того, указанные научные аргументы достаточны для того, чтобы утверждать, что проза, написанная в такой художественной форме, в принципе не может служить основанием для привлечения ее автора к уголовной ответственности по статье закона, где упомянута "литература" вообще, без оговорки, что в данном случае в понятие "литература" может быть включена и художественная литература, в частности, ее сказовая разновидность. Таким образом, сама постановка вопроса о привлечении к уголовной ответственности автора произведения с научной точки зрения является неправомерной.

В повести "Суд идет" и в рассказе "Гололедица" сатирически изображены отдельные сотрудники органов государственной безопасности и прокуратуры периода, предшествующего 1953 году (за исключением эпилога, о котором говорилось выше). Деятельность этих органов в тот период подвергалась позднее еще более суровой критике в нашей печати. Поэтому указанные места сочинений А.Терца ничем не отличаются от большого числа художественных произведений, мемуаров и статей, опубликованных у нас после 1956 года. Если автора произведений А.Терца собираются судить за критику органов государственной безопасности и прокуратуры до 1953 года, то об этом нужно объявить открыто. Следует тогда прямо сказать, что речь идет о попытке в ходе следствия пересмотреть сложившуюся у нашей общественности на протяжении последних десяти лет точку зрения по этому вопросу.

Повесть "Любимов" не является политическим произведением и даже отдаленно не может быть истолкована как таковое. В этой повести весь сюжет строится на совершенно фантастических предпосылках, никак прямо не связанных с фактами реальной действительности. Достаточно напомнить о чудесной психологической силе героя повести, о связанных с этой силой чудесах, им производимых, о введении в повесть умершего сочинителя старинной книги, где герой почерпнул источник чудодейственной силы. Разумеется, можно относиться отрицательно к такому фантастическому приему художественного творчества, но за него нельзя судить. При желании непременно истолковывать эту повесть не только как вымысел, можно было бы предположить и такое ее истолкование: повесть рассказывает о том, как оказывается тщетной попытка авантюристически настроенного молодого человека изменить характер власти в небольшом нашем городе. Сам этот молодой человек изображен сатирически, как явно отрицательный персонаж. Почему изображение врага нашей власти следует считать опасным для этой власти? Можно спорить о том, насколько образ Тихомирова удался автору, но опять-таки здесь нет никакого повода для судебного преследования.

Элементы фантастики содержатся и в повести "Суд идет", входящей в цикл фантастических произведений, что уже не дает права толковать эту вещь в чисто реалистическом плане. Напомню хотя бы о драге в канализационной сети, фигурирующей в качестве мотивировки эпилога повести и подчеркивающей ирреальный, условный план этого эпилога.

Помимо названных произведений и ряда "фантастических повестей", талантливо написанных в сказовой гротесковой форме и заведомо не связанных с политическими проблемами, А.Терцу приписывается статья "Социалистический

реализм"\* (я знакомился с ней по тексту, напечатанному анонимно во французском журнале "Эспри" в 1959 г.). В статье дается критический анализ проблем истории нашей литературы в XIX и XX веках, причем детально разбираются причины появления так называемой "теории бесконфликтности", подвергнутой у нас резкой критике после пятидесятых годов. В статье дается сдержанная полемика с рядом высказываний Н.С.Хрущева по вопросам литературы и искусства, что само по себе не даст оснований для уголовного обвинения автора. Вместе с тем автор касается извращений ряда положений марксизма при культе личности, постоянно указывая, что он не спорит с самыми основами советской власти, которые для него овеяны романтикой революции. Такая постановка вопроса во всяком случае не может быть поводом для уголовного преследования. Следует подчеркнуть, что в статье отмечается победоносность марксизма в наш век и отсутствие такой идеологии, которая могла бы спорить с марксизмом.

Таким образом, ни литературоведческая статья, ни художественные произведения А.Терца не дают никаких оснований для судебного преследования. Если А.Синявский является автором этих произведений, то его судить не за что.

Что же касается критических литературоведческих и искусствоведческих работ, опубликованных А.Синявским в нашей печати, то им неоспоримо следует дать очень высокую оценку. Недавно вышедшая монография о русской поэзии первых лет революции, одним из авторов которой является А.Синявский, представляет собой, по существу, первое серьезное исследование по этой теме, исключительно важное как для научного осмысливания первых лет советской поэзии, так и для популяризации ее достижений. К этому труду А.Синявского примыкают написанные им обстоятельные главы истории нашей литературы и изданная в прошлом году монографическая статья о Б.Л.Пастернаке, предпосланная первому в нашей стране научному изданию стихов великого поэта и продолжающая более ранние статьи А.Синявского о Б.Л.Пастернаке (следует отметить, что сам Б.Л.Пастернак высоко ценил работы А.Синявского о своей поэзии, выделяя их из всех советских и зарубежных, весьма многочисленных, публикаций на эту тему). Работы А.Синявского отличает сочетание глубокого проникновения в суть поэтического текста с тщательностью научного анализа законов и структуры текста. В монографической статье о поэзии Б.Л.Пастернака и в других указанных выше работах А.Синявский обосновывал выводы о звуковых и смысловых связях в поэтическом тексте, которые представляют исключительный интерес для

---

\*Точное название работы — "Что такое социалистический реализм".

современной структурной теории поэтического языка. Для научного (в частности, семиотического) исследования искусства большое значение имеет книга о творчестве Пикассо, одним из авторов которой является Синявский\*.

В своих критических статьях А.Д.Синявский много сделал для отделения подлинных достижений советской литературы от литературного брака, тщательно показывая отличие подлинного искусства от вредной для общества макулатуры (достаточно вспомнить критику сочинения Шевцова "Тля"\*\*\*). Поэтому перерыв в литературной деятельности А.Д.Синявского не может не сказаться отрицательно на поступательном движении нашей литературы. Вместе с тем, как следует из всего вышесказанного, для этого перерыва, который был бы только вреден для нашей литературы и полезен лишь для ее врагов, нет никаких юридических оснований.

*Кандидат филологических наук, заведующий  
сектором структурной типологии славянских  
языков Института славяноведения АН СССР,  
председатель Комиссии по структурной  
лингвистике Секции семиотики Научного совета  
по кибернетике АН СССР*

3 февраля 1966 г.

*В.В.Иванов*

---

\*Голомшток И., Синявский А. Пикассо. М.: Знание, 1960.

\*\*Новый мир. 1964. № 12.



---

---

**ВСТАТЬ: СУД ИДЕТ!**

---

---

---

---

---

Арт Бухвальд

---

**ПРОСЬБА О ПОМИЛОВАНИИ**

---

Вашингтон Пост. 1966. 11 февр.

---

Советский Союз устроил процесс над двумя писателями, печатавшими свои произведения за границей под псевдонимами Николай Аржак и Абрам Терц. Подлинные имена писателей — Юлий Даниэль и Андрей Синявский. И в том, что они критиковали советский образ жизни, сомнений нет. Но зато есть сомнения, по крайней мере среди многих писателей в Советском Союзе и вне его, — надо ли за это судить? Многие западные писатели протестовали против процесса на том основании, что это нарушение академической свободы. Среди них многие высказывали симпатии к Даниэлю и Синявскому, но мало кто сочувствовал прокурору, судье и советским журналистам, день за днем поносящим этих писателей.

Я прошу помилования э т и х людей, а не Даниэля и Синявского, которые, в конце концов, выживут. Что обвиняемые на московских показательных процессах всегда оказываются виновными, широко известно. Так и должно быть, ибо устраивать такой суд, а затем пускать людей на свободу было бы ошибкой. Прокурора и судей на таком процессе всегда хвалят за хорошо выполненное дело, а советская печать состоит в том, какой журналист может больше всех опорочить.

Вскоре кто-нибудь из "властей предержавных" решит, что суд над Даниэлем и Синявским был ошибкой, что обвинения были подстроены и что процесс не должен был состояться. Последующая реабилитация этих двух писателей, которые не виновны перед Советским Союзом, не вызывает никаких сомнений. Естественно предположить, что они будут отпущены и, в придачу к реабилитации, им будет дана дача в пригороде.

Но по советской системе, чтобы реабилитировать несправедливо осужденных, необходимо, в первую очередь, найти тех, на кого можно возложить ответственность за вынесенное решение и по закону наказать их за судебную ошибку. Так что, пожалуй, следует скорее волноваться о судьбе Льва Смирнова, прокурора Олега Темушкина и двух главных свидетелей обвинения — Зои Кедринной и Аркадия Васильева. Если все пойдет по плану, то все они, пожалуй, окажутся на скамье подсудимых за то, что осудили Даниэля и Синявского.

Многие интеллигенты и здесь и в Советском Союзе готовы уже сейчас осудить этих ученых мужей. Но я уверен, что ни один из них не имел злых намерений, подготавливая обвинительный акт. Я испрашиваю помилования судье, прокурору

и главным свидетелям обвинения на том основании, что они поступили так, а не иначе только из опасения потерять заработок. Каждый из них вправе сейчас предположить, что критика Советского Союза Даниэлем и Синявским может оказаться справедливой. Я не виню и советских корреспондентов, которые присутствовали на суде и писали столько гадостей об этих писателях. Они — жертвы духа времени.

Все те, кто имеет касательство к присуждению Даниэля и Синявского к заключению, будут справедливо наказаны. Однако я надеюсь, что моя просьба, как незаинтересованного лица, будет принята. Если судья будет осужден на 5 лет, прокурор — на 4 года, а свидетели Кедрина и Васильев исключены из Союза советских писателей, то, по моему мнению, цели советского судопроизводства восторжествуют.

---

---

Из зала суда

---

День первый

---

---

Юрий Феофанов

---

**ТУТ ЦАРИТ ЗАКОН**

---

Известия. 1966. 11 февр. Общесоюзный выпуск

---

Есть что-то в своем роде торжественно-спокойное, когда совершается ритуал правосудия. Установленная законом процедура судебного разбирательства, каждая ее деталь направлена на то, чтобы утверждать справедливость.

Советское правосудие, защищая общество, жизнь, честь и достоинство граждан, предусматривает одновременно широкие права на защиту тем, над кем занесен меч правосудия. Поэтому неискушенным людям бывает странно, когда, скажем, убийца или изменник Родины, или другой человек, совершивший самое гнусное преступление, "допрашивает" свидетелей или потерпевших, когда адвокат его задает "праздные" вопросы.

— Все ясно, — иногда слышишь реплики, — зачем все столь усложнять? Однако демократизм нашего судопроизводства как раз и состоит в том, чтобы гарантировать наиболее верную оценку событий, составляющих существо дела. Суду не все ясно, пока не исследовано тщательным образом дело, пока не выслушаны обе стороны, не выяснено все, что отягчает или смягчает вину подсудимого. Тут нет мелочей, здесь нельзя оставить и малейшего сомнения. Только тогда откроется истина, и только в этом случае возможно торжество справедливости.

Об этих вещах думал я, когда шла предписанная законом процедура, предваряющая начало судебного следствия. А репортаж этот я веду из зала Московского областного суда, где Верховный суд РСФСР рассматривает дело А.Синявского и Ю.Даниэля. <...>

На протяжении нескольких лет они сочиняли антисоветские пасквилы и переправляли их в зарубежные буржуазные издательства. Там охотно печатали стряпню, направленную против нашей Родины. Печатали на многих языках, снабжали антисоветскими предисловиями и широко распространяли. В том числе забрасывали в СССР. Свои пасквилы оба писали под псевдонимами. Западные издательства тщательно скрывали их подлинные имена. Связной служила некая Элен Замойская (Пелетье) — дочь бывшего французского военноморского атташе в СССР. Она бывала у нас в гостях как туристка, была знакома с Синявским и тайно переправляла за рубеж их пасквилы. Синявский скрывался под именем Абрама Терца. Даниэль выбрал себе прозвище Николай Аржак. Любопытная деталь. Утверждают, что слово "аржак" на смоленском говоре некогда означало "бандит". Фамилия Абрам Терц тоже не лишена интереса. В двадцатых годах ходила по Одессе блатная песенка, в которой персонажем был "Абрашка Терц, разбойник из Одессы". Может быть, друзья-приятели не случайно подобрали себе псевдонимы, а может, это совпадение\*...

Но не в кличках, конечно, дело. Суд, надо полагать, будет выяснять в ходе следствия вещи куда более серьезные.

Время — 10 часов. 10 февраля 1966 года. Занимают свое место государственный обвинитель, государственный советник юстиции третьего класса, помощник Генерального прокурора СССР О.П.Темушкин и общественные обвинители писатели Аркадий Васильев и Зоя Кедрина. Напротив них адвокат Синявского Э.М.Коган и защитник Даниэля М.М.Кисеницкий, которых пригласили защищать интересы подсудимых их родственники.

В процессе участвуют эксперты. В их задачу входило установить авторство подсудимых в тех писаниях, которые были густо напицканы антисоветскими измышлениями. Хотя свое авторство подсудимые и не отрицают.

Как всегда торжественное: "Встать. Суд идет!" Кресла с государственными гербами занимают председательствующий — председатель Верховного суда РСФСР Л.Н.Смирнов и народные заседатели Н.А.Чечина и П.В.Соколов.

Зачитывается обвинительное заключение. Синявскому и Даниэлю предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных частью первой статьи 70 Уголовного кодекса РСФСР. Эта статья закона гласит: "Агитация или пропаганда, проводимая в целях подрыва или ослабления Советской

---

\*Н.Аржак (этой детали, видимо, не знал репортер) так же, как и А.Терц, — персонаж уголовного фольклора: «Вот шесть часов пробило, Аржак идет домой; Ростовские ребята Кричат ему: „Постой!“»

власти либо совершения отдельных особо опасных государственных преступлений, распространение в тех же целях клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, а равно распространение либо изготовление или хранение в тех же целях литературы такого же содержания — наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до семи лет и со ссылкой на срок от двух до пяти лет, или без ссылки, или ссылкой на срок от двух до пяти лет”.

Наш закон устанавливает, что антисоветская литература — это литература, содержащая призывы к подрыву или ослаблению Советской власти... А подсудимые прямо призывали к борьбе с нашим строем, нашей моралью. <...>

После оглашения обвинительного заключения председательствующий спрашивает:

— Подсудимый Сиявский, признаете ли вы себя виновным?

Тот же вопрос адресуется Даниэлю. Оба категорически отрицают свою вину. На предварительном следствии оба, хотя и отрицали умысел в антисоветской пропаганде, однако признавали, что их произведения могут быть использованы и использовались во вред нашей стране. Теперь они отрицают все.

Что ж, судебное следствие и призвано установить, было ли это преступлением, которое карается законом, и насколько тяжка вина подсудимых.

---

---

Из зала суда

День второй

---

---

Юрий Феофанов

**ИЗОБЛИЧЕНИЕ**

Известия. 1966. 12 февр. Общесоюзный выпуск

---

---

Давно замечено, что, если преступник исчерпал все возможности отрицать сам факт содеянного им, он ищет пути объяснить это в выгодном для себя свете. Мне вспоминается не один процесс, когда подсудимый, прижимая руки к груди, истово заклинал:

— Виноват, граждане судьи, полностью осознаю свой проступок. Но... пьян был, ничего не помню. А так, разве ж бы я посмел!

Сейчас перед судом (о процессе мы начали рассказ в предыдущем номере) — люди, которые оперируют литературными терминами, эстетическими категориями, “умными” словами. Но слушаешь ход судебного следствия и понимаешь: те же методы — идти на все, лишь бы вывернуться, лишь бы представить все не так, как было на самом деле.

— Скажите, Даниэль, — задает вопрос прокурор, — какие идеи хотели выразить вы в повести "Говорит Москва"?

— Я заинтересовался анализом психологии людей, попавших в необыкновенные обстоятельства. Никаких политических мотивов у меня не было. Чисто психологизм. <...>

— Но почему бы вам тогда не избрать местом действия, скажем, древний Вавилон? Почему вы допускаете фантастические гнусности по отношению к своему народу?

— Это художественный прием, — твердит Даниэль уже в который раз и пытается свести диалог к проблемам теории литературного творчества.

На суде, однако, идет речь не об эстетических особенностях произведений Даниэля, а об его уголовных деяниях. <...>

Нет, все это далеко не так невинно, как пытается представить Даниэль. Перед судом предстает преступник. Не противник, который открыто, в честной дискуссии отстаивает свои взгляды, а злобный враг. Он кусал исподтишка, тайком пересылая рукописи в явно антисоветские издательства и редакции. Факты свидетельствуют об этом неопровержимо.

Столь же убедительно разбивают факты и позиции Синявского. Он выстроил, как ему кажется, неуязвимую линию обороны. Собственно, она состоит из тех же факторов: не ведал, что творил.

— Да, перечисленные произведения, изданные за границей, писал и посылал туда я, — поглаживая большую рыжую бороду, говорит он.

Разбирается клеветническая повесть Синявского „Суд идет“. И вновь знакомые, уже набившие оскомину слова о "праве художника на самовыражение", об условностях, гиперболах и т.д.

— Допустим. Но давайте, подсудимый, обратимся к вашим собственным мыслям, высказанным уже не в художественном произведении, а в литературных, как вы выражаетесь, размышлениях. Вам знакомо произведение "Мысли врасплох"?

— Да, это мое произведение.

— Оно издано за границей?

— Да.

— Позвольте процитировать. <...>

"Пьянство — идея фикс русского народа... — "размышлял" Синявский. — Нация воров и пьяниц не способна создать культуру..."

Как же нужно было низко пасть, чтобы так написать о народе, поражающем и восхищающем мир своими свершениями!

— Что вы скажете на это, подсудимый?

После долгого молчания Синявский говорит:

"Видите ли, я люблю русский народ... (Председательст-

вующий успокаивает зал). Меня не упрекнешь в пристрастии к Западу, меня даже славянофилом называли...

Отпираться от цитат невозможно\*. <...>

— Подсудимый, а может быть, мы оставим теорию литературы, — замечает председательствующий. — Все-таки у нас не диспут на литературные темы, а уголовный процесс. Вы о советских людях говорите, что это "твари из крови и грязи". Как сочетать это с вашими словами о любви к коммунистическим идеалам?

— По-моему, это не точный перевод, — под смех зала заявляет подсудимый.

— С какой целью вы отправляли на Запад эту чудовищную клевету?

— Я хотел сказать о духовных потребностях народа (смех в зале).

Они тщатся представить себя оригинально мыслящими личностями, употребляют высокие слова. А суд, срывая словесную мишуру, обнажает их вражескую сущность.

---

\*Ср. ответ Синявского в записи его жены, присутствовавшей на процессе: Синявский: Могу ответить по поводу своего отношения к русскому народу и по поводу тех трактовок, которые допускают мои произведения. Я знаю, что голословными "люблю" и "знаю" я ничего не добьюсь. Они ничего не докажут и покажутся попыткой оправдаться. Но никто не сможет упрекнуть меня в пристрастии к Западу, в нелюбви к русскому народу — я даже слыл славянофилом. И на Западе так же рассматривают Абрама Терца. Всего дороже мне в русском человеке его внутренняя духовная свобода — она и в высоком плане проявляется, давая миру Достоевского, живопись, песни, и в низком, бытовом. Но я не склонен думать, что на каждом шагу надо хвалить русский народ, хотя и считаю его самым великим народом на земле. <...> Я считаю, что недостатки есть добавления к достоинствам, — они тесно связаны. Пьянство — это другая сторона духовности. В отрывке об этом речь.

Ср. также приведенную выше в репортерской записи цитату о пьянстве с первоисточником: "Пьянство — наш коренной национальный порок и больше — наша идея-фикс. Не с нужды и не с горя пьет русский народ," а по известной потребности в чудесном и чрезвычайном, пьет, если угодно, мистически, стремясь вывести душу из земного равновесия и вернуть ее в блаженное бестелесное состояние. Водка — белая магия русского мужика: он ее решительно предпочитает черной магии — женскому полу. Дамский угодник, любовник перенимает черты иноземца, немца (черт у Гоголя), француза, еврея. Мы же, русские, за бутылку очищенной отдадим любую красавицу (Стенька Разин)". (Мысли врасплох. Нью-Йорк. 1966).

Судебное следствие продолжается. Так и хочется сказать: хватит, ведь ясно, облик двух отщепенцев не вызывает сомнений. Но суд внимательно выслушивает пространные сентенции подсудимых. Они вольны "обосновывать" свои писания, разглагольствовать о непричастности к антисоветской пропаганде, прикидываться непонимающими. Их никто не прерывает.

Но их неотразимо бьют факты.

---

---

Из зала суда

---

---

День третий

---

---

Юрий Феофанов

---

---

**ПОРА ОТВЕЧАТЬ**

---

---

Известия. 1966. 13 февр. Общесоюзный выпуск

Подходит к концу процесс по делу Синявского и Даниэля. И хотя впечатления пока, так сказать, чисто репортерские, совсем свежие, хочется уже и поразмыслить немного над тем, что видел и слышал за эти три дня.

В перерывах между заседаниями суда было полно разговоров, в которых сильно сквозило возмущение и презрение. Но многие просто недоумевают: как же в наши дни могло произойти такое?

В самом деле. Два сравнительно молодых человека (обоим по сорок лет), воспитанники советской школы, а потом вуза, жившие бок о бок с нами, вдруг стали пособниками злейших наших врагов. Почему? С какой целью? И как могла возникнуть мысль посылать откровенно злобные, клеветнические писания о нашей стране, о нашем народе за рубеж?

Случай, конечно, уникальный, из ряда вон выходящий. Но естественно стремление понять его причины и следствия.

Объяснения обоих подсудимых хоть и различались по форме, были одинаково смехотворны. Факты они обходили, а напирала больше на психологию. Даниэль прикидывался таким большим младенцем, который не мог уразуметь, что такое клевета, не ведал, что за рубежом живут не только наши доброжелатели, но и враги и что его корреспонденция на Запад — желаннейшая находка для реакционных буржуазных и белоэмигрантских изданий.

Его коллега по скамье подсудимых, тот все время наводил тень на ясный день, разглагольствуя о несовершенствах мирового бытия, новой религии и о своем восприятии действительности, недоступном простым смертным. Поистине метко заметил А.М.Горький: "Ложь нельзя сказать просто: она требует громких слов и многих украшений".

Все это, конечно, столь нелепо в сопоставлении с реальными доказательствами антисоветской деятельности Синявского и Даниэля, что присутствующие то гневно возмущаются



предельным цинизмом подсудимых, то откровенно смеются над их, мягко говоря, наивными ответами. И председательствующему Льву Николаевичу Смирнову, который четко, я бы сказал, блестяще ведет процесс, все время приходится успокаивать зал.

Но все-таки где же причины падения двух людей, считавших себя интеллигентными? Одной из них, мне кажется, является крайняя идейная распушенность, моральная безответственность подсудимых. Полная утрата ими гражданских, патриотических чувств родила ненависть к нашему государственному строю, к идеям коммунизма, к образу жизни советских людей. Все это привело подсудимых к прямым враждебным действиям.

С 1956 года Синявский начал писать свои пасквилы. Чуть позже — Даниэль. Они, конечно, тщательно скрывали от общественности эту подпольную деятельность. Однако читали явно антисоветские произведения некоторым знакомым, друзьям. Кое-кто морщился, другие разбирали стилистические и литературные достоинства и недостатки. Увы, не нашлось ни одного из знакомых и близких, которые слушали или читали антисоветские произведения Синявского и Даниэля и кто бы по достоинству оценил эти писания и высказал свое мнение со всей прямотой. А чтобы оценить антисоветскую сущность этих произведений, особой проницательности не требовалось. Нужна была элементарная порядочность советского гражданина.

Об этом я думал, когда суд закончил допрос Синявского и перешел к допросу свидетелей\*. Не стану пересказывать содержание всех допросов. <...>

...Окончился допрос свидетелей. Дали свое заключение эксперты — они установили, что авторами антисоветских произведений являются именно Синявский — Абрам Терц и Даниэль — Николай Аржак.

Затем начались прения сторон. Выступили общественные обвинители Аркадий Васильев и Зоя Кедрина. От имени писательской общественности они заклемили подлые деяния подсудимых и потребовали для них строгого наказания. Государственный обвинитель подробно охарактери-

---

\*Всего на процессе было допрошено восемь свидетелей: А.Ремезов, Е.Докукина, Я.Гарбузенко, Ю.Хазанов, С.Хмельницкий, И.Голомшток, А.Петров, В.Дувакин. В отношении И.Голомштока суд вынес частное определение — свидетель отказался сказать, от кого именно он получил книги Синявского-Терца; в результате — по ст. 182 УК РСФСР — свидетель получил полгода исправительных работ (отказ от дачи показаний). О послесудебной судьбе доцента В.Дувакина см. на с. 498.

зовал преступную деятельность Синявского и Даниэля. Процесс по делу двух отщепенцев подходит к концу. Пришла пора держать ответ\*.

---

---

Из зала суда

---

---

День третий

---

---

**ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО АНДРЕЯ СИНЯВСКОГО**

---

---

Мне будет довольно трудно говорить, так как я не рассчитывал, что сегодня будет последнее слово, мне сказали, что в понедельник, и я не подготовился. Но еще труднее — в силу определенной атмосферы, которая здесь достаточно ощутима. Доводы обвинения меня не убедили, и я остался на прежних позициях. Доводы обвинения — они создали ощущение глухой стены, сквозь которую невозможно пробиться до чего-то, до какой-то истины. Аргументы прокурора — это аргументы обвинительного заключения, аргументы, которые я много раз слышал на следствии. Те же самые цитаты — не раз, не два, не три: "очередь, очередь... от живота... всером", "чтобы уничтожить тюрьмы, мы построили новые тюрьмы". Все те же самые страшные цитаты из обвинительного заключения повторяются десятки раз и разрастаются в чудовищную атмосферу, уже не соответствующую никакой реальности. Художественный прием — повторение одних и тех же формулировок — сильный прием. Создается какая-то пелена, особенно наэлектризованная атмосфера, когда кончается реальность и начинается чудовищное — почти по произведениям Аржака и Терца. Это атмосфера темного антисоветского подполья, скрывающегося за светлым лицом кандидата наук Синявского и поэта-переводчика Даниэля, делающих заговоры, перевороты, террористические акты, погромы, убийства... В общем, День открытых убийств, только исполнителей двое: Синявский и Даниэль. Тут, действительно, очень страшно и неожиданно художественный образ теряет условность, воспринимается буквально, так что судебная процедура подключается к тексту как естественное его продолжение. Я имел несчастье пометить эпилог повести "Суд идет" 1956-м годом: "автор оклеветал 1956 год — ага, автор, ты предсказал — иди теперь в лагерь в 1966 году". Злорадные интонации явственно звучали у обвинителей.

---

\*Кроме Ю.Феофанова процесс освещали и другие журналисты. См., напр.: Ильин М. Клеветники // Сов. Россия. 1966. 11 февр.; Котенко И. Факты обличают // Там же. 12 февр.; Крымов Б. Суд продолжается // Лит. газ. 1966. 12 февр.; Набоков А. Люди с "двойным дном" // Вечерняя Москва. 1966. 14 февр.

Но появились новые штрихи. Новые штрихи — это политическое подполье переходит в подполье вырожденков, людоедов, живущих самыми темными инстинктами: ненависть к матери, ненависть к собственному народу, фашизм, антисемитизм. Трудно объявить Даниэля антисемитом. Так вот: фашист Даниэль под руку с антисемитом Синявским. Синявский топчет все самое святое, вплоть до матери. Поэтому рассеять эту атмосферу крайне трудно, здесь не помогут ни развернутые аргументы, ни концепции творчества. Уже на следствии я понял, что не это интересует обвинение: интересуют отдельные цитаты, которые все повторяются и повторяются. Я не берусь ни объяснять замыслы, ни читать лекции про создавшуюся обстановку, ни доказывать — это бесполезно. Я хочу только напомнить некоторые аргументы, элементарные по отношению к литературе. С этого начинают изучать литературу: слово — это не дело, а слово; художественный образ условен, автор не идентичен герою. Это азы, и мы пытались говорить об этом. Но обвинение упорно отбрасывает это как выдумку, как способ укрыться, как способ обмануть. И вот получается: повесть "Говорит Москва", если ее внимательно прочесть, да что там прочесть — хоть пробежать, — кричит одно слово: "Не убей!", "Я не могу и не хочу убивать: человек во всех обстоятельствах должен оставаться человеком!" Но никто не слышит этого: "Ага, ты хотел убить, ты убийца, ты фашист!" Здесь происходит чудовищный подмен. Герой повести "Суд идет" Глобов, человек, может быть, неплохой, в соответствии с некоторыми установками времени высказывает антисемитские настроения, произносит какие-то антисемитские слова: "Рабинович, увертливый, как все евреи..." Ясно, что повесть против антисемитизма, в ней речь идет о деле врачей — но нет, это автор — антисемит, а ну-ка его к фашистам поближе!

Тут логика кончается. Автор уже оказывается садистом. Понятие антисемитизм обычно связывается с великодержавным шовинизмом. Но тут какой-то особенно изощренный автор: он и русский народ ненавидит, и евреев. Все ненавидит: и матерей, и человечество. Возникает вопрос: откуда такое чудовище, из какого болота, из какого подполья. По-видимому, обычно советский суд (я знаю об этом из книг) при решении вопроса интересуется происхождением преступления, его причиной. Сейчас обвинение этим не интересуется. Вот откуда-то, должно быть из Америки, нас с Даниэлем сбросили с парашютом, и мы начали все разить — такие негодяи! Меня тут с Грацианским\* сравнивали — так у него темное происхождение, потом он, кажется, шпион. Вполне понятный

---

\*Грацианский — отрицательный персонаж романа Л.Леонова "Русский лес".

путь. Ну, а неужели у обвинения о нас не возник вопрос — откуда? Откуда в нашей стране фашист? Ведь если разобраться, то это проблема куда более страшная, чем две книжки, даже очень антисоветского содержания. Эти вопросы обвинением даже не поставлены. Так просто — ходят благополучные снаружи люди, а внутри они фашисты, готовые поднять мятеж и сбросить бомбу. Или эти слова были брошены в лицо просто ради оскорбления?

Я как будто на суде растолковывал (с цитатами), что Карлинский — самый отрицательный персонаж, что никаких сомнений не возникает насчет отношения к нему автора. Нет, снова прокурор читает кощунственные слова про рыбок, которых извлекают из материнского чрева, — эти страшные, циничные слова — и патетически восклицает: "Ну разве тут не сквозит антисоветчина? Разве это не отвратительно?" Да, отвратительно, да, сквозит. То же и слова: "Социализм — это свободное рабство". Но это и герой — антисоветский, разоблаченный герой. И никакого сомнения в этом нет. Но или меня не слушали, или это неважно было. Скорее — неважно было.

Государственного обвинителя я даже понимаю. У него более широкие задачи, он не обязан всякие там литературные особенности учитывать: автор, герой, то да се... Но когда с такими заявлениями выступают два члена Союза писателей, из которых один — профессиональный литератор, а другой — дипломированный критик, и они прямо рассматривают слова отрицательных персонажей как авторские мысли, — тут уже теряешься. Например, высказывания о классиках в "Графоманах": нельзя же оттого, что повесть от первого лица, от лица графомана-неудачника, в котором, может быть, и есть некоторые автобиографические черты, заключать, что автор ненавидит классиков. Так может считать малограмотный человек, который только читать научился. Тогда, конечно, Достоевский — человек из подполья, Клим Самгин — это Горький, а Иудушка — Салтыков-Щедрин. Тогда все наоборот будет.

Общественный обвинитель попытался поставить вопрос о двойном дне. Общественный обвинитель Васильев даже не постеснялся упомянуть про пеленки, которые были подарены моему новорожденному сыну — кстати, не мадам Замойской, а совсем другой француженкой. Даже белье пошло в ход, чтобы показать, как за светлым обликом скрывается мрачное утро — мое и Даниэля. Приводились цитаты из моих статей: как он тут писал о соцреализме с марксистских позиций, а там — идеалист — ха-ха! Если бы я мог писать с идеалистических позиций здесь, я бы писал так здесь. Когда мне поручали какую-нибудь работу здесь, я часто отказывался, искал близких мне авторов. Кедринной это хорошо известно, она же

работала со мной в одном институте. Ей известно, что я не лез в герои, не выступал на собраниях, не бил себя кулаком в грудь, не говорил лозунгами. А частенько меня прорабатывали за ошибки, за уклоны, неточности. В характеристике из ИМЛИ, которая пришла в КГБ уже после моего ареста (даже следователь возмутился, когда пришла характеристика, где я задним числом из старших научных сотрудников в младшие переведен), в этой характеристике есть и правда: там говорится, что мои идейные позиции не четкие, что я писал о Цветаевой, Мандельштаме, Пастернаке, сбивался в сторону. Сбивался потому, что хотел писать о них. Делал все максимальное, чтобы выразить свои подлинные мысли, в качестве Синявского. Поэтому у меня и были неприятности и выговоры, и меня ругали в печати и на собраниях, и никакими особыми благами, кроме зарплаты, я не обладал. Обвинитель говорил, что я мелькал в Союзе писателей. Что я там — ссуды брал, или командировки, или бесплатные путевки на курорт получал? Обвинитель перечислил, что за десять лет мне подарили несколько вещей на дни рождения разные знакомые. Уж если бы я какую-нибудь бесплатную путевочку получил, как бы она фигурировала здесь!

Неужели вновь объяснять простые вещи? Меня упрекали, что я матерей оскорбил. А у меня в "Любимове" прямо сказано: "Матерей не смейте трогать". Ведь Леню Тихомирова волшебная сила оставила за го, что он покусился на душу матери. Что же, оскорбил я матерей? А, что старух так описываю, как сморщенные трухлявые грибы — сыроежки, сморчки, лисички, — так неужели мне распростертых на полу церкви старух в нимбах изобразить? Это старый-старый литературный прием снижения. Государственный обвинитель не обязан в это вникать, но писатель?!

В итоге — все маскировка, все уловки, прикрытие, как и кандидатская степень. Худосочная литературная форма — это только прикрытие для контрреволюционных идей. Идеализм, гиперболизм, фантастика — все это, конечно, уловки ярого антисоветчика, который всячески замаскировался. Ну ладно, здесь замаскировался. Ну — это понятно, но там-то, за границей, мог ведь и не маскироваться, уже там-то я мог себе позволить?.. Гипербола, фантастика... Тогда само искусство оказывается уловкой, прикрытием для антисоветских идей.

Ну хорошо, но ведь есть фразы, мысли, образы, которые прямо говорят об обратном. Их не видно за этими махровыми цитатами, не видно. Их можно повторить, но это бессмысленно. Ведь рядом с фразой, которая здесь повторялась десятки раз: "Для того, чтобы никогда не было тюрем, мы построили новые тюрьмы", — ведь рядом — я просил прочесть — сказано: "Коммунизм — это светлая цель". Но этого уже читать не захотели. И тирада за революцию — она тоже никого не интере-

совала, никого не интересовал анализ содержания, интересовали только отдельные формулировки, антисоветские формулировки, штампы, которые можно приложить на лоб Даниэлю и Синявскому, как на повесть\*.

Гражданин государственный обвинитель сказал такую фразу (она меня поразила, я ее даже записал): "Даже зарубежная пресса говорит, что это антисоветские произведения". По логике, ежели вдуматься, это что? Высший критерий истинности для прокурора? Вот ежели и она признала, так мы-то и подавно должны? Меня особенно поразило это "даже". Я бы это "даже" поставил в другом месте: если даже антисоветская пресса в определенной части своей пишет, что это не антисоветские произведения... Вот ведь Карл Миллер пишет о погруженности автора в почти незыблемую верность коммунизму. Или еще: "Терц с вожделием вспоминает о революции, но относится не ортодоксально к дальнейшему". Ну зачем же этим буржуйам говорить, что Терц вожделеет к революции, зачем же, если мы фашисты? Как доказательство вины обвинение приводит слова Филиппова, а другие — дураки там, наверное, — Милош, Фильд — они же побольше стоят, чем Филиппов, это ведь более солидные авторы. В результате формулировка: "злоба, которой мог бы позавидовать белогвардеец" — и приводит в доказательство штампы на книге (что-то вроде "Боритесь с КПСС" и еще что-то, не помню). Штамп на книге, оказывается, равен самой книге. Такой штамп я хорошо представляю себе на произведениях Зощенко, Солженицына, на "Реквиеме" Ахматовой... Проводится знак равенства между агитационным штампом и художественным произведением.

Возникает вопрос: что такое агитация и пропаганда, а что художественная литература? Позиция обвинения такая: художественная литература — форма агитации и пропаганды; агитация бывает только советская и антисоветская; раз не советская, значит, антисоветская.

Я с этим не согласен. Ну хорошо, если писателя надо по таким нормам судить и рассматривать, то что делать с человеком, который печатает прокламации? Он ведь тоже укладывается в рамки статьи 70-й. Если художественное произведение надо судить по высшей мере наказания этой статьи, то что делать с листовкой? Или нет никакой разницы? С точки зрения обвинения — нет.

Литературовед Кедрина здесь говорила, что из бабочек на лугу политического содержания никто не вытащит. Но действительность не сводится к бабочкам на лугу. А из Зощенко не вытаскивали антисоветского содержания? Да из кого только

---

\*А.Синявский имеет в виду марку одного из зарубежных издательств, выпустившего повесть "Суд идет" (к моменту суда вышла на многих языках в разных странах мира).

не вытаскивали? Я понимаю, в чем тут разница: они печатались здесь. Но вытаскивали-то у всех, особенно если сатира: Ильф и Петров — у них тоже находили клевету. Даже у Демьяна Бедного — и то была усмотрена клевета; правда, в другое время. Я не знаю крупного писателя-сатирика, у которого не отыскивали бы такие вещи. Но, правда, еще никогда не привлекали к уголовной ответственности за художественное творчество. В истории литературы я не знаю уголовных процессов такого рода, включая авторов, которые тоже печатали за границей, и притом резкую критику. Я не хочу себя ни с кем сравнивать, но, вероятно, советские граждане равны перед законом?

Мне приводили аргументы, на которых кончалась возможность объяснить что-то. Если я в статье пишу о любви к Маяковскому, мне отвечают: "Маяковский писал: „У советских собственная гордость“, а ты послал за рубеж". Но почему я, пусть такой непоследовательный и немарксистский, не могу восхищаться Маяковским?

Тут начинает действовать закон "или-или", иногда он действует правильно, иногда — страшно. Кто не за нас, тот против нас. В какие-то периоды — революция, война, гражданская война — эта логика может быть и правильна, но она опасна применительно к спокойному времени, применительно к литературе. У меня спрашивают: где положительный герой. Ах нет? А-а, не социалист? Не реалист? А-а, не марксист? А-а, фантаст? А-а, идеалист? Да еще за границей! Конечно, контрреволюционер!

Вот у меня в неопубликованном рассказе "Пхенц" есть фраза, которую я считаю автобиографической: "Подумаешь, если я просто другой, так уж сразу ругаться..." Так вот: я другой. Но я не отношу себя к врагам, я советский человек, и мои произведения — не вражеские произведения. В здешней наэлектризованной, фантастической атмосфере врагом может считаться любой "другой" человек. Но это не объективный способ нахождения истины. А главное — я не знаю, зачем придумывать врагов, громоздить чудовища, реализуя художественные образы, понимая их буквально.

В глубине души я считаю, что к художественной литературе нельзя подходить с юридическими формулировками. Ведь правда художественного образа сложна, часто сам автор не может ее объяснить. Я думаю, что если бы у самого Шекспира (я не сравниваю себя с Шекспиром, никому это и в голову не придет), если бы у Шекспира спросили: что означает Гамлет? Что означает Макбет? Не подкоп ли тут? — я думаю, что сам Шекспир не смог бы точно ответить на это. Вот вы, юристы, имеете дело с терминами, которые чем уже, тем точнее. В отличие от термина художественный образ тем точнее, чем шире.

---

---

Из зала суда

---

---

День четвертый

---

---

**ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ЮЛИЯ ДАНИЭЛЯ**

---

---

Я знал, что мне будет предоставлено последнее слово, и я думал над тем, отказаться ли мне совсем от него (я имею на это право) или ограничиться несколькими обычными формулировками. Но потом я понял, что это не только мое последнее слово на этом судебном процессе, а может быть, вообще мое последнее слово в жизни, которое я могу сказать людям. А здесь люди — и в зале сидят люди, и за судебным столом тоже люди. И поэтому я решил говорить.

В последнем слове моего товарища Синявского прозвучало безнадежное сознание невозможности пробиться сквозь глухую стену непонимания и нежелания слушать. Я настроен не так пессимистически. Я надеюсь вспомнить еще раз доводы обвинения и доводы защиты и сопоставить их.

Я спрашивал себя все время, пока идет суд: зачем нам задают вопросы? Ответ очевидный и простой: чтобы услышать ответ, задать следующий вопрос; чтобы вести дело и в конце концов довести его до конца, добраться до истины.

Этого не произошло.

Я не буду голословен, я еще раз вспомню, как все это было.

Я буду говорить о своих произведениях — надеюсь, меня простит мой друг Синявский, он говорил и о себе и обо мне — просто я свои вещи лучше помню.

Вот меня спрашивали: почему я написал повесть "Говорит Москва"? Я отвечал: потому что я чувствовал реальную угрозу возрождения культа личности. Мне возражают: при чем здесь культ личности, если повесть написана в 1960—61 году. Я говорю: это именно те годы, когда ряд событий заставил думать, что культ личности возобновляется. Меня не опровергают, не говорят, мол, вы врете, этого не было, — нет, мои слова просто пропускают мимо ушей, как если бы этих слов не было. Мне говорят: вы оклеветали страну, народ, правительство своей чудовищной выдумкой о Дне открытых убийств. Я отвечаю: так могло быть, если вспомнить преступления во время культа личности, они гораздо страшнее того, что написано у меня и у Синявского. Все, больше меня не слушают, не отвечают мне, игнорируют мои слова. Вот такое игнорирование всего, что мы говорим, такая глухота ко всем нашим объяснениям — характерны для этого процесса.

По поводу другого моего произведения — то же самое: почему вы написали "Искушение"? Я объясняю: потому что считаю, что все члены общества ответственны за то, что происходит,



каждый в отдельности и все вместе. Может быть, я заблуждаюсь, может быть, это ложная идея. Но мне говорят: "Это клевета на советский народ, на советскую интеллигенцию". Меня не опровергают, а просто не замечают моих слов. "Клевета" — это очень удобный ответ на любое слово обвиняемых, подсудимых.

Общественный обвинитель, писатель Васильев, сказал, что обвиняет нас от имени живых и от имени погибших на войне, чьи имена золотом по мрамору написаны в Доме литераторов. Я знаю эти мраморные доски, знаю эти имена павших, я знал некоторых из них, был с ними знаком, я свято чту их память. Но почему обвинитель Васильев, цитируя слова из статьи Синявского — "...чтобы не пролилась ни одна капля крови, мы убивали, убивали, убивали..." — почему, цитируя эти слова, писатель Васильев не вспомнил другие имена — или они ему неизвестны? Имена Бабеля, Мандельштама, Бруно Ясенского, Ивана Катаева, Кольцова, Третьякова, Квитко, Маркиша и многих других. Может, писатель Васильев никогда не читал их произведений и не слышал их фамилии? Но тогда, может быть, литературовед Кедрина знает имена Левидова и Нусинова? Наконец, если обнаружится такое потрясающее незнание литературы, то, может быть, Кедрина и Васильев хоть краем уха слышали о Мейерхольде? Или, если они далеки вообще от искусства, может быть, они знают имена Постышева, Тухачевского, Блюхера, Косиора, Гамарника, Якира.. Эти люди, очевидно, умерли от простуды в своих постелях — так надо понимать утверждение, что "не убивали"? Так как же все-таки, — убивали или не убивали? Было это или не было? Делать вид, что этого не было, что этих людей не убивали — это оскорбление, простите за резкость, плевков в память погибших\*.

Нам говорят: оцените свои произведения сами и признайте, что они порочны, что они клеветнические. Но мы не можем этого сказать, мы писали то, что соответствовало нашим представлениям о том, что происходило. Нам взамен не предлагают никаких других представлений, не говорят, были такие преступления или не были, не говорят, что нет, люди не ответственны друг за друга и за свое общество, — просто молчат, не говорят ничего. Все наши объяснения, как и сами произведения, написанные нами, повисают в воздухе, не принимаются в расчет.

Общественный обвинитель Кедрина, выступая здесь, почти целиком, с некоторыми лирическими отступлениями и добавлениями, прочла свою статью "Наследники Смердякова", опубликованную в "Литературной газете" еще до начала

---

\*Здесь произошел обмен репликами между судьей и подсудимым. Л.Н.Смирнов сделал замечание Даниэлю; Даниэль извинился перед судом за резкость.

процесса. Я позволю себе остановиться на этой статье, потому что она фигурирует на процессе как обвинительная речь, и еще по одной причине, о которой я скажу позднее. Вот Кедрина, начиная свой "литературный анализ" повести "Говорит Москва", пишет о герое этой повести: "А убивать хочется. Кого же?" В том-то и дело, что моему герою не хочется убивать. Это ясно видно из повести. И, между прочим, это не только мое собственное мнение, со мною согласен в этом гражданин председательствующий; во время допроса свидетеля Гарбузенко он спросил: "Как вы, коммунист, относитесь к тому, что герою повести приказывают убивать, а он не хочет?" Я благодарен председательствующему за это точное определение позиции героя. Нет, я не считаю, что мнение председательствующего должно быть обязательным для литературоведа Кедринной, у нее может быть собственное мнение о произведении, но как оно обосновывается? Вот что пишет Кедрина: "Положительный герой грезит о студебеккерах — одним, двум, восьми, сорока, которые пройдут по трупам". Я возвращаюсь к этому отрывку, он цитировался в статье и здесь, на суде. А между прочим, написано не так, как здесь приводится; ни разу не цитировался этот отрывок полностью: "Ну, а эти, заседающие и восседающие... как с ними быть? А 1937-й год, когда страна билась в припадке репрессий? А послевоенное безумие? Неужто простить?" (Я цитирую по памяти, но точно). Эти две фразы тщательно опускаются. А почему? Потому что там мотивы ненависти, а об этом уже надо спорить, надо объяснять как-то, гораздо проще их не заметить. Дальше то, что здесь приводилось: "Нет. Ты еще помнишь, как это делается? Запал. Сорвать предохранительное кольцо, швырнуть. Падай на землю. Падай! Рвануло. А теперь — бросок вперед. На бегу — от живота веером. Очередь. Очередь. Очередь..." Дальше в представлении героя все смешивается — "Русские, немцы, румыны, евреи, венгры, грузины, бушлаты, плакаты, санбаты, лопаты..." — Я привожу этот отрывок, где, действительно, кровавая каша и все прочее весьма не аппетитно: "А почему у него такое худое лицо? Почему на нем гимнастерка и шлем со звездой?.. По трупам прошел студебеккер, два студебеккера, сорок студебеккеров, и ты все так же будешь лежать распластанный... Все это уже было!"

Это называется грезить? Мечтать о студебеккерах, которые пройдут по трупам?! Ужас героя перед этой картиной, отвращение — выдавать за мечты?! "Обыкновенный фашизм". — Прямо так и пишет. Но то, что это фашизм, — это ведь надо подкрепить, и вот Кедрина пишет: "Эту программу "освобождения" от коммунизма и советского строя "герой" повести пытается обосновать, с одной стороны, заверениями, будто идея "открытых убийств" берет начало "в самой сути учения о социализме", с другой, что вражда — в природе человеческого общест-

ва вообще". Кстати, в повести нет ни единого слова о советском строе, об освобождении от советского строя, герой повести как к последнему прибежищу обращается к имени Ленина ("Не этого он хотел — тот, кто первый лег в мраморные стены"). Так все-таки, кто пытается обосновать программу "освобождения" — герой повести или не герой? Я, когда прочел об этом у Кедринной, подумал грешным делом, что это опечатка, типографская ошибка — вместо "отрицательный герой" или "другой герой" напечатали просто "герой", и получилось, как будто речь идет все время об одном и том же человеке, о моем положительном герое. Но нет! Эти же слова прозвучали здесь, в зале, снова. А как же в самом деле? Герой не говорит, "что идея открытых убийств лежит в самой сути учения о социализме"? Так вот: к герою повести приходит его приятель Володя Маргулис, неумный и ограниченный человек. "Он пришел ко мне и спросил, что я обо всем этом думаю" ("я" — это герой, повесть от первого лица). И Володя Маргулис "стал доказывать, что все это лежит в самой сути учения о социализме". Так как же, герой это говорит или другой персонаж повести? А герой говорит вот что: "За настоящую советскую власть надо заступиться", герой говорит, что наши отцы делали революцию и мы не смеем думать о ней плохо. Это что, герой повести "обосновывает программу освобождения от коммунизма и советского строя"? Неправда! А кто говорит, что "все друг друга в ложке воды утопить готовы"? Что "скоро звери единственным связующим звеном между людьми будут"? У Кедринной получается, что это тоже "положительный герой". Неправда! Это говорит полубезумный старичок-мизантроп, и герой с ним спорит. Как же обстоит дело с идейным обоснованием псевдопризыва к расправе, к террору и освобождению от коммунизма и советского строя? А вот так, как говорю я, а не так, как утверждает Кедринная. Повесть была прочитана не так, как написана, а нарочито, предвзято, так, как ее невозможно прочесть.

В вину Синявскому и мне ставится все — в частности, то, что у нас нет положительного героя. Конечно, с положительным героем легче, есть кого противопоставлять отрицательному. А наши ссылки на других писателей, у которых нет положительных героев, воспринимаются, во-первых, как попытки сравнить себя с этими большими писателями. А во-вторых, очень простой ответ: когда речь идет о Щедрине, то в его произведениях присутствует положительный герой, это народ. Очевидно, незримо присутствует, так как тот народ, который изображен в "Истории одного города", вызывает жалость, а не восхищение. И в "Господах Головлевых" народ — положительный герой? А ссылка на сказку о том, как мужик двух генералов прокормил, — просто стыдно это слушать. Кедринная, видно, считает, что этот мужик, ко-

торый из своих волос силки сделал, чтобы для генералов дичи добыть, мужик, который добровольно в рабство идет, это положительный образ русского народа? Михаил Евграфович Щедрин с этим не согласился бы!

Я не стал бы ссылаться на статью Кедринной, если бы вся система аргументации обвинения не лежала в той же плоскости. Ну как доказать антисоветскую сущность Синявского и Даниэля? Тут применялось несколько приемов. Самый простой, лобовой прием — это приписать мысли героя автору; тут можно далеко зайти. Напрасно Синявский считает, что только он объявлен антисемитом — я, Даниэль Юлий Маркович, еврей, — тоже антисемит. Все при помощи простого приема: у меня тот же старичок-официант говорит что-то о евреях, и вот в деле имеется такой отзыв: "Николай Аржак — законченный, убежденный антисемит". Может, это какой-нибудь неискушенный рецензент пишет? Нет, это пишет в своем отзыве академик Юдин...

Есть еще и такой прием: изоляция отрывка из текста. Надо выдернуть несколько фраз, купюрчики сделать — и доказывать все, что угодно. Самый убедительный пример этого приема — как "Говорит Москва" сделали призывом к террору. Тут все время ссылаются на эмигранта Филиппова: вот кто правильно оценил ваши произведения (вот кто, оказывается, высший критерий истины для государственного обвинителя). Но даже Филиппов не сумел воспользоваться такой возможностью. Казалось бы, уж чего лучше, — если там есть призыв к террору, то уж Филиппов сказал бы: вот как подпольные советские писатели призывают к убийствам, к расправе. Но даже Филиппов не смог этого сказать.

Еще один прием: подмена обвинения героя вымышленным обвинением советской власти — то есть автор говорит какие-то слова, разоблачая героя, а обвинение считает, что это про советскую власть говорится. Вот пример. Обвинительное заключение построено в большей части на отзыве Главлита. Вот в отзыве Главлита говорится буквально следующее: "Автор считает возможным в нашей стране проведение Дня педераста". А на самом деле речь идет о приспособленце, цинике, художнике Чупрове, что он хоть про День педераста станет плакаты писать, лишь бы заработать, это про него главный герой говорит. Кого он тут осуждает — советскую власть или, может, другого героя?

В обвинительном заключении, в отзыве Главлита, в речах обвинителей прозвучали одни и те же цитаты из повести "Искупление". А что это за цитаты? "Тюрьмы внутри нас" — это выкрик героя повести Вольского. Да, это сильное обвинение по адресу всех людей. И я вовсе не старался, как тут говорил Васильев, изобразить дело так, будто я занимаюсь изящной словесностью; я не пытаюсь уйти от политического

содержания моих произведений. В этих словах Вольского есть политическое содержание — но что следует за этими рык-риками? Кто это кричит? Это кричит безумный человек, он сошел с ума. Он вскоре оказывается в психиатрической больнице.

Еще один, тоже очень простой, но очень сильный прием доказательства антисоветской сущности: выдумать идею за автора и сказать, что в произведении есть антисоветские выпады, когда их там нет. Вот рассказ "Руки". Мой защитник Кисенишский аргументированно доказал, что в этом рассказе нет антисоветской идеи, как его ни толкуй. Возражая ему, Кедрина сказала: "Вы посмотрите, с какой вообще несвойственной ему выразительностью и яркостью Даниэль изобразил сцену расстрела". Прошу, очень прошу, вдумайтесь, что вы сказали: яркость и выразительность описания служат для доказательства антисоветской сущности. Это был ответ на выступление защитника по поводу рассказа "Руки" — и ни слова больше. Если говорить об этом рассказе, то я прошу вас всех: вот вы сейчас придете домой, подойдите к своим книжным полкам, возьмите книгу, раскройте ее и прочтите про то, как красный командир был направлен в команду, которая проводила расстрелы. Он почернел и высох на этой работе, он возвращается домой, шатаясь, как пьяный. И расстреливал он не священников, а хлеборобов, есть там даже такая деталь, я ее хорошо помню: он вспоминает руку расстрелянного, заскорузлую, как конское копыто. Ему очень плохо, очень трудно и очень страшно, он даже оказывается несостоятельным как мужчина, когда остается с любимой женщиной. Ну так что же, подходит этот отрывок под формулировки, которые звучат в обвинительном заключении — что классовая политика репрессий против советского народа и нравственно и физически калечит людей\*...

Я сейчас, как вы, вероятно, догадались, пересказал одну из глав "Тихого Дона". Действующие лица — красный командир Бунчук и Анна.

Как нас еще обвиняют? Критика определенного периода выдается за критику всей эпохи, критика пяти лет — за критику пятидесяти лет, если даже речь идет о двух-трех годах, то говорят, что это про все время.

Обвинители стараются не замечать, что вся статья Синявского обращена в прошлое, что там даже все глаголы стоят в прошедшем времени: "мы убивали" — не "убиваем", а "убивали". И в моих произведениях, кроме рассказа "Руки", — о 50-х годах, о времени, когда была реальная угроза рестав-

---

\*Здесь вновь обмен репликами: судья резко реагирует на словосочетание "классовая политика репрессий"; Даниэль поясняет, что эта цитата из обвинительного заключения.

рации культа личности. Я говорил об этом все время, это видно из моих произведений — не слышат.

И, наконец, еще один прием — подмена адреса критики: несогласие с отдельными явлениями выдается за несогласие со всем строем, с системой.

Вот, вкратце, методы и приемы "доказательства" нашей вины. Может быть, они не были бы такими для нас страшными, если бы нас слушали. Но правильно сказал Синявский — откуда мы взялись, вурдалаки, кровопийцы, не с неба же упали? И тут обвинение переходит к рассказу о том, какие мы подонки. Пускаются в ход страшные приемы: обвинитель Васильев говорит, что за тридцать сребреников, пеленки, нейлоновые рубашки мы продались, что я бросил честный учительский труд и ходил с протянутой рукой по редакциям, вымаливая переводы. Я мог бы просить жену, и она принесла бы ворох писем от поэтов, которые просят меня переводить их стихи. Не на легкие переводческие хлеба я ушел от обеспеченного преподавательского заработка, а потому, что с детства мечтал о поэтической работе. Первый перевод я сделал, когда мне было двенадцать лет. Какие это легкие хлеба, любой переводчик знает. Я оставил обеспеченную жизнь, обменял ее на необеспеченную. Я относился к этому как к делу своей жизни, никогда не халтурил. Среди моих переводов были, может быть, и плохие, и посредственные, но это от неумения, а не от небрежности.

Странно, что в этой области, где юрист должен быть безупречным, государственный обвинитель не признает фактов. Сначала я думал, что он оговорился, когда сказал, что мы сознавали характер своих произведений: в 1962 году была радиопередача\*, а после этого послали за границу "Говорит Москва", "Любимов". Позвольте, а что передавали? Ведь как раз "Говорит Москва" и передавали по радио — что же, я во второй раз послал эту повесть, что ли? Я подумал, что это оговорка. Но дальше снова то же: ссылаясь на статью Рюрикова\*\*, государственный обвинитель говорит — они были предупреждены, они знали оценку и послали "Любимов" и "Человек из МИНАПа". Когда опубликована статья Рюрикова? В 1962 году. Когда отправлены рукописи? В 1961 году. Оговорки? Нет. Это государственный обвинитель добавляет штришок к моей личности, злобной, антисоветской.

Любое наше высказывание, самое невинное, такое, какое смог бы произнести любой из сидящих здесь, перетолковывается: «В „Говорит Москва” речь идет о передовице в „Известиях”» — "А-а, вы издеваетесь над газетой "Известия". — "Не над газетой, а над газетным штампом, над суконным

---

\*Имеется в виду передача повести "Говорит Москва" одной из западных радиостанций.

\*\*О статье Б.Рюрикова см. с. 38.

языком". — Мне злорадно говорят: "Наконец-то вы заговорили своим голосом!" Неужели сказать о газетных штампах, о суконном газетном языке — антисоветчина? Мне это непонятно. Хотя нет, в общем-то все понятно...

Ничто здесь не принимается во внимание — ни отзывы литературоведов, ни показания свидетелей. Вот, говорят, Синявский антисемит; но ни у кого не возник вопрос, откуда тогда у него такие друзья: Даниэль — ну, хоть Даниэль сам антисемит, но моя жена Брухман, свидетель Голомшток или эта мило картавившая здесь вчера свидетельница, которая говорила: "Андр'ей хо'оший человек..."\*

Проще всего — не слышать.

Все, что я сказал, не значит, будто я считаю себя и Синявского святыми и безгрешными ангелами и что нас надо сразу после суда освободить из-под стражи и отправить домой на такси за счет суда. Мы виноваты — не в том, что мы написали, а в том, что отправили за границу свои произведения. В наших книгах много политических бестактностей, персхлестов, оскорблений. Но 12 лет жизни Синявского и 8 лет жизни Даниэля — не слишком ли это дорогая цена за легкомыслие, за непредусмотрительность, за просчет?

Как мы оба говорили на предварительном следствии и здесь, мы глубоко сожалеем, что наши произведения использовали во вред реакционные силы, что тем самым мы причинили зло, нанесли ущерб нашей стране. Мы этого не хотели. У нас не было злого умысла, и я прошу суд это учесть.

Я хочу попросить прощения у всех близких и друзей, которым мы причинили горе.

Я хочу еще сказать, что никакие уголовные статьи, никакие обвинения не помешают нам — Синявскому и мне — чувствовать себя людьми, любящими свою страну и свой народ.

Это все.

Я готов выслушать приговор.

---

Б. Крымев

УДЕЛ КЛЕВЕТНИКОВ

Литературная газета. 1966. 15 февр.

---

— Каждый, кто входит в Центральный Дом литераторов, видит на мраморной плите имена наших товарищей, погибших

---

\*Л.И.Богораз-Брухман присутствовала на суде и вела запись. В значительной степени благодаря ей и М.В.Синявской-Розановой общественность узнала о ходе процесса. Пользуемся случаем выразить обеим, а также В.И.Лашковой и А.И.Гинзбургу признательность за помощь в работе над настоящим изданием.

в боях за свободу и независимость Родины. Я обвиняю Синявского и Даниэля от имени живых и от имени павших. Преступление должно быть наказано!

Этими словами заключил свою речь общественный обвинитель писатель Аркадий Васильев. И все присутствующие в зале судебного заседания ответили горячими аплодисментами на его страстное и негодующее выступление.

Но еще до того, как председательствующий предоставил слово А.Васильеву, перед судом прошли многие свидетели. Они подтвердили: да, все предъявленные суду книжки написаны Синявским и Даниэлем. Да, они видели и читали в свое время эти сочинения в рукописи или отпечатанными за рубежом. Да, некоторые из свидетелей предупреждали Синявского и Даниэля о том, что эти рукописи являются антисоветскими.

По окончании судебного следствия суд перешел к приемам сторон. Аркадий Васильев выступил по поручению Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР и его Московского отделения. Он напоминает, что в первом томе "Истории русской советской литературы" опубликована статья подсудимого Синявского "А.М.Горький". Сравнивая с Климом Самгиным Сашку Епанчина, Мечика, Кавалерова, Синявский тогда писал: "Как и Самгин, его литературные „спутники" хотят играть центральную роль в жизни и требуют особого внимания к своей личности. В то же время на них лежит печать деградации, духовного и нравственного вырождения. Им свойственно противоречие между словом и делом, и в действительности они являются не тем, чем хотят казаться. Многие из них мечтают о „третьем пути", среднем между революцией и контрреволюцией, но по логике событий оказываются в стане, враждебном народу и социализму".

Как все это подходит к самому Синявскому и его "коллеге" Даниэлю!

Западные адвокаты называют подсудимых "передовыми представителями" советской интеллигенции. Советская интеллигенция, говорит А.Васильев, с гневом отвергает это утверждение. Советская интеллигенция — это люди, покоряющие космос. Советская интеллигенция — это врачи, спасающие миллионы больных. Советская интеллигенция — это те, кто создает произведения, достойные нашей эпохи. И к этой интеллигенции Синявский и Даниэль не имеют никакого отношения. <...>

В конце своей взволнованной речи общественный обвинитель сказал:

— В статье о Горьком, которую я упомянул вначале, Синявский пишет о том, что напрасно, дескать, литературные спутники Самгина, скрываясь за образцово-показательной внешностью, пытаются "теоретически" обосновать предательство, двуличие, притворство и всякого рода подлые мысли. Все равно те, кто поднимает руку на народ, будут разоблачены



как псевдогерои, как явление, отжившее и обреченное революцией на уничтожение. От имени всех советских писателей я обвиняю Синявского ("Абрама Терца") и Даниэля ("Николая Аржака") в тягчайшем преступлении и прошу суд о суровом наказании.

Вслед за А.Васильевым выступает общественный обвинитель — критик и литературовед Зоя Кедрина. Она подчеркивает, что А.Синявский и Ю.Даниэль отрицают не просто социалистический реализм — они отрицают жизненную основу нашей литературы — социализм и коммунизм.

Активное неприятие советской действительности привело подсудимых и к активному неприятию советской литературы. И совершенно не случайно, что одна из антисоветских статей Синявского посвящена "разгрому" социалистического реализма. В связи с этим общественный обвинитель вспоминает статью Б.Рюрикова "Социалистический реализм и его "ниспровергатели", опубликованную еще в начале 1962 года в журнале "Иностранная литература". Автор этой статьи говорит об антисоветской сущности произведений, появившихся за границей за подписью "Абрам Терц". Б.Рюриков полагал, что Терц — это псевдоним какого-то белоэмигранта. Он, естественно, не знал, что Абрам Терц здесь, под боком, в Москве!

— По поручению писательской организации нашей страны, — говорит З.Кедрина, — и, поддерживая требование о наказании Синявского и Даниэля за их уголовные деяния, я стремлюсь защитить нашу землю и нашу литературу от грязных посягательств прислужников антисоветской пропаганды.

Затем слово предоставляется государственному обвинителю, помощнику Генерального прокурора СССР О.П.Темушкину. Он говорит, что ход судебного следствия полностью подтвердил вину подсудимых, подтвердил их враждебное отношение к политике КПСС, к советскому строю. Он считает, что в действиях Синявского и Даниэля установлен прямой умысел — они преследовали цель подрыва Советской власти. Он потребовал приговорить Синявского к семи годам лишения свободы с последующей ссылкой на пять лет, а Даниэля — к пяти годам лишения свободы с последующей ссылкой на три года.

После выступлений защиты предоставляется последнее слово обвиняемым. Подсудимый Даниэль признал себя виновным в том, что переправлял написанное им за границу и тем самым дал идеологическое оружие в руки врагов нашей страны.

Пытаясь опровергать доводы обвинения, Синявский вместе с тем сказал, что его произведения "написаны не с марксистских позиций, а с позиций идеализма".

Суд удаляется в совещательную комнату. Собравшиеся с понятной напряженностью ожидают вынесения приговора. И вот снова звучит:

— Прошу встать! Суд идет!

Зачитывается приговор. Суд считает, что материалами дела и судебным следствием полностью подтвержден антисоветский, клеветнический характер опубликованных за границей произведений Синявского и Даниэля. Наличие прямого умысла обвиняемых в антисоветской пропаганде подтверждается как содержанием перечисленных произведений, так и действиями обвиняемых.

Суд приговорил А.Синявского к 7 годам заключения в исправительно-трудовой колонии строгого режима. Ю.Даниэля — к 5 годам пребывания в такой же колонии.

Этот приговор был встречен всеми собравшимися с единодушным одобрением.

---

---

### НЕТ НРАВСТВЕННОГО ОПРАВДАНИЯ

Литературная газета. 1966. 15 февр.

Мы, профессора и преподаватели филологического факультета Московского университета, решили обратиться в редакцию с этим письмом. Мы не можем не выразить публично своего отношения к беспринципной деятельности Андрея Синявского.

Большинство из нас знало Андрея Синявского, когда он был студентом, потом аспирантом, наконец, кандидатом наук, защитившим диссертацию. Синявский не мог считать себя ни обиженным, ни обойденным. Он со студенческих лет привык к заботе и вниманию.

Как и тысячи других, он имел возможность учиться в крупнейшем университете страны, получать государственную стипендию в течение всех студенческих и аспирантских лет. К его услугам были сокровища лучших библиотек столицы. После окончания университета он поступил в аспирантуру. Затем он — сотрудник крупнейшего научно-исследовательского учреждения — Института мировой литературы имени А.М.Горького. Синявский становится членом Союза писателей.

Готовясь получить степень кандидата наук, Синявский в своей диссертации (1952 год) восторженно писал о величии русской литературы, о социалистическом реализме, о гениальности Горького как зачинателя литературы социалистического реализма, о ясности и широте мировоззрения горьковских героев-большевиков. Там же говорится и о том, что Горький развивает лучшие традиции крупнейших представителей реалистической литературы XIX века — Чехова и Л.Толстого (Автореферат диссертации).

В статье, опубликованной позже, в 1960 году, Синявский писал о Горьком: "Своей повседневной практикой Горький

утверждал такой тип писателя, для которого работа в социалистическом настоящем и строительство коммунистического будущего были неразрывно связанными с борьбой против капиталистического прошлого". Творчество Горького для Синявского по-прежнему — образец художественной правды и высокого мастерства. "Образ положительного героя, — писал Синявский, — картины новой революционной действительности раскрываются в богатстве и яркости жизненных проявлений. Павел Власов, Степан Кутузов и другие герои-революционеры горьковских произведений — это характеры, развернутые во всей полноте, яркости, многогранности человеческой природы и личности. Социалистический идеал всегда связан у Горького с представлением о богатстве и многообразии жизни, о прекрасном мире, полном света, красок, звуков, движений".

Таким представлялся Синявский.

Но уже тогда, в 1960 году, когда высказывались приведенные мысли, существовал, оказываясь, другой Синявский. Он печатался за границей, скрывая от своих соотечественников все то, что писал под псевдонимом "Абрам Терц". А писал и печатал он прямо противоположное тому, что публиковал на Родине.

То, что под пером Андрея Синявского является заслугой Горького, под пером Абрама Терца превращается в преступление. Горький "начал крестовый поход", пишет А.Терц, против того, что было лучшим в реализме XIX века — против образа "лишнего человека". Этот образ дорог Терцу совсем не тем, за что ценили Печорина и Бельтова Герцен и Белинский. Терц видит в них предшественника того психологического типа, который воспели декаденты: человека, разьедаемого безверием, скептицизмом, всеразрушающей иронией. И вот этому, наиболее привлекательному, с точки зрения Терца, герою во всей русской литературе XIX века Горький якобы объявил "крестовый поход", стал изображать его как мещанина, а советские писатели будто бы и совсем превратили его во врага. Этому сложному, внутренне богатому существу Горький, по мысли Терца, якобы противопоставил бесчеловечную схему "положительного героя", безжалостного и прямого, как меч. Терц "забыл", что писал Синявский для советских изданий о красочности, многогранности, яркости, органичности положительных героев Горького. Он "забыл", что именно Горький в литературе XX века поднял знамя человечности, гуманизма, боролся за духовной расцвет личности.

Мы убеждены, что ни один честный ученый, ни один уважающий себя человек не в состоянии нравственно оправдать подобного поведения Синявского-Терца.

Но дело не только в нравственной оценке поведения Синявского, хотя сама по себе она необходима, коль скоро речь идет о принципиальности в деятельности филолога. Дело

прежде всего в том, что сочинения Терца полны ненависти к коммунизму, к марксизму и славным свершениям в нашей стране на протяжении всей истории Советского государства.

Рука не поднимается воспроизвести то, что смог написать Терц о коммунизме и марксизме. Вот образец его писаний: "Обезьяна встала на задние лапы и начала триумфальное шествие к коммунизму". И это сказано о величайшем мировом движении, в котором участвовали люди чистого и отважного сердца — от Бабёфа до Ленина, от Фурье до Фучика!

Никто Сияявского-Терца не тянет в коммунизм. Но народ, в нелегком труде строящий новое общество, не может равнодушно относиться к тому, как "информируют" о его труде, его целях, его жизни зарубежного читателя отщепенцы вроде Сияявского-Терца.

А русский народ... Он тоже оклеветан Терцем. Для академической истории советской литературы Сияявский написал раздел о литературе Отечественной войны. В произведениях "Русский характер" А.Толстого, "Русские люди" К.Симонова он отмечал "возросшее в годы войны национальное самосознание русского народа". В рассказе же "В цирке" Терц уверяет зарубежного читателя, что "русскому всегда главное — фокусы и чудеса". И если коммунизм представлен Терцем как идеал вставшей на задние лапы обезьяны, то народ, строящий коммунизм, изображается в повести "Любимов" диким, беспробудно пьяным. Ему все равно, во что верить: в леших, колдунов, в царя или в коммунизм.

Терц клеветает не только на советского человека, — он клеветает на человеческую природу, на все человечество. Абрам Терц осмелился осуждать наше общество, наш народ, нашу мораль с позиций лицемерия и низости. Он поднял руку на все, что для нас бесконечно дорого и свято, на прошлое, настоящее и будущее нашей страны, на наше человеческое достоинство, на человека.

*А.Г.Соколов, декан факультета; А.Н.Соколов, профессор; С.М.Бонди, профессор; А.И.Метченко, профессор; В.И.Кулешов, профессор; В.В.Ивашева, профессор; В.Н.Турбин, старший преподаватель; В.П.Неустроев, профессор; Н.А.Глаголев, профессор; Е.П.Любарева, доцент; О.С.Ахманова, профессор; Л.Г.Андреев, доцент; Р.А.Будагов, профессор; Н.С.Чемоданов, профессор; Н.М.Гайденков, профессор; П.А.Николаев, доцент; П.Ф.Юшин, доцент; К.В.Горшкова, доцент.*

---

---

Элен Пелетье-Замойская

---

---

**ЗАЯВЛЕНИЕ АГЕНТСТВУ "ФРАНС-ПРЕСС"**

---

---

Монд. 1966. 16 февр.

Я не нахожу слов, чтобы выразить свое потрясение, когда я узнала о приговоре, осудившем Андрея Синявского и Юлия Даниэля на 7 и 5 лет заключения в трудовом лагере строгого режима.

Они мои друзья. Понятно, что я от них не отрекусь. Я им помогала, это верно. Я принимаю полную и исключительную ответственность за эту помощь. Я всегда соблюдала полнейшую тайну в отношениях между моими французскими и русскими друзьями. Никого, кроме меня, нельзя обвинить.

Я им помогала по дружбе, это правда, но также и по убеждениям. Я считаю их чрезвычайно талантливыми писателями и не вижу, что предосудительного в том, чтобы познакомить за границу с советскими литературными работами, отмеченными оригинальностью и талантом.

Синявский и Даниэль глубоко преданы своему советскому отечеству. Все французы, которые с ними сблизались, скажут то же, что и я. У них любовь к своему отечеству не смешивается с раболепием, конформизмом, подчинением обычаям, удержавшимся от недавнего прошлого. Можно ли упрекать их за то, что они выразили в своих произведениях вопросы совести всего их поколения, глубоко взволнованного XX съездом?

Их осуждение, которое нарушает элементарные потребности всякого человека — свободы совести, свободы слова, — принесет ужасный вред. Прежде всего для них, затем для их семей, наконец — для их страны.

Но Синявский и Даниэль имели мужество не признать себя виновными. Они заняли позицию, достойную их. Это символ и залог будущего.

---

---

Луи Арагон

---

---

**ПО ПОВОДУ ОДНОГО ПРОЦЕССА**

---

---

Юманитэ. 1966. 16 февр.\*

Я не могу себе представить, чтобы коммунист отнесся с безразличием к приговору, вынесенному в Москве по делу Синявского—Даниэля. Это событие тяжкое по своим последствиям, особенно — для Франции. 7 и 5 лет заточения в трудо-

---

\*Свои протесты, сожаления, недоумения по поводу суда и приговора выразили многие зарубежные политические, общественные и культурные деятели и организации, в том числе руководители ряда европейских компартий (Джон Голлан и другие).

вом лагере — таково наказание, примененное к людям, не обвиненным ни в чем, кроме того, что они писали и печатали тексты, которые, с точки зрения обвинения, составляют антисоветскую пропаганду, при этом обвиняемые виновными себя не признают.

Мы никоим образом не можем забыть долг, которым мы обязаны Советскому Союзу и народам, его составляющим: это их трудами и их страданиями смогло возникнуть первое в мире социалистическое государство, само существование которого внесло глубокие изменения в перспективы истории. И как мы, французы, забудем их решающее участие в войне против гитлеризма, жертвы, которые они принесли? С другой стороны, проблема отнюдь не сводится к личности осужденных и их писательскому таланту. Даже посредственный писатель имеет право жить свободно. Речь идет о совсем другом.

Если бы заявили о несогласии с тем, что эти люди писали, если бы их об этом уведомили путем судебного решения, если бы их заставили уплатить штраф за нарушение существующего закона, возбращающего бесконтрольный вывоз за границу литературных произведений, — это вполне допустимо, каково бы ни было мое личное отношение к такому закону. Но если их лишать свободы за содержание романа или сказки — это значит превращать заблуждение в преступление, создавать прецедент более опасный для интересов социализма, чем могли бы быть опасными сочинения Синявского и Даниэля.

В самом деле, есть основания опасаться, что могут подумать, будто подобного рода судебная процедура неотделима от самой сущности коммунизма, что приговор, вынесенный сегодня, есть прообраз того, чем станет правосудие в стране, уничтожившей эксплуатацию человека человеком. Наш долг заявить, что это не так и не будет так, по крайней мере, во Франции, где ответственность лежит на нас. Политика нашей партии основана на нескольких важнейших принципах, в число которых входит тезис о возможности перехода к социализму мирным путем, путем мирного завоевания большинства, отклонение концепции однопартийности и, следовательно, союз с социалистической партией и другими демократическими партиями для перехода к социализму, его построения и укрепления.

Каким бы ни был вес Коммунистической партии в нашей стране, коммунисты свидетельствуют о своей верности политической демократии — традиционным французским принципам, и, в частности, заявляют, что, насколько это будет зависеть от них, никакая судебная процедура в будущем не будет облечена полномочиями вести процессы о мнениях.

Ради блага нашего общего дела мы надеемся, что приговор будет обжалован. Не нам диктовать великой и дружественной стране ее поведение. Но мы чувствовали бы свою вину, если бы скрыли от нее свое мнение.

---

---

**В СЕКРЕТАРИАТЕ МОСКОВСКОЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ**

---

---

17 февраля с.г. на очередном заседании секретариата правления Московского отделения Союза писателей РСФСР был рассмотрен вопрос об антисоветской деятельности Синявского А.Д., члена Союза писателей с 1960 года.

При рассмотрении этого вопроса было выяснено, что в 1960 году Синявский подал заявление с просьбой принять его в Союз писателей СССР и в нем собственноручно указал, что литературного псевдонима не имеет, в то время когда за границей был уже опубликован целый ряд его "сочинений" под псевдонимом Абрам Терц. Он скрыл это также и в собственноручно написанной им при вступлении в Союз автобиографии.

Обращаясь за рекомендациями, необходимыми для приема в Союз писателей, Синявский скрыл от тех писателей, которые его рекомендовали, что, представляя на их отзыв свои критические и литературоведческие статьи, опубликованные им в Советском Союзе, он одновременно выступал в зарубежной антисоветской печати под псевдонимом Абрам Терц.

Подавая заявление о приеме в Союз писателей СССР, Синявский знал тот пункт Устава об обязанностях и правах членов Союза писателей СССР, который гласит, что его членами "могут быть литераторы, активно участвующие своим творчеством в строительстве коммунистического общества".

Подав заявление в творческую организацию и тем самым добровольно приняв на себя все обязательства, налагаемые ее Уставом, Синявский продолжал и в дальнейшем, втайне от Союза писателей, публикацию за границей под псевдонимом Абрам Терц своих произведений, не только не совместимых с участием в строительстве коммунистического общества, но прямо направленных на то, чтобы попытаться подорвать веру в саму возможность построения этого общества.

Таким образом установлено, что Синявский, преступно обманув рекомендовавших его лиц, добровольно вступил в творческую организацию, какой является Союз писателей СССР, заведомо не разделяя ни ее целей, ни ее Устава, а затем в течение пяти лет, незаконно пользуясь всеми правами члена Союза, продолжал обманывать Союз писателей в отношении подлинного характера своей деятельности и, видимо, длить бы этот обман и дальше, если бы следственные и судебные органы не поставили его перед необходимостью признания в том, что он и Абрам Терц, выступающий с клеветническими писаниями, направленными против советского общества, — одно и то же лицо.

Секретариат правления Московского отделения Союза писателей РСФСР единодушно осудил двурушнические действия Синявского А.Д., выразившиеся в том, что он на протяжении

ряда лет писал и отправлял за границу для публикации в анти-советской печати пасквилы, порочащие наш строй, наш народ, наши идеалы.

Секретариат правления Московской организации Союза писателей РСФСР единогласно постановил исключить Синявского А.Д. из членов Союза писателей СССР как двурушника и клеветника, поставившего свое перо на службу кругов, враждебных Советскому Союзу.

---

---

### ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

---

---

Известия. 1966. 21 февр.

Мы, писатели Узбекистана, с величайшим негодованием узнали о гнусной клевете Синявского и Даниэля на советский народ и Советское государство. Трудно представить себе, как эти матерые клеветники, живя среди нашей писательской общности, одухотворенной высокими человеческими идеалами, истинной любовью к своему народу, могли докатиться до глумления над тем, что составляет дорогую для нас основу нашей жизни. Как надо низко пасть, чтобы, живя в нашей стране, видя, какие замечательные плоды приносит нерушимая дружба советских народов, клеветать на эту дружбу!

Для этих отщепенцев нет ничего святого. Они посягнули на народ, давший миру великого Ленина, ленинизм, ставший знаменем борьбы народов за свободу. Никому не удастся бросить тень на нашего старшего брата — великий русский народ, который своим ясным умом и щедрым сердцем, бескорыстной помощью снискал себе глубокое уважение и любовь со стороны всех народов нашей многонациональной социалистической Отчизны.

Советские люди непримиримы к буржуазной идеологии. Наша непримиримость рождена гуманизмом. Буржуазная идеология поднимала и поднимает руку на величайшие завоевания человечества. Это она разжигает человеконенавистничество, подавляет всякое освободительное движение.

С удовлетворением встретили мы известие, что предатели предстали перед народным судом и понесли заслуженное наказание.

Мы одобряем вынесенный приговор. Он дает нам новые стимулы для усиления идеологической работы нашей писательской организации. Мы, идеологические работники, влюбленные в наш народ, в нашу родную землю, в завтрашний день нашей культуры, приложим все силы к тому, чтобы усилить наступательный дух всей идеологической работы нашей писательской организации и всего нашего творчества.

*Яшен, Айбек, Гафур Гулям, Зульфия, Уйгун  
Ташкент*



---

---

**СООБЩЕНИЕ АПН**

---

**1966. 3 марта**

---

Судебное разбирательство дела Синявского и Даниэля было проведено с соблюдением всех процессуальных норм и демократических принципов правосудия: устности, непосредственности, гласности, обеспечения обвиняемому права на защиту. В течение четырех дней суд с участием подсудимых, их защитников, прокурора и общественных обвинителей допрашивал свидетелей, тщательно исследовал все письменные и вещественные доказательства, заслушал заключения экспертов. Подсудимые имели полную возможность защищаться от предъявленного обвинения как лично, так и с помощью избранных ими самими квалифицированных адвокатов, один из которых, кстати, имеет ученую степень кандидата юридических наук. Они неоднократно выступали в суде с объяснениями, задавали вопросы свидетелям и экспертам, свободно излагали свои мнения по существу судебного дела. Ход процесса освещался в печати и комментировался радио.

Хотя приговор, вынесенный Верховным судом РСФСР, как высшим судебным органом союзной республики, согласно закону не подлежит кассационному обжалованию, но подсудимые могут подать жалобу в Верховный суд СССР с просьбой о пересмотре дела в порядке судебного надзора.

Все эти факты со всей убедительностью свидетельствуют о демократическом характере судебной процедуры по делу Синявского и Даниэля.

При ознакомлении с произведениями Синявского и Даниэля советским юристам, хорошо знакомым с социальной и духовной историей своей страны и высокими традициями русской литературы, очевидно, что речь идет не о судебном процессе над литературным творчеством, а об антисоветской пропаганде, облаченной в псевдолитературную форму. Их судили в строгом соответствии с законом как людей, совершивших преступные действия против народа, его революционных завоеваний.

*Чхиквадзе В.М. — член-корреспондент АН СССР,  
доктор юридических наук, профессор;*

*Ромашкин П.С. — член-корреспондент АН СССР,  
доктор юридических наук, профессор;*

*Строгович М.С. — член-корреспондент АН СССР,  
доктор юридических наук, профессор;*

*Пионтковский А.А. — заслуженный деятель  
науки РСФСР, доктор юридических наук,  
профессор*

---

---

---

## ТЕЛЕГРАММА УЧЕНЫХ И ПИСАТЕЛЕЙ

---

В Президиум XXIII съезда КПСС\*

МЫ РАБОТНИКИ НАУКИ И ЛИТЕРАТУРЫ ВСТРЕВОЖЕНЫ ВОЗМУЩЕНЫ РЕШЕНИЕМ УЧЕНОГО СОВЕТА ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ 25 МАРТА ОБ УВОЛЬНЕНИИ ДОЦЕНТА ВИКТОРА ДМИТРИЕВИЧА ДУВАКИНА ИЗВЕСТНОГО КРУПНОГО СПЕЦИАЛИСТА ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ОПЫТНОГО ПОПУЛЯРНОГО ЛЕКТОРА С 27 ЛЕТНИМ СТАЖЕМ ВИДНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ ТВОРЧЕСТВА МАЯКОВСКОГО ТЧК ЭТО РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО В СВЯЗИ С ТЕМ ЧТО ДУВАКИН ВЫСТУПАЛ СВИДЕТЕЛЕМ ЗАЩИТЫ НА ПРОЦЕССЕ СИНЯВСКОГО ТЧК СТОЛЬ АЛОГИЧНОЕ РЕШЕНИЕ БРОСАЕТ ТЕНЬ НЕ ТОЛЬКО НА МГУ НО И НА СОВЕТСКОЕ ПРАВО СУДИЕ ИБО СОВЕТСКОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО ПРЕДУСМАТРИВАЕТ НАЛИЧИЕ СВИДЕТЕЛЕЙ С ТОЙ И ДРУГОЙ СТОРОНЫ И ОБЯЗАНО ИМЕТЬ ПОЛНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЛИЧНОСТИ ОБВИНЯЕМЫХ КАК ПО ЛИНИИ ОБВИНЕНИЯ ТАК И ПО ЛИНИИ ЗАЩИТЫ ТЧК ПРОСИМ ВАШЕГО СРОЧНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРИКАЗА ОБ УВОЛЬНЕНИИ

*Паперный — доктор филологических наук, член ССП,  
Каждан — доктор исторических наук, Монгайт —  
доктор исторических наук, Хосе Гарсия — доктор  
исторических наук, Дебец — доктор исторических  
наук, Гулыга — доктор философских наук, Турок-  
Попов — доктор филологических наук, Федоров —  
доктор исторических наук, Горский — доктор  
философских наук, Виленская — кандидат  
исторических наук, Пирумова — кандидат  
исторических наук, Пономарева — кандидат  
исторических наук, Киринос — кандидат  
исторических наук, Козлов — кандидат исторических  
наук, Маркова — кандидат исторических наук,  
П.Якир, Герасимов И. — кандидат философских наук,  
В.А.Катанян — писатель*

---

\*Телеграмма аналогичного содержания (100 подписей) была направлена в те же дни в Президиум Верховного Совета СССР (копия — ректору МГУ И.Г.Петровскому).

---

---

---

## ПИСЬМО 62 ПИСАТЕЛЕЙ

---

в Президиум XXIII съезда КПСС  
в Президиум Верховного Совета СССР  
в Президиум Верховного Совета РСФСР\*

Уважаемые товарищи!

Мы, группа писателей Москвы, обращаемся к вам с просьбой разрешить нам взять на поруки недавно осужденных писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля. Мы считаем, что это было бы мудрым и гуманным актом.

Хотя мы не одобряем тех средств, к которым прибегали эти писатели, публикуя свои произведения за границей, мы не можем согласиться с тем, что в их действиях присутствовал антисоветский умысел, доказательства которого были бы необходимы для столь тяжкого наказания. Этот злой умысел не был доказан в ходе процесса А.Синявского и Ю.Даниэля.

Между тем осуждение писателей за сатирические произведения — чрезвычайно опасный прецедент, способный затормозить процесс развития советской культуры. Ни науки, ни искусство не могут существовать без возможности высказывать парадоксальные идеи, создавать гиперболические образы. Сложная обстановка, в которой мы живем, требует расширения (а не сужения) свободы интеллектуального и художественного эксперимента. С этой точки зрения процесс над Синявским и Даниэлем причинил уже сейчас больший вред, чем все ошибки Синявского и Даниэля.

Синявский и Даниэль — люди талантливые, и им должна быть предоставлена возможность исправить совершенные ими политические просчеты и бестактности. Будучи взяты на поруки, Синявский и Даниэль скорее бы осознали ошибки, которые допустили, и в контакте с советской общественностью сумели бы создать новые произведения, художественная и идейная ценность которых искупит вред, причиненный их промахами.

По всем этим причинам просим выпустить Андрея Синявского и Юлия Даниэля на поруки.

---

\*Накануне XXIII съезда КПСС Э.Хангир, И.Мельчук, Ю.Апресян, Л.Булатова, Ч.Еськов обратились с письмом к Л.И.Брежневу, в котором просили "либо организовать высококвалифицированный пересмотр судебного дела Синявского-Даниэля, подробно и убедительно освещающего его в печати, либо великодушно помиловать этих людей".

Этого требуют интересы нашей страны. Этого требуют интересы мира. Этого требуют интересы мирового коммунистического движения.

*Члены Союза писателей СССР:*

*Чуковский К.И., Эренбург И.Г., Шкловский В.Б., Антокольский П.Г., Славин Л.И., Каверин В.А., Дорош Е.Я.*

*Анастасьев А.Н., Аникст А.А., Аннинский Л.А., Ахмадулина Б.А., Бабеньшева С.Э., Берестов В.Д., Богатырев К.П., Богуславская З.Б., Боров Ю.Б., Войнович В.Н., Домбровский Ю.О., Жигулин А.В., Зак А.Г., Зонина Л.А., Зорин Л.Г., Зоркая Н.М., Иванова Т.В., Кабо Л.Р., Кин Ц.И., Копелев Л.З., Корнилов В.Н., Крупник И.Н., Кузнецова И.Н., Левитанский Ю.Д., Левицкий Л.А., Лунгин С.Л., Лунгина Л.З., Маркиш С.П., Масс В.З., Михайлов О.Н., Мориц Ю.П., Нагибин Ю.М., Нусинов И.И., Огнев В.Ф., Окуджава Б.Ш., Орлова Р.Д., Осоват Л.С., Панченко Н.В., Поповский М.А., Пинский Л.Е., Рассадин С.Б., Реформатская Н.В., Россельс В.М., Самойлов Д.С., Сарнов Б.М., Светов Ф.Г., Сергеев А.Я., Сеф Р.С., Соловьева И.Н., Тарковский А.А., Турков А.М., Тынянова Л.Н., Фиш Г.С., Чуковская Л.К., Шатров М.Ф.*

---

---

### **ИЗ РЕЧИ М.А.ШОЛОХОВА НА XXIII СЪЕЗДЕ КПСС**

---

---

И сегодня с прежней актуальностью звучит для художников всего мира вопрос Максима Горького: "С кем вы, мастера культуры?" Подавляющее большинство советских писателей и прогрессивных писателей других стран ясно на этот вопрос отвечает своими произведениями.

О роли художника в общественной жизни мне приходилось беседовать с писателями, с корреспондентами газет и журналов на больших представительных собраниях не раз. В частности, это заняло немалое место в моей речи в Стокгольмской ратуше во время нобелевских торжеств прошлого года. Аудитория там значительно отличалась от сегодняшней. (Оживление в зале). И форма изложения моих мыслей была соответственно несколько иной. Форма! Не содержание. (Бурные продолжительные аплодисменты).

Где бы, на каком бы языке ни выступали коммунисты, мы говорим как коммунисты. Кому-то это может прийти не по вкусу, но с этим уже привыкли считаться. Более того, именно это и уважают всюду. (Бурные аплодисменты). Где бы ни выступал советский человек, он должен выступать

как советский патриот. Место писателя в общественной жизни мы, советские литераторы, определяем как коммунисты, как сыновья нашей великой Родины, как граждане страны, строящей коммунистическое общество, как выразители революционно-гуманистических взглядов партии, народа, советского человека. (Бурные аплодисменты).

Совсем другая картина получается, когда объявляется некий сочинитель, который у нас пишет об одном, а за рубежом издает совершенно иное. Пользуется он одним и тем же русским языком, но для того, чтобы в одном случае замаскироваться, а в другом — осквернить этот язык бешеной злобой, ненавистью ко всему советскому, ко всему, что нам дорого, что для нас свято.

Я принадлежу к тем писателям, которые, как и все советские люди, гордятся, что они малая частица народа великого и благородного. (Бурные, продолжительные аплодисменты). Гордятся тем, что они являются сынами могучей и прекрасной Родины. Она создала нас, дала нам все, что могла, безмерно много дала. Мы обязаны ей всем. Мы называем нашу советскую Родину матерью. Все мы — члены одной огромной семьи. Как же можем мы реагировать на поведение предателей, покусившихся на самое дорогое для нас? С горечью констатирует русская народная мудрость: "В семье не без урода". Но ведь уродство уродству рознь. Думаю, что любому понятно: ничего нет более кощунственного и омерзительного, чем обогатить свою мать, гнусно оскорбить ее, поднять на нее руку! (Бурные, продолжительные аплодисменты).

Мне стыдно не за тех, кто оболгал Родину и облил грязью все самое светлое для нас. Они аморальны. Мне стыдно за тех, кто пытался и пытается брать их под защиту, чем бы эта защита ни мотивировалась. (Продолжительные аплодисменты).

Вдвойне стыдно за тех, кто предлагает свои услуги и обращается с просьбой отдать им на поруки осужденных отщепенцев. (Бурные аплодисменты).

Слишком дорогой ценой досталось всем нам то, что мы завоевали, слишком дорога нам Советская власть, чтобы мы позволили безнаказанно клеветать на нее и порочить ее. (Бурные аплодисменты).

Иные, прикрываясь словами о гуманизме, стонут о суровости приговора. Здесь я вижу делегатов от парторганизаций родной Советской Армии. Как бы они поступили, если бы в каком-либо из их подразделений появились предатели?! Им-то, нашим воинам, хорошо известно, что гуманизм — это отнюдь не слюнтяйство. (Продолжительные аплодисменты).

И еще я думаю об одном. Попадись эти молодчики с черной совестью в памятные двадцатые годы, когда судили, не опираясь на строго разграниченные статьи Уголовного ко-

декса, а "руководствуясь революционным правосознанием" (аплодисменты), ох, не ту меру наказания получили бы эти оборотни! (Аплодисменты). А тут, видите ли, еще рассуждают о "суровости" приговора.

Мне хотелось бы сказать и буржуазным защитникам пасквильянтов: не беспокойтесь за сохранность у нас критики. Критику мы поддерживаем и развиваем, она остро звучит и на нынешнем съезде. Но клевета — не критика, а грязь из лужи — не краской с палитры художника! (Продолжительные аплодисменты).

---

Лидия Чуковская

---

**ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МИХАИЛУ ШОЛОХОВУ, АВТОРУ  
"ТИХОГО ДОНА"**

---

В правление Ростовского отделения Союза писателей

В правление Союза писателей РСФСР

В правление Союза писателей СССР

В редакцию газеты "Правда"

В редакцию газеты "Известия"

В редакцию газеты "Молот"

В редакцию газеты "Литературная Россия"

В редакцию "Литературной газеты"

Выступая на XXIII съезде партии, Вы, Михаил Александрович, поднялись на трибуну не как частное лицо, а как "представитель советской литературы".

Тем самым Вы дали право каждому литератору, в том числе и мне, произнести свое суждение о тех мыслях, которые были высказаны Вами будто бы от нашего общего имени.

Речь Вашу на съезде воистину можно назвать исторической.

За все многовековое существование русской культуры я не могу припомнить другого писателя, который, подобно Вам, публично выразил бы сожаление не о том, что вынесенный судьями приговор слишком суров, а о том, что он слишком мягок.

Но огорчил Вас не один лишь приговор: Вам пришлось не по душе самая судебная процедура, которой были подвергнуты писатели Даниэль и Синявский. Вы нашли ее слишком педантичной, слишком строго законной. Вам хотелось бы, чтобы судьи судили советских граждан, не стесняя себя кодексом, чтобы руководствовались они не законами, а "правосознанием".

Этот призыв ошеломил меня, и я имею основание думать, не одну меня. Миллионами невинных жизней заплатил наш народ за сталинское попрание закона. Настойчивые попыт-

ки возвратиться к законности, к точному соблюдению духа и буквы советского законодательства, успешность этих попыток — самое драгоценное завоевание нашей страны, сделанное ею за последнее десятилетие. И именно это завоевание Вы хотите у народа отнять? Правда, в своей речи на съезде Вы поставили перед судьями в качестве образца не то, сравнительно недавнее, время, когда происходили массовые нарушения советских законов, а то, более далекое, когда и самый закон, самый кодекс еще не родился: "памятные двадцатые годы". Первый советский кодекс был введен в действие в 1922 году. Годы 1917—1922 памятны нам героизмом, величием, но законностью они не отличались, да и не могли отличаться: старый строй был разрушен, новый еще не окреп. Обычай, принятый тогда: судить на основе "правосознания" — был уместен и естественен в пору гражданской войны, на другой день после революции, но он ничем не может быть оправдан накануне 50-летия Советской власти. Кому и для чего это нужно — возвращаться к "правосознанию", то есть, по сути дела, к инстинкту, когда выработан закон?

И кого в первую очередь мечтаете Вы осудить этим особо суровым, не опирающимся на статьи кодекса судом, который осуществлялся в "памятные двадцатые годы"? Прежде всего, литераторов...

Давно уже в своих статьях и публичных речах Вы, Михаил Александрович, имеете обыкновение отзываться о писателях с пренебрежением и грубой насмешкой. Но на этот раз Вы превзошли самого себя. Приговор двум интеллигентным людям, двум литераторам, не отличающимся крепким здоровьем, к пяти и семи годам заключения в лагерях со строгим режимом, для принудительного, непосильного физического труда — то есть, в сущности, приговор к болезни, а может быть, и к смерти, представляется Вам недостаточно суровым. Суд, который осудил бы их не по статьям уголовного кодекса, без этих самых статей — побыстрее, попроще — избрал бы, полагаете Вы, более тяжкое наказание, и Вы были бы этому рады.

Вот Ваши подлинные слова:

"Попадись эти молодчики с черной совестью в памятные двадцатые годы, когда судили, не опираясь на строго разграниченные статьи Уголовного кодекса, а „руководствуясь революционным правосознанием“, ох, не ту меру получили бы эти оборотни! А тут, видите ли, еще рассуждают о „суровости“ приговора”.

Да, Михаил Александрович, вместе со многими коммунистами Италии, Франции, Англии, Швеции, Дании (которых в своей речи Вы почему-то именуете "буржуазными защитниками" осужденных), вместе с левыми общественными организациями Запада, я, советская писательница, рассуждаю,

осмеливаюсь рассуждать о неуместной, ничем не оправданной суровости приговора. Вы в своей речи сказали, что Вам стыдно за тех, кто хлопотал о помиловании, предлагая взять осужденных на поруки. А мне, признаться, стыдно не за них, не за себя, а за Вас. Они просьбой своей продолжили славную традицию советской и досоветской русской литературы, а Вы своею речью навеки отлучили себя от этой традиции. Именно в "памятные двадцатые годы", то есть с 1917-го по 1922-й, когда бушевала гражданская война и судили по "правосознанию", Алексей Максимович Горький употреблял всю силу своего авторитета не только на то, чтобы спасти писателей от голода и холода, но и на то, чтобы выручать их из тюрем и ссылок. Десятки заступнических писем были написаны им, и многие литераторы вернулись, благодаря ему, к своим рабочим столам.

Традиция эта — традиция заступничества — существует в России не со вчерашнего дня, и наша интеллигенция вправе ею гордиться. Величайший из наших поэтов, Александр Пушкин, гордился тем, что "милость к падшим призывал". Чехов в письме к Суворину, который осмелился в своей газете чернить Золя, защищавшего Дрейфуса, объяснял ему: "Пусть Дрейфус виноват — и Золя все-таки прав, так как дело писателей не обвинять, не преследовать, а вступаться даже за виноватых, раз они уже осуждены и несут наказание... Обвинителей, прокуроров... и без них много".

Дело писателей не преследовать, а вступаться...

Вот чему учит нас великая русская литература в лице лучших своих представителей. Вот какую традицию нарушили Вы, громко сожалея о том, будто приговор суда был недостаточно суров!

Вдумайтесь в значение русской литературы.

Книги, созданные великими русскими писателями, учили и учат людей не упрощенно, а глубоко и тонко, во всеоружии социального и психологического анализа, вникать в сложные причины человеческих ошибок, проступков, преступлений, вин. В этой проникновенности и кроется, главным образом, очеловечивающий смысл русской литературы.

Вспомните книгу Федора Достоевского о каторге — "Записки из Мертвого дома", книгу Льва Толстого о тюрьме — "Воскресение". Оба писателя страстно всматривались в глубь человеческих судеб, человеческих душ и социальных условий. Не для дополнительного осуждения осужденных совершил Чехов свою героическую поездку на Сахалин, и глубокой оказалась его книга. Вспомните, наконец, "Тихий Дон": с какой осторожностью, с какой глубиной понимания огромных сдвигов, происходивших в стране, мельчайших движений потрясенной человеческой души относится автор к ошибкам, проступкам и даже преступлениям против революции, совершаемым его героями! От автора "Тихого Дона" удивительно



было услышать грубо-прямолинейный вопрос, превращающий сложную жизненную ситуацию в простую, элементарнейшую, — вопрос, с которым Вы обратились к делегатам Советской Армии: "как бы они поступили, если бы в каком-нибудь из их подразделений появились предатели?!" Это уже прямой призыв к военно-полевому суду в мирное время. Какой мог бы быть ответ воинов, кроме одного: расстреляли бы. Зачем, в самом деле, обдумывать, которую именно статью Уголовного кодекса нарушили Синявский и Даниэль, зачем пытаться представить себе, какие именно стороны нашей недавней социальной действительности подверглись сатирическому изображению в их книгах, какие события побудили их взяться за перо и какие свойства нашей теперешней современной действительности не позволили им напечатать свои книги дома? Зачем тут психологический и социальный анализ? К стенке! Расстрелять в 24 часа!

Слушая Вас, можно было вообразить, будто осужденные распространяли антисоветские листовки или прокламации, будто они передали за границу не свою беллетристику, а, по крайней мере, план крепости или завода... Этой подменой сложных понятий простыми, этой недостойной игрой словом "предательство" Вы, Михаил Александрович, еще раз изменили долгу писателя; чья обязанность — всегда и везде разъяснять, доводить до сознания каждого всю многосложность, противоречивость процессов, совершающихся в литературе и в истории, а не играть словами, злостно и намеренно упрощая и, тем самым, искажая случившееся.

Суд над писателями Синявским и Даниэлем по внешности совершался с соблюдением всех формальностей, требуемых законом. С Вашей точки зрения, в этом его недостаток, с моей — достоинство. И, однако, я возражаю против приговора, вынесенного судом.

Почему?

Потому, что сама отдача под уголовный суд Синявского и Даниэля была противозаконной.

Потому, что книга — беллетристика, повесть, роман, рассказ — словом, литературное произведение, слабое или сильное, лживое или правдивое, талантливое или бездарное, есть явление общественной мысли и никакому суду, кроме общественного, литературного, ни уголовному, ни военно-полевому не подлежит. Писателя, как и всякого советского гражданина, можно и должно судить уголовным судом за любой проступок — только не за его книги. Литература уголовному суду неподсудна. Идеям следует противопоставлять идеи, а не тюрьмы и лагеря.

Вот это Вы и должны были заявить своим слушателям, если бы Вы, в самом деле, поднялись на трибуну как представитель советской литературы.

Но Вы держали речь как отступник ее. Ваша позорная речь не будет забыта историей.

А литература сама Вам отомстит за себя, как мстит она всем, кто отступает от налагаемого ею трудного долга. Она приговорит Вас к высшей мере наказания, существующей для художника, — к творческому бесплодию. И никакие почести, деньги, отечественные и международные премии не отвратят этот приговор от Вашей головы.

*25 мая 1966 года*

*Лидия Чуковская*

---

---

**эпилог**

---

---

---

---

Абрам Терц

Из романа

"СПОКОЙНОЙ НОЧИ"\*

---

— Хотите, на прощанье я вам дам добрый совет? — спросил Пахомов, светлея лицом, словно о чем-то вспомнив. — Не как следователь КГБ. Просто как человек с известным жизненным опытом...

Я рад был его послушать. С тех пор, как допросы кончились, он мне даже нравился, или, точнее говоря, занимал с собственно психологической стороны, как человеческая порода всей этой особой и странной для меня разновидности существ, сделавших своею профессией уловление и защемление ближнего. Всегда интересно знать: что ест крокодил? Казалось, через него я постигну когда-нибудь и тайну власти, и загадку современной истории, общества, положившего делом жизни истребление жизни, личности, искусства, меня, в частности... В качестве же человека, индивидуального лица, которое я за ним всегда подозревал, он не возбуждал антипатии, и я не держал на него сердца. Просто мы с ним немного разошлись во мнениях... Пахомов рассмеялся:

— Вы уже насторожились?! Да бросьте, Андрей Донатович, все время думать, что вас обманывают... Мой дружеский совет очень прост: сбейте бороду. До отправки в лагерь сбейте бороду. Рекомендую...

— А когда этап?

— Право, не знаю. Это же, сами понимаете, вне моей компетенции. <...>

— Как вы думаете, Виктор Александрович, меня вместе с Даниэлем отправят? В одном вагоне, в один лагерь?

— Повторяю, я не в курсе. Но скорее всего — вместе. Надеюсь... И сбейте бороду, мой совет. Сегодня же вечером. Попросите надзорсостав — они сделают. Будете как новенький...

— А куда?

— Тоже не знаю.

— На север? На восток?

— Скорее всего — не на север: по секрету, так уж и быть... Может, даже — на юг. Южнее — Москвы...

Он улыбнулся. И следователю кстати бывает сказать вам приятное.

— В Казахстан?

— Вот видите — вы какой! Все хотите допытаться... Нет, больше я ничего не скажу! Но бороду — снимите. И вам не к лицу... И, потом, знаете, привяжутся... Воры, уголовники.

---

\*Париж: Синтаксис, 1984. Отрывок печатается с сокращениями, согласованными с автором.

Могут и поджечь. Поднесут, знаете, спичку — и вспыхнет. Как стог сена. <...>

Внешности своей, портрету, я значения не придавал. Плевать мне на какую-то бороду! Но уж очень они что-то старались, настаивали... Раскаяние? Измена себе? Потеря лица? Чего этот Пахомов, по важным делам, крутится вокруг бороды?.. Нет, сволочи! Не дамся. Короче, мало-помалу я становился уголовником, как сами они называли, злым и недоверчивым эком, высчитывающим каждый шаг от обратного. Только от обратного!..

Да и то, пораскинуть мозгами, пройдет год, большой лагерный год, и к Даниэлю, на 11-м, подвалится заезжий чекист, к станку, в производственной зоне.

— Привет вам от Синявского! — скажет, внимательно поглядев, как Даниэль выгачивает какое-то, по норме, дерьмо. — Я только что из Сосновки, с первого лагпункта. Синявский просил кланяться...

— Спасибо, — ответит, не поворачивая головы, Даниэль. — Что Синявский?

— Нормально. Ничего. Здоров. Недавно побрился...

— Как — побрился?! — не поворачивая головы, Даниэль.

— Да вот так. Он теперь без бороды. Я сам его видел. Разговаривал. Вот привет вам привез...

Стоит ли пояснять, что я и в глаза не видал этого хмыря? И бороды не брил. Далась им моя борода! И никакого привета, с чекистом, не посылал...

Расставаясь со мной, Пахомов, в последний раз, посоветовал:

— Ох, подожгут вам урки вашу лопату! И не идет вам совсем. Помяните мое слово!..

И взаправду, утром — этап. Все как полагается, как читали: овчарка, автоматчик. "Шаг вправо, шаг влево..." <...> Светает. Скользко. Всаживают в поезд на каких-то интимных путях. <...> Разносят кипяток. Хлеб, селедка. <...> Бегают конвой. <...> Меня, меня в уборную! <...> Руки назад! Не оборачиваться! <...> Кошу глазом: слева, людской стеной, в зоопарке, — глаза, пальцы, носы. Не задерживаться! Быстрее! И вдруг — в затылок — призывным криком:

— Синявский! Синявский! <...>

— Даниэль? Юлька? Здесь? <...> Нет, не его голос... С оправки. Кошу направо. Эки, эки и эки — как сельди в бочке. Сзади опять:

— Синявский!..

И — смех... Нет, не Даниэль! <...> Хотят проучить, напугать. Пахомов предупреждал: подожгут. Сбывается. <...>

Вечером или ночью — в темноте, в прожекторах не поймешь, который час, — выгружают. <...>

— Где мы? — громко спрашиваю.

— В Потьме! Мордовская АССР! — отзывается рядом какой-то, должно быть, бытовичок. — Вы что — не узнаете? Раньше — не бывали? Вы из какой тюрьмы будете, простите?..

— Из Лефортова.

Твердо — из Лефортова. Для меня Лефортово — марка. У меня отец еще сидел в Лефортове, и я ему деньги носил. Что ни месяц — 200 рублей, считая старыми деньгами. Для них — неизвестно еще, звучит ли это имя, означает ли что-нибудь? Но я — из Лефортова...

— Из Лефортова?! — разом откликнулось несколько голосов. — Смотрите — он из Лефортова! Один — из Лефортова! Где — из Лефортова?..

Когда я повторяю сейчас эти гордые знамена — "из Лефортова", — я знаю, что говорю. И мне хочется, чтобы Лефортово отгиснулось на лбу режима не хуже, чем Лубянка, Бутырка, Таганка... Лефортово почиталось, между знатоками, особенной тюрьмой. За Лефортовым стлались легенды, таинственные истории... Будет время — я об этом расскажу. А пока:

— Я из Лефортова...

Смотрю, проталкиваются — трое. Судя по всему — из серьезных. Независимо. Раскидывая взглядом толпу, которая раздается, как веер, хотя некуда тесниться.

— Вы из Лефортова?

— Из Лефортова.

— А вы в Лефортове, случайно, Даниэля или, там, Синявского — не видали?..

— Видал. Я — Синявский...

Стою, опираясь на ноги, жду удара. И происходит неладное. Вместо того, чтобы бить, обнимают, жмут руки. Кто-то орет: "Качать Синявского!" И — заткнулся: "Молчи, падаль! Нашел время". <...>

— По радио про вас передавали, Андрей Донатович!.. Я сам слышал!.. По радио!..

В блатной среде ценится известность. Но есть и еще одно, что я уцепил тогда: вопреки! Вопреки газетам, тюрьме, правительству. Вопреки смыслу. Что меня поносили по радио, на собраниях и в печати — было для них почетом. Сподобился!.. А то, что обманым путем переправил на Запад, не винился, не кланялся перед судом, — выросло меня, вообще, в какой-то неузнаваемый образ. Не человека. Не автора. Нет, скорее всего, в какого-то Вора с прописной, изобразительной буквы, как в старинных Инкунабулах. И, признаться, это нравилось мне и льстило, как будто отвечая тому, что я задумал. Такой полноты славы я не испытывал никогда и никогда не испытую. И лучшей критики на свои сочинения уже не заслужу и не услышу, увы. <...>

— Скажи, отец, и я поверю! — выскочил молодой чело-

век, шедший по хулиганке. — Коммунизм скоро наступит? Ты только — скажи...

Куда мне было деваться? <...>

Как опытный педагог, я ответил уклончиво:

— Видите ли, за попытку ответить на ваш интересный вопрос я уже получил семь лет...

Каторга ликовала. Казалось, эти люди радовались, что никакой коммунизм им больше не светит. Ибо нет и не будет в этом мире справедливости...

Перед сном уже, у противоположной стены, встал над телами, на нарах, чахоточного вида шутник. Я узнал его по голосу. <...>

— Слушай, Синявский, это я кричал "Синявский", когда тебя вели на opravку!..

Вскидываюсь в изумлении:

— Но как вы угадали? Кто вам сказал тогда, что я — Синявский?..

— А я не угадывал. Вижу, ведут смешного, с бородой. Ну я и крикнул — Синявский! Просто так, для смеха... Мы не думали, извините, что это вы...

Да, Пахомов, не повезло вам с моей бородой. Подвели вас газеты. Обманули уголовники. И вам невдомек, как сейчас меня величают, как цацкают меня, писателя, благодаря вашим стараниям. И кто? Кто?! Воры, хулиганы, бандиты, что, дайте срок, всякого прирежут <...> Настала моя пора. Мой народ меня не убьет. <...> В споре со мной вы проспорили, вы проиграли, Пахомов! <...>

Меня высаживают — раньше всех, одного, из битком набитого поезда, на первой же маленькой лагерной остановке "Сосновка". "До свидания, Андрей Донатович! До свидания, Андрей Донатович!" — скандировал вагон. <...> Шаг вправо, шаг влево — стреляю без предупреждения. — Прощайте, ребята! — Мне вдогонку, в дорогу, неслось из задранных вагонов:

— До свидания, Андрей Донатович...

— Еще раз обернешься — выстрелю, — сказал беззлобно солдат.

---

---

Анатолий Марченко

Из книги

МОИ ПОКАЗАНИЯ\*

---

---

Глава

ДУБРОВЛАГ\*\*

---

---

...Мы поговорили о событии, которое занимало сейчас всех эзков — политических, — о процессе над писателями Синявским и Даниэлем. Первые сведения о нем застали меня еще на 3-м лагпункте, а теперь суд кончился, и, значит, скоро они будут в Мордовии. Один из них наверняка попадет к нам на 11-й: подельников обязательно разделяют, сажают в разные зоны, применяют к ним разную тактику воздействия. Пока что мы не знали ни одного.

В лагерях эзки много спорили об этом процессе и о самих писателях. Вначале, после первых статей, еще до суда, все единодушно решили, что это либо подонки и трусы, либо провокаторы. Ведь это неслыханное дело — открытый политический процесс, открытый суд по 70 статье. Мы тогда еще не знали, что уже весь мир говорит об их аресте, и только поэтому наши не могли о нем умолчать. Наверняка эти двое будут плакать и каяться, сознаются, что работали по заданию заграницы, что продались за доллары. Сколько ходит по зоне таких, как они, — и никого не судили открыто. Значит, будет очередной суд-спектакль, где подсудимые послушно сыграют свою роль.

Но вот появились первые статьи "Из зала суда". Подсудимые не признают свою вину! Они не каются, не умоляют простить их, они спорят с судом, отстаивая свое право на свободу слова. Это было очевидно даже из наших статей: так же ясно было видно, что в статьях искажают суть дела и ход процесса. Но последнее мало волновало нас, скоро все услышим от самих. Молодцы Синявский и Даниэль!

Дня через два <...> прихожу я с работы в зону. Заглянул в секцию — Валерки нет. Я пошел в раздевальню переодеться. Туда заглянул наш Ильич — Петр Ильич Изотов; увидел меня и кричит: "Привезли, привезли!"

— Кого?

— Писателя привезли!

---

\* «„Мои показания“ — первая книга о послесталинских лагерях и тюрьмах, первое развернутое свидетельство об этой позорной изнанке нашего общества. Она сыграла огромную роль в нравственном формировании движения за права человека в СССР и во всем мире» А.Д.Сахаров, 1987 г.

\*\* Дубровлаг — комплекс лагерей в Мордовии, в котором в 60-е гг. были сосредоточены осужденные за "особо опасные государственные преступления".



— Ну, и где он?

— К нам в бригаду зачислили, в твоей секции будет жить. Валерка повел его в столовую.

Я не спросил, которого из двоих привезли. Хорошо, что с ним Валерка, он все сумеет рассказать и показать.

Пока я переодевался, Валерка вернулся, и с ним парень, лет 35—40. Новичок, во всем своем еще, но, видно, готовился к лагерю: стеганая телогрейка, сапоги, рыжая меховая ушанка. Телогрейка нараспашку, а под ней — толстый свитер. В общем, вид его показался мне смешным: телогрейка без воротника не вязалась с добротной шапкой, ноги он переставлял косолапо, как медведь, здорово сутулился, держался немного смущенно и растерянно. Мы познакомились. Это был Юлий Даниэль. Да еще при разговоре он наставлял на меня правое ухо, просил говорить погромче. А сам говорил тихо. Я тоже поворачивался к нему правым ухом и отгибал его ладонью. Значит, коллеги — тоже глухой, как и я. Это нас обоих рассмешило.

Подошли еще наши бригадники, окружили новичка, стали расспрашивать, что на воле. То и дело в наш барак забежали из других барakov поглазеть на Даниэля — знаменитость! Вопросы сыпались на него со всех сторон. Мы узнали, что процесс был только по названию открытый, а пускали туда только по особым пропускам. Из близких в зале Юлий увидел только свою жену и жену Синявского. ("Я уверен, что друзья пришли бы, но их не пустили".) Большинство в зале были типичные кагэбэшники, но были и писатели, некоторых Юлий узнал по знакомым портретам, а кое-кого и в лицо. Одни опускали глаза, отворачивались; двое или трое сочувственно кивнули ему.

— Ну, а как ты думаешь, почему такая гласность?

Оказывается, Юлий думал так же, как кое-кто из нас: наверное, на Западе подняли шум. Сидя в следственном изоляторе, он, конечно, ничего не знал. Но кое-что понял со слов судьи и из допросов свидетелей. <...>

Больше, чем о себе, Юлий говорил об Андрее Синявском: "Вот это человек! И писатель, каких сейчас в России, может, один или два, не больше". Он очень беспокоился о друге, как-то он устроится в лагере, на какую работу попадет, не было бы ему слишком тяжело. Это нам всем, конечно, понравилось.

Хотя Даниэль должен был выходить на работу завтра же, бригада договорилась в первые три дня не брать его на вызовы. Пусть осмотрится в зоне. К тому же мы знали, что у него перебита и неправильно срослась правая рука — фронтовое ранение. Надо же — нарочно поставили на самую каторжную работу в лагере! Как он сможет со своей покалеченной рукой поднимать бревна, кидать уголь?\*

---

\*Грузчиком в лагере ЮМ Даниэль проработал несколько месяцев.

---

Юлий Даниэль

---

ПИСЬМО ИЗ ЛАГЕРЯ В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ "ИЗВЕСТИЯ"

---

Я прошу вас опубликовать в вашей газете нижеследующий текст или, во всяком случае, принять его к сведению в случае дальнейших упоминаний моего имени и имени А.Синявского на страницах вашей газеты.

В течение всего периода следствия и суда я не получал сколько-нибудь объективной информации об общественном звучании произведений Аржака и Терца. Следствие, обвинители, суд старались убедить меня и Синявского в том, что наши произведения читаются и рекламируются только врагами нашей страны, что они — произведения — превращены в орудие идеологической борьбы. Я должен признаться, что почти полгода подобной "обработки" оказали на меня некоторое влияние: я признал себя виновным в "непредусмотрительности" и выразил сожаление по поводу того, что наши произведения используются во вред нашему государству.

После суда и приговора я получил возможность ознакомиться с нашей прессой и получить сведения о прессе зарубежной. Я понял, что только дезинформация была причиной моих "сожалений" и "признаний". Я понял также, что читатели наших газет ("Литературная газета", "Известия" и др.) введены в заблуждение относительно смысла, идейной направленности и даже художественных особенностей повестей и рассказов Терца и Аржака. Я не стану перечислять весь набор недобросовестных, жульнических приемов, которыми пользовались журналисты и критики, — об этом я уже говорил в своем последнем слове на суде. Тенденциозное освещение процесса, произведений и личности обвиняемых в нашей прессе, доброжелательность и протесты против суда и приговора, исходящие из прогрессивных кругов широкой общественности, от ряда советских литераторов и деятелей культуры и науки, ставят меня перед необходимостью четко и недвусмысленно сформулировать свое отношение к происходящему. В настоящее время я пришел к окончательному выводу — наши произведения вообще не должны были быть предметом судебного разбирательства; приговор несправедлив и неправоуказан; я отказываюсь от своих "сожалений" по поводу якобы причиненного нашими произведениями вреда: единственный вред, который можно связать с именами Синявского и Даниэля, порожден арестом, судом и приговором.

Я благодарю всех, кто принял участие в нашей судьбе. Я не имею возможности снести и посоветоваться с Синявским, но я глубоко убежден, что он согласится с каждым словом этого письма.

9.IV.1966 г.

Прошу вас, не откажите в любезности подтвердить получение этого письма, независимо от того, сочтете ли вы возможным его опубликовать.

Ю. Даниэль

---

Юлий Даниэль

НА БИБЛЕЙСКИЕ ТЕМЫ\*

---

Да будет ведомо всем,  
Кто  
Я  
Есть:  
Рост – 177;  
Вес – 66;  
Руки мои тонки,  
Мышцы мои слабы,  
И презирают станки  
Кривую моей судьбы;  
От роду – сорок лет,  
Прожитых напролет,  
Время настало – бред  
Одолеваю вброд:  
Против МЕНЯ – войска  
Против МЕНЯ – штыки  
Против МЕНЯ – тоска  
(Руки мои тонки);

Против МЕНЯ – в зенит  
Брошен радиоклич,  
Серого зданья гранит  
Входит со мною в клинч;  
Можно меня смолоть  
И с потрохами съест  
Хрупкую эту плоть  
(Вес – 66);  
Можно меня согнуть  
(От роду – 40 лет),  
Можно обрушить муть  
Митингов и газет;  
Можно меня стереть –  
Двинуть машиной всей,  
Жизни отрезать треть  
(Рост – 177).

– Ясен исход борьбы!..  
– Время себя жалеть!  
(Мышцы мои слабы),  
Можно обрушить плоть,  
Можно затмить мне свет,  
Остановить разбег!..  
Можно и можно...  
Нет.  
Я ведь – не человек:  
(Рост – 177)  
Я твой окоп, Добро,  
(Вес – 66) ,  
Я смотровая щель,  
(Руки мои тонки)  
Пушки твоей ядро,  
(Мышцы мои слабы)  
Камень в твоей праще.

---

\*Из сборника "Стихи из неволи" (Амстердам, 1971).

Ты просишь меня написать о своем мнении касательно процесса Синявского и Даниэля. "Касательно" — я редко употребляю этот словесный оборот и применил его только для того, чтобы подразнить академика Виноградова, председателя комиссии экспертов на этом удивительном процессе.

Но шутки в сторону! Тема процесса, ход судопроизводства, результат суда — все, о чем ты знаешь из газет сам, не дает права шутить.

Ты удивляешься, что в зарубежных радиопередачах так мягок тон в отношении этого процесса, хотя, разумеется, процесс всколыхнул весь мир гораздо глубже, шире, больнее, ответственнее, чем во время пресловутого дела Пастернака. Это и понятно: нелепый случай с нобелевским лауреатом не затрагивал, в сущности, принципов советского общества. Тот элемент духовного террора, который был в истории с Пастернаком (чуть было не сказал: в процессе Пастернака), здесь перерос в террор физический. Расправа с писателями была самой что ни на есть реальной, отнюдь не аллегорной, а риторической фигурой. Прошу прощения, что я пользуюсь литературоведческими словами, но это в духе, в тоне процесса.

Процесс Синявского — первый открытый политический процесс при советской власти, когда обвиняемые от начала до конца — от предварительного следствия до последнего слова подсудимых — не признавали себя виновными и приняли приговор как настоящие люди. Обвиняемым по сорок лет — оптимальный вариант возраста подсудимого на политическом процессе. Первый процесс за четыре с лишним десятилетия. Не мудрено, что к нему приковано внимание всего мира.

Со времени дела правых эсеров — легендарных уже героев революционной России — это первый политический (такой) процесс. Т о л ь к о п р а в ы е э с е р ы уходили из зала суда, не вызывая жалости, презрения, ужаса, недоумения...

У нас с тобой в памяти бесконечно омерзительные "раскаяния", "показания", "исповеди" героев процессов тридцатых годов, таинственных процессов, сама организация которых скрыта от нашего общества. А ведь это не гротеск, не научная фантастика. Тайна, которую все знают и которую государство не хочет раскрыть в очередном покаянном заявлении. Ибо покаянные заявления бывают не только у част-

---

\*В "Белой книге по делу А.Синявского и Ю.Даниэля" (составитель А.И. Гинзбург) данный текст фигурирует как анонимный; на "процессе четырех" (А.Гинзбург, Ю.Галансков, А.Добровольский, В.Лашкова), по приговору суда, был признан антисоветским; впервые в СССР опубликован журналом "Огонек" (1989. № 19).

ных лиц, но и у государств. XX и XXII съезды партии были такими покаянными заявлениями, вынужденными, правда, но все же покаянными.

Пресловутых "признаний" в этом процессе нет. Это первый процесс без этой преступной "специфики", которой дышало сталинское время — не только каждый суд, но каждое учреждение, каждая коммунальная квартира.

Случись это двадцать лет назад — Синявского и Даниэля застрелили бы в каком-нибудь подвале МГБ или пустили на следственный "конвейер", когда следователи меняются, а обвиняемый стоит на месте много часов, много суток, пока воля подследственного не будет сломлена, психика подавлена. А то вводят сыворотку, подавляющую волю, по страшному примеру открытых процессов 30-х годов. Или если не готовят к открытым процессам, то убивают прямо в коридоре... И букет следственных статей был бы совсем другой: 58-я статья — измена родине, вредительство, террор, саботаж.

Почему именно этих статей не "шьют" в этом новом процессе? Нет, сдвиг есть, время идет. Но нужно помнить, что Синявский и Даниэль написали первые вещи в 1956 году, сразу после XX съезда партии. Синявский и Даниэль поверили правде, которая была только что сказана. Поверили и стали ее укреплять, ибо с трибуны XX и XXII съездов партии повести Синявского и Даниэля не могут быть осуждены даже с точки зрения "социалистического реализма" (что и понял отлично Арагон и ряд западных коммунистов).

Нужно помнить, что Синявский и Даниэль первыми принимают бой после чуть ли не пятидесятилетнего молчания. Их пример велик, их героизм бесспорен.

Синявский и Даниэль нарушили омерзительную традицию "раскаяния" и "признаний". Как это им удалось сделать? Как, не зная о поддержке Западом их дела, их судьбы, Синявский и Даниэль сумели провести процесс наилучшим образом?

Я напомню тебе начало процесса. После объявления состава суда и всех прочих формальностей, включая огласку фамилий экспертов, которые почему-то нигде не печатали, как будто эксперты сделали что-то позорное, стыдное, дурное, согласившись участвовать в подобном судилище, и просят сохранить их имена в тайне, как хранится тайна фамилий доносчиков и стукачей — юридические прецеденты такого рода бывали безусловно, — защита внесла предложение приобщить к делу специальные заявления литературоведа В.В.Иванова, писателя К.Г.Паустовского и Л.З.Копелева. И Иванов, и Паустовский, и Копелев давали литературный анализ повестей Терца-Синявского и Аржака-Даниэля. Заметим здесь же, что Иванов — лингвист с мировым именем — тот самый человек, который просил суд дать ему возможность участвовать в процессе в качестве защитника. Ведь есть же общественные обвинители —

даже два (З.Кедрина и А.Васильев — солиднее фигур в писательском мире не нашлось). По закону защитником может быть любой. Как мы видим на процессах блатарей, хулиганов, воров — там могут действовать общественные защитники.

Суд отказал в просьбе В.В.Иванова.

Суд отказал в приобщении к делу заявлений В.В.Иванова, К.Г.Паустовского и Л.З.Копелева.

Атмосфера сгушалась.

Защита обратилась к суду с просьбой начать судебное разбирательство с допросов Синявского, надеясь, что Синявский сумеет дать тон процессу.

Суд отказал в просьбе защиты.

• Процесс начался.

Суд ошибся. В лице Даниэля суд встретил вполне грамотного и уверенного в своей правоте человека.

Даниэль начал с отказа от одного из своих показаний, данных во время предварительного следствия: Даниэль показывал тогда, что передал свой роман Синявскому, а сейчас он уточнил, что он вспомнил — дело было много лет тому назад, в квартире Синявского он передавал, но не в его присутствии.

Виват юстиция! И процесс начался!

Синявский и Даниэль сумели удержать процесс на литературоведческой грани, в лесах гротеска и научной фантастики, не признаваясь и не признавшись в антисоветской деятельности, требуя уважения к свободе творчества, к свободе совести. В этом великая принципиальность этого процесса. Синявский и Даниэль держались смело, твердо и в то же время очень осторожно, говоря каждую фразу очень обдуманно и не позволяя заманить себя в сети, которые раскидывал не столько прокурор, сколько председатель суда.

Ничего не было бы проще — заготовить и произнести политическую речь, что, дескать, с детства ненавидел, выступаю как борец, разоблаченный, обличенный, умираю (вариант: прошу прощения у родной власти!). .

Ничего не было бы проще и ничего не было бы вреднее. Такая позиция была бы победой прокурора и суда, вернула бы страну в невыносимое положение, когда автору известной "птички божией" полагался бы концентрационный лагерь, как вреднейшему тунеядцу. И за "птичку Божию" начали бы судить, усматривая в ней намек на государственный строй и считаясь с текстом "птички божией" только как с риторической, гражданской поэзией.

Синявский и Даниэль в эту ловушку не попались.

Да и в самом деле, почему антисоветчики Синявский и Даниэль, а не прокурор, который, отвечая на вопрос Синявского, заявил, что не напечатал бы его повестей на родине? Кто тут приносит больше вреда России?

Синявский и Даниэль отрицали свою вину в антисоветской деятельности. Еще бы! Любые произведения такого плана могут принести только пользу.

Подумай, старый товарищ! В мужестве Синявского и Даниэля, в их благородстве, в их победе есть капля и нашей с тобой крови, наших страданий, нашей борьбы против унижений, лжи, против убийц и предателей всех мастей.

Ибо что такое клевета? И ты, и я мы знаем оба сталинское время — лагеря уничтожения небывалого сверхгитлеровского размаха, Освенцим без печей, где погибли миллионы людей. Знаем растление, кровавое растление власти, которая, покаившись, до сих пор не хочет сказать правду, хотя бы о деле Кирова. До каких пор! Может ли быть в правде прошлой нашей жизни граница, рубеж, после которой начинается клевета? Я утверждаю, что такой границы нет, утверждаю, что для сталинского времени понятие клеветы не может быть применено. Человеческий мозг не в силах вообразить тех преступлений, которые совершались.

Лучше уж суду держаться в рамках чисто литературной дискуссии, как и предложил Синявский. Суду будет спокойнее вести разговор о прямой речи, об авторской речи, о гротеске, о научной фантастике. Просто спокойней, и все!

Лично я не сторонник сатирического жанра, не сторонник сатирического направления в литературе, хотя и признаю все его равноправие, допустимость, возможность. Мне кажется, что наш с тобой опыт начисто исключает пользование жанром гротеска или научной фантастики. Но ни Синявский, ни Даниэль не видели тех рек крови, которые видели мы. Оба они, конечно, могут пользоваться и гротеском и фантастикой.

Повесть Аржака-Даниэля "Говорит Москва", с его исключительно удачным гоголевским сюжетом "дня открытых убийств", вряд ли в чисто реалистическом плане может быть поставлена рядом со стенограммами XXII съезда партии, с тем, что было рассказано там. Тут уже не "день открытых убийств", а "двадцать лет открытых убийств".

Нет, лучше держаться в рамках чисто литературной дискуссии. Однако председатель суда Л.Смирнов, самый крупный судебный работник Советского Союза (по одному этому можно судить о той круговой обороне, которую заняли власти к началу процесса), предпочел выбрать второй вариант — осудить за контрреволюционную агитацию и пропаганду и "закатать на всю катушку", сколько позволяет предъявленная статья. Синявский — 7 лет, Даниэль — 5 лет.

Для чего же этот процесс был осчастливлен участием председателя Верховного суда?

Прежде всего — для симуляции демократии. Второе — Смирнов должен был показать пример подхода к такого рода

делах в будущем, дать "эталон" с тем, чтобы не было ошибок, которые наделала Савельева, судившая Бродского в Ленинграде. Если в деле Синявского и Даниэля была бы Савельева, она бы задержала подсудимых, не дала бы им слова сказать. Л.Смирнов был послан, чтобы симулировать демократию — жест такого же плана, что и неожиданный курбет Тарсиса, переплывшего перед самым процессом Ламанш\*.

Расчет на живое свидетельство Тарсиса не оправдался — дескать, он осудит Синявского, а к тому же параноик, бездарен.

Кстати, аргументация с помощью выписки из истории болезни психоневрологического диспансера, касающаяся Тарсиса, Есенина-Вольпина, — неубедительна, если вспомнить Чаадаева.

Тарсиса пришлось лишить гражданства по тому же самому закону 1938 года, который ввел смертную казнь для родственников лиц, к которым применялась статья "измена родине". Закон был принят, когда с военного корабля (кажется, "Советская Украина") в Клайпеде сошел на берег матрос. Реки крови были пролиты после принятия этого закона в 1938 году\*\*.

Но прости мне это отступление в сторону Тарсиса. Возвращаюсь к Синявскому,

Процесс этот, проведенный, как уверяет печать, "с полным соблюдением всех процессуальных норм", на деле представляет грубейшее нарушение этих норм. Если для обоснования жестокости приговора "Правде" (22 февраля) приходится вернуться к ленинским высказываниям начала революции, то это само по себе фальсификация. Меняется весь мир, не меняются только догмы советского права, рассчитанные на кратковременность действия.

---

\*Тарсис Валерий Яковлевич (1906–1983) — советский литератор, с начала 60-х публиковал свои произведения на Западе; в 1962 г. был помещен в психиатрическую лечебницу. 7 февраля 1966 года, за три дня до процесса Синявского и Даниэля, получил разрешение на выезд в Англию, 18 февраля 1966 г. был лишен советского гражданства.

\*\*Закон, о котором пишет В.Шаламов, был принят не в 1938 г., а четырьмя годами раньше. Согласно постановлению ЦИК СССР от 8 июня 1934 г. "О дополнительном Положении о преступлениях государственных <...> статьями об измене родине", в частности, члены семей военнослужащих, бежавших за границу, карались лишением свободы до 10 лет. Одними из первых, к кому было применено это постановление, стали родственники краснофлотца С.В.Воронкова, оставшегося на берегу во время стоянки линкора "Марат" в польском порту Гдыня. В ноябре 1934 г. Военная коллегия Верховного суда заочно приговорила Воронкова к расстрелу и одновременно постановила арестовать и предать суду его родственников. Об этом случае широко сообщала советская печать.



Смирнов вел этот процесс не только для Запада в качестве симуляции демократии. Для всех его многочисленных помощников на всей обширной территории Советского Союза процесс был учебным занятием, учебным семинаром, практическим занятием для сдачи экзамена младшим судебным работникам. Сдача экзамена на тему, как симулировать демократию. Но и необходимость симуляции тоже о многом говорит. Вынужденность ее.

Синявский и Даниэль осуждены именно за то, что они писатели, ни за что другое. Нельзя судить человека, видевшего сталинское время и рассказавшего об этом, за клевету или антисоветскую агитацию.

Не менее классически выглядело обвинение Синявского (настойчиво произнесенное Кедринной и перенесенное с газетной статьи в залу суда) в антисемитизме. Не более, не менее! Но запах этого обвинения столь неприятен, что в судебный протокол Л.Смирнов дал указание его не включать. Мотив хорошо знакомый. В то время, когда усиленно цитировалась сталинская цитата 30-х годов об антисемитизме как о худшем виде национализма, подручные Сталина убивали Михоэlsa. И еще: следствие по этому процессу вызвало не только протест глухой, но и явный — в виде небывалого с 1927 года события — демонстрации у памятника Пушкину 5 декабря 1965 года, в которой участвовали студенты и преподаватели университета.

Словом, суд не дал ответа о виновности Синявского и Даниэля. Признание подсудимых — слишком важный элемент советского правосудия. Без него как-то не вьются победные венки ни для членов суда, ни для прокурора, ни для общественных обвинителей.

Напротив, это Синявский и Даниэль вписали свои имена золотыми буквами в дело борьбы за свободу совести, за свободу творчества, за свободу личности. Вписали на вечные времена.

Кстати, насчет золотых букв. Общественный обвинитель Васильев патетически взывал к памяти 73-х писателей, погибших на войне, на фронте, чьи имена высечены на мраморной доске в ЦДЛ. От имени погибших он обвинял Синявского и Даниэля.

Если бы на этом процессе дали выступить общественному защитнику, тот защитил бы Синявского и Даниэля именем писателей, замученных, убитых, расстрелянных, погибших от голода и холода в сталинских лагерях уничтожения.

Это — Пильняк, Гумилев, Мандельштам, Бабель, Воронский, Табидзе, Яшвили — сотни фамилий включены в этот грозный мартиролог. Эти мертвецы, эти жертвы времени, которые могли бы составить славу литературы любой страны, поднимают голос в защиту Синявского и Даниэля!

По решению XXII съезда партии всем жертвам сталинского произвола обещана посмертная реабилитация и надписи на обелиске. Где этот обелиск? Где мраморная доска в Союзе писателей, где были бы золотыми буквами высечены имена погибших в сталинское время? Этих имен втрое, вчетверо больше, чем на мраморной доске, о которой упомянул общественный обвинитель.

Вывод. Дело Синявского и Даниэля. — первый советский открытый процесс, политический, когда обвиняемые по 58-й статье не признавались в своей вине.

Синявский и Даниэль держались хорошо, и, по-видимому, та пресловутая фармакология, с помощью которой готовились процессы в 30-х годах, а также знаменитый конвейер и выстойка, занимавшие столь прочное место в юридической практике 30-х годов, здесь не применялись. Синявский и Даниэль не скрывали своего авторства, они только отметили и разбивали обвинения неписательской сути дела.

Ни "сыворотка правды", ни "конвейер" не применялись в этом процессе.

И сразу стало видно, что в Советском Союзе есть люди, которые могут защищать свою правду и принимать несправедливый приговор твердо. Воля и психика этих людей не подавлены.

Здесь судили писателей, а свое писательское звание Синявский и Даниэль защищали с честью.

И еще одну важную подробность вскрывает этот процесс: Синявский и Даниэль никого не стремились "взять по делу", не тянули своих знакомых в водоворот следствия. Отсутствие нечеловеческих средств подавления человеческой психики сделало их волю способной к борьбе, и они победили.

Еще несколько замечаний.

Первоприсутствующий (так эта должность называлась в классической литературе) Л.Смирнов мужественно пробирался через литературоведческие дебри. Ему довелось пополнить свое образование рядом специальных терминов, обогатить свой багаж понятием прямой речи, речи героя, законов гротеска, сатиры. Казалось, Л.Смирнов должен был понять, что литература — дело не простое, что даже литературоведение — дело не простое, и теория романтизма значительно отличается от теории судебных доказательств. Почему же для расчета копки канавы вызывают инженера, а в деле литературы не нужны никакие специальные знания, никакая квалифицированная экспертиза? Почему о романе может судить, и не только судить, но и осудить в самом буквальном физическом смысле, любой человек, а для копки канавы этого суждения мало? Почему? Литературные эксперты вместе с академиком Виноградовым понадобились Смирнову только для того, чтобы

установить соответствие Синявский-Терц и Даниэль-Аржак. Формально подтвердить то, в чем никто из обвиняемых не запирался. Кстати, что это за безымянность такая? Состав суда известен, фамилии общественных обвинителей известны, только фамилии экспертов скрыты от публики. Что за скромность девичья такая, явно неуместная? Может быть, экспертам стыдно было участвовать в этом судилище и они выговорили себе право тайны? Тайны вкладов. На всякий случай вот фамилии экспертов: академик Виноградов (председатель), Прохоров, Дымшиц, Костомаров и др.

В деле погромные отзывы: С. Антонова, А. Барто, Б. Сучкова, академика Юдина.

Л. Смирнов упустил одну блестящую возможность — взвалить все на плечи экспертов и сохранить свое доброе имя в глазах Международной ассоциации юристов, которая теперь клянет на все лады своего вице-председателя за судебный произвол. Стоило только суду поставить перед экспертами следующие вопросы: 1. Может ли жанр гротеска содержать в себе клевету на государство (примеры открытых судебных процессов)? 2. Может ли жанр научной фантастики содержать в себе клевету на государственный строй (примеры открытых судебных процессов)?

Получив от экспертов ответы на эти вопросы, суд снял бы с себя моральную ответственность, а академику Виноградову с помощниками пришлось бы или раболепно принять на себя все возмущение общественности в случае положительного ответа, или дать отрицательный ответ и подтвердить победу Синявского и Даниэля.

Л. Смирнов счел, что оба ответа хуже. Само обращение к литературной экспертизе будет победой Синявского, и он не поставил этих вопросов перед анонимными экспертами. А может быть, председателю суда и в голову не пришло использовать экспертизу таким образом.

"Правда" с возмущением пишет, что западная пресса сравнивает Синявского и Даниэля с Достоевским и Гоголем. Не западная пресса, а советский литературовед Зоя Кедрина в статье, опубликованной в "Литературной газете" перед процессом, излагая "Любимов" Синявского и "Говорит Москва" Даниэля, рассуждает пространно, что вот жанр общий, но все-таки Синявский и Даниэль, пожалуй, не дотянули до Кафки, Достоевского и Гоголя. Таков откровенный смысл ее статьи. Здесь же с блеском излагается ослепительный сюжет повести "Говорит Москва", и читатель невольно думает, что если до Гоголя Даниэль и не дотянул, то очень и очень немного.

Расцвет жанра фантастики во всем мире особенно привлекает внимание к работам Синявского и Даниэля. Оказывается, и фантастика не годится. Что было бы, если бы Рей

Брэдберй жил в Советском Союзе, сколько бы он получил лет — 7? 5? Со ссылкой или без нее?

Всякий писатель хочет печататься. Неужели суд не может понять, что возможность напечататься нужна писателю как воздух.

Сколько умерло тех, кому не дали печататься? Где "Доктор Живаго" Пастернака? Где Платонов? Где Булгаков? У Булгакова опубликована половина, у Платонова — четверть всего написанного. А ведь это лучшие писатели России. Обычно, достаточно было умереть, чтобы кое-что напечатали, но вот Мандельштам лишен и этой судьбы.

Как можно обвинять писателя в том, что он хочет печататься?

И если для этого нужны псевдонимы, пусть будет псевдоним, в этом нет ничего зазорного. Какой же путь к печати?

Нет, Даниэль и Синявский не двурушники, а борцы за свободу творчества, за свободу слова. Обвинение их в двурушничестве есть двурушничество самой чистой воды, худший вид двурушничества. Никто не имеет права называть двурушником человека, который сидит в тюрьме.

В этом процессе, при всей его предрешенности, есть одно любопытное обстоятельство: Синявскому и Даниэлю была предъявлена только одна статья Уголовного кодекса, т.е. "Хранение, изготовление, распространение" — то, что раньше называлось "контрреволюционная агитация" или ст. 58, пункт 10. Синявскому и Даниэлю не предъявлено пункта 11 (организация), хотя, казалось бы, что удерживало распустить этот цветок поярче?

Безымянность обращает на себя внимание не только в составе экспертной комиссии. Секретариат Союза писателей СССР подписал свое письмо в "Литературную газету", развязное по тону, оскорбительное по выражениям — без перечисления фамилий секретарей Союза писателей СССР. Что это за камуфляж? Письмо написано недостойным, оскорбительным тоном. Хотелось бы знать, кому персонально сей тон принадлежит. На всякий случай сообщаю состав секретарей Союза писателей СССР: Федин, Тихонов, Симонов, Воронков, Смирнов В., Соболев, Михалков, Сурков.

Редакционная статья "Правды" возвращает нас к худшим временам сталинизма. Весь тон статьи, вся аргументация, оперирующая ленинскими цитатами, затрепанными от частого употребления, именно в сталинские годы — о Каутском, о демократии капиталистической, демократии пролетарской диктатуры, словом, вся эта софистика за сорок лет усвоена нами отлично, и практические примеры достаточно ярки в нашей памяти.

От суда не ждали "либерального подхода", а чтобы суд отошел от кровавых дел, от практики террора.

Цитата из Горького, подкрепляющая рассуждения, как нельзя более к месту. Горький оставил позорный след в истории России 30-х годов своим людоедским лозунгом: "Если враг не сдается — его уничтожают". Море человеческой крови было пролито на советской земле, а Горький освятил массовые убийства.

Советское общество приговором по делу Синявского и Даниэля повергается снова в обстановку террора, преследований.

Советское правительство сделало очень мало для сближения Востока и Запада. Такого рода акции, как процесс Синявского и Даниэля, могут только разрушить эту связь.

Мне кажется, мы больны одной старинной болезнью, о которой писал Петр Долгоруков свыше ста лет назад:

"Многие из соотечественников наших говорят: "Не нужно рассказывать иностранцу истину о России, следует скрывать от них язвы отечества". Эти слова, по нашему мнению, совершенно противны и здоровой логике, и личному достоинству, и отчизнолюбию, истинно просвещенному. Не говоря уже о глубоком отвращении, внушаемом всякой ложью каждому человеку честному и благородному, надо быть ему наделену необъятной порцией самонадеянности, чтобы вообразить себе возможность всех обмануть. Люди, желающие скрывать и утаивать язвы, похожи на опасных больных, которые предпочли бы страдать и умирать скорее, чем призвать на помощь искусного врача, который бы их исцелил и возвратил бы им обновленные свежие силы. Для России этот врач — гласность!"

#### ОТ СОСТАВИТЕЛЯ И РЕДАКТОРА

*Работая над этим изданием, мы опирались на три основных источника: прозу Николая Аржака, прозу Абрама Терца, "Белую книгу по делу А.Синявского и Ю.Даниэля", составленную в 1966 году Александром Гинзбургом.*

*Расширить документальную часть сборника оказалось затруднительным по причинам, мало от нас зависящим: к моменту подписания книги в печать ни А.Д.Синявский, ни Ю.М.Даниэль реабилитированы не были и никакими официальными документами суда и следствия — вплоть до приговоров — мы не располагали.*

*Сознательно ограничиваясь событиями 1965–1966 годов, мы надеемся, что история инакомыслия двух десятилетий "застоя" не однажды еще станет темой для ученого, писателя, публициста.*

---

---

## СОДЕРЖАНИЕ

---

---

В.Каверин. Вместо предисловия 3

Г.А.Белая. "Да будет ведомо всем..." 4

---

## ПРОЛОГ

---

Телеграмма Генерального секретаря Международного ПЕН-клуба	16
Телеграмма литераторов Дании	16
Телеграмма национального секретаря Филиппинского ПЕН-клуба	17
Телеграмма деятелей культуры Индии	17
Телеграмма итальянских деятелей культуры Михаилу Шолохову	17
Телеграмма писателей Мексики Михаилу Шолохову	18
Телеграмма писателей Чили Михаилу Шолохову	18
Гражданское обращение	18
Александр Гинзбург. Из письма Председателю Совета Министров СССР тов. Косыгину А.Н.	19
Дмитрий Еремин. Перевертыши	21
Это предательство	27
Таких не прощают	28
Их удел – презрение	29
Юрий Левин. Из письма в редакцию газеты "Известия"	29
Юрий Герчук. Письмо в редакцию газеты "Известия"	31
Владимир Корнилов, Лидия Чуковская. Письмо в редакцию газеты "Известия"	36
Зоя Кедрина. Наследники Смердякова	38
Ирина Роднянская. Письмо в Президиум Верховного Совета СССР	47
Вадим Меникер. Из письма в Московский городской суд	49
Л.З.Копелев. Письмо в юридическую консультацию № 1 Первомайского района г. Москвы	52
Письмо писателей Франции, Германии, Италии, США и Великобритании	56

---

## НИКОЛАЙ АРЖАК

---

Говорит Москва	58
Руки	89
Человек из МИНАПа	93
Искушение	109
Вместо послесловия к прозе Николая Аржака: Анатолий Якобсон. Письмо в Московский городской суд	148

---

**АБРАМ ТЕРЦ**

---

В цирке	154
Ты и я	165
Квартиранты	181
Графоманы (Из рассказов о моей жизни)	190
Гололедица	213
Пхенц	263
Суд идет	279
Любимов	336
Что такое социалистический реализм	425
Вместо послесловия к прозе Абрама Терца: В.В.Иванов.	
Заявление в юридическую консультацию	460

---

**ВСТАТЬ: СУД ИДЕТ!**

---

Арт Бухвальд. Просьба о помиловании	466
Юрий Феофанов. Тут царит закон	467
Юрий Феофанов. Изобличение	469
Юрий Феофанов. Пора отвечать	472
Последнее слово на суде Андрея Синявского	474
Последнее слово на суде Юлия Даниэля	480
Б.Крымов. Удел клеветников	487
Нет нравственного оправдания	490
Элен Пелетье-Замойская. Заявление агентству "Франс-Пресс"	493
Луи Арагон. По поводу одного процесса	493
В секретариате Московской писательской организации	495
Открытое письмо в редакцию	496
Сообщение АПН	497
Телеграмма ученых и писателей в Президиум XXIII съезда КПСС	498
Письмо 62 писателей	499
Из речи М.А.Шолохова на XXIII съезде КПСС	500
Лидия Чуковская. Открытое письмо Михаилу Шолохову	502

---

**ЭПИЛОГ**

---

Абрам Терц. Из романа "Спокойной ночи"	508
Анатолий Марченко. Из книги "Мои показания"	512
Юлий Даниэль. Письмо из лагеря в редакцию газеты "Известия"	514
Юлий Даниэль. На библейские темы	515
Варлам Шаламов. Письмо старому другу	516

---

ЦЕНА МЕТАФОРЫ

---

или

---

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

---

СИНЯВСКОГО

---

И ДАНИЭЛЯ

---

Художественные редакторы Г.М.Грозная,

Е.А.Родионова

Технический редактор А.З.Коган

Корректор Я.Ю.Терещенкова

Операторы Н.Е.Монахова, Т.Г.Никонович

ИБ № 1926

Сдано в набор 25.01.89. Подписано в печать 28.06.89.

А 01595. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Гарнитура Пресс-Роман.

Печать высокая. Усл. печ. л. 27,72 + 0,11. Усл. кр.-отт.

27,83. Уч.-изд. л. 37,68 + 0,05. Тираж 100 000 экз.

Изд. № 4850. Зак. № 595. Цена 2 р. 60 к.

Набрано на композере издательства «Книга». 125047,

Москва, ул. Горького, 50. Отпечатано на Ярославском

полиграфкомбинате при Госкомпечати СССР. 150014,

Ярославль, ул. Свободы, 97.



2 р 60 н.

**ЦЕНА МЕТАФОРЫ**